

Предисловие

В январе 1718 года царь Петр I ждал возвращения блудного сына Алексея, бежавшего в австрийские владения из опасения пострижения в монахи и утраты права на корону. Отправляясь из Неаполя в Петербург, Алексей благодарил отца за обещанное «мне, всякие милости недостойному, в сем моем своевольном отъезде, буде я возвращусь, прощение». Он полагал, что гроза миновала...

Однако создававший свою «регулярную» империю государь не мог допустить и мысли об угрозе ее благополучию даже от собственного сына. Их встреча произошла 3 февраля 1718 года в Кремлевском дворце. Царевич рыдал и каялся; Петр вновь обещал ему прощение при условии отказа от наследства, признания вины и выдачи сообщников. На следующий день после «примирения» началось следствие — царевичу предъявили «пункты», после которых стояла приписка: «Ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

При этих обстоятельствах в 1718 году, еще до возвращения царевича в Россию, была создана Тайная канцелярия розыскных дел, которая должна была вести дознание о его «измене». Это учреждение стало первой специализированной отечественной службой безопасности или политической полицией. Тогда же в новой

столице Петербурге появилась и полиция обычная. Первые отечественные городские следили за порядком на улицах и за ценами на рынках. Тайная же канцелярия и ее преемники ведали преступлениями государственными, а потому подчинялись непосредственно монарху и действовали в обстановке секретности.

Тогдашний политический сыск отличался от деятельности аналогичных органов XIX и XX столетий. Это, во-первых, направленность (и с точки зрения нормативно-правовой базы, и с точки зрения практики следствия) большей частью на борьбу с оскорблением личности государя в разных формах — становление российского самодержавия во главе с сакральной фигурой «великого государя» не могло не вызывать подобного отношения к всевозможным «непристойным словам». Во-вторых, так как главной целью следствия было получение от «клиента» признания своей вины, то в качестве обычной процедуры применялись пытки. Третьей особенностью является отсутствие у тогдашних «спецслужб» местного аппарата и соответствующих информационных возможностей¹.

Вероятно, мало кому не доводилось слышать или читать про Тайную канцелярию петровского времени, или Тайную розыскных дел канцелярию, как называлось это учреждение при императрицах Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, или Тайную экспедицию Сената при Екатерине II, где велись расследования по не менее известному «слову и делу». В десятках книг можно встретить зловещую характеристику деятельности тайного сыска, подобную той, что в относительно «свежем» учебнике отечественной истории дана работе Тайной канцелярии в эпоху пресловутой «бироновщины»: «Повсюду рыскали шпионы, ложные доносы губили любого, кто попадал в стены Тайной канцелярии. Тысячи людей гибли от жесточайших пыток»². Читатели, как правило, им верят: в нашей социальной памяти живучи представления о репрессиях государства против своих граждан.

Между тем в XVIII веке власть имущие относились к подданным всё же несколько иначе, хотя борьба за власть всегда была опасным делом. Не раз описанные политические процессы — дела царевича Алексея и Артемия Волынского, Василия Мировича, Александра Радищева, следствия о массовых народных выступлениях и появлении самозванцев (самым известным из них стал Емельян Пугачев) — велись с редкой жестокостью и заканчивались суровой расправой. Но мы сознательно отказались от рассказа о громких политических делах и важных клиентах тайного сыска. Судьба большинства из них известна, и они отчасти заслоняют десятки и сотни дел российских «обывателей» из всех слоев общества, которым волею судеб — по вине, с горя, а то и с неумеренной радости, по нелепой оплошности или по злобе ближнего — довелось побывать в застенке и познакомиться с методами дознания. В их историях, как правило, нет политических заговоров и придворных тайн, но они дают представление о зарождавшемся в новое время механизме политического сыска, его попытках контролировать повседневную жизнь подданных. Кроме того, массовые документы позволяют нам услышать живые голоса незначительных людей XVIII столетия, хотя и с известным искажением — «речи» подследственных доступны нам в подавляющем большинстве в изложении казенным языком протокола. Из бесстрастных бумаг мы узнаем, что их волновало, вызывало одобрение или возмущение в той специфической сфере, которая затрагивала безопасность или престиж власти; увидим, как они с помощью властей, в данном случае — путем поставки Тайной канцелярии «клиентов» по реальным или ложным обвинениям, — решали свои частные проблемы.

О их судьбах и приключениях в «интерьере» тайного сыска и рассказывает наша книга. Читателю предстоит знакомство с исполнительными служаками, палачами, подследственными, свидетелями, благонамеренными «доносителями» и убежденными кляузниками. Мы проследим весь круг «хождений по

мукам» — от анонимного доноса или «сказывания» «государева слова и дела» до следствия, сибирской ссылки или плахи. Однако страшное и смешное часто стоят рядом. — человеческие трагедии сопровождались курьезными ситуациями, хотя, заметим, самим участникам этих происшествий было не до смеха.

Задача авторов этой книги во многом облегчается тем, что историей политических преступлений в России много и плодотворно занимались наши предшественники, к работам которых нельзя не обращаться при рассмотрении данной проблемы. Эта тема интересовала историков XIX — начала XX века³; после некоторого перерыва, когда политический сыск рассматривался преимущественно с точки зрения классовой борьбы, эта тема вновь стала разрабатываться в Новейшее время⁴.

Помимо известных по литературе событий и лиц в нашей книге использованы несколько сотен дел хорошо сохранившегося архива петровской Тайной канцелярии и ее преемников; протоколы и поступавшие по делам указы и резолюции, списки арестантов и ссыльных⁵.

Рамки нашего повествования ограничены 1801 годом, когда Александр I манифестом от 2 апреля повелел «не только название, но и самое действие тайной экспедиции навсегда упразднить и уничтожить», поскольку «в благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общею силою закона». Правда, очень скоро выяснилось, что и в «благоустроенном государстве» тайная полиция является отнюдь не лишним институтом; политический сыск стал вечным государственным учреждением, невзирая на любые социальные перемены и революции.

Глава 1
Рождение политического сыска в России

Царственного дела искатели

Становившаяся в огне усобиц и войн с соседями Московская держава неизбежно должна была создать собственную «службу безопасности», нацеленную против врагов как внешних, так и внутренних. У ее истоков стояли не только князья и их доверенные бояре, но и безвестные служилые, на чью долю выпадало «проведывать» про враждебные их господину происки.

С тех далеких времен уцелела челобитная одного из них — Ивана Яганова: попав в годы юности Ивана Грозного за какую-то провинность в опалу, он решился напомнить о том, как добывал для великого князя Василия III (1505—1533) информацию о делах при дворе его брата, удельного дмитровского князя Юрия Ивановича. «Наперед сего, — писал Яганов, — служил есми, государь, отцу твоему, великому князю Василью: что слышев о лихе и о добре, и яз государю сказывал. А которые дети боярские княж Юрьевы Ивановича приказывали к отцу твоему со мною великие, страшные, смертоносные дела, и яз, государь, те все этих дела государю доносил, и отец твой меня за то ялся жаловати своим жалованьем. А ведома, государь, моа служба князю Михаилу Лвовичу да Ивану Юрьевичу Поджогину»¹.

Из этой челобитной следует, что московский князь имел платных осведомителей при дворе брата-соперника; по их вызову «государева дела искатель», вроде Яганова, мчался за десятки верст для получения информации. Этой службой при дворе ведали ближайшие к великому князю люди — князь Михаил Глинский и думный дворянин Иван Поджогин, которые не верили агентам на слово. За неподтвержденные сведения можно было угодить в темницу, как это случилось с автором челобитной. Но и не донести было нельзя — Яганов хранил верность присяге. — «А в записи, государь, в твоей целовальной написано: "слышав о лихе и о добре, сказати тебе, государю, и твоим боаром". Ино, государь, тот ли добр, которой что слышав, да не скажет?»

«Искателям государева дела», подобным Яганову, было где развернуться во времена опричнины, когда Иван Грозный ввел в стране чрезвычайное положение с отменой всяких норм и традиций. Сам царь был убежден, что окружен изменниками, — он даже просил политического убежища в Англии, куда готовился бежать с верными людьми и сокровищами; однако мы не располагаем фактами, подтверждающими реальность боярских заговоров. В ответ царь проводил массовые переселения, отнимал у служилых людей земли, устраивал показательные казни: изменников искореняли «всеродне» — вместе с женами, детьми, десятками слуг и холопов. Убийства совершались внезапно, на улице или прямо во дворце, чтобы приговоренный не успел покаяться и получить отпущение грехов; показательные казни творились с выдумкой: людей резали «по суставам» или варили заживо; трупы разрубали на куски или бросали в воду, чтобы души казненных после смерти не имели упокоения без погребения.

Иван Грозный возвысил «вольное самодержавство», но не смог предотвратить Смуты — постигшего страну в начале XVII столетия кризиса, едва не закончившего распадом государства. Тогда впервые проявился феномен «самозванства», когда на власть претендовала череда Лжедмитриев и десятков «детей»

царя Федора. Земское ополчение Минина и Пожарского спасло страну и объединило ее под властью новой династии. На фоне потрясений XX столетия XVII век теперь представляется тихим и даже «застойным» временем. Но это впечатление обманчиво — он прошел в непрерывных войнах, государство и общество раздирали внутренние конфликты. В это время произошел не преодоленный и по сей день церковный раскол, нередко служивший в последующие времена идейным основанием социального протеста.

Новая династия закрепила у власти. Однако выборные «земские» государи в глазах подданных уже не обладали безусловным авторитетом своих предшественников. «Что де нынешние цари?» — толковали подданные, на чьей памяти были не только «выборы», но и примеры свержения монархов. Дворяне XVII века весьма непочтительно отзывались о бесцветном царе — «старцевом сыне» Михаиле Романове; отца государя, патриарха Филарета, объявляли «вором», которого можно «избыть».

Самозванцы появлялись и после окончания Смуты; причем новые претенденты уже не были связаны с массовым движением в самой России — как, например, объявившийся в Запорожье «сын» царя Алексея Симеон, пожаловавшийся в челобитной «отцу», что его «хотели уморить» думные бояре: «Твоими молитвами, батюшки моего, жив ныне». В середине XVII века появились международные авантюристы, вроде мнимого сына Василия Шуйского, «царевича Симеона» (под этим именем скрывался московский подьячий Тимофей Акундинов, более десяти лет разъезжавший по соседним государствам, пока в 1653 году не был выдан России и казнен).

Новые угрозы власти вызвали ответные меры. С начала XVII столетия появилось выражение «слово и дело» — обвинение в измене, заговоре, самозванстве или оскорблении царского имени и «чести». Соборное уложение 1649 года впервые выделило в особую главу уголовно-правовую защиту государя и его «чести», причем даже умысел на «государское здоровье»

карался смертной казнью; то же наказание грозило участникам любого выступления «скопом и заговором» против бояр, воевод и приказных людей, то есть всех представителей власти.

Закон закрепил формулу «государево слово и дело». Каждый, узнавший об «измене» или хотя бы «непристойных словах» в адрес власти, должен был под страхом казни немедленно подать устный или письменный «извет»; недонесение каралось так же, как соучастие. Услышавшие «слово и дело» были обязаны «бережно» сдать изветчика властям. Местный воевода допрашивал заявителя и — если его показания признавались основательными — доставлял его в Москву. Дальнейшее следствие велось в столице, а окончательное решение иногда принималось самим царем. «Женскому полу бывают пытки против того же, что и мужскому полу, окромя того, что на огне жгут и ребра ломают», — описывал практику «сыска» в XVII веке диссидент-подьячий Григорий Котошихин, сбежавший за границу и там составивший описание московского государственного устройства.

Так начала складываться система политического розыска в России. Подобные дела докладывались царю Алексею Михайловичу (1645—1676), ставшему первым самодержцем-бюрократом в нашей истории. Для контроля над разраставшимся аппаратом он основал в 1655 году «Приказ великого государя тайных дел». Однако за грозным названием скрывалось не полицейское ведомство, а всего лишь личная канцелярия самодержца, ведавшая в числе прочего его имениями и мануфактурами, поиском рудных залежей, управлением любимым царским Саввино-Сторожевским монастырем, а также Аптекарским, Гранатным и Потешным дворами. В качестве органа высшего надзора этот приказ занимался делами самого разного характера, в том числе и государственными преступлениями, но даже не имел собственного застенка. На практике дознание по «слову и делу» могли вести другие приказы и уездные воеводы, обязанные, правда, докладывать о них в Москву. Но далекие от столицы сибирские администраторы и в кон-

це XVII века имели право решать дела по изветам «в измене или в каком воровстве» самостоятельно «по Уложению», лишь уведомив о них столичные власти, наказывать виновных и награждать доносчиков. Воевода обращался в Москву только в том случае, если не мог сам разобраться в происшествии.

Приказ тайных дел ведал только важными прецедентами (патриарха Никона или Степана Разина) по личному поручению Алексея Михайловича. Государь даже составил список вопросов, по которым надлежало допросить бунтовщика-атамана. Он интересовался отношениями Разина и астраханского воеводы, будто бы выпросившего у атамана дорогую шубу («О князе Иване Прозоровском и о дьяках, за што побил и какая шуба?»); его беспокоила возможная связь повстанцев с опальным Никоном («За что Никона хвалил, а нынешнева [патриарха] бесчестил?», «Старец Сергей от Никона по зиме нынешней прешедшей приезжал ли?»). Алексей Михайлович даже полюбопытствовал: «На Синбир жену видел ли?» — успел ли Разин перед сражением под Симбирском встретиться с женой.

Однако государь мог в любое время взять к своему рассмотрению любое дело по судебным искам, что нередко случалось; тогда первые лица государства по его указу в особом порядке допрашивали в застенке какую-нибудь «ведомую вориху ворожею Феньку» — дела о колдовстве, да еще среди государевой челяди, всегда вызывали повышенное внимание.

Царю приходилось рассматривать доклады по «слову и делу», которые поступали в Москву от местных властей. Подавляющее большинство инцидентов не представляло угрозы для трона и возникало в горячке ссоры или «пьяным обычаем»; хотя, надо сказать, «непристойные речи» в адрес царской особы тогда рассматривались не только как простое хамство, но как реальная угроза: матерщина воспринималась в ее древнем значении — проклятия и магического заговора². На счастье таких «сидельцев», их челобитные в те патриархальные времена еще пробивались к царю, а у него хватало времени в них раз-

бираться. Алексей Михайлович мог быть и милостив. На просьбу о пощаде казака с южной границы Сеньки Маклакова, который, «напившись пьян без памяти», обронил «неподобное слово», он наложил сочувственную резолюцию: «Только б ты, мужик, не пил, и ты б и беды на себя не навел», — и непутевый казак отделался поркой батогами с последующим «свобождением»³.

Вскоре после смерти Алексея Михайловича в феврале 1676 года Приказ тайных дел был упразднен, а его персонал и документы распределены по другим приказам. Но подобное учреждение уже не могло бесследно исчезнуть — крепнувшая монархия, да еще в канун серьезных реформ, не могла обойтись без высшего надзорно-карательного органа.

Ведомство князя-кесаря

Продолжил дело политического сыска Преображенский приказ, основанный в 1686 году в дворцовом селе Преображенском для управления хозяйством юного царя Петра и «потешными» полками. Здание приказа располагалось на берегу Яузы. Еще в конце XVIII века его остатки видел Николай Михайлович Карамзин: «Там, среди огородов, укажут вам развалины небольшого каменного здания: там великий император, преобразуя отечество и на каждом шагу встречая неблагодарных, злые умыслы и заговоры, должен был для своей и государственной безопасности основать сие ужасное судилище. <...> Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников».

Просвещенные люди конца XVIII столетия именно так воспринимали это учреждение, которое возглавлял один из самых колоритных петровских сподвижников — князь Федор Юрьевич Ромодановский (1640—1717). Его описание оставил нам главный петровский дипломат, князь Борис Куракин: «Сей князь

был характеру партикулярного; собою видом как монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по вся дни, но его величеству верной был так, как никто другой».

В современных справочниках Ромодановский занимает место первого главы службы безопасности в истории России, что не совсем соответствует истине. Никто из его преемников — шефов этого ведомства, как бы оно ни называлось, не обладал такой огромной властью. Князь Федор Юрьевич был не только неусыпным хозяином своего приказа, но и вторым человеком в государстве, а порой и первым — будучи оставленным «на хозяйстве» царем, отправлявшимся в очередное путешествие.

Пожилой Ромодановский сумел стать членом интимной «кумпании» молодого государя наряду с А. Д. Меншиковым, будущим генерал-адмиралом Ф. М. Апраксиным, будущим канцлером Г. И. Головкиным. Ближний стольник так и не стал боярином, но получил невиданный на Руси чин «князя-кесаря», перед которым сам царь «держал вид подданного» — именно Федор Юрьевич произвел Петра в чины контр-, а потом и вице-адмирала. Кроме того, сноха князя (урожденная Салтыкова) была родной сестрой царицы Прасковьи — жены царя Ивана Алексеевича, брата Петра I. Вел он себя не с подобострастием чиновника, а с державным величием и истинно российским самодурством. Никто не имел права въезжать к нему во двор, даже царь оставлял свою двуколку у ворот. Входящих в дом гостей в сенях встречал обученный огромный медведь, державший в лапах чарку очень крепкой, настоящей на перце водки. Отказываться от медвежьего угощения гости обычно не решались — зверь мог помять невежливого.

Петр называл своего старшего друга *min her kenich* и регулярно в письмах сообщал ему о текущих делах и новостях. Проезжая в составе «Великого посольства» по Курляндии, царь прислал Ромодановскому в подарок пару приглянувшихся ему топов — для палачей; «князь-кесарь» в ответе сообщил, что подарок был употреблен по назначению. Упрек

царя, что князь чрезмерно буен во хмелю («Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненные от вас приехали. Перестань знатца с Ивашкою [Хмельницким] (пьянствовать. — *И. К. Е. Н.*), быть от него роже драной»), Ромодановский парировал: «Неколи мне с Ивашкою знатца, всегда в кровях омываемся <.. > ваше то дело на досуге знакомство держать с Ивашкой, а нам недосуг». Таких вольностей с царем из всей «кумпании» позволить себе не мог даже неумный Меншиков.

Однако князь был едва ли не единственным из окружения Петра, кто принципиально не брал взяток и при разборе дел «не обык в дуростях спускать никому», даже самым знатым персонам. В переломную эпоху, когда нововведения вызвали протест и в «верхах», и в «низах» общества, именно такая фигура оказалась востребованной. Сейчас, спустя три сотни лет, мы воспринимаем петровское царствование как время великих преобразований и славных побед. Но для не обремененных государственными заботами современников это были годы тяжелой службы и немалых налогов — «запросных», «драгунских», «корабельных», на строительство Петербурга и других, общим числом около сорока. Специальные люди — «прибыльщики» — придумывали, что бы еще обложить податью; в этом перечне оказались бани, дубовые гробы и серые глаза. За четверть века, с учетом падения стоимости денег, казенные доходы выросли в три раза; с реальной «души» поборы увеличились не менее чем в полтора раза.

При Петре I в армию были взяты 300 тысяч рекрутов — каждый десятый-двенадцатый мужик; половина из них погибла в сражениях или от болезней, многие были ранены, искалечены, дезертиры пополнили ряды нищих и разбойников. Даже царские указы признавали бессилие властей — сообщали, например, что в 1711 году в Тверском уезде пришлось приостановить сбор налогов и рекрутский набор по причине того, что там «ходят воры и разбойники великим собранием, и многие села и деревни разбили и пожгли, и посланных для сборов, а также в Санкт-Петербург

отправленных мастеровых и градских, и уездных жителей, и проезжих разных чинов людей грабят и бьют, и мучают, и многих побивают до смерти. И которые уездные люди, приказчики и старосты выбирают из крестьян в рекруты, тех отбивают и берут с собой к разбою»⁴. Оставшимся дома подданным предстояло содержать защитников отечества. Это в кино обыватели радуются входящему в городок полку; бравые драгуны и гренадеры казарм не имели и жили на постое в частных домах, чьи хозяева испытывали сомнительное удовольствие терпеть «гостей» несколько месяцев, обеспечивая их дровами.

На большую дорогу выходили не только отчаявшиеся и обездоленные. Критика начавшихся преобразований могла сопровождаться как «социальным протестом», так и лихой уголовщиной. В 1702 году галичский помещик Евтифей Шишкин, гостивший у сестры, говорил про государя непристойные слова: «"Ныне де спрашивают с крестьян наших подводы и так де мы от подвод и от поборов и податей разорились; у меня де один двор крестьянской, а сходит с него рубли по 4 на год, а ныне де еще сухарей спрашивают. Государь де свою землю разорил и выпустил. Только де моим сухарем он, государь, подавится. А живет де он, государь, все у Немцов и думы думает с ними". И выбранил де он, Евтифей, его, государя, матерно», — после чего отправился на разбой. Преображенский приказ отыскал виновника уже под следствием в Костроме. На допросах выяснилось, что Евтифей разбойничал вместе с соседом и родственником Семеном Шишкиным — того родственники упрекали: «Для чего де ты, дурак, бескорыстной грех учинил, 9 душ сжег в Галицком уезде, в Яковлеве поместье Апушкина, в усадьбе Сухолонове», — на что Семен бесхитростно отвечал: «Я де чаял пожитков». Но Семен Шишкин служил в драгунах и ведомство Ромодановского не заинтересовал; а вот Евтифей Шишкин угодил под пытку, повинился в брани царя «за досаду, что податей всяких спрашивают почасту», и умер «за караулом». Князь из Рюриковичей Василий Солнцев-Засекин ругань в адрес царя

дополнил убийством «на разбое» двух крестьян и одного сына боярского, за что и был казнен⁵.

Преображенский приказ еще не был специализированным ведомством; царь мог поручить конкретное расследование иному лицу — например, знаменитому «прибыльщику», изобретателю гербовой бумаги Алексею Курбатову. В 1704 году Курбатов обнаружил в серебряном ряду «воровское» (фальшивое) серебро. Продавец тут же принес следователю 300 рублей. Курбатов принял деньги как доказательство преступления и начал розыск, который категорически не желал передавать в Преображенский приказ, обращаясь к царю: «Благоволи милостивно внять, почему невозможно сему делу быть в Преображенском. Яков Якимов явился в том же серебра воровстве, о котором сам князь Федор Юрьевич присылал стряпчего своего говорить, чтоб ему в том деле послабить. Дочь его, призвав меня в дом свой, о том же говорила; Кирила Матюшкин, который у него живет, не имея никакого дела, многожды о тех же ворах стужал, чтоб мне являть слабость, и бедство знатно по той ненависти наведено бедным того дела подьячим; Иван Суворов стужал многожды, едва не о первом воре просил и, что в том его не послушали, грозил на старого в том деле подьячего: попадется де скоро к нам в Преображенское! Подьячий Петр Исаков также просил о ином. Мать Федора Алексеевича [Головина] присылала с грозами, спрашивая, по какому я указу в том разыскиваю, и от иных многих непрестанное было стужание. Однако ж я пребывал в той беде, нимало их слушая; ныне колодники об отсылке в Преображенское все возрадовались, и из них некоторые бранили меня и говорили подьячему <...>: "Лихо де нам было здесь, а в Преображенском де нам будет скорая свобода: дьяки де и подьячие там нам друзья. Хотя князь Федор Юрьевич неправды сделать и не похочет, но чрез доношения и заступы учинят желатели неправды по своей воле"»⁶.

После смещения царевны Софьи и утверждения Петра у власти в 1689 году «потешная изба» стала главной дворцовой канцелярией — появились но-

вые царские хоромы и съезжий двор, который стал называться Генеральным двором. Здесь происходили заседания Боярской думы; здесь же комплектовалась, обучалась, снаряжалась новая армия. Потешный двор ведал гвардейскими полками, охраной порядка в Москве, царской охотой и зверинцем. Царь, переехав вместе с двором и учреждениями в строившийся Петербург, во время наездов в старую столицу именно Преображенское избирал временной резиденцией, где выслушивались расспросные речи царевича Алексея и заседал суд по делу обвиненного во взятках обер-фискала Алексея Нестерова.

В штате Преображенского приказа состояли два дьяка и пять—восемь подьячих, дозорщик, два лекаря и лекарский ученик, заплочный мастер, четыре сторожа, четыре конюха и 16 рабочих — токари, плотники и кузнецы⁷. К нему были прикомандированы несколько десятков офицеров и солдат гвардии, которые несли караульную службу, охраняли зверинец и ведали охотничьим хозяйством государя. Князь Федор Юрьевич, в числе прочего, отстраивал Москву после пожара 1701 года, обеспечивал армию артиллерийскими орудиями и порохом, ведал одно время Аптекарским и Сибирским приказами, при этом иногда вторгаясь в юрисдикцию новоучрежденных коллегий. В 1719 году президент Юстиц-коллегии граф А. А. Матвеев дважды жаловался Петру I, что Преображенский приказ разбирает дела, которые «подлежат» его ведению и при этом, пользуясь своим исключительным положением, на запросы из других учреждений не отвечает и никаких справок и документов не выдает⁸.

Постепенно из аморфной структуры Преображенского приказа выделилась Главная канцелярия, которая со временем сосредоточила в своих руках следствие и суд по государственным делам. Указом 25 сентября 1702 года судопроизводство по «государеву слову и делу» было изъято из подведомственности чиновников Судного приказа, судей других приказов, городских воевод, а также монастырских властей и помещиков⁹. Любое учреждение, в которое

мог обратиться доносчик, обязано было под угрозой штрафа доставить его, не начиная следствия, в Преображенский приказ; его указы стали обязательными для всех центральных и местных учреждений. В случае вмешательства в его компетенцию должностные лица могли быть привлечены к судебной и административной ответственности, как произошло в 1704 году с дьяком Ярославской приказной избы Угримовым, битым батогами «за то, что он роспрашивал в государевом деле колодников». Наказание грозило местным властям также за недостаточно оперативное выполнение распоряжений Ромодановского: с костромского воеводы в 1708 году были взысканы 100 рублей «за его ослушание, что он по тем грамотам не писал и колодников не присылал»¹⁰.

Даже после введения нового административно-территориального деления (губерний) Преображенский приказ продолжал сохранять свое значение, так как никакому из новых учреждений его функции переданы не были. После инцидента 1716 года, когда Ф. Ю. Ромодановский отказался принять арестованных «для того, что киевский губернатор колодниками розыскивал, а по указу теми колодниками на токмо розыскивать, а спрашивать не велено», именным царским указом было подтверждено положение, когда местные власти (теперь не воеводы, а губернаторы), удостоверившись, что доносы касаются «государева здоровья и чести, и бунта и измены», обязаны были подозреваемых, «не спрашивая, оковав им руки и ноги, присылать к Москве, в Преображенский приказ немедленно». Епархию Ромодановского не удалось подчинить ни Юстиц-коллегии, ни даже высшему государственному органу — Сенату: он мог получать дела из Преображенского приказа лишь после именных царских указов.

Поначалу ведомство Ромодановского особой жестокостью не отличалось: до 1697 года через его застенки прошли 507 обвиняемых, но смертных приговоров было вынесено только 48; остальных ждали кнут и ссылка, иногда сопровождавшиеся «урезанием» языка¹¹.

Однако тяготы, вызванные началом крутых петровских преобразований, способствовали росту преступности. Люди испытывали настоящий шок от приказного внедрения иноземной культуры. Нижегородский посадский Александр Иванов специально приехал в Москву и заявил за собой «слово и дело» — для того, чтобы получить возможность объяснить царю, «что он, государь, разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть». Мужик искренне надеялся, что государь, выслушав его, отменит несообразные новшества. Естественно, эти ожидания были напрасны. Возможно, поэтому самый талантливый из русских государей стал первым монархом, на чью жизнь его подданные считали возможным совершить покушение. Об этом говорили и опальные бояре Соковнины в 1697 году, и участник Астраханского восстания Степан Москвитянин: «А буде бы он, государь, платье немецкое носить и бород и усов брить перестать не велел, и его б, государя, за то убить до смерти». Даже простой посадский Сергей Губин посмел в кабаке ответить на тост о царском здоровье: «Я государю вашему желаю смерти, как и сыну его, царевичу, учинилась смерть»¹².

В конце XVII столетия в деятельности Преображенского приказа репрессии против любых противников преобразований вышли на первый план. В 1697 году был раскрыт заговор, во главе которого стояли полковник «из кормовых иноземцев» Иван Цыклер и окольный Алексей Прокофьевич Соковнин. Цыклер предлагал своему пятидесятнику Силину напасть на царя и «изрезать его ножом в пять». Заговорщики уже намечали «выборы» собственных кандидатов на престол (бояр А. С. Шеина и Б. П. Шереметева) и рассчитывали на поддержку стрельцов и казаков¹³. Все виновные после пыток были публично казнены.

Спустя год произошло стрелецкое восстание. Служилые люди «по прибору», недовольные переброской их полков на литовскую границу и задержкой жалованья, обратились в 1698 году к свергнутой цар-

ской сестре Софье и даже получили от нее ответные послания (хотя до сих пор неясно, писала она их сама или это сделали от ее имени стрелецкие вожаки) с призывом «бить челом» ей «иттить к Москве против прежнего на державство» и не пускать в город Петра¹⁴. С помощью этих грамот предводители взбунтовали полки. В случае отказа Софьи от власти предполагалось использовать запасные кандидатуры — в частности, «обрать государя царевича». Контакты с опальной царевной не получили развития (загадочное письмо на бумаге с «красной печатью» пятидесятник А. Маслов якобы отдал своему родственнику, а тот после поражения восставших его утопил), но дорого обошлись восставшим. По приказанию Петра I, спешно вернувшегося из заграничного путешествия, в Преображенском были построены 14 пыточных камер, где двумя приказными дьяками и восемью подьячими параллельно велись допросы и происходили пытки. С сентября 1698-го по февраль 1699 года после жестокого розыска были казнены 1 182 стрельца — почти треть привлеченных к процессу; более 600 человек отправили в ссылку в Сибирь, еще две тысячи человек перевели из столицы в провинциальные полки¹⁵.

Пытки и казни не утомили подданных. Вскоре последовало «Азовское дело» — бунт стрельцов полка Кривцова. В 1706 году началось восстание в Астрахани. Даже принесение восставшими повинной им не помогло: шесть «пущих заботчиков» были колесованы перед зданием Преображенского приказа; всего из 365 «взятых в разработку» человек 320 были казнены, остальные же 45 умерли под пытками. Не успела закончиться расправа, как началось восстание в Башкирии, а затем — бунт на Дону. «Атаманы молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным <...> погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в черны вершины самарские» — так поэтично звучала «про-

грамма» этого крестьянско-казацкого движения 1708—1709 годов.

Лихой русский бунт воплощал мечту о возвращении к патриархальному равенству, был попыткой защитить старое, простое общественное устройство от социальной розни, от «приказных людей» и «иноземных обычаев» с «бумагами», податями и солдатчиной. А «интеллигенция» Московской Руси — духовное сословие — выдвигала из своей среды идеологов сопротивления, обосновывавших протест понятным народу языком. Не случайно среди «клиентов» Преображенского приказа священнослужители и клирошане составляли пятую часть — много больше, чем был их удельный вес в обществе.

К казни был приговорен в 1705 году книгописец Григорий Талицкий за то, что «писал письма плеловальные и ложные о пришествии антихристове, с великою злобою и бунтовским коварством». Талицкий считал Петра I антихристом, а доказательство близкой кончины мира видел в тех новшествах, которые стал вводить царь: в перемене летосчисления и фасонов платья, в бритье бород и курении, а также в изменении нравов и образа жизни, что тревожило многих служителей церкви. В 1707 году был казнен азовский священник Иван Федоров, проповедовавший: «В последние де времена восстанет воинство и един де царь всех победит, а после де и сам убиен будет. Ныне наш великий государь трех победил и седми покорил, а опосле де он великий государь сам убиен будет».

«Великий государь ездил за море, возлюбил веру немецкую, будет де то, что станут по средам и по пятницам бельцы и старцы есть молоко, все до одново и всю полатынят веру», — делился опасениями с сопратепзниками старец одного из северодвинских монастырей Гелвасий. Монах Вологодского монастыря Савин считал, что царь «лих»: «Как де он милостив, он де благоверную государыню царицу сослал в ссылку». Священнослужители Шацкой церкви Родионов, Максимов и Кириллов готовились отправиться по примеру раскольников в леса: «Ныне де на Москве

летопись переменена, да великий государь изволит быть на Москве платью венгерскому, да великого поста на Москве ж будто сказывают убавлено, а после де светлого воскресенья бутто учнут в среды и в пятки рядом мясо есть»¹⁶.

Многие, оставшиеся сыску неведомыми люди передавали слухи, что царь «родился от блудной девицы», что он зол, кровожаден, не соблюдает постов. Их казненные товарищи представлялись им мучениками, отдавшими жизнь за веру: «Стрельцов де переказнил за то, что де они, стрельцы, ево еретичество знали, а они де стрельцы прямые христиане были». Фанатично настроенный монах Фролищевой пустыни Иван Нагой с медной цепью и крестом на шее явился в Москву «царя обличать, что бороды бреет и с немцами водится и вера стала немецкая».

Вероятно, из среды духовенства вышла легенда, что на самом деле Петр I — немец и не является сыном царя Алексея Михайловича: «Государь де не царь и не царскова поколения, а немецкова. <.. > Когда были у государыни царевны Натальи Кирилловны сряду дочери и тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее государыню царицу разгневался: буде де ты мне сына не родишь, тогда де я тебя постригу. А тогда де она, государыня царица, была чревата. И когда де приспел час ей родить дщерь и тогда она, государыня, убоясь его государя, взяла на обмен из немецкой слободы младенца, мужеска полу, из Лефортова двора». Эту легенду монах Чудова монастыря Феофилакт услышал в 1702 году от своего дьякона Ионы Кирилловца, а затем она пошла гулять по просторам России.

Для царя-реформатора все эти «бредни» были всего лишь свидетельством «замерзлого > упорства поданных, не желавших разделять с ним военные тяготы и посягавшие на воздвигаемое им строение «Регулярного государства». Но оставить их без надлежащего внимания Петр не мог — он стал первым в Нашей истории царем, лично работавшим в застенке, рядом с которым выросли «колодничьи избы» для Непрерывно поступавших подследственных.

С точки зрения царя, казнить было нужно — но только явных изменников; прочие же вместо бесполезной гибели должны искупать вину каторжной работой. Свидетельством подобного «гуманизма» явился «именной из Преображенского приказа» указ от 19 ноября 1703 года: «На Москве во всех приказах приводных всяких чинов людей, которые явятся по розыскным делам в государевых делах, в измене и в бунте, и в смертных умышленных убийствах, или кто кого каким смертным питием или отравою уморит: и тех людей за те их вины казнить смертью. А которые люди явятся опричь вышеписанных вин в иных всяких воровствах: и тех, по прежнему своему великого государя указу, за их вины ссылатъ в Азов на каторгу»¹⁷.

В остальном Петр вполне полагался на Ромодановского — верного слугу и собрата по «всепянейшему собору». К концу жизни князь уступил значительную часть былого влияния новым учреждениям и подросшим петровским «птенцам», но полностью сохранил власть в своем ведомстве. Заслуги старого товарища Петр ставил столь высоко, что после его смерти в 1717 году передал по наследству Преображенский приказ вместе с титулом «князя-кесаря» сыну покойного.

Князь Иван Федорович Ромодановский жил широко: председательствовал на петровских застольях, устраивал ассамблеи; порой принимал гостей и в самом Преображенском приказе, где потчевал их «адски крепкой, дистиллированной дикой перцовкой», которую даже привычные к «шумству» современники употребляли с трудом. После смерти государя он остался в чести, получил чин действительного тайного советника и управлял приказом вплоть до его упразднения в 1729 году. Неумеренностью младший Ромодановский пошел в отца — однажды прямо на пиру затеял выяснение отношений с дипломатом и сенатором Г. Ф. Долгоруковым. Почтенные вельможи на глазах иностранных гостей «после многих гадких ругательств схватились за волосы и, по крайней мере, полчаса били друг друга кулаками, причем ни-

кто из других не вмешался между ними и не потрудился разнять их. Князь Ромодановский, страшно пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим; однако ж после того, в припадке гнева, велел своим караульным арестовать Долгорукого, который, в свою очередь, когда его опять освободили, не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет просить удовлетворения у императора»¹⁸.

Однако второй «князь-кесарь» сильным характером и выдающимися способностями не отличался и заметных следов в деятельности Преображенского приказа не оставил. Отец же его не только с размахом рубил головы, но и разрабатывал юридические основы следственно-пыточных процедур. Делать это ему пришлось потому, что состав подведомственных ему преступлений не был точно определен законодательством.

«Слово государево» и «дело государево»

Соборное уложение 1649 года впервые отделило политические «дела» от уголовных преступлений и подробно перечислило разновидности «измены»; разбирало случаи действия или «умышления» на «государское здоровье», «скопа и заговора» против царя, «государевых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полках на воевод и на приказных людей».

Однако закон не определил точных границ понятий «государево слово и дело». Они лишь в одном месте 14-й статьи второй главы Уложения стоят рядом: «А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или слово...». 12-я статья свода законов XVII столетия говорит только о «великом государеве деле»; 16-я и 17-я статьи касаются тех, кто «учнет извещати государево великое дело, или измену», а в 18-й статье (о доносах про политические преступления) этот термин не употребляется совсем: «...а кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на царское величество в

каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысел...»

И в начале XVIII века, как свидетельствует указ от 25 сентября 1702 года («...которые учнут за собою сказывать государево слово или дело...»), законодатель не различал четко эти понятия, обозначавшие государственные преступления. Более того, закон не указывал таких оснований для обвинения, как «преlestные письма», составление ложных указов, порицание поведения государя, «непристойные слова» в его адрес (при этом «непригожие слова» Уложение рассматривало в качестве повода для судебного разбирательства, но только если речь шла о «бесчестье» подданных), неуважительное отношение к царским указам и изображениям. Российская действительность второй половины XVII столетия и петровской поры показала широкий набор подобных деяний, для которых не было предусмотрено соответствующего наказания.

Зато существовало иное, народное, более широкое понимание «государева слова и дела»: таковым считалось не только определенное законом политическое преступление, но и всё, что, по мнению простого человека, должно было интересовать царя как защитника от злых бояр и их приспешников, — например, произвол «государившихся» воевод, хищения государственной казны, взяточничество приказных. И в XVII веке, и много позднее люди искренне верили в «истинного» и «милостивого» государя-царя, правящего «по правде» и опирающегося на «землю» в борьбе с самоуправством воевод. Так, восстание 1648 года в Томске началось с того, что горожане публично объявили «государево дело» на воеводу князя О. И. Щербатого и отказались ему повиноваться. Наконец, случалось, что, заявляя «государево дело», изветчик сообщал не о преступлении, а о находке клада, залежей серебряной или медной руды; крепостной или холоп надеялся найти управу на помещика.

Приказным дельцам недостаточная разработанность законов была даже на руку, поскольку давала

простор для толкования. Но в «регулярной» петровской монархии такое положение было нежелательным. К тому же и сосредоточение следствия по «государеву слову и делу» в одном учреждении требовало точного понимания пределов его компетенции.

Установить эти критерии было нелегко. Указ от 9 февраля 1705 года предусматривал разграничение «государева слова» и «государева дела» — применение первого термина для политических преступлений, подлежащих исключительной юрисдикции Преображенского приказа, а второго для квалификации финансовых и прочих должностных злоупотреблений администрации: «Которые из купецких и всякого чина на Москве и в городех ведомых в Ратуше людей будут сказывать за собою государево слово, и тех на Москве брать, а из городов присылать в Ратушу, и во-первых спрашивать их инспекторам Ратушского правления Алексею Курбатову с товарищи, нет ли чего за ними причинного о его государеве здравии, и буде скажет, что есть, и тех, не распрашивая, отсылать для учинения указа в Преображенский приказ к стольнику Федору Юрьевичу Ромодановскому. А если, не ведая кто разности слова с делом, скажет слово, а явится дело, и тем, и другим, которые станут сказывать за собою его государевы дела, указ чинить в Ратуше им, инспекторам, с товарищи»¹⁹.

Но такой подход не соответствовал исторической традиции, и от него пришлось отказаться. Новой попыткой определить содержание понятия «государево слово и дело» явился «именной из Сената» указ от 23 декабря 1713 года, который был «сказан всенародно и кликан биричем во всех городах»: «Ежели кто напишет или словесно скажет за собою государево слово или дело, и те бы люди писали и сказывали в таких делах, которые касаются о их государском здравье и высокомонаршеской чести, или уведают какой бунт и измену». Этот указ очерчивал круг основных государственных преступлений, хотя и не классифицировал их по статьям. При этом он опирался на идущую из Средневековья традицию, связывая умаление царской «чести» с умыслом на «государ-

ское здоровье». Иные же толкования, в том числе и широко понимаемое нарушение государева интереса (лихоимство и произвол чиновников разного уровня), с помощью которых крестьянские общины и городские «миры» пытались бороться с возростающим гнетом власти, пресекались: «А буде с сего его, великого государя, указу станут писать или сказывать за собою государево слово или дело, кроме помянутых причин, и им за то быть в великом наказании и разорении, и сосланы будут на каторгу»²⁰.

Возможности Преображенского приказа были ограниченными — выше уже говорилось о малочисленности его штата. На практике Ромодановский отсылал в другие приказы челобитные на судей и подьячих, на нерадивых и вороватых воевод, на дворян, скрывавшихся от службы и укрывавших у себя беглых крепостных; жалобы холопов на господ, а также и самих крепостных, если те сообщали, что «за помещиком своим иного государева дела, что он, помещик, ево бивал плетьюми и кнутом и морил голодом, никакова не ведают». Из Преображенского в Монастырский приказ отправляли монахов, обвинявших игуменов в хищениях, корчемстве (незаконной продаже спиртного), превышении власти и других нарушениях указов.

В другие органы передавались и сообщения о кладах. В начале деятельности Преображенского приказа исключение делалось только для изветов о колдовстве: в 1699 году по этой статье обвинялся аптекарский ученик Марков. Там же рассматривался извет на крестьянина Блошонка, которого приказчик подозревал в сношениях «с нечистой силой»²¹. Однако с 1703 года донощиков, произвольно расширявших круг «государевых дел» — «сказывали за собою государево дело, а по распросным их речам государева слова и дела не явилось», — стали вразумлять кнутом и отсылать «в те же приказы и в города, откуда присланы».

Тем не менее ведомству Ромодановского так и не удалось до конца четко разграничить подчиненность дел. Интерпретация «слова и дела» как единого

выражения, символизировавшего намерение донести о государственном преступлении властям, сохранилась в последующих указах (от 2 ноября 1733 года, 16 апреля 1742 года, 25 июня 1742 года) и вошла в манифест от 21 февраля 1762 года, упразднявший Тайную канцелярию и называвший формулу «слово и дело» «ненавистным изложением».

Кроме того, «интересные дела» (о нанесении ущерба казенному интересу) стали весьма важными для Петра I. Чиновники быстро усваивали нормы служения не закону, а собственной карьере, которая сулила даже «беспородному» разночинцу дворянский титул и связанные с ним блага. Обратной стороной выдвижения новых людей явились хищения, коррупция, превышение власти, которые не только не были истреблены законодательством Петра, но перешли в новое качество.

Трансформация патриархальной монархии в бюрократическую империю привела к увеличению численности чиновников (только за 1720—1723 годы количество приказных, по расчетам Е. В. Анисимова, выросло более чем вдвое) и снижению уровня их профессионализма при возрастании амбиций²². Дьяки и подьячие XVII века брали «умеренное и аккуратное», а дело свое знали лучше, чем их европеизированные преемники, отличавшиеся «бесстрашием» в злоупотреблениях.

В записках одного из сотрудников Петра I вице-президента Коммерц-коллегии Генриха Фика рисуется характерный образ такого «нового чиновника», с которым сосланному при Анне Иоанновне Фику пришлось встретиться в Сибири. «Молодой двадцатилетний детинушка», прибывший в качестве «комиссара» для сбора ясака, на протяжении нескольких лет «хватал все, что мог». На предупреждение честного немца о возможности наказания «он <...> отвечал так: "Брать и быть повешенным обоим имеет свое время. Нынче есть время брать, а будет же мне, имеючи страх от виселицы, такое удобное упустить, то я никогда богат не буду; а ежели нужда случится, то я могу выкупиться. И когда я ему хотел бо-

лее о том рассуждать, то он просил меня, чтоб я его более такими поучениями не утруждал, ибо ему весьма скушно такие наставления часто слушать"»²³.

Царь раздвинул рамки понятия «государственное преступление»: при нем наметилась тенденция подводить под это определение всякие противозаконные действия, начиная с должностных злоупотреблений и казнокрадства и заканчивая неявкой на службу и рубкой заповедных лесов. Контроль государства над обществом естественным образом приводил к приоритету «государственного интереса» над частным; поэтому, например, петровские указы о взяточничестве грозили «повредителям» казенной пользы смертной казнью с конфискацией имущества, тогда как за такие же «погрешения» в отношении частных лиц чиновник мог отделаться штрафом.

Именным указом Петра I от 25 января 1715 года «похищение казны» было опять включено в число преступлений по «слову и делу государеву». Этот закон обозначил первые два «пункта», по которым можно было подавать прошения самому императору: «1. О каком злом умысле против персоны е[го] в[еличества] или измены. 2. О возмущении или бунте»²⁴. Однако последующие указы от 19 января и 22 декабря 1718 года требовали по «третьему пункту» обращаться к гвардии майору А. И. Ушакову, полковнику Кошелеву, а по указу от 22 декабря — еще и к фискалам или в Юстиц-коллегию.

Сыском по делам о взяточничестве и казнокрадстве как раз и занялись «майорские канцелярии», называвшиеся так потому, что возглавляли их офицеры гвардейских полков (капитаны Г. И. Кошелев и И. С. Чебышев; майоры М. И. Волконский, М. А. Матюшкин, М. Я. Волков, С. А. Салтыков, И. И. Дмитриев-Мамонов; гвардии подполковники князя П. М. Голицын, Г. Д. Юсупов и В. В. Долгоруков). Эти временные следственные комиссии скоро стали постоянно действующими учреждениями, подотчетными лишь самому царю; только после коллежской реформы они были подчинены Сенату.

Состав политических преступлений получил наиболее четкое определение в Артикуле воинском 1715 года, включенном в Воинский устав 1716 года. Артикул устанавливал смертную казнь не только за измену или «насильство» в отношении царя, но и за умысел: четвертование и конфискация имущества ожидали всех, кто хоть и не участвовал в преступлении, но «токмо его воля и хотение к тому было», даже в том случае, если покушение «к действию и не произведено».

Артикул гласил: «Всякий бунт, возмущение или упрямство, без всякой милости имеет быть виселицею наказано». Отсечение головы полагалось всем, «кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действие и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет». Наказывать надлежало даже за «непристойные и подозрительные сходбища и собрания <..> для советов каких-нибудь (хотя и не для зла)» и последующую подачу коллективных челобитных. Преступлением признавались поступки «словом или делом», способствовавшие «к бунту и возмущению»²⁵.

Такие дела расследовались в Преображенском приказе еще до издания Артикула, как и «непристойные речи» — не только неуважительные высказывания о царе, но и вполне безобидные разговоры о его поступках и семье. «Государевым делом» считались порча царского изображения, искажение царского титула, употребление царского имени в брани. К «великим царственным делам» относились также действия, направленные против порядка управления, — от подачи коллективных челобитных до открытого неповиновения властям. Карательная практика приказа опережала законодательство, однако теперь следствие по «слову и делу» впервые получило набор критериев для определения своей компетенции. Отныне — и до начала XIX века — именно нормы военного права стали основой для квалификации политических преступлений.

Стремясь поведать властям о государственном преступлении, доносители объявляли «слово и дело» или «государево слово». Но иные изветчики, не зная

правильного названия доноса о государственном преступлении, просто объявляли свою «нужду» до Преображенского приказа, Тайной канцелярии или ее конторы, «секретное дело» по такому-то пункту, «важность», «важное дело».

К концу царствования Петра I завершился процесс выделения политического сыска в особую службу. Противодействие реформам привело к тому, что Ромодановскому были предоставлены чрезвычайные полномочия; но преемников у него в «регулярной» петровской империи быть не могло. Впрочем, кажется, князь ушел вовремя: он не одобрял второго брака Петра и не дожил до главного политического процесса петровского времени — дела царевича Алексея.

*Дело царевича Алексея и основание
Тайной канцелярии*

Сын Петра I от сосланной в монастырь Евдокии Лопухиной в 1711 году по воле отца вступил в брак с кронпринцессой Шарлоттой Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Тогда же сам царь «оформил» свои отношения с бывшей пленницей Мартой Скавронской, в православном крещении Екатериной Алексеевной, причем царевич был ее крестным отцом. От брака царевича — ставки в дипломатической игре его отца — родилась дочь Наталья, а 12 октября 1715 года — сын Петр. Принцесса Шарлотта скончалась через десять дней после родов; Екатерина в том же году родила сына, тоже названного Петром. (Имя жены Алексея сразу было использовано заграничными самозванцами: в Европе ходили слухи, что принцессу похитил влюбленный в нее кавалер и тайно обвенчался с ней во Франции; там в 1773 году умерла некая дама, выдававшая себя за «бывшую российскую царевну». Ее судьбой интересовались Вольтер и сама Екатерина II.)²⁶

Анонимный австрийский автор «Всепоподданнейшего доклада римско-императорскому двору о про-

исхождении и восхождении на трон русской императрицы Екатерины I» сообщал, что Екатерине во время путешествия по Западной Европе в 1716—1717 годах удалось уговорить Петра подписать завещание, передававшее право на российский престол ее сыну²⁷. На самом деле еще осенью 1715 года царь предъявил Алексею ультиматум: «Или отмени свой нрав и неллицемерно удостой себя наследником, или будь монах». В октябре 1716 года Петр вызвал сына в Копенгаген, где планировал с союзниками операции против шведов. Алексей должен был окончательно определиться с выбором — и выбрал бегство, поскольку не только не одобрял дел отца, но и признавал: «Его особа зело мне омерзела».

Десятого ноября 1716 года в венский особняк австрийского вице-канцлера графа Шенборна вошел неожиданный посетитель — «русский принц» Алексей и попросил убежища от гнева отца. Во владениях императора он хотел дожидаться смерти царя, чтобы вступить на престол при поддержке духовенства и недовольных вельмож. Один из них, адмиралтеец Александр Кикин, обещал Алексею, что его друзья урегулируют вопрос с австрийским правительством о политическом убежище для наследника российского трона. Но Кикин обманул царевича — в Вене его не ждали. Тем не менее московского «гостя» спрятали в альпийском замке, а потом в неаполитанской крепости.

В марте 1717 года один из лучших дипломатов царя Петр Андреевич Толстой и капитан гвардии Александр Румянцев выследили беглеца, добились свидания и вручили ему письмо отца: «Обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Бude же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властью, проклиная тебя вечно. А яко государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику ругателю отцову, учинить». Угрозами и посулами Толстой за несколько дней уговорил Алексея вернуться; в октябре 1717 года через Рим и Вену беглец

отправился в отечество — навстречу собственной гибели.

Для следствия по делу царевича Петром I была учреждена Тайная канцелярия во главе с П. А. Толстым — первоначально как временная комиссия по образцу «майорских канцелярий». Вскоре канцелярия переехала в Петербург, оставив в Москве свой филиал, и постепенно превратилась в постоянное учреждение центрального управления.

В феврале 1718 года в Кремле отец торжественно простил Алексея — но тут же заявил: «Если что утаено будет, то лишен будешь живота». Сразу же началось следствие — царь не верил, что сын мог самостоятельно выступить против него, а Алексей умолчал о многом, что творилось за спиной отца. Жестоким пыткам были подвергнуты близкие царевичу люди: Кикин, камердинер Афанасьев, духовник Яков Игнатьев (все они были затем казнены). Первая волна разбирательств и репрессий прошла в Москве, а в марте Алексей и Петр перебрались в Петербург. Но следствие не завершилось: Петр Толстой угадал желание царя увидеть в сыне главу заговора и стремился этот заговор обнаружить. Решающими оказались показания крепостной любовницы царевича Евфросиньи о планах, высказывавшихся им за границей: о надеждах на бунт или скорую смерть отца, о письмах русским архиереям с напоминанием им о своих правах на престол. В вину Алексею ставились его замыслы, а не дела (в существовании заговора в свое время усомнился Вольтер, полагавший, что смертный приговор царевичу «в других государствах был бы совсем немислим»), но по российским правовым представлениям разницы между ними не существовало.

Царевич, несколько раз подвергнутый пытке, старался любыми средствами выгородить себя. Сначала Петр возлагал вину на мать Алексея, его ближайших советчиков и «бородачей» (духовенство); но за полгода следствия выявилась картина глубокого недовольства его политикой в общественной элите, и о наказании всех «фигурантов» дела не могло быть и речи. Тогда царь назначил их же судьями, возложив

на них ответственность за судьбу главного обвиняемого. 24 июня 1718 года Верховный суд единогласно приговорил Алексея к смерти, чем связал круговой порукой виднейших сподвижников Петра. Точку в судьбе царевича поставила его загадочная смерть в Трубечком раскате Петропавловской крепости.

До недавнего времени эти события оценивались в нашей литературе как разгром реакционных сил, знаменем которых был Алексей. В немалой степени такой трактовке способствовало издание в середине XIX века материалов «дела» Н. Г. Устряловым, который правил текст документов, устраняя из них информацию о сочувствовавших царевичу представителях петровской знати²⁸. Скорее всего, царевич стал пешкой в сложной игре вельмож из окружения отца: при аресте у Кикина были найдены «цифирные азбуки» (шифры) для переписки с «большими персонами» — генералом Василием Долгоруковым, князь-адмиралом Федором Апраксиным, фельдмаршалом Борисом Шереметевым. Предпринятое недавно исследование «дела» показало, что при дворе к середине 1710-х годов сложились две противоборствовавшие «партии»: одной руководил А. Д. Меншиков, другую возглавляло семейство Долгоруковых. К наследнику тянулись видные персоны петровского царствования, в их числе фельдмаршал Б. П. Шереметев и генерал В. В. Долгоруков, сенаторы Я. Ф. Долгоруков и Д. М. Голицын. Эта «оппозиция» (включавшая, кроме названных вельмож, А. В. Кикина, М. М. Голицына, царевича Василия Сибирского) готовилась перейти к активным действиям после кончины Петра. Был разработан план, предусматривавший возведение Алексея на престол или утверждение его регентом при единокровном младшем брате Петре Петровиче²⁹. Однако, на наш взгляд, в кругу «сообщников» царевича были также люди, настроенные против всяких реформ. Едва ли стоит идеализировать и самого Алексея как политического Деятеля. Наряду с «разумными идеями» (об отказе от имперской внешней политики) он высказывал наме-

рение, «не жалея ничего, достигнуть наследства», даже с использованием военной помощи, обещанной ему австрийским вице-канцлером Шенборном. Эти показания историки считают достоверными — тем более, добавим, что они не были «подсказаны» ему в вопросах следователей. К сожалению, новейшее на сегодняшний день исследование «дела», предпринятое С. В. Ефимовым, четко не сформулировало позицию относительно подлинности обвинений царевича в намерении захватить престол при жизни отца³⁰.

Каковы могли быть последствия возможного вступления Алексея на престол (например, в случае внезапной смерти Петра)? Как бы сочетались его намерения опереться на духовенство (царевич рассчитывал, что архиереи и священники его «владельцем учинят»), не «держат» флот и передать российские войска и «великую сумму денег» в распоряжение Австрии с планами просвещенных реформаторов? Сами «оппозиционеры» отнюдь не были единодушны, и тот же Кикин специально хранил письмо царевича к В. В. Долгорукову «на обличение» последнего. Алексей унаследовал отцовский темперамент: обещал посадить на кол детей канцлера Головкина и братьев Трубецких и всерьез задумывал жениться на своей любовнице Евфросинье: «Видь де и батюшко таковым же образом учинил»³¹.

Из дела Алексея можно сделать вывод, что приход его к власти был чреват серьезными политическими столкновениями в имперской верхушке с вероятными исходами как в виде дворцового переворота, так и ссылки или плахи для слишком европейски ориентированных и самостоятельных вельмож. Но и избранный Петром «силовой» выход из кризиса — устранение законного, в глазах общества, наследника — обещал потрясения. Однако, какими бы ни были последние часы жизни царевича (происхождение опубликованного Герценом в 1858 году в «Полярной звезде» письма с описанием его убийства по приказу Петра остается загадкой³²), в народном сознании его гибель связана с волей отца. Ветераны Петровской эпохи спустя много лет рассказывали собеседникам:

«Знаешь ли, государь своего сына своими руками казнил», — как солдат Навагинского полка в далеком Кизляре Михаил Патрикеев в 1749 году³³.

Другим итогом дела Алексея стало выдвижение Петра Толстого в ряды наиболее приближенных к царю лиц. Возглавляемая им Тайная канцелярия, в отличие от прочих «майорских канцелярий», не была ликвидирована, а стала одним из важнейших государственных органов, подчиненных лично монарху. 25 ноября 1718 года кабинет-секретарь Алексей Макаров известил Толстого и генерала И. И. Бутурлина: «Понеже его величество для слушания розыскных дел канцелярии вашей изволил определить один день в неделе, а именно — понедельник, и для того изволите о том быть известны»; в этот день министры должны были являться по велению царя в канцелярию в четыре часа пополудни³⁴.

Теперь учреждение стало именоваться в бумагах (хотя и не всегда) «Канцелярией тайных розыскных дел». Петр лично бывал в канцелярии, где в присутствии «министров» выслушивал доклады и составлял по ним резолюции. В документах канцелярии постоянно встречаются упоминания: «Великий государь <...> Петр Алексеевич <...> будучи в Канцелярии тайных розыскных дел, указал»; «Его царское величество изволил быть своею высокою особою в канцелярии тайных розыскных дел и слушал дел». Обычно царь «слушал» материалы допросов обвиняемых или уже готовые экстракты по делам с заготовленным приговором, вынесенным «министрами» канцелярии. В основном приговоры руководителей сысского ведомства царем одобрялись и лишь изредка не получали его согласия.

Однако чиновники не всегда выносили приговоры, и вопрос: «По тому делу что чинить?» — оставался до царского указа. Тогда на полях экстракта вносилась царская резолюция, иногда даже собственноручная. Петр тут же по ходу расследования мог дать указания кому-либо из начальников канцелярии, а они позднее приводили их в исполнение, письмо одному из чиновников Толстой так и сооб-

шил: колодника Костромитинова можно пытать хоть до смерти, «ибо памятно, как царское величество изволил о нем говорить, когда изволил быть в Тайной канцелярии». В редких, особо отмечаемых в протоколах следствия случаях царь принимал участие и в самом розыске, если имел личный интерес к делу. Так, в 1723 году солдат Дорофей Марков сказал, что донос он объявит только самому Петру, и сделал это «того же ноября 3 дня при присутствии его императорского величества».

Когда царь уезжал из столицы, его сопровождал Толстой, к которому стекалась вся последняя информация о работе Тайной канцелярии. Так, когда Петр отправился в последний в своей жизни Персидский поход, Толстой захватил с собой для доклада целый ворох бумаг: «выписку о Левине», «допрос стояра дому Меншикова Василия Королька», «распросные речи Михаила Чирикова», дела капрала Ивана Козьмина, отца и сына Бахметевых, солдата Никиты Куракова и др.³⁵ Пакеты с новыми делами гонцы регулярно доставляли в действующую армию, и царь, как следовало из ответов Толстого, находил время ими заниматься.

Другие руководители ведомства, в первую очередь А. И. Ушаков, вели расследования и регулярно сообщали обо всем Петру Андреевичу Толстому. В мае 1721 года Бутурлин и майор Ушаков на извещении о посылке для доклада экстрактов по Тайной канцелярии получили ответ из Риги: «По оным я его царскому величеству не доносил, а когда донесу, и какая резолюция будет, о том не оставлю вас без известия».

Вот образец докладов, которые остававшийся при следствии А. И. Ушаков посылал Толстому. «Милостивый государь мой Петр Андреевич, — писал он в начале мая 1722 года, — понеже его императорское величество при отсутствии своем в поход изволил быть в непрестанных делех, и того ради не имел я времени, чтобы по пунктам о Корольке и о прочих Тайной канцелярии делех донести его величеству и для того оные пункты посылаю до вашего превосхо-

жительства при сем, и доношу: изволь, государь мой, по ним донести его императорскому величеству; и какой его величества указ состоится, о том изволь, государь мой, уведомить меня».

При письме Ушаков прилагал «экстракт о делах»:

«1. Старцу Левину по окончании розысков какую казнь учинить, и где: в Москве ль или на Пензе?

2. Он же Левин показал на родственников своих 4-х человек, что при них в доме злые слова он говорил; да вышеписанные ж слова говорил он в церкви всенародно при капитане да при камисаре.

3. Он же Левин те слова говорил в дву монастырех на трапезах при игумене с братьей, да в третьем монастыре одному игумену, да на исповеди отцам своим духовным трем попам, да старцу (у которого он был под началом); и оных два попа и старец молвили ему Левину: "и мы де так признаваем", а третий поп молвил: "полно де, ты не грешишь ли"? однако ж причаститься ему не возбранил; и из означенных один поп в том себя и признал, а другие, ежели признают, и им за то что учинить?

4. По его же Левина распросу касается нечто до рязанскаго архиерея, но токмо ныне без распросу старца Прозоровскаго нельзя того явственно признать; и ежели по распросу онаго покажетца до него архиерея важность, и его допрашивать ли, и где: в Синоде ль, или в Тайной канцелярии, и как его содержать?

5. Светлейшего князя столяр Королек с распросу и с дву розысков показал важные слова дому его княжева на ключника, да на гребца, которые померли; а потом на исповеди отцу духовному он объявил, что те слова (токмо не все) слышал он его ж княжева дому от служительницы вдовы Варвары Кубасовой, о чем и на очной с нею ставке тоже сказал; а в распросех де, и с розысков, и в очной ставке во оном запирается и в том себя не признает; и ежели тот Королек с третьего розыску станет говорить на нее вдову, а ее в застенок к очной ставке брать ли, и ею розыскивать ли?

« По важному делу бабы Акулины следствие остановилось за тем, что она больна; и ежели в тех

словах, на кого, что показала, она умрет, а те в оном себя не признают, и ими розыскивать ли?

7. Ежели в Тайную канцелярию будут подавать доношения о здоровье императорскаго величества, о бунте, о измене, и по таковым доношениям следовать ли, или оныя отсылать в Преображенский приказ?»

Толстой отвечал на запрос: «Государь мой Андрей Иванович! Присланные от вас пункты его императорское величество изволил подписать, которые при сем прилагаю, и ваша милость изволит чинить по оной резолюции; о бабушке изволил говорить: буде Королек с третьей пытки с ней не зговорит, то де можно и оную попытать, и того ради на оный пункт изволил подписать, чтоб розыскивать. О Акулине для того не изволил ничего подписать, что можете и вы окончать, чего будет надлежать; чтоб дело сие отдать в Преображенский приказ, я докладывал, на что изволил сказать, чтоб вы при себе окончили только самую важность; по делу Лебедкину и, буде коснетца до Резанского, чтоб и то также при вас окончать; и Королькова дело вам же надлежит окончать; а Левина и других, кого он оговорил, когда уже важности не будет, отослать в Преображенский приказ. <...> Покорный слуга Петр Толстой, из Коломны мая 16 дня 1722 года».

При письме Толстой приложил экстракт с резолюциями Петра. Против первого пункта царь указал: «на Пензе», против второго — «следовать и смотреть, дабы напрасно кому не пострадать, понеже сей плут глупый временем мешается»; против третьего — «тоже что и Левину»; против четвертого — «когда важное касаца будет, тогда Сенату притить в Синод и там допрашивать и следовать, чему подлежит»; против пятого пункта стоит указание: «розыскивать»; прочие пункты остались без резолюции³⁶.

Бывало, по каким-то причинам Петр изменял решения и тогда об этом сообщал «министрам». В одном письме Ушакову царь вспоминал, «ежели вологоцкому попу экзекуция не учинена, то обожди ею, пока увидимся со мною» (но попа уже казнили по

предыдущей царской резолюции). Фискал Ефима Санина за ложные доносы царь утром 23 января 1723 года сначала решил просто казнить, потом передумал — велел колесовать; затем, будучи на обедне в Петропавловском соборе, отменил последнее решение³⁷.

Иногда вместо краткой резолюции Петр посылал более подробные записки. «Дьякона пытать, — писал он в Тайную канцелярию в феврале 1720 года, — к кому он сюда приехал и приставал, и кого здесь знает своего мнения потаенных; а по важных пытках послать с добрым офицером и солдаты от гвардии в Нижний, и там казнить за его воровство, что мимо выбранного старца воровски учинил. Другого, Иону, пытать до обращения или до смерти, ежели чего к розыску не явится». Таким образом, царь предопределил приговор независимо от результата будущих допросов и пыток³⁸.

В случае занятости государь передавал свои указания через кабинет-секретаря Макарова. Последний «препроводжал» в Тайную канцелярию те дела, которые царь решил передать в ее ведение. «Благородный господин бригадир и маюр от гвардии, — писал Макаров Ушакову в феврале 1720 года, — царское величество указал отослать к вам расколыщика дьякона Александра и с его доношением, которое он подал его царскому величеству, а что оный расколыщик в допросе сказал, тому записка при сем тако ж прилагается; и оного колодника изволите приказать посадить в город; а что с ним надобно делать, о том я вам донесу сам». Иногда секретарь объявлял царские указы устно, и тогда они записывались в указную книгу за подписями руководителей канцелярии.

Импульсивный царь мог даже лично сдать в застенки нового «клиента». В день рождения Петра, 30 мая 1724 года, сын купца гостиной сотни города Серпухова Афанасий Шапошников оказался рядом с императором на службе в церкви села Преображенского, где поднес ему три украшенных цветными лентами калача. Тот подарок принял, пригласил приглянувшегося ему молодого купца в Лефортовский дворец

и посадил его с собой обедать. Но за столом осмелевший молодец позволил себе спросить: «Есть ли польза в том употреблении табаку?» — и рассказал, как пробовал курить и нюхать табак, но в этом занятии «пользы не нашел, кроме греха». В ответ император «изволил рассмеятца и сказал ему: "Не рыть бы де тебе, Афонасей, у меня камня"», — а после трапезы внезапно подошел к своему гостю, «изволил ударить его тростью дважды и указал взять его под караул»; незадачливый детина последовал за царем из Москвы в Петербург уже в качестве колодника и просидел в Тайной канцелярии до самой смерти государя³⁹.

В этой истории проявились и характерный для царя интерес к новому знакомому — должно быть, бойкому молодцу, и «отеческая» угроза неразумному «сыну» — подданному, переходящая в рукоприкладство с отправлением гостя «под караул». С другой стороны, искренний поступок простолюдина сделал возможными для него и величайшую милость — право сидеть за царским столом, и мгновенное попадание в застенки за не к месту сказанное слово. В этом эпизоде, случившемся на фоне коронационных торжеств, наглядно проявились не только нрав самого Петра, но и его методы проведения реформ, в одночасье возносившие людей к вершинам власти и могущества и безжалостно свергавшие их оттуда в небытие.

Этапы большого пути тайного сыска

Образованная для расследования дела царевича Алексея Тайная канцелярия являлась временной и чрезвычайной комиссией — об этом говорит отсутствие указов, разграничивавших деятельность канцелярии и Преображенского приказа. Однако с переездом в Петербург Тайная канцелярия стала постоянным и весьма важным учреждением. Особая юрисдикция по «слову и делу» была еще раз подтверждена именным указом Петра I от 5 ноября 1723 года о «форме суда», гласившим, что на политичес-

кие преступления не распространялось общее положение о предоставлении ответчику до суда списка выдвинутых против него обвинений.

В «регулярной» монархии служба политического сыска играла роль «подсистемы страха» для преследования любой оппозиции реформам. В ее компетенцию входили розыск и суд не только по указанным выше политическим преступлениям, но и делам о шпионаже, казнокрадстве и взяточничестве в особо крупных размерах; самозванстве, раскольничестве, соращении в иную веру. В этом качестве она заняла свое место в ряду других форм контроля и надзора империи (фискалитета, прокуратуры, Вышнего суда, полиции).

Тайная канцелярия по своему статусу была выше коллегий: все учреждения, за исключением императорского Кабинета и Сената, обязаны были выполнять ее предписания по части политического сыска. Так была заложена основа для появления стоявшей над всем государственным аппаратом «высшей полиции», существование которой станет впоследствии характерной чертой российской государственности. Однако в петровское время Сенат еще служил для канцелярии апелляционной инстанцией. Он рассматривал жалобы на Тайную канцелярию; в него же отсылались дела, которые канцелярия решить самостоятельно не могла. Сенаторы могли требовать от канцелярии рапорты — например, сколько денег имеется в наличии, есть ли среди ее служащих «юнkers и подьячие» из дворян и были ли таковые «в науках»⁴⁰.

Переехав в новую столицу, Тайная канцелярия оставила в Москве свой филиал, который был упразднен только в мае 1723 года, а его дела передали Преображенскому приказу. С самим Преображенским приказом Тайная канцелярия действовала параллельно, но близость последней к царю делала ее более важным учреждением. Поступившая Петру в 1720 году жалоба на действия чиновников Преображенского приказа была по царскому повелению передана для рассмотрения в Тайную канцелярию. По-

еле смерти старого «князя-кесаря» его сын и преемник не мог конкурировать с влиятельным Толстым. Однако в том же 1720 году функции обоих учреждений были разграничены. Тайной канцелярии были поручены сыск и суд по политическим преступлениям в Петербурге и ближайших к нему городах, то есть наиболее важные дела; юрисдикция Преображенского приказа распространялась на всю остальную территорию страны. Указ 28 апреля 1722 года формально уравнивал Тайную канцелярию с Преображенским приказом. Местные «командиры» должны были «сыскивать» злодеев и оскорбителей величества, заковывать «в ручные и ножные железа» и, «не спрашивая, присылать в Тайную канцелярию или в Преображенский приказ за крепким караулом». С ними вместе полагалось и «доносителей для обличения их высылать в те же означенные канцелярии за поруками, а буде порук не будет, за провожатыми под честным арестом»⁴¹.

В последние годы жизни Петр, очевидно, стремился усовершенствовать систему расследования важнейших государственных преступлений и его занимал вопрос о компетенции Преображенского приказа. В одной из царских записных книжек 1722 года есть запись: «Определить, каким делам быть в Преображенском приказе». В том же году указ от 29 апреля уточнил, что дела приказа состоят в расследовании обвинений «в дурных словах или деле к возмущению и тому подобных». Доклад И. Ф. Ромодановского от 6 июня 1722 года содержал просьбу: пока «ныне не все государство определено», то есть реформа не закончена, гвардейские полки оставить в ведении приказа, как и судебные дела гвардейцев⁴².

В конце 1723 года Петр I велел распустить все майорские розыскные канцелярии, которым по завершении их работы велено было сдать дела сначала в Сенат, а затем в Преображенский приказ. В январе 1724 года Петр распорядился «следующияся в Тайной розыскной канцелярии дела важные решить. А вновь прежде бывшим колодников и дел присылаемых ниоткуда не принимать; понеже оставшие за

решением дела отослать в Правительствующий Сенат и с подьячими». Однако из-за смерти царя эта реформа до конца доведена не была. Тайная канцелярия продолжала работать, заканчивая сопутствовавшие делу царевича розыски и расследуя государственные преступления, совершенные преимущественно в Петербурге.

В мае 1726 года Тайная канцелярия была ликвидирована. Ее функции передали Преображенскому приказу и чрезвычайному высшему органу власти — Верховному тайному совету из шести министров, который взял на себя дела по текущему управлению страной при неспособных ими заниматься неграмотной императрице Екатерине I (1725—1727) и юном Петре II (1727-1730).

Указ от 26 августа 1726 года разрешил губернаторам предварительно рассматривать изветы по «первым двум пунктам»: если заявитель не признавался, что затеял донос ложно, и не менял показаний под пыткой, его надлежало отправлять в Москву⁴³. Дела по «третьему пункту» (о значительных хищениях казны) передавались обычным судам. В марте 1729 года старый и больной Ромодановский попросился в отставку, которая была принята. С уходом последнего «князя-кесаря» был упразднен и его приказ: Верховный тайный совет распорядился отныне подавать ему дела «по первым двум пунктам», а «прочие, в которых меньше важности», — в Сенат⁴⁴. «Верховники» стремились сосредоточить в своих руках важнейшие политические дела, и подобная параллельная структура им была не нужна.

Однако неясность в классификации розысков по «большей» и «меньшей» важности привела к тому, что на заседаниях высшего органа государственной власти его членам приходилось лично принимать и рассматривать доносы, допрашивать дворовых мужиков и сортировать прибывавших колодников. «Верховники» образовали комиссию для рассмотрения подобных дел: под руководством «министра» князя Д. М. Голицына этим занимались генерал А. Волков и обер-комендант Петербурга И. Фаминцын. В 1727 го-

ду они несколько раз докладывали Совету по «розыскным делам»⁴⁵; но после свержения Меншикова его «креатуры» Волков и Фаминцын попали в опалу и комиссия фактически распалась. Местные администраторы считали за лучшее перестраховаться и отправляли в столицу обычных уголовников и ложных доносителей, по злобе или вообще «напрасно» кричавших «слово и дело»⁴⁶. В 1729 году на территории только что упраздненного Преображенского приказа находилось целых семь тюрем, где 485 колодников содержались под надзором 625 солдат Преображенского полка (петровская гвардия, помимо прочих функций, арестовывала, охраняла и конвоировала государственных преступников).

Однако ликвидация службы по защите «чести» государя и расправе с его политическими противниками в условиях начавшейся «эпохи дворцовых переворотов» оказалась преждевременной — в ней нуждалась каждая правившая группировка. Обстоятельства восшествия на престол в 1730 году императрицы Анны Иоанновны (попытка ограничить ее власть сочиненными Верховным тайным советом «кондициями» и появление нескольких дворянских проектов) ускорили возрождение карательного органа. Именной указ от 10 апреля 1730 года обозначил пределы «слова и дела»: «1) Ежели кто каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело, или персону и честь нашего величества злыми и вредительными словами поносить. 2) О бунте и измене, сие разумеется: буде кто за кем подлинно уведает бунт или измену против нас или государства». «Третий пункт» из состава «слова и дела» исчез окончательно. Таким неизменным корпус государственных преступлений оставался до конца XVIII столетия — хотя само выражение «по первым двум пунктам» в делопроизводстве сохранилось.

С упразднением Верховного тайного совета государственные преступления расследовались в Сенате. Доносить о них следовало губернаторам и воеводам — а те должны были определить основание, по которому сказывалось «слово и дело». Если это был

«первый пункт», то всех участников процесса «под крепким караулом» немедленно отправляли в Сенат. По второму — губернаторы и воеводы должны были «розыскивать» дело самостоятельно, а «буде дойдет до пытки, то и пытать, а в наш Правительствующий Сенат того ж времени, ни мало не отлагая, с нарочными курьеры писать»⁴⁷.

Очевидно, местные власти не желали связываться с расследованием щекотливых дел, и многочисленные колодники по-прежнему отправлялись в Москву. Следующий именной указ от 24 марта 1731 года констатировал, что от передачи после ликвидации Преображенского приказа всех «важных дел» в Верховный тайный совет и в Сенат «в прочих государственных делах имеетца немалое помешательство». Поэтому этим указом Анна Иоанновна повелела: «Помянутые важные дела ведать господину генералу нашему Ушакову», с придачей ему требуемых канцелярских служителей⁴⁸.

Так Тайная канцелярия была воссоздана. Отныне она называлась «Тайной розыскных дел канцелярией», а руководил ею по-прежнему Андрей Иванович Ушаков. Согласно повелению императрицы Сенат 31 марта 1731 года издал распоряжение: «Для отправления оных дел канцелярии быть в Преображенском <...>, и из той канцелярии в коллегий о надлежащих делах посылать промемории, а в канцелярии и приказы и губернии и провинции указы; а ежели кто по посланным из той канцелярии в губернии и провинции указом отправлять не будут, или командиры в чем по оным делам явятся неисправны, за что по указам надлежат быть штрафованы, и те штрафы определять Вам, генералу и кавалеру (Ушакову. — *И. К. Е. Н.*) по указом и по своему рассмотрению»⁴⁹. То есть глава канцелярии мог налагать взыскания на представителей местной администрации. Восстановленное ведомство унаследовало от Преображенского приказа и статус центрального учреждения, и бюджет, и архив.

Тайная канцелярия подчинялась непосредственно императрице. Ни с каким другим учреждением

(кроме, пожалуй, Кабинета министров) у Анны не было таких тесных отношений. Ушаков имел право личного доклада императрице, минуя все инстанции. Таким образом, этому органу политического сыска и охраны государственной безопасности был придан особый статус в системе органов власти, делавший его работу фактически бесконтрольной. А отсюда ясно, насколько было велико влияние Тайной канцелярии и ее начальника — естественно, в своей области.

Дела канцелярии представлялись на рассмотрение Анны, как правило, в виде зачтения готовых «выписок» или «определений»: «по оной выписке докладывал он <...> ее императорскому величеству, и ее императорское величество соизволила оную выписку слушать». Замечания государыни и ее резолюции Ушаков записывал в особые книги именных указов. Изредка — при расследовании наиболее важных дел или решении принципиальных для канцелярии вопросов — императрице передавались письменные доклады; Анна в таких случаях обычно ставила на документе svoеручную резолюцию, почти всегда выражая согласие: «апробуэтца», «быть по сему докладу» или «учинить по сему». Иногда резолюция по делу, находившемуся в процессе расследования, заранее санкционировала еще не принятое решение канцелярии: «Ее императорское величество изволила указать по тому делу решение учинить в походной Тайной канцелярии».

Ведомство Ушакова было несколько потеснено во влиянии на Анну Иоанновну после оформления в ноябре 1731 года Кабинета министров в составе престарелого канцлера Г. И. Головкина, князя А. М. Черкасского и вице-канцлера А. И. Остермана. В 1735 году они получили право издавать указы, приравненные к царским (подписи трех кабинет-министров заменяли автограф императрицы). Многие дела Тайной канцелярии отныне докладывались не непосредственно императрице, а Кабинету. Но почти всегда в таких случаях вызывался Ушаков, и он вместе и наравне с кабинет-министрами подписывал доклады

(особенно большое количество таких докладов было составлено в 1738 году), которые после этого обычно утверждались резолюцией Анны⁵⁰.

Но Кабинет, отодвинув Тайную канцелярию, отнюдь не изолировал ее от непосредственной связи с верховной властью: у Ушакова сохранялось право личного доклада Анне, а следовательно, возможность спорить с министрами; и такой возможностью он иногда пользовался. Так, в 1736 году Ушаков обратился в Кабинет с требованием об увеличении штата своего ведомства на шесть канцеляристов. После того как были присланы только трое, генерал уже не тревожил министров, а обратился прямо к императрице и добился своего: сумев убедить ее, что увеличение числа сотрудников необходимо, а истребованные дополнительные кадры — люди «добрые и к правлению дел способные», получил желанное высочайшее указание «вышепоказанных канцеляристов взять к делам в Тайную канцелярию»⁵¹.

Канцелярия тайных розыскных дел иногда играла роль доверенного, чисто исполнительного органа при императрице. 7 августа 1736 года Анна прислала Ушакову «бывшего при нас муншенка Ал. Самсонова» с письменным указанием за собственноручной подписью: «для его непотребных и невоздержанных поступков прикажите высечь батожем безщадно» и сослать в Азов. Канцелярии не было ничего известно о преступлении придворного служителя — он был отправлен только для учинения ему уже определенно-го самой Анной наказания, каковое было исполнено «в присутствии его превосходительства Андрея Ивановича Ушакова»⁵².

В 1740 году после смерти Анны Иоанновны началось короткое царствование ее внучатого племянника, младенца-императора Иоанна Антоновича под регентством аннинского фаворита Бирона. Принц-регент не особенно доверял Тайной канцелярии и 23 октября 1740 года выпустил указ, чтобы «о непристойном и злодейственном разсуждении и толковании о нынешнем государственном правлении <...> Исследовать и розыскивать в Тайной канцелярии не-

медленно, при котором присутствовать обще с ним генералом (Ушаковым. — *И. К. Е. Н.*) генералу-прокурору и кавалеру князю Трубецкому».

Подозрения регента, вероятно, были небеспокойны: Ушаков был «весьма склонен» к матери императора Анне Леопольдовне, а потому тотчас после свержения Бирона его дело поручили расследовать именно Ушакову. С момента вступления в регентство Анны под указами по Тайной канцелярии уже не встречается подпись Трубецкого. Указ за подписью «именем Его Имп. Вел. Анна» от 13 февраля 1741 года повелевал Ушакову все экстракты по делам «подавать прямо нам, а не в Кабинет». Некоторые указы того времени по розыскам канцелярии подписаны Анной Леопольдовной (от имени венценосного сына); сохранились и экстракты дел с собственноручными резолюциями регентши⁵³.

Смена недолгого царствования младенца Иоанна Антоновича на «отеческое» правление Елизаветы Петровны (1741 — 1761) ничего в деятельности этого ведомства существенно не изменила — Тайная канцелярия оказалась необходимой и дочери Петра Великого. Однако Елизавета, в отличие от тетки и сестры, не имела привычки ставить на экстрактах письменные резолюции — их записывал Ушаков за своей скрепой. Канцелярия и ее правитель были облечены полным доверием императрицы⁵⁴ при невмешательстве в их дела ни Сената, ни Синода, ни созданной в 1756 году Конференции при высочайшем дворе.

В конце некоторых канцелярских решений елизаветинского царствования есть приписка: «сие определение всеподданнейше доложить ее императорскому величеству». Вероятно, практика Тайной канцелярии того времени предполагала вынесение приговоров без доклада императрице и ее санкции, и лишь немногие случаи требовали высочайшего утверждения (на канцелярских приговорах последнего десятилетия царствования Елизаветы исследователи не обнаружили ни одной такой оговорки). В одном деле приводится объяснение такой избира-

тельности: «понеже оныя их <...> вины не в весьма важных терминах состоят, <...> а ныне приходят к совокуплению его императорского высочества с ее императорским высочеством торжественныя дни (бракосочетания наследника Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. — *И. К. Е. Н.*~), и для того таковыми докладами ее императорское величество ныне утруждать времени быть не можег». Если же со стороны верховной власти предполагался интерес, осторожный Ушаков передавал дело на решение государыни. Так, когда в 1745 году лейб-компанец Базанов объявил за собой «слово и дело», то Ушаков не осмелился в «определении» даже предложить проект приговора, заявив, что «в Тайной канцелярии решения о нем, Базанове, учинить без высочайшего ее императорского величества соизволения не можно»⁵⁵.

Тайная канцелярия при Елизавете работала не менее активно; но сокращение репрессий по отношению к дворянству исключало повторение процессов против знати, подобных хорошо известным «делам» аннинского царствования: Д. М. Голицына (1737), князей Долгоруковых (1739), А. П. Волынского (1740).

В следующий раз политический сыск попытался реорганизовать Петр III (1761 — 1762). О его активном вмешательстве в дела учреждения говорить не приходится: в начале его царствования количество и объем докладов императору тогдашнего главы канцелярии П. И. Шувалова сильно сократились, а 21 февраля 1762 года государь упразднил Тайную канцелярию. В манифесте о ее ликвидации говорилось, что Петр I учредил ее из-за «неисправленных в народе нравов»; однако они уже явно изменились к лучшему, и «с того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых дел канцеляриях; но как Тайная розыскных дел канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ, или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, Или же зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей». Вместе с ликвидацией Тайной канцелярии отменялась и зловещая форму-

ла: «Ненавидное выражение, а именно: слово и дело не долженствует отныне значить ничего; и мы запрещаем не употреблять оно никому; а естли кто отныне оно употребит в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и безчинники»⁵⁶.

В марте—апреле 1762 года сенаторы разбирали дела упраздненной канцелярии и решали, что делать с ее арестантами: кого — на свободу, кого — в монастырь, а кого — в Нерчинск. Правда, сам император еще 7 февраля повелел «учредить при Сенате особую экспедицию на таком же основании, как было при государе императоре Петре Втором». Манифест о ликвидации Тайной канцелярии не отменял дел «по первым двум пунктам», о которых по-прежнему, то есть письменно и устно «со всяким благочинием» полагалось доносить «в ближайшее судебное место, или к воинскому командиру», или в «резиденции» доверенным лицам императора Д. В. Волкову и А. П. Мелунову. Теперь только не разрешалось принимать свидетельств от колодников и арестовывать оговоренных без «письменных доказательств». Разбираться с доносами должны были те же люди, что и раньше: уже через неделю после выхода манифеста сенаторы распорядились перевести штатных сотрудников Тайной канцелярии в прежнем составе и с тем же жалованьем на новое место службы — в Тайную экспедицию; возглавлял их назначенный сенатским секретарем ассессор С. И. Шешковский⁵⁷.

Однако придворные нравы остались неизменными. Политика Петра III быстро сплотила недовольных в заговор во главе с его женой Екатериной. А временная дезорганизация карательного ведомства не позволила заранее выявить участников заговора и способствовала распространению порочивших императора слухов, которые теперь некому было пресекать. В итоге 28 июня 1762 года был успешно осуществлен дворцовый переворот, в результате чего император потерял трон, а затем и жизнь.

Екатерина II (1762—1796), подтвердив указ о ликвидации Тайной канцелярии, другим актом от 19 октября 1762 года утвердила Тайную экспедицию при Сенате. После того как в следующем году была осуществлена реформа Сената, Тайная экспедиция специальным указом была подчинена Первому департаменту и ею стал руководить непосредственно генерал-прокурор. Тайная экспедиция сохранила при этом свое исключительное положение в системе государственной власти — монополию на расследование преступлений «по первым двум пунктам», с подчинением ее юрисдикции лиц всех сословий и всех учреждений. Только теперь право предварительного следствия по политическим преступлениям получили местные органы власти; по установлении факта преступного деяния обвиняемый передавался в Сенат, который продолжал расследование и решал судьбу преступника — это позволило несколько разгрузить столичных чиновников от рассмотрения пустяковых дел.

В остальном работа органов политического сыска осталась прежней: на протяжении 34-летнего царствования Екатерины II и короткого правления Павла I (1796—1801) Тайная экспедиция производила следствие и суд по обвинениям в «непристойных словах» в адрес членов императорской фамилии или других высокопоставленных особ, осуждении правительственной политики, «богохульстве», «вольнодумстве» и «волшебстве», подделке документов и ассигнаций; наказывала за ложные доносы, распространение слухов о дворцовых переворотах; преследовала самозванцев, раскольников и первых русских масонов; боролась с иностранными шпионами; осуществляла надзор за подозрительными лицами.

История многоликкой Тайной канцелярии (в этой книге мы так и будем ее называть при изложении событий 1718—1762 годов) и Тайной экспедиции Сената завершилась по высочайшему указу императора Александра I от 2 апреля 1801 года. С этого момента дела, «важность первых двух пунктов заключающие», должны были рассматриваться мест-

ными судебными учреждениями «на тех же самых правилах, каковые и во всех уголовных преступлениях наблюдаются». Для лиц «простого звания» эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу дворян окончательно решал Сенат⁵⁸.

В эпоху реформ «дней Александровых прекрасного начала» в поисках наиболее эффективной структуры службы безопасности в 1805 году был учрежден Комитет высшей полиции, затем в 1807 году — секретный Комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общественного спокойствия. В 1810 году в России создается уже Министерство полиции, чья «особенная канцелярия» как раз и ведала пресечением государственных преступлений. Эксперименты завершились в правление Николая I появлением знаменитого Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии — но его история является темой для отдельного рассказа.

Зачем была нужна Тайная канцелярия?

Созданные в ходе Петровских реформ военная империя и новый аппарат власти имели уязвимые места с точки зрения политической стабильности режима. Уже с конца XVII века утвердившаяся было самодержавная власть подвергалась испытаниям при малолетних или неспособных к правлению монархах — в 1682—1689 годах началась борьба за власть между соперничавшими группировками знати. При этом возможность выбора между равно законными претендентами провоцировала такую ситуацию еще при старой системе престолонаследия.

Уничтожение традиционных способов и институтов выражения групповых мнений и интересов (упразднение Земских соборов и Боярской думы, ликвидация автономии церкви) также способствовало политической нестабильности; в этих условиях наблюдается усиление роли придворных «партий». Принципиальной особенностью петровской «рево-

люции» была установка не на сохранение и «улучшение» признанных норм и обычаев, а на «отказ от существующей традиции и от преемственности по отношению к непосредственным политическим предшественникам»⁵⁹. Смена модели культурного развития России сопровождалась изменением поведения самого государя, даже выглядевшего теперь не как православный царь. Упразднение Петром патриаршества, провозглашение себя «крайним судьей» Духовной коллегии (Синода) и принятие титула «Отца Отечества» означало в глазах подданных разрыв с древнерусской традицией. В результате церковной реформы верховная власть подчинялась теперь только Богу, но не церковным канонам.

Идеолог Петровских реформ Феофан Прокопович провозглашал право монарха изменять культурно-бытовые нормы, включая «всякие обряды гражданские и церковные, перемены обычаев, употребление платья, домов строения, чины и церемонии в пиروваниях, свадьбах, погребениях и прочая». Следствием этого явился «Устав о наследии престола» 1722 года, отменявший утвердившуюся (но никогда и нигде не закрепленную юридически) традицию передачи власти от отца к сыну. Новое светское обоснование власти одновременно «снижало» образ царя в глазах подданных, тем более что критерием оценки деятельности монарха становилось «общее благо».

Рационалистическое толкование такого «блага» могло привести к сомнениям в уместности некоторых преобразований, а культурная ломка — вызвать естественный протест. Получалось, что сам Петр I, опираясь на сложившиеся в русском обществе традиции, подрывал те из них, которые обеспечивали устойчивость власти. Насильственная европейзация вместе с нарушением прежнего порядка престолонаследия могла только усилить эти настроения: сознательное «антиповедение» государя едва ли способствовало законопослушанию подданных.

В трактате «Правда воли монаршей», призванном Разъяснить новый порядок престолонаследия, Феофан доказывал необязательность самого принципа

наследственной монархии: «Священник не должен пещися, дабы сын его был священник, тако и воевода, и градоначальник»; — тем более государь, стоящий выше любого «человеческого закона», в выборе наследника волен не принимать в расчет даже само «сыновство» и сделать преемником любого «честного и умного юношу». Более того, трактат рассматривал ситуацию, когда монарх скончался, не успев назначить наследника: в таком случае «должен народ всякими правильными догадами испытывать, какова была или быти могла воля государева», и определять престол «первородному» или иным возможным наследникам, не исключая дочерей, «где женская власть не отставлена» какими-либо иными законами.

Подобная интерпретация фундаментальной основы монархического правления оправдывала не только произвол власти, но и право подданных «испытывать» кандидатов на престол — при категорическом отрицании идеи избирательной монархии. Петровская «Табель о рангах» стимулировала активность неродовитых дворян и выходцев из «подлых» сословий. Поколение «выдвиженцев» вместе с «прививкой» ему новых представлений получило широкие возможности, отразившиеся в повестях Петровской эпохи в образе нового русского шляхтича, делавшего карьеру, обретавшего богатство, повидавшего весь мир. Герой появившейся в окружении царевны Елизаветы «Гистории о некоем шляхетском сыне» в «горячности своего сердца» уже смел претендовать на взаимную любовь высокородной принцессы. В такой дерзости не было ничего невозможного. «Как к ней пришел и влез с улицы во окно и легли спать на одной постеле» — в «эпоху дворцовых переворотов» эта литературная ситуация стала реальностью.

Борьба различных группировок за трон, начавшаяся еще в 1682 году, обозначилась в деле царевича Алексея, а потом с новой силой разгорелась после смерти Петра I. С 1725 по 1762 год на российском престоле сменились семь императоров и императриц, чье «восшествие» и правление сопровождалось

большими и малыми дворцовыми «революциями». Такая нестабильность была «платой» за реформы, за ломку традиционной политической культуры. Репрессии против одних представителей знати и выдвижение других, «перетряска» кадров порождали неуверенность в завтрашнем дне и ропот.

«Я бы розст[р]елял государыню императрицу, что де бояр жалует из маэоров в капитаны», — публично переживал верный холоп — юный «камардин» (камердинер) капитана Михаила Чебышева. Сам Чебышев в конце 1729 года сумел каким-то образом подступиться к фавориту Петра II Ивану Долгорукову и выпросить назначение плац-майором в Ригу. Но после смерти императора Долгоруковы попали в опалу, и новоиспеченного майора вместо веселой жизни в Риге ждала отправка в Эзельский полк. Он отказался от назначения и был разжалован в капитаны и отправлен под конвоем на Украину в полевую армию. Обиженный офицер пытался создать «дело» и объявил со слов некоего сидевшего на рижской гауптвахте солдата о заговоре латышских крестьян с целью «русских салдат, которые у нас по квартирам стоят, побить»; но здесь ему опять не повезло, поскольку солдатское «разглашение» было признано ложным⁶⁰.

Подспудная, но непрерывная борьба в правящей элите делала необходимым появление специальной структуры для борьбы с попытками покушения на престол со стороны очередной группы недовольных. Другое дело, что реагировать на полупьяные разговоры о «перемене» власти или очередные «непристойные слова» в адрес монарха или его министров было куда легче, чем предотвратить переворот.

Глава 2
Радетели сыскного дела:
начальники и слуги Тайной канцелярии

Венценосные дознаватели

Органы политического сыска занимали заметное место среди других современных им государственных учреждений России. Первым в ряду монархов, активно участвовавших в работе этого ведомства, стал создатель российского регулярного государства.

Петр I обычно обстоятельно слушал подносимые ему экстракты по делам, часто просматривал следственный материал, давал указания о дальнейшем направлении розыска или его прекращении. Насколько царь вникал в дела, можно судить по тому, что канцелярия иногда только подготавливала материал, а государь решал, «что чинить». Если дело поступало к нему уже с проектом приговора, Петр накладывал свою резолюцию. В особо его интересовавших случаях (например, на следствии о стрельцком восстании 1698 года) государь сам составлял вопросы обвиняемым.

Однажды царь стал даже инициатором провокации, жертвой которой оказался приехавший в Петербург тихвинский архимандрит Рувим. 7 декабря 1718 года его посетил гардемарин Данила Каблуков — как потом оказалось, по поручению Петра, которому доложили о якобы чудотворной иконе, коей Рувим возносит молитвы на дому. Гардемарин упросил архи-

мандрита отслужить молебен перед привезенной из монастыря иконой. Во время литургии неожиданно появился сам государь, взял архимандрита и икону под арест и отправил в Тайную канцелярию. Туда же присылались приходившие в покои архимандрита и попадавшие в оставленную там засаду посетители — невинные люди, в том числе приехавший в Петербург за благословенной грамотой и антимином старец Маркел из Яшозерской пустыни. После следствия Рувима велено было отправить в Александро-Невский монастырь и «тамо быть в рядовых иеромонахах безисходно». Архимандриту монастыря Феодосию Яновскому поручили над ним «иметь присмотр, чтоб он не пустосвятил и не ханжил»¹.

Иногда же Петр принимал участие и в самом процессе следствия. О его собственноручных пытках документы Преображенского приказа свидетельств не оставили; но известно, что он лично допрашивал царевен Софью, Марфу и Екатерину, которым неместно было представлять в качестве обвиняемых перед подданными.

Сентиментальностью царь не отличался, но и понапрасну старался не наказывать. В 1700 году немудрящие крепостные бабы Ненила и Анна Полосухины жаловались на отправившихся в армию мужиков. «Муже де моево, — вопила Ненила, — чорт понес, а меня покинул с робяты, кому их кормить». На замечание кого-то из соседей, что муж ее государю служит, Анна брякнула: «К чорту де пошли, а не к государю. У нас де свой государь, кто нас поит и кормит». Тут началось дело об оскорблении государя; бояре приговорили неосторожную бабу к смерти, однако царь приговора не утвердил. Он заинтересовался, с чего Анна противопоставила своего «государя» — господина-помещика — настоящему государю; но как только убедился — после пытки, — что баба болтала без умысла, то повелел заменить Анне смерть ссылкой без наказания кнутом, а Ненилу отпустить к помещику. По тем временам это решение можно считать мягким. Но в других случаях Петр мог и ужесточить наказание — он повелел не просто отрубить



голову бывшему фискалу Ефиму Санину, а непременно его колесовать².

Тридцатого сентября 1698 года на Красной площади в Москве Петр принял участие в первой массовой казни участников Стрелецкого бунта. Государь при огромном стечении народа взялся лично рубить головы приговоренным; причем его свита была обязана принять в этом участие — смогли отказаться лишь иностранцы, отговорившиеся боязнью снискать ненависть толпы. Возможно, царь был разгорячен зрелищем казни — или усомнился в профессионализме катов. Ведь известно, что он превыше всего в людях ценил профессионализм и, сам владея двенадцатью специальностями, однажды выговаривал палачу, что у осужденного «ноздри вынуты малознато» — не до кости.

Преемницы Петра I также проявляли к политическому сыску особый интерес, нередко лично участвовали в следствии, вмешивались в его ход, знакомились с показаниями обвиняемых, выносили приговоры.

Племянница Петра Анна Иоанновна обычно утверждала определения Тайной канцелярии неизменными: например, по приговору канцелярии о казни некоего распопы Саввы «ее императорское величество соизволила указать оному распопе учинить по определению походной Тайной канцелярии». Но были случаи — к примеру, дело по обвинению солдата Седова в произнесении «непристойных слов», — когда государыня изменяла приговор: «Ее императорское величество соизволила оную выписку слушать, и по слушании соизволила указать онаго Седова вместо смерти послать в Охоцк».

Глава канцелярии Ушаков, докладывавший императрице следственные дела и тщательно фиксировавший ее указания, иногда записывал разговоры, которые вела с ним Анна. Одна из таких записей констатирует, что Анна приказала для производства обыска у неких колодников послать в Кириллов и Иверский монастыри офицера с солдатами, а по их возвращении доложить ей о результатах обыска. Де-

ло псковского воеводы Плещеева, «приличившегося» в непристойных высказываниях, государыня распорядилась не расследовать — «токмо соизволила ее величество указать онаго Плещеева из Пскова с воеводства переменить, и о перемене его сообщить в Сенат».

Иногда после заслушивания экстракта Анна повелевала, чтобы обвиняемый лично записал свои показания и они были ей представлены в подлиннике³. В особо важных случаях императрица участвовала в процессе и сама вела допросы. В указе от 14 марта 1732 года Ушаков зафиксировал, что по доносу некоего целовальника Суханова на известного П. И. Ягужинского она «перед собою» опрашивала свидетеля Афанасия Татищева, показавшего, что от графа Ягужинского не слышал никаких непристойных слов; тогда Анна велела более не подвергать его допросам. Интерес, проявленный государыней к этому делу, понятен: Ягужинский занимал высокое положение, являясь виднейшим дипломатом (впоследствии он даже стал кабинет-министром), Анна его не любила и даже боялась; как только представилась возможность, она удалила его в почетную ссылку — посланником в Берлин.

Власть держала в поле зрения судьбы не только подследственных, но также и сотрудников Тайной канцелярии: ротации ее чиновников осуществлялись особыми именными указами — например, указом от 20 февраля 1741 года Николая Хрущова перевели в Московскую контору и вместо него назначили секретарем Тихона Гуляева. В 1743 году Елизавета Петровна, выслушав сообщение Ушакова о смерти секретаря Гуляева, «изустным указом повелеть соизволила» назначить на его место Ивана Набокова⁴.

Елизавета Петровна, знакомясь с делами Тайной канцелярии через подносимые ей Ушаковым экстракты, нередко оказывала влияние на ход следствия, давая его главе указания по направлению розыска — например, еще раз допросить колодника: «привести в застенки и о чем по делу надлежит, спрашивать его с пристрастием, и, что покажет, доложить

ее императорскому величеству». Эмоциональная императрица оставляла на поданных ей бумагах свои ремарки; так, она была возмущена, обнаружив, что ее лейб-медик Арман Лесток, вопреки запрету, встречался с иностранным «министром», и на полях против его показаний начертала: «Не должен ли ты, как раб, доложить государю, что не знал, что он плут, то от меня прощено б было». Императрице было тем более неприятно узнать, что проныра Лесток не только игнорировал ее указ, но и брал от «богомерзкого человека» подарки⁷.

Многие доношения о важных делах попадали непосредственно в руки государыни, которая их отправляла затем в Тайную канцелярию. Например, 13 ноября 1744 года она передала Ушакову некоего раскольника, предварительно допросив его, какие он «имеет объявить ее императорского величества царственные вещи» (оказалось, что ими он числил веру, надежду и любовь), и проведя с ним богословский диспут о необходимости креститься трехперстным сложением, ибо это — символ Троицы.

В 1745 году в Тайную канцелярию поступил донос, что несколько дворян в российской глуши в беседе нехорошо отзывались о Елизавете, хвалили свергнутую правительницу Анну Леопольдовну и мечтали разделить Россию... себе на «княжения». Следствие настоящего заговора не обнаружило; но Елизавета, прочитав поданный ей экстракт, сочла дело важным: «1 дня июня порутчик Евстафий Зимнинский и дворянин Андриан Беклемишев пред ее императорское величество порознь представлены были; и оный Зимнинский перед ее императорским величеством говорил — тож, что и в Тайной канцелярии распросом своим он показал; а помянутый Беклемишев что имянно перед ее императорским величеством говорил, о том им (проводившим сыск А. И. Ушакову и А. И. Шувалову. — *И. К. Е. Н.*) неизвестно, понеже ее императорское величество изволила онаго Беклемишева спрашивать уединенно». Спустя неделю высочайшая следовательница прислала в канцелярию собственноручную запись сле-

данных ею наедине показании Беклемишева: что однажды, когда он, Татищев и Зыков «сидели трое», кто-то из них начал сожалеть о принцессе Анне, говорить, что при ней было лучше, что Елизавета Бога не боится — их не пускает за границу; что было бы легче, если бы воцарился Иоанн; что в прошлых годах был некий съезд большого количества народу, где решено было разделить Россию на отдельные княжества, «и всякий из них по княжению себе взял»⁶.

Наконец, иногда императрица сама вела дела и передавала преступника в канцелярию лишь для исполнения приговора. Так, в 1748 году граф Шувалов получил от нее указ: «двора ее императорского величества лакея Ивана Щукина за произнесенные им непристойные слова, о которых самой ее императорскому величеству известно, сослать <...> в Оренбург на службу»; канцелярии осталось только исполнить приговор, оставшись в неведении относительно преступления Щукина. Однажды Елизавета заинтересовалась собственным двойником — распорядилась 18 февраля 1742 года доставить из Шлиссельбурга «для своей курьезиты» жену канцеляриста Ладожской канцелярии Киприяна Маркова Федору, якобы похожую «слово в слово как наша государыня». Уже через два дня семеновский солдат привез обомлевшую «женку» во дворец, но всё закончилось для нее благополучно: Елизавета на нее посмотрела, осталась довольна — и отпустила Федору домой с подарком в сотню рублей⁷.

Как свидетельствуют источники, Екатерина II также лично вникала во все тонкости того, «что до Тайной касается», несмотря на публичное дистанцирование от «кнутобойных» методов. В начале правления она чувствовала себя на узурпированном престоле неуверенно; позже, будучи реально правящей императрицей, Екатерина не могла оставить без личного контроля столь важное учреждение. Впрочем, заботы такого рода доставались и на долю ее фактического соправителя Г. А. Потемкина — начиная с 1775 года на имя князя поступали рапорты подчи-

ненных ему гражданских и военных властей юга России с извещениями о явившихся самозванцах, «разгласителях» и доносах по политическим делам⁸. Но всё же решающее слово оставалось за императрицей, и признанные наиболее опасными преступления «следовались» в Петербурге.

Бумаги Тайной экспедиции хранят множество вопросов и записок-указаний Екатерины II следователям и генерал-прокурору Вяземскому. В 1771 году при назначении нового коменданта Ревельской крепости императрица напоминала: «Как генерал поручик фон-Бенкендорф ныне обер-комендантом в Ревеле определен, то не изволишь ли писать к нему, чтобы он за Вралиом (Андреем Вралем именовали после расстрижения ростовского митрополита Арсения Мацевича. — *И. К. Е. //.*) имел смотрение такое, как и Тизенгаузен имел; а то боюсь, чтоб, не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверьком смотреть, а нам от того не выливались новые хлопоты». Она лично расспрашивала офицера, который арестовал владыку и сопровождал его в Москву: «Когда он в 1763 году брал архиерея из Ростова, то был ли на нем крест с мощами, и не могли ли он его с собою увезти?» Императрицу мучили подозрения: если во время пребывания митрополита Арсения в Корельском монастыре кто-то прислал ему святые мощи, значит, он поддерживает связь со своими сторонниками? Государыня напоминала надзирателям, чтобы они ни на минуту не сводили с арестанта глаз. Она писала коменданту тюрьмы: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтобы не улетела. Надеюсь, не подведешь себя под большой ответ. <...> Народ его очень почитает истари и привык его считать святым, а он больше ничего, как превеликий плут и лицемер».

После поимки в 1774 году Пугачева и его сподвижников Екатерина послала в Симбирск генерал-майору П. С. Потемкину письмо, свидетельствующее о хорошей осведомленности о расследовании, проводимом Тайной экспедицией, и о ее кадрах: «Пове-

леваю вам по получении сего перенести пребывание ваше к Москве и тамо, под дирекциею князя Михаила Никитича Волконского, продолжать разбирательство дела сего важного колодника. Для лучшего же узнания начала и всех концов сего злодейского дела советую вам Чику из Казани перевести в Москву, также из Оренбурга Почиталина с товарищи, если еще в живых, как я и думаю, находятся. Прочих колодников, дел менее важности имеющих и их самих, можете поручить человекам двум гвардии офицерам и придайте им тайной экспедиции секретаря Зряхова, который в Оренбурге, и весьма к сим делам привыкшего и то под моими глазами многие годы; а в Москву теперь я отправляю Шешковского в Тайную экспедицию, который особливый дар имеет с простыми людьми»⁹.

Императрица постоянно держала под своим контролем дело просветителя Н. И. Новикова, считая его чрезвычайно опасным. По ее распоряжению он был заточен в московскую тюрьму, а вскоре главнокомандующий Москвы Прозоровский и шеф Тайной экспедиции Шешковский перевезли его в глубокой тайне — в закрытой карете и под чужим именем — в один из самых страшных российских застенков — Шлиссельбургскую крепость. Императрица сама разработала маршрут: «Дабы оное скрыть от его со товарищей, то прикажите вести его на Владимир, а оттуда на Ярославль, а из Ярославля на Тихвин, а из Тихвина на Шлюшин и отдать тамошнему коменданту. Везти же его так, чтобы его никто видеть не мог». Екатерина составляла вопросы для Новикова, которые затем ему задавал Шешковский; писала свои замечания на объяснения Новикова; указывала, кого привлечь в качестве свидетелей¹⁰.

Как мы убедились, не существовало каких-либо объективных норм, в соответствии с которыми Тайная канцелярия должна была передавать дела на рассмотрение верховной власти. Следовательно, во многом их исход мог зависеть как от воли монарха, так и от служащих канцелярии — генералов и рядовых политического сыска.

«Великая служба» графа Петра Толстого

Уникальное положение «исполняющего обязанности царя», которое в начале XVIII века занимал князь Федор Юрьевич Ромодановский, не могло быть унаследовано никем из его преемников, тем более что появление новой системы центрального управления требовало более четкого разграничения их компетенции. Громоздкий Преображенский приказ уже в конце петровского царствования выглядел архаично.

Создание Тайной канцелярии и постепенная ликвидация «непрофильных» функций Преображенского приказа явились шагом к созданию специализированной системы политического сыска. В Москве остался новый «князь-кесарь» Иван Ромодановский; царь относился к нему с уважением, но *всё* же в число наиболее активных и влиятельных лиц при петровском дворе его включить, как уже говорилось, нельзя. Зато дело царевича Алексея выдвинуло в первый ряд «министров» Петра Андреевича Толстого (1645-1729).

Начальник Тайной канцелярии происходил из старинного служилого рода. «Прадед мой родной Иван Иванович Толстой во время царя Ивана Васильевича был воеводою полковым на Крапивне, а брат его родной, а мой прадед двоюродной, Селиверст Иванович, при царе Василье Ивановиче в московское осадное сиденье был воеводою полковым в Москве, в урочище на Трубе, где от неприятелей и убит, — писал сам Толстой о заслугах предков. — А дед мой родной Василей Иванович во время царя Михаила Феодоровича в 7141 (1633-м. — *И. К. Е. Ш* году был полковым воеводою под Москвою, за рекою Яузою, во время войны с поляками и при царе Алексее Михайловиче был прежде в стольниках и послан был воеводою в Чернигов, и во время измены гетмана казацкого Брюховецкого сидел в том городе долгое время в осаде, где и я при отце моем был же и в осаде с ним сидел. И оной город отец мой от изменников сохранил, за что пожалован тогда в думные

дворяне. А братья мои родные Михайло Андреевич был воеводою в Астрахани, Иван Андреевич был губернатором в Азове, тако ж и другие мои сродники в знатных чинах и услуги к Российскому государству показали».

Толстой был связан родством с боярами Милославскими и царевной Софьей, но вовремя разглядел юного Петра — и в 52 года в компании молодых дворян отправился в Венецию изучать военно-морское дело. «Пенсионер» выучил итальянский язык, вел дневник, в который заносил впечатления от «зело чудных» готических соборов и картин «чудных писем святых итальянского живописного изрядного мастерства». Времени даром он не терял — военно-морской наукой овладел, но ему предстояло не служить на флоте, а осваивать дипломатическое поприще. Петр оценил таланты пожилого стольника и назначил его первым постоянным российским послом в Стамбуле (до того сотрудники Посольского приказа отправлялись в чужие края с разовыми миссиями), где Толстой провел более десяти лет. Здесь он показал себя искусным дипломатом: наладил связи с турецкими вельможами и их слугами, одновременно пресекая их попытки добывать информацию, — даже отравил посольского подьячего, склонявшегося к измене и намеревавшегося принять ислам. Два раза его брали под арест и содержали в Семибашенном замке, когда Турция объявляла войну России; но он сумел уладить отношения между двумя державами, составил серьезное и интересное политическое и географическое описание Османской империи начала XVIII века и отдельно — турецкого флота.

По возвращении из Турции 70-летний Толстой стал одним из ближайших советников царя по дипломатической части. В 1716—1717 годах он сопровождал Петра в западноевропейской поездке, принимал участие в дипломатических переговорах в Амстердаме, Париже, Копенгагене. Он сумел, не разжигая дипломатического конфликта, вернуть из австрийских владений беглого Алексея Петровича, обещав ему отцовское прощение, а потом допраши-

вал его, был участником суда над ним и присутствовал на последней пытке, которая, возможно, и была причиной смерти царевича.

Заслуги Толстого были вознаграждены по достоинству: он получил щедрые земельные пожалования и стал действительным тайным советником «за показанную так великую службу не токмо ко мне, — говорилось в царском указе, — но паче ко всему отечеству в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества». Петр Андреевич стал в 1722 году кавалером первого русского ордена Андрея Первозванного, а на коронации жены царя Екатерины в 1724 году был от нее пожалован графским титулом.

Граф и кавалер Толстой стоял во главе Тайной канцелярии восемь лет. В 1719 году его запечатлел придворный художник И. Г. Таннауэр. На портрете изображен пожилой, но бодрый человек в щегольском кафтане и модном парике с умным, волевым лицом и чуть ироничным взглядом прищуренных глаз. Тяжелый подбородок, тонкие сжатые губы, густые брови вразлет — может, художник несколько польстил модели (Толстому тогда было 74 года), но всё же изобразил не утомленного старца, а крепко сбитого вельможу себе на уме. «Человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, то нужно держать камень в кармане, чтобы выбить ему зубы, если он захочет кусаться», — похоже, очевидцы не слишком исказили характеристику, данную Толстому хорошо разбиравшимся в людях царем Петром.

Судя по обилию должностей и трудов Петра Андреевича, в эти годы он таким и был — талантливым, деловым, лукавым, сохранявшим и в старости некоторое вольнодумство в духе своего века. «Жены у него нет, но есть любовница, которой содержание, говорят, обходится ему весьма дорого», — описал образ жизни графа молодой голштинский камерюнкер Фридрих Берхгольц, приведя забавный рассказ о визите к Толстому своего герцога: гость «тотчас же обратил внимание на две совершенно различные картины, повешенные в противополож-

ных углах его комнаты: одна изображала кого-то из русских святых, а другая нагую женщину. Тайный советник, заметив, что герцог смотрит на них, засмеялся и сказал, что удивляется, как его высочество так скоро все замечает, тогда как сотни лиц, бывающих у него, вовсе не видят этой обнаженной фигуры, которая нарочно помещена в темный угол»¹¹.

Толстой не только возглавлял Тайную канцелярию, но еще и руководил в 1718—1721 годах Коммерц-коллегией, при этом не оставляя дипломатической службы: в 1719 году вел переговоры в Берлине; в 1721-м — ездил с царем в Ригу; в 1722—1723 годах сопровождал Петра в Персидский поход в качестве начальника походной канцелярии — в преклонном возрасте и при тогдашнем весьма относительном комфорте.

Тайной канцелярией он руководил не один, а стоял во главе своего рода коллегии, члены которой вместе подписывали приговоры: «По указу его императорского величества тайной советник и от лейб-гвардии капитан Петр Андреевич Толстой, генерал-порутчик Иван Иванович Бутурлин, от лейб-гвардии Преображенского полку маэор Андрей Иванович Ушаков, от гвардии от бомбандир капитан-порутчик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, слушав вышеписанного, присланного в Канцелярию тайных розыскных дел из Поместного приказа доношения, и челобития Степана Лопухина приговорили <...>»¹². Документы показывают, что они работали слаженно; каждый мог получить конкретное царское распоряжение по тому или иному делу и приступал к исполнению с пояснением: «сей его царского величества указ в Тайной канцелярии объявил я, Иван Бутурлин». Но Толстой в этой команде был первым среди равных: он реже других бывал в застенке, но именно его подпись в документах Тайной канцелярии стояла первой из четырех; а самое главное — только Толстой в те годы был постоянным советником государя и докладывал ему о делах своего ведомства. Коллеги признавали его превосходство (иногда в документах его и именовали «первенствующим») и,

посылая к нему экстракты дел, просили «о чем надлежит, по своему благоразумному рассуждению хотя и его царского величества доложить». Толстой требовал от подчиненных уведомлять его «токмо о нужнейших делах» и докладывал царю «по своему благоразумному рассуждению» то, что считал нужным, хорошо зная, что может интересовать того в первую очередь. Прочим «министрам» он отписывал: «Мнит-ся мне, что трудить докладом царского величества не для чего» — или, наоборот, объяснял, что дело фискала Санина, «.. чаю, надлежит доложить императорского величества, понеже изволил его величество мне повелеть, чтоб Санина казнить умедлить для того, что его величество изволил иметь тогда намерение сам его, Санина видеть».

С 1722 года Бутурлин уже не участвовал в делах Тайной канцелярии, а в следующем году из числа ее «министров» выбыл Скорняков-Писарев. В последние годы существования петровской Тайной канцелярии ею руководили Толстой и Ушаков. Указом от 13 января 1724 года Петр повелел, «чтоб при Сенате учинит кантору розыскных дел, также особливую полату для случающихся дел чрезвычайных; и, первое, когда какой розыск будет в Сенате, то дела оные там будут, а другое место для таких дел, как Шафирово случилось. Но сему месту быть без служителей, но, когда случай позовет; тогда на время брать». Петра беспокоили волокита и безалаберность работы загруженной делами сенатской канцелярии, где «секретные дела вынесены от подъячих черкасам, и зело удивительно, что как ординарные, так и секретные дела в Сенате по повытием». «Того ради, получа сие, учините по примеру Иностранной коллегии, чтоб впредь такого скарעדства не учинилось», — требовал он от сенаторов в указе от 16 января того же года¹³.

Таким образом, Сенатская канцелярия должна была быть разделена на две части — общую и для секретных дел. Эта секретная часть включала в себя контору розыскных дел, а также особую палату для дел чрезвычайных — расследований деятельности высших чиновников, подобных вице-президенту

Коллегии иностранных дел П. П. Шафирову (в 1723 году он заказнокрадство был лишен чинов и титулов и приговорен к смертной казни с конфискацией имущества, замененной ссылкой). В компетенцию конторы, надо полагать, вошли бы аналогичные розыски для менее именитых подследственных.

В том же январе по другому указу Тайная канцелярия должна была передать основную часть дел и колодников Преображенскому приказу. Возможно, этот указ инициировал сам ее первоприсутствующий, устав от текущей и малоинтересной работы, ведь большинство преступлений составляли различные «непристойные слова» в адрес власти.

При новом раскладе Преображенский приказ стал бы заниматься допросами и поркой неосторожных обывателей, а сенатор Толстой — действительно важнейшими делами, расследованием злоупотреблений персон самого высокого ранга¹⁴. Надо отдать должное чутью графа: именно эти дела были наиболее актуальными в последние годы царствования и больше всего занимали царя; из 31 сановника, подвергшегося при Петре I уголовному преследованию, под судом оказался 21 человек — 26 процентов всех высокопоставленных госслужащих того времени¹⁵.

Однако Тайная канцелярия так и не была передана в подчинение Сенату — то ли у Толстого нашлись не менее влиятельные противники, то ли сам царь решил не множить следственные органы и сосредоточить дела такого рода в Вышнем суде. Указ от 21 апреля 1724 года носил компромиссный характер — требовал отсылать «преступников в оскорблении величества или и в делах, к возмущению клонящихся, из Сената и из Тайной канцелярии в Преображенский приказ», но умалчивал о полномочиях Тайной канцелярии или проектируемого нового секретного ведомства Сената по части расследования дел по «третьему пункту»¹⁶.

Контора розыскных дел при Сенате все-таки была создана, но провела только одно расследование — по обвинению герольдмейстера С. А. Колычева в присвоении казенных денег и других злоупотреблениях;

затем она была ликвидирована в связи с учреждением в 1726 году Верховного тайного совета и реорганизацией Сената. Начатая императором борьба с коррупцией в государственном аппарате сошла на нет при его преемниках.

Самому же графу Толстому еще предстояло пережить последний кратковременный взлет карьеры. Близость к царской семье заставила его сделать выбор в споре о престолонаследии во время последней болезни Петра I. Тогда, в ночь с 27 на 28 января 1725 года, видные сенаторы и президенты коллегий (П. М. Апраксин, Д. М. Голицын, Н. И. Репнин, В. Л. Долгоруков, Г. И. Головкин, И. А. Мусин-Пушкин) хотели возвести на престол сына царевича Алексея — Петра II, а Екатерину оставить правительницей вместе с Сенатом. Против были Толстой и Меншиков. Представители обеих «партий» ранее поставили свои подписи под смертным приговором Алексею. Противников разделяло другое — петровские дельцы принципиально не принимали новую конструкцию власти. «В том положении, в каком находится Российская империя, ей нужен властелин мужественный, опытный в делах, способный крепостью своей власти поддержать честь и славу, окружающие империю. <...> Все требуемые качества соединены в императрице: она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны; она неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое великодушие и свою любовь к народу, которому доставила бесконечные блага вообще и в частности, никогда не сделавши никому зла», — уговаривал собравшихся «персон» первых рангов Толстой. Эти речи (даже если они изложены французским послом Кампредоном не с протокольной точностью) дают представление о подходе Толстого к власти: для него личность самодержца была явно выше любого закона; тогда как его и Меншикова противники отстаивали преимущество законных учреждений над «силой персон».

Пока вельможи спорили, А. Д. Меншиков и И. И. Бутурлин привели в дворцовые покои гвардей-

ских офицеров, которые и решили исход дебатов в пользу Екатерины. После смерти Петра I и воцарения его вдовы П. А. Толстой стал одним из членов Верховного тайного совета и, судя по донесениям дипломатов, наиболее влиятельным советником царицы. Но скоро у графа разгорелся конфликт с его бывшим единомышленником Меншиковым: светлейший князь задумал женить провозглашенного наследником сына царевича Алексея (будущего Петра II) на своей дочери Марии, в результате чего сам он смог бы стать регентом при несовершеннолетнем государе.

Видимо, Меншиков и не дал превратить Тайную канцелярию в особый следственный орган по делам о коррупции. Именным указом от 28 мая 1726 года она была упразднена; всё ее имущество «з делами и с приказными служителями» надлежало отдать в Преображенский приказ в ведение И. Ф. Ромодановского¹⁷, что лишило Толстого важного средства воздействия на государыню и права личного доклада. Он к тому времени уже потерял былое влияние и жаловался, что царица не слушает его советов.

Петр Андреевич не смирился — выступил в поддержку прав на престол дочерей Петра, обсуждал ситуацию с генерал-полицеймейстером Антоном Девиером. Но до настоящего заговора дело не дошло. Ни Толстой, ни Девиер «силовыми» возможностями не располагали — да и не в характере блестящего дипломата были такие действия. Не дал заговору «созреть» и Меншиков: пока его противники обменивались «злыми умыслами и разговорами», а Толстой ждал удобного случая для высочайшей аудиенции, 24 апреля 1727 года князь добился от смертельно больной императрицы указа об аресте Девиера. «На виске» (дыбе) после 25 ударов кнутом Девиер назвал своих собеседников. Следователи отправились с Допросом к Бутурлину и Толстому. Старому графу повезло — он не познакомился лично с практикой своего застенка (его допрашивали под домашним арестом), но всё же признался в намерении короновать дочерей Екатерины¹⁸.

Следствие по обвинению в подстрекательстве к «великому возмущению» было проведено в рекордный срок. Меншиков не отходил от умиравшей Екатерины и добился-таки от нее приговора по делу. Манифест о раскрытии якобы имевшего место заговора был издан лишь 27 мая: уже от имени Петра II преступники обвинялись в умысле против его воцарения и «сватовства нашего на принцессе Меншиковой»¹⁹.

Толстой был отправлен в заключение на Соловки с лишением чинов и конфискацией имущества. Летом 1728 года умер сосланный вместе с ним сын Иван; сам Петр Андреевич ненадолго пережил его — скончался 30 января 1729 года, в возрасте 84 лет и был похоронен у стен монастырского Преображенского собора. Только через 13 лет, в 1742 году, императрица Елизавета Петровна вернула потомкам Толстого часть конфискованных имений, а в 1760 году — графский титул. Девиера и Скорнякова-Писарева сослали в Сибирь; старика Бутурлина еще в 1726 году отстранили от командования гвардейским полком; теперь же он был лишен чинов, наград и отправлен доживать век в свое владимирское имение — село Крутцы. Ушакова перевели из столицы в полевой полк; однако Андрей Иванович вскоре вернулся, чтобы возродить Тайную канцелярию.

«Генерал и кавалер» Ушаков

Андрей Иванович Ушаков (1670—1747) вышел из другой среды, нежели его предшественник и начальник. Сирота из бедных новгородских дворян (на четверых братьев — один крепостной) не имел отношения ко двору и начал карьеру, как и многие его современники, рядовым петровской гвардии — в 1704 году стал солдатом-добровольцем Преображенского полка.

Для таких гвардейцев служба была единственной возможностью получить обер-офицерский чин и в редком случае «деревнишку» (при Петре I землей оделяли с разбором), а жалованье — основным ис-

чником существования. Часто они так и умирали «при полку», находясь «на баталиях и в прочих воинских потребах безотлучно»; другие выходили в отставку 60-летними солдатами, порой не имевшими ни одной крепостной души. Храбрость, исполнительность и усердие позволяли ускорить получение чинов; но чтобы сделать настоящую карьеру, нужны были особые способности. Ведь петровская гвардия была не только элитной воинской частью, но и школой кадров военной и гражданской администрации: из ее рядов в первой половине XVIII века вышло 40 процентов сенаторов и 20 процентов президентов и вице-президентов коллегий²⁰. При Петре гвардейцы формировали новые полки, выполняли ответственные поручения за границей, собирали подати, назначались ревизорами и следователями; порой сержант или поручик были облечены более значительными полномочиями, чем губернатор или фельдмаршал.

Ушаков, как оказалось, обладал всеми нужными качествами. Чего только ему не приходилось делать: участвовать в подавлении восстания атамана Кондратия Булавина на Дону, воевать против шведов и их польских союзников, бороться с чумой и заготавливать корабельный лес в Прибалтике, улаживать пограничные конфликты в Литве, инспектировать украинские войска гетмана Скоропадского, набирать пополнение в гвардию среди «царедворцев», вывозить провиант и армейское имущество из Польши²¹. Но зато он вышел в люди: в 1709 году стал уже капитан-поручиком и адъютантом царя; а в 1714-м — майором гвардии и начальником следственной канцелярии. Эта «Канцелярия рекрутного счета», образованная для проверки поставки рекрутов из разных губерний, выявления происходивших при этом злоупотреблений, расследовала еще и финансовые нарушения других учреждений, «утайку душ» при проведении переписи и рассматривала дела о хищениях должностных лиц по «третьему пункту»²². В 1717—

1718 годах Ушаков контролировал строительство кораблей в Петербурге, набирал матросов для них и

мастеровых людей для новой столицы, докладывая обо всем самому царю.

В Тайную канцелярию Андрей Иванович пришел, уже имея за плечами немалый опыт проведения всевозможных «розысков». Поэтому он и занял в ней место фактического начальника: он больше сослуживцев проводил время в присутствии и регулярно сообщал Толстому о своих действиях и полученных результатах. «Государь мой милостивый Петр Андреевич, — писал Ушаков Толстому в ноябре 1722 года, — о состоянии здешнем доношу: за помощью Вышнего все благополучно. Из Москвы отправил я двух курьеров до вашего превосходительства с выписками по Левину делу, и оные до вашего превосходительства прибыли ль, о том я неизвестен и зело сомневаюсь, живы ль они; <...> в канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные <...>. Только мне зело мудрено новгородское дело, ибо Акулина многовременно весьма больна <...>, а дело дошло, что надлежало было ее еще розыскивать, а для пользования часто бывает у нее доктор, а лекарь безпрестанно. Колодников имеется по делам ныне 22 человек». На это письмо Толстой отвечал: «Государь мой Андрей Иванович! Письмо ваше, моего государя, от 20 сего января получил я вчерашнего числа в целости, за которое и за уведомление по оном благодарствую и сим моим ответствую. Сомнением вашим, государь мой, по новгородскому делу я весьма согласуюсь: и что распопа Игнатий при смерти скажет, на том можно утвердиться, и по тому его последнему допросу и бабам указ учинить, чего будут достойны; и тем оное дело окончат».

В следующем году Ушаков тоже посылал Толстому экстракты, к примеру, с таким сопроводительным письмом: «Государь мой милостивый Петр Андреевич! До вашего превосходительства предлагаю при сем по Тайной канцелярии о нерешимых делах экстракт. А какие и о чем, тому значит при сем реестр, по которым требую резолюции, что чинить; и так остаюсь вашего превосходительства раб Ушаков Андрей». В ответ Толстой посылал «государю моему Андрею Ивановичу» необходимые указания.

Если сам Ушаков покидал Петербург, он поддерживал регулярную переписку с подчиненными. В 1722 году он писал из Москвы секретарю Ивану Топильскому. «Господин секретарь Топильской. Присланный из канцелярии тайных дел дому Василья Арчаковского женки Ирины Афанасьевой дочери, с распросных речей и очных ея ставок с бабою Акулиною копий, слушав, мы определили из канцелярии тайных дел ее, Ирину, свободить до указа на росписку, для того спрашивана она, Ирина, против распросу Акулинина токмо в одном свидетельстве, но такого свидетельства она Ирина не показала и потому осталась в показанных словах она Акулина с Арчаковскою, а в росписке написать, как ее Ирину впредь спросят, и им роспищиком поставить ее немедленно. Слуга ваш Ушаков Андрей». Секретарь, со своей стороны, столь же регулярно информировал начальство: «Превосходительный господин генерал-маюр и лейб-гвардии маюр, милостивый государь мой Андрей Иванович! Вашему превосходительству покорно доношу: по присланному ко мне ордеру сего мая 22-го дня по извету камер-коллегии вахмистра Максима Перова о словах князя Дмитрия Михайловича Голицына дворецкого Михаила Подамукова я следую в чем явились ныне 5 человек, которых я роспросил, а по тем распросам надлежит, сыскав, спросить разных чинов людей еще 9 человек, и оных, государь, я спрашивать буду, а распрося, дав им очныя ставки, что покажется, из того всего учиня выписку, вашему превосходительству донесу впредь»²³. (Речь здесь идет не о простых «непристойных словах», а о неких подозрительных документах, якобы имевшихся у сенатора князя Д. М. Голицына.)

Служил Ушаков исправно — вел следствие по делу Алексея и заседал в суде над ним; стал в 1721 году генерал-майором и получал приличное жалованье — 1 755 рублей в год. В январе 1725 года вместе с Толстым и Бутурлиным он выступил в поддержку права На трон Екатерины. По информации австрийского и датского дипломатов, именно Ушаков заявил: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину и <...> она

готова убить каждого, не одобряющего это решение»²⁴. Сделать выбор ему, как и многим другим гвардейским «выдвиженцам», было нетрудно; скорее, даже такой проблемы для него не существовало.

Вслед за Львом Толстым (в набросках к ненаписанному роману о послепетровской эпохе) мы можем отнести Андрея Ивановича к определенному типу личности и поведения: «Преданность слепая. Сангвиник. Вдали от интриг. Счастливо кончил. Выведывать мастер. Грубая внешность, ловкость»²⁵. Выходец из бедной дворянской семьи не мыслил себе иного мироустройства, помимо самодержавного, и был готов выполнить любой приказ своего императора с полным душевным спокойствием и даже своеобразным юмором — в письме своему начальнику по Тайной канцелярии Толстому он шутил: «Кнудом плутов посекаем да на волю отпускаем».

В те дни он был одним из ближайших к Екатерине гвардейцев. 27 января на основании указа из Кабинета Екатерины о немедленном выделении гвардии 20 тысяч рублей они были выданы из «комиссарства соляного правления» на руки майору Ушакову²⁶. Оттуда же последовали и другие выплаты «на некоторые нужные и тайные дачи»: майор гвардии и управляющий Тайной канцелярией Ушаков получил больше всех — 3 тысячи рублей; генерал Бутурлин — 1 500 рублей; согласно другому указу, майорам С. А. Салтыкову и И. И. Дмитриеву-Мамонову выдали по тысяче рублей²⁷.

Отличившийся при «избрании» императрицы Андрей Иванович стал сенатором, кавалером новоучрежденного ордена Александра Невского, а в феврале 1727 года — генерал-лейтенантом. Но его карьера едва не оборвалась из-за того же Меншикова: сначала Ушаков лишился места в упраздненной Тайной канцелярии, затем был выведен из Сената, а в апреле 1727 года попал под следствие по делу Толстого — Девиера. Чин у него не отняли, но заслуженных в 1718 году 200 дворов он лишился и был отправлен, как уже говорилось, из столицы в полевые полки — сначала в Ревель, а потом в Ярославль.

Опала самого Меншикова ничего не изменила. Верховные правители в точности повторяли его тактику в отношении возможных конкурентов, и никто из сосланных Меншиковым не был возвращен, в том числе участники «заговора» Толстого—Девьера Бутурлин, Ушаков и др. Ушаков из провинции следил за событиями в столице, где имел верных друзей-информаторов. «В домех вашего превосходительства здешних милостью Христовою состоит все благополучно, — сообщал ему новости 27 февраля 1728 года бывший дьяк Тайной канцелярии Иван Топильский. — С приморского двора сюда перевезено дров 33 сажен <...>. С здешней стороны доношу: милостию господнею состоит всемерно изрядно, и всякие припасы дешевы. Господа генералитет здесь имеют асамблеи, и когда бывают у иноземцов, то настоящая асамблея, а ежели у россиян, то нарочитай бал. 23 дня сего месяца была асамблея или бал у господина Корчмина со иллюминацією богатою и с немалым трактованием; что венгерское, сказывают, имелось при том. А последние, кои танцевали, в 5 часу пополудни разъехались»²⁸. И всё же служить бы Андрею Ивановичу до смерти на задворках империи, если бы не скоростная смерть юного Петра II и «затейка» Верховного тайного совета по ограничению власти приглашенной на трон Анны Иоанновны.

Девятнадцатого января 1730 года Верховный тайный совет составил перечень «кондиций», в числе прочего предусматривавших «у шляхетства и имения и чести без суда не отымать», что давало хоть какую-то гарантию от внезапных арестов, секретного следствия и ссылки с конфискацией имущества. Огласив «кондиции», «верховники» предложили российскому шляхетству представить проекты будущего государственного устройства. В ту короткую пору (шесть недель) аннинской «оттепели» появилось несколько подобных проектов; один из них, направленный против монополии на власть Верховного тайного совета (так называемый «проект 364-х», по числу поставивших свое имя под ним), подписал и генерал-лейтенант Ушаков.

Однако едва ли Андрея Ивановича интересовали определенные в нем процедуры образования выборных органов власти. Отправленная «под начал» во Введенский Тихвинский монастырь дочь генерала Г. Д. Юсупова Прасковья источником своих бед считала те самые события зимы 1730 года, в которых участвовал ее отец. «Батюшка де мой з другими, а с кем не выговорила, — передавала речи Прасковьи Юсуповой ее служанка, — не хотел было видеть, чтоб государыня на престоле была самодержавная. А генерал де Ушаков — переметчик, сводня; он з другими захотел на престол ей, государыне, быть самодержавною. А батюшка де мой как о том услышал, то де занемог и в землю от того сошел»²⁹.

Двадцать пятого февраля 1730 года Ушаков вместе с другими представителями генералитета и шляхетства подал Анне челобитную с просьбой «всемилоостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели», после чего императрица «всемилоостивейше изволила изодрать» неуместные «кондиции» и принялась царствовать самодержавно.

Андрей Иванович не прогадал — при раздаче наград он, как один из главных участников тех событий, получил 500 дворов из конфискованных владений князей Долгоруковых; стал генерал-аншефом, генерал-адъютантом, сенатором и подполковником гвардии. Его талант оказался востребован: в 1731 году Тайная канцелярия была возрождена и вчерашний опальный гвардеец ее возглавил. По повелению императрицы сенаторы 31 марта 1731 года уведомили Ушакова о том, что распорядились «имеющиеся в Сенате важные дела и по тем делам колодников отослать к вам, господину генералу и кавалеру, и впредь из коллегий и канцелярий губерней и провинцей являющихся в таких же делах колодников, которые надлежат по вышепомянутому состоявшемуся апреля 10 числа указу отсылать к вам, господину генералу и кавалеру, <...> и именовать оную Канцелярию тайных розыскных дел».

Жизнь ненадолго вернулась в Преображенское. Однако уже в начале 1732 года императрица и двор перебрались в Петербург; туда же переселилась и служба Ушакова — сначала в качестве «походной Тайной канцелярии секретных дел», а затем, в августе того же года, уже на постоянной основе, оставив в Москве свой филиал — контору под «дирекцией» московского главнокомандующего генерал-адъютанта графа Семена Андреевича Салтыкова. Андрей Иванович со своими служащими и бумагами расположился в «покоях» петербургской Петропавловской крепости, «где имелась наперед Тайная канцелярия», и началась привычная работа. Одновременно Ушаков оставался генералом по штатам Военной коллегии и сенатором, и в докладах Сената императрице его подпись стояла первой.

Неопубликованная переписка Ушакова со знаменитым обер-камергером, курляндским герцогом Эрнстом Иоганном Бироном, свидетельствует о том, что общались они почти на равных. В отличие от других корреспондентов аннинского фаворита Ушаков сам имел доступ к императрице и у Бирона ничего не просил; их письма — короткие и деловые, без комплиментов и уверений во взаимной преданности.

Остававшийся «на хозяйстве» в столице во время отъезда двора Андрей Иванович прежде всего докладывал Бирону для передачи императрице в Петергоф о делах своего ведомства — например, о поступившем доносе на откупщиков или точном времени казни Артемия Волынского: «Известная экзекуция имеет быть учинена сего июля 27 дня пополудни в восьмом часу». Не имея возможности выехать в царскую резиденцию лично, он присылал секретаря Хрущова для личного доклада Анне Иоанновне по интересующему ее делу придворной «мамамы» Яганны Петровой. Кроме того, Ушаков сообщал о других новостях: выборе сукна для гвардейских полков, погребении столичного коменданта Ефимова в Петропавловской крепости или смерти любимой собачки Анны «Цытринушки», последовавшей в 10 часов утра 18 июня 1740 года.

Бирон передавал ответы императрицы: донос является «бреднями посадских мужиков» и не имеет «никакой важности», а вопрос с сукном лучше отложить — государыня не в духе: «Не великая нужда, чтоб меня в деревне тем утруждать». Одновременно через Бирона поступали другие высочайшие распоряжения Ушакову для передачи принцессам Анне и Елизавете или другим лицам. В некоторых случаях Андрей Иванович проявлял настойчивость — предлагал, к примеру, все-таки решить вопрос о закупке сукна в пользу английского, а не прусского товара, в чем сумел убедить своего корреспондента³⁰.

Исполнительному «генералу и кавалеру» приходилось выполнять и другие поручения, не имевшие прямого отношения к сыску. Однажды летом 1735 года Анна потребовала у Ушакова узнать, «где и отчего идет дым», замеченный ею из окна дворца. Тот выяснил, что на Выборгской стороне в 12 верстах от столицы «горят мхи», потому что несознательные грибники «раскладывают для варения оных грибов в ночь огни», и послал туда солдат для тушения пожара. Затем императрица распорядилась доставить ей ведомость, в которой было учтено количество судов, прошедших Ладожским каналом с начала навигации; потом — срочно отправить на военную службу уже отпущенных было в отставку с «абшидами» дворцовых служителей — лакеев, мундшенков, гайдуков³¹...

Андрей Иванович без потерь пережил пресловутую «бироновщину» и принял участие во всех громких процессах аннинского царствования: князей Долгоруковых, бывшего лидера «верховников» князя Дмитрия Голицына, Артемия Волынского. Однако сразу после смерти Анны Иоанновны Бирон — в то время официальный и полновластный регент Российской империи при малолетнем императоре Иоанне Антоновиче — усомнился в его лояльности, так как среди недовольных возвышением фаворита офицеров оказался адъютант Ушакова Иван Власьев. Но даже распоряжение герцога об установлении контроля за действиями Тайной канцелярии — участии генерал-прокурора князя Трубецкого в рассмо-

трени дел «о непристойном и злодейственном рассуждении и толковании о нынешнем государственном правлении»³² — герцогу не помогло. Спустя три недели правление Бирона завершилось его арестом, который во главе отряда гвардейцев произвел еще более решительный немец — фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. Его, в свою очередь, «ушла» в отставку в марте 1741 года новая правительница — мать императора, племянница Анны Иоанновны принцесса Анна Леопольдовна. Она же сделала Ушакова кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Но уже 25 ноября 1741 года регентша Анна была вместе с сыном свергнута Преображенскими солдатами, принесшими во дворец (в прямом смысле слова) на царство дочь Петра I Елизавету. Уже через несколько дней Ушаков получил от нее бриллиантовую цепь к Андреевскому ордену. Правда, при очередном (происходившем при каждом дворцовом перевороте) переделе собственности Ушаков лишился подмосковного села Щербеева, но тут же присмотрел себе компенсацию и настойчиво просил осчастливить его на выбор или синодальной вотчиной — селом Озерецковским, или бывшим владением князей Долгоруковых — Лыковым-Голенищевым³³. Елизавета Петровна повелела ему состоять при ней «безотлучно»: необходимость в его услугах была для нее настолько очевидной, что 2 декабря 1741 года она отменила уже состоявшееся назначение главного следователя в действующую армию и поставила его во главе следственной комиссии по делу арестованных «партизантов» бывшей правительницы, его же начальников — Миниха и Остермана.

Все эти большие и малые дворцовые перевороты никак не отразились на ведомстве Андрея Ивановича — его персонал и характер работы изменений не претерпел. Все так же «следовались» и карались «непристойные слова» и помышления против каждой в тот момент правившей персоны и ее окружения.

Андрей Иванович по заведенному порядку продолжал делать доклады шестому на своем веку «импе-

раторскому величеству». Теперь ему предстояло рассматривать дела воодушевленных легкостью свержения с престола законного монарха горячих голов, искренне полагающих, что «сама де государыня такой же человек, как и я, только де тем преимущество имеет, что царствует». От императрицы он добился специального указа, сделавшего его службу неподконтрольной никому, кроме самой государыни: «1743 года ноября 29 дня в Канцелярии тайных розыскных дел генерал и кавалер <...> Ушаков объявил, что сего же 29 дня ноября ее императорское величество, рассуждая о делах Тайной канцелярии, в какой они важности состоят, высочайшим своего императорского величества изустным указом всеи-лостивейше соизволила указать: отныне впредь ни о каких имеющихся в Тайной канцелярии и той канцелярии в конторе делах известий и справок, как в Кабинет ее императорского величества, так и в Святейший Синод, и в Правительствующий Сенат, и ни в какие места без именного ее императорского величества за подписанием собственной ее императорского величества руки указа не давать»³⁴.

Отныне ни влиятельный в царствование Елизаветы Сенат, ни Синод не имели права требовать сведений или докладов от Тайной канцелярии. Синодские особы, правда, пытались бороться — заставить канцелярию признать подчинение религиозных дел именно церковному ведомству, на что Ушаков твердо отвечал: он будет «следовать» все дела — не только «касающиеся до первых двух пунктов», но и порученные ему «точно по особливому и на то состоявшемуся именному ее императорского величества указу». С прочими же учреждениями Тайная канцелярия и подавно не церемонилась. Ушаков позволял себе, даже не вступая в сношения с Военной коллегией, требовать от Сената объявить генералам выговор за «своевольство» (они осмелились сами начать дело о неких «подметных пасквильных письмах») и указать, чтобы «оная коллегия впредь в таковые ни мало до нее не принадлежащие важные дела не вступала». Так Тайная канцелярия и ее начальник заняли особое и

очень влиятельное положение в системе российских государственных учреждений XVIII века.

Едва ли правомерны попытки иных исследователей связать имя Ушакова с конкретными придворными группировками, как противника канцлера д. П. Бестужева-Рюмина и «верного соратника» генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого³⁵. В те годы главной политической наукой стали придворные «конъектуры»; соперничавшие же у трона «партии», включавшие как русских, так и немцев, боролись с помощью назначений своих клиентов и разоблачений действий противников не за тот или иной курс, а за милости. Попытки же осмысленных политических действий, вроде составления Артемием Волынским и его друзьями проекта отнюдь не революционных, а бюрократических реформ по улучшению системы управления, представляли в качестве опасного заговора с целью захвата трона и закончились публичной казнью вельможи и его «конфидентов».

В новой атмосфере менялся сам интеллектуальный уровень дискуссий. Просвещенный генерал-прокурор Трубецкой свидетельствовал, что его политические разговоры с Волынским вращались вокруг одной темы: «х кому отмена и кто в милости» у императрицы, о ссорах Волынского с другими сановниками, о назначениях при дворе и в армии. Трубецкой с негодованием отверг даже возможность чтения им самим книг; вот в молодости, при Петре, «видал много и читывал, токмо о каковых материях, сказать того ныне за многопрошедшим временем возможности нет».

Ушаков в этот придворный мир вписался. Его трудно представить переводящим «Метаморфозы» Овидия или любующимся неблагочестивой картиной, чем грешил его предшественник Петр Андреевич Толстой. Полагаем, что его политические взгляды и духовные запросы не слишком возвышались над представлениями бравых гвардейцев той эпохи, чьими главными «университетами» были походы и служебные командировки для подавления бунтовщиков и «понуждения» местных властей. Но по срав-

нению с неумеренными отцом и сыном Ромодановскими и это было прогрессом: Ушаков за столом не буйствовал, а напротив, «в обществах отличался очаровательным обхождением и владел особенным даром выведывать образ мыслей собеседников».

«Непотопляемость» Ушакова объясняется профессиональной пригодностью при отсутствии каких-либо политических амбиций; умением сохранить «доступ к телу», оставаясь при этом вне всех «партий» и ни с кем не испортив отношений. За это он и был в очередной раз обласкан — в 1744 году получил титул графа Российской империи и генерал-адъютанта. Ушаков остался в милости до самой смерти. В чести и в чинах престарелый глава Тайной канцелярии генерал-аншеф, сенатор, обоих российских орденов (Александра Невского и Андрея Первозванного) кавалер, подполковник Семеновского гвардейского полка, генерал-адъютант граф Андрей Иванович Ушаков скончался 26 марта 1747 года. По преданию, перед смертью он обратился к портрету Петра I со словами «благодарности и благоговения». В последний путь он отправился «с немалым довольством» на государственный счет; в похоронной процессии участвовало множество духовных лиц: архиепископ Петербургский Феодосий, архиепископ Тверской Митрофан, епископ Вятский, три архимандрита и причт столичных церквей; по душе усопшего последовал вклад в Александро-Невский монастырь³⁶.

Должность главного следователя империи перешла к не менее сановному преемнику — графу Александру Ивановичу Шувалову (1710—1771).

Придворный-следователь Александр Шувалов

Опорой Елизаветы в начале ее царствования были старые слуги ее отца. Однако это поколение уже сходило со сцены: в 1742—1749 годах умерли А. М. Черкасский, С. А. Салтыков, Г. А. Урусов, В. Я. Новосильцев, Г. П. Чернышев, Н. Ф. Головин, В. В. Долгоруков, А. И. Ушаков, А. Б. Куракин, И. Ю. Трубец-

кой, А. И. Румянцев. На смену им пришли новые вельможи из числа придворных цесаревны — канцлер Алексей Бестужев-Рюмин, ее фавориты Алексей Разумовский и Иван Шувалов, Михаил Воронцов, братья Петр и Александр Шуваловы. Старший из них отличался не только честолюбием, но и несомненными лидерскими способностями; его идеи и проекты (уничтожения внутренних таможен, протекционистского внешнеторгового курса, создания купеческих и дворянских банков, генерального межевания, реформы денежного обращения) определили внутреннюю политику России середины XVIII века.

Его младший брат Александр все время оставался в тени старшего, но тоже сделал карьеру. После переворота Елизавета Петровна наградила его, сделав действительным камергером и подпоручиком своей личной охраны — лейб-компанской роты Преображенского полка, посадившей ее на трон. В 1744 году Александр Иванович, не обладая военными талантами и ни в каких войнах не участвуя, стал поручиком лейб-компанской роты и генерал-лейтенантом, в 1746-м вместе с братом Петром был возведен в графское достоинство. Затем Александр Шувалов стал генерал-адъютантом и генерал-аншефом (в 1751 году) и получил орден Святого Андрея Первозванного (в 1753 году).

В это время престарелый А. И. Ушаков стал реже бывать на службе. Только в особо важных случаях он лично вел допросы, обычно же «слушал» доклады секретарей канцелярии, и ему подыскивали достойного преемника. По указу императрицы в феврале 1745 года Шувалову впервые было поручено «общее с ним, генералом (Ушаковым. — *И. К., Е. Н.*) <...> в присутствии быть» по делу зарвавшегося до неприличия одного из главных участников переворота 25 ноября 1741 года прапорщика лейб-компанской роты Юрия Грюнштейна; потом последовали еще несколько подобных указаний. 20 ноября 1745 года Ушаков получил высочайшее распоряжение: «Указали мы обще с вами в Тайной канцелярии по всем делам присудствие

иметь действительно нашему камергеру и кавалеру Александру Шувалову; чего ради имеете вы сей наш указ оному Шувалову объявить, и о том, куда надлежит, для ведома сообщить; и нашему генералу и кавалеру графу Ушакову учинить о том по сему нашему указу. Елисавет». Андрей Иванович в своей домово́й церкви привел Шувалова к присяге и велел известить об этом Сенат, Кабинет и другие присутственные места. Так Шувалов стал вместе с начальником подписывать приговоры и протоколы Тайной канцелярии³⁷.

После смерти «генерала и кавалера» Шувалов занял его пост, который сохранял за собой до самого конца царствования своей покровительницы; он также принял под свое командование и Семеновский полк Ушакова. Механизм сыского дела уже был отработан его предшественниками, и никаких новшеств Шувалов в него не внес. Так же, как его бывший начальник, он подавал доклады и лично участвовал в расследованиях, которые особо интересовали государыню: ведал охраной свергнутой правительницы Анны Леопольдовны, ее «брауншвейгского семейства» и заточенного императора Иоанна Антоновича; лично допрашивал в 1758 году арестованного фельдмаршала Апраксина, затем — самого канцлера Бестужева-Рюмина, обвиненного в измене, и подозреваемых в шпионаже в русской армии, сражавшейся на полях Семилетней войны.

Александр Иванович следователем оказался старательным, но не более. Не было в нем истовости и въедливости, да и готовности взять на себя любое дело, что отличало прошедшего суровую петровскую школу Ушакова. Шувалову не нужно было выслуживаться — он принял Тайную канцелярию, уже будучи осыпанным милостями придворным и генералом. На следствиях он присутствовал реже своего предшественника — больше времени проводил во дворце «на дежурстве», особенно после того, как был назначен состоять при наследнике престола, великом князе Петре Федоровиче и его жене — будущей Екатерине II.

Однако при этом он не блистал светским обаянием, и подопечные его побаивались. «Александр Шувалов, не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозой всего двора, города и всей империи: он был начальником Государственного инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятия, как говорили, вызвали у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной; если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица (Елизавета. — *И. К. Е. Я.*) была бы этим очень разгневана; между тем это могло бы случиться, так как я видела его постоянно, всегда неохотно и большею частью с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствия от его общества», — вспоминала позднее императрица Екатерина II впечатление, произведенное на нее Шуваловым.

Но должностные обязанности граф исполнял усердно. «Их императорские высочества изволили проснуться. Благодатию Божиею все благополучно, и после обеденного кушания до солнечной станции отправитца изволят. Вашего императорского величества всеподданнейший раб граф Александр Шувалов», — подобные известия о жизни «молодого Двора» он ежедневно посылал императрице. При этом он не забывал ей напомнить об отсрочке уплаты своего 70-тысячного долга казне или попросить о приписке дворцовой волости в Медынском уезде к собственным металлургическим заводам³⁸. Кроме того, ему приходилось заседать в Конференции при высочайшем дворе (с 1756 года), Военной коллегии и Сенате (с 1760 года). Поэтому на прочие служебные заботы времени оставалось все меньше. Докла-

ды, выписки, экстракты, допросные речи — все эти документы Тайной канцелярии делаются при нем менее пространными и более скудными по содержанию.

Более того, Александр Иванович участвовал в борьбе придворных «партий», чего Ушаков себе не позволял. В последний год царствования Елизаветы появились слухи о возможном отстранении ее племянника Петра Федоровича от наследства и передаче короны его маленькому сыну Павлу Петровичу, в чем подозревали клан Шуваловых. Позднее сама Екатерина сообщала, что «за несколько времени» до смерти императрицы Иван Шувалов предлагал воспитателю наследника Н. И. Панину «переменить наследство» и «сделать правление именем цесаревича», на что Панин ответил отказом³⁹.

Однако сама Екатерина несколькими годами ранее обсуждала с Бестужевым-Рюминым его план, согласно которому после смерти императрицы она становилась «отправительницей» мужа, а канцлер — президентом трех «первейших» коллегий и командующим гвардейскими полками⁴⁰. Одновременно она устроила тайное свидание с Александром Шуваловым. Его влиятельный брат Петр в августе 1756 года сообщил Екатерине о готовности ей служить, а сама она писала ему о «предательстве» Бестужева и желании «броситься в ваши объятия»⁴¹.

В то время — в 1756—1757 годах — эти переговоры ни к чему не привели; а несколько лет спустя елизаветинский фаворит Иван Шувалов при всех своих достоинствах уже не годился для открытой борьбы за власть, старший же его родственник, на всё способный Петр Иванович Шувалов был уже смертельно болен. Но, по словам Екатерины, в последние месяцы или даже недели жизни императрицы Шуваловы все же сумели войти в доверие к наследнику при помощи директора Шляхетского корпуса А. П. Мельгунова. Поддержка со стороны Шуваловых — вместе с лояльностью великой княгини Екатерины и усилиями самого Петра Федоровича по привлечению на свою сторону гвардейских офице-

ров — обеспечила выход из очередной «переворотной» ситуации.

Однако со смертью в январе 1762 года П. И. Шувалова влияние его клана пошло на убыль. Занявший престол император Петр III 28 декабря 1761 года произвел Александра Ивановича в генерал-фельдмаршалы, пожаловал ему две тысячи крепостных и назначил полковником Семеновского полка — но одновременно упразднил Тайную канцелярию, которой тот руководил многие годы. Покорный граф еще 17 февраля 1762 года до появления царского манифеста объявил своим подчиненным, что их учреждению приказано более «не быть», а 19 февраля в канцелярии был составлен последний протокол допроса⁴².

Последний раз Шувалов продемонстрировал придворный талант в день переворота 28 июня 1762 года, когда вместе с М. И. Воронцовым и Н. Ю. Трубецким отбыл в столицу под предлогом разведки и «уговоров» мятежной императрицы — но сразу же перешел на ее сторону и стал заседать в Сенате. После воцарения Екатерины II он присутствовал при ее коронации в Москве, однако его карьера была уже завершена. В январе 1763 года граф Шувалов вышел в отставку с пожалованием ему еще двух тысяч крестьянских душ.

После принятого 23 февраля 1762 года манифеста об уничтожении Тайной канцелярии вышел менее известный указ Сената, чтобы всем канцеляристам и чиновникам Тайной канцелярии «быть на том же жаловании, как они ныне получают», до тех пор, пока «дела отданы и о наличных колодниках рассмотрено будет»; отныне всем этим чиновникам надлежало состоять «при Сенате», а в Москве — «при Сенатской конторе». В этом же указе была сделана особая оговорка: «Однако ж из них асессора Шешковского, переименовав того ж ранга сенатским секретарем ныне же действительно и определить во учреждавшуюся Для того при сенате экспедицию»⁴³. Так было названо имя нового фактического начальника этого учреждения при Екатерине II.

Императорский «кнутобоец» Степан Шешковский

Приведший Екатерину на трон переворот показал, что объявленная покойным Петром III в манифесте 21 февраля «милость для всех добрых и верных подданных» несколько преждевременна, поскольку «умыслы противу нашего императорского здравия, персоны и чести» оказались отнюдь не «тщетными и всегда на собственную погибель злодеев обращающимися».

Гвардейские солдаты и офицеры, чьими руками совершался переворот, в те дни искренне видели себя «делателями королей» и с нетерпением ожидали награды. Пряников же, как обычно, на всех не хватило. И тогда бравый гвардеец, прогулявший полученную пригоршню рублей, мог с понятным неодобрением смотреть на избранных счастливых. Зависть и недовольство вместе с видимой легкостью совершения «революции» порождали стремление «исправить» положение. Эту тенденцию выразил один из ближайших к Екатерине лиц Никита Иванович Панин: «Мы с лишком тридцать лет обращаемся в революциях на престоле, и чем больше их сила распространяется между подлых людей, тем они смелее, безопаснее и возможнее стали». На практике это означало, что в 1760-е годы Екатерине постоянно приходилось иметь дело с попытками — пусть не очень опасными — нового заговора. Кроме того, в это время обострилась борьба придворных «партий» за контроль над внешней политикой империи и за влияние на императрицу.

Поначалу Екатерина возложила высший надзор над политическим сыском на генерал-прокурора А. И. Глебова — нечистого на руку дельца, назначенного на этот пост Петром III и удачно изменившего благодетелю. Самого Глебова императрица сначала поставила под контроль Н. И. Панина, а затем уволила. Назначенному на его место князю Александру Алексеевичу Вяземскому секретным указом в феврале 1764 года было велено совместно с Паниным заведовать тайными делами⁴⁴. На этом посту он и оста-

вался вплоть до своей смерти в 1792 году; после чего этими делами ведали новый генерал-прокурор и подставенник Потемкина А. Н. Самойлов и статс-секретарь императрицы В. С. Попов, руководивший в течение многих лет канцелярией Потемкина, а потом императорским Кабинетом.

За два года был окончательно сформирован штат Тайной экспедиции. 10 декабря 1763 года именным указом сенатский секретарь Шешковский назначался состоять «по некоторым порученным от нас делам при наших сенаторе тайном действительном советнике Панине, генерал-прокуроре Глебове» с годовым жалованьем в 800 рублей.

С этого времени Степан Иванович Шешковский (1727—1794) сделался на 30 лет фактическим главой Тайной экспедиции при нескольких сменявших друг друга начальниках-аристократах. Теперь руководство политическим сыском императорской России в определенном смысле «раздвоилось», так как изменился сам «дух времени».

В петровскую и послепетровскую эпоху не только генерал или сенатор, но и аристократ-Рюрикович считал не только возможным, но и достойным делом исполнять функции следователя в застенке; только пытаться или казнить самому было не принято — но, пожалуй, не по моральным соображениям, а просто считалось «невместным»: для грязной работы были холопы. Хотя петровские сподвижники во главе с царем лично рубили стрелецкие головы...

Через одно-два поколения петровское просвещение дало плоды: подобное поведение было уже недопустимо для благородного дворянина. Отмеченное современниками исчезновение «рабского страха» свидетельствует о том, что за спокойные 1740—1750-е годы выросли представители дворянского общества, более просвещенные и независимые, чем были их отцы времен «бироновщины»: исследования позволяют говорить даже об особом «культурно-психологическом типе» елизаветинской эпохи⁴⁵. На смену им пришли ровесники и младшие современники Екатерины II: полководцы, администраторы,

дипломаты и целый слой дворян, умевших выражать свои патриотические чувства, не напиваясь до бессознательного состояния во дворце и не заверяя в своей неспособности к чтению книг. Сословная честь и собственное достоинство теперь уже не допускали их личного участия в допросах с пристрастием и пыточных процедурах.

Отныне во главе тайной полиции по-прежнему находилась «знатная персона», пользовавшаяся личным доверием государя — например, А. Х. Бенкендорф при Николае I или П. А. Шувалов при Александре II. Но она не опускалась до рутинных допросов и полицейских хитростей — разве что в особых случаях и с равными себе. «Черную» же работу исполняли не аристократы, а плебеи сыска — знатоки своего дела, не включенные в светский и придворный круг.

Само ведомство в это время не только меняет название. Тайная экспедиция «отстраняется» от особы государя, перестает быть продолжением его личной канцелярии; она становится частью государственного аппарата — учреждением, охраняющим «честь и здоровье» любого российского монарха.

В этом смысле Панин и Вяземский исполняли роль шефов — как говорили в XVIII веке, брали Тайную экспедицию под свою «дирекцию». Шешковский же очень подходил на роль доверенного и ответственного исполнителя, хотя отношение к нему было различное. Имена позднейших деятелей политического сыска известны, в лучшем случае, специалистам, тогда как Степан Шешковский уже при жизни стал фигурой легендарной, зловещей; о нем складывали «анекдоты», подлинность которых сейчас трудно проверить.

Его отец, потомок какого-то из польско-литовских пленников времен войн царя Алексея Михайловича Иван Шешковский, был мелким придворным служителем, а затем с началом Петровских реформ «обретался при делах в разных местах» подьячим. В этом качестве он сменил с десятков канцелярий и контор, но за 40 лет беспорочной службы получил только самый низший, 14-й чин коллежского регис-

тратора и закончил жизнь коломенским полицеймейстером. Там же служил и его старший сын Тимофей: «бывал в разных от канцелярии посылках для исправления по большим столбовым дорогам дорог и на них мостов и гатей и верстовых столбов и сыску и искоренения в Коломенском уезде воров и разбойников и неуказных винных куреней и корчемств».

Младший отпрыск продолжил семейную традицию, но повезло ему больше: одиннадцатилетний «подьяческий сын» Степан Шешковский начал службу в 1738 году в Сибирском приказе, а спустя два года по какой-то надобности был временно откомандирован «при делах» в Тайную канцелярию. Новое место юному копиисту так понравилось, что в 1743 году он самовольно уехал в Петербург, и приказное начальство потребовало вернуть беглого подьячего. Шешковский в Москву возвратился — но уже в качестве чиновника, который «по указу Сената был взят в контору тайных розыскных дел». В ведомстве тайного сыска он и оставался до конца своей жизни. Возможно, здесь сыграло роль знакомство с начальником учреждения — в Петербурге семейство Шешковских проживало «в доме его графского сиятельства Александра Ивановича Шувалова, близ Синего моста».

В 1748 году он еще служил подканцеляристом в Москве, но вскоре способного чиновника перевели в Петербург. Его московский начальник, старый делец петровской выучки Василий Казаринов, аттестовал подчиненного лестно: «писать способен, и не пьянствует, и при делах быть годен». В феврале 1754 года Шувалов доносил Сенату, что «в Канцелярии тайных розыскных дел имеется архивариус Степан Шешковский, беспорочно и состояния доброго и во исправлении важных дел поступает добропорядочно и ревностно, почему и достоин быть он, Шешковский, протоколистом». Через три года об усердной службе Шешковского Шувалов докладывал уже самой императрице, и она «всемиловитейше пожаловать соизволила Тайной канцелярии протоколиста Степана Шешковского за добропорядочные его при важных

делах поступки и примерные труды в Тайную канцелярию секретарем»⁴⁶.

В 1761 году он стал коллежским асессором, то есть выбился из разночинцев в потомственные дворяне. Секретарь Шешковский благополучно пережил и временную ликвидацию политического сыска при Петре III, и очередной дворцовый переворот, приведший на престол Екатерину II. В 1760-е годы ее положение было непрочным, и служба Шешковского оказалась как никогда востребованной. Он, так или иначе, участвовал в расследовании самых важных дел: протестовавшего против секуляризации церковных земель ростовского архиепископа Арсения Мадеевича (1763 год); поручика Василия Мировича, задумавшего возвести на трон заточенного императора Иоанна Антоновича (1764 год), и недовольных гвардейцев. Его способности не остались незамеченными: Шешковский в 1767 году стал коллежским советником и обер-секретарем — фактически руководил повседневной деятельностью Тайной экспедиции.

К тому времени он уже был хорошо известен Екатерине, и в 1774 году она сочла возможным привлечь его к допросам главных политических преступников — Емельяна Пугачева и его сподвижников, перевезенных в Москву, так как была уверена, что он обладал особым даром — умел разговаривать с простыми людьми «и всегда весьма удачно разбирал и до точности доводил труднейшие разбирательства»⁴⁷. Шешковский немедленно выехал из Петербурга в Москву. 5 ноября 1774 года он уже допрашивал на Монетном дворе Пугачева «от начала его мерзкого рождения со всеми обстоятельствами до того часа, как он связан». Допросы длились 10 дней, и московский главнокомандующий, князь М. Н. Волконский, в донесении императрице отдал должное старанию следователя: «Шешковский, всемилостивейшая государыня, пишет день ж ночь злодеев историю, но окончить еще не мог». Екатерина выражала беспокойство — она желала, «чтоб дело это скорее к окончания приведено было»; но исследователи

должны быть признательны Шешковскому — благодаря его стараниям (он же лично вел протокол, тщательно фиксируя показания) мы можем теперь знакомиться с подробным повествованием предводителя восстания о своей жизни и приключениях⁴⁸.

После окончания следствия суд приговорил Пугачева к мучительной казни; Шешковский, Вяземский Волконский объявили ему о приговоре 9 января 1775 года. На следующий день вождь повстанцев был казнен, но главный следователь продолжал допросы других пугачевцев еще несколько месяцев. В конце года его ожидала заслуженная награда — чин статского советника.

Впоследствии он столь же ревностно исполнял свои обязанности и пользовался доверием императрицы — в 1781 году получил «генеральский» чин действительного статского советника; сам генерал-прокурор А. А. Вяземский особым письмом разрешил ему в 1783 году знакомиться со всеми бумагами, поступавшими «на мое имя», и делать личные доклады императрице о «нужных и зависящих от высочайшего рассмотрения» делах⁴⁹. Шешковский в 1790 году допрашивал Радищева, в 1791-м — шпиона и чиновника Коллегии иностранных дел И. Вальца, в 1792-м — знаменитого издателя и масона Н. И. Новикова. Закончил свою карьеру Степан Иванович тайным советником, владельцем поместий и кавалером ордена Святого Владимира 2-й степени. В 1794 году он ушел на покой с пенсионом в 2 тысячи рублей.

Он уже при жизни стал — зловещей — достопримечательностью Петербурга, о которой слагали многочисленные байки: будто Шешковский имел в Зимнем дворце особую комнату для «работы» по заданию самой императрицы. Вроде бы он лично сек подсудимых, а допрос упрямого арестанта начинал с удара его под самый подбородок с такой силой, что выбивал зубы. Рассказывали, что комната, где производилась у него расправа, сплошь была заставлена иконами, а сам Шешковский во время экзекуции с усилением читал акафист Иисусу или Богородице; при входе в комнату обращал на себя внимание боль-

шой портрет императрицы Екатерины в золоченой раме с надписью: «Сей портрет величества есть вклад верного ее пса Степана Шешковского».

Многие верили, что обер-секретарь — человек всеведущий; что повсюду присутствовали его шпионы, прислушивавшиеся к народной молве, записывавшие неосторожные речи. Ходили слухи, что в кабинете Шешковского находилось кресло с механизмом, замыкавшим садившегося так, что тот не мог освободиться. По знаку Шешковского люк с креслом опускался под пол, и только голова и плечи посетителя оставались наверху. Исполнители, находившиеся в подвале, убрали кресло, обнажали тело и секли, причем не могли видеть, кого именно они наказывали. Во время экзекуции Шешковский внушал посетителю правила поведения в обществе. Потом его приводили в порядок и с креслом поднимали. Всё оканчивалось без шума и огласки⁵⁰.

Таким же образом «в гостях» у Шешковского якобы побывали несколько излишне разговорчивых дам из высшего круга, в том числе и жена генерал-майора Кожина Марья Дмитриевна. Как передает один из собирателей «анекдотов» о времени Екатерины, позавидовав «случаю» одного из фаворитов императрицы А. Д. Ланского, с семьей которого она была знакома, генеральша «по нескромности открылась в городской молве, что Петр Яковлевич Мордвинов попадет при дворе в силу. Гвардии Преображенского полка майор Федор Матвеевич Толстой (любимый чтец Екатерины во время ее отдыха, и которого жена получила в подарок богатые бриллиантовые серьги) из зависти к князю Потемкину, рекомендовавшему Ланского, заплатившего ему неблагодарностью, действительно искал, с помощью других, выдвинуть Мордвинова. Ланские передают брату, а тот императрице. Научают гвардии офицеров Александра Александровича Арсеньева и Александра Петровича Ермолова жаловаться на Толстого в дурном его поведении; хотя Екатерина сие знала, но к нему всегда благоволила, а тут из расположения к Ланскому переменялась. Толстой впадает в немилость. Мордви-

нов из гвардии увольняется, а Кожина подвергается гневу». Екатерина приказала Шешковскому наказать Кожину за невоздержанность: «Она всякое воскресенье бывает в публичном маскараде, поезжайте сами, взяв ее оттуда в Тайную экспедицию, слегка телесно накажите и обратно туда же доставьте со всею благопристойностью». Более оптимистичный вариант этой истории гласил, что какой-то молодой человек, испытавший однажды процедуру сидения в кресле у Шешковского, будучи приглашен снова, не только не захотел сесть в кресло, но пользуясь тем, что свидание с гостеприимным хозяином происходило с глазу на глаз, усадил его в агрегат и заставил опуститься в подполье, сам же поспешно скрылся⁵¹.

В официальных документах такие истории, даже если они соответствовали истине, конечно, не отражались. Возможно, многое в этих рассказах преувеличено, что-то основано на слухах и страхах; но характерно, что ни про кого из начальников тайной полиции такие повести не складывались. Все они рисуют облик настоящего профессионала сыска и следствия, служившего не за страх, а за совесть, каким, по всей видимости, и был Степан Иванович Шешковский, ставший при жизни личностью легендарной.

Реальный Шешковский, безусловно, был человеком доверенным, но непосредственно от фигуры просвещенной монархини-законодательницы отстраненным. По особо интересовавшим императрицу делам (например, во время следствия над Н. И. Новиковым и московскими «мартинистами») его иногда приглашали во дворец для личного доклада, как его предшественников. Но обычно доклады Тайной экспедиции поступали через генерал-прокурора или статс-секретарей, которые передавали Шешковскому указания и резолюции Екатерины⁵². В сенаторы его Екатерина так и не назначила. И уж подавно он не появлялся ни на придворных приемах и празднествах, ни тем более на «эрмитажных» вечерах императрицы. Но, по-видимому, он к этому и не стремился, хорошо осознавая свое место в системе «законной монархии» Екатерины. Насмешливый По-

темкин, как говорили при дворе, спрашивал обер-секретаря при встрече: «Каково кнутобойничаешь, Степан Иванович?» — «Помаленьку, ваша светлость», — отвечал Шешковский, кланяясь.

Легендарный начальник Тайной экспедиции скончался в 1794 году и был погребен в Александро-Невской лавре, — надпись на могильном памятнике гласила: «Под сим камнем погребен тайный советник и Св. равноапостольного князя Владимира 2-й степени кавалер Степан Иванович Шешковский. Жития его было 74 года, 4 месяца и 22 дня. Служил отечеству 56 лет». Через два месяца после смерти Шешковского генерал-прокурор Самойлов уведомил его вдову, что «ее императорское величество, помня ревностную службу покойного супруга ее, высочайшую свою милость продлить соизволила и на оставшее его семейство всемилостивейше повелела выдать ей с детьми десять тысяч рублей».

Со смертью императрицы Екатерины произошли большие перемены. Отставленный Самойлов был заменен на посту генерал-прокурора князем Алексеем Борисовичем Куракиным. После ухода Шешковского дела Тайной экспедиции, оказавшиеся в «неустройстве», приводил в порядок его преемник — коллежский советник Алексей Семенович Макаров (1750—1810). Он поступил на службу в 1759 году, был секретарем при рижском генерал-губернаторе Ю. Ю. Броуне, потом служил в Петербурге при генерал-прокуроре Самойлове. При Павле I он оставался управляющим Тайной экспедицией, а в 1800 году стал сенатором; сложившиеся порядки ведения следствия и наказаний при нем не менялись. Макаров, как и его предшественник, дослужился до тайного советника, но фанатиком сыска не был и страшной памяти по себе не оставил даже в суровые времена павловского царствования.

Будущий наместник Кавказа, а в те годы молодой артиллерийский офицер Алексей Ермолов, арестованный по делу нескольких офицеров смоленского гарнизона, обвинявшихся в заговоре, был милостиво прощен, а затем истребован с фельдъегерем в столицу: «В Петербурге привезли меня прямо в дом гене-

рал-губернатора Петра Васильевича Лопухина. Долго расспрашиваемый в его канцелярии, фельдъегерь получил приказание отвезти меня к начальнику Тайной экспедиции. Оттуда препроводили меня в Санкт-Петербургскую крепость и в Алексеевском равелине посадили в каземат. В продолжение двухмесячного там пребывания один раз требован я был генерал-прокурором: взяты от меня объяснения начальником Тайной экспедиции, в котором неожиданно встретил я г. Макарова, благороднейшего и великодушного человека, который, служа при графе Самойлове, знал меня в моей юности и наконец его адъютантом. Ему известно было о дарованном мне прощении, о взятии же меня в другой раз он только то узнал, что по приказанию государя отправлен был дежурный во дворце фельдъегерь, и причина отсутствия его покрыта тайною. Объяснения мои изложил я на бумаге; их поправил Макаров, конечно не прельщенный слогом моим, которого не смягчало чувство правоты, несправедливого преследования»⁵³. Ермолов и много лет спустя помнил о «несправедливом преследовании», но все же считал следователя человеком благородным и великодушным.

Макарову выпало заниматься ликвидацией Тайной экспедиции. В апреле 1801 года он подготовил к сдаче на хранение архив своего ведомства «в совершенном порядке» — с делами, разобранными в связки по годам с описями и «алфавитом о бывших в прикосновенности людях». Он же позаботился не только о бумагах, но и о своих подчиненных: отметил их «усердие к службе», каковую они несли «в беспрерывной безотлучности во всякое время», и просил наградить чинами и определить к желаемому каждому из чиновников новому месту работы⁵⁴.

«Прилежные труженики» — рядовые сыска

Теперь, пожалуй, самое время познакомиться с персоналом сысчного ведомства, чьи скромные усилия обеспечивали его непрерывную работу, а для ис-

ториков оставили тысячи дел с запечатленными в них судьбами «прикосновенных» к этому учреждению лиц.

Как уже было сказано, первоначально Тайная канцелярия создавалась как очередная временная «розыскная» комиссия и формировалась подобным же образом: получив царский указ, гвардейский майор определял себе в помощники нескольких офицеров, набирал в разных приказах подьячих, получал деньги, бумагу, чернила и приступал к работе. Так, по указу Петра I весной 1718 года было «велено <.. > Толстому по розыскному делу (царевича Алексея. — *И. К. Е. //.*) исследовать немедленно и донести его величеству, для которого исследования велено быть дьяку Ивану Сибилеву, да подьячим старым 2, молодым 6 человеком», которые были взяты на время из разных учреждений. Для такой важной миссии выбрали людей опытных — подьячих Т. Палехина и К. Клишина, переименованных по случаю переезда в Петербург в канцеляристов. Палехин — Толстой и Ушаков к нему обращались «господин дьяк — по окончании следствия вернулся в Москву, где работал еще долго. По штату 1723 года в Тайной канцелярии состояли — уже постоянно — секретарь Иван Топильский; канцеляристы Тихон Гуляев, Егор Русинов, Иван Кирилов, Семен Шурлов; подканцеляристы Вителев и Басов — всего семь человек, да еще лекарь Даниель Волнерс. В 1719 году жалованье им полагалось выдавать из тех учреждений, откуда они были откомандированы, «для того, что оные подьячие взяты в помянутую канцелярию на время». Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и эта комиссия скоро превратилась в одно из самых главных учреждений империи с постоянным штатом и даже своими чиновничьими династиями. Кроме чиновников она включала воинскую команду «для караула денежной казны и колодников», состоявшую в 1720 году из 88 обер- и унтер-офицеров и солдат, а три года спустя увеличившуюся еще на 50 человек.

Главной фигурой в «присутствии» после начальников был секретарь — правитель дел всей канцеля-

рии под чьим руководством шли вся текущая работа делопроизводство. Он принимал и размещал колодников, допрашивал их, но самостоятельно не пытал — посылал докладную записку о первом допросе спрашивал, «впредь о том что чинить». Он же постоянно докладывал «министрам» о состоянии дел, руководил подготовкой выписок и экстрактов, а затем поступал с подследственными согласно полученным от начальства указаниям.

Секретарь был фигурой непубличной, но на нем держалась вся работа учреждения. Не случайно эти чиновники назначались и перемещались именными указами и жалованье получали высокое: в 1761 году секретарь Шешковский получал 500 рублей в год, а обер-секретарь Михаил Хрущов — 800. На эту должность, как правило, определялись люди, имевшие большой опыт соответствующей работы. Порой они делали неплохую карьеру. К примеру, Иван Иванович Топильский (1691—1761), начав службу подьячим Разрядного приказа, оказался в Рекрутской канцелярии Сената, а оттуда — возможно, по протекции ее начальника Ушакова — перешел вслед за ним в Тайную канцелярию, где работал секретарем. Когда учреждение в 1726 году временно упразднили, опытный чиновник без дела не остался и получил повышение — стал секретарем канцелярии Верховного тайного совета. Оттуда его выпросил к себе президент Ревизион-коллегии И. И. Бибиков. Затем Топильский был секретарем Сената, служил в Коллегии экономии и выслужил дворянство, став ассессором Юстиц-конторы. Закончил же он свою трудовую биографию почтенным статским советником и заведующим Московской конторой Коллегии иностранных дел, до последних дней жизни трудясь над приведением в порядок ее богатого архива⁵⁵.

Последующие секретари Тайной канцелярии подобных «хождений» по конторам уже не имели. При Анне Иоанновне на эту должность был назначен в 1732 году Николай Михайлович Хрущов. Выходец из старого, но захудалого дворянского рода начинал карьеру петровским приказным; в Преображенском

приказе служил с 1719 года и «за многие его труды» дослужился в 1741 году до коллежского советника с необычно большим жалованьем в тысячу рублей, после чего был переведен на более спокойную работу в Москву в Коллегию экономии. Согласно родословным разысканиям, почтенный чиновник вышел в отставку в чине статского советника и скончался в глубокой старости в 1776 году⁵⁶.

После перевода Хрущова из Тайной канцелярии его место занял другой старый сослуживец Ушакова — Тихон Гуляев. Он начинал подьячим в Тайной канцелярии в 1720 году, а после ее закрытия оказался в провинциальном Ярославле. Там его и отыскал Андрей Иванович и добился перевода в московский филиал Тайной канцелярии под начало столь же надежного управляющего — советника Василия Григорьевича Казаринова. Дьяк Казаринов работал вместе с Ушаковым с 1715 года секретарем Рекрутской канцелярии, затем перешел вместе с начальником в Тайную канцелярию, а с мая 1723 года более четверти века возглавлял Московскую контору тайного сыска. В своих письмах к «министрам» Тайной канцелярии в Петербург Казаринов подробно сообщал о ходе розыска, прилагая докладные выписки и расспросные речи, и просил дальнейших указаний; руководство инструктировало его, как вести следствие, какие вопросы кому из колодников задавать. Начальство доверяло Казаринову и даже требовало основную часть дел решать на месте; однажды Ушаков и Толстой сделали старому дьяку выговор за то, что он стал все дела и колодников пересылать в Петербург, отчего происходили «убыток деньгам и турбация людям».

После смерти Гуляева Ушаков подал императрице Елизавете «доношение» о назначении секретарем Ивана Набокова, служившего по этому ведомству уже более десяти лет и прошедшего путь от подканцеляриста до регистратора. После высочайшего разрешения новый секретарь занял вакантное место, но затем был переведен в Москву. В 1757 году эту должность получил протоколист С. И. Шешковский «за

добрые и порядочные его при важных делах поступки и прилежные труды»; одновременно с ним секретарем состоял выслужившийся из подканцеляристов Василий Прокофьев. В Тайной экспедиции при Шешковском месте секретаря занимали Илья Зряхов, Андрей Еремеев, надворный советник Сергей Федоров (умерший прямо на рабочем месте в 1780 году), а после него до ликвидации Тайной экспедиции — коллежский советник Петр Молчанов.

В Московском же филиале Тайной канцелярии с 1732 года секретарем служил Степан Патокин. С 1738 года секретарь все чаще болел, но начальство его ценило и в 1741 году пожаловало в обер-секретари с окладом в 600 рублей, придав двух помощников — Т. Гуляева и И. Набокова.

Затем секретарем был Алексей Васильев — также выходец из бывших подьячих той же канцелярии; в 1749 году после «отрешения» его от должности на его место был назначен Михаил Никитич Хрущов — скорее всего, двоюродный брат названного выше Николая Хрущова⁵⁷. Он начал карьеру копиистом Московской конторы; в 1732 году был переведен в Петербург, где стал сначала подканцеляристом, затем канцеляристом, к 1743 году вышел в протоколисты, а затем и в секретари Тайной канцелярии. Вслед за Набоковым М. Хрущов оказался в Москве — такая ротация кадров между столицами была обычной.

Во время переписи чиновных кадров в 1754 году возглавлявший в это время Московскую контору Тайной канцелярии обер-секретарь и коллежский советник Михаил Хрущов поведал о своей карьере. «В службе находитца, а имянно с 727 году в серпуховской воеводской канцелярии у судных и розыскных Дел копиистом, а с прошлого 732 году — в Тайной канцелярии при секретных делах. И кроме Тайной канцелярии, особо в других самонужнейших и важных комиссиях имелся. И по определениям Тайной канцелярии произвожден в прошлом 739-м году подканцеляристом, в 741-м — канцеляристом, в 743-м году сентября 6-го дня — протоколистом. Да по высочайшим именным ее императорского величества

указом пожалован в 749-м августа 29 секретарем, а сего 754-го годов февраля 13 чисел — обер-секретарем. А от роду ему, Хрущову, четыре десятой год. Мужеска полу детей у него, Хрущова, не имеется. Испомещин он в Тарусском уезде. И мужеска полу душ людей и крестьян имеетца за ним не в разделе з братом ево, Главной полиции секретарем Федором Хрущовым — тритцать три души», — записал с его слов переписной чиновник⁵⁸.

Михаил Никитич, очевидно, был человеком богобоязненным — или по натуре, или работа наводила на соответствующие мысли. Когда в конце 1758 года обер-секретарь тяжело заболел, то «непременное намерение положил ехать в Ростов к мощам святого Димитрия Ростовского помолитца», для чего испросил у Шувалова отпуск «с проездом на десять дней». Однако смог он отправиться на богомолье только «по вешнему воздуху» в мае 1759 года — опять-таки с особого разрешения начальства и при условии — служба есть служба, — что заменять его будет по всем делам протоколист Поплавский⁵⁹.

Молитвы и доктора помогли: Хрущов выздоровел, «беспорочно» исполнял свои обязанности до конца елизаветинского царствования, а затем вместе с сослуживцами перешел в Тайную экспедицию. Как свидетельствуют ее документы, он скончался при исполнении обязанностей в ее Московской конторе 30 мая 1771 года после сорокалетней службы, о чем генерал-прокурору А. А. Вяземскому с прискорбием доложил московский главнокомандующий граф П. С. Салтыков⁶⁰.

При Екатерине II московский филиал возглавлял один из его старейших сотрудников — Алексей Михайлович Чередин. В контору его привел отец, подканцелярист Михаил Чередин. В ноябре 1757 года Чередин-сын подал прошение о приеме на службу, в котором сообщил, что «российской грамоте и писать обучен, а к делам еще не определен и желает быть при делах в Тайной конторе». Юношу приказного приняли копиистом с годовым жалованьем в 25 рублей, причем начальство своей резолюцией отмети-

ло, что он «к делам быть способен», и не ошиблось - подающего надежды чиновника уже в 1759 году представили к повышению. После упразднения Тайной канцелярии в 1762 году младший Чередин был переведен в Тайную экспедицию. Здесь он тоже служил успешно и вновь обратил на себя внимание начальства: в 1774 году был отправлен в Казань для работы в комиссии, проводившей следствие по делу Пугачева, где выслужил чин коллежского секретаря. В 1781 году «по отличной рекомендации» московского главнокомандующего князя В. М. Долгорукова А. Чередин был определен к секретарской должности с чином коллежского асессора, в 1793 году — пожалован в коллежские советники, а в 1799 году именованным указом произведен уже в статские советники с окладом в 1 200 рублей⁶¹. В глазах молодых дворян конца XVIII столетия этот «великий постник, читавший всегда в церкви апостол, а дома триодь постную и четь-минею», представлялся уже каким-то ископаемым из другой, давней эпохи — но при этом неутомимым хранителем «обряда» своего зловещего ведомства, перспектива попасть в которое — даже не в качестве обвиняемого — пугала далеко не робких людей.

«Полчаса или более стучали мы в железные ворота; наконец, внутри за воротами голос гварديана спросил: "Кто стучит?" — вспоминал о своем визите в Московскую контору Тайной экспедиции молодой офицер Александр Тургенев. — Я отвечал гвардиану: "Доложи его превосходительству: адъютант генерал-фельдмаршала Тургенев прислан по именному его императорского величества повелению"». Явившийся на стук со стражей Алексей Чередин «важно прокомандовал: "Гвардияны, к делу!" Гвардияны двинулись к кибиткам, в миг отвязали рогожи и вытащили из каждой по одному человеку. Он вполголоса спросил фельдъегерей: "Кто они таковы?" Фельдъегеря отвечали: "Нам неизвестно, ваше пр-во". "Понимаю-с, понимаю", — сказал Чередин и, обратясь ко мне: "Дело предлежит глубочайшей тайне и розысканию!"

Я молчал; он приказал гвардиянам вести пред собою арестантов в приемную, мне и фельдъегерям сказал: "прошу со мною вверх", т. е. в ту же приемную. По крутой, под навесом сводов, лестнице взошли арестанты, а за ними Чередин, я и фельдъегеря в приемную залу. Он осмотрел арестантов, пересчитал их и спросил фельдъегерей: "Все ли арестанты налицо?" Фельдъегеря отвечали: "Должны быть все, нам сдали завязанные кибитки, сказали, чтобы мы как можно скорее везли арестантов в Москву, не сказав сколько их, ни кто они; ваше превосходительство изволите знать, нам запрещено говорить с арестантами, строжайше запрещено о чем бы то ни было их расспрашивать, не позволять никому подходить к ним! Мы сами теперь только, как вы изволили приказать вытащить их из кибиток, увидели арестантов!"

Чередин, помолчав минуты три, со вздохом произнес слова: "Сугубая небрежность! Как не приложить мемории о числе арестантов! До звания их мне нет надобности, а счет, сколько отправлено, необходимо".

Обратясь ко мне, сказал: "В присутствии вашем, г. адъютант, и доставивших арестантов о сицевом происшествии следует составить протокол", — и приказал гвардияну: "Секретаря сюда!"

Я и фельдъегеря, вступив на широкий двор Троицкого подворья, были как чижы в западне; железные ворота за нами ту же минуту опять заржали, засовы заложили и большими висячими замками замкнули. Мы, т. е. я, фельдъегеря, ямщики, могли исчезнуть, пропасть без вести в сем жерле ада! Чередин не был никому подчинен, никому не был обязан ответственностию, кроме высшего начальства Тайной канцелярии, а где и в ком это начальство было сосредоточено, об этом никто, кроме Чередина, не ведал. Его превосходительство подавал фельдмаршалу еженедельно рапорт о числе арестантов, не означая ни звания их, ни того, какому сословию они принадлежат; о многих он сам не знал кто под запорами содержится в мрачной, тесной тюрьме! Собака в кануре несравненно счастливее жила: у нее не был отнят свет Божий».

После осмотра и обыска раздетых догола «гостей» педантичный Чередин потребовал у фельдъегерей расписаться в «листе» о принятии арестантов; отпустив служивых, самого автора записок выпустить категорически отказался. Видя удивление и испуг бравого офицера, он с важным видом заявил, что тот должен быть очевидцем: «Да сказано: наказать нещадно, кто же будет тому свидетелем, что они были действительно нещадно наказаны?»

— Да мне какое дело до наказания?

Чередин возразил мне: "Молодой человек, не упрямясь, в нашем монастыре и генерал-фельдмаршал устава нашего переменить не посмеет, да мы и не послушаем его приказаний; не упрямясь, делай, что велят; подам рапорт, тогда будет поздно, а хочешь, не хочешь — при экзекуции будешь, отсюда не вырвешься!"»⁶²

Московский военный губернатор генерал-фельдмаршал И. П. Салтыков рекомендовал заслуженного чиновника генерал-прокурору А. А. Беклешову в письме 22 апреля 1801 года: «Особливым долгом моим поставляю покорнейше просить ваше высокопревосходительство в рассуждении господина статского советника Чередина, коего сорокачетырехлетнее служение, ревность службы, успехи в делах и отличное его поведение совершенно заслуживает уважение, а потому препоручаю ево в особенную милость вашего высокопревосходительства». Салтыков сообщал генерал-прокурору просьбу старого секретаря: «по причине чувствуемой им слабости в здравье» Уволить его от службы и исходатайствовать «высокомонаршую милость» — сохранить до смерти пенсию в размере получаемого им в Тайной экспедиции жалованья⁶³. Император Александр I прошение удовлетворил и пенсион назначил.

Обер-секретаря Тайной конторы в Москве еще Долго помнили. В 80-х годах XIX века репортер В. А. Гиляровский записал рассказ старожилы-чиновника: «Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников — Чередина, Агапыча и других, знавших даже

самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем Тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи; кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво. <...> На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом. <...> Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, — это еще мой отец помнил».

Награждали Чередина не зря: за 44-летнюю службу на ответственном посту он ни разу не был в отпуске. Впрочем, до конца столетия отпусков в современном понимании и не было — так называлось временное отсутствие по личной надобности без сохранения содержания. Например, в 1720 году П. А. Толстой лично разрешил взять отпуск подканцеляристу Тихону Гуляеву только по «докучной его просьбе», чтобы он смог привезти жену из Казани. Секретарь Николай Хрущов в 1740 году после десятилетней службы впервые получил отпуск, чтобы уладить дело с наследством после смерти дяди. Но другому секретарю, Алексею Васильеву, пришлось дожидаться целый год, пока начальство не соизволило отпустить его для разбирательств по поводу беглых крестьян. А палача Федора Пушникова в 1743 году отпустили в Москву подлечиться лишь после того, как оттуда прибыл ему на замену другой «заплечный мастер» — Матвей Крылов⁶⁴.

После секретарей на втором месте в служебной иерархии стояли канцеляристы. Так как эта должность была вне Табели о рангах, то по сенатскому указу 1737 года она была приравнена к воинскому чину сержанта. Каждый из канцеляристов ведал своим «повытьем», то есть отдельным делопроизводст-

вом. Обычно один из них назначался «быть у приходу и у расходу» — вести денежные дела канцелярии.

Ниже стояли подканцеляристы (тем же указом приравнивались к капралам), которые составляли все деловые бумаги, и копиисты. Согласно Генеральному регламенту 1720 года, «копиистам надлежит все, что отправляется в канцелярии, набело писать; того ради имеют выбраны быть добрые и исправные писцы», то есть для них было желательно обладать хорошим почерком. Однако по существующим документам трудно выделить специфический круг обязанностей конкретного канцеляриста или принцип разделения обязанностей между ними.

Обычно приказных для «тайной» службы с улицы не брали. Проводившаяся в 1737 году перепись чиновников показала, что сотрудники Тайной канцелярии набирались из старых подьячих Преображенского приказа: там начинали службу при Петре I не только секретари Н. Хрущов и Т. Гуляев, но и канцеляристы Михаил Кононов и Федор Митрофанов, подканцеляристы Иван Стрельников, Василий Проккофьев, Иван Набоков, Михаил Поплавский⁶⁵. В дальнейшем персонал по необходимости высматривали в других учреждениях — Главной полицеймейстерской канцелярии, коллегиях, таможнях; Ушаков, используя свое служебное положение, добивался перевода толковых чиновников в свое ведомство. Однако случалось, что иные шустрые подьячие сами подавали прошения о зачислении на службу в Тайную канцелярию. Это сделал в 1739 году подканцелярист каширской воеводской канцелярии Алексей Емельянов и был принят, состоял на хорошем счету и даже отпущен на 10 дней искать своих беглых крестьян из новгородской деревни.

Во времена Анны Иоанновны каждый из служащих при зачислении давал подписку о неразглашении государственной тайны: «Под страхом смертной казни, что он, будучи в Тайной канцелярии у дел, содержал себя во всякой твердости и порятке и о имеющих в Тайной канцелярии делах, а имянно, в какой они материи состоят, и ни о чем к тому приличном

не только с кем разговоры имел, но и ни под каким бы видом никогда о том не упоминал, и содержал бы то все в высшем секрете», — и обещание служить бескорыстно: «Ни х каким бы взяткам отнюдь ни под каким видом он не касался». При Екатерине II к этим обязательствам добавлялось еще требование, чтобы кандидат на должность «так же никаких выписок или копий з дел, со определенной и одним словом ни с чего ни для чего никому не давал, ни же словесно о чем-либо ни будь пересказывал»⁶⁶.

Служба не всем оказывалась по плечу. Некоторые молодые чиновники, как названные выше Михаил Хрущов и Иван Набоков, относительно быстро «за многой приказной труд» повышались в должности и чине. Из простых копиистов они становились канцелярской «белой костью». Так, за десять лет Хрущов прошел все ступени приказной лестницы и был назначен протоколистом канцелярии с жалованьем «против коллежских протоколистов, а имянно по 250 рублей в год». Следующей была уже секретарская должность, и удачливый чиновник выработал щегольскую, с завитушками, роспись «Секретарь (затем «обер-секретарь») Михаил Хрущов».

Набоков тоже служил успешно, но занедужил. Сам граф А. И. Шувалов из Петербурга утешил подчиненного личным письмом от 8 ноября 1753 года: «Мне неизвестно, что вы находитесь в болезни, з которой по делам тайной конторы как приговоров, так и отпусков крепить не можете». Шувалов милостиво разрешил секретарю болеть и передать свои функции протоколисту Поплавскому, но обязал: «Как только крепить в состоянии будете, то имеете находитца в должности». Правда, разрешение запоздало — секретарь умер. Дело отца успешно продолжил сын, но и с ним после 15 лет «беспорочной» службы случилась та же оказия. Подканцелярист Андрей Набоков в 1757 году просил «за имеющимися во мне головными и прочими болезнями, от которых я в здорье своем нахожусь весьма слаб, и по строгости той канцелярии дел более быть не в состоянии», произвести его в коллежские регистраторы и отпустить

на службу в Ямскую канцелярию, менее «строгую» и вредную для здоровья⁶⁷.

Не без гордости характеризовал свою сыскную работу в послужном списке, составленном при переписи чиновников в 1754 году, ветеран-канцелярист Никита Никонович Яров (Ярой). Служить он начал в 1716 году 15-летним подьячим Преображенского приказа, пережил его упразднение в 1729 году и вновь был принят Ушаковым по его генеральскому «представлению» подканцеляристом Московской конторы Тайной канцелярии. Работником он оказался толковым и нередко ездил «по секретным делам гвардии при обер-офицерах» — побывал и на Украине, и в сибирском Березове (там находилось в ссылке опальное семейство Долгоруковых); «и те дела исправлял с ревностию и радением добропорядочно, о чем известно в Тайной канцелярии». По возвращении из Сибири «за понесенной в дальних посылках и секретных делах немалой труд» он был произведен в канцеляристы, а в 1744 году за «беспорочную» службу — в протоколисты. В последующие годы Яров трудился столь же ревностно: отправлялся с секретными поручениями в провинцию, в 1749 году был командирован «по некоторому секретному делу» в Воронеж во главе собственной «команды». Однако до секретаря в конторе он так и не дослужился, хотя в 1745—1746 годах и «правил секретарскую должность». На склоне лет, имея 37-летний стаж, Яров получил-таки чин коллежского секретаря и место в Сибирском приказе; но сына Ивана он отправил служить в родную Тайную контору и с удовлетворением узнал, что отпрыск уже вышел в подканцеляристы⁶⁸.

Другие рядовые служители политического сыска, не обнаружившие способностей или хватки, годами исполняли свои обязанности без повышения и прибавки жалованья — и в конце концов просили об увольнении или переводе в другие учреждения, как это сделал «закосневший в подканцеляристах» и потерявший надежду на дальнейшее продвижение Степан Иванов в 1743 году. Таких отпускали — под под-

писку о неразглашении «ни под каким видом» сведений о прежней работе.

Бывало, что чиновники оказывались неподходящими для специфической службы. Подканцелярист Андрей Ходов был переведен на другую работу «за слабостью» — возможно, оказался излишне чувствительным; его коллега Федор Митрофанов уволен «за болезнью», а копиист Василий Турицын был замечен «в гулянье и нераченье». Однако надо сказать, что таких случаев мало — видимо, отбор в Тайную канцелярию был тщательный.

В переписи 1737 года нередко встречаются характеристики чиновников других учреждений: «пишет весьма тихо и плохо»; «в делах весьма неспособен, за что и наказан»; «стар, слаб и пьяница»; «в канцелярских делах знание и искусство имеет, токмо пьянствует»; «всегда от порученных ему дел отлучался и пьянствовал, от которого не воздержался, хотя ему и довольно времени к тому дано» и т. п. Последняя «болезнь» являлась чем-то вроде профессионального недуга канцеляристов с обычным «лекарством» в виде батогов. Особо отличались неумеренностью в пьянстве приказные Петербургской воеводской канцелярии, где в 1737 году за взятки и растраты пошли под суд 17 должностных лиц. Из данных служебных характеристик следует, что в неумеренном питии «упражнялись» два из пяти канцеляристов, оба подканцеляриста и 13 из 17 копиистов. Поэтому начальник всей полиции империи вынужден был просить Кабинет министров прислать к нему в Главную полицеймейстерскую канцелярию хотя бы 15 трезвых подьячих, поскольку имеющиеся «за пьянством и неприлежностью весьма неисправны»⁶⁹.

Таких забулдыг в Тайную канцелярию не брали. Кажется, единственным безобразником за все время ее существования стал копиист Федор Туманов, отличившийся в 1757 году не только «нехождением» на службу, но тем, что посланных за ним «в квартиру для взятъя ево в канцелярию солдат бивал»; приведенный же силком «в должность» и посаженный в око-

вы — «разбивая те железа, необнократно бегивал». Традиционное вразумление батогами не помогло: оказалось, что буйный копиист «никакова в себе страха <...> не имеет и чинимого ему за ево продерзости наказания не чювствует»; за подобную невосприимчивость он и угодил в солдаты⁷⁰.

Остальные же понимали, в каком месте служат, и подобного «бесстрашия» не проявляли. Копиисту Ивану Андрееву в 1735 году случилось по молодости провиниться: встретил знакомого по прежней службе, купили вина... После двухдневной пьянки он опомнился, но со страха возвращаться «убоялся» и под чужим именем нанялся на тяжкую работу «у ломания камня» в Кронштадте — лишь бы не попасться на глаза добрейшему Андрею Ивановичу Ушакову. Но все было напрасно — сослуживцы через три месяца «вычислили» непутевого копииста, который сразу же во всем сознался⁷¹. Однако канцелярские начальники кадрами — пусть и имевшими определенные пороки — не разбрасывались. Того же Ивана Андреева вразумили плетью, оштрафовали на треть жалованья, но признали «способным быть к делам»; его, как и гуляку Турицына, оставили на службе, поскольку заменить их было некем — подходящих сотрудников пока «не приискано». Но когда Андреев вновь загулял — теперь на неделю — в августе 1737 года, его безжалостно изгнали из Тайной канцелярии «к другим делам». Уволен был и подканцелярист Петр Серебряков — хотя и был непьющим, но к делам «ходил весьма леностно».

Высокие требования предъявляло сыскное ведомство к находившимся в его штате палачам. Как можно судить по внутренним документам канцелярии, сюда обычно переводили наиболее опытных профессионалов из других учреждений — в отличие от провинции, где порой складывались настоящие трудовые династии. Например, в провинциальном городке Алатыре в течение столетия служили заплечными мастерами представители нескольких поколений одной семьи, что было отражено в документах первой переписи-«ревизии» в 1724 году⁷².

Палаческое ремесло было нелегким. Работавший в Тайной конторе Василий Некрасов во время командировки в Киев на обратном пути «от превеликих морозов левую ногу ознобил, и пальцы у той ноги прочь отпали», к тому же «глазами он ослеп и мало видит». По состоянию здоровья он вынужден был просить увольнения «на свое пропитание». Пришедший ему на смену Михайло Михайлов после нескольких лет службы заболел чахоткой, что констатировал лекарь Кондратии Юлиус. Новые кадры пришлось искать в тогдашнем уголовном розыске — Сыском приказе. Оттуда Тайная канцелярия вытребовала очередного «запличного мастера»; принимали его на службу с письменным обязательством, «чтоб он жил постоянно, и не пьянствовал, и с воровскими людьми не знался, и ничем не корчемствовал, и без позволения канторского в Москву и никуда вдаль не отлучался»⁷³.

В Тайной канцелярии строже, чем в других учреждениях, контролировали не только дисциплину, но и «чистоту рук». Секретарь Московской конторы Алексей Васильев, к примеру, был даже арестован «по некоторому подозрению» — в 1746 году каптенармус Рязанского пехотного полка Николай Сокольников обвинил его, канцеляриста Федора Афанасьева и подканцеляриста Михаила Чередина во взяточничестве. Сокольников, будучи арестован (как он считал, необоснованно) по уголовному делу об убийстве дворового человека капитана флота Гаврилы Лопухина, маялся вместе с другими колодниками Юстиц-коллегии, пока, «не вытерпя» заключения, не заявил «слово и дело» только затем, чтобы получить возможность объяснить ошибочность своего ареста. Но вместо ожидаемой свободы он оказался в еще более строгом заключении в другом ведомстве. Тут каптенармус осознал ошибку и через друзей и родственников стал искать способы облегчить свою участь. В дело вмешались мать сидельца Елена Сокольникова и его приятель, рейтар Конной гвардии Аврам Клементьев. Последний известил арестанта в письме (оно приложено к делу), что «у секретаря Алексея Фе-

доровича Васильева был и о тебе просил, чтоб куда надлежало тебя отправить, и он мне на то сказал, чтоб ево чем-нибудь подарить».

В итоге дело было слажено; но обиженный Сокольников подал в Сенат челобитную, в которой с бухгалтерской точностью рассказал о «цене» освобождения: по его утверждению, Васильев получил от него 20 рублей, от Клементьева — ведро вина, «постав» (рулон) камки и три рубля и от матери — еще один «постав» камки, лисий мех и «четвертную оловянную». По его словам, немалые подношения делались также канцеляристу Федору Афанасьеву (45 рублей, два ведра вина, восемь аршин атласу) и подканцеляристу Михаиле Чередину (25 рублей). Из дела видно, что москвичей — и сидельцев, и следователей — объединяла сеть родственных и приятельских связей, и добиться послабления за умеренную мзду было не так уж трудно — но только по делам «неважным» и не касавшимся зловещих «пунктов».

В данном же случае все оговоренные были «от дел отрешены» и взяты под следствие. Но оно ни к каким разоблачениям не привело — Афанасьев и Чередин наглухо «заперлись»: ничего ни у кого «не бирывали». Обвинял же их Сокольников якобы исключительно «за злобу», поскольку они не позволяли арестанту зайти домой и не допускали ему «утечь». Зато итоговый экстракт гласил, что жалобщик и так заявил ложное «слово и дело» да к тому же соврал в челобитной, что сидел под стражей год и восемь месяцев, хотя в действительности провел в Тайной конторе только полгода, а потому ему «верить не подлежит». Свидетельских показаний почему-то в деле нет. В конце концов подьячие были признаны честными; пострадал лишь секретарь Васильев — он был в 1749 году «отрешен» от службы окончательно, хотя и с «повышением ранга»⁷⁴.

Ушаков не только контролировал, но и защищал своих подчиненных. В 1744 году он в личном письме сделал выволочку секретарю Московской конторы Ивану Набокову за то, что тот посмел отправить подканцеляриста Алексея Емельянова в Новгород по су-

дебному иску какого-то губернского подканцеляриста. По мнению Андрея Ивановича, на Емельянове «вины не находитца» — не считать же таковой «бой» и прочие оскорбления, на которые жаловался провинциальный подьячий⁷⁵.

Имеющиеся в нашем распоряжении канцелярские бумаги «по кадрам» свидетельствуют, что в первой половине XVIII века сотрудники политического сыска, за редкими исключениями, не только не стремились сменить место работы, несмотря на тяжесть их «тайной» службы, но и приводили в старости себе на смену детей и младших родственников. Можно предположить, что решающую роль в этом играли не столько деньги (не то чтобы очень большие), сколько престиж и статус охранителей государевой жизни и чести. В документах канцелярии нам не встретились сведения о выявленных случаях коррупции ее персонала; дела по обвинениям чиновников во взятках со стороны колодников иногда заводились, но внутренние расследования таких фактов не подтверждали, хотя за другие провинности (прогулы, «неприлежание») карали.

Штат приказных Тайной канцелярии на протяжении столетия изменялся мало. По данным 1737 года в Петербургской канцелярии числились, помимо самого Ушакова, секретарь Николай Хрущов, два канцеляриста (Михаил Кононов и Федор Митрофанов), пять подканцеляристов (Василий Прокофьев, Иван Набоков, Михаил Поплавский, Степан Иванов и Иван Стрельников) и шесть копиистов (Михаил Хрущов, Яков Ельцин, Григорий Елисеев, Андрей Ходов, Василий Турицын и Иван Андреев) — всего 14 человек «приказных служителей», десять из которых работали со времени ее воссоздания в 1731 году, а семь, как уже говорилось, начали службу еще в Преображенском приказе.

Кроме них, в штате числился палач Федор Пушников — он был вытребован в Петербург из Москвы в 1734 году после того, как «штатный» палач Максим Окунев сломал ногу, когда боролся с профосом Санкт-Петербургского гарнизонного полка Наумом

Лепестовым — можно представить, каким захватывающим было это состязание двух атлетов-кнутобойцев! После неудачного поединка Окунева долго лечили и по выздоровлении не уволили, а «за многую при Тайной канцелярии бытность» отправили в Московскую контору. К числу персонала следует отнести и непременною лекаря — эту гуманную обязанность исполнял в 1734 году Мартин Линдвурм, а после — Прокофий Серебряков, до самой смерти в 1747 году.

В 1741 году в Тайной канцелярии несли службу секретарь — ассессор Николай Хрущов; четыре канцеляриста — Иван Набоков, Яков Ельцин, Семен Гостев и Михаил Поплавский; пять подканцеляристов — Михаил Хрущов, Иван Стрельников, Василий Прокофьев, Степан Иванов, Алексей Емельянов; три копииста и один «заплечный мастер» — всего 14 человек.

Через 20 с лишним лет, в 1761 году, штат уменьшился до 11 человек; в перечне должностей появились протоколист (Матвей Зотов, пришедший на службу в 1738 году копиистом), регистратор (Илья Емельянов) и лекарь Христофор Геннер. Василий Прокофьев за 20 лет дослужился до ассессора и вышел в отставку, а его коллега Михаил Поплавский дорос только до протоколита — и то не в Петербурге, а в Московской конторе. Палача Пушникова сменил другой мастер кнута — Василий Могучий; он прослужил до самой ликвидации Тайной канцелярии в 1762 году и был с похвальной аттестацией переведен на работу в Петербургскую губернскую канцелярию.

Московская контора Тайной канцелярии, а затем Тайной экспедиции имела примерно такую же структуру: в 1732 году в ней работали секретарь Степан Патокин, канцеляристы Семен Гостев, Андрей Телятев и Федор Ефремов; подканцеляристы Андрей Лукин, Никита Ярой и Иван Анфимов; копиисты Семен Чичерин, Федор Афанасьев, Иван Немцов, Петр Щурлов, Алексей Васильев, Осип Татаринов и Самсон Дмитриев. Еще имелись в штате три сторожа и заплечный мастер» — всего 18 человек. В 1756 году

в ней числилось чуть больше сотрудников — 16 «приказных людей», причем появились новые должности: два актуариуса (в чине коллежского регистратора — 14-го класса по Табели о рангах) и протоколист (как правило, в чине 13-го класса — провинциального секретаря). Первые, согласно Генеральному регламенту, занимались регистрацией входящей и исходящей документации и обеспечивали сотрудников бумагой, перьями, чернилами, свечами и тому подобными предметами, необходимыми для канцелярской работы. Вторая должность предусматривала — кроме, естественно, ведения протоколов заседаний — составление росписи нерешенных и решенных дел.

Формально руководил работой московского филиала тамошний главнокомандующий; непосредственно во главе его стоял секретарь (во второй половине XVIII столетия — обер-секретарь), в чьих руках было сосредоточено всё делопроизводство.

Судьбы далеко не всех чиновников сыскного ведомства можно проследить по сохранившимся документам. Но, к примеру, в 1750 году начал службу копиистом Илья Зиновьевич Зряхов, юный разночинец «из офицерских детей» (либо его отец был личным дворянином — без права передачи дворянства по наследству, либо он родился еще до получения родителем потомственного дворянства). К 1761 году Зряхов числился подканцеляристом, а еще через десять лет вышел в люди — стал секретарем, причем был лично известен императрице Екатерине II. Именно его она рекомендовала в 1774 году проводившему следствие над участниками Пугачевского восстания генералу П. С. Потемкину «как весьма к сим делам привыкшего и то под моими глазами многие годы». Зряхов служил долго и в 1794 году по представлению того же Потемкина (генерал оценил толкового чиновника) получил «полковничий» чин коллежского советника и был назначен председателем палаты гражданского суда Кавказского наместничества. В его послужном списке отмечено: «В походах и в деле против неприятеля хотя и не был,

однако по всевысочайшей ее императорского величества воле находился во многих известных ее императорскому величеству комиссиях и посылках, составляющих переездов до 30 000 верст»⁷⁶.

Итак, мы видим, что после короткого перерыва в 1726—1731 годах деятельность органов политического сыска успешно восстановилась. Кадровая структура обрела стабильность и преемственность. Старые петровские служаки стали главной опорой и носителями традиций этого учреждения и передавали опыт своим выученикам, коими становились младшие родственники — Хрущовы, Чередины, Набоковы, Шурловы, Кононовы, Яровы. Чиновники нового поколения были также вышколены, отличались «в трудолюбии и точном исполнении возложенных на них дел» и пребывали на службе «в непрерывной безотлучности во всякое время». Редкая паршивая овца за «пьянство и нехождение к должности» сразу же изгонялась, как канцелярист Дмитрий Войлоков в 1768 году.

Штат Тайной экспедиции принципиально не изменился и в начале XIX века. При А. С. Макарове в нем состояли девять классных чиновников: коллежский советник Петр Молчанов, надворный советник Антон Щекотихин, коллежский асессор Александр Папин, коллежский асессор Павел Иглин, секретарь 8-го класса Федор Львов, коллежский секретарь Павел Боголепов, секретарь 9-го класса Иван Александров, титулярный советник Михаил Федоров и штаб-лекарь надворный советник Гасс. Прочих «приказных служителей» документы о ликвидации Тайной экспедиции не называют — зато свидетельствуют, что к ее ведению относился караул в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (унтер И. Степанов и 26 рядовых-ветеранов Литовского полка) и в Шлиссельбурге (два унтер-офицера и 69 рядовых)⁷⁷. При этом в официальном справочнике-указателе всех должностных лиц Российской империи («Адрес-календаре») упоминался только начальник Тайной экспедиции и иногда секретарь, имена других чиновников появлялись там только в

случае их перехода в другое учреждение. Однако в это время на службе уже не было сыскных «династий».

Известный в свое время писатель-немец Август Коцебу (1761 — 1819), выпускник Йенского университета, в молодости подвизался в России в качестве секретаря у прусского посланника, затем ассессора апелляционного суда в Ревеле, где дослужился до чина подполковника, а в 1795 году отбыл за границу. На свою беду, он решил навестить оставшихся в России детей. Но в бурное царствование Павла I его посчитали опасным политическим агитатором, вследствие чего на границе Российской империи ни о чем не подозревавший литератор был в апреле 1800 года встречен чиновником с императорским предписанием об отправке на жительство в Тобольск. Коцебу запечатлел на страницах своих воспоминаний облик одного из сотрудников Тайной экспедиции: «Надворный советник Щекотихин был лет сорока от роду, имел темно-коричневые, почти черные волосы и лицом напоминал сатира; когда он хотел придать своей физиономии приветливое выражение, две продолговатые морщины пересекали его лицо до самого угла глаз и придавали ему выражение презрения; крутость его манер означала, что он находился прежде в военной службе, а некоторые отступления от правил приличия показывали, что он никогда не посещал хорошего общества и не получил должного воспитания — так, например, он очень редко употреблял платок, пил прямо из бутылки, хотя перед ним и стоял стакан и т. п.; с самым грубым невежеством он соединял в себе все наружные признаки большого благочестия; он был до того несведущ в литературе, что имена Гомера, Цицерона, Вольтера, Шекспира, Канта были ему совершенно чужды; он не обнаруживал ни малейшей охоты чему-либо выучиться, но зато умел с необычайной ловкостью осенять крестным знаменем свой лоб и грудь всякий раз, когда он просыпался, всякий раз, когда издали замечал церковь, колокольню или какой-либо образ»⁷⁸.

Насчет Канта и Гомера отправленный ни за что в Сибирь немецкий литератор, пожалуй, съязвил на-

прасно — такие познания сотрудникам Тайной экспедиции не требовались. Зато дело свое они знали отлично. Например, тот же Щекотихин (он начал службу в сыске прапорщиком караула, но за несколько лет выдвинулся) мог бодрствовать сутками, при задержках на почтовых станциях извергал «поток неприличных слов» и лихо бил недостаточно проворных ямщиков. В пути он проявлял «ловкость и сметливость»: быстро организовал поиски пытавшегося сбежать Коцебу, пресек все его попытки вести записи или отправить с дороги письмо, заодно не стесняясь закусывать провизией поднадзорного, носить его сапоги и пользоваться прочими вещами. Однако он же остановил понесших коляску испуганных лошадей, а при проезде сквозь горящий лес или переправе через разлившуюся реку на хлипком плоту своей «неустрасимостью в опасностях» вызывал у арестанта невольное уважение.

В целом в екатеринские времена сотрудники Тайной экспедиции выросли в чинах, стали более «благородными», а их карьера проходила более разнообразно и не была с молодых ногтей пожизненно связана с политическим сыском. Да и награждались они лучше — тот же Щекотихин стал не только надворным советником, но и владельцем 500 душ, о чем он не без гордости сообщил поднадзорному.

В политическом сыске появились также кадры иного рода, которые уже не ходили в застенки и не занимались допросами и составлением бумаг, им поручали особые миссии, требовавшие соответствующей подготовки, образования и светского воспитания. В 1795 году на службу в Тайную экспедицию поступил надворный советник Егор Борисович Фукс (1762—1829)⁷⁹. Он начинал карьеру в дипломатической канцелярии графа А. А. Безбородко, а затем стал агентом политического розыска и одновременно адъютантом и секретарем А. В. Суворова. Отправляясь вместе с полководцем и его армией в Италию, Фукс выполнял особое задание: «сделать точное и строжайшее наблюдение неприметным образом об

офицерах, <...> в каких они подлинно связях, мнениях и сношениях, и не имеют ли какого-либо действия иностранные противные внушения и соблазнительные книги».

Командование знало, что в русском корпусе, воевавшем против наполеоновских войск в Италии, есть офицеры-вольнодумцы, и опасалось распространения французами в полках брошюр революционного содержания. Фукс (к тому времени уже статский советник) по прибытии в заграничную армию приступил к своим обязанностям и сообщил в экспедицию, что «по содержанию данной мне инструкции употребил немедленно все возможные способы для разведывания об образе мыслей италийского корпуса и о поведении офицеров». Познакомившись с чиновником, Суворов взял его к себе, поручив ведение «иностранной переписки, военных и дипломатических дел, а также журнала военных действий». Ретивый адъютант регулярно извещал Петербург обо всех встречах Суворова с генералами и офицерами и копировал переписку своего шефа. «Теперь имею честь, — писал он в своем секретном донесении, — приложить при сем копии с трех писем его римского императорского величества и с двух ответов на оные фельдмаршала»⁸⁰.

Все же Фукс «честь имел» — доверием не злоупотреблял и никаких сведений, выставлявших командуемого в невыгодном свете и способных вызвать неудовольствие императора, генерал-прокурору не доносил. Он писал, что в армии всё обстоит благополучно и признаков революционной пропаганды не замечается; напротив, солдаты и офицеры воюют успешно — «благодаря преобразованиям государя, доведшего военное искусство до высшей степени совершенства». Зато резкой критике он подвергал союзное австрийское командование за «великое нерадение австрийцев о нашем продовольствии» и нежелание предоставлять истинные данные о численности своих войск и потерях. Фукс докладывал, что не может исправно вести журнал военных действий, потому что «к составлению журнала есть препятст-

вие со стороны австрийцев, ибо они никаких сведений не дают»⁸¹.

Затем Фукс проявил свои способности в качестве директора военной канцелярии другого знаменитого полководца — фельдмаршала М. И. Кутузова во время Отечественной войны 1812 года. В мирное время он стал автором популярных трудов «История российско-австрийской кампании 1799 года» (СПб., 1825—1830); «История генералиссимуса графа Суворова-Рымникского» (СПб., 1811) и «Анекдоты графа Суворова» (СПб., 1827), в которых поведал о странностях прославленного полководца: «Непонятно, как человек, привыкший по утрам окачиваться холодной водою, выпарившись в бане, бросаться в реку или в снег, не носивший никогда шубы, кроме мундира, куртки и изодранной родительской шинели, мог в горнице переносить ужасную теплоту. В этом походил князь Александр Васильевич на наших крестьян в избах. Подобно им, любил и он быть в полном неглиже. Я, а со мною и многие, страдали в его теплице. Нередко пот с меня так и катился на бумагу при докладах. Однажды закапал я донесение, хотя по содержанию своему не очень ему приятное. "Вот, ваше сиятельство, я не виноват, — сказал я ему, — а ваша Этна", — указав на печь. "Ничего, ничего, — отвечал он. — В Петербурге скажут или что ты до поту лица работаешь, или что я окропил сию бумагу слезою. Ты потлив, а я слезлив". Так же и австрийский генерал-квартирмейстер Цах распалился до того, что, работая с ним в кабинете, снял с себя галстух и мундир. Фельдмаршал бросился его целовать с сими словами: "Люблю, кто со мною обходится без фасонов". "Помилуйте, — вскрикнул тот, — здесь можно сгореть". Ответ: "Что делать? Ремесло наше такое, чтоб быть всегда близ огня; а потому я и здесь от него не отвикаю"»⁸².

В Московской конторе Тайной экспедиции штат был и вовсе невелик: здесь трудились надворный советник Алексей Пороховщиков, титулярный советник Павел Горлов, канцелярист Павел Львов. Для особых поручений при конторе состоял статский со-

ветник Юрий Александрович (или Алексеевич) Николев. Волею судеб и начальства его имя также оказалось связанным с биографией Суворова: именно Николев привез ему в апреле 1797 года приказ об удалении из армии и ссылке в Кончанское; он же ведал наблюдением за опальным фельдмаршалом и докладывал генерал-прокурору обо всех его «посещениях и упражнении». Позже он жаловался, что пять месяцев живет на свой счет в простой избе и питается чем попало; «своим настоящим положением по рвению к службе его императорского величества удовлетворяется сердечно, но находится без жалования», и просил о денежном пособии. За усердие ему было пожаловано 5 тысяч рублей и открыта карьера—в короткое время он стал действительным статским советником. Как известно, опала фельдмаршала была недолгой. Суворов отправился с Фуксом в Итальянский поход, а Николев был зачислен в штат Тайной экспедиции следователем по особо важным делам. В этом качестве его командировали в Ярославскую губернию для проверки слухов о подготовке «возмущения» крестьян при проезде императора. Затем он расследовал злоупотребления калужского губернатора и чиновников, ездил на Дон для проверки анонимной жалобы на двух генералов Иловайских, в украинский Батурин по делу бывшего гетмана Кирилла Разумовского и его окружения, в белорусский Шклов по делу о фальшивомонетчиках, действовавших под покровительством генерала Зорича. Все эти поручения он исполнял, не злоупотребляя своими полномочиями и не пытаясь любой ценой обнаружить заговор и «возмущение». Однако в одном из своих донесений из Москвы он констатировал: «Все меня боятся и от меня бегают». Николев вышел в отставку в 1801 году после ликвидации Тайной экспедиции.

Александр Пороховщиков «из обер-офицерских детей» начал карьеру копиистом в Сенате, где дослужился до регистратора. После увольнения из Сената он по представлению генерал-аншефа М. Н. Кречетникова был определен в тульскую верхнюю распра-

ву (судившую государственных крестьян) секретарем, но в действительности работал в походной канцелярии генерала. Там он стал поручиком Изюмского легкоконного полка; потом служил в кирасирском полку князя Потемкина и участвовал в походах в Польшу. Но все же в армии Пороховщиков не прижился и в 1794 году «за приключившимися болезнями по прошению ево был отставлен с чином ротмистра*», после чего устроился в московскую полицию. На этой службе он нисколько не пострадал в бурное павловское царствование и даже получил два следующих чина, а завершил карьеру в Тайной экспедиции, куда был переведен по высочайшему повелению в 1799 году.

Титулярный советник Павел Горлов «из российских дворян» в начале своей чиновничьей карьеры тоже служил копиистом — в Канцелярии опекунов иностранных; затем стал канцеляристом в Санкт-Петербургском губернском правлении, попал в Счетную экспедицию Военной коллегии, а оттуда перешел в канцелярию московского главнокомандующего А. А. Прозоровского и, наконец, в 1793 году был определен в Московскую контору Тайной экспедиции. Прозоровский, «прославившийся» арестом знаменитого издателя и просветителя Н. И. Новикова, определил на сыскную службу канцеляриста Павла Львова «из приказных детей»; молодой человек служил усердно и оказался «способен и достоин» к повышению чина, как записано в его формулярном списке⁸³.

Кроме чиновников в штате Московской конторы числились два сторожа из отставных солдат за мизерное жалованье в 20 рублей в год да «через два года мундир противу сенатских сторожей». При конторе также находился караул, состоявший из унтер-офицера и двадцати солдат сенатской роты — прежде несшие эту службу солдаты-ветераны московского Преображенского батальона при Екатерине были заменены солдатами «разных полевых полков».

В штате Тайной экспедиции по-прежнему имелся врач но ни в Петербурге, ни в Москве уже не было

«запленного мастера» — после официальной ликвидации Тайной канцелярии палач Василий Могучий был «отпущен» в ведение Санкт-Петербургской губернской канцелярии⁸⁴. Возможно, теперь палача присылали для проведения необходимых «эзекуций» из другой «команды» или эти обязанности брали на себя добровольцы из числа унтеров и солдат охраны.

Другим новшеством в самом конце XVIII века стало использование — пока очень незначительное — секретных агентов-осведомителей. В штате они не состояли; но их труд оплачивался — либо на постоянной основе (корнет Семигилевич и майор Чернов получили в 1800 году 400 рублей), либо по выполнении конкретного задания (так, не названным по именам «людям» — скорее всего, слугам — было выплачено по 10 рублей за доставленные сведения). В документах имеются и другие упоминания о расходах «по особо порученным от его императорского величества секретным делам, касательно некоторых людей по разным губерниям»⁸⁵.

После упразднения Тайной экспедиции ее сотрудники были определены на новые места с учетом их пожеланий и без потери в зарплате.

Глава 3
Хозяйство тайного сыска

Крепость и подворье

Местопребыванием Тайной канцелярии в Северной столице стала Петропавловская крепость. Там же находились в предварительном заключении подследственные. В 1715 году в крепости была «взята в разработку» группа взяточников и казнокрадов, среди которых главным был петербургский вице-губернатор Я. Н. Корсаков. В 1718 году шло следствие по делу царевича Алексея, содержащегося в Трубецком бастионе, где он и преставился 26 июня — через день после вынесения приговора. В казематах этого бастиона, находившегося на наибольшем удалении от парадных Петровских ворот, были устроены первые арестантские помещения, остававшиеся там даже после того, как в 1724 году в бастионе разместился Монетный двор.

При Петре I колодники сидели в камерах внутри крепостных стен — казематах или «казармах» «у Кронверских», «у Васильевских», «у Невских» и «у Петровских ворот»; в Алексеевском рavelине (такие же помещения использовались под склады артиллерийских припасов и пороха или под архивы правительственных учреждений, в том числе архив Коллегии Иностранных дел). Подследственных Тайной канцелярии могли размещать на гарнизонной гауптвахте; более знатных заключенных содержали в домах

обер-коменданта и гарнизонных офицеров. Только со времен Екатерины II в крепости появились специальные тюремные корпуса, о которых еще пойдет речь ниже. Руководство и чиновники Тайной канцелярии обретались в отдельном, более комфортабельном помещении — так называемом «первом комендантском доме»: в документах упоминаются не только «казармы», где содержались колодники, но и «передняя светлица», «светлица секретарская», «судейская светлица» и восемь маленьких «конторок»¹.

В марте 1731 года Сенат во исполнение императорского указа повелел Ушакову «для отправления оных дел канцелярии быть в Преображенском на Генеральном дворе и именовать оную канцелярию тайных розыскных дел <...>. К тем делам определить сенатского секретаря Василья Казаринова и давать ему то жалование, по чему сенатским секретарям по штату определено: по шести сот рублей в год; подъячих определить тех, которые в доношении вашем написаны, кроме канцеляриста Гуляева <...>; и сторожей двух; заплечных мастеров двух же человек определить вам по своему рассмотрению; на дачу той канцелярии служителем жалованья и на кормовые колодникам и посылаемым в города на прогонные деньги и на прочие канцелярские расходы отпускать ту сумму, которая положена была по штату на бывший Преображенской приказ по три тысячи по шестидесяти рублей на год по ассигнации штатс-конторы; <...> для караулов в канцелярии и у колодников и посылок определить сержанта капрала, да солдат 30 человек с переменою лейб-гвардии из московского батальона»².

Так Тайная канцелярия возродилась — сначала на «историческом» месте — под Москвой на «Генеральном дворе» Преображенского приказа, но уже в январе следующего года вместе с другими центральными учреждениями переехала в Петербург и снова разместилась в Петропавловской крепости.

В 1730-е годы для прикрытия куртины между двумя западными бастионами (Зотова и Трубецкого) был построен Алексеевский рavelин — треугольное фор-

тификационное сооружение, названное в честь царя Алексея Михайловича. Новое укрепление отделялось от основной части крепости ровом с водой (засыпанным в конце XIX века) и стало на долгие годы скрытой от глаз посетителей тюремной частью крепости.

Тайная канцелярия в разное время занимала в крепости разные строения, которые ныне не сохранились: в 1732 году она была размещена в бывшей Главной аптеке, в 1738-м переехала в деревянный дом на северном берегу крепостного канала недалеко от собора, а в 1748 году — в другое специально для нее выстроенное каменное здание вблизи Меншикова бастиона; ей же принадлежали Смирительный и Казенный комисский («комиссии проекта нового Уложения») дома, места расположения которых не установлены³. Однако известно, что новые «деревянные покои» в Алексеевском рavelине начали строить в декабре 1769 года по распоряжению тогдашнего генерал-фельдцейхмейстера Г. Г. Орлова. К концу века они пришли в «великую ветхость», и на их месте в 1797 году сенатский архитектор Петр Патон возвел каменный «треугольный» одноэтажный дом; подрядчиком при строительстве стал рижский купец Ветошников, выигравший «тендер» с торгов за сумму в 23 640 рублей⁴. Об этих помещениях мы еще расскажем читателям, когда речь пойдет о «клиентах» Тайной канцелярии.

К середине века в распоряжении Тайной канцелярии имелось в крепости почти два десятка зданий. В них было 42 колодничьи палаты — в «Старой тайной», «Старой аптеке», бывшей гарнизонной бане, в «старой Трезиною» (то есть канцелярии архитектора Доменико Трезини); в караульнях и казармах у крепостных ворот, в новом Иоанновском рavelине и неизвестных помещениях «против магазейна», «на Монетном дворе», или «в доме у печатей».

Об интерьерах собственно канцелярских помещений мы имеем скудные сведения. Сидевший в крепости в конце 1750-х годов немецкий пастор Теге так описал их: «Пройдя ряд комнат, в которых сидели секретари и писцы, я введен был в длинную, прекрасно

убранную присутственную залу. За столом, покрытым красным бархатом, сидел один только господин». Возможно, за бархат пруссак принял сукно, к тому времени уже несколько десятков лет покрывавшее стол следователя; во всяком случае, в канцелярской расходной книге 1718 года указано, что «сукно красное» было куплено для стола дьяка Ивана Сибелева. Там же упоминается о заказе сундуков «с нутряным замком» для хранения дел⁵.

Особым следственным изолятором и тюрьмой, кроме Петропавловской крепости, служил Шлиссельбург, расположенный недалеко от столицы, но в неприступном месте — на Ореховом острове на Неве, у ее истока из Ладожского озера. Именно в этой крепости содержали царицу Евдокию Федоровну (1725-1727), князей Долгоруковых (1738-1739), Бирона (1740—1741), Н. И. Новикова (1792) и свергнутого императора Ивана Антоновича.

Можно сказать, что в ведении Тайной канцелярии находилась также часть «немецкого кладбища» на Выборгской стороне — там хоронили арестантов, умерших от болезней или усердных трудов следователей.

Московский филиал Тайной канцелярии при Петре I занимал бывшее подворье рязанских архиереев в начале Мясницкой улицы, принадлежавшее митрополиту Стефану Яворскому⁶. В послепетровское время его архивы хранились в селе Преображенском. С другой стороны, указ Московской сенатской конторы от 18 марта 1762 года предписывал ассессорам, секретарям и канцелярским служителям Московской конторы Тайной канцелярии «быть же при сенатской конторе у исправления о присылаемых по важности колодниках и представлениях дел в прежних их должностях особой экспедицией; и те дела им исправлять в тех покоях, где межевая канцелярия находилась»⁷. Возможно, какое-то время так и было, но в 50-х годах XVIII века контора опять оказалась в Преображенском.

Строения ветшали, и в 1748 году Василий Казаринов жаловался начальству на отсутствие нормально-го архивохранилища «по силе генерального регла-

мента» и невозможность для чиновников быстро получать информацию по прежним делам. Секретарь Михаил Хрущов направил в августе 1751 года в Петербургскую канцелярию доношение «о ветхости тайной конторы покоев и казарм и острога и протчего и о строении за тою ветхостию тайной конторы вновь». К тому времени «острог почти весь сгнил и в некоторых местах скважины и весь валитца, через которые скважины может человек пролезть; и на малые казармы звено повалило; и оные казармы и на них тако ж и на больших казармах и над конторою крышки весьма ветхи, от чего во время дождя превеликая течь; в нужниках нижние окошки сгнили, в которые может человек без нужды пролезть — за ветхостию их чинить никак невозможно».

Столичное начальство обеспокоилось возможностью побега арестантов и разрешило провести ремонт. Однако явившийся в контору для осмотра «фронта работ» архитектор Василий Обухов вынес вердикт, что ворота и застенки «весьма ветхи» и острог придется возводить вновь. Затем обсуждением сметы и строительством новых зданий занялся Сенат. Хрущов меж тем запросил канцелярию, где возводить новые строения: «на том же ли, или вблизи того на другом где месте, или же на Генеральном дворе», пояснив: «Ежели повелено будет строить против старых покоев, то оные покои всема будут тесны и колодников спрашивать по вытчикам неудобны. А паче казарм всема мало, что по важным делам колодников сажать негде. И буде на прежнем месте повелено канцелярским служителям для исправления Дел сидеть, тако ж и колодников где будет содержать? А по мнению тайной конторы надлежит старых покоев до того времени, покамест вновь сделают, не ломать, а те новые покои строить, уступя от конторы и от солдатской караульни вперед к горе, в правую сторону, или на том месте, где старое генерального двора строение имеется. Но токмо тайная контора сама собою, не доложая Тайной канцелярии, такого к строению места определить опасна». Опытный секретарь обеспокоился не только об удобстве доставления ко-

лодников на допросы, но и о хранении документов и предлагал обязательно «для хранения дел <...> сделать каменную архиву за железными решетками, дверьми и затворами и к ней небольшую палату, где приказным служителям для разбирания дел сидеть».

Архитектор Обухов представил план и описание строений, благодаря которому мы теперь можем представить, какие помещения входили в состав Московской конторы Тайной канцелярии. Для нее предполагалось построить «шесть жилых светлиц с тремя сенями и протчим <...> из соснового лесу с принадлежащим показанным в том реестре украшением столярною и штукатурною работами и красками; да из елового лесу»; «для офицеров и солдат караульни и между ими сени»; острог — в длину около 40, а поперек — около 37 сажений (85 на 79 метров), с воротами и калиткою в них, в остроге десять больших и девять малых казарм, а между ними сени с навесами (сюда же входил «застенок с принадлежащим»); архив, а при нем «две полатки каменные <...> с сводами и с крышкою лещадною, дверьми, решетками и затворами железными, с одной печью и каменным крыльцом»; предусматривалось также сооружение дощатой конюшни.

После утверждения плана и сметы летом 1752 года состоялись торги на строительный подряд, которые в итоге выиграли московский купец Кондратий Кузнецов и крестьянин Емельян Варыханов из деревни Жулебино — вотчины П. Б. Шереметева. М. Хрущов донес в Тайную канцелярию: «А сего ж сентября 21 дня с подрядчиками о том всем строении в тайной конторе контракт с поруками заключен, и вчерашнего числа тайной конторы покои и протчее строение (кроме каменной архивы) заложено и строением начато»⁸.

В новых покоях в середине века имелись «серебряная судейская чернилица, печать канцелярская, зеркало деревянное вызолоченное, часы стенные медные, ветхие с корпусом, зеркало в рамах, портрет блаженные и вечно достойныя памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны» — эту обстановку зафиксировал документ 1763 года. Здесь

находились «святыя образа и церковные книги и ризы церковные, покупанные некоторые на казенные, а большею частию на колодничи деньги по их деланиям»⁹.

Спустя 20 с лишним лет контора снова сменила адрес: в 1774 году для проведения особо важного следствия над Емельяном Пугачевым и его ближайшими соратниками Тайной экспедиции были предоставлены старые палаты рязанского архиерейского подворья. После окончания дела дом на Мясницкой так и остался за московским филиалом до упразднения ведомства. 14 мая 1801 года генерал-прокурор А. А. Беклешов сообщил московскому военному губернатору И. П. Салтыкову: «Его императорское величество высочайше указав состоящий под бывшею в Москве Тайною экспедицией дом, что был до этого Рязанское подворье, отдать в ведомство приказа общественного призрения». Но даже после передачи площадей здесь еще некоторое время жили прежние начальники и сторожа экспедиции. В 1819 году подворье стало домом Библейского общества, а затем опять поступило в духовное ведомство, и в него перевели Московскую духовную консисторию, ранее располагавшуюся в Чудовом монастыре в Кремле.

При переселении на Мясницкую сыскное ведомство сохранило и «острог» в селе Преображенском. В декабре 1761 года А. И. Шувалов просил у Сената 5 195 рублей на его ремонт — но, кажется, так их и не получил: накануне смерти императрицы Елизаветы высших чиновников империи волновали другие проблемы, а потом вопрос и вовсе стал неактуальным в связи с упразднением Тайной канцелярии. В 1763 году Сенатская контора в Москве предложила «строения» Тайной конторы продать с торгов, но Екатерина II рассудила, что они «впредь для содержания колодников нужны быть могут». В результате комплекс зданий конторы и острога с десятью «большими» и девятью «малыми» казармами и караульной, «каменной архивой» и «ветхой избой» для служителей так и остался во владении нового сыскного ведомства.

Однако в 1780 году начальство Тайной экспедиции вновь заинтересовалось прежним владением и выяснило, что к тому времени деревянные постройки уже основательно подгнили и срочно требовали ремонта. По указанию московского главнокомандующего генерал-аншефа В. М. Долгорукова инспектор Каменного приказа инженер-капитан Михаил Мажиров составил план строений. Из него следует, что внутри обнесенного «стоячим палисадом» квадратного острога имелись две деревянные «номерные казармы» для узников и деревянный же корпус для персонала Тайной конторы; в центре острога стояла каменная «палатка», в которой так и хранился архив, поскольку в 1762 году сенатские чиновники отказались его принять по недостатку места. К счастью для историков, бумаги не пострадали — «палатка» стояла «в твердости»; однако ее крыша также требовала починки. Была составлена смета на ремонт — всего 622 рубля. Но к тому времени Тайная контора уже располагалась в местительном Рязанском подворье, и князь В. М. Долгоруков счел за благо перевести архив туда, а деревянные постройки в Преображенском продать на слом, поскольку в них «нужды предвидится тем менее, что ныне по благости Господней настает спокойствие и тишина»¹⁰.

После ликвидации Московской конторы Тайной экспедиции одно из принадлежавших ей строений на Мясницкой улице — трехэтажный дом рядом со зданием консистории — было передано под квартиры чиновников. В начале прошлого века бывший «дом ужасов» решили снести. Там уже не сохранилось пыточное оборудование, но в помещениях остались вбитые в стену кольца и крючья. Бытописатель Москвы Владимир Гиляровский передает со слов очевидца забавную деталь: в одной из комнат, где якобы в старину присутствовал при пытках сам Шешковский, постоялец использовал в качестве посудного шкафа глубокую нишу (аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в высоту), представлявшую собой не что иное, как закрывавшийся железной дверью «каменный мешок», в который стоймя помещали преступников.

Доходы и расходы

Государство не слишком щедро финансировало деятельность одного из своих важнейших учреждений. Попробуем, насколько это возможно, составить представление о бюджете Тайной канцелярии.

На какие средства жили служащие грозного ведомства? Только старшие чиновники — секретари и обер-секретари — получали более или менее приличные деньги (порядка 500—600 рублей в год, а наиболее заслуженные, как упоминавшийся Николай Хрущов, и больше), сопоставимые с окладом армейского полковника. Годовое жалованье протоколиста во второй четверти XVIII века составляло 200—300 рублей. Рядовые канцеляристы получали, в зависимости от чина и стажа, от 80 до 150 рублей; подканцеляристы — 30—80 рублей, а копиисты — еще меньше.

Штаты и оклады служащих Тайной канцелярии и ее конторы в 1753 году согласно «ведомости, коликое число в Москве в Тайной канцелярии, тако ж и в Санкт-Петербурге в Тайной конторе (в это время в связи с приездом императрицы в Москву Тайной канцелярией стало называться московское отделение, а петербургское — наоборот, Тайной конторой. — И. К, Е. Я.) канцелярских и нижних чинов служителей имеется, и почему каждый в год жалованья получает»¹¹, выглядели следующим образом:

А именно:	Рублей	
В Москве в Тайной канцелярии		
<i>Секретарь</i> Михайло Хрущов	400	
<i>Нотариус</i> Никита Ярой	130	В Петербурге получит 200 рублей
<i>Нотариус</i> Михайло Поплавской	130	
<i>Регистратор</i> Василий Прокофьев	130	10 рублей
<i>Канцеляристы:</i>		
Федор Афанасьев	100	30 рублей прибавки
Петр Васильев	70	

<i>Подканцеляристы:</i>		
Александр Мартынов	50	10 рублей
Михайло Чередин	45	5 рублей
Александр Баранов	40	5 рублей
Иван Ярой	30	10 рублей
<i>Копеисты:</i>		
Алексей Кононов	20	15 рублей
Василий Ильин	20	15 рублей
Василий Михайлов	20	10 рублей
Сергей Федоров	20	20 рублей
Осип Иванов	20	10 рублей
<i>Сторож</i> Григорий Фиросов	18	
<i>Запечной мастер</i> Михайло Михайлов	12	
Итого:	1 255	
В Санкт-Петербурге в Тайной канцелярии		
Секретарь Иван Набоков	500	
Лекарь Христофор Геннер и с квартирою	250	
Архивариус Степан Шешковский	180	20 рублей
Актuariус Алексей Емельянов	200	
Регистратор Матвей Зотов	200	
<i>Подканцеляристы:</i>		
Иван Соколов	70	
Петр Иванов	70	
Илья Емельянов	60	
Андрей Набоков	60	
Ульян Степанов	55	
Иван Кононов	55	5 рублей
Артемий Шмагин	45	5 рублей
<i>Копеист</i> Федор Туманной	45	15 рублей
<i>Запечной мастер</i> Матвей Крылов	15	5 рублей
Итого:	1 805	

Можно отметить, что служащим Тайной канцелярии платили несколько больше, чем их коллегам из других учреждений: там канцеляристы получали от 70 до 120 рублей в год; разброс в жалованье самой массовой категории чиновников — копиистов — был от высшего из указанных в переписи 1737 года (90 рублей) до низшего (15 рублей); последнее сопоставимо с оплатой труда мастеровых, которым по

причине ее недостаточности полагался еще натуральный паек¹².

Но дело в том, что в других конторах и канцеляриях были широко распространены относительно безгрешные «акциденции» (выплаты и подношения чиновникам за написание прошений, оформление бумаг или ускорение их оборота без подлогов и каких-либо иных нарушений закона), не говоря уже о «наглых» хищениях и более сложных комбинациях с казенными деньгами; это являлось своеобразной компенсацией низкого социального статуса и убогого материального положения. Служащие Тайной канцелярии таких прибыльных статей не имели, а потому проигрывали в доходах собратьям-чиновникам на более «хлебных» местах.

Но и эти честные деньги надо было еще вовремя получить. Жалованье выплачивали трижды в год («по третям») — в январе, мае и сентябре; но при Петре I и в первые годы после его смерти состояние финансов было плачевным, и деньги редко платили вовремя, а то и вообще не выдавали. Исключение не делалось даже для опоры режима — гвардии и Тайной канцелярии. В сентябре 1724 года П. А. Толстой и А. И. Ушаков просили выдать их подчиненным хотя бы по 50 рублей, ибо они служат «безленостно», но впали во «всеконечную скудость» и «весьма гладом тают», поскольку не видели жалованья уже полтора года¹³.

До нас дошли также просьбы канцеляристов в вышестоящие инстанции о выдаче им жалованья за треть или за две трети года «для их сущей бедности и пропитания». Порой перевод из Москвы в Петербург ставил чиновника в трудное финансовое положение. Подканцелярист Петр Иванов в 1751 году осмелился доложить прямо А. И. Шувалову (без уведомления своего начальства, то есть с нарушением служебного порядка), что он «пришел в несостояние своего здоровья», «за неполучением на майскую треть сего году жалования» занял 30 рублей «на пропитание» своего немалого семейства — жены и троих детей. Иванов слезно просил не переводить его из

Москвы, поскольку он не сможет тогда расплатиться с долгами из годового жалованья в 40 рублей. Но начальство просьбу не уважило, и подканцелярист отправился в путь; правда, задержанное жалованье ему все-таки выдали¹⁴.

Впоследствии таких долгих просрочек не было. В 1761 году деньги за «сентябрьскую треть» сотрудники Тайной канцелярии получили в декабре: С. И. Шешковскому причиталось 122 рубля 63 копейки (вообще-то ему полагалось больше, но был произведен вычет месячного жалованья за повышение в следующий чин коллежского асессора); протоколисту Матвею Зотову — 82 рубля 50 копеек; регистратору Илье Емельянову — 66 рублей; четверым подканцеляристам от 19 рублей 80 копеек до 26 рублей 40 копеек; двум копиистам по 9 рублей 90 копеек.

Самым высокооплачиваемым в этом списке оказался штаб-лекарь Христофор Геннер — он получил 132 рубля жалованья и 16 рублей 66 копеек квартирных денег. Самым низкооплачиваемым был почему-то палач Василий Могучий (все же работа физическая, тяжелая и ответственная — но, видимо, не такая уж частая) — ему выдали всего 4 рубля 95 копеек¹⁵. Его предшественник Максим Окунев жаловался на свой восьмирублевый оклад, тогда как на прежней службе в Вышнем суде он якобы получал 12 рублей да еще два четверика муки и гарнец крупы в месяц и два фунта соли в год. Въедливый Ушаков проверил — и установил, что платили палачу не 12, а 10 рублей, но провиант действительно выдавали; однако в Петербурге с доставкой продовольствия дело обстояло хуже, соль для выдачи отсутствовала — вместо нее полагались несколько прибавочных к окладу копеек¹⁶. Судя по документам Тайной канцелярии, с тех пор палаческое жалованье так и не было увеличено.

Кроме того, надо было обеспечивать пропитанием отправляемых с мест для следствия колодников и их конвоиров. Так, в 1732 году солдаты-семеновцы во главе с капралом Федором Дувязовым, доставлявшие восемь арестантов из Псковской провинции в Москву, получили «на корм» по алтыну в день на че-

ловека, что в сумме составляло 6 рублей 84 копейки — по тем временам немалые деньги. К ним нужно прибавить расходы на ямские подводы, исходя из существовавших прогонных расценок: от Пскова до Новгорода (по деньге за версту) — 3 рубля 34 копейки, а от Новгорода до Москвы (по алтыну за 10 верст) — 6 рублей 68 копеек; таким образом, прогоны с четырех телег (по два колодника на каждой), отмеривших 736 верст, обошлись казне в 10 рублей 2 копейки.

Согласно приведенному выше мартовскому сенатскому указу 1731 года было выделено на все канцелярские расходы 3 060 рублей в год¹?, при Петре I учреждение действовало на самокупаемости: все траты за 1718 год покрывались «кикинскими деньгами, которые взяты со двора подполковника Ивана Соловцова, также в Санкт-Петербурге взятые из домов блаженные памяти царевича Алексея Петровича, князь Василья Долгорукова и протчими деньгами», то есть за счет конфискованных средств обвиняемых по делу царевича. Из них выдавались прогонные деньги, покупались канцелярские принадлежности, оплачивались погребение тела царевича и панихиды по нему, а по окончании следствия по распоряжению П. А. Толстого «молодым подьячим за их труд» было выплачено по 15 рублей.

Кроме принадлежностей, без которых не обходилось ни одно учреждение, — перьев, бумаги, чернил, сургуча, сундуков для хранения бумаг, — для специфической работы Тайной канцелярии требовались еще и «снасти, подлежащие к учинению колодникам экзекуции»: кнуты, клейма, щипцы для вырывания ноздрей, штампы для клеймения. Можно представить примерную сумму расходов на это оборудование: после пожара в Ярославском остроге туда из Московской экспедиции были присланы 30 кнутов стоимостью по 20 копеек и щипцы со штемпелем за 1 рубль 20 копеек — на общую сумму 7 рублей 20 копеек¹». В конце XVIII столетия к расходам добавилась еще оплата информации секретных агентов Тайной экспедиции. Приходилось тратиться на содержание

арестантов и самих следователей — закупку «корма», дров, свечей. Об условиях тюремной жизни колодников речь пойдет в другой главе нашей книги. Здесь же отметим, что она была для государства не слишком обременительной: при Петре I на нужды подследственных выдавались (только не на руки колодникам) единовременные суммы несколько раз в год. Так, в 1718 году эти средства были истрачены на лекарства (5 рублей «в разные числа»), «на покупку капусты к прикладыванию пытаным» (2 рубля), на сальные свечи.

На пропитание арестантов выдача денег первоначально вообще не предусматривалась; когда их все же стали выдавать, то ежедневная сумма составляла — в зависимости от статуса колодника — от гроша до алтына. В 1720-х годах появились нормы казенного содержания подследственных; в одном из дел 1724 года указано, что на рядовых колодников выделялось по 3 копейки в день; в середине столетия сумма была урезана до 2 копеек, но во второй половине столетия могла достигать пятака. Другой вопрос, насколько деньги реально ассигновались и как часто доходили до адресатов при немалых финансовых трудностях, когда и чиновники, и караульные больше года не получали жалованья. В таких случаях министры своей властью распорядились выдать караульным солдатам по рублю¹⁹, а о зарплате сотрудникам все же просили «милостивого указа». При этом потраченные на колодников деньги для государства не пропадали: в бумагах Тайной канцелярии встречаются запросы других учреждений о ее расходах на содержание подведомственных им колодников, чтобы вычесть соответствующие суммы из их жалованья.

Между тем деньги в петровской Тайной канцелярии водились, и основные средства в ее бюджет поступали именно благодаря арестантам: туда передавались конфискованные «пожитки» осужденных, которые потом распродавались с торгов.

Порой такие поступления составляли внушительную сумму: в 1726 году дворянин Иван Сурмин про-

сил о возвращении конфискованных у него двора и 24 882 рублей, поскольку он, как выяснилось на следствии, «не приличился ни в каком преступлении» и был оговорен «неправым доносом» фискала Семена Меньшого. Екатерина I милостиво повелела выдать пострадавшему 5 тысяч рублей — видимо, остальные деньги к тому времени уже были потрачены.

Так же обошлись со стольником Кириллом Матюшкиным, чье имущество было конфисковано в 1718 году и продано за 7 910 рублей, из которых владелец получил обратно в 1726 году 2 тысячи. Только генералу князю В. В. Долгорукову повезло больше: его вотчины были проданы казной за 6 600 рублей, но императрица распорядилась вернуть всю вырученную сумму отправлявшемуся в иранские провинции полководцу «вместо деревень»; вместе с деньгами фельдмаршал получил обратно свои книги и даже ордена²⁰. Несколькими годами ранее из его конфискованной наличности были выданы 200 рублей «князь Василия Долгорукова бывшей матресе Софье Ивановой дочери».

Но больше всего посчастливилось другой «метресе» — возлюбленной царевича Алексея. Крепостная «девка Офросинья» получила в феврале 1720 года на приданое 3 тысячи рублей «изо взятых денег блаженной памяти царевича Алексея Петровича»²¹. Возможно, освобождением и щедрым царским подарком Евфросинья была обязана своей откровенности на следствии — показаниям о намерениях своего господина.

И в петровское время, и позднее бюджет Тайной канцелярии пополняли, помимо казенных средств, суммы не совсем понятного происхождения. Так, в 1748 году в приход были записаны «присланные от лейб-гвардии Преображенского полку мазора Федора Ушакова» 958 рублей, доставленные из Новгородской губернской канцелярии «с некоторого человека за вину» 10 рублей и несколько десятков рублей, вырученных от продажи чьих-то «пожитков». Всего же в ведомство Шувалова в том году поступили 6 596 рублей 25 копеек; расходы же составили 5 858 руб-

лей 80 копеек, и остаток суммы перешел на следующий год²².

Как мы помним, чиновники Тайной канцелярии жалованье получали нерегулярно, но имевшиеся в «приходе» деньги самовольно тратить не могли; при ликвидации учреждения в 1726 году в его кассе имелось 5 059 рублей, которые были переданы в императорский Кабинет, да еще надлежало взыскать долг по «астраханским делам» в 10 730 рублей. Кроме того, канцелярия выдавала наличные деньги с ведома царя в беспроцентный кредит другим государственным учреждениям — коллегиям, конторам, а частным лицам (в основном офицерам гвардии) — под 12 процентов годовых.

Согласно одной из сохранившихся ведомостей, в 1759 году в Тайной канцелярии имелась в приходе крупная сумма — 14 768 рублей 45 копеек, да еще какого-то «Резвого деньги» — 5 504 рубля; расходы же «по указам» составили 9 995 рублей 38 копеек и превышали обычные траты на жалованье и содержание подследственных; таким образом, баланс был, как сейчас принято говорить, профицитным. А в 1760 году, наоборот, доходов не оказалось, и Тайная канцелярия сама получила из петербургской рентереи сначала 5 тысяч рублей, а потом еще 5 169 рублей «на известные комиссии», суть которых в ведомости не раскрывалась. Но даже при таких средствах зарплату чиновникам вовремя не платили, и руководство канцелярии вынуждено было выдавать подчиненным небольшие суммы (от 10 копеек до 25 рублей) «в зачет жалования»²³.

Движение денежных средств по имеющимся в нашем распоряжении документам проследить крайне трудно. Официальный же бюджет оставался стабильным и увеличился до суммы примерно в 4—5 тысяч рублей только в царствование Елизаветы Петровны. При этом он не всегда расходовался полностью: экономия зарплаты выходила за счет вакансий — «за малоимением служителей»: только в Московской конторе в начале 1762 года такой остаток составлял 348 рублей.

При Екатерине II он вырос ненамного, несмотря на повышение жалования чиновникам и увеличение числа классных (требовавших офицерского чина по Табели о рангах) должностей. В 1789—1794 годах Тайная экспедиция регулярно получала из «остаточного казначейства» по 5 тысяч рублей в год. Однако их явно не хватало: в 1791 году расходы составили 6 305 рублей, а в 1793-м — 8 454 рубля. В этой ситуации недостающие средства брались из хранившихся в экспедиции сумм, полученных за проданные «пожитки» осужденных²⁴.

Оклады штатных сотрудников при Екатерине II стали выплачиваться регулярно, хотя и падавшими в цене ассигнациями. Жалование служащие получали «по штату Сената»: управляющему А. С. Макарову полагалось в 1801 году 2 250 рублей; ненамного ему уступали Е. Б. Фукс (2 тысячи рублей) в Петербурге и Николев (1 875 рублей) в Москве. Годовое жалование обер-секретарей Молчанова и Чередина составляло 1 200 рублей. Лекарь получал тысячу рублей; чиновники IX—VIII классов — от 450 до 750 рублей, а канцеляристы Горлов и Львов — соответственно 250 и 130 рублей.

В конце XVIII столетия нараставшая инфляция заставила вновь увеличить содержание Тайной экспедиции. По данным 1801 года, на жалование служащим уходило ежегодно 9 900 рублей; еще три тысячи рублей тратилось на прогоны, почту и канцелярские принадлежности²⁵. Увеличились и расходы на арестантов, хотя — с учетом инфляции и роста цен — ненамного. Как следует из еженедельных рапортов офицеров охраны, в последние годы царствования Екатерины II в неделю на содержание подследственных в камерах Петропавловской крепости уходило примерно 14—15 рублей. Деньги получал начальник караула и раздавал их по «покоям» — по 2 рубля, по рублю, 50, 40, 25 и 20 копеек; он же отчитывался о проведенных закупках капусты, круп, хлеба, кваса, гороховой муки, сахара, постного масла и вина, дров, свечей, посуды, «капель и порошков» для больных, ушатов и «урьльников» для нечистот. Неизрасхо-

дованную сумму он сдавал сменному офицеру под расписку.

Мы не обнаружили сводных приходно-расходных ведомостей; однако можно утверждать, что к концу века бюджет Тайной экспедиции явно вырос: например, в 1795 году она получила из разных источников 40 595 рублей — правда, одновременно увеличились расходы на содержание арестантов, к которым прибавились «присланные из Польши особы» — видные участники восстания 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко²⁶.

Таким образом, служба политического сыска в XVIII веке государству обходилась относительно недорого и в этом смысле мало походила на аппарат современных спецслужб. Никаких местных отделений и тем более сети платных «шпионов» не было. В этом смысле она заметно уступала и современным ей органам за границей — к примеру во Франции.

В 1730-х годах в ведении лейтенанта полиции Парижа (выполнявшего в том числе аналогичные ведомству Ушакова функции) находились не только штат его центрального офиса, но и 22 инспектора с помощниками, каждый из которых имел свою сферу деятельности: уголовные преступления, проституция, надзор за иностранцами и т. д. Полиция была в курсе всех событий дневной и ночной жизни столицы — у нее на службе состояли 500 агентов и информаторов из всех слоев общества: благородные шевалье, деревенские кормилицы, слуги и служанки аристократических фамилий, рыночные торговцы, адвокаты, литераторы, мелкие жулики и содержательницы публичных домов²⁷. Это — только в столице. Специальные сыщики наблюдали за особенно интересовавшими правительство дипломатами и подозрительными иностранцами. В так называемом «черном кабинете» осуществлялась перлюстрация писем. Стоила такая организация недешево (100 тысяч ливров в год — напомним, что это только в столице); зато король уже наутро мог получить информацию о том, что вчера сказал такой-то вельможа в салоне; сколько стоят бриллиантовые серьги, пода-

ренные загулявшим русским «бояром» любовнице-актрисе; с какой барышней провел ночь нунций его святейшества папы римского.

До подобного размаха Тайной канцелярии было далеко. В Петровскую и послепетровскую эпохи она являлась скромной конторой с малочисленным стабильным «трудовым коллективом», занятым преимущественно бумажной работой — составлением и перепиской протоколов допросов и докладов. Доставку подозреваемых и преступников осуществляли местные военные и гражданские власти. Объем работы неуклонно расширялся. От эпохи «бионовщины» в петербургской Тайной канцелярии осталось 1 450 дел, то есть рассматривалось в среднем по 160 дел в год. Но от времени «национального» правления доброй Елизаветы Петровны до нас дошло уже 6 692 дела; следовательно, интенсивность работы карательного ведомства выросла более чем в два раза — до 349 дел в год²⁸.

В следующих главах нам предстоит рассмотреть, как при таких, как мы убедились, скромных финансовых, материальных и людских ресурсах решалась одна из важнейших политических задач государства — обеспечение безопасности его властей.

Глава 4
«Доносит имярек на имярека»

Донос в России — больше, чем донос

«В начале было слово» — эта библейская формула несколько кощунственным образом оказывается вполне применимой к сюжетам нашего повествования: подавляющее большинство дел Тайной канцелярии в XVIII столетии началось именно с доносов — как правило, устных по причине повальной неграмотности населения; в дальнейшем успехи просвещения сделали этот жанр письменным по форме и даже изящным по стилю.

Исследователи подчеркивают особую роль доноительства в строительстве российской государственности: из-за слабости аппарата власти на местах оно стало чуть ли не единственным эффективным способом контроля за исполнением законов. Истоки этого феномена одни авторы ищут в истории образования самодержавного Московского государства, отличавшегося от республиканских институтов Новгорода; другие видят его причину в заинтересованности московских правителей «обеспечить государству положенное количество службы и тягла» и неспособности общества, лишенного «здорового коллективного чувства», к организованному сопротивлению властям¹.

В современном российском обиходе термин «донос» имеет явный негативный оттенок, вызванный

былой практикой использования его властями как российской империи, так и советской державы. Однако столь осуждаемое общественным мнением явление оказывается в той же мере неистребимым, несмотря на порой весьма радикальную смену политических систем. XVIII столетие не является в этом смысле особой эпохой — доносили с глубокой древности. Но донос как юридически законный, регулируемый и поощряемый образ действия подданных утверждается вместе с появлением новых политических структур в конце Средневековья, и не только в Московском государстве.

На заре формирования современных европейских государств донос вместе с новым законодательством и новыми институтами управления был призван выполнить важную социальную роль — разрушить средневековые корпоративные связи и замкнутость сословных групп, над которыми возвышалась власть. Горизонтальные связи отдельных общин, городских коммун, духовных и рыцарских организаций должны были уступить место вертикальным отношениям «государь—подданный». Наблюдения в сфере «сравнительного доносительства» показывают, что еще в XIV веке королевские юристы вводили новые нормы, допускавшие не только прямое обвинение, но и частный донос. Сотрясавшие континент политические катаклизмы ничего в этом смысле не изменили: передовое французское законодательство конца XVIII века не только оправдывало «гражданский донос» (*denonciation civique*), но и считало его обязательным для законопослушных граждан поступком, способствующим общественному благу вообще и предотвращению конкретных преступлений в частности².

Есть у доноса и не менее важная функция: сочетая в себе заботу об общественном благе и личную корысть, он открывал для любого, даже самого «подлого» (с точки зрения социального положения, а не нравственности) подданного возможность «на равных» сотрудничать с государством. Власть же имела информацию, которую не могла бы получить иным

способом, да еще бесплатно, и возможность контролировать не только налогоплательщиков, но и своих же представителей и агентов.

Естественно, использование подобного универсального средства породило и проблемы — такие как анонимные и ложные доносы, способные вызвать серьезное недовольство самой правящей элиты. Не случайно после бурного царствования и опричных репрессий Ивана Грозного Василий Шуйский, вступая на престол, торжественно обещал: «Доводов (доносов. — *И. К. Е. Н.*) ложных мне, великому государю, не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том православное христианство без вины не гибли; а кто на кого солжет, и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвел неподельно, тем сам осудится. На том на всем, что в сей записи написано, яз царь и великий князь Василий Иванович всеа Руси, целую крест»³.

После Смуты донос (он же «извет» или «изветная челобитная») стал частью повседневной жизни Московского государства. Правительства первых Романовых с подозрением относились к любым заявлениям подданных, порочившим честь царской фамилии, пусть даже сделанным случайно — в застольной болтовне «пьянским обычаем». Одновременно утверждался порядок наказания за недонесение, что порой ставило совершенно не причастных ни к какой «политике» обывателей перед нелегким выбором — донести на родственника или приятеля — или самому попасть в соучастники и подвергнуться опасности наказания.

Одна из челобитных 1645 года отражает душевные терзания московского подьячего Афоньки Мотякина. Служил он спокойно в столичном приказе Большого дворца, пока в один летний день незнакомый старец-колодник (приказы и канцелярии XVII—XVIII веков являлись одновременно чем-то вроде «обезьянника» для проштрафившихся лиц, находившихся в ведомстве каждого учреждения) не брякнул в его присутствии: «Слуга де я небесного царя, а не земного», — добавив, что только что вступивший на

престол царь Алексей Михайлович происходит «не от прямого царского корени». Грамотный подьячий отлично знал, что это и есть то самое «государево слово», о котором он немедленно должен донести, если не хочет сам угодить в застенок. Дело было к вечеру и времени сочинять письменный извет уже не оставалось; да и докладывать было некому — царь со всем двором находился в подмосковном Коломенском. Тогда Афонька из Кремля «побежал известить в село Коломенское и дошел до Живого мосту, да испужался итить дале, чтоб меня на дороге не убили воры, что стала темна, и я, Афонька, воротился назад в приказ». Донести срочно было необходимо, но идти страшно — берега Москвы-реки всегда были пристанищем «лихих людей», которым ничего не стоило ограбить и убить. В приказе подьячий провел бессонную ночь, а как только рассвело, вновь «побежал поутру, написав свои речи»; извет запечатал и сверху написал: «Не распечатывать и не честь писмо, безумного речи», — не дай бог кто-то прочтет и соблазнится⁴.

Спустя почти 80 лет, в январе 1724 года, в петровскую Тайную канцелярию был приведен столь же перепуганный доносчик Михаил Козмин, о котором чиновники записали в протокольном журнале, что он на вопросы отвечать не мог, а «дражал знатно со страху, и, как вывели его в другую светлицу, и оной Козмин упал и лежал без памяти, и дражал же, и для того отдан по-прежнему под арест»⁵.

В обоих случаях маленького человека гнал в застенок страх оказаться недоносителем и тем самым — государственным преступником. Уже Соборное уложение 1649 года подробно регламентировало процедуру подачи доноса по политическим преступлениям — «государеву слову и делу»:

«12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по рассмотрению, как государь укажет.

13. А будет учнут извещати про государское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое наказание, бив кнутом нещадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким изветчиком не верить.<...>

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или измену, а того, на кого он то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, на кого тот извет будет сыскати и поставить с изветчиком с очей на очи, и против извету, про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писано выше сего.

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику то же учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил».

Уложение не только юридически закрепило обязательность доноса о государственном преступлении и ответственность за недоказанные обвинения. Наказание следовало также за уничтожение извета; смертная казнь и конфискация имущества грозили родственникам государственного преступника, если они «про измену того изменника ведали», но не донесли. Особо оговорены были порядок подачи изветов о государственных преступлениях и ответственность за недонесение:

«18. А кто Московского государства всяких чинов люди сведают, или услышат на царское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и им про то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичи) всея Руси, или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем.

19- А будет кто сведав, или услыша на царское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам и при-

казным людям, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити смертью безо всякия пощады».

С той поры донос стал проверенным средством сведения счетов и оружием политической борьбы, особенно во времена придворных смут 80-х годов XVII века. «В том же году пытан и казнен, по извету Филиппа Сапогова, ведомый вор и подыскатель Московского всего государства бывший окольный Федька Шакловитый. <...> Во 199 (1690/91) году пытан и казнен на площади ведомый вор и подыскатель Московского государства Андрюшка Ильин сын Безобразов за то, что он мыслил злым воровским умыслом на государское здоровье: присылал к Москве от себя с людьми своими; а в грамотке его написано к жене его, что послал он грамотку с людьми своими, мельника да коновала, и тебе б, жене моей, поить их и кормить, и всем снабдевать, и на выходы государевские с людьми посылать. И по розыску и по извету тот мельник и коновал за злой воровской умысел сожжены на Болоте. А вора Андрюшки Безобразова поместья и вотчины розданы в раздачу бесповоротно. В том же году, по извету человека боярина князя Андрея Ивановича Голицына и по розыску, что боярин, также и теща его, боярыня Акулина Афанасьевна, говорили про царское величество неистовые слова, и за ту вину ему, боярину князю Андрею Ивановичу, на Красном крыльце сказана сказка: "Князь Андрей Голицын. Великие государи указывали тебе сказать, что ты говорил про их царское величество многие неистовые слова, и за те неистовые слова достоин ты был разоренью и ссылке, и великие государи на милость положили: указали у тебя за то отнять боярство, и указали тебя написать в дети боярские по последнему городу, и жить тебе в деревне до указа великих государей"», — сообщает хроника дворянина Ивана Желябужского о громких политических делах московской знати в 1689—1691 годах⁶.

Однако вместе с подобными делами, где донос мог решить судьбу правителей государства или знат-

ной фамилии, появлялись и сотни изветов «снизу». Отношение власти к ним было двойственным. Рядом с доносами истинными всегда существовали, намного превышая их по количеству, «ложные изветы». И в XVII веке, и в более поздние времена ими грешили прежде всего самые неблагонадежные члены общества, которым грозило наказание за какие-либо провинности, или уже «ведомые» преступники, «чтоб тем криком отбыть розыску».

Опытные воеводы понимали, что за такими заявлениями «татей» и «тюремных сидельцев» чаще всего нет никаких важных причин, кроме желания избежать немедленной пытки, попробовать сбежать по дороге в Москву, а если не получится, сообщить столичным дьякам о местных непорядках. Но и отказаться от предусмотренной процедуры «бережения» доносчика, его предварительного расспроса (когда подследственный мог ответить: «Есть за мной государево слово всей земли, и то я скажу на Москве» или «Здесь такого слова сказать немочно, а скажу то государево слово на Москве, государю») и доставки в Москву местные власти не имели права — тогда уже их могли заподозрить в намерении скрыть государственное преступление.

Другие ложные изветы были вызваны желанием свести счеты с обидчиком или пьяным куражом во время ссор и драк. Очевидно, они уже в то время случались в таком количестве, которое заставило составителей Уложения внести в него особую статью: «А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек». Последнее указание не случайно, поскольку Уложение предусматривало достаточно частую ситуацию, когда крепостной доносил на господина, но «уличить» его не мог.

Часто люди приходили с ложным изветом, чтобы привлечь к себе внимание и добиться, например, пе-

ресмотра своего «неправо» решенного дела. Наконец «государево дело» могли объявлять подданные, недовольные правлением местных властей. Челобитчики доказывали, что нерадивые воеводы, грабящие и притесняющие местное население, нарушают царские указы и являются изменниками «государеву делу»- Воеводы и прочие администраторы квалифицировали такие действия как бунт. Но сама верховная власть, порой жестоко карая «бунтовщиков», не спешила отменять право апелляции местных «миров» к царю, видя в нем механизм обратной связи, противовес неизбежной коррумпированности и бесконтрольности своих агентов⁷.

В таких случаях доносы могли соответствовать действительности и помогали разоблачить не только «изменника», но и «государившегося» сверх всякой меры воеводу или вороватого чиновника. «Голову» кружечного двора в Ростове Богдана Мальцева и «ларешного целовальника» Стеньку Черножопова удалось разоблачить только благодаря бдительному посадскому Ваське Корепину, подавшему в 1664 году извет «в том, что они за проданное питье деньги кладут мимо ящика в плоску», то есть «коруствуются» средствами, полученными от торговли казенным хлебным вином⁸. Тобольский подьячий Савин Кляпиков разоблачил воеводу князя П. И. Пронского и его приспешников, нанесших казакам, крестьянам, горожанам Сибири и казне огромный ущерб путем составления подложных ведомостей на выдачу жалованья и фальсификации государственных эталонных мер веса и объема. Опытный приказной «крючок» не забыл дополнить перечень служебных преступлений воеводы политическими обвинениями; тот посмел на царские именины выдать служилым людям вино «смешано вполы с водою», что наносило урон «государевой чести». Князь арестовал подьячего, но за него заступился архиепископ Герасим, а московская комиссия подтвердила правдивость изветов Кляпикова⁹.

Именно последнее обстоятельство заставляло власти и в XVII столетии, и позднее терпеть очевидное

неудобство разбора «ложных» челобитий и вздорных обвинений и даже поощрять их — при этом определяя грань, разделяющую противоположные понимания «государева дела», отделяя похвальную заботу о государевом интересе от зловредного бунта.

«Доносить того ж дни»

Одержимый идеей регулирования всей жизни подданных во имя «общего блага», Петр I, конечно, не мог пройти мимо такого инструмента взаимодействия власти и управляемых. Он впервые создал в 1711 году государственную корпорацию доносителей — институт фискалов (по один-два человека в каждом городе), обязанных «над всеми делами тайно надсматривать и провеживать» и доносить в центр обер-фискалу о замеченных ими должностных преступлениях. Церковные власти контролировались духовными фискалами — «инквизиторами». Но 500 человек на всю Россию явно не удовлетворяли потребности власти. С неподготовленностью, некомпетентностью и злоупотреблениями чиновников она пыталась бороться и установлением системы явного контроля в лице прокуроров, и «понужением» своих местных представителей с помощью присылавшихся из центра ревизоров и гвардейских солдат и офицеров с чрезвычайными полномочиями, и угрозами репрессий со стороны новых органов политического сыска — Преображенского приказа и Тайной канцелярии.

Утвердившуюся в XVII столетии идею обязательного доносительства Петр подхватил и рационализировал. Он намеревался дополнить контроль «сверху» не менее эффективным надзором «снизу», а единственным средством такой обратной связи в централизованной бюрократической системе было поощрение доносов. Царь сам в октябре 1713 года написал грозные слова «о преслушниках указам и положенным законом и грабителем народа», для доноса на коих подданные «без всякого б опасения

приезжали и объявляли о том самим нам». Доносить они могли (и должны были) и раньше; но теперь «великий государь» впервые публично обязался лично принимать и рассматривать изветы.

С другой стороны, за такую «службу» доноситель мог получить движимое и недвижимое имущество виновного, «а буде достоин будет — и чин». Рассчитывать на такой карьерный взлет могли все — «от первых даже до земледельцоф». Поощряя практику доноительства, в следующем, 1714 году Петр указом от 23 ноября показательно во всеуслышание пригласил неизвестного автора подметного письма «о великой ползе его величеству и всему государству» явиться к нему за наградой в 300 рублей — огромной по тем временам суммой¹⁰.

При исполнении гражданского долга осведомители могли пострадать. Царь, заботясь о их безопасности, требовал от обер-фискала «доносителей как возможно ограждать» — в частности, объявлять их имена на судебном процессе только с ведома Сената¹¹. С их показаниями (в отличие от жалоб по другим делам) ответчиков вообще не знакомили — этого требовал указ «О форме суда» от 5 ноября 1723 года¹².

Но очевидно, что поощрение доносов, в том числе анонимных, таило опасность: в период перестройки государственного аппарата его могла захлестнуть волна устных и письменных обращений, разобрать которые по существу не хватало сил. Поэтому очередной собственноручный указ Петра от 25 января 1715 года выразил разочарование царя — большинство посланий не соответствовало его ожиданиям: «воровские и раскольнические» письма были наполнены различными «измышлениями» и неуместной критикой властей, а авторы истинных важных доношений так и не решались явиться за наградой. Отныне предписывалось найденные подметные письма сжигать, не вскрывая.

Однако при этом указ убеждал: «Нет в доношениях никакой опасности» — и указывал достойные примеры для подражания — царских фискалов, успешно доносивших «не точию на подлых, но и на са-

мыя знатныя лица без всякой боязни». Подданные ставились в пример также не состоявшие на фискальской службе доносители, каковым «милость многим явно показана, а именно Ларивону Елизарьеву и Силину за донос на Цыклера и Сакавнина».

Так были озвучены на всю страну имена примерных подданных. Стрелецкий командир (пятисотенный личной царской охраны — Стремянного полка) Ларион Елизарьев был когда-то доверенным лицом близкого к царевне Софье начальника Стрелецкого приказа Федора Шакловитого. Но августовской ночью 1689 года именно он отправил двух своих приятелей в Преображенское с сообщением, что Софья и Шакловитый собирают стрельцов для нападения на резиденцию Петра. Показания Елизарьева и его шестерых товарищей о планах убийства «ближних людей» царя (Б. А. Голицына и Нарышкиных) и предполагаемом смещении патриарха стали основанием для розыска, через месяц приведшего Шакловитого и его приближенных на плаху. Именно эта семерка стрельцов получила не только огромную награду — по тысяче рублей каждому, но и право «быть в иных чинех, в каких они похотят»¹³. Действия Лариона Елизарьева привели к одному из первых дворцовых переворотов в истории России; хотя не исключено, что они являлись не наивными служаками, а провокаторами, подтолкнувшими Петра I к активным действиям. Документы следствия по делу Шакловитого показывают, что нападение на Преображенское в ту ночь не предполагалось — более того, московские власти сами боялись прибытия «потешных» петровских войск¹⁴.

Елизарьев отличился еще раз через восемь лет, когда разузнал о подготовке нового покушения на царя полковником «из кормовых иноземцев» Иваном Цыклером, дослужившимся до чина думного дворянина, и окольников Алексеем Прокофьевичем Соковниным. Неудачи служебной карьеры и недовольство задевающими «боярскую честь» распоряжениями Петра свели вместе на эшафоте выслужившегося немца, родного брата знаменитой боярыни

Морозовой, стрелецких командиров и донских казаков. В этом кругу свободно обсуждали планы убийство царя: «Можно им государя убить, потому что ездит « один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского двора ездит одиночеством». Сам Цыклер предлагал своему пятидесятнику Силину «изрезать его ножом в пять». Заговорщики намечали «выборы» собственных кандидатов на престол (бояр А. С. Шеина и Б. П. Шереметева) и рассчитывали на поддержку стрельцов и казаков. До покушения, однако дело не дошло — Елизарьев успел предупредить паньше¹⁵. За новый донос стрельца пожаловали в дьяки и поставили заведовать Житным двором, а все виновные после пыток были публично казнены.

В указе 1715 года Петр I подтвердил готовность лично принимать доносы во дворце и расписал процедуру их подачи: «Кто истинной христианин и верный слуга своему государю и отечеству, <...> без всякого сомнения может явно доносить словесно и письменно <...> самому государю, или пришед ко двору его царского величества, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а имянно о следующих: 1) о каком злом умысле против персоны его величества или измены, 2) о возмущении или бунте, 3) о похищении казны». Обо всех других делах предлагалось «доносить, кому те дела вручены, <...> а писем не подметывать»¹⁶.

Впоследствии царь так же находил время для совершенствования системы доношений. Указ 19 января 1718 года (как раз во время начала масштабного следствия по делу царевича Алексея) выражал недовольствие неосознанностью подданных, норовивших подать «мимо караульных офицеров» в руки его величества всякие «бездельные» просьбы и жалобы. Петр терпеливо объяснял: подавать ему доносы (а не подкидывать подметные письма) нужно — но только через офицеров и исключительно по «первым двум пунктам»; по третьему же пункту (о «похищении казны») следовало обращаться к одному из самых честных следователей того времени — майору гвардии Герасиму Кошелеву¹⁷. Борьба с «наглыми хищения-

ми» не стала для царя менее актуальной — скорее, наоборот; но размах подобных злоупотреблений был таков, что держать следствие по всем таким делам на личном контроле он уже не мог.

Новый указ Петра I от 22 декабря 1718 года начинался с сетования на тяготы службы самого государя: «Понеже челобитчики непрестанно его царскому величеству докучают о своих обидах, везде, во всяких местах не дая покою; и хотя с их стороны легко разсудить можно, что всякому своя обида горька есть и несносна, но при том каждому разсудить же надлежит, что такое их множество, а кому бьют челом, одна персона есть, и та коликими воинскими и прочими несносными трудами объята есть: и хотя б и таких трудов не было, возможно ль одному человеку за так многими усмотреть? Воистину не точию человеку, ниже ангелу».

Тем не менее государь заботился обо всех подданных: «Милосердую его величество о народе и земском справедливом правлении, не изволил пренебречь потрудится и сие в такой же добрый порядок привести, как и воинское дело», — для чего учреждалась система коллегий в качестве «земского справедливого правления». Далее в указе излагались основы новой судебной системы, призванной внедрить справедливость в российскую жизнь и избавить государя от потока жалобщиков — для этого создавались надворные суды и Юстиц-коллегия. Обращение лично к государю с жалобами отныне категорически запрещалось под страхом «наказания жестокого» — за единственным исключением: подданные не просто могли, но и должны были по прежнему «указу, опубликованному 1715 года генваря 25 числа, доносить его величеству по силе того указа» по первым двум пунктам. Однако для российских граждан XVIII века объявление самим государем борьбы с расхитителями как важнейшего «царского» дела стало поводом для постоянного использования механизма «слова и дела» в противостоянии коррумпированным властям; доносители ссылались именно на указ 1715 года, а не на последующие документы¹⁸.

другими актами Петр прямо указывал, на кого его подданные должны были доносить: на «корчемников», нарушавших государственную монополию на винную и табачную торговлю; на фальшивомонетчиков; на разбойников и «пристаносодержателей» (укрывателей) беглых и дезертиров; на рассеивателей «возмутительных писем»¹⁹. Царь решительно взял в оборот и самих дворян, призывая доносить — государственные интересы превыше всего — на уклонявшихся от службы или не явившихся на смотр помещиков, а также на укрывателей беглых крестьян²⁰. Именной указ 22 января 1719 года требовал сообщать властям о лицах, «утаивавших» «души» своих крестьян при проведении первой переписи податного населения — «ревизии». При подтверждении доноса предписывалось конфисковать у владельца крепостных «вдвое» против утаенных, которые потом шли в награду ревизорам и доносителям²¹.

Перепись была, по мнению властей, настолько важным делом, что к выявлению преступников подключались даже их крестьяне. Крепостному за такой донос полагалось 5 рублей, а в 1721 году Сенат повелел не наказывать за ложное «доношение» — лучше перестраховаться с проверкой, но не допустить «утайки». Но мужиков больше интересовали не деньги. «Доносители просят о свободности <...> от помещиков», — докладывали царю ревизоры. Петр согласился даровать свободу лишь приказчикам и старостам, которые не только выдавали беглых, но и представляли документальные подтверждения — «письма» помещика с распоряжениями таковых принимать²². Но после смерти Петра сенатский указ от 4 октября 1726 года предусматривал за «правый» донос на «утайщика»-помещика лишь предоставлять крепостному доносчику годичный срок на поиски нового хозяина; только в случае, если таковой не находился — освободить, но тут же отдавать в солдаты²³.

Петр I, как известно, мобилизовал на борьбу с государственными преступлениями и церковь: священникам предписывалось доносить об открытых

им на исповеди злодействах или умыслах на их совершение. Инструкция, правда, требовала доноса только в случае отсутствия у виновного раскаяния^{2*}». Но если истинность раскаяния духовному отцу установить было сложно — она оставалась на совести исповедовавшегося и отдавалась на суд Всевышнего, — то недонесение за объявленное на исповеди преступление грозило священнику земными карами. Вполне уместным, с точки зрения царя, было превращение храма в присутственное место: в 1723 году он разрешил духовным лицам принимать доносы по государственным преступлениям прямо в церкви²⁵.

Императора огорчало, что с доношениями по «первым двум пунктам» подданные не всегда торопились. Объявленный из Сената 28 апреля 1722 года именной указ, который надлежало «во всех губерниях и провинциях публиковать всенародно», с прискорбием извещал, что жители Пензы не пожелали вступить за своего государя: некий злоумышленник «кричал всенародно многие злые слова, касающиеся до превысокой чести его императорского пресветлого величества и весьма вредительные государству»; сбежавшиеся на крик «людей немалое число» не только не пытались схватить преступника, а даже не побежали к властям с доносом. Все же нашелся один честный доноситель — посадский Федор Каменщик, и за исполнение гражданского долга получил 300 рублей, пожизненное право беспошлинной торговли и особое указание властям впредь его «от всяких обид охранять».

Для стимулирования гражданских чувств указ повелевал немедленно хватать подобных злодеев-агитаторов и приводить «в города к правителям». Те были обязаны, сковав их в ручные и ножные железа, не распрашивая, присылать в Тайную канцелярию или в Преображенский приказ. «А ежели кто проведает за кем, что он тайно некоторое зло производит, и на таковых доносить в городах командирам, а им, командирам, весьма скоро тайным поведением оных злодеев сыскивать и, не распрашивая, присылать в означенные канцелярии».

указ не только поощрял донос, но и ужесточал кару за недонесение: вместо существовавших по предшествовавшему законодательству вариантов наказания — казни и кнута — провозглашалась безусловная смертная казнь с конфискацией движимого и недвижимого имущества. Расхваливая пользу доноса, указ пытался смягчить неприятную, но по закону обязательную процедуру, когда доносчика вместе с оговоренными немедленно арестовывали и закованными высылали в Тайную канцелярию или Преображенский приказ: теперь доносчика разрешалось отправлять с некоторым комфортом — «за поручками» или «за провожатыми под честным арестом»²⁶. Правда, на практике «честной арест» ничем не отличался от обычного; никто не отменял и пытку доносчика при расхождении его показаний со словами ответчика.

Донос в качестве святой обязанности подданного утверждался в тексте присяги, которую до 40-х годов XVIII столетия приносили все подданные империи и даже крепостные (последних лишили этой обязанности после воцарения Елизаветы). Военный, чиновник или простой обыватель, присягая, торжественно обещал: «О ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но всеми мерами отвращать и не допускать тщатися буду».

Указ Екатерины I подтвердил право подданных подавать доносы по «первым двум пунктам» лично государыне²⁷. Императрица Анна Иоанновна еще до восстановления Тайной канцелярии издала именной указ 10 апреля 1730 года, повторивший и разъяснивший первые «два пункта» петровского указа 1715 года, по которым «кто подлинно за кем уведает, и доказать может, доносить надлежит».

Аннинский указ впервые вводил в практику доносительства обязательный и очень короткий срок подачи доноса, несоблюдение коего грозило превратить благонамеренного изветчика в соучастника со всеми вытекающими последствиями: «И понеже сии оба пункты в великих делах состоят и времени тер-

петь не могут, того ради всяких чинов людям, ежели кто о тех вышеписанных двух великих делах подлинно уведает и доказать может, тем самым доносить на Москве письменно или словесно в нашем Правительствующем Сенате, как скоро уведает, без всякого опасения и боязни, а именно того ж дни. А ежели в тот день за каким препятствием донести не успеет, то конечно в другой день. И ежели подлинно на кого докажут, и за такую их верную службу учинена им будет от нас милость и награждение. А буде кто о тех же двух великих делах уведает в городах, тем доносить в такое ж скорое время, а которые будут в уезде, тем как возможно в самом скором времени, и приходиться безо всякого опасения к нашим губернаторам, а где губернаторов нет, к воеводам». Отныне было велено обывателям, пропустившим двухдневный срок, «за то чинить смертную казнь, без всякие пощады»²⁸.

Некоторое послабление было сделано только для уездной глубинки, но и эти возможные проволочки при доносе Сенат не оставил без внимания, разъяснив своим указом: «Ежели кто, сведав в уезде, а станет доносить упусть время, таких спрашивать, для чего они вскорости не доносили; и буде станут сказывать, что не доносили за дальным расстоянием, или за каким от кого препятствием, о том рассматривать и свидетельствовать, как о расстоянии дальности места, так и о препятствии. И буде то замедление учинилось не от него, а по расстоянию места, или за каким препятствием прежде того доносить было ему не можно-, то по тем их доношениям чинить, как о том в 1-м пункте напечатано. А буде по свидетельству и по рассуждению явится, что препятствия к доношению никакого не было, и по расстоянию места доносить было прежде можно: о таких освидетельствовав подлинно, писать в Сенат; а их, до получения указа, держать под караулом».

Сенаторы предусмотрели также вариант, когда вполне благонамеренный человек «про такое великое дело сам не ведал, и другие ему не сказывали, а слышал от кого либо посторонним образом под каким сомнением, и доказать не мог, для того и не доно-

сил - таких смертью не казнить, а обыскав о том подлинно, писать в Сенат»²⁹. На практике строгий закон приводил к своеобразному соревнованию — кто успеет донести раньше. Так, в октябре 1751 года солдат Ингерманландского полка Андрей Иванов, лежа в дворцовой караульне, случайно услышал «партикулярной разговор» двух писарей — Андрея Расторгуева и Ивана Чернышева, сокрушавшихся: «Напрасно де мы не донесли на содержащегося в том дежурстве гусарского полку капрала князь Елисея Жендиерова». Князь повеселил однополчан историей, случившейся в маскарade: «Как государыня изволила быть в маске, то де оной гусар, подбежав к государыне блиско, и показал ей кукиш, и сам де ис покоев ушел и где девался, неизвестно». Но пока писари рассуждали, стоило ли доносить (дело-то было пустяковым), солдатик успел донести первым и самым «пристойным образом»³⁰.

Новые обстоятельства создавали новые поводы для доноса. При Анне Иоанновне случились грандиозные пожары в Москве и Петербурге. Было объявлено о награде за сообщения о «зажигательстве» и, соответственно, о наказании за недонесение. Сенатский указ 27 июля 1740 года доводил до сведения подданных участь, постигшую солдатскую «женку» Стефаниду Козьмину, не только «ведавшую» о поджигателях, но и мародерствовавшую — тащившую с пожара «краденые пожитки»: вместе с основными виновниками катаклизма она лишилась головы³¹. Как только при Елизавете Петровне повысили косвенные налоги на казенные соль и вино, последовали указы о необходимости доносить на «корчемников» и незаконных продавцов соли и табака³². Тогда же стала востребованной информация о взяточниках (стали больше брать?) и незаконном врачевании без санкции Медицинской канцелярии (появилось больше врачей?); развитие международной торговли стимулировало сообщения о контрабандистах³³. Проведение новых переписей-ревизий заставило вспомнить о доносах на «утайщиков» крепостных душ³⁴. Через несколько лет после введения в России бумажных денег Екатерина II призвала подданных

доносить на подделывателей ассигнаций, оказавшихся весьма несовершенно в смысле защиты от подобных преступлений³⁵.

По-прежнему практиковались поощрения и обнародования «образцовых» доношений; один из указов 1739 года ставил в пример донесшую на мужа жену, за что ей и досталось 100 душ из подлежащего конфискации имения³⁶. Анна Иоанновна, по примеру дяди, обещала «милость и награждение» за справедливый извет. Елизавета Петровна даже обещала крепостным свободу за «правый» донос на помещиков, укрывавших своих крестьян от ревизии³⁷.

Манифест 1762 года об упразднении Тайной канцелярии доноса не отменял, но требовал от местного начальства доносителя «увещевать, не напрасно ли, или не по злобе ли и мщению на кого затеял? а когда и при всем увещевании доноситель не отречется от своего доноса, тогда посадить его на два дня под крепкий караул, и не давать ни питья, ни пищи, но оставить ему все сие время на размышление, по прошествию же сих дней, паки спрашивать со увещеванием, истинен ли его донос, и не затеял ли напрасно, и буде и тогда утвердится, а дело действительно касается до первых двух пунктов, в таком случае доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от Санктпетербурга или Москвы, то в Сенат или Сенатскую контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцелярию». Такая процедура, по мнению законодателя, должна была гарантировать подлинность доноса. Хорошо еще, что отныне власть разрешала «того или тех, на кого он (доносчик. — *И. К. Е. Н.*) без свидетелей и письменных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подозрительными не почитать до того времени, пока дело в вышнем месте надлежаше рассмотрено будет, а об тех, на кого донесено, указ воспоследует».

Екатерина II, в чье правление завершилось складывание дворянского сословия не только с его привилегиями, но и с представлениями о чести и достоинстве, отказалась от «демократического» подхода к доносу, уравнивавшего в бесправии господина и

холопа. Ее манифест от 19 октября 1762 года «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии, о хранении дел оной в Сенате и о воспрещении произносить слово и дело», дословно повторяя предыдущий акт Петра III, запрещал использовать формулу «слово и дело», однако все же предусматривал возбуждение дел по «первому» и «второму» пунктам, которыми должен ведать Сенат. Но при этом императрица подчеркнула, что виновными по этим пунктам мыслит исключительно людей «подлых» и не чаёт, чтобы «благородные дворяне, офицеры или кто-либо из знатного купечества нашлись когда-либо и столь мерзких пред Богом и пред светом преступлениях, каковы суть противу двух первых пунктов», или чтобы они сделались ложными доносчиками³⁸.

Отныне доносить о конкретных государственных преступлениях (например, сокрытии от переписи крестьян или «порозжих земель») было можно, но свободы крепостным за это императрица уже не сулила. А в 1767 году закон провозгласил, что показания «помещичьих людей и крестьян» против их господ «уничтожаемы быть должны». Сделано это заявление было по частному поводу — из-за массовых обвинений дворян в корчемстве (незаконной торговле выкуриваемой в барских имениях водкой)³⁹. Правда, тут власть немного схитрила, поскольку корчемство наносило ущерб казенному доходу: мужики не могли доносить на собственного барина, но зато «посторонние доносители» (в том числе «чужие» крестьяне) имели право «заложить» торговавших водкой крепостных данного помещика. Если последние при аресте ссылались на приказ господина, то тогда в отношении помещика могло начаться следствие, но вестись оно должно было без всякого «озлобления». Однако другим указом от того же года крестьяне вообще лишались права жаловаться на помещиков, в частности — по «первым двум пунктам»; теперь подача подобных жалоб сама по себе становилась преступлением, каравшимся на первый случай наказанием плетью и ссылкой на каторжные работы на месяц, плетью и каторгой на

год — во второй раз и ссылкой на вечную каторгу в Нерчинск в третий раз⁴⁰.

Кажется, в 1767 году последний раз в указе (и то не именном, а сенатском) в качестве благого примера прозвучала фамилия доносчика — крестьянина Якова Иванова, доложившего об «утайке» душ при очередной «ревизии» властями Костромского Ипатьевского монастыря⁴¹. Много лет спустя, в 1822 году, Государственный совет решил просить о снисхождении к жене пономаря Марии Матушевской, знавшей о «воровствах» мужа и приеме им краденых вещей, но не донесшей; император Александр I повелел ее простить, но, вероятнее всего, потому, что дама оказалась дворянкой⁴².

На практике устранение «холопских» показаний привело к сокращению одного из источников получения информации о политических преступлениях, каким были до тех пор доносы дворовых. Это, можно предполагать, стало одной из причин, побудивших сыскное ведомство менять методы работы и постепенно создавать свою собственную агентуру, которая должна была собирать информацию о политических настроениях дворянства и вести наблюдение за опасными, по мнению правительства, лицами.

Формула доноса

Именной указ императрицы Анны Иоанновны от 10 апреля 1730 года конкретизировал понятие государственного преступления — петровские первые «два пункта»:

«1) Пункт: ежели кто каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело, или персону и честь нашего величества, злыми и вредительными словами поносить.

2) О бунте или измене, сие разумеется, буде кто за кем подлинно уведает бунт или измену против нас или государства».

С текстом указа 1730 года нужно было ознакомить подданных, поэтому он был дважды (первый

случай) опубликован в единственной тогдашней газете — «Санкт-Петербургских ведомостях» (в номерах 37 и 38).

Согласно петровскому указу 1715 года и аннинскому 1730 года, доносить можно было устно или письменно. Так или иначе, информация доносчика поступала в государственные органы — в отличие от подметных писем, которые подкидывались туда тайно, а то и вовсе расклеивались на заборах или разбрасывались на улицах.

Выше речь шла о процедуре подачи «доношений»; естественно, говоря о их форме, мы можем рассматривать только письменные доносы, которые по понятным причинам были в те времена редкостью.

Письменные доносы в основном подавали горожане. К примеру, новгородец Кузьма Сырейщиков сообщил о разговоре с другим посадским, Иваном Селезневым. Благодаря доносу Сырейщикова мы знаем, какими красками в 1738 году Селезнев живописал моральный облик императора Петра Великого: царь с женой жил «до венца» и окрестил ее, «а о том никто не ведали. Когда де он приехал обвенчавши во дворец и велел палить из всех пушек, и господа все дивитца стали»⁴³.

Редко кто мог соперничать с представителями духовного сословия по части красочности подобных обращений; замкнутое пространство церковного и тем более монастырского обихода, кажется, способствовало экспрессивности выражений и яркости проявления не самых лучших чувств. Не случайно в 1733 году правительство особо обратило внимание, что представители духовенства вместо того, чтобы «упражняться в благочинии», безмерно упиваются, «чинят ссоры и драки» и часто объявляют друг за другом «слово и дело»⁴⁴.

Значительную часть доношений поставляли приказные грамоты-«крючки», поскольку лучше знали процедуру следствия и видели в ней легкий способ получения награды и выхода в люди из беспросветной канцелярской рутины и нищеты. Ведь доносить можно было и на неосторожных просителей, и на

своего же неумеренного во хмелю или обиженного жизнью брата-подьячего. Стоило канцеляристу Андрею Лякину ляпнуть в пьяном кураже в 1736 году «в ночи» во время застолья прямо на рабочем месте в «палате» Коммерц-коллегии, что государыня «де на престоле серет», как собутыльники-копиисты его заложили. Хорошо еще, что сразу признавшийся Лякин отделался всего лишь батогами, что сравнимо со строгим выговором по меркам XX века⁴⁵. Порка воздействовала на Лякина благотворно в смысле воздержания от хмельного и даже подвигла его, как увидим ниже, к государственному мышлению.

В Петровскую эпоху началось формирование доноса как самостоятельного канцелярского жанра, с использованием некоторых устойчивых формул. Авторы демонстрировали свою осведомленность об угрозе наказания в случае недостоверности их информации («А буде я, Авдотья, сказала что ложно, и за то указал бы великий государь казнить меня смертью»), что само по себе должно было служить свидетельством ее правдивости. Иногда — далеко не всегда — доносчик мог декларировать осознание своей гражданской позиции («мню, что не стерпит человеческая совесть, ежели кто сущий христианин и не нарушитель присяги, в себе заключить, слыша нижеписанные поношения против персоны его величества»). Как правило, чтобы оградить себя от подозрений, что он руководствовался «злостью какой или корыстью», автор доноса стремился доказать отсутствие личного интереса («не имел с Барышниковым никакой ссоры и до настоящей беседы не был с ним знаком»)⁴⁶.

Петр не успел до конца отладить систему «правых» доношений от сознательных граждан. Но в рамках культивируемого им «регулярства» царь требовал в указе «О форме суда» 1723 года: «Как челобитные, так и доношения писать пунктами, так чисто, дабы что писано в одном пункте, в другом бы того не было». Таким образом, власть демонстрировала стремление упорядочить доносительство: информацию рекомендовалось располагать в некоей последовательности. Как правило, смысловые куски выделя-

лись нумерацией или пропуском между ними нескольких чистых строк. Правда, ни тогда, ни позже не было выработано общепринятого образца вроде анкеты или бланка с положенными графами.

При вступлении на престол нового государя или государыни регулярно обновлялись формы официальных документов. При Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне доносы в их числе еще не фигурировали; до начиная с 1742 года правила их составления вносились в каждый подобный список нового царствования: «В доношениях, кои будут от доносителей: Ее императорского величества титул писать против того, как и в челобитных. А потом: "Доносит имярек на имярека; а в чем мое доношение, тому следуют пункты". По окончании пунктов, в прошении писать против того ж, как в челобитных»⁴⁷.

Елизаветинский придворный Михаил Марков сделал донос на своих слуг по всей положенной указом форме:

«Доносит двора вашего императорского величества квартирмейстер Михайло Иванов сын Марков, а о чем, тому следуют пункты.

Сего октября 9 дня Ингермоланского пехотного полку сына моего капитана денщик ево Петр Мартынов объявил, что он слышал непристойные слова от моей крепосной бабы Марьи Савостьяновой, что означенная баба говорила. Да он же, денщик, объявил, что еще при том была и слышала баба зятя моего лейб-гвардии Измайловского полку подпорутчика графа Девизера Наталья Лаврентьева.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было означенного денщика Мартынова и бабу Савостьянову Тайных розыскных дел в канцелярию принять.

Всемиловейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем доношении решение учинить. Октября 9 дня 1751 году. К подаaniu надлежит в Тайных розыскных дел в канцелярию. Доношение писал служитель ево Андрей Торопин. к сему доношению Михайло Марков руку приложил».

Для иного незнатного подданного донос становился единственным возможным средством участия в политической жизни, стремление к которому подчас находило отражение в тексте доноса. «По самой своей чистой совести, и по присяжной должности, и по всеусердной душевной жалости <...>, дабы впредь то Россия знала и неутешные слезы изливала» — так в 1734 году был воодушевлен своей патриотической миссией бывший подьячий Монастырского приказа Павел Окуньков, донося на соседа-дьякона, что тот «живет неистово» и «служить ленинца»⁴⁸.

В более поздние и более просвещенные времена доносы писали уже чувствительнее, отступая при этом от официальной формы с ее «пунктами». «Умышляет на ваше сиятельство, захватя допросить и убить до смерти, и допрашивать вам, государь, их умысел, где находитца Ивана Антоновича брат и сестра, или же были; и то показуя бессовестно во вред всему отечеству и к пагубе; будто беззаконно Елисавета Петровна была императрица, потому что она и Анна Петровна будто до венца прижиты, а от Ивана Алексеевича Анна Ивановна была законная наследница от большого брата Петра Алексеевича. Так извольте рассудить, куда подвергнет могущество своими такими пустыми и злым умыслом, и будто бы 8 человек погубили и бывшего правителя <...>. Чорт знает, что болтают; истинно, батюшка, дрожит рука как пишу, изъяснить не в силах. Если же по сему моему доносу, предложая нашей всеобщей матери, учинить строгий распрос Ивану Васильеву сыну Еропкину, то можете узнать его сообщников, ибо он и меня призывал к тому беззаконию под пьяную руку» — так пространно в 1768 году доносил графу Алексею Григорьевичу Орлову автор, пожелавший остаться неизвестным⁴⁹. Прогресс — в литературном отношении — налицо. Доноситель пишет уже в свободной, даже задушевной манере, не стесняется своих чувств («дрожь руки» при составлении анонимки легко объяснима — как раз Алексей Орлов охранял скоропостижно преставившегося в Ропше «бывшего правителя» Петра III), беспокоится прежде всего о

державе («вреде отечеству») и отвергает корыстную заинтересованность.

Несмотря на требования законодательства, многие доносы, подобно вышеприведенному, составлялись все же без подписи — как сформулировал его анонимный автор, по двум причинам: «первое — опасаясь строгости <...>; второе — не подумали б из домогательства какого-нибудь». Но в данном случае Екатерина II расшифровала автора — по крайней мере, считала им отставного подполковника Николая Колышкина, бывшего Преображенского гвардейца и капрала кавалергардов — личной стражи императорских покоев. Государыне он был известен не с лучшей стороны — как «пьяница, игрок и мот»; но все же московскому главнокомандующему П. С. Салтыкову была дана инструкция: «Однако ж как сие дело касается до безопасности, то извольте прежде от него требовать, имеет ли он свидетельство».

Только с упразднением Тайной экспедиции в 1801 году требуемый образец доношений исчез из официальных актов, хотя само зловещее сочетание «слово и дело» уже во второй половине XVIII века постепенно вышло из употребления. Доносить, конечно, и теперь было нужно — особенно по делам, «важность первых двух пунктов заключающим». И по-прежнему благонамеренный доноситель должен был «извет свой представить во всяком месте военному или гражданскому начальнику», но теперь уже в произвольной форме⁵⁰.

*«Есть за ним государево слово»:
доносы и доносители*

За параграфами законов о доносах стояли конкретные люди со своими представлениями, чувствами, переживаниями. Попытаемся нарисовать собирательный портрет доносчика, сделать своеобразный социальный срез и рассмотреть его через призму доноса; определить поводы и реальные побудительные мотивы.

Если исключить немногие случаи явной измены или действительного злодейского умысла в отношении монарха, большинство известных нам по документам Тайной канцелярии казусов ставило человека перед нелегким выбором. С одной стороны, государство (и лично государь) требовало от них бдительности и немедленного исполнения гражданского долга под страхом неминуемого наказания. С другой стороны, рядом с ними находились неосмотрительные — или и вправду чем-либо недовольные — но все же родственники, друзья или соседи, своими словами или поведением «подводившие» себя под пресловутые «первые два пункта». И пусть невольному собеседнику было ясно, что реальной опасности для империи или императора в грубой выходке их приятеля или сослуживца нет, однако страшный закон повелевал доносить — либо самому оказаться соучастником или, по крайней мере, человеком неблагонамеренным, желавшим утаить и «уничтожить» преступление, поскольку о нем непременно доносил кто-то третий.

Подобные опасения были обычными не только для безвестных мужиков или посадских людей, но и для первых лиц империи. Сам канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, будучи в октябре 1749 года на пиру излишне «шумен», наутро доложил Елизавете Петровне о столкновении с коллежским асессором Григорием Тепловым. Вельможа, «дабы как где ложно обнесенным не быть», спешил оправдаться: он всего лишь предложил тост за фаворита императрицы, графа Алексея Разумовского, но «увидя, что Теплов в помянутый подал только ложки с полторы налил, принуждал его оный полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который ее императорскому величеству верен так и в ее высочайшей милости находится». Младший по чину Теплов «грубиянство имел не послушаться того», после чего началась перепалка; Бестужев опасался, что наговорил во хмелю лишнего⁵¹. Банальная застольная перебранка не зря беспокоила опытного дипломата: вопрос о «питии здо-

ровья» высочайших особ в ту пору быстро мог перерасти из выяснения отношений по принципу «ты меня уважаешь» в политическое дело об «оскорблении величества».

Однако не стоит думать, что все подданные доносили исключительно из-за опасения наказания. Утверждаемая сверху «демократичность» доноса и освящение его в качестве достойной «службы», связывавшей доносителя непосредственно с государем, послужила основанием массового — во всяком случае, широко распространенного — добровольного доносительства. Оно-то и сделалось настоящей основой кажущегося всесия Тайной канцелярии и сменившей ее Тайной экспедиции Сената.

Как мы видели, эти учреждения, в отличие от аналогичных по сути ведомств царской или советской тайной полиции XX века, насчитывали в лучшем случае три десятка человек и не имели общегосударственных «силовых» структур и штата осведомителей; но работали они бесперебойно. Усилия Петра не пропали даром: донос становился для власти эффективным средством получения информации о реальном положении вещей в центральных учреждениях или провинции, а для подданных — часто единственным доступным способом восстановить справедливость или свести счеты со знатным и влиятельным обидчиком. Можно представить, с каким чувством «глубокого удовлетворения» безвестный подьячий, солдат или посадский сочиняли и отправляли по инстанции бумагу (или по неграмотности устно объявляли в «присутствии» «слово и дело»), в результате чего грозный воевода или штаб-офицер, а то и такой же бедолага-сослуживец мог угодить под следствие.

Впрочем, кем бы ни являлся доносчик — радетелем за отечество или корыстным стукачом — современные исследователи должны быть ему благодарны. Его порой путаное и не слишком грамотное сообщение дает нам возможность стать свидетелями бытовой человеческой истории с ее конфликтами и характерами, не нашедшей отражения в прочих, большей частью казенных документах той эпохи.

Сотни дел по «государеву слову» — не только повод заявлять о моральной ущербности доносчика и жестокости власти; в них можно увидеть практику обыденного политического поведения людей из «верхов» и особенно «низов» общества, иным способом никак не попадавших в анналы большой истории.

Еще во время основания Преображенского приказа туда потянулись со всех сторон изветчики, предпочитавшие приносить свои доносы непосредственно, минуя местные учреждения и прочие казенные конторы. Они прибывали не только из Москвы и близлежащих городов — Коломны, Серпухова, Тулы, Твери или Переяславля-Рязанского, но и из дальних мест — Казани, Харькова, Азова, Астрахани, Архангельска и даже Tobольска; из посадов, уездных *сел* и деревень. Так, 101 из 175 процессов, слушавшихся там с 1697 по 1701 год, был возбужден по изветам провинциальных жителей, а остальные 74 — по доносам жителей Москвы и Московского уезда. В 1702 году 40 слушавшихся в Преображенском приказе процессов по «государеву слову и делу» распределялись соответственно как 29 и 11; в 1703 году из 37 процессов уезды дали 32 дела. В 1704—1705 годах из 58 дел было возбуждено по изветам уездных жителей по сравнению с 22 делами по изветам москвичей⁵².

Порой таким «ходакам» приходилось в поисках правды претерпевать множество приключений. Дьячок-правдоискатель из села Орехов Погост Владимирского уезда Алексей Афанасьев безуспешно пробивался в местное духовное правление с доносом на попов, ради хорошей отчетности преувеличивавших число ходивших к исповеди прихожан; затем он отправился в Синод. Для солидности церковнослужитель объявил, что на доношение его подвигло видение «пресвятой Богородицы, святителя Николая и преподобного отца Сергия», известивших, что страну ждут «глад и мор велик». Члены Синода были настроены скептически, но дьячок не унялся — угрозил: «Я де пойду и к самой ее императорскому величеству», — и в итоге попал-таки в Тайную канцелярию. Признанный вызванным для освидетельст-

вованья лекарем вменяемым, Афанасьев донес на своего попа-начальника, что тот «сидит корчемное вино» в ближнем лесу. Следствие не обнаружило искомый самогонный аппарат, но упорный дьячок стоял на своем твердо, вытерпел все полагавшиеся пытки и был сослан в Сибирь⁵³.

В 1748 году на другого попа подал донос в Коломенскую духовную консисторию крестьянин Григорий Елисеев, что тот «учинил сильно блудное грехопадение» над двумя замужними, причем посторонними изветчику женщинами. Ожидая решения этого дела, крепостной временно поселился в Коломне, где был схвачен своим сельским старостой и отправлен в Москву к помещику; там он содержался под караулом, из-под которого бежал. Явившись «для доносу», Елисеев показал, что «имеет до Тайной канцелярии нужду»; но его ожидания не оправдались — опытные чиновники сразу определили, что «никаких дел, касающихся до следствия в Тайной канцелярии, за ним <...> не явилось»⁵⁴.

Брянский портной Денис Бушуев в 1734 году не одобрил ворчания заказчика, отставного поручика Совета Юшкова, насчет придворных нравов: императрица, мол, жалуется «сына волошского государя» (известного дипломата и поэта Антиоха Кантемира) и дарит ему вотчину не по заслугам, а за то, что он «перед нею скачет да пляшет и огонь изо рта выпускает». Поручик, заподозрив неладное, поколотил кутюрье; поняв, что погорячился, принес Бушуеву водки в компенсацию за побои — однако тот все же подал донос, в результате рассмотрения которого Юшков отведен кнута и отправился в Сибирь «на житье»⁵⁵.

Столь же частыми были доносы и в армейской среде, где длительная совместная служба, честолюбие и близость начальства делали их удобным средством для карьеры и сведения счетов. Как только драгунский капитан Архангелогородского полка Иван Тросницкий перед строем обругал чертом невнятно читавшего императорский указ солдата, так тут же «имевший с ним ссоры» поручик Никифор Сурмин

заявил: «Тут де чорта не написано», — и побежал докладывать о предосудительном поведении однополчанина⁵⁶. Сделанные исследователями подсчеты показывают, что в иных провинциальных гарнизонах объявление служивыми друг на друга «слова и дела» составляло половину всех военных преступлений, опережая воровство и продажу незаконного («корчемного») вина⁵⁷.

В лихую «эпоху дворцовых переворотов» удобный случай мог вывести чиновника или офицера «в люди» — или оборвать карьеру; поэтому «стучали» друг на друга не только мелкие служащие или солдаты, но и гвардейские офицеры, и даже первые «персоны» государства. Великий канцлер и кабинет-министр князь Алексей Михайлович Черкасский лично доложил в октябре 1740 года о доверившихся ему офицерах Семеновского полка, намеревавшихся выступить против только что ставшего регентом империи герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Дворянин Федор Красный-Милашевич в 1733 году донес на смоленского губернатора действительного статского советника Александра Андреевича Черкасского — тот якобы стремился передать русский престол «голштинскому принцу» (внуку Петра I, будущему Петру III), состоял в переписке с голштинским герцогом и привел на верность ему многих смолян. Сам Ушаков поскакал в Смоленск арестовать Черкасского, и на допросах губернатор со страху оговорил себя и был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь с лишением всех прав и имущества. В 1739 году камер-паж Милашевич был арестован по другому делу и перед казнью сознался, что оклеветал Черкасского, который взаправду послал его в Голштинию — но только чтобы удалить из Смоленска, так как ревновал Милашевича к Анне Корсак, в которую был влюблен и на которой позже женился.

Но и сами гвардейцы столь же регулярно доносили друг на друга — здесь сказывались и зависть по отношению к сумевшему выслужиться однополчанину, и соперничество между полками. Особенно ча-

его - об этом еще пойдет речь - такие случаи происходили после очередного дворцового переворота, когда обострялись отношения между любимцами Фортуны и надеявшимися на ее улыбку неудачниками. И уж подавно не церемонились с простолюдинами - в 1722 году силач-гвардеец Иван Орлов просто сгреб на улице и приволок к начальству в качестве живого доказательства бывшего служителя царевича Алексея Гаврилу Силина, осмелившегося заявить: «Судит де того Бог, кто нас обидел». На допросе он пытался объяснить, что его слова относились к самому Орлову и значили: «Суди тебя Бог, что нас обидишь», - но следователи в филологические тонкости вдаваться не стали и отправили Силина в Сибирь⁵⁸.

Одни доносили неумело, как Преображенский солдат Семен Новиков. В ноябре 1768 года он ушел с караульного поста, ввалился прямо с ружьем во «внутренние покои» дворца и потребовал представить его императрице. Примчавшемуся для допроса генерал-прокурору Вяземскому он объявил, что «в гвардейских полках много разбойников живут, и многие солдаты ругаютца образам Божиим и в них де есть колдовство», однако не смог ни указать фактов «разбойничества», ни назвать конкретных имен и в конце концов сознался, что таким образом желал выпросить себе отставку⁵⁹.

Другие становились почти профессионалами по части сбора слухов и толков. В 1734 году писарь Изюмского полка Михаил Корецкий «сочинял на многих» доношения, в которых, однако, по сыску «много не являлось»; был бит плетью нещадно и разжалован в рядовые казаки⁶⁰. В 1762—1763 годах сотник Федор Крыса докладывал о том, что говорят в столице об Иване Антоновиче и «воскресшем» Петре III.⁶¹

Сержант Измайловского полка Александр Малыгин действовал уже более квалифицированно. В 1764 году он явился на квартиру своего командира подполковника В. И. Суворова с докладом о разговорах среди сослуживцев: что сержант Морозов опа-

сался какой-то «комиссии» в полку, от которой «постраждет» один из офицеров; что некий купец говорил солдатам о свергнутом и заточенном в Шлиссельбурге императоре: «Обидили де птенца Ивана Антоновича»; что не установленный пока капрал якобы собирался в 1761 году застрелить императрицу Елизавету, а регистратор Лаврентий Петров говорил о заключенных в крепости офицерах. Малыгин уже не рассматривался начальниками сыска И. И. Неплюевым и А. А. Вяземским в качестве обычного доносчика — не попал под следствие с заключением и очными ставками, — а скорее, воспринимался как добровольный агент-осведомитель⁶², что помогло его последующей карьере — в 1769 году он стал прапорщиком гвардии и занял хлебное место товарища воеводы в Дмитрове. В то время имелись и другие подобные «помощники»: приговоры Тайной экспедиции 1764 года говорят о выдаче 50 рублей за информацию, поставленную «известными людьми».

На столичных гвардейцев охотно доносили служивые из армейских полков. В 1764 году солдат Суздальского полка Антип Филатов со слов своей жены доложил, как рядовой Измайловского полка Василий Титов заявлял: «Когда государыня поедет в Ригу, то де тогда на престол посадят Иван Антонович», — и о том же толковали между собой солдаты-семеновцы. Дело немедленно было доложено графом Г. Г. Орловым императрице; генерал-прокурор Вяземский возглавил следствие — и быстро установил, что о новом перевороте (с раздачей чинов и денег) мечтал сам Филатов и подговорил жену оклеветать гвардейца — собственного зятя⁶³.

Майор Иван Бахметев, после спокойного воеводства в Алатыре посланный на восточную границу «в команду» тайного советника Федора Наумова и тем явно недовольный, в 1735 году явился в Сенат с доносом на своего начальника, обвинив того в «презрении» императорских указов, «в непостоянных и своевольных к тому непорядочных поступках и во взятках», «похищении е. и. в. интересной траты». Не ограничившись перечислением обычных служеб-

ных злоупотреблений, Бахметев упомянул якобы рассказанную ему вельможей в «похвальных и непотребных словах» историю о том, как когда-то Анна Иоанновна, будучи еще курляндской герцогиней, просила у него голосистых певчих, а не получив, подговорила их к побегу; став императрицей, она будто бы напомнила Бахметеву этот случай: «А ныне бы де ты мне и с охотой отдал». Дело мгновенно стало из уголовного политическим, и майора с его кляузками доставили в Тайную канцелярию — на его беду: следствие выяснило, что Бахметев сам может быть обвинен в измене, поскольку подговаривал своих солдат обвинить Наумова во взятках и не слушать приказов начальника — «к новопостроенным крепостям не ездить и пашни не пахать». Воистину, не рой другому яму: склочный майор получил плетей и отправился служить в Сибирь «вечно»⁶⁴.

Совместная служба и армейский быт неизбежно порождали конфликты. Впрочем, из сотен подобных дел не всегда ясно, последовал ли донос по «злобе», или доноситель просто использовал удобный случай, чтобы выслужиться. В 1734 году солдат столичного гарнизона Петр Агеев на вопрос капрала, была ли императрица на водоосвящении, простодушно ответил, что стоял далеко, а потому «черт де ее знает, была ль или нет», и угодил по доносу капрала после истязания кнутом в вечную ссылку в Охотск, хотя из дела следует, что за бедным солдатиком никаких провинностей прежде не было⁶⁵.

В военной среде информация порой распространялась моментально. Старый солдат столичного Невского полка Нестор Рябинин днем 25 августа 1763 года посетовал: «У нас баба и царством правит; нам де дает жалованье малое, а как на што другое — у нее болше денег идет». Служивый не только переживал за свое невеликое жалованье, но и вообще о дамах был невысокого мнения — «блядь по бляди и потакает». На его беду, его ворчание было услышано женой поручика Якова Шубина Екатериной. Возмущенная полковая дама сразу же доложила о «непристойных словах» поручику Прохору Логурскому; тот

помчался к обер-коменданту генералу Костюрину; Костюрин доложил в Сенат — и уже вечером того же дня солдат был арестован и давал показания лично генерал-прокурору А. И. Глебову⁶⁶.

Но и штатским в разговорах с солдатами следовало быть осторожнее — усвоенный Артикул воинский заставлял их действовать без промедления даже там, где торопиться не было нужды. Солдатские женки Федосья и Фетинья беседовали в 1751 году о своем, о женском: «Милостивая де государыня живет блудно»; вдова Федосья рассказала об этом открытии приглянувшемуся ей солдату, а кавалер тут же на нее донес⁶⁷.

Не щадили друг друга и дворовые люди, не связанные полковым братством или взаимной поручкой крестьянской общины. Удачный донос давал им возможность если не войти в милость к барину, то получить определенный статус в своей среде, заставить себя уважать и бояться. Стоило находившемуся в услужении у коммерц-советника Петра Бакона Михайлу Иванову и слуге асессора Юстиц-коллегии Фоке Афанасьеву побеседовать о придворных делах и, в частности, о том, что императрица Анна Иоанновна «телесно живет» с Бироном, как свидетель этого разговора, слуга Бакона беглый выходец из Польши Павел Михалкин, подал донос, стоивший болтунам урезания языка, битья кнутом и ссылки в Охотск⁶⁸.

Особую опасность дворовые представляли для своих господ. Донос на них был, конечно, делом более рискованным, чем на своего брата крепостного, но и сулил больше: вместе с наградой можно было обрести свободу. Именно таким образом получил ее самый известный авантюрист середины XVIII века Ванька Каин, объявив «слово и дело» на своего помещика. В петровское царствование заметно увеличилось количество доносов от холопов, сообщавших о попытках помещиков приворожить или «испортить» самого Петра I. Вероятно, это можно связать не столько с особым авторитетом царского имени для этой социальной группы, сколько с ухудшением положения наиболее привилегированной части холопства⁶⁹.

другие крепостные сообщали об уклонении господ от службы. «Ведомо буди, на Москве живет стольник Илия Григорьев сын Сандырев, а на службу твою, великого государя, не ходит, сказывает, что нога болит, а лекарей к ноге никого не приводит. А, знатно, что он ногу затравливает, не хотя быть на службе твоей государевой; все дома лежит, богу не молится, все пьет — зачнет с половины дня пить, да и всю ночь пьет. <•••> А как напьется пьян, только людей бьет да мучает», — уведомил царя в 1709 году безвестный холоп, явно стремившийся изобразить барина злостным «уклонистом» от службы, ради этого не жалевшим собственной ноги⁷⁰.

Злоба на помещика была так велика, что пересиливала даже страх подвергнуться пытке во время следствия. Крепостной Клим Рудин донес на барина, Ивана Аристова, будто бы критиковавшего политику своего государя: «Живет де все по-немецки и бояр много казнит, и стрельцов много побил, а набрал все дразги, холопья в солдаты», — и не отрекся от сказанного, выдержав три пытки⁷¹. Даже до поры лояльный холоп мог донести на хозяина, пытаясь таким способом избежать заслуженного наказания. К примеру, когда крестьянин Гришка Жогин попал за что-то в только что введенный Петром I надворный суд, то вспомнил — на беду, слишком поздно, — как его господин стольник Андрей Вешняков сжег некие «царственные письма» в то время, «как стало искатца дело царственное на Москве», то есть следствие по делу царевича Алексея. Но преступных умыслов и действий помещика установлено не было, и доносчик за нерасторопность был бит кнутом и отправлен на ка-торгу⁷².

Забулдыга-прапорщик Тимофей Скобеев, загулявший под Рождество 1721 года в своей подмосковной Деревне, поутру с похмелья поругался с женой, укорявшей его за пьянство и блуд. Супруг не нашел ничего лучше, как сослаться на достойный пример: «Что ты мне указываешь! Ведь так сам государь Петр Алексеевич делает». Свидетелем выяснения отношений стал дворовый Аким Иванов. Слуга долго не ре-

шалея выдать барина и только в апреле следующего года сам явился в Преображенское к царю, был принят им лично и с сопроводительной запиской бережно передан Ушакову. Петр дело Скобеева «изволил ставить за неважное»; но в регулярном государстве порядок исполнения по указам должен был выполняться неукоснительно: «Помещика того надобно сыскать и допросить в том, к какому случаю он такие слова говорил». Прапорщик не запирался — поклялся, что «иных важных предерзостных и непристойных слов ни прежде, ни после того не было; про его величество с женой никогда не говаривал, а что было им сказано, то спроста, а ни в какую силу». Повинившийся помещик отделался всего лишь батогами; а бдительный холоп получил паспорт с записью, «что ему, Акиму, с женой и с детьми от Скобеева быть свободну и жить, где захочет»⁷³.

Еще более опасными могли стать такие доношения для высокопоставленных лиц, постоянно окруженных дворней. Карьера князя Дмитрия Михайловича Голицына — вельможи, члена Верховного тайного совета и одного из авторов знаменитых «кондиций», ограничивавших власть избранной на русский престол Анны Иоанновны, — могла завершиться задолго до 1730 года. В бытность киевским губернатором он сам писал доносы на украинского гетмана; но и на него в мае 1722 года обиженный дворецкий его брата-фельдмаршала заявил «слово и дело» по поводу якобы имевшихся у князя «тайных царственных писем». Тогда князю повезло — донос проигравшегося в карты холопа был признан неосновательным⁷⁴.

Легким испугом отделался и бывший канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, ворчавший, уже находясь в ссылке, про ложь в царских манифестах. Его «верные рабы» Ермолай Ковалев и Иван Реткин доложили куда надо, что отставленный дипломат рассказывал, как сама Анна Иоанновна приказала в 1739 году убить по дороге из Стамбула шведского дипломатического агента майора Синклера, и сочинял на досуге «наподобие молитвы неприличные песь». Донос пришелся как раз на время, когда Петр III

уничтожил Тайную канцелярию; занятые разбором её бумаг сенаторы к делу отнеслись не въедливо и сочли что в поступках Бестужева (в коих он, естественно, не сознался) «важности не приличается»⁷⁵.

А для красавца-придворного Вилима Монса последствия доноса оказались трагическими. Брат любовницы молодого Петра I Анны Монс и генеральс-адъютант царя по его воле стал камер-юнкером царицы Екатерины, а затем — уже по собственной инициативе — ее фаворитом. За пять-шесть лет он вошел в такую «силу», что к нему за помощью не стеснялись обращаться фельдмаршалы Голицын и Меншиков, губернатор Волынский и даже архиепископ ростовский Георгий Дашков. «Милостивой мой благодотворитель Виллим Иванович! — писал архиерей. — Понеже я вашим снисхождением обнадежен, того ради покорне прошу, не оставьте нашего прошения в забвении: первое, чтоб в Синоде быть вице-президентом; аще вам сие сделать возможно, зело бы надобно нам сей ваш труд! Ежели сего вам невозможно, то на Крутицкою епархию митрополитом, и то бы не трудно сделать, понеже ныне туда кому быть на Крутицах ищут. Того ради, извольте вспомянуть, чтоб кого иного не послали, понеже сими часы оное дело <...> наноситца <...>, а мне в сем самая нужда, чтоб из двух сих: или в Синод, или на Крутицы весьма надобно». К камер-юнкеру, успевшему даже завести свою канцелярию для приема прошений, обращались десятки людей со всевозможными просьбами: пожаловать чин, освободить из-под ареста или от казенных платежей, похлопотать о «деревне», предоставить отпуск со службы или место, включая даже архиерейскую должность. За протекцию фаворита одаривали Деньгами, лошадьми, собаками, драгоценностями и Даже целыми имениями. Главное, что объединяло все прошения, — для их исполнения надо было немного обойти закон, в чем Монс вполне преуспевал. При коронации Екатерины он был пожалован в камергеры, но получить патент не успел. Блестящего кавалера сгубила мелкая сошка из придворной челяди — Михей Ершов.

Не в меру тщеславные слуги Монса не держал язык за зубами. Сначала секретарь Монса Егор Столетов не сумел скрыть доверенные ему важные письма — затем передатчик любовных посланий, шут Иван Балакирев рассказал о придворных «тайностях» своему приятелю Ивану Суворову, который, в свою очередь поделился с Ершовым. Тот подал донос: «Я, Михей Ершов, объявляю: сего 26 апреля 1724 году апреля 26 числа ночевал я у Ивана Иванова сына Суворова, и между прочими разговорами говорил Иван мне, что когда сушили письма Вилима Монса, тогда де унес Егор Михайлов из тех писем одно силненькое, что и рта раскрыть боится», — указав, что письмо это якобы содержало рецепт подозрительного питья про самого «хозяина» — Петра I. Доносчик мало что знал, и его путаный «извет» едва не затерялся. Но, вероятно, кто-то влиятельный постарался «запустить» дело. 5 ноября в застенке оказался Суворов, а уже 8-го сам царь допрашивал арестованных Столетова и шута. Петру стало известно всё об отношениях своей жены с молодым придворным, и вечером того же дня Монс был взят лично Ушаковым. Допрашивали его формально — и, конечно, на бумаге остались лишь признания во взятках. 16 ноября 1724 года на Троицкой площади Петербурга Монсу отрубили голову по обвинению в лихоимстве. Имена «просителей» Петр приказал публично обнародовать⁷⁶.

Даже если «политики» в таких доносах и не оказывалось, они могли вынести на свет неприглядные подробности частной жизни иного высокопоставленного лица. Действительный статский советник Григорий Теплов участвовал в заговоре, возведшем на трон Екатерину II, и стал ее статс-секретарем. Императрица отплатила за помощь — не дала в 1763 году хода доносу тепловского камердинера Власа Кучеева, из которого следовало, что Теплов досаждал холопам своими гомосексуальными наклонностями; но при этом слуг допросили, а протоколы с живописными подробностями не были уничтожены — могли пригодиться⁷⁷.

Не случайно таких бойких холопов господа побаивались. В 1744 году капитан Сергей Жданов потре-

бовал перевести своего «человека» Михаила Третьякова, долго сидевшего в Тайной конторе, в Сыскной приказ, обвинив его в краже господского имущества, обидевшийся Третьяков в краже хозяйских «пожитков» не повинился даже на пытке, зато объявил «слово и дело» по «первому пункту» на... самого А. И. Ушакова и секретаря А. Васильева. По столь важному делу он был поставлен прямо «пред собранием Сената» и здесь признал, что к Андрею Ивановичу претензий не имеет, но должен находиться не в Сыском приказе, а в исключительном ведении Тайной канцелярии, так как там он по прежде бывшему доносу «явился прав». Контора признала доношение Третьякова на другого дворового «правым», постановив отдать холопа барину. Но теперь уже помещик категорически отказался иметь с ним дело и предложил отдать своего крепостного куда угодно⁷⁸.

Случалось, господа, у которых было «рыльце в пушку», первыми от греха подальше подавали донос, стараясь опередить холопов. Крепостная «баба» квартирмейстера Михаила Маркова Марья Савостьянова прямо в «людцкой избе» заявила: «Быть де всем вам и господам с вами в Тайной канцелярии, и быть же де всем перевешенным за то, что для чего говорили, что всемилостивейшая государыня с Разумовским паритца в бане», — и так напугала барина, что он принял превентивные меры и обратился с прошением взять ее в Тайную канцелярию. Крепостная могла если не сломать карьеру господ — Маркова и его сына-капитана, то сильно повредить ей; но на их счастье, необходимыми для такого случая злостью и стойкостью она не обладала и сразу признала: «непристойные слова», может, и говорила, но не помнит «за безмерным пьянством», а с чего они ей «в мысль пришли, того она сама, Марья, не знает»⁷⁹.

Обычные же «пахотные» крестьяне, не состоявшие при барском дворе, в частную жизнь господ посвящены не были. Они тоже пытались воздействовать на власть с помощью извета, но, как правило, неудачно. В 1702 году крестьянин помещика Квашнина во время допроса признался, что кричал «сло-

во и дело», но «за помещиком своим иного государевого дела, что помещик его, Василья, бивал плетьюми и морил голодом, никакого не ведает»⁸⁰. Такие многочисленные попытки обвинения хозяев заканчивались одинаково — наказанием за напрасно сказанное «государево слово» и возвращением помещику.

На самих крестьян доносов поступало меньше всего. Из деревенской глуши бежать или ехать с «объявлением» в город было далеко и трудно. К тому же люди со стороны не попадали в замкнутый сельский «мир»; на своих же мужики не доносили да и с помещиком или заезжими чиновными людьми не открывничали. Здесь выдать мог только местный — как правило, помещичий дворовый, деревенский поп или представитель выборной администрации, опасавшийся от смутьяна еще пущей беды.

На крестьян из вотчины дяди Петра I Л. К. Нарышкина, рассуждавших о том, «какой де он царь, он дворянин, крестопреступник; подменен из немцы, царство свое отдал боярам, а сам обусурманился и пошел по ветру с немцы», донес — вопреки «классовой солидарности» — укрывавшийся у неосторожных мужиков беглый крепостной Иван Грязной⁸¹. Видимо, таким образом он намеревался избежать наказания, а если повезет — то и обрести новый статус.

В 1722 году поп из деревни Лесниково Ржевского уезда, рубивший дрова вместе с крестьянами «на толоке», стал свидетелем обсуждения мужичками актуальной политической проблемы — кто есть на самом деле Петр I. Одни считали его настоящим царем, но сетовали на тяжесть поборов, другие верили, что «великий де государь московской за море в темном царстве засажен». Иван Корелянин авторитетно разъяснил: «Этот де государь на родах переменен; родила де царица дочь, и тое дочь отдали к немцам в Кокуй, а этово де взяли ис Кокуя иноземца шведа». От таких деревенских посиделок батюшка пришел в ужас и донес по начальству, что принесло мужикам угощение кнутом, а знатоку альковных тайн Корелянину — вечную сибирскую каторгу⁸².

В смутном октябре 1740 года крепостные князя Мышецкого в избе толковали текущие политические новости — кому быть царем после «земного бога Анны Иоанновны». Проблема была животрепещущей: императрица только что скончалась, а вопрос о престолонаследии разрешался в «эпоху дворцовых переворотов» разными и далеко не правовыми средствами. В оживленной дискуссии прозвучало имя дочери Петра I Елизаветы; тогда хозяин Филат Наумов, лежа на печи, «отвел» ее кандидатуру как недостойную, поскольку «слыхал он, что она выблядок», что стало известно местному попу⁸³. Другой сельский священник Сидор Степанов стал доносителем на крестьянина Михаилу Алексеева из вотчины Троице-Сергиева монастыря деревни Кочериново Старорусского уезда, заявившего в августе 1741 года при чтении в церкви очередного указа от имени младенца-императора Ивана Антоновича, «что де как государь настал, так и хлеб у нас не стал родитца»; родительница государя, милостивая правительница Анна Леопольдовна, не стала возражать против приговора Тайной канцелярии о вразумлении виновного кнутом и наложила резолюцию: «Тако»⁸⁴.

Крестьянин вотчины Суздальского Покровского монастыря из деревни Ступино Владимирского уезда Никита Захаров «неведомо с какого азарта» в ноябре 1762 года публично не одобрил социальную политику Екатерины II: «Села на царство баба и ничем народ не обрадовала, как збавку с соли, так и подушных денег; прямая де плюха!» Соседи-мужики, выслушав это критическое высказывание, безответственно «разошлись в дома свои»; отреагировал Только десятский и шурин Захарова Петр Яковлев — схватил оратора и доставил его прямо в провинциальную канцелярию⁸⁵.

Почтенные монахи доносили на свою иноческую «братию». В ноябре 1720 года иеромонах новгородского Хутынского монастыря Никон Харков пригласил на ведро пива трех своих друзей-клирошан, и один из них, отец Антоний, выразил неподходящее его званию и возрасту пожелание: «Государь ведь че-

ловек не бессмертен; воля Божия придет — умрет, а уж тогда <...> царицу-то я за себя возьму». После разговора прошло три года, и друзья еще не раз собирались, чтобы отмечать праздники, пока один из них — иеромонах соседней Спасской Старорусской обители Евфимий — не решил, что настала пора донести. В 1723 году он доложил о словах Антония в Синод, а оттуда доносчик был немедленно отослан в Тайную канцелярию. Трехлетнее промедление Евфимий объяснил «простотою своею». Отец Антоний покаялся в неприличном пожелании «от большого шумства», был бит кнутом и отправлен в сибирскую ссылку на три года; остальные участники пирушки получили плети⁸⁶.

Иногда таким образом сводили между собой счеты дамы. Еще недавно жена Преображенского фурьера Матрена Григорьева болтала по-дружески с другой солдаткой Аксиньей Гуляевой про «мужное хлебное жалованье» и даже вроде одобряла ее острый язычок: «Этак де наша брейка бреет, что никому спуску нет». Но женщин поссорил квартирный вопрос: когда Аксинье отвели квартиру на том же дворе, Матрена, и так уже имевшая «жилиц», выкинула ее вещи на улицу — ведь она была «фулгерской женой», то есть ее муж имел чин выше да еще и являлся преображенцем, а не семеновцем, как супруг Аксиньи. Когда в июле 1724 года по жалобе Аксиньи на двор пришли улаживать конфликт гвардейцы, Матрена заявила: «Нет ей здесь фатеры и жить не пушу». Солдаты в рапорте зафиксировали ее «неистовые слова, будто она Гуляева жена порицала благородную и великую государыню нашу императору бранными словами, и о том она фулгерская жена образовалась нам, снявши образ при жилицах своих двух женщинах, а как их имяны и по отчеству того не знаем, что конечно та солдатская жена Гуляева порицала». Судя по бумагам следствия, переход двух солдатских жен от приятельских отношений к яростной вражде был стремительным, а исход дела трагичным. Выяснилось, что Аксинья имела неосторожность при товарках не одобрить только что состоявшуюся корона-

цию жены Петра I Екатерины: «Черт де с нею да и с радостью; им де радость, а иные и без хлеба», — посетовав на общую беду кумушек - невыплату жалованья. Свидетельница донос подтвердила; Акси-нья, пытавшаяся отговориться беспамятством и пьянством, угодила на дыбу, во всем призналась и была казнена⁸⁷.

Порой истошный крик о «государевом слове» был для женщины последним средством защититься от разбушевавшегося супруга. При этом в первой половине XVIII века социальное положение значения не имело — дворянки страдали от произвола мужей так же, как и простолюдинки.

Архив Тайной канцелярии сохранил историю 25-летней офицерской вдовы Веры Новосильцевой. Бедная дворяночка рано осиротела; однако родители успели выдать ее замуж за прапорщика Санкт-Петербургского пехотного полка Кондрата Новосильцева. Молодой женщине выпал нелегкий путь жены российского офицера. Подобно другим боевым подругам, она вместе с мужем и маленьким сыном Васей отправилась в 1738 году при полку в поход на турок через украинские степи; там под Бендерами ее супруг был «убит до смерти». Вдова с ребенком осталась без средств к существованию да еще с обязательством выплачивать за мужа «начетные деньги». Хорошо, что императрица Анна Иоанновна смилостивилась, штраф простила и приказала выдать прапорщице 93 рубля. Жила она в домике на Фонтанке, пока не познакомилась с прапорщиком Измайловского гвардейского полка Дмитрием Григорьевым, который пригласил молоденькую вдовушку к себе «для кроения рубах». После обеда на холостяцкой квартире прапорщик по-военному пошел в атаку — «стал ее склонять к блудному с ним грехопадению». Вдова поначалу не сдавалась; но бравый офицер «стал себя заклинать жестокими клятвами, чтоб ее за себя взять». Дама, «по слабости женской», клятвам поверила; оба сначала «приложились к стоящим на стене складням (иконам. - *И. К. Е. Н*) <...> и потом они легли на постелю и учинили с ним блудное грехопа-

дение». Прапорщик свои обещания жениться исполнять не спешил; вдова всё терпела, родила сына (умершего в младенчестве) и была «чревата» второй раз. Едва ли она была счастлива — во всяком случае, Григорьев позже заявлял, что не знает, отчего умер его сын и где погребен. 30 сентября 1746 года прапорщик, явившись домой пьян, на замечание подруги заорал: «Для чего ты, курва, мне невежливо говоришь?! Я де тебя до кнута доведу!» — и стал ее бить «сковородником», «топтунками» (ногами), таскать за волосы; затем схватил топор и стал крушить сундук Веры со всем ее имуществом. Избитая, в рваном платье, с подбитым глазом женщина в отчаянии закричала «слово и дело». На ее «великой крик» собрались солдаты из ближайших казарменных «светлиц». Тут прапорщик опомнился — пытался уговоривать свою половину помириться; когда она отказалась — стал «запираться» во всем: солдаты о том «показывают напрасно»; «баба» «слово и дело» не кричала и вообще «безмерно пьянствует», за что он ее и бранил, но никогда не бил. Конца этой грустной бытовой истории в Тайной канцелярии нет: люди Ушакова подробно допросили обоих, но поняли, что дело не по их ведомству, и передали его в Петербургскую духовную консисторию⁸⁸.

Бывало и наоборот — мужья доносили на жен. В начале царствования Екатерины II отставник-капрал из «подлых» возмутился «величаньем» супруги-купчихи: «Я перед тобой барыня и великая княгиня! А что касается и до императрицы, что царствует, так она такая же наша сестра, набитая баба, а потому мы и держим теперь правую руку и над вами, дураками, всякую власть имеем». Жаль, что конца у дела нет — интересно, как отреагировала просвещенная императрица на выступление «эмансипированной» дамы из 2-й купеческой гильдии, которая на следствии во всем «запиралась»⁸⁹.

Молодое поколение не отставало от старших — причем не только в России, но и на формально автономной Украине. 27 сентября 1722 года в украинском городе Глухове ученик одной из местных школ,

великовозрастный лодырь Лукьян Нечитайло, больше интересовавшийся шинками и дивчинами, в подпитии заявил приятелям, что наука ему не дается и лучше бы скорее уйти в монастырь. После объяснений собутыльников, что отныне по царскому указу постричься стало гораздо труднее, загулявший Лукьян «избрал его величество скаредною бранью». Гришка Митрофанов вступился за царя: «Для чего ты, злодей Лукьян, такие скаредные слова про его императорское величество говоришь?» Степан, наоборот, пугнул Гришку: «Тебе-то что нужно? Уж ты сейчас тут доносчик. Дадим мы тебе себя знать, как доносить». Наутро, во время опохмела компании в ближайшем шинке, Гришка вспомнил о «непристойных словах» приятеля и пригрозил: «Вот как пойду, да на тебя о тех словах донесу, так всем беда будет!» Возможно, мальчишка желал показать старшим приятелям свою значимость и рассчитывал, что его будут уговаривать, но ошибся — немедленно получил по шее от Степана, не понимавшего, как можно предать приятелей: «Что ж ты, жить с нами не будешь, что ли? Коли ты с нами жить хочешь, так чего ж доносить идешь?» Но во имя сохранения школьного братства все решили вновь вместе отправиться в шинок.

За чарками друзья опять поссорились. «Ты-то, доносчик! — грозили Гришке товарищи. — погоди, мы тебя, доносчика, в школе розгами побьем и из школы вон выгоним». Будучи «выбитым» за дверь, Григорий унижения не стерпел — стал сам пугать друзей: «Теперь уж вам нельзя уйти; вот я пойду солдатам объявлю, чтоб караулили вас по дорогам; буде вы замыслите уйти, так за вами погоня будет». Тут бы школярам Уняться да угостить горилкой потенциального доносчика. Но те уважить Гришку не пожелали: «Что ты грозишься! Мы не боимся, да и не для чего нам уходить от погони», — и демонстративно отправились в Церковь, презирая угрозу. Теперь Григорий волей-неволей должен был действовать — иначе бы он навсегда «потерял лицо» и стал объектом насмешек и издевательств. Пришлось ему бежать к «бригадирскому двору» и объявить оказавшемуся там майору

«слово и дело о его величества высокой монаршее чести».

История окончилась банально: отряд солдат до-¹ ставил оговоренных в Малороссийскую коллегию, а та отправила их прямо в Москву — скрывается успел только горячий, но сообразительный Степан. На следствии никто не запирался. Школяры повинились, что, сочувствуя непутевому Лукьяну, грозила изветчику и по-детски оправдывались тем, что только толкали доносчика в грудь, а по щекам не били. Невольные «гости столицы» увидели Красную площадь, где им прочитали приговор и состоялось наказание: Лукьяну Нечитайло дали 30 ударов кнутом, «вынули клещами» ноздри и сослали на вечную каторгу в Сибирь; остальных отправили для порки и соответствующего внушения обратно в Малороссийскую коллегию, коей было наказано отыскать непокорного «школьника Степана». Юный Григорий Митрофанов был торжественно награжден 10 рублями⁹⁰. Свою «крутизну» он доказал — ценой жестокого наказания друзей и упразднения всей школы.

Можно полагать, что так росли и другие добровольные доносители, склонные переступить не только через дружеские, но и через родственные чувства. Дьякон подмосковного села Пушкина в 1722 году заподозревал собственного тестя-священника, что он «волхв и чародей и ходит в дома многих господ», из чего сделал неожиданный вывод: как бы родственник «не остудил государя с царицею»⁹¹. Доносили на жен, мужей и даже на родителей. В 1745 году копиист Чудова монастыря Василий Серов обвинил собственную мать, неведомо с чего сообщившую ему, что у него есть «брат» — сам наследник престола Петр Федорович⁹². Сын славного петровского генерала, князь и камер-юнкер Борис Юсупов начал придворную карьеру с доноса в 1730 году на родную сестру Прасковью: княжна боялась императрицы Анны Иоанновны и желала склонить ее «к себе на милость через волшебство»⁹³.

Люди той далекой эпохи могли от раскаяния или со страха донести и сами на себя, если посчитали

свои поступки и даже пришедшие в голову мысли опасными и «душевредными». 1 января 1726 года Преображенского полку 2 роты сержант Александр Петров Пушкин <...> в яузских воротах кричал караул и сказал за собою <...> дело», а затем «объявил, что де он <...> изрубил жену свою до смерти». Прадед поэта был отправлен из губернской канцелярии в Преображенский приказ, где рассказал, что в «беспамят---е» убил свою жену (ему показалось, что супруга подослала к нему мужика-«колдуна»): «Зело стало мне тошно без меры, жесточалось сердце мое, закипело и как бы огонь, и бросился я на жену свою <...> и бил кулаками и подушками душил <...> и ухватил я кортик со стены, стал ея рубить тем кортиком». Через десять дней после ареста И. Ф. Ромодановский приказал освободить Пушкина из тюрьмы на поруки, «понеже, он, по-видимому, весьма болен и при смерти», опасаясь, чтобы тот «от страха не умер безвременно и от того следствие о убивстве жены не было б безгласно». Александра Петровича передали под расписку родным братьям Федору и Илье с запретом отлучаться из Москвы. Но дело так и не было окончено; опасения Ромодановского оправдались — виновник через две недели умер⁹⁴.

В 1762 году солдатский сын Никита Алексеев «на себя показывал, что будто бы он, будучи пьяным, в уме своем поносил блаженные и вечной славы достойные памяти государыню императрицу Елизавету Петровну, а каковыми словами — не упомнит». Из Тайной канцелярии Алексеева, наказав кнутом, сослали на каторгу.

В 1753 году матрос корабля «Иоанн Златоуст» Федор Попов повинился в совершенном шестнадцатью годами ранее преступлении: «Застал он, Попов, брата своего Никифора на той жене своей, которой с оною женою его чинил блуд и, зарезав того брата своего, он, Попов из одного города Тамбова бежал <...>. И того ради вздумал он, Попов, ныне, чтоб ему об той вине принести повинную». Матрос решил кричать «слово и дело», чтобы «та вина его была явна и в том ему без покаяния не умереть». Как видим, его пре-

ступление не попадало под разряд государственных. Так же рассудил и А. И. Шувалов, вынеся приговор. «Ему, Попову, для одного слова и дела по первому пункту сказывать за собою не подлежало, ибо то его показание к слову и делу, а особливо к первому пункту нимало не касаетца; а надлежало было ему, Попову, о том объявить просто в Адмиралтейскую коллегия; того ради за ложное им, Поповым, за собою слово и дело по первому пункту сказанье <...> учинить наказанье — гонять спицрутены по рассмотрению Адмиралтейской коллегии»⁹⁵.

Крамольные мысли о возможности силой захватить власть в послепетровскую эпоху посещали уже не только офицеров, но и лиц «подлого звания», вступая в неразрешимый конфликт с традиционными представлениями о власти. Майской ночью 1756 года 30-летний армейский солдат Василий Трескин на казарменных нарах гарнизона крепости Святой Анны «рассуждал сам с собой один: что де вить невеликое дело государыню уязвить; и ежели он, Трескин, когда будет в Москве или в Санкт Питербурхе и улучит время где видеть милостивую государыню, то б ее, государыню, заколоть шпагою. И думаячи де оное, в то ж самое время пришел он от того в страх и, желая по самое чистой своей совести пред Богом и пред ея императорским величеством принести в том добровольную повинную и желая себе для точного о том показания отсылки в Тайную контору о вышеозначенном, что знает он за собою слово и дело государево по первому пункту». Испуганный служивый сам на себя донес по всей форме, был доставлен в Москву и должным образом пытан для установления, с чего подобное намерение «в мысль ево пришло»; но добавить по существу он ничего не смог. Начальство не успело отправить Трескина в Петербург — в «казарме» Тайной конторы солдат перерезал себе горло⁹⁶.

Служитель Рекрутской канцелярии Иван Павлов в 1737 году не только явился в Москве в Тайную контору, но и принес свои писания, в которых называл Петра I «хульником» и «богопротивником» за его нововведения — «немецкое» платье, упразднение пат-

риархии, новое летосчисление, «мушкарать». На допросе чиновник-раскольник пожелал «за старую веру пострадать», а на увещевания отвечал, что «весьма стоит в той своей противности, в том и умереть желает». После безрезультатного розыска спустя два года по решению Кабинета министров желание старовера было исполнено: в феврале 1739 года «казнь учинена в застенке, и мертвое его тело в той же ночи в пристойном месте брошено в реку. А кто при оном исполнении был, тем о немении о том разговоров сказано императорского величества указ с подпискою»⁹⁷.

Обращение в ведомство Ушакова и Шешковского было делом опасным для доносителей, не стремившихся к мученической кончине. Они рисковали своей шкурой в прямом смысле слова: в случае упорного «запирательства» обвиняемого и невнятных показаний свидетелей сами могли угодить на дыбу. Даже если доносчик не подвергался допросу с пристрастием, он иногда проводил в тюрьме до окончания следствия несколько месяцев и даже лет.

Тем не менее в XVIII веке донос стал явлением массовым, а поводы для него в ту пору могли быть самые невероятные. Так, в 1726 году иеромонах сибирского Далматова монастыря Евсевий Леванов подал извет на своего собрата Феодосия Качанова, что тот... является внуком убийцы царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году по не выясненным до сих пор причинам в Угличе, то есть происходит из «изменничья рода» и, следовательно, повинен в том, что его предок совершил государственное преступление 135 лет назад! Интересно, что Качанов обвинению не удивился; оказалось, его предъявляли не в первый раз. Поэтому он не долго искал защитные аргументы — объяснил, демонстрируя хорошие исторические познания, что его отец действительно был сослан в Сибирь, но совсем по другому делу; а к роду считавшегося убийцей царевича Никиты Качалова (а не Качанова) их семья отношения не имеет, поскольку тот никогда не был женат⁹⁸.

Дела Тайной канцелярии сохранили имена всего Нескольких человек, принципиально не желавших

доносить. Одним из них был граф Платон Иванович Мусин-Пушкин — представитель древнего рода, высокопоставленный чиновник (президент Коммерц-коллегии) и «конфидент» Артемия Волынского. Привлеченный по делу последнего, граф вначале заявил, что ничего «не упомянет», но в процессе следствия признал, что кабинет-министр позволял себе критические высказывания: «его высококняжеская светлость владеющей герцог Курляндской в сем государстве правит, и чрез правление де его светлости в государстве нашем худо происходит», «великие денежные расходы стали и роскоши в платье, и в государстве бедность стала, а государыня во всем ему волю дала, а сама ничего не смотрит». Однако на прямой вопрос следователей: почему же не донес? — граф Платон заявил, что не хотел «быть доводчиком», и даже продолжал заезжать к уже опальному и находившемуся под домашним арестом Волынскому «для посещения в болезни». Держался граф стойко и, только узнав о признаниях самого Волынского (Мусин-Пушкин их не ожидал и не мог скрыть удивления), подтвердил свое участие в беседах, затрагивавших честь императорской фамилии: о попытке Бирона женить своего сына на племяннице императрицы Анне Леопольдовне". Этот эпизод стал одним из главных аргументов обвинения. В остальном протоколы допросов Мусина-Пушкина выглядят едва ли не самыми «скучными» по сравнению с «делами» его товарищей по несчастью. Они-то как раз участвовали в разработке проекта Волынского и осмеливались критиковать Бирона; граф Платон неизменно заверял следователей, что собственных «рассуждений» у него не было, а с Волынским не спорил «из угождения» ему, но «такой злости в себе самом не имел».

Граф Мусин-Пушкин своим заявлением о нежелании доносить отстаивал нарождавшуюся корпоративную дворянскую честь. Другие же недоносители могли руководствоваться простым человеческим сочувствием. В 1737 году камерир Монетной канцелярии Филипп Беликов обвинил коллег в разных непристойных речах в адрес государыни, но, как оказалось,

и сам таковые произносил. На вопрос, почему же сослуживцы на Беликова не донесли, канцелярский секретарь Яков Алексеев ответил: «Не доносил того ради: как я его, Беликова, от себя проводил, то впал в великое размышление и думал, чтоб донести, но потом потом уже знатно за грехи мои к наказанию, паки мне о том и думать запретило. И пришед в то рассуждение, что он сказал объявленную речь тихо, может быть не об ином ли он о чем думал тогда. К тому, рассуждая присловицу, которая в народе употребляется — "сабака де и на владыку лает", и так оставил на волю Божию»¹⁰⁰. То есть секретарь даже думал о доносе на приятеля; но потом внутренний голос «запретил» ему и помог найти оправдание: и говорил человек «тихо», и думал не о том, да и греха-то особого нет. Так чиновник и уговорил себя не доносить.

В государстве, где подавляющая часть подданных не владела пером, доносы писали редко; обычной практикой было их сказывание в ближайшем казенном учреждении. Кроме неграмотности, была и еще одна причина, по которой доносчики предпочитали делать публичные заявления о государственном преступлении: властям утаить их было гораздо труднее, чем письменный донос. Местные небезгрешные администраторы сознавали угрозу, исходившую от челобитных, и умели блокировать действия доносителей, веривших в силу «бумаги».

Показательной в этом смысле является история богатого купца, не последнего человека в уездном Цивильске Филиппа Толмачева. На форменный донос по некоему «цивильских купцов делу» казанский губернатор Греков ответил его автору «розыском», по которому тот был арестован и наказан кнутом. Жалобщик констатировал, что даже после освобождения «состоит в подозрении и в купечество вступить не может», а все потому, что губернатор об этом деле в Петербург «доносил утаенно». Наученный горьким опытом, Толмачев следующий донос, содержащий в том числе и обвинения в адрес самого губернатора по всем трем «пунктам», отправил в Петербург. Не доверяя почте, он воспользовался посредничеством ка-

занского купца Петра Логинова, из чьих рук «прошение» было передано его знакомому — обер-прокурору Синода Львову, а уже Львов отдал его генерал-прокурору Сената. В августе 1755 года дело слушалось в Сенате; Толмачев добился своего — его решено было взять под стражу и доставить в Тайную канцелярию¹⁰¹.

Тех, кто наотрез отказывался сообщать что-либо местному начальству, доставляли в Москву и Петербург со всех концов страны. В Тайной канцелярии они рассказывали о своих подозрениях — в основном об оскорблениях царского имени, как правило, необоснованных или недоказуемых (около половины заявлений такого рода признавались ложными). К тому же доказать факт преступления при упорном заперательстве подозреваемых и отсутствии свидетелей было невозможно.

Пожалуй, чаще других доносили всевозможные «сидельцы» и колодники: в XVIII веке в России почти всякое государственное учреждение любого уровня имело собственную тюрьму, где люди в ожидания суда томились месяцами и годами. Стремление вырваться из неволи провоцировало истинные и ложные доносы на товарищей по несчастью, имевших неосторожность рассказать занятную байку или сболтнуть лишнее; внимательные слушатели всегда могли найти противогосударственный умысел. Едва ли имел преступные намерения молодой крестьянский парень Ваня Алексеев, сидевший в 1729 году на «тюремном дворе» в Переславле-Залесском, когда пожаловался на судьбу: «Государь де нынешний глуп; молодых де нас робят ис тюрьмы не вынимает и в салдаты не берет»¹⁰²; пожизненная солдатская служба казалась молодцу много лучше его арестантского положения. После доноса соседа-колодника парню пришлось отвечать и за невольное оскорбление величества.

Но случалось, что перемена придворной «конъюнктуры» делала вчерашнего государственного преступника невинно претерпевшим страдальцем и позволяла ему, в свою очередь, попросить о награде и очернить доносителя. В короткое царствование Ивана Антоновича солдат 4-й роты Преображенского

лолка Василий Бурый по доносу сослуживца угодил в Тайную канцелярию за высказанное сожаление по доводу того, что Елизавету несправедливо «отрешили от российского престола». Его не успели сослать, как произошел новый дворцовый переворот. Освобожденный из застенка солдат подал императрице челобитную с описанием своего подвига и страданий: «И во время того нашего дозорного хождения усмотрено как мною, так и прочими, бывшими тогда в обходе дозорными, на небе явление. И, усмотря то явление, я, нижайший, оному фурьеру Всеволодскому сказал тако: "Каково является на небеси, тако творится и на земли". И напротив того, мне помянутой Всеволодской объявил, что де ныне уже швед на Россию воинство подымает. На которые его, Всеволодского, мне объявленные слова я, вопреки ему, объявляя, что может быть оной швед восстает войной за едину правду того для, что ваше императорское величество тогда были отставлены от вседражайшего по наследству вашему всероссийской империи престола самодержавству, что ныне во всенародную радость превратилось. На что оной Всеволодской мне злобою объявил: "Врешь де ты, дурак"». После таких размышлений о пользе вражеского вторжения Бурый был схвачен по доносу напарника по караулу. Но с воцарением Елизаветы он намеревался взять реванш и просил «за праведное слово, чему ныне вся Российская империя радуется, всемилостивейше вашей императорского величества матернею милостию меня, нижайшего, награждением не оставить»¹⁰³. Надежды Василия оправдались: его преданность была вознаграждена, «матерняя милость» последовала — солдатик был произведен в чин фурьера.

*«По ево доносу явилась истина»
(трудное счастье доносчика)*

Если донос был передан вовремя, то есть его автору не пришлось оправдывать свою медлительность «простотой» или «забвением», преступник схвачен и

хотя «запирался», но был уличен, доносчик мог получить обещанное государем милостивое «награждение». Правда, он сам посидел под арестом, рискуя в любое время быть вздернутым на дыбу; но теперь все страхи были позади. Согласно протоколам Тайной канцелярии, премии за «правые» доносы, как правило, составляли от 5 до 30 рублей¹⁰⁴.

Награды за информацию на знатных «изменников» порой бывали очень щедрыми. Тобольский канцелярист Осип Тишин отличился в важном государственном деле — донес в марте 1738 года, что ссыльный фаворит Петра II князь Иван Долгоруков (подьячий его поил и провоцировал на откровения) презрительно отзывался об Анне Иоанновне: «Какая она государыня, она шведка!» — порицал ее отношение к Бирону и к своему роду, который она «разорила». В ходе розыска Иван Долгоруков сознался не только в инкриминируемых ему «непристойных словах», но и в сочинении подложного завещания Петра II. Эти показания в итоге привели его и нескольких других членов семейства на плаху, а Тишин получил 600 рублей.

Награда показалась Ушакову даже слишком щедрой — он особо докладывал императрице, что деньги лучше выдавать не сразу, а «погодно», ибо подьячий «к пьянству и мотовству склонен»: «ежели сразу все пропьет, то милость не так чювственно помнить будет». И ведь прав оказался Андрей Иванович: пьяный доносчик явился в Сенат, стал там куражиться и грозил всех разоблачить. В застенке, естественно, скандалист вспомнить ничего не смог, но в уважение прежних заслуг от наказания был освобожден и назначен секретарем в Сибирский приказ¹⁰⁵. Правда, занимал он этот пост недолго — после воцарения Елизаветы был отставлен от должности за «непорядочные и противные указам поступки» и пьянство.

Повезло холопам опальной княгини Аграфены Волконской — сестры будущего канцлера, а в 1727 году молодого дипломата Алексея Бестужева-Рюмина. Беспоконная дама и кружок ее друзей (куда входили «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал и член

Военной коллегии Егор Пашков) находились на подозрении у всесильного в ту пору Меншикова, и Волконскую сослали в деревню. Опальная княгиня не угомонилась: из ссылки через знакомых выясняла, кто сейчас находится при дворе в «кредите» и с кем следует «искать дружбы»; радовалась «падению» Меншикова и рассчитывала, что в новое царствование фортуна повернется лицом ко «всем верным его императорскому величеству». Но первая же попытка Волконской и ее друзей собраться для обсуждения придворных дел в подмосковном Тушине оказалась последней. Брат княгининой горничной донес о переписке и собрании «оппозиционеров». Итогом следствия, обвинившего молодых честолюбцев в том, что «они все делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить беспокойство», стала ссылка княгини Волконской в монастырь, а ее единомышленников — на службу в провинциальные города и в Иран¹⁰⁶. Власти не забыли и про доносчиков. Трое дворовых были в мае 1728 года представлены министрам Верховного тайного совета, получили по 20 рублей и освобождены от крепостной зависимости с пользой для государства — отправлены на военную службу: двое — рядовыми, а главный доносчик Иван Зайцев был пожалован в капралы¹⁰⁷.

Однако, как известно, не в деньгах счастье; да и казенные средства старались экономить, поэтому часто награждали по-другому. Крепостных доносчиков отпускали на волю — не только в качестве поощрения, но и для предотвращения расправы над ними ответчика-помещика, его родственников и слуг. Так, в 1755 году в докладе императрице о крепостных, «доведших» на помещицу Зотову, Тайная канцелярия предложила, «дабы им от наследников оной вдовы Зотовой не было впредь какого мщения <...>, отпустить с женами, с детьми на волю, дав пашпорты, где жить пожелают». В тех случаях, когда изветчик боялся мести родственников оговоренного им человека, ему выдавали охранную грамоту¹⁰⁸.

Солдат Кексгольмского полка Прохор Якунин в 1734 году объявил «слово и дело» на собрата-рядового Ивана Лоцило — якобы тот, пока доносчик молится «о здравии ее императорского величества», «по-соромски» брякнул: «Она де гребетца (так в документах нецензурные слова заменяли созвучными. — *И. К, Е. Н.*) <...> и водитца з боярами за руки». Лоцило было «заперся», но после трех «подъемов» на дыбе сознался, что источником непристойной информации являлся дворовый человек майора Егора Милюкова, который к тому же говорил, что его хозяин был в ссоре с Ушаковым и терпел нападения «генерала Бирона» — брата фаворита императрицы. Слуга Федор Фокин сослался на других «людей»; те, в конце концов, выдали самого майора. Тот якобы желал попасть в милость к императрице, но попытка оказалась неудачной: «Вечер я был пьян и вошел было я к государыне в спальню, и государыня была тогда раздевшись в одной сорочке и увидя де государыня сожелела ево, что он пьян, и приказала ево из спальни вывести». Кажется, майор искренне горевал только о том, что сильно перебрал, прежде чем ввалился в царскую спальню, — а то бы, глядишь, государыня выставить его не приказала.

Так обычная раскрутка дела вывела следователей на высокопоставленного преступника. Наверное, поэтому доносчику повезло: он был награжден 20 рублями и производством из рядовых сразу в сержанты, а после получения отставки до конца жизни помещен в монастырь «на пропитание»¹⁰⁹. Следствие же по доносу рядового Владимирского полка Льва Дулова о произнесении его сослуживцем Зотом Щербаковым в 1723 году очередных «непристойных слов» дальше не пошло; Щербаков отправился на каторгу, а Дулов получил только 10 рублей и был произведен в капралы¹¹⁰.

Кронштадтским канцеляристам Ярцеву и Ундровскому те же 10 рублей достались в 1728 году с большими переживаниями. Они информировали власти о «непристойных словах» капитан-поручика флота Ивана Казанцева; но офицер оказался креп-

КИМ ОРЕШКОМ — поначалу все отрицал, повинился только со второй пытки и отправился в Сибирь. Всё это время чувствительные канцеляристы провели в заточении под угрозой пытки в случае, если бы объект доноса не дал признательных показаний. После пережитого стресса награда уже не радовала — в чедобитной доносчики сетовали, что «по отрицательству помянутого Казанцова содержались в великом страхе и, хотя свободны и учинились, однако ж в прежнее состояние и память придти не могут», и потому просили увеличить награду в компенсацию за перенесенные моральные страдания¹¹¹.

Крестьянину Матвею Бочарову из вотчины Троице-Сергиева монастыря и того не досталось. Когда в ноябре 1722 года Бочаров оказался несостоятельным должником по иску англичан Раша и Салмана и сидел в «колодничьей избе» при Синодальной канцелярии с перспективой отправиться на галеры, он объявил «его императорского величества дело» о «непристойных словах» сидевшего с ним вместе колодника — попа Ильи Тарутина. Содержания его обвинений мы не знаем — известно лишь, что по следствию в Тайной канцелярии донос был признан «правым». Но получить награду крестьянину не удалось — его передали обратно в Синод с ехидной резолюцией: доносителя надлежало «учинить свободна, ибо по ево доносу явилась истина, и та свобода вменяется ему вместо награждения». Тут за него вступилось духовное ведомство, направив в Тайную канцелярию бумагу с просьбой о награде; синодальных чиновников волновала не судьба мужика, а возможность этими деньгами расплатиться с иностранными заимодавцами. Но не тут-то было — Толстой и Ушаков платить категорически отказались; незадачливый доносчик остался под стражей без всякой надежды на расплату за взятые в долг товары¹¹².

«Сего октября 16 числа 1740 году капитан Петр Михайлов сын Калачов, который мне по родству Двоюродный дядя, помянутого числа посылал ко мне человека своего, Егора Акинфиева, звать меня к себе обедать» — так начинался пространный донос, в ко-

тором рядовой преображенец Василий Кудавев подробнейшим образом описал, как его родственник желал попасть к цесаревне Елизавете и убедить ее «принять» российский престол: «Вся наша Россия разорилась, что со стороны владеют!» Распалившийся ветеран помянул еще одного — голштинского — потомка Петра I и вошел в такой раж, что Кудавев даже не решился воспроизвести его речи в доносе. «Калачов многие богомерзкие слова говорил; уже я, нижайший, не помню — во мне все уды (члены. — *И. К. Е. Н.*) тряслись». Не надеясь на собственную память, доносчик в конце подстраховался: «И больше не упомяну, что писать, а ежели и припамятую, то по присяжной должности готов и говорить и умереть в том». За верноподданническое рвение солдат был произведен в капралы и получил «на бедность» 50 рублей; его дядя отправился на Камчатку, а по возвращении вновь угодил в Тайную канцелярию¹¹³.

В 1793 году очень повезло доносчику Осипу Малевинскому. Грамотный крепостной являлся членом основанного просветителем Федором Кречетовым «Общества благодествования», но не оценил идей его основателя и подал донос с их подробным перечислением: «Он, негодуя на необузданность власти, восстав на злоупотребления, возвращает права народу, довольно уже слышно народного ропота на неправосудие, и не возжечь бы попустительством еще большего пламени». Кречетов произносил «непристойные слова» в адрес властей, начиная с самой императрицы Екатерины II: «Она де павшая на роскошь и в распутную жизнь, а не знающая в правлении престолом, и управляют им наемники, потому недостойная престола и удобно будет и лишить ее оногo, как убийцу». Помимо оскорбления «высочайшей чести императорского величества, також и высочайших наследников <...> и весь Сенат ругал, яко воры и разбойники, и сама же потакает им и делает заодно. И так все то чинил он, Федор Кречетов, великую противность к святым церквам, яко идолослужение производил и называл всех правоверных идолопоклонниками. И пророчествует к величайшему бунту

такому, которого еще не бывало». Он намеревался уничтожить княжеские и дворянские титулы, предрекал восстание народа в России, которое могло «разрушить все власти в мгновение ока», обвинял правительство в разврате, а подданных в низкопоклонстве: «Сочинители же ослепляют пышными одами, что настал де золотой век, а мерзкое духовенство в храмах лицемерит и льстит, из пышных слов составляя поучения, а потом, глядя усы и бороды, отходят в свои кельи и там упиваются в роскоши и изобилии своего богатства, взятого от пота и крови ближнего». Малевинский обрел свободу — не в результате осуществления плана преобразований, а благодаря доносу: получил вольную и 200 рублей в придачу. Кречетова же заточили в Шлиссельбург, где он проводил время за чтением церковных книг¹¹⁴.

Однако ретивому доносителю иной раз следовало крепко подумать, прежде чем сообщать о преступных замыслах или высказываниях собеседника. Так, в январе 1769 года «воеводский товарищ» поручик Петр Савелов «некто разгласил», а случившийся при этом «титулярный юнкер» Воейков побежал с доносом на него — но едва ли был обрадован результатом. Очевидно, разглашение было настолько «непристойным», что бумаге его не доверили (и даже само дело сожгли), виновного загнали в Сибирский пограничный батальон (где он умер в 1781 году), а доносчик вместо ожидаемой награды отправился в ссылку в собственную деревню «без выезда»¹¹⁵.

Да и выплаты обещанного вознаграждения еще надо было добиваться. Документы сохранили вопль души доносчика — дьячка Василия Федорова, отправившего в 1724 году на казнь своего приятеля за брань в адрес самого Петра I и его жены: «Ингерманландского полку отставной капрал и волоколамской помещик Василей Кобылин, при домашних своих, по некоторым со мною разговорам, блаженные и вечно достойные памяти его императорское величество бранил матерными скверными словами и называл горбуном и всей вселенной разорителем, от чего Де свои и чужестранные земли плачут: "Таки де он не-

какой сулим и недоброй человек; да и глаза де у него воровские, что ходит потупясь, глядит в землю". Он же, Кобылин, по воспрещению моему в том его злодействе, говорил: "Разве де тебе в том диво, что я его браню? У нас де и в полку солдаты в глаза его бранят и называют так же, как и я". О предстоявшей коронации царской супруги «оной злодей Кобылин говорил неудоб сказаемым словом скверно и непристойно: "Не подобает де монаху, так и ей на царстве быть; что де она не природная и не руская, и ведаем мы, как она в полон взята, и приведена под знамя в одной рубахе, и отдана была под караул, и караульной де, наш офицер надел на нее кафтан; да она ж де с князем Меншиковым его императорское величество кореньем обвели"».

В Преображенском приказе Федоров приятеля «во всем изобличил ясным доказательством, в чем он с розысков и винился и казнен смертью»; сам же доносчик получил «до настоящего награждения корову с телицею, да на прокорм их сена; да гусей и кур индейских по гнезду, и то чрез многое прошение на силу получил в три года». Но выпустили его из-под следствия втихую — «охранительного и о непорицании меня указов из той канцелярии не дано, от чего я чрез три года как от жены того злодея претерпевал всякие несносные беды и разорении и бит смертно, от чего и до днесь порядошного себе житья с женою и детьми нигде не имею, и бродя, без призрения, помираем голодную смертью, яко подозрительные, в чем на тех обитчиков в той же канцелярии я и бил челом, а суда не дано».

Упорный доноситель добился в 1727 году подтверждения Екатериной I пожалования ему отписной деревни Кобылина. Но дело опять застопорилось: указ императрицы был передан в Сенат «по письму князя Меншикова», а после ссылки светлейшего князя сенаторы не исполняли его распоряжений и требовали нового указа — теперь от имени императора Петра П. Сам же Федоров усмотрел в этой истории происки «штатского советника Анисима Маслова, как от помянутой Кобылиной отписной де-

ревни меня оттеснить» и отдать ее своим родственникам — родному брату, капитану Михаилу Маслову и двоюродному — Максиму Прокофьеву. А ему — законному претенденту — якобы заявил: "Тебе ль уж, дьячку, деревнями владеть?"».

Имение уплывало из рук, и дьячок бросил вызов самому секретарю Преображенского приказа, ухитрившись раздобыть документы, которые из приказа не выдавались даже по требованию куда более чиновных особ: «И я, низжайший, уведомился, что помянутая Кобылина отписная на ваше императорское величество деревня, по указу, за рукою Преображенской канцелярии секретаря Казаринова, да за справокою канцеляриста Тихона Гуляева, а главных ни единой у того указу руки не имеется, отдана помянутого злодея жене, яко б по определению Преображенской канцелярии против челобитья ее с малолетным сыном». Выходит, Федорову (вряд ли он осмелился бы нагло врать в челобитной, имея таких противников) удалось раскрыть механизм перераспределения конфискованной собственности без ведома главных судей: «... она Кобылина жена, как получа от него, Казаринова, вышеозначенной за рукою его указ, не владев ничего, ту отписную деревню укрепила продажею помянутым, капитану Маслову людей, а деревню со всеми угодьями Прокофьеву, в надежде своей ко всякому охранению на помянутого брата их, советника Маслова. Да и била челом она Кобылина жена, назвав себя вдовою и будто с малолетным сыном, по всему видно, что свыше означенным секретарем Казариновым по согласию ложно, потому что которой у ней был сын, и тот умре, и она вышед замуж еще до оногo своего ложного челобития».

Вдова оговоренного капрала отчаянно защищала свою собственность. Дьячок не мог скрыть своих чувств: «Она вышеозначенные злодейские слова от него, мужа своего, слышала и не воспрещала, а наипаче смеялась, в чем, видя вину свою, с ним, мужем своим, бегала и укрывалась, вместе, за что, по вышеозначенной уложенной статье, подлежала смерти ж». Отчаянная женщина сумела отомстить за мужа —

правда, не Федорову, а подтвердившим его донос свидетелям: «Приехав в ту отписную деревню, захватя той деревни двороваго человека, Макара Антипина, да жену его, Ирину, которые были в Преображенской же канцелярии по означенному делу, на мужа ее в вышеозначенных непристойных его словах во свидетельство, била их и мучила на смерть, от которых побой оная женка, Ирина, и умре в скорых числах».

Сам доносчик во время тяжбы потерял место службы в церкви села Лихачева. Он добился-таки в 1728 году сенатского указа «о непорицании меня за помянутого злодея Кобылина»; но когда явился в село «для продажи своей рогатой скотинишки», был сильно избит попом и новым дьячком из крестьян. «Ныне таскаюсь, тому ныне пятой год в доходе, а призрения и милости, кроме особливого вашего императорского величества милосердия, ни от кого получить не могу, только что разорился в конец и одолжал и от злодеев изувечен», — закончил дьячок Василий свою челобитную, в которой — пусть даже с некоторым преувеличением — перечислены подстерегавшие доносчиков многочисленные препоны на их трудном пути к заслуженной награде. Он был искренне обижен, ведь другим «не токмо за такие важные, но и за интересные дела, всякого чина людям давано награждение не малое со всяким удовольствием и с повышением чинов, а другие произведены в купечество безданно и безпошлинно»¹¹⁶.

*Образцы «памятозлобствия»
или «бездельные доношения»*

Насколько возросло количество доносов в процессе петровских преобразований, мы сейчас сказать не можем; но по-прежнему головной болью администрации оставались дела, заведенные по объявлению «государева слова» людьми, находившимися под следствием, или уже осужденными преступниками.

В 1724 году царь приказал «в службу не ставить» доносы тех, кто сам уже «обличен в преступлении»,

поскольку данная информация появлялась «не от доброжелательства, но избывая вины». Но все же такие доносы следовало рассматривать, и по розыску виновным и самому доносчику надлежало воздать, «челу будут достойны». Однако другой указ того же года предписывал: если доносители сами окажутся в чем виновны, то наказания над ними не исполнять «прежде решения тех дел, о чем доносят», и уже тогда «по оном решении чинить, чего достойны»¹¹⁷. Таким образом царь стимулировал доносительство даже криминальных лиц.

Утверждаемый Петром культ доноса, связывавший безвестного и «худого» подданного лично с монархом, способствовал появлению массы ложных доносов и целого слоя профессиональных доносчиков — выходцев из выросшей в годы реформ маргинальной среды. Наиболее безобидными из них были опустившиеся пьяницы, один из которых нагнал страха на молодого дворянина Андрея Болотова: «Однажды, будучи пьяный, <...> требовал более вина, а как ему не стали давать, то сделался он власно как бешеный, поднял великий вопль, кричал на нас слово и дело, грозил свозить нас в тайную и прочий такой вздор. По младоумию своему перестращался я тогда ужасным образом; но после узнал, что сей порок был в нем обыкновенный, и что за самое сие никто не имел охоты держать его у себя в доме».

Более опасными были отчаянные головы, готовые «поклепать» на действительных или мнимых преступников ценой «очищения кровью» — утверждения своей правоты после нескольких допросов под пыткой. Для осужденных на казнь это был способ продлить свои дни и попытаться счастья в побеге при перевозке в столицу — ведь петровский указ от 22 января 1724 года требовал не наказывать преступника в случае объявления им «слова и дела» прежде проведения расследования¹¹⁸.

Именной указ от 26 августа 1726 года предписывал при получении от колодников изветов по «первым двум пунктам» не только спрашивать у них на месте, соответствует ли донос «силе» этих пунктов,

но и добиваться подтверждения под пыткой. Однако и это не помогало. «Показывают по злобе, хотя ково разорить, не бояся пытки и публичного наказания, понеже оно им заобычайно, и ведают, что за оное казни по уложению не бывает», — жаловался в 1727 году сибирский губернатор М. В. Долгоруков на таких заявителей «слова и дела». Он предлагал не верить им и в Москву к следствию не отправлять, поскольку от того только «императорской персоне поношение и казне в прогонах немалую трату и людей разорение»¹¹⁹.

Дела Тайной канцелярии представляют целую галерею подобных типов. Беглый солдат Дмитрий Салтанов в 1718 году явился в Преображенский приказ с доносом об умысле «на здоровье» царя, что стоило жизни трем оговоренным людям, а самому доносителю принесло награду в 600 рублей, из которых он, правда, получил лишь малую часть — всего 50 рублей. В 1722 году неугомонный Салтанов заявил, что подъячий Семен Выморков знает некоего человека Шелковникова, «которой в Сибири умышлял на здоровье его императорского величества, якобы быв в Москве, хотел зарезать его императорское величество ножом на Каменном мосту». Следствие охватило десятки людей, но мнимого покушавшегося так и не обнаружили, а Салтанов за ложный донос получил наказание кнутом и пять лет каторги. Однако уже на следующий год в Петербурге один осужденный каторжник-палач донес на некоего матроса, обвинив того в «непристойных словах» в адрес императора. Расследование выявило, что инициатором этого доноса явился все тот же Салтанов, мостивший с другими каторжниками улицы Северной столицы. Только это обстоятельство, по-видимому, и спасло гуляку-матроса, отговорившегося обычным в подобной ситуации «безмерным шумством», — он был признан невиновным. Неудачливый доносчик на этот раз не только был бит кнутом, но и отправился с вырванными ноздрями в Сибирь «в работу», где его следы потерялись¹²⁰.

Каторжник Андрей Полибин, бывший драгун Великолуцкого полка, в 1719 году объявил «государеву

слово и дело» — утверждал, что у него есть письма с обвинением некоего суздальского подьячего, намеревавшегося известить государя. Бумаг не нашли — Полибин признался, что их разорвал, а после очных ставок с предполагаемыми свидетелями и привода в застенок повинился в ложном доносе, который сделал, «желая себе избавление от каторжной работы». Однако не успели каторжника отправить в крепость, как он опять объявил «слово и дело». В расспросе Полибин показал: московский вице-губернатор В. С. Ершов и сам судья Тайной канцелярии А. И. Ушаков в конце декабря 1717 года собирались убить царя «на потехе» на Царицыном лугу в Москве, не признавали наследником царевича Петра Петровича (маленького сына Петра от Екатерины) и желали выбрать иного царя «из русских знатную персону»; обо всех этих планах якобы шла речь в письмах, переданных Полибину вице-губернаторским секретарем, которые Полибин отдал фискалу Никифору Рюмину для предоставления обер-фискалу А. Я. Нестерову, а затем и царю. Следствие быстро установило, что Полибин, находясь под следствием в Москве, уже в марте 1718 года подал через Рюмина извет на двух начальников розыскных канцелярий — поручика Преображенского полка князя М. Я. Лобанова-Ростовского и И. С. Чебышева, будто бы замышлявших убить государя — опять же на Царицыном лугу (чем он так полюбился доносчику?). В расспросах Полибин показал, что узнал об этом из подслушанного разговора и письма одного умершего колодника. Другое послание — заключенного Преображенского приказа Надеина - якобы свидетельствовало о связи рязанского архиерея с Мазепой и компрометировало отца и сына Ромодановских: они держали в своей вотчине людей атамана Игната Некрасова, напрасно «запытали» многих доносителей и уничтожили «великие дела». Затем Полибин донес на своего дядю, стольника А. Ф. Лопухина, который якобы получил из Швеции сосуды с зельем, с помощью которого намеревался известить царя и снова сделать свою сестру Евдокию (первую жену Петра I) царицей.

Бывший драгун утверждал, что все они — Чебышев с Лобановым-Ростовским, Ромодановские и Лопухин — вели переписку, в которой излагались планы убить государя и выбрать царем князя И. Ф. Ромодановского.

Начался масштабный розыск с вызовом свидетелей; но после очных ставок в застенке и дыбы доноситель признался, что оговорил всех названных им лиц и никаких писем у него никогда не было. В январе 1719 года бывший драгун хотел покончить с собой. После неудачной попытки самоубийства он нашел новые объекты обличений — гвардейских поручиков. В конце концов терпение дознавателей иссякло — в июне 1719 года «за ложные воровские изветы» Полибин был приговорен к каторжным работам и отослан в Канцелярию полицеймейстерских дел с «памятью»: если и на каторге он станет говорить «слово и дело», казнить его, не сообщая в Преображенский приказ. Но Полибин тут же повторил версию о попытке убийства Петра I — на сей раз вариация оговора была с другими персонажами. После новых очных ставок и пытки Андрей Полибин опять признался в ложном доносе, был приговорен к смертной казни и четвертован 3 июня 1720 года за кронверком Санкт-Петербургской крепости¹²¹.

Едва успело закончиться это дело, как сидевший в Юстиц-коллегии другой колодник — священник церкви Николая Чудотворца Мальшева погоста Костромского уезда Василий Белоус — донес: «Слышал от присланного подьячего из Тайной канцелярии от Гарасима Екимова сына Карачевского, что де Андрей Ушаков хотел отравить царского величества, и за то де драгуну, что хотел доносить, отрубили голову, а письма ево, Ушакова, остались у камисара Кожина». В Тайной канцелярии выяснили, что священник уже пять лет находился под стражей в различных ведомствах за разные доносы. Будучи наказанным за ложный извет, Белоус в феврале 1718 года у Зимнего дворца подал караульному офицеру письма для передачи царю и А. Д. Меншикову, составленные еще

дним известным доносчиком — фискалом Саниным, который был сослан за лжедонительство на каторгу. В этих письмах сообщалось о злом умысле

Петра I — сговоре «знатных русских персон» с Мазепой и «похищении» «великого государева интереса» при попустительстве майора Ушакова и обер-фискала Нестерова. Священник знал и о Полибине, который явно представлялся ему героем-мучеником. При расспросе поручик Александр Кожин подтвердил, что Полибин в крепости отдал ему для донесения Петру I записку о намерении Ушакова убить царя, оскорблении царицы и злонамеренности советчиков из Тайной канцелярии, но к монарху Кожина не допустили.

Упомянувшийся выше фискал Ефим Санин в 1720 году из Петербургской крепости подавал — опять через лейтенанта флота Кожина — изветы на судей Тайной канцелярии И. И. Бутурлина и А. И. Ушакова, начальника розыскной канцелярии И. И. Дмитриева-Мамонова и обер-фискала Нестерова. В конце концов за ложные доносы в 1724 году он был приговорен Петром I к колесованию, но из-за очередного явленного им извета получил отсрочку в исполнении приговора. Быть бы Санину казненным, но после смерти царя Верховный тайный совет помиловал его, отправив на пожизненную каторгу¹²².

Другой фискал, житель Старой Руссы с подходящим именем Иуда Погребов, поставил перед собой цель — во что бы то ни стало сжить со света своего «неприятеля», «Невские канцелярии камисара» Василия Литвинова. Свою кампанию он начал в 1723 году с того, что каким-то образом добыл письма своего врага и обвинил его в том, что он знал «измену за некоторыми людьми», но не доносил, а также в прежнем укрывании от службы и дружбе с подозрительным бродягой, называвшимся гвардейским сержантом. Однако доносчик, как говорится, не на того напал. Арестованный Литвинов в Тайной канцелярии сумел оправдаться и указал, что Погребов обвинял его, «памятозлобствуя собственные свои со мною бывшие ссоры, написал на меня во оную кан-

целярию ложные и коварные в великих его императорского величества делех доношения». Комиссар даже перешел в наступление, объявив, что у самого фискала-обличителя оба сына — преступники. Теперь оправдываться пришлось уже Погребову: мод его дети жили не с ним, а при царевиче Алексее и «пропали безвестно». Следствие, проведенное подчиненными Ушакова, подтвердило правоту Литвинова: старший сын Погребова Иван стал в 1718 году дезертиром, а Михаил «за неупотребства» был изгнан с придворной службы... в «школьники». Тщетно пытался престарелый фискал выставить в свое оправдание заслуги младшего сына Прокофия, пошедшего по стопам отца, — Петр I велел следствие прекратить, а Литвинову «искать» на Погребова судебным порядком. Как дальше шло это дело, неизвестно; но известно, что Погребов продемонстрировал хватку — после смерти царя сумел стать вице-комендантом Старой Руссы и вновь подал извет на своего врага — тот якобы нарушал процедуру приведения к присяге, расхищал казну и брал взятки при заготовке подрядной соли на «премные тысячи рублей». И опять верх одержал его противник: в 1728 году после затяжного следствия Иуда из Старой Руссы отправился в Сибирь «на вечное житье»¹²³. Между прочим, эта маленькая история раскрывает важную причину, по которой власти не могли прекратить практику даже самых «бездельных» доношений: если бы не подобные конфликты, они бы не узнали о прегрешениях своих агентов.

Сибирский казак Григорий Левшутин вошел в историю России как бескорыстный энтузиаст доноса по политическим делам. Начал он свою карьеру еще в 1713 году, когда по дороге из Москвы в Тобольск познакомился с двумя раскольниками, которые свели его в одном из керженских скитов с «учителем» Кузьмой Андреевым, проповедовавшим явление антихриста — Петра I и уверявшим, что только сохранившие свои обряды истинные христиане «души спасут». «Старая вера» казака-бродягу не прельстила: он обокрал приютивший его скит — но попался, был бит и

изгнан. Вот тогда Левшутин и донес нижегородскому губернатору А. П. Измайлову: «И я, раб государев, услышав от тех раскольников такое великое страшное дело, с ними пошел в согласие для того, чтобы истинно от них уведать: сколько у него, Кузьмы учителя, их в собрании». Весной 1714 года военные команды схватили многих раскольников и их вожака. Началось следствие, на котором несколько арестантов подтвердили показания доносчика. Левшутин, сидевшего в остроге вместе с оговоренными им раскольниками, отпустили на поруки — но губернатор внезапно заболел, а прочие чиновники стали «волочить» дело после обильных взяток со стороны оставшихся на свободе старообрядцев; доносчика опять посадили и стали подговаривать отказаться от известия — за солидное вознаграждение, но он категорически отказался.

Упрямый Левшутин дождался-таки вмешательства свыше. Вместе с прочими обвиняемыми по делу он оказался в Преображенском приказе, где все фигуранты подверглись пыткам. Началось «состязание»: доносчик выдержал положенные три пытки, и следствие взялось за раскольников. Но на этот раз староверы держались стойко — вынесли страшное истязание (по 30, 40 и 41 удару), но вину свою отрицали. После таких пыток «учитель» Кузьма и большинство его учеников умерли, не сознавшись. Доносчик в такой ситуации мог быть признан виновным, но ему повезло — последний оставшийся в живых, Кузьма Павлов, перед смертью признался следователям: «Как сидели они в Нижнем в тюрьме все вместе, и тогда тот Кузьма Андреев заказывал им, чтоб они про учение его и вышеписанные слова на него не сказывали.<...> А ныне, будучи в болезни, памятуя смертный час, ту свою вину и объявляю»¹²⁴.

Впоследствии Левшутин еще не раз успешно выступал «доносителем», подвергаясь десяткам ударов кнутом и многократным подъемам на дыбу. «Доведя» донос, то есть подтвердив его истинность своей кровью и отправив очередную жертву на виселицу, на плаху или в ссылку, Левшутин сразу же информиро-

вал власти о проступке очередного бедняги. Материал для доносов он отыскивал сам, навещая арестованных за уголовные преступления. В 1721 году он даже купил место конвоира партии каторжников и в итоге подвел под суд всю губернскую канцелярию в Нижнем Новгороде. Умер этот любитель розыска в 1727 году, как и полагалось истинному слуге отечества, находясь под очередным следствием по делу о «непристойных словах» крестьянина Федора Ошуркова.

В петровское время многие из названных лиц являлись постоянными персонажами политического сыска — они на протяжении многих лет попадали из Преображенского приказа в Тайную канцелярию и обратно то как изветчики, то как свидетели. С точки зрения права все они, находясь под следствием или уже отбывая наказание, являлись негодными изветчиками. И все же их показания стимулировали новые розыски и поощряли новых доносителей. При этом они руководствовались примером государственных доносителей — фискалов с их свободой в проведывании и обличении при суде и минимумом ответственности за недоказанный извет.

По мнению современного исследователя Е. Е. Рычаловского, приведенные примеры представляют собой феномен «усеченного правосознания». Перечисленных изветчиков трудно назвать невежественными в своем деле людьми: они хорошо знали процедуру розыска по государственным преступлениям — хотя бы от сокамерников по тюрьмам и острогам. Им было известно и то, что чем тяжелее возводимое на кого-либо обвинение, тем строже наказание за ложный донос; все они связывали свои измышления не с обычными уголовными преступлениями, а предпочитали более опасный путь¹²⁵. Это трудно объяснить лишь ожиданием награды — скорее, перед нами сплав неумного честолюбия и страстного желания любыми способами отыграть за свою неудавшуюся жизнь, «достать» богатого и знатного «изменника». При таком настроении мирская «молва» могла служить доказательством для суда, а верноподданнические чувства соседствовали с изо-

щренной ложью, клеветой на важных персон, в том числе людей из ближайшего окружения царя, ссылками на мнимых свидетелей и несуществующие улики.

Пожалуй, Петровская эпоха дала наиболее яркую плеяду доносчиков-мучеников, попавших на плаху. Однако поскольку сохранялись условия для «воспроизводства» этого типа, он не исчез и впоследствии, хотя встречался уже реже. В царствование Елизаветы упорно искал справедливости завистливый и склочный до самозабвения поручик Ростовского полка дфанасий Кучин. Выходец из бедных дворян, он начал службу рядовым и через 15 лет стал подпоручиком. В 1742 году армейцу повезло — он попал ко двору, где находился «у смотрения делания придворных алмазных вещей». Эта ли ответственная служба испортила характер офицера или он и прежде отличался неумеренным самомнением — неведомо, но вскоре его имя стало известно в Тайной канцелярии. В 1743 году он осмелился пожаловаться на «неприкасаемых» лейб-компанцев императрицы — подал челобитную на капрала Степана Шерстова, якобы устроившего дебош у его квартиры и оскорблявшего его племянницу. Затем он обвинил торговца Серебряного ряда Ивана Минина в изготовлении заказанного ему креста «весьма фальшиво» и отобрал изделие, не заплатив денег. Скоро скандалист Кучин не только был уволен от дворцовой службы, но и угодил под арест. От этих происшествий поручик пришел в такое расстройство, что позволил себе бунтовские высказывания в адрес власть предержащих и, по словам сослуживца, грозил, что «и тех, которые во дворце ходят в долгих шубах, переберет <...> и ленты с них сойдут». Разжалованный в солдаты, Кучин не угомонился, а объявил за собой «слово и дело». В Тайной канцелярии бывший поручик потребовал представить его императрице для объявления ей донесения по «первому пункту». С А. И. Шуваловым он отказывался разговаривать несколько месяцев; наконец в марте 1747 года согласился раскрыть тайну — заявил главному следователю Ушакову: ему стало из-

вестно из надежного источника, что «ее императорское величество изволил находиться в прелюбодеянии с его высокографским сиятельством Алексеем Григорьевичем Разумовским; и будто он на естество надевал пузырь и тем де ее императорское величество изволил довольствоваться», — кажется, это первое упоминание появившейся при дворе новинки в области противозачаточных средств.

Можно только гадать, как бы реагировала впечатлительная Елизавета Петровна на признание бывшего офицера при личной встрече с ним, но, возможно, эта новость поразила даже Ушакова, ускорив его кончину (он умер в том же марте). Кучин тогда отказался открыть имя своего информатора и только в марте следующего года назвал аудитора Белозерского полка Степана Нартова, который, на свое счастье, умер во время похода российского корпуса на помощь союзной Австрии. Сам же подследственный в качестве важной персоны держался непринужденно: выражал неудовольствие казенным питанием на 2 копейки в день и требовал немедленно выдать незаконно задержанное жалованье, каковое было ему выплачено в размере 48 рублей 73 копеек. Кучина держали под следствием еще несколько лет, но ничего не добились. Отпустить на свободу столь информированного и невоздержанного на язык подданного было невозможно, и уж тем более немислимо было проверить справедливость его показаний. В конце концов нашли соломоново решение. Показания были официально признаны ложными: «тому ево, Кучина, показанию поверить и за истину принять невозможно, потому что, слыша <.. > от того Нартова оные важные непристойные слова, долговременно на него <...> не доносил, да и доносить о том он, Кучин, стал не от доброжелания, но будучи уже <...> под караулом законной в железах <...> чрез восемь месяцев <...> и чтоб он впредь в таковых случаях имел поступать, как высочайшие ее императорского величества указы повелевают, учинить ему <...> наказание: бить плетми и <...> послать <...> в пристойный монастырь». В 1755 году вразумленный плетью Кучин был

«до кончины живота» помещен в Иверский монастырь «под крепкий караул в особливом месте»¹²⁶.

В дальнейшем столь отчаянных в своем рвении доносителей мы уже не встретим — вместо лихих голов, готовых ценой жизни «поклепать» важных персон, все больше появлялись трусливые «врали» и осерчавшие с перепоя обыватели. Гришка Порошин — человек без роду и племени, выбившийся в мелкие чиновники, служа копиистом, подделал подпись начальника на документе, а попав под суд, сбежал из Сысского приказа и по совету умных людей пошел добровольно в армию. Будучи грамотным, он мог бы сделать непыльную карьеру в госпитале; вместо этого обвинил офицера «в похищении им интереса», однако, струхнув, еще до рассмотрения дела опять бежал. Под чужим именем Порошин вновь поступил в Глуховский полк, но опять не сдержался — украл серебряное блюдо и три чарки. Желая «избыть» положенного наказания, в декабре 1754 года он заявил «слово и дело» на соседей-сидельцев: будто бы один из них, солдат Петр Брагин, угощая вином после драки некую Алену (веселая жизнь была у колодников провинциального гарнизона!), предложил выпить за здоровье наследника Павла Петровича; на что дама возьми и скажи: «Я де срать на вашего Павла хочу; я де своего Павла имею». Доносчик даже чисто-сердечно назвал свое настоящее имя и покаялся в сокрытии прежних грехов — но очных ставок не выдержал, сознался в облыжном обвинении и был отправлен в оренбургские степи¹²⁷.

Встречались среди доносчиков и совсем опустившиеся субъекты, подобные работному московской шелковой мануфактуры Ивану Иванову; услышав в январе 1762 года, как семилетняя соседская девочка Таня несколько раз повторила: «Помяни, Господи, Павла Петровича», он стал выпрашивать деньги на водку у ее отца. Получив по шее, мелкий вымогатель не поленился донести на ребенка, который по заведенному «обряду» был взят к следствию и допрошен: с чего это поминает живого наследника престола? Обер-секретарь Михаил Хрущов, можно сказать,

проявил человечность — дело раздувать не стал, но — закон есть закон — решил: «Хотя Татьяна по малолетству своему и совершенной глупости показан, ные слова выговаривала, что ей и отпустительно, но дабы впредь она страх имела и таковых и других непристойных слов врать не отваживалась, рассуждается высечь ее лозами, какими обыкновенно малые дети наказываются». Порка не состоялась, так как петербургская Тайная канцелярия смилостивилась и разрешила девочку освободить без истязания¹²⁸.

Вероятно, в это время подданные перестали видеть в доносе эффективный способ воздействия на монарха — или сама власть стала более рационально оценивать изветы. В именных указах Екатерины II доносчики уже не удостоивались чести быть прославленными в качестве патриотов, снискавших личное внимание государыни. Разумеется, из практики сыска донос исчезнуть не мог, но из публично одобряемого не только властью, но и общественным мнением действия постепенно превращался в акт, который верноподданному совершать, конечно, полагается, но о чем в приличном обществе не говорят.

Как раз с этого момента начинаются первые попытки создания некоего подобия постоянной агентуры. Как мы видели, подходящие кандидатуры на эту роль в гвардии уже имелись. Не случайно Екатерина II писала в 1768 году одному из доверенных по части политических дел лиц, подполковнику В. И. Суворову: «Впрочем, по полкам имеете уши и глаза». В декабре 1773 года, когда войско Пугачева одерживало победу за победой, московский главнокомандующий князь М. Н. Волконский отдал распоряжение обер-полицеймейстеру «употребить надежных людей для подслушивания разговоров публики в публичных сборищах, как то: в рядах, банях, кабаках, что уже и исполняется, а между дворянством также всякие разговоры примечаются».

Массовое доносительство обернулось на практике валом «неправых» доносов; историки полагают, что почти половина дел, разбираемых в Тайной канцелярии, связана с расследованием случаев «ложно-

го сказывания». А если прибавить к ним недоказанные изветы, — когда свидетели «порознь сказали» или не подтверждали сути обвинения, — картина будет выглядеть еще более впечатляюще.

Например, в феврале 1769 года на священника лейб-гвардии Семеновского полка Петра Якубовского донес игумен новгородского Хутынского монастыря Лаврентий. Ссылаясь на слова ямщиков столичного тракта, он извещал новгородского губернатора, что Якубовский приводил их к «клятве» и уверял, что в его полку солдаты и офицеры «согласны и желают, чтоб была перемена во владении, и чтоб праведной наследник государь цесаревич Павел Петрович принял бы престол и женился на принцессе Екатерине Антоновне (дочери заточенной правительницы Анны Леопольдовны и сестре убитого в 1764 году императора Ивана Антоновича. — *И. К. Е. Н.*), которая, по их речам, в их власти находится». Подрывная деятельность гвардейского священника рассматривалась на следствии, в ходе которого были допрошены все ямщики с указанных в доносе станций. Но на допросах и очных ставках они с попом держались дружно и ни в чем противозаконном не признались; зато всплыли любопытные подробности: семеновский батюшка вел себя на тракте в гвардейском стиле — беспрерывно пьянствовал и веселился «с разными подлыми бабами самым непристойным образом». В итоге, несмотря на все старания следователей, установить, звучало ли на тракте имя Павла, не удалось. Но игумен-доносчик не пострадал, а темпераментного священника на всякий случай упрятали на десять лет под караул в Киевский Выдубецкий монастырь¹²⁹.

Но тут хотя бы вскрылось нарушение порядка и явно непотребное поведение. В сотнях случаев, зафиксированных в протоколах Тайной канцелярии, и того не было. Рискуя если не головой, то здоровьем, люди объявляли «слово и дело» спяна, «убоясь начальства» или ожидая беды от дурака-родственника. к примеру, в маленьком городке Любиме 92-летний местный купец Семен Жлецов, отправившийся в январе 1762 года в гости вместе с сыном, после неуме-

ренного возлияния, отчего-то рассердившись на своего отпрыска (тоже уже далеко не юного), стал его прилюдно бить и кричать, «что де он царь-государь». Перепутанный сын тут же заявил «слово и дело»; гости с праздника строем отправились в ратушу и «объявили» о происшествии; отец с сыном были доставлены сначала в Костромскую провинциальную канцелярию, а затем в Тайную канцелярию в Петербург. На следствии Жлецов-старший «заперся» во всем; но, видимо, на Шувалова произвел впечатление более чем почтенный возраст обвиняемого — его не только не пытали, но даже освободили без порки, правда, с надлежащим словесным «внушением»¹³⁰.

Еще чаще доносили арестанты — от безнадежности, с голода или пытаясь избежать порой вполне заслуженного наказания. Солдат-дезертир Алексей Данилов к 1729 году трижды бежал из полка, два раза попадался на краже и дважды объявлял «слово и дело». В третий раз он поведал о государственном преступлении прямо под шпицрутенами; на следствии сначала «оболгал Адмиралтейств коллегии флагманов», а потом сознался, что никакой вины ни за кем не знает¹³¹.

На далеком Урале бес попутал кузнеца Ивана Замошникова: он попытался утащить заинтересовавшие его «кузнечные пожитки» у своего товарища, а попавшись, заорал о «первом пункте». Разбитной мастеровой Невьянского завода Степан Олферов по кличке Конокраденюк поступил так же, будучи схвачен с поличным на краже соседской муки. Вечно пьяный копиист Суджанской конторы Аверкий Коростелев выместил злобу на управляющем Суджанским заводом шихтмейстере Василии Томилове. Но в те времена хорошо было быть грамотным: кузнец и Конокраденюк получили в наказание кнут и ссылку в Нерчинск, копиист же, отговорившись на следствии «безмерным пьянством», удостоился только плетей и... направления на новое место работы на соседнем Алапаевском заводе, хотя сослуживцы и считали его «к службе быть негодным» по причине пьянства и распутной жизни¹³².

Бедному причетнику Матвею Феоктистову из калужской деревни Горяиново не повезло: переведен --- из духовного сословия в крепостные гвардейского прапорщика Василия Скарятин, он решил бежать и пытался подговорить к тому других мужиков — но они же на него барину и донесли. Под батогами Матвей объявил «слово и дело», но в Одоевской воеводской канцелярии сознался, что кричал, «избывая наказание и не стерпя побой», и пообещал показать залежи серебряной руды. Замысел удался наполовину — Феоктистова все же выпороли кнутом под барабанный бой на площади, но в качестве важного лица, намеревающегося принести пользу государству, передали в руки властей. Конца у дела не сохранилось — но едва ли предприимчивому причетнику удалось найти серебро в Ливенском уезде¹³³.

Политические обвинения становились оружием в руках облеченных хоть небольшой властью «маленьких людей». Сколько таких дел начиналось в кабаках, где русский человек отводил душу! В феврале 1740 года находящийся «у подушного сбора» отставной солдат Гаврила Кочнев зашел в кабак большого северного села Кеврола «для питья вина». Посидев с приятелем, служивый решил себя показать — потребовал у подвернувшегося под руку крестьянина Евсевия Макарова 5 копеек на продолжение банкета. Мужик просьбу не уважил; тогда подгулявший Кочнев стал его бить «топтунками» и кулаками: «Для чего он, мужик, ему, Кочневу, вина не ставит?» — после чего отправился к бурмистру в канцелярию, заявил на мужика «слово и дело» в оскорблении императрицы (якобы на слова солдата о его службе Анне Иоанновне тот ответил: «Зде я сам Анна Иоанновна»), лично оковал Макарова и доставил в уездный центр — город Мезень. Местное начальство, не желая разбираться в опасном деле, сразу же отправило скованных вместе доносчика и обвиняемого в Петербург. дорогой Макаров пытался усюветить протрезвевшего и, видимо, по жизни незлобивого Кочнева, «чтоб показал, что о том говорил спьяна», — и, кажется, уговорил: по прибытии солдат пытался отказаться от

своих показаний. Но в дело вступила неумолимая в бюрократической системе бумага: Кочневу предъявили «черный список» его допроса в Мезени. Служивый смешался, что не ускользнуло от глаз опытных чиновников. Сначала он решился повторить обвинения; но Макаров держался твердо, и простоватый солдат «повинился» в оговоре, рассказав об истинной причине происшествия в кеврольском кабаке — крестьянин «не дал ему на вино пяти копеек». Раскаявшийся Кочнев заработал плети и службу в Оренбурге, мужика «учинили свободна». Но и в этом пустяковом деле Ушаков усмотрел упущение местных властей: подследственные по дороге в Петербург имели возможность общаться. Кеврольский бурмистр Ошурков и мезенский начальник капитан Обресков схлопотали выговоры: доносчика и оговоренных надлежало заковывать отдельно «в особливые железа»; в данном случае по недосмотру между ними «произошло согласие» — начальникам за это полагался штраф в 3 рубля¹³⁴.

Ложные изветы заявляли не только каторжные «варнаки» и не слишком благонадежные элементы, но даже грамотное духовенство. Синодальный указ от 18 апреля 1722 года констатировал «по обретающимся в Синоде делам такую в монахах дерзость, что многие сказывают за собою его императорского величества слово и дело, а когда по присылке в Синод бывают о том спрашиваны, тогда не точию такой важности, какая во оных слове и деле заключаются, не объявляют, но признаются, что и силы того слова и дела не знают» и даже «не ведают» о наказаниях за объявление «слова и дела», не соответствующее известным «пунктам». В борьбе с этим злом Синод предписал разослать по епархиям «печатные дубликаты» указов о «слове и деле», «дабы незабытной ради памяти оные дубликаты на каждый месяц во всяком монастыре были во услышание всем прочитаны»¹³⁵.

Конечно, за объявление ложного «слова и дела» полагалось наказание, которое временами то ужесточалось, то ослаблялось. По указу от 23 декабря 1713 года лжедоносчику грозила конфискация имущества и

даже каторга. По указу от 10 апреля 1730 года за то же назначалась уже смертная казнь «без всякие пощады». А именным указом от 15 февраля 1733 года был призван усовершенствовать доносителей, которые «будучи за воровства и за прочия свои подозрительства под караулами, сказывают за собою наше императорское слово и дело, по первым двум пунктам, а роспросами показывают вымышленно на невинных злодейственных важных непристойных дела, и по тем их напрасным оговорам невинные претерпевают задержание; а по розыскам оные доносители в вышеозначенных своих важных показаниях вниются, что о том затевали, вымыслив собою, якобы простотою и в пьянстве, а другие из таковых же доносителей показывают, что затевали за злобы и отбывания за вины своих наказаний». Посему милостивая императрица Анна повелела «во всей нашей Российской империи публиковать в народ печатными ж листами, дабы верные наши подданные, всяких чинов люди, имели в том крепкую осторожность и впредь о вышепоказанных великих важных делах <...> доносили б самую истину, не примешивая к тому от себя ничего»¹³⁶.

На смену уговорам приходили угрозы, в свою очередь уступавшие место новым уговорам. На первый взгляд указ от 25 июня 1742 года «Об учинении за ложное сказывание слова и дела боярским и посадским людям жестокого наказания плетьюми и об отдаче помещиковых людей помещикам, а посадских в слободы» подразумевал смягчение наказания по сравнению с прежними законодательными актами. Однако в действительности это было просто более прагматичным решением сложной и деликатной проблемы карания за ложное доносительство. По указу от 10 апреля 1730 года крепостных за ложное «слово и дело» били кнутом и определяли в рекруты с согласия помещика. Но после тяжкого телесного наказания виновный был мало пригоден к службе, поэтому и была внесена милостивая поправка в правление Елизаветы Петровны¹³⁷.

Сенатский указ от 5 декабря 1760 года предписывал солдат и матросов, уже наказанных шпицрутена-

ми за ложное «слово и дело» и повторивших его вновь, передавать в Военную и Адмиралтейскую коллегии, а тем, в свою очередь, ссылать виновных в Сибирь на Нерчинские заводы. В данном случае речь шла не об ограничении полномочий Тайной канцелярии, а о желании властей сократить поток поступавших туда «пустых» дел.

В манифесте от 21 февраля 1762 года в который раз подчеркивалось, что «все в воровстве, смертоубийстве и других смертных преступлениях пойманные, осужденные и в ссылке, также на каторги посланные колодники ни о каких делах доносителями быть не могут». Этот закон впервые устанавливал различные по степени тяжести наказания в зависимости от условий признания подсудимым своей вины, выделяя три категории ложных изветчиков: 1) повинившихся с первого увещания; 2) покаявшихся через два дня после размышлений; 3) презревших все доводы и признавших вину только перед пыткой. Впервые же была зафиксирована зависимость тяжести наказания от социального статуса виновного: по седьмому пункту в случае, если «подлые» люди станут доносить в процессе наказания или перед таковым, следовало удвоить меру воздействия; пункт 9 определял привилегии для подсудимых «благородного» сословия: виновных по первым двум пунктам «слова и дела» дворян (в том числе уличенных в ложных доносах) надлежало оставлять на свободе, не давая хода делу до особого указа из Сената¹³⁸.

Обычно за ложные доносы виновному следовало, «дабы он впредь для таковых дел слова, тако ж и дела ни по которому пункту сказывать не дерзал, учинить жестокое наказанье: вместо кнута бить плетью нещадно». Более мягкой карой был штраф. Если дело считалось не «дальней важности» или признанный виновным находился под следствием в течение длительного срока, то наказание не назначалось. - «Хотя ему, Рубцову, наказание батоги учинить и подлежало, но понеже оной Рубцов в Тайной конторе, по объявленному делу в задержании, также и под следствием имелся многое время, того ради, а паче для многолет-

его ее императорского величества и высочайшей ее императорского величества фамилии здоровья оное ему оставить». По этим же причинам иногда освобождали и от штрафа.

Смягчающими обстоятельствами не служили ни побои, ни обычная отговорка о «безмерном пьянстве». за «сказывание» «государева дела» или «слова» в этих обстоятельствах 14-я статья второй главы Уложения назначала битье кнутом. По указу от 10 апреля 1730 года объявившие «слово и дело» крестьяне, «избывая от кого побои, или пьяным обычаем», наказывались кнутом и возвращались помещику. Если тот не желал принимать крепостного обратно, преступника поролли плетьюми и сдавали в солдаты, а в случае негодности к службе били кнутом, вырывали ноздри и ссылали в Сибирь на каторгу. Военных били шпицрутенами, после чего определяли в службу по-прежнему¹³⁹.

Социальный портрет типичного заявителя «слова и дела» нарисовать сложно. Его «кричали» люди молодые и старые, женщины и мужчины, принадлежавшие к самым разным слоям населения, и их поступки едва ли определялись их имущественным или социальным положением. Не всегда можно понять побудившие их к доносу причины; однако не подлежит сомнению, что чаще всего это было стремление попавшихся на неблаговидном поступке или многочисленных «сидельцев» — виноватых или безвинных — избегнуть жестокого наказания.

Правда, по признании доноса ложным кара могла стать еще более жестокой. Однако здесь иногда спасала хитрость обывателя, прикрывавшегося напускной «простотой» и отговорками вроде «объявил, не зная силы указов, где о том на одного помещика своего надлежит доносить». В бумагах Тайной канцелярии нам встретилось упоминание об одном не только грамотном, но и сообразительном доносчике — каргопольском посадском Афанасии Пичугине. В 1740 году при угрозе разоблачения тот «лживое свое челобитье взял сварил в ухе и выхлебал», за что был поставлен перед выбором — заплатить 20-рублевый штраф или, если не похочет, быть выпоротым батогами¹⁴⁰. Осо-

бо закоснелых кляузников отправляли в монастыри; отставной губернский регистратор Никита Нестеров, оклеветавший в 1775 году воеводу подмосковной Рузы, очевидно, был сочтен не слишком злостным — его посадили на два дня на хлеб и воду под караул в той же воеводской канцелярии.

Елизавете Петровне приходилось иногда лично разбирать жалобы по «слову и делу» из придворной среды, на поверку вызванные семейными конфликтами. В 1743 году княгиня Анна Жирово-Засекина объявила за собой «слово и дело», потому что муж «не в меру бил ее»¹⁴¹. В 1754 году подняла переполох, закричав «слово и дело», дворцовая прачка. Допросивший ее граф Александр Шувалов уведомил государыню особой записочкой: виновница тревоги «в Тайной канцелярии показала, что слова и дела за ней нет и ни за кем не знает; а сказала для того, что муж ее пьяной ударил по руке палкой. Выпущена без наказания, и вина ей отпущена для многолетнего здоровья ее императорского величества»¹⁴². Впрочем, императрица нередко подобные деликатные казусы решала по-домашнему, без вмешательства Тайной канцелярии, как в случае с жалобой жены отставного майора Ивана Игнатьевича Мусина-Пушкина.

В июле 1750 года Татьяна Сергеевна Мусина-Пушкина подала императрице слезное прошение о «высокоматернем заступлении» от обид со стороны мужа. Ее пожилой супруг чинил своей половине «неслыханные наругательства: бил батожем и мучил всякими пабоеми смертно, и в зимнее время тащил ко утоплению в пролупь и ганевался са обнаженою шпагаю, и от которых ево побой в разные времена я, нижайшая, двух младенцов выкинула и ат мучительства ево страху дочь наша малалетная аднаго году, в калыбеле вскричав, чрес шесть часов умре». Кроме того, муж отобрал сына Мишу, «конечно разорил» полученные за супругой в приданое деревни. Саму ее домашний тиран пытался отравить приготовленным неким «волшебником» питьем; когда это не удалось, «выбил со двора» бедную женщину. Когда она явилась в Петербург жаловаться, на ее жизнь покушался

двоюродный брат мужа, солдат сенатской роты Алексей Мусин-Пушкин, мстя ей за обиды, полученные от... ее мужа.- «жил незаконно з дваровыми моими девками в доме и в деревнях моих». Императрица Елизавета семейных безобразий не любила и приняла жалобу майорши близко к сердцу: уже в сентябре именной указ государыни повелел отдать приданные деревни во владение Мусиной-Пушкиной без права продажи и заклада, чтобы они достались сыну. Тщетно муж пытался доказать, что был «обнесен»: он взял жену бесприданницей, а в доставшиеся ему от брата деревни вложил 8 тысяч собственных рублей: выкопал пруд, посадил сад, устроил мануфактуру и даже кормил мужиков в неурожайные годы. Неблагодарная супруга якобы бежала от него, «обобрав пожитки и письма», и без его воли выдала дочь замуж¹⁴³. Но попытка оправдаться оказалась неудачной — Елизавета распорядилась прислать два десятка гвардейцев, которые «выбили» мужа из спорного имения.

Тогдашние правовые нормы позволяли широко трактовать «похищение государственного интереса», включая в него многочисленные нарушения — от укрывательства беглых рекрутов до масштабного мздоимства и казнокрадства. Характерной чертой ложных изветов было еще более расширительное толкование. Кажется, извещения о заговоре против монарха или другие «политические» обвинения появлялись в них только для того, чтобы указать на конкретного вора, самодура или казнокрада и тем самым подвести его под страшную статью, одновременно обойдя запрет подавать челобитные не по «первым двум пунктам» самому царю.

В 1736 году купец 2-й гильдии Федор Сокерин подал жалобу «о поставке купецкими людьми на полки мундиру и амунических вещей не против образца», Раскрыв таким образом механизм умыкания казенных денег путем оплаты ими некондиционной продукции, который мог работать только с ведома чиновников ведавшего поставками учреждения — Генерального кригскомиссариата. Те, почуяв опасность разоблачения, сложа руки не сидели. Жалоб-

щик год томился в Военной конторе, затем смог подать прошение в Кабинет министров, но просидел под стражей еще год, после чего объявил «слово и дело». Будучи доставлен в Тайную канцелярию, купец утверждал: «Имеет он, Сокерин, до ее величества нужду, и чтоб он, Сокерин, для онога представлен был пред ее императорское величество». Сам повод оказался ничтожным — купец формально жаловался на часового, который матерно его бранил во время произнесения молитвы. Главным же для жалобщика было рассказать, как высокопоставленные офицеры и чиновники (генерал-кригскомиссар Михаил Сухотин, генерал-провиантмейстер Федор Полибин) лично били его в отместку за разоблачение плутовства «компанейщиков»-подрядчиков во главе с Владимиром Щеголиным; другие же (бригадир Алексей Киселев и советник мундирной экспедиции Военной коллегии Иван Анненков), будучи членами следственной комиссии, стремились замять дело. Тайная канцелярия делом поначалу заинтересовалась; но оказалось, что и у доносчика репутация была подмоченной — он сам в 1734 году не выполнил взятый подряд на поставку для армии пяти тысяч пар сапог. После долгого рассмотрения дело в конце концов вернулось в Военную коллегию¹⁴⁴.

Иногда доноситель придумывал историю совсем уж замысловатую, но способную произвести впечатление даже на выдавших виды служащих Тайной канцелярии. 19 января 1756 года Сенат с «немецкой почты» получил пакет с доношением из самого Лондона. После вскрытия его в тот же день передали в сыскное ведомство по причине «важности» обнаруженного дела. Анонимный доносчик на двух больших листах бумаги подробно описывал антигосударственное и аморальное поведение российских купцов — Василия и Ерофея Каржавиных — на протяжении десяти лет. Он сообщил, что братья поначалу промышляли вместе с отцом — московским ямщиком из Рогожской слободы, а затем уклонились в раскол и занимались противозаконной переправкой родственников и знакомых раскольников за грани-

цу __ в старообрядческое поселение на территории Речи Посполитой Ветку. Потом Каржавины «раскол оставили», но того хуже — без разрешения отправились в европейские страны и «содержали римскую веру. В 1753 году Василий с сыном Федором перебрался в Лондон и «вступил в безбожие» — утверждал, что «Бога нет, а ежели б де Бог был всемогущ, как богословы говорят, то б неправды и никакого вдовам и сиротам и протчим притесненным обид и разореней быть не могло». Кроме того, старший Каржавин «хулил» родное благочестие и хвалил рвение католиков — но при этом говорил, что на Западе «ученые люди все атеисты, как стацкие, так и церковные, да и сам папа атеист»; духовные и светские власти с именем Бога на устах «обманывают простаков», в то время как «сами все блудники, обманщики, лицемеры». Естественно, что столь радикальные мысли привели Каржавина к полной неблагонадежности. Его недоброжелатель поведал: купец-диссидент «хулил российских сенаторов и графов Разумовских», а о самой государыне отзывался в том смысле, что «неправильно на престол вступила, недостойна, только место заняла». Такую крамолу лишь один шаг отделял от прямой измены отечеству — и он был сделан. У Каржавина якобы имелись «письма шпионские о государственных делах между Россиею и Франциею», а сам он хвалился «дружеством с некоторыми и великими персонами» в Петербурге.

Пятого февраля купец Василий Каржавин, проживавший в то время в Петербурге и торговавший часами и другими «английскими товарами», был доставлен к А. И. Шувалову. Все обвинения он категорически отрицал; признал, что отвез сына за границу учиться — но только чтобы «по обучении иностранным языкам и другим наукам, способнее был к купеческой коммерции, а не в другом каком противном намерении». В его деловых письмах и торговых расчетах следователи не обнаружили ничего предосудительного, но по почерку одного из писем определили имя доносчика — им оказался сбежавший по неизвестной причине на берега Темзы московский

часовщик Петр Дементьев. Тот, на счастье Каржавина, никаких иных фактов, кроме якобы сказанных купцом слов, не привел и «довести» донос не стремился, а посему он был признан «вероятия недостойным». При Анне Иоанновне пришлось бы ответчику все же повисеть на дыбе, но при Елизавете времена изменились. 28 апреля купец был освобожден без наказания. Однако бдительные чиновники не оставили его без внимания, так как у него были родственники за границей — в Париже проживали его брат и сын. Потому Василию Каржавину надлежало перебраться в Москву, где предписывалось отмечаться в Тайной конторе (что он делал, по крайней мере, до 1758 года), и вызвать родственников в отечество.

Тайная канцелярия и позднее держала братьев под надзором. Из объемистого дела следует, что в 1760 году Ерофей Каржавин прибыл в Россию и поступил на службу в Коллегию иностранных дел; его племянник остался в Париже, но обучался под покровительством посла Голицына. Что же касается Дементьева, то Шувалов попросил Коллегию иностранных дел «вызвать» его в Россию, однако после наведения справок выяснилось, что доноситель оказался правосудию недоступен, так как скончался еще в 1756 году¹⁴⁵. Чиновники тайного сыска беспокоились по поводу этой истории не напрасно. Заграничная учеба Федора Васильевича Каржавина (1745—1812) принесла свои плоды. По отзывам наставников, он имел «великую охоту к продолжению всяких занятий» и был «отроду весьма остр», но чиновничья карьера его не прельстила. По возвращении в Россию в 1765 году он преподавал французский язык в Троицкой духовной семинарии; затем определился «архитекторским помощником» в Экспедицию кремлевских строений к В. И. Баженову, публиковался в «Живописце» Новикова, а в 1773 году, вопреки воле отца, опять уехал за границу и оказался в Америке. Во время борьбы американцев за независимость россиянин занимался «лекарством», «купечеством», «преподаванием»; одобрял восставших, осуждая при этом рабство негров и произвол в отношении индейцев. В 1788 году беспо-

койный путешественник вернулся в Россию, где тщетно пытался вновь устроиться в Иностранной коллегии. Во Францию его больше не выпустили — в 1790-е годы он перевел на русский «Марсельезу», а на полях книг и под рисунками делал записи, направленные против «главных тиранов России». Но клиентом Тайной экспедиции Каржавин-младший все-таки не стал, под старость уgomонился и последние годы служил переводчиком в Адмиралтействе.

На худой конец, чтобы облегчить свое положение, можно было обвинить любого ближнего. Так, в 1754 году «сиделец» Одоевской воеводской канцелярии крестьянин Алексей Костюков «крикнул» «слово и дело» на товарища по несчастью посадского Сидора Чернова «по первому и второму пунктам, токмо он, Костюков о тех двух пунктах сказал, якобы они зависят в интересе». То есть мужик хорошо знал, о чем именно следует доносить по «первым двум пунктам», но сознательно свел дело к третьему пункту — ущербу государственному «интересу», заключавшемуся в том, что оговоренный им Чернов якобы «торговал воровскими денгами» — фальшивыми гривениками. Несмотря на то, что доказать обвинения арестант не смог, ему удалось избежать наказания за лжедонительство. Костюкову повезло — в захолустной канцелярии не нашлось палача, чтобы «отделать» кнутом неудачливого доносчика¹⁴⁶.

Даже из самой отдаленной тюрьмы можно было известить столичные учреждения о насилиях и злоупотреблениях местных властей или помещиков, квалифицируя их, несмотря на все запреты, как «государево дело» либо выдвигая обвинения в оскорблении чести царя или умысле на его жизнь. При всей абсурдности многих заявлений (например, о колдовском умысле на царское здоровье высших чинов

Тобольска) следственный механизм по политическим преступлениям должен был каждый раз вступать в действие.

Администраторы петровского и последующих царствований хорошо сознавали ущерб государственным интересам от ложных доносов по «слову и

делу»; но все же отменить их не решались — на неотвратимости этого следственного ритуала держалась вся система политического сыска при его малочисленном аппарате и скудных дознавательных возможностях. Но в этом крылась и слабость механизма, позволявшая подводить под статью его собственных не в меру ретивых слуг. Так, в 1722 году по ложному доносу об измене был арестован и отправлен в кандалах в Преображенский приказ полковник Батасов, командовавший карательной экспедицией против Тарского восстания в Сибири¹⁴⁷.

Но грамотный местный самодур мог точно таким же образом бороться со своими обличителями и даже с собственным начальством, как поступал воевода города Енисейска Михаил Полуэктов, занимавший этот пост с 1731 года. В течение нескольких лет на него поступило 18 челобитных, обвинявших его во взятках — в частности, при наборе рекрутов, в «бое и обидах», неправых разбирательствах «не по форме суда» и даже в нецелевом использовании крестьянских телег — администратор выезжал на них «для ловли зайцев». На наглого начальника жаловались все: от тобольского митрополита Антония до уездных крестьян. В конце концов его делом занялся губернатор Алексей Сухарев. Но Полуэктов к его суду «не пошел» (четыре раза не являлся в губернскую канцелярию), а в 1737 году сам заявил «слово и дело» на вышестоящее начальство: мол, само брало огромные взятки «от набора рекрут» и продавало в Китай казенный порох. Таким образом, губернатор, как лицо заинтересованное, следствие вести уже не имел права; но и прибывшего из Петербурга следователя, майора Игнатия Орлова, Полуэктов объявил «вором и разбойником», изобретательно выискивал криминал на всех показывавших против него свидетелей. Как можно было, по его мнению, верить подъячему Ивану Замашикову, если его дед был сосланным в 1699 году стрельцом, а весь их «род изменнической и царевубийцы»? В 1740 году буйного начальника все же доставили в Тайную канцелярию — но очередной дворцовый переворот сопровождался милостивыми

указами стремившейся завоевать популярность у подданных новой власти; добрая правительница Анна Леопольдовна повелела «вину ему упустить»¹⁴⁸.

Государственные крестьяне тоже использовали донос, чтобы поквитаться с представителями местной администрации. К примеру, в сентябре 1744 года крестьяне дворцовой Заборовской волости Григорий Андреев «с товарищи» подали жалобу на управителя, титулярного советника Тимофея Микулина, не пустившего верноподданных мужиков к литургии в высокочтожественный день рождения самой императрицы Елизаветы. Казалось бы, лютует над бедными мужиками зверь-управитель из армейских поручиков. Но по следствию картина предстала иной: Микулину стало известно, что при поставке фуража для проходивших армейских полков, осуществлявшейся несколькими богатыми крестьянами вверенной ему волости вместе с подьячим Михаилом Прововым (именно он писал челобитную от имени «угнетенных»), неизвестно куда подевались 104 четверти овса и 400 пудов сена. Когда выяснилось, что отставной служивый посадил вороватых мужиков под арест до разбирательства дела и никакого неуважения к царствовавшей особе и в мыслях не держал, он был сразу же «свобожден»¹⁴⁹.

Глас безмолвствующих

Одним из способов информирования о действительных или мнимых преступлениях стали анонимные подметные письма, которые можно было обнаружить в самых разных местах: в царской почте, на крыльце или в покоях дворца, а также в храмах, развешенными на улице или подброшенными на чей-то двор. Их целью было воздействие не только на власть, но и на подданных, в какой-то степени заменявшее отсутствовавший жанр политической публицистики. Они не были стеснены формальными Рамками и известными «пунктами»; авторы пренебрегали канцелярскими оборотами и выражали свои чувства весьма эмоционально.

Автор одного из таких документов Петровской эпохи стремился ознакомить царя с настроениями его воевавшей без перерыва армии: «Доношу Вашему царскому величеству, что слышал, то объявляю истинное, что уже нарочно всяко проведовал, и уведомился прямо из салдатства, не только что от других полков, но и от своих полков, весьма противность говорят, как прежде сего было от стрельцов, а имянно так говорили, собрався: "Уже де тому 15 лет, как началась война с шведом, нигде мы худо не делали, и кровь свою не жалеючи проливали, а и поныне себе не видим покою, чтоб отдохнуть год, или другой, жон и детей не видим, нас де как нарочно мучат, кругом обводят Москву, что чрез Москву ближе было иттить в Питербурх, нежели чрез Псков. Сравняли де нас с посохою; уже де пришел из компании, из лесу дрова на себе носи, и день и ночь упокою нам нет; и деньги, старой оклад, отнимают, и впредь де нам добра ждать нечево; хоть кого и от службы отставят, однако ж не покой, та ж служба". И в Питербурхе: "Уже де мы ведаем, то не однова говорено, что дам отдохнуть, а именно после турецкой акции и полтавской батали, а правды нет. Вить де мы не ангели, что 15 лет служи без отдыху. Мы на службе грешим, а жоны наши дома иные уже замуж вышли. Будет, де, то, как нас, где ни есть, в мори потопит, или где зайдет чрез воды и всех поберут. Уже вишь две причины было в перьвонарьвенском походе, в другой в турецкую акцию, смотри в третьей причины либо полон двор, или корень вон; уже чрез меру лета и осень ходим по морю, чево не слыхано в свете, а зиму также упокою нет на карабельной работе, а иные на камнях зимуют, з голоду и с холоду помирают. А государство свое все разорил, что уже в иных местах не сыщешь у мужика авцы"».

От тягот службы петровские солдаты перешли к осуждению других новшеств: «"Уже де в Питербурхе поморил всяких чинов людей напрасною смертью, человек болыни миллиону. Вот де, смотри, так зделает над нами: как швед зашел в руки и все свое потерял, так и нас где ни будь заведет, либо в мори потопит,

или заведчи где в камнех з голоду поморит; а уж де нам Котлин ад злой. Во где мы мудрость ево всю видим? Выдал штуку в грацких правах, учинил Сенат. Что прибыли? Только жалованья берут много. Спросил бы, де, хоть у однова челобитчика, решили ль хоть одному безволокитно, прямо, да сыскав за такое непослушание, хоть одному штраф учинил; в кампанье ты б их не брал". Потом стали говорить: "Как не будет миру, пойдем и сойдемся с полками генерала Голицына; в то де время все будет нам свободно делать; нам не будет худо за сие дело в нашей земли; вить де мы за правду всенародную станем? Во многих мы землях видели, что всево больши нашево, а у нас все пусто зделал все чрезмерною войною; а охотников, виде за такое постоянство, и в нашу руку многа будет изо всяких чинов"¹⁵⁰.

Для следствия по «слову и делу» подобные анонимные изветы не годились, поскольку не сообщали никаких конкретных имен, в том числе и самого доносчика; некому было доказывать истинность своих показаний, а при расхождении их со словами ответчика — подтверждать их под пыткой. Указ 1715 года предписывал кардинальное средство для борьбы с анонимками: при обнаружении «подметные письма» надлежало сжигать, как говорилось в анекдоте советского времени, перед прочтением: «Кто какое письмо поднимет, тот бы отнюдь не доносил об нем, ни же чел, ни распечатывал, но объявля посторонним свидетелям, жгли на том месте, где подымет». В том же указе разъяснялась необходимость уничтожения подметных писем: с их помощью несознательные подданные распространяли чуждые взгляды: «Многия являются подметные письма, в которых большая часть воровских и раскольничьих вымышлений, которыми под видом добродетели яд свой изливают».

Поседевший на приказной службе подьячий Артиллерийского приказа Ларион Докукин решил высказать всё, что он думал о начавшихся реформах, — сочинил в 1715 году послание, которое собирался повесить у Троицкого собора новой столицы. В нем он укорял современников: «В суетных своих делех и в ле-

стных учениях обычай свой изменили, слова и звания нашего слованского языка и платья переменили главы и брады обрили и персоны свои ругательные обесчестили; нет в нас вида и доброты и разнствия синоверными языки!» Автор подметного письма не призывал к восстанию, а просил сограждан: «За сие наше страдание, аще благодарно стерпим, отпустит создатель наш Бог вящей нам долг и ущедрит своими богатыми дарами и неизреченной милостью, токмо потерпите, Господа ради, мало еще потерпите». Но его собственное терпение иссякло 2 марта 1718 года — в то время, когда шло следствие по делу царевича Алексея, Докукин прямо в церкви подал Петру I дерзкое письмо с отказом от присяги новому наследнику: «За неповинное отлучение и изгнание всероссийского престола царского Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым евангелием не клянусь и на том животворящего креста не целую и собственною своею рукою не подписуюсь». Через две недели борец за правду и «доброту» был казнен, прежде выдержав положенные пытки¹⁵¹.

Петр призывал своих подданных «явно» доносить обо всех непорядках и преступлениях. Приводя примеры награждения изветчиков за справедливые доносы, ссылаясь на введение должности фискалов, «которые непрестанно доносят не точию на подлых, но и на самыя знатныя лица без всякой боязни, за что получают награждения», Петр убеждал следовать этим добрым примерам и не прибегать к подметным письмам. В назидание приводился рассказ, как для одного анонимного доносчика, обещавшего явиться открыто и сделать правительству важное заявление, было даже «денег в фонаре 500 рублей поставлено», но тот испугался и не пришел. Однако император понимал, что и анонимный донос мог быть правдивым, а его автор имел основания опасаться расправы. В практике петровского времени — хотя и редко — встречались следствия по анонимкам. Так случилось 9 ноября 1724 года, когда в руки Петра попало очередное подметное письмо. В конце царствования его регулярно

ругали извещениями о готовившемся «великом смятении», предупреждали о близкой гибели и возможном воцарении Меншикова; вероятно, в атмосфере петровской кадровой «революции» такие «прогнозы» уже могли восприниматься всерьез¹⁵². Но новое послание не было похоже на обычную угрозу или неконкретную жалобу на несправедливость: на одиннадцати листах неизвестный автор разоблачал судей Вышнего суда — А. А. Матвеева, И. И. Дмитриева-Мамонова, Е. И. Пашкова, Ф. С. Манукова, А. Г. Комынина — и других «персон», в том числе И. А. Мусина-Пушкина. Им вменялись в вину взятки, покровительство расхитителям, развал следственных дел, неправые судебные приговоры.

Главным же покровителем этой группировки объявлялся ближайший к царю человек — его секретарь и руководитель Кабинета А. В. Макаров: «Нижесписанные господа по согласию с ним, Макаровым, чинили, желая себе чрез ево, Макарова, старание у вашего величества отписных деревень, понеже по всем о деревнях прошениям докладывает вашему величеству Макаров, а имянно: господин генерал мазор Дмитриев-Мамонов, полковник Блеклой, Егор Пашков, Алексей Баскаков, Иван Бахметев, которым уже и дано немало, токмо еще якобы не доданы. А господа граф Мусин-Пушкин да граф Матвеев от него, Макарова, веема одолжены, ибо что до них касалось напред сего и ныне доношениям фискалским и протчих людей важных интересных дел, то все им, Макаровым, закрыто и вашему величеству ни о чем не донесено, а по се [время] исследования по тем делам нет <...>. Как ведал граф Мусин-Пушкин Монастырской приказ и все монастыри, и ево бытности явилось многое забранное из монастырей утрачено. И о том в Москве капитан князь Алексей Шаховской с товарищи по доношениям стал было следовать, и многое было показалось. А из Санкт-Петербурга прииском ево, Мусина-Пушкина, и кабинет-секретаря Макарова ис канцелярии Вышняго суда послан в Москву к князю Шеховскому указ, о том следовать не повелено, и потому следования никакова не имеет-

ца. Також того помянутого приказу бытности ево Мусина-Пушкина, приходчики и расходчики подьячие ни хто и поныне не титаны. А естли ныне о том показанном поведено будет изследовать, многой и разсыпаной интерес явитца, и великая сумма казенных и с народа збираемых денег сыщется»¹⁵³.

Согласно указам, требовавшим уничтожения подметных писем, состоялась процедура сожжения анонимного послания на площади. Но вместо подлинника Петр I вложил в конверт чистую бумагу. Иностранные дипломаты (польский посол Иоганн Лефорт и француз Жан Кампредон) сообщили в своих донесениях о «полной немилости» императора к Макарову и Дмитриеву-Мамонову. Вслед за ними могли бы последовать опалы и других указанных доносчиком лиц, в том числе главы Монастырского приказа графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина — судя по письму, автора весьма интересовал вопрос о финансовой «прозрачности» работы этого учреждения. В это же время в очередную немилость из-за неутомимого казнокрадства попал Меншиков, которого Петр лишил поста президента Военной коллегии. Весьма вероятно, что в наступавшем 1725 году начались бы новые дела о коррупции в рядах правившей верхушки; новые обвинения могли стоить головы пользовавшимся поддержкой Екатерины Меншикову и Макарову — генерал-фискал Алексей Мякинин получил приказ «рубить все дотла» и в последнюю неделю жизни царя дважды, 20 и 26 января, докладывал Сенату о взятках и хищениях крупных чиновников. Но царь заболел и умер, а следствие так и не началось.

После смерти Петра объектом обличения стал самый яркий и хищный из его «птенцов» — Александр Данилович Меншиков. В марте 1725 года в Петербурге были обнаружены два подметных письма: у Исаакиевской церкви и около двора графа Г. И. Головкина. В них Меншиков сравнивался с Борисом Годуновым, а маленький внук Петра I царевич Петр Алексеевич — с царевичем Дмитрием. Меншиков обвинялся в том, что «с голштинцами и с своею партией истинного наследника внука Петра Великого престола уж лиши-

лии воставляют на царство Российское князя голштинского»: «О горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы». За «объявление» безымянного автора этого сочинения были обещаны 2 тысячи рублей — целое состояние — и повышение в чине. Подобное письмо было подброшено в октябре 1726 года на двор асессора Московского надворного суда Петра Михайловича Толстого. Оно угрожало не только самому судье — «мучителю и плуту», но и его дяде — начальнику Тайной канцелярии, чья роль в розыске царевича Алексея была хорошо известна: «Царевичева вам смерть з дядею и са всем родом отомстица!»¹⁵⁴

Один такой листок в 1726 году настолько взволновал Екатерину I, что она несколько дней чувствовала себя плохо. Ответом на него стал указ только что образованного Верховного тайного совета от 24 февраля 1726 года о подметных письмах. Власть обращалась к подметчикам: «Ежели кто вышеупомянутое письмо по приказу начальника или господина своего в вышепоказанном месте, хотя и не ведая о силе того письма, положил, и те люди явились при дворе нашем караульному офицеру, или в кабинете, и о том, кто вышереченное письмо по приказу чьему положил, доносил, не опасаясь ни чего, как скоро о сем может сведать, которой за доношение, ежели служащий, награжден будет 1 000 рублями денег и повышением чина, а хотя чей слуга, или крестьянин, дано будет денег то ж число, и учинена будет свобода на волю, куда похощет». На будущее всем обнаружившим такие письма предписывалось их ни в коем случае не читать и никому не показывать, а сразу «объявлять» властям¹⁵⁵. Высокую награду можно объяснить не только содержанием письма, но и тем, что Речь шла не об обычном доносе, а об открытом письме для публичного оповещения. Чтобы выявить его автора, снималась ответственность с исполнителя, доставившего письмо. Если указ от 25 января 1715 года требовал немедленно сжигать анонимки при свидетелях, то новый закон предписывал не уничтожать послания на месте, а передавать для дальнейшего

расследования. Однако, несмотря на все усилия властей и суровый характер наказания, подметные письма продолжали появляться.

Екатерина I приказала было Феофану Прокоповичу сочинить церковное проклятие на «письмо подметчиков», отвергавших петровский устав о престолонаследии. Услужливый иерарх анафему написал но сама же императрица отменила ее оглашение^{1^}, воля монарха находилась в явном противоречии с представлениями подданных о том, что престол должен занять мужчина из «прямого царского корени» — сын царевича Алексея.

Менее чувствительные министры Верховного тайного совета «читали секретно» подобные сочинения на своих заседаниях: в присутствии Верховного тайного совета 17 июля 1728 года «чтено подметное письмо, которое привез барон Андрей Иванович; разсуждено, того подметчика сыскивать из Сената». 7 августа 1728 года верховники опять вернулись к этому вопросу: «...чтено подметное письмо, которое привез барон. Из Сената приходил тайный советник Плещеев и подал доношение, при том доносил, что подметчик письма, которое прибито было у дворца, сыскан, и велено привести в Верховный тайный совет». Как ни странно, но найти автора письма удалось быстро — быть может, как раз благодаря объявленным мерам. Через три недели в Верховный тайный совет был «приведен подметчик Рыбинской и спрашивай от министров самих, и то другое подметное письмо отдано в Сенат тайному советнику¹ Плещееву с таким приказом, чтоб против того письма Арешникова спросить и дать с тем Рыбинским: очную ставку, и кто виновен будет, тому учинить наказание. А тому Рыбинскому за подмет учинить наказание и сослать в работу, в Рогервик, а о делах, о которых он показывает, следовать, о которых можно»¹⁵⁷.

Как только императрица Анна Иоанновна утвердилась в «самодержавстве», начались репрессии против ненавистных ей князей Долгоруковых. Началась дележка собственности опальных, и сразу же появились подметные письма с описанием расхищения

княжеского имущества их слугами — стряпчим Ханыковским, Федором Турчаниновым и другими лицами. «Холопы» «по ночам розвозили пожитки Долгоруковых, сундуки и запасы и прочее»; стремясь воспользоваться удачей, они не очень опасались наказания. «Господа воруют — их за то вешают, а хлоп де как живет — и наживает <...>. Их де в Дербень, а мы де по дворцам». Информированный автор знал, что подобные вещи творил после смерти генерал-адмирала Ф. М. Апраксина его дворецкий Данила Янков; он же задаривал краденым добром высокопоставленных лиц, чтобы получить назначение провинциальным воеводой¹⁵⁸.

В одном из подметных писем, адресованном императрице Анне Иоанновне, резко осуждалась распространенная практика сдачи на откуп богатым купцам торговли в кабаках и сбора таможенных пошлин и ставились в пример «немецкие земли», где продажа вина находилась не в казенной монополии, а «в вольности». Судя по витиеватому стилю письма и знакомству с заграничными порядками, его безымянный автор был человеком грамотным и опытным, хорошо знавшим уловки сборщиков пошлин. В России, по его мнению, произвол откупщиков приводил к «великому разграблению всего народу»: от насаждения кабаков одни от пьянства «умирают безвременно», другие «вступают в блуд, во всякую нечистоту, в тадбы, в убивство, в великие разбои». Анонима беспокоило также то обстоятельство, что клиенты питейных заведений из-за чрезмерного угощения их содержателями попадали под «слово и дело»: «Наливают покалы великие и пьют смертно; а других, которые не пьют, тех заставляють силно, и мнози во пьянстве своем проговариваютца, и к тем праздным словам приметываютца приказныя и протчия чины, и от того становятся великие изьяны»¹⁵⁹. Интересно, что сочинивший это послание в эпоху «бироновщины» автор не видит здесь вины иноземцев — по его мнению, это внутренняя российская проблема.

Особой вариацией жанра таких публичных сочинений стали ложные указы и письма от имени царств-

венных особ. Еще при жизни Петра II в 1728—1729 годах Верховному тайному совету пришлось опровергать профессионально составленные «воровские указы» о разрешении «всяких чинов людям» переселяться на Царицынскую линию и отмене выплаты подушной подати по поводу смерти царской сестры, В дальнейшем от имени уже покойного императора не раз распространялись бумаги, обещавшие крепостным свободу без «выдачи» помещикам¹⁶⁰.

Так, в октябре 1761 года местный канцелярист принес в Пошехонскую воеводскую канцелярию доставленное мужиками «письмо» уже три десятка лет как почившего Петра II императрице Елизавете. «1761 году пишет государь вторы император Петр Алексеевич, великороссийской самодержавец государоне великороссийской самодержавице Елисафет Петровне, тетушке. Пожалуй, государоня, прошу не прогневатца, что по прежним известиям помощи мне не сотворила, возрадовалась моему безвременью. А нынеши пишу, вторы император Петр Алексеевич государоне Елисафет Петровне, тетушке, ниски поклон. Пожалуй, подай помощь ныне, что я хожу в московском государстве по градом и монастырям и по селом и деревням, что вижу плач во дни и в нощи во всем государстве. Еще ныне пишу государоне Елисафет Петровне ниски поклон, что я хошу возвратно быти великоросискую московскую державу. Пришли, государоня, двенатцать полков наполных и драгунских шесть, с сими полками возвращуся вскоре в свою державу, а имянно во грат Углеч. И ежели не пошлешь, то я пойду в армию, аще армия мне не последует, обещается вся московское государство поможение дати. по тому же я волницу кличу, Петр Алексеевич, вторы император, великоросейской самодержавец». Далее неведомый автор послания рассказывал «тетушке», как по вине неких «лукавых злохитрецов» был предан «в руки неверным в землю Аннинскую в королю Морьяну, а он по их прошенью, изменщиков моих, <...> закла меня в столп в каменной», где он просидел 25 лет, а когда выбрался, то скитался по России «в нищенстве и в наготе» и терпел «насмеханья» духовенства,

"что они мя за упокой поминают». В заключение псевдоплемянник просил у Елизаветы: «Дай мне землю, что состоит между двух уездов, Пошехонским и Вологодским», чтобы «владеть потаму же волницу»¹⁶¹. Следствие в Тайной конторе результата не дало; запечатанные в пакетах письма раздавал мужикам по ночам некий разъезжавший на телеге человек, чью личность установить не удалось.

К сожалению, в делах Тайной канцелярии далеко не всегда раскрывается содержание таких любопытных посланий — видимо, оно могло серьезно задеть честь императорской фамилии и близких к ней лиц. Так, в мае 1736 года гвардейцы по личному указанию Ушакова хватили всех причастных к появлению некоего пакета, переданного придворным лакеем Андреем Ратмановым фрейлине Анне Юшковой. Поиски выявили почти всю цепочку, за исключением исходного звена — «неведомого» человека, вручившего пакет для передачи во дворец. Но содержание его так и осталось загадкой — текст письма в деле отсутствует¹⁶².

В таких посланиях доставалось и не столь высокопоставленным особам. В 1736 году озорной кадет Сухопутного шляхетского корпуса Карп Сытин угодил в Тайную канцелярию за пасквиль на обер-профессора Иоганна фон Зихейма: «Высокопочтенный гуснсрот и обер-хлебной жрец! Долго ли тебе себя хвалить; все то напрасно. Не ведаешь ты того, что ты природной осел»¹⁶³. За оскорбление преподавателя кадет даже был исключен из корпуса, отделавшись поркой «кошками» и отсидкой в карцере на хлебе и воде.

Еще не раз подброшенные неизвестно кем послания вызывали переполох во дворце. В 1764 году анонимку на французском языке, адресованную брату Фаворита Федору Орлову, нашли на «фрейлинской поварне». В декабре 1775 года на имя только что вступившего «в случай» Григория Потемкина поступило письмо с угрозами — его вручил ничего не подозревавший крестьянин-отходник. Неизвестный автор предупреждал: «Естли вскоре освобождены не будут из-под злострадательного, варварского и кро-

вопийственного, проклятого, господского, мучительного ига неповинно мучимое человечество, то возгорится древле бывшее римлян возмущение и истребление дворян и у нас в России! Ибо нас Бог не скотами, да и не мучениками создал. Довольно! Потерпето! Пора и образумиться!» — но обещал подождать с восстанием, давая власти отсрочку до нового года. — «Авось нас милостивая государыня избавит». Делом заинтересовалась сама императрица, но ничего нового узнать не удалось¹⁶⁴.

Подметные письма с содержавшимися в них «измышлениями» были весьма неприятны высокопоставленным особам, но опасность представляли, скорее, в качестве средства распространения слухов и толков «в подлом народе». Установить автора в подавляющем большинстве случаев у Тайной канцелярии не было никакой возможности, поэтому анонимки не требовали проведения масштабных следственных действий — в отличие, например, от ложных доносов. Последние, отвлекая силы, существенно снижали эффективность работы политического сыска, хотя и способствовали нагнетанию атмосферы страха в стране в годы правления Анны Иоанновны, да и позднее. Но после создания системы тайного политического сыска монархии было крайне трудно соглашаться на любое ограничение ее действий; чиновники Тайной канцелярии должны были тратить время на разбирательство даже самых абсурдных объявлений «слова и дела».

В дальнейшем практика доносительства показала, что такой канал «обратной связи» самодержца с подданными становился деморализующим фактором в развитии благородного «шляхетства» и правящей верхушки — стимулировал попытки выдвинуться и получить выгоду самым аморальным способом, что продемонстрировала послепетровская «эпоха дворцовых переворотов»: одни стремились «прорваться» к цели силой, другие последовательно доносили на сослуживцев по учреждению или полку.

Донос являл собой только первую ступеньку крутой лестницы сыска. Далее начиналось следствие.

Глава 5
«Что по следствию явится, доложить»

«Поличное выняти»

Сделанный официально донос или публичное объявление «слова и дела» не оставляли для начальства выбора: как только доноситель называл чье-то имя, должен был последовать арест. Так обычно и происходило: за подозреваемым посылались солдаты местного гарнизона или отправленные непосредственно из столиц «нарочные посыльные» — солдаты, а иногда и офицеры гвардейских полков. При аресте присутствовали понятые, обычно из числа соседей или сослуживцев оговоренного.

Только изредка документы Тайной канцелярии сообщают, что подозреваемым удалось ускользнуть. Люди поколениями жили на одном месте, немногие отваживались бросить всё нажитое. Из следственных дел не видно, чтобы виновники сопротивлялись; как правило, они позволяли доставить себя к ближайшему военному или штатскому начальнику.

Если преступник был представителем «общества», то нужно было позаботиться о «выемке» его бумаг. Обыск с изъятием документов производился незамедлительно, ведь именно в них следователи надеялись обнаружить доказательства вины. Еще Соборное Уложение весьма подробно описывало процедуру обыска и изъятия улик — в 87-й статье главы XXI го-

ворится: «А будет кто у кого в дому сведает поличное и похочет то поличное выняти, и ему на то поличное взять ис приказу пристава, а пристава взять с собой понятых, сторонних людей, добрых, кому мочно верить и поличное выняти с теми людьми, куды он послан будет искати, и то поличное выняв отвезти в приказ с теми же людьми, при ком то поличное вымет. А будет в том дому, где поличное будет, никого не застанут, и то поличное по тому же отнести в приказ с понятыми, а в приказе про то поличное сыскивати и росправа чинити по указу до чего доведется, а бес понятых пристава поличное не вымати. А будет кто в дому своем поличного искати и клети и иных хором отомкнути не даст или поличное и татя у пристава и понятых отоймет, а сыщется про то допряма, и на том, кто так учинит, истцу доправити убытки по сыску все сполна». Как видим, Уложение не только предусматривало всевозможные случайности, вроде отсутствия хозяина дома, но и подробно описало роль понятых.

В 1718 году во время следствия по делу царевича Алексея Петр заподозрил свою бывшую супругу Евдокию Лопухину — монахиню Покровского Суздальского монастыря — в связях с сыном и поддержке его плана бегства за границу. В Суздаль был послан капитан-поручик Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев с именным указом царя: «Ехать тебе в Суздаль, и там в кельях бывшей жены моей и ея фаворитов осмотреть письма, и ежели найдуться подозрительные, то по тем письмам, у кого их вынул, взять за арест и привести с собою купно с письмами, оставя караул у ворот». Команда гвардейцев произвела обыск сундуков, стоявших в келье; помимо дамской одежды и «рухляди», в них были обнаружены бумаги, в том числе копии ее писем сыну, при виде которых Евдокия Федоровна «оробела»¹.

Для арестов, обысков и описания имущества подозреваемых обычно посылались офицер-гвардеец или чиновник самой Тайной канцелярии с несколькими солдатами. В инструкциях им предписывалось забрать все письма и «прочее приличное» к делу;

что обыску явится, то оные <...> запечатать <...> своей печатью». Тайная канцелярия давала своему представителю «командировочное удостоверение» — указ с прочетом» для «губернаторов и вице губернаторов», призванных оказывать ему всякое содействие и помощь.

Нормы Соборного уложения о порядке проведения обыска получили развитие в статьях Учреждения для управления губерний 1775 года, относивших решение о «выемке» к компетенции местного городничего. Впрочем, ранее в подобных случаях с подозреваемыми — даже имевшими дипломатический ранг — не церемонились. Во время следствия по делу царевича Алексея голландский посланник Яков де Би сообщал в своих донесениях открытым текстом, не шифруя, о размахе репрессий, напугавших его соотечественников-купцов; о гнетущей атмосфере — «страхе и опасении в Москве и здесь» и непопулярности царя и осмелился даже предположить, что смерть царевича была «неестественной». Таких откровений оказалось достаточно, чтобы по указанию П. А. Толстого в июле 1718 года солдаты-гвардейцы в отсутствие иностранца вломались в его дом и забрали все документы — очевидно, надеясь обнаружить в них доказательства преступных связей посланника с недовольными. После подачи протестов дипломат был выслан из России — хорошо еще, что не в Сибирь².

«Прислать за крепким караулам наспех»

Прежде чем начать следствие, доносителей и обвиняемых надо было доставить в Преображенский приказ или Тайную канцелярию — за несколько сот верст, на крестьянских телегах по родному бездорожью. Следователям нередко требовались показания свидетелей, на которых ссылались обе стороны. Их сначала разыскивали по всей округе — не только в городах, но и в разбросанных на больших расстояниях деревушках, затем отправляли в Москву или Петербург, снаряжая для их перевозки и охраны мест-

ных жителей. Не все желали побывать в столице в качестве свидетелей по политическим делам — кое-кто пытался сбежать по дороге; ведь в ходе следствия свидетели содержались под арестом на тех же условиях, что и обвиняемые, и могли наряду с ними угодить на дыбу.

На местах также проводились следственные мероприятия — например наложение ареста на имущество и производство поголовных опросов — «повальных обысков», чтобы не тащить всех опрашиваемых к месту основного следствия. В XVIII веке такие дальние командировки могли затянуться на месяцы, и выполнять эту работу силами небольшого штата служащих Преображенского приказа и его преемников было невозможно. Поэтому Ф. Ю. Ромодановский добился права обращаться ко всем местным органам с указами. Неповоротливый приказной аппарат XVII века, а затем и сменившие его петровские учреждения могли заволокут любое столичное распоряжение, но требования грозных начальников тайного сыска исполняли без отговорок. Воеводы производили аресты, составляли на местах описи имущества, устраивали распродажи конфискованных домов и домашней «рухляди» преступников, наводили нужные справки.

В период становления политического сыска местным властям поручалось даже полное расследование дел незначительного характера — но со строгим предписанием не проявлять самостоятельности в разбирательстве «государевых дел» и тем более не выносить по ним решений без санкции сысчного ведомства. Так, в 1700 году вологодский воевода князь Мещерский вел следствие по делу тамошних тюремных целовальников, бранивших Петра за «не царские» манеры, одежду и дружбу с немцами. Козельский воевода в 1701 году проводил опрос свидетелей, присутствовавших при разговоре ругавших Петра I крестьян Григорьева и Анофреева. В 1702 году, получив от нижнеломовского воеводы сообщение, будто бы солдат Гусев высказался, что «за очи де и царя бранят», Ромодановский приказал воеводе «того солдата

в тех речах пытаться»; «буде учнет говорить, что он те слова от кого слышал, и тех людей имать и расспрашивать, и давать очные ставки, а с очных ставок розыскивать, а что по розыску явитца, о том к великому государю, к Москве в Преображенский приказ писать". Но в том же году он оштрафовал на 100 рублей ярославского воеводу и на 50 рублей его подьячих за то, что, произведя следствие по делу посадских людей Антипина и Розета, они известили о его результатах московскую ратушу прежде Преображенского приказа.

Князь-кесарь добился в том же 1702 году издания указа, запрещающего всем учреждениям и должностным лицам принимать «политические» дела к производству. Отныне от них требовалось «таких людей, которые учнут за собой сказывать государево слово и дело, присылать к Москве не расспрашивая» и передавать непосредственно в Преображенский приказ «к стольнику ко князю Федору Юрьевичу Ромодановскому». С непонятливыми или излишне самостоятельными воеводами начальник Преображенского приказа не церемонился. В 1704 году дьяк Ярославской приказной избы Угримов был бит батогами «за то, что он расспрашивал в государевом деле колодников». В 1709 году Ромодановский потребовал объяснений от воеводы Шуи, отпустившего из приказной избы «кричавшего» «слово и дело» посадского Сеченова. Тогда же был привлечен к ответу судья Сибирского приказа, который без ведома Преображенского приказа сослал в Сибирь заявившего «слово и дело» солдата Пасынкова.

В той же манере князь-кесарь обращался и с губернаторами — использовал, когда требовалось, весь их аппарат и контролировал выполнение полученных от него распоряжений. В 1716 году Ромодановский отказался принять арестантов «для того, что киевский губернатор колодниками розыскивал, а по указу теми колодниками не токмо розыскивать, а расспрашивать не велено», и потребовал, чтобы Сенат призвал губернатора князя Д. М. Голицына к порядку. В 1721 году Петр I вновь подтвердил свой указ

1702 года: губернаторам разрешалось допрашивать каждого, кто заявил «слово и дело», только о том, какого рода извет он хочет сделать. Если оказывалось что донос касается «государева здоровья и чести, бунта и измены», местный начальник обязан был, «не спрашивая, оковав им руки и ноги, присылать Москве, в Преображенский приказ немедленно». Юстиц-коллегия пыталась было в 1719 году под предлогом жалоб на Преображенский приказ подчинить его себе, но безуспешно. Дела из него без именного указа не выдавались даже в Сенат; к ним не допускались и состоявшие при Сенате фискалы. Таким образом, ведомство Ромодановского свои исключительные полномочия сохранило, но теперь оно должно было разбираться с потоком далеко не всегда истинных объявлений «слова и дела».

Провинциальные же власти, отстраненные от расследования, тем не менее должны были нести расходы по доставке всех участников дел в Москву. Правда, тульский воевода Иван Данилов в июне 1721 года ухитрился отправить в Преображенский приказ своего подъячего Павла Петрова (тот сначала провинился небрежным исполнением служебных обязанностей, а будучи посажен под караул, объявил «слово и дело») за его же счет. Но нерадивый подъячий оплатил ямскую подводку только для себя, а сопровождавшим пришлось «за недачею прогонных ити пешками». В Москву шли жалобы с мест. «Разных чинов многие люди и из колодников, отбывая воровство, с розысков сказывают за собою его императорского величества слово и дело, а другие во пьянстве, и такие люди для следования тех дел посылаются в Преображенской приказ под караулом на ямских подводах, и на те подводы даются из казны его императорского величества прогонные деньги по указу, тако ж на ручные и на ножные кандалы, и на корм; и за теми людьми по изследованию в Преображенском приказе его императорского величества слова и важных дел не объявляется, и по наказании присылаются по-прежнему, и от таких посылаемых многих колодников его императорского величества денежной

не чинится немалой росход, и о том в Преображенском приказе что повелено будет?» — запрашивала в 1724 году Рязанская провинциальная канцелярия.

Иван Ромодановский приказал отвечать, что еще 1716 году его отец велел таких объявителей «роспрашивать в канцеляриях перед судьями опасно на один, какое за ними слово и дело, и можно ль им о том сказать перед судьями, кроме тех дел, которые касаются к его императорского величества здравью и чести и к бунту, и измене; <...> и их, роспрося о том подлинно и записав, велено в воровствах их розыскивать; <...>, и по делам, кто до чего довелся, указ учинить по уложению и по новоуказным статьям, и по градским законам. А буде они ж учнут сказывать слово или дело за ними есть о здравии его величества и о чести, или о бунте и измене, и тех не роспрашивая, заковав им руки и ноги в кайдалы, присылать в Преображенской приказ за крепким караулом наспех; а у посылки сказывать им, буде они оное слово и дело, сказывали за собою, избывая по тем их делам розысков, а явятся за ними такие дела, о которых можно было им сказать в губерниях, кроме вышеписанных важных дел, и им, вора́м, за то учинена будет смертная казнь без пощады».

Но в то же время Преображенский приказ вынужден был признать: «Многие воры, избывая в воровствах своих розысков, а иные по приговорам за воровства смертныя казни, сказывают за собою слово и дело, а по посылкам из тех губерний и провинций в Москву в Преображенской приказ такие ж многие воры бегают из за караула в пути и такими утечками избывают смертныя казни и получают себе свободу, а караульных солдат приводят в розыски и во многое страдание, а интересу чинится трата». В качестве примера приводилось дело разбойника Петрушки Кузнеца из Симбирска, который «винился в разбоях, и в грабежах, и в пожегах, и за оные воровства приговорен к смертной казни, и сказал за собою его императорского величества слово, и для того держится в Синбирску под караулом; а в Москву де по-

слать его невозможно, для того: регулярных солдат в Синбирску нет, а которые и есть, и те старые и безоружейные, и чтоб оного вора товарищи не отбили в дороге».

В известных нам делах Тайной канцелярии не встретилось случаев, когда верные друзья освобождали бы схваченного по «слову и делу» преступника, — в отличие от рассказов об «утечке» конвоируемых. В июне 1756 года взятый за уголовщину крестьянин из строгановских вотчин Иван Леонтьев объявил «слово и дело» и был отправлен вместе с тремя свидетелями — а возможно, и соучастниками — из Пермской провинциальной канцелярии в Москву под охраной троих солдат. Где-то на лесной дороге под Владимиром арестанты (между прочим, закованные в ручные и ножные кандалы) соскочили с телег и крепко побили служивых — вероятно, отставников-инвалидов; двое ямщиков тут же «испужались» и убежали. Отобрав у солдат оружие, деньги и все документы — доношения и подорожные, Леонтьев с товарищами отправились на Волгу, по дороге загуляя в одном из нижегородских кабаков, на выходе из коего и были повязаны местными крестьянами. К сожалению, дело о приключениях Леонтьева сильно попорчено временем, и дальнейшая судьба беглецов нам неизвестна³.

Поэтому начальство Преображенского приказа требовало, чтобы местные власти, расспросив преступников, сами определяли, есть ли необходимость отсылать их в Москву: «Какое за ним его императорского величества слово по первому ль пункту, и знает ли оной первой, и второй, и третьей пункты в какой силе учинены; и буде скажет оное слово за ним есть по тем пунктам, и в какой силе оные пункты учинены знает, и скажет в той силе, о чем они учинены, и его, не спрашивая о том подлинно и заковав ему руки и ноги в кайдалы, прислать за крепким караулом со многими солдаты в Преображенской приказ немедленно; а у посылки сказать ему его императорского величества указ, ежели он сказал оное слово за собою, избывая смертные казни, то и в Москве смерт-

ные казни не избудет и каженен будет жестокою смертию; а буде же скажет, что оное слово за ним есть, кроме трех пунктов о чем и о ком и к тем трем пунктам неприлично, и его роспросить в том подлинно, и о чем надлежит следовать, а по следовании и указ учинить по уложению и по новосостоявшимся указом, до чего доведется; а за чем указу учинить будет не мочно, и о том писать куда надлежит, тако ж и в Преображенской приказ для ведома писать же. Да и впредь, буде такие колодники, или кто пришед собою, кроме колодник, учнут сказывать за собою слово ж и дело, и о тех чинить то ж, как показано выше сего». В январе 1725 года во все губернии и провинции были посланы соответствующие указы его императорского величества, «чтоб впредь от таких воров не было интересу напрасной траты, и воры б не избывали от воровства свои смертные казни утечками в пути иными воровскими умыслами»⁴.

Возникало трудноразрешимое в российских условиях противоречие: создание «регулярной» империи требовало сосредоточения карательного механизма в одних надежных руках; но одновременно наносился ущерб финансовому «интересу», поскольку местные власти были вынуждены отправлять за тысячи верст сотни людей, причем в большинстве случаев совершенно неоправданно. Кроме того, как признавали сами сыщики, в пути преступники могли бежать. Рекрутчина, «слезные и кровавые подати» заставляли крестьян искать спасения за рубежами государства или оказывать сопротивление властям и собираться в разбойничьи «партии». В 1732 году правительство даже разрешило для борьбы с этим злом, «когда купечеству или шляхетству потребно для опасения от воровских людей, на казенных заводах продавать по вольным ценам» пушки⁵. Чего можно было требовать от «безоружейных» симбирских инвалидов, когда даже казанский губернатор Артемий Волынский опасался в 1727 году ехать к месту службы без надлежащего конвоя?

Решить эту проблему власть пыталась не раз. Как уже говорилось, указ от 26 августа 1726 года позво-

лял местным властям предварительно рассматривать изветы по «первым двум пунктам», чтобы убедиться, что заявитель не затеял донос ложно. Аннинский указ от 10 апреля 1730 года предписывал губернаторам и провинциальным воеводам заявителей «расспрашивать секретно». Если дело квалифицировалось по «первому пункту», а доносчик не менял показаний, то его и всех названных им лиц надлежало отправлять «под крепким караулом» в Сенат. По «второму пункту» местные власти имели право вести дело самостоятельно, а «буде дойдет до пытки, то и пытать, а в наш Правительствующий Сенат того ж времени, ни мало не отлагая, с нарочными курьеры писать». Это должно было несколько ограничить приток в столицы подследственных и тем более ложных заявителей «слова и дела». Но все оговорки не отменяли монополии центральных органов на расследование политических преступлений — в жестко централизованной структуре предоставить это право целиком на усмотрение местной администрации было немыслимо; да и провинциальному начальству не особо доверяли, ведь отправка на воеводство или губернаторство нередко использовалась в качестве почетной ссылки для неугодных при дворе вельмож.

Однако уследить за всеми подобными казусами — тем более реально проконтролировать их — центральные органы сыска не могли. У губернского или уездного начальника, в свою очередь, не было иного средства, кроме «угрожения» — в крайнем случае поднятия на дыбу, — чтобы выяснить, правду ли говорит «объявитель» или колодник и насколько он разумеет «силу» грозных «пунктов». Но не дай бог заявитель умрет — тогда и сам администратор мог быть обвинен в злоумышленном «уничтожении» следов государственного преступления. С другой стороны, было опасение, что отправленные колодники «утекут» по дороге. Поэтому, как это часто бывало в России, строгие с виду нормы закона исполнялись как придется — местные власти не желали связываться с опасными делами.

Отставной поручик Семен Дощечкин на сытной должности управителя царских вотчин в селе Кузьмодемьянском Кромского уезда и подчиненный ему подьячий Яков Еремеев жили не то чтобы дружно, но весело, вместе угощаясь за счет крестьян. Но в август-

1724 года после очередного возлияния у крестьянина Афоньки Лаврентьева «они поехали в село Кузьмодемьянское, и дорогою ехал оной управитель наперед, а он, Еремеев, ехал за ним пьян, и упал с лошади, и та его лошадь ушла, и пришел он, Еремеев, в то село Кузьмодемьянское пеш. И оной управитель, усмотря его на улице, учал бить безвинно топтунками и тащил его к себе на двор, и хотел его бить же батоги»; обидевшийся Еремеев заявил «слово и дело». Управитель — царь и бог в дворцовой деревне — долго не мог решить, что делать с подьячим, а возможно, опасался обнаружения на следствии собственных грехов. Так он и держал бывшего собутыльника пять месяцев под караулом в селе Кузьмодемьянском, но в конце концов отправил в Москву в «домовую канцелярию» с промеморией, в которой так и указал: «Послал он того села Кузьмодемьянского подьячего Якова Еремеева, которой во пьянстве сказал за собою его императорского величества слово и дело». Из дворцового ведомства Еремеева переправили в Преображенский приказ, где тот объяснил судьям, что о государственном преступлении «он де, Еремеев, не стерпя тех побой и убоясь побой же батоги, чтоб не убил его до смерти для того, что прежде того оной же Управитель бил его один день дважды батожем, а в третьи деревенским кнутом, сказал в том пьянстве за собою блаженные и вечно достойные памяти его императорского величества слово и дело, а слова де и Дела за ним нет и ни за кем не знает». Быть бы подьячему опять битым — на этот раз вместе с Дощечкиным (ибо И. Ф. Ромодановский не преминул отметить подозрительно долгое «удержание» подьячего под караулом); но обоих выручила объявленная по случаю смерти императора амнистия⁶.

Кашинский же воевода Иван Рындин, напротив, проявил служебное рвение. 6 марта 1749 года к нему

явился местный помещик — отставной гвардейский прапорщик Иван Федорович Еремеев, обнаруживший неурядки в заготовке фуража для армии: «Сего ж марта 3 дня на прошедшей сего святого великого поста четвертой неделе в пяток, имелся он, Еремеев в Кашинском уезде в вотчине Спаса Нового монастыря в селе Брюхове для осмотру имеющегося в том селе оставшего от приуготовления его за удовольствием бывших Копорского да Новгородского батальонов государевых лошадей сена, при котором де случае призвав он, Еремеев, в то село оной же вотчины деревни Васнева выборного Евдокима Ильина, стал ему приказывать, чтоб то государево сено хранить; при чем де он, выборной Ильин, стал перед ним Еремеевым, кричать невежливо и грозить властями своими. И на то де он, Еремеев, объявил, ему, выборному, тако: "я де не властям вашим служу, но всемилостивейшей моей государыне служу". И на те де слова он, Ильин, с криком ему, Еремееву, сказал: "Наши де власти и у государыни не под командою"». Казус «слова и дела» по «второму пункту» как будто был явным; тем не менее воевода приказал прапорщику подать письменный донос, чтобы потом не отговорился. Но в тексте въедливый воевода обнаружил расхождение с полученной ранее от доносчика устной информацией: «Вышеписанной де Ильин на объявление его, Еремеева, об себе, что я де не властям вашим служу, но всемилостивейшей моей государыне служу, с криком и невежливостию сказал таковым образом: "власти де наши не под командою", а не так, как выше сего словесно им, Еремеевым, мне, воеводе, объявлено было точно о высочайшей чести ее императорского величества на помянутого Ильина».

На второй день после подачи доноса воевода дал делу ход: «По учиненной из Кашинской канцелярии под секретом нарочной посылке объявленной Ильин во оную канцелярию сыскан, и как доноситель Еремеев, так и помянутой Ильин по его, Еремеева, показанию закованные в ножные железа и в ручные смыки, за крепким караулом при конвое в обретающуюся в Москве канцелярию или контору тайных

розыскных дел посланы при сем доношении с каптенармусом Михаилом Игумновым, да с капралом Алексеем Харьяновым и с солдатами». Хотя, заметим, по закону 1730 года дело могло быть расследовано на месте. Свидетелей — дьячка Осипа Федорова и крестьянина Алексея Козьмина — вместе со старостой Василием Григорьевым и крестьянином Харитином Понкратьевым, «которые при бытности упомянутого Еремеева в селе их Брюхове для осмотру сена и при приказывании им о охранении того сена Ильину имелись», воевода решил оставить у себя в канцелярии под караулом на случай «в вышеписанном таковом весьма великом важном деле необходимости и что они ни каких по себе порук не представили». Таким образом, предполагаемых свидетелей просто держали в тюрьме без объявления сути дела.

Предусмотрительный Рындин оказался прав: обвиняемый «заперся», а доносчик стоял на своем. Свидетелей в Москву вызывать не стали, поручив их допросить на месте «по заповеди святого Евангелия и под страхом смертные казни». Правда, дело от этого не прояснилось — свидетели «порознь сказали». В итоге вышла «ничья»: обоих главных участников выпустили из-под стражи без наказания; единственной жертвой стал свидетель дьячок Осип Федоров, который от пребывания под арестом через десять дней «волею Божиею умре»⁷. Виновным в ложном доносе следовало бы признать Еремеева; но следователи сочли, что мужики «об означенных продерзких словах не показали, сожалея того Ильина»; кажется, подьячие Тайной канцелярии лучше понимали классовые чувства крестьян, чем некоторые современные воспеватели пасторальных отношений в барских усадьбах.

Воеводе не напрасно, вопреки предписанию царских указов, поручили вести допрос. Он еще раз продемонстрировал бдительность, вновь арестовав явившегося к нему в присутствие выпущенного на свободу Ильина, поскольку «о той его свободе об отпуске его никакого указа и пашпорту ему, Ильину, из реченной Тайной канцелярии не дано», что было

«проколом» в работе самого сысского ведомства «ибо из того, — писал скрупулезный Рындин, — имеет быть не малое сумнительство и опасность».

Но, как правило, администраторы не умели и не очень-то старались «разговорить» упорных заявителей. В том же 1749 году крестьянин Григорий Коняшин, сидевший в тюрьме при Шацкой провинциальной канцелярии по обвинению в краже пожитков у мужиков из соседнего села, «при допросе <.. > в той краже запирался, только сказал он, Коняшин, за собою государево слово». В расспросе крестьянин указал, что «оное он знает по второму пункту за собою, да того села Ушенки за земским дьячком Федором Дмитриевым сыном Огаревым, и за крестьянами Антипом Тимофеевым, Алексеем Евсеевым, Дмитрием Мартиновым, да за вдовою Феклою Тимофеевою дочерью Васильевскою женою Кузнецовою и о том узнал он, Коняшин, будучи в показанном селе до оного им объявления дней за семь и за взятием его в Шацк до того времени нигде не доносил, в чем себя он, Коняшин, и утвердил». Но при этом «в какой силе оное государево слово по второму пункту состоит, по многократному его секретно спрашиванию» колодник не объявил. Будучи отправлен в застенок, Коняшин признался — но только в том, что «оное состоит по первому, а не по второму пункту, а что в первом роепросе показывал он, что оное слово состоит по второму пункту, и то не разсудя силы сих пунктов».

Как было в этой ситуации воеводе разобраться, знает ли мужик «силу» указанных «пунктов»? Дальше расспрашивать «секретно» он уже не решился; все оговоренные вместе с Коняшиным были отправлены в Канцелярию тайных розыскных дел с «сопроводкой»: «Оной колодник Коняшин в том не розыскиван и не пытан затем, что он впредь писанной краже еще не изобличился и по тому делу розысков еще им не начато». Доставленный в столицу Коняшин поведал: «Тому ныне недель с шесть, помянутой земской дьячек Огарев, будучи во оном селе Ушенке в доме его, Коняшина, в разговорах говорил ему, Коняшину, оного же де села Ушенки крестьяня, помяну-

Тимофеев, Евсевьев, Мартынов, убили беглых солдат трех человек, в том числе помянутой жонки вдовы Феклы Тимофеевой сына, которой наперед сего из того села отдан был в рекруты, и мертвые их тела отпустили в воду; а где убили и когда, того оной земской Огарев ему, Коняшину, не сказал, да и он, Коняшин, о том его не спросил. А кроме того государева слова по первому и по второму пунктам за ним, Коняшиным, за помянутыми земским Огаревым и крестьянином Тимофеевым и жонкою Феклою и за другими ни за кем он Коняшин не знает». На вопрос же о «пунктах» извечник отговорился, что «силы тех пунктов» не понимает, но зато не доверяет местным властям: «ежели б ему о показанном смертном убийстве в той провинциальной канцелярии показать, то боялся, что ему в том не поверят, а по происку тех крестьян станут розыскивать».

К пресловутым «пунктам» дело отношения не имело; но все же речь шла о настоящем преступлении, и присланных допросили в Тайной канцелярии. Выяснилось, что трагедия действительно имела место — мужики схватились с грабившими их односельчанами-дезертирами, «и между тем в той драке оные беглые солдаты от многолюдства крестьян побиты до смерти, а кем именно убиты, того за многолюдством народу признать было невозможно». Власти о происшествии знали и даже арестовали нескольких его участников. Заявляя об убийстве, Коняшин ничем не рисковал, поскольку сам в драке не участвовал, а оговоренные им крестьяне виновными себя не признавали и к следствию привлечены не были. Поэтому доношение его было признано ложным, а доносчик вразумлен плетью и отправлен для продолжения следствия о краже обратно в Шацкую провинциальную канцелярию⁸.

По букве закона в Тайную канцелярию надлежало отправлять не только тех, кто действительно имел "умышление" на императорское здоровье, но и поносителей «персоны и чести» царственной особы «злыми и вредительными словами»⁹. Тайная канцелярия и её Московская контора разбирались со всеми по-

добными случаями, которые по подсчетам исследователей составляли до 40 процентов дел¹⁰.

Однако есть основания полагать, что было их больше, но многие дела до столичного следствия просто не доходили. Исследование повседневной жизни провинциального города Бежецка показывает, что в нередких конфликтах горожане не раз заявляли «слово и дело» и попадали в провинциальную канцелярию. Так случилось в 1720 году с нетрезвым посадским Гуром Ломановым: купив у монастырского крестьянина «четыре куницы», он отказался платить пошлину бурмистру бежецкой таможни, обругал того «неподобными словами и ударил по щеке», а будучи доставленным в ратушу, «сказал за собою государево дело, а какое за ним дело государево, про то он скажет в Углецкой канцелярии и просил, чтоб книги таможенные запечатать, а что в них каких противностей, того он не сказал». Проспавшись, Ломаное покаялся: «Сказал за собою государево дело во пьянстве, отбивая бою и увечья, за то что пришел я во оную таможеню таможенного бурмистра Емельяна Репина бранил матерно и поносил всякими словами, что он бурмистр меня с ларешными и с целовальниками били и увечили, и потом в то число, как взяли меня в том же деле государеву в земскую избу под караул, говорил то ж дело государево пьянским же, а за мною дело государево было такое, что в прошлом 8-м году был я в Бежецку у соляной продажи у збору денежной казны в ларешных, а за другими дела государева, также и похищения государевым интересом, также и за собою, кроме вышеписанного, ничего не знаю».

Следствие по «слову и делу» могло парализовать и без того немногочисленные низовые органы власти. 18 июля 1746 года бежецкий купец Алексей Дедюхин донес, что зашедший к нему в лавку коллега П. Попов рассказал, как накануне городской бурмистр Петр Велицков «плевал на указ ее императорского величества». О случившемся было сообщено в Углич; оттуда пришел приказ арестовать всех упоминавшихся в доносе и выслать к следствию. Вместе с бурмистром

были арестованы оба городских ратмана; хотя в феврале 1747 года их отдали на поруки до вынесения приговора, они не могли ни исполнять свои обязанности, ни выйти в отставку. Городские дела встали, и пришлось прислать в Бежецк из Кашина тамошнего ратмана С. Серкова, чье долгое управление городом вызвало поток жалоб бежечан. При этом дело членов Бежецкого магистрата рассматривалось не в Тайной канцелярии и даже не местным воеводой, а в Угличском провинциальном магистрате и закончилось привычной поркой виновных.

Другие бежецкие изветчики даже до Углича не доезжали. В 1728 году задержанный ратушей по какому-то делу А. Тыранов объявил было за собой «слово и дело», но при допросе в воеводской канцелярии признался, что «сказывал за собою государево дело пьянски, а за ним де дела никакова не имеетца и за другим ни за кем не знает»; был выпорот и отослан обратно в ратушу. В 1759 году отведал плетей купец Василий Бардин, «пьянским образом» произнесший «слово и дело» в лавке у воеводской канцелярии, а в 1760 году — купец Иван Первухин. В обоих случаях магистрат маленького города расправился с ложными огласителями «слова и дела» на месте.

Но несколькими месяцами позже другой заявитель, Иван Неворотин, причитавшиеся ему плети получил в Тайной канцелярии, куда был отправлен из Бежецка вместе со свидетелями. Другого арестанта-изветчика, Ивана Омешатова, магистрат отослал уже в воеводскую канцелярию — с тем же итогом. За Омешатовым последовали другие «сидельцы» — купец Василий Телегин с пятнадцатью свидетелями и магистратский денщик А. Рыбников. В ноябре в воеводскую канцелярию были препровождены сидевший в колодничьей избе по обвинению в убийстве

Судоплатов и купец А. Четвертое, заявивший во время пьяной драки с С. Неворотиним: «Я закричу секрет»¹¹.

Какой-либо закономерности в действиях властей в этих случаях не просматривается, как и в степени вины «объявителей» — все они настоящих преступ-

лений не совершали и, скорее всего, просто стремились выбраться из бежецкой колодничьей избы. Для нас же важно подчеркнуть, что далеко не все сказавшие за собой «слово и дело» доставлялись в Преображенский приказ или Тайную канцелярию, отделяясь допросами и не самой страшной поркой в своем городке или провинциальном центре. Остается открытым и вопрос о том, насколько сами местные власти точно следовали закону; похоже, они поступали по обстоятельствам и собственному «усмотрению».

Можно полагать, что поднаторевшие в своем деле чиновники Тайной канцелярии также не стремились свозить к себе всех, чье преступление было очевидным, но явно незначительным и бесперспективным для дальнейшего расследования. Тогда таким подсудимым относительно везло, как самолюбивому сибирскому купцу Луке Журавину, которого угораздило под новый, 1749 год сделать замечание солдату Осипу Тарскому за устроенное его командой «шумство». Солдат послал штатского купчишку подальше; тот возмутился — и был взят под караул на съезжую. За Журавина заступились прибывшие капрал и подпрапорщик; инцидент, казалось, был исчерпан. Но уже выходя, недовольный Журавин стал бранить оппонента: «Знаешь ли ты, что я купец и дает де государеву подать». Утихнувшая было дискуссия разгорелась вновь. — «И на оное де солдат Тарской ему объявил: "Что де ты платишь подать, а я де служу государыне своей и получаю жалованье довольно". И на оное купец Журавин сказал: "Что де ты служишь бабе"». Обиженные военные доставили неполикорректного обывателя в Кузнецкую воеводскую канцелярию. «Оговорной купец» пытался было прикрыться «мерзным пьянством», к тому же солдаты-свидетели не смогли однозначно воспроизвести его речи; в итоге Журавин просидел под стражей не только наступивший 1749 год, но и еще чегыре года. Только в декабре 1753 года из Тайной канцелярий пришло решение: «Понеже он, Журавин, по тому делу содержится многое время, чего ради оное долго-

временное его под караулом содержание вменить ему в наказание, и о том и дабы он впредь от таких продерзостей имел крепкую предосторожность и воздержанье, объявить ему указом ее императорского величества с подпискою»¹². Он хоть и провел пять лет под стражей — но без пыток и в родном городе; ведь при Анне Иоанновне за «бабу» можно было с рваными ноздрями угодить на каторгу.

В царствование Екатерины II многие обычные для политического сыска дела о «непристойных словах» больше не требовали непременно доставки обвиняемого в столицу. Для следствия и суда уже имела новая система учреждений, созданных по реформе 1775 года. Дело приписного к Боткинскому казенному заводу крестьянина Галактиона Коробейникова, избившего с братом «в пьяном образе при драке» на рынке состоявшего «у браковки железа» сержанта Андрея Мамантова, а на вопрос угольного мастера Луткова: «За что де царицына слугу бьете?» — ответившего: «Што я де мать вашу протак с царицею, заводами и командирами», — рассматривалось Сарapulьским нижним земским судом. Оскорбление величества было налицо, и нижняя инстанция обратилась за решением к губернатору. Тот рассудил: поскольку и братья Коробейниковы, и сержант Мамантов, и свидетели оказались сильно пьяными, то последних следует отпустить, а виновника вразумить «палками». На этом следствии закончилось, но на всякий случай наместник проинформировал о происшествии Тайную экспедицию¹³.

Другой вопрос, становилось ли подсудимым легче от решения дела на месте. В 1788 году отставной гусар, а теперь харьковский «цылюрник» Василий Пасечников при свидетелях произнес «поносные слова на всевысочайшее имя ее императорского величества», а затем отдельно «скверными словами» помянул светлейшего князя Потемкина-Таврического. Преступление было заурядным (сами «слова» уже в документах не фигурировали, а прилагались в отдельной, впоследствии утраченной записке — Екатерина запретила употреблять матерную брань в официаль-

ных бумагах), но интересен путь этого дела. Донос поступил к харьковскому городничему, который произвел арест; уездный суд приговорил виновного к вырыванию ноздрей, клеймению и отправке на каторжные работы в Херсон. Приговор и бумаги по делу из Верхнего земского суда были отправлены на утверждение в Харьковскую палату уголовного суда, а оттуда к генерал-прокурору — видно, «поносные слова» оказались очень уж неприличными. Вяземский доложил о деле лично Екатерине, а она повелела передать его «хозяину» всех южных земель Потемкину для решения «по своему благоразсуждению». Но светлейший князь за множеством забот просто забыл о незадачливом ругателе, который в итоге просидел под стражей до 1792 года, когда его наконец упрятали в Харьковский Покровский монастырь¹⁴.

Жизнь колодника: «келья — гроб, дверью хлоп»

Как в столицах, так и в провинции при каждом мало-мальски значимом государственном учреждении имелась своя каталажка — колодничья изба, куда помещали задержанных и за важные преступления вроде разбоя или убийства, и за мелкие правонарушения — уличную драку или неуплату пошлины. Там они томились до вынесения приговора. В штатах этих учреждений числились палачи, хотя «запленных дел мастеров» на все присутственные места империи явно не хватало. Сроки заключения, как и время следствия, не были ограничены и зависели от усмотрения и расторопности чиновников.

В книге современного историка А. Б. Каменского о жизни горожан провинциального городка Бежецка в числе прочих достопримечательностей описывается местная тюрьма XVIII столетия, примыкавшая к самому магистрату. «По справке в купеческой полиции, находящаяся при Бежецком магистрате колодничья изба построена бежецким купцом (которой ныне имеется откупщиком) Алексеем Бурковым на

собственной отца ево земле из собственных ево, Буркова, денег, в которой, во-первых, от магистрата, а потом от словесного суда, от старосты городского, от означенной полиции, також и от него, Буркова, по вступлении в откупной конской збор случающийся по делам колодники (за неимением к содержанию других мест) содержатца», — докладывал в 1758 году магистрат на запрос начальства. Правда, позднее выяснилось, что доложивший о трудах Буркова бывший бурмистр Алексей Дедюхин приврал — на самом деле «оная колодничья изба построена приказанием бежецкого купечества на государевой земле и на мирские деньги в прошлом 1733-м году городовым старостой Иваном Усовым, да бургером Яковом Жуковым для содержания по бывшей тогда Ратуше колодников».

Заведение было устроено незамысловато: дверь из колодничьей избы вела в сени, где находился «нужник», которым пользовались и заключенные, и находившиеся рядом в «подъяческой светлице» служащие магистрата, и сами «отцы города». С другой стороны выхода не было, и здание было окружено высоким забором. «Так что и свету нет», — жаловались узники. Находились в ней обычно полтора-два десятка подследственных. Одни устраивались относительно неплохо — к ним беспрепятственно пускали родственников и друзей, распивавших вино и игравших в карты с заключенными и охраной. Другие сидели закованными «в несносных и тяжелых цепях и железах». По-видимому, в тюрьме имелись отдельные помещения, поскольку некоторых арестантов охрана содержала в особо строгих условиях «яко злодеев» — к ним никого не пускали и даже не разрешали родственникам приносить еду.

В XVIII веке, да и в более поздние времена, узники питались тем, что им приносила родня, или за счет милостыни, для чего их специально водили по улицам. Бежецкие документы показывают, что режим заключения был довольно патриархальным: арестантов могли отпустить (под честное слово или под караулом) домой и даже в кабак. Однажды таким от-

пущенным «на побывку» участникам драки не удалось вернуться обратно: «Быв в Подгорном кабаке и выпив потребное число вина и пива, пришли к магистрату, при котором реченная полиция находитца, и постукався у сенных дверей (которыя были заперты), за неотпором тех дверей розошлись все по домам своим». Такая простота нравов объясняется тем что в те времена арест по случаю неуплаты долга или пошлины был делом обычным, а сами заключенные и стражи порядка, включая полицмейстера и палача, были знакомы, ходили друг к другу в гости, имели общие радости и проблемы. Только посаженным в колодничью избу крестьянам и иногородним трудно было рассчитывать на сочувствие караульных и помощь родственников¹⁵. Бежать при отсутствии решеток на окнах и железных дверей было легко — достаточно выбить оконную раму; однако скрыться в городе, где все жители не только знали в лицо друг друга, но узнавали даже соседский скот, было практически невозможно.

Намного хуже приходилось тем, кого присланные гвардейцы или солдаты местного гарнизона конвоировали в столицы. После долгой дороги под стражей (не на самом тяжелом пути из Киева в Москву палач Максим Окунев успел отморозить ногу) присланного доставляли в Тайную канцелярию или ее московский филиал, где его регистрировали в «книгах записных присылаемым в Канцелярию тайных розыскных дел из разных мест колодником по секретным делам».

Учет велся помесечно: в книге ставилась дата прибытия; записывалось, откуда прислан подследственный, с указанием сословной категории и места службы. Туда же позднее вносились записи о приговорах, а также дата отсылки из Тайной канцелярии. В конце каждой росписи помещался «Алфавет, о входящих в Канцелярию тайных розыскных дел в нынешнем ... году по делам вышепоказанных в сей книге колодниках по прозваниям и по имянном и кто под которым номером значит ниже сего». Поскольку иные клиенты бывали в Тайной канцелярии не по одному разу,

такая система облегчала поиск человека, чье имя вновь всплывало на следствии спустя несколько лет.

С 1732 по 1740 год включительно в «имянных писках» был зафиксирован 3 141 человек: в 1732 году - 277 человек, 1733-м - 325, 1734-м - 269, 1735-м - 343, 1736-м - 335, 1737-м - 580, 1738-м - 361, 1739-м - 364, 1740 году - 287.

учет был не очень точным, поэтому данные нужно корректировать с помощью других источников — например, комплекса дел «о лицах, сужденных в Тайной канцелярии за ложное оказывание "слова и дела"; но в целом число пропущенных колодников невелико. Правда, записные книги не содержали имен подсудимых, которые не присылались в Тайную канцелярию, а допрашивались на местах¹⁶; но подсчитать всех, упоминавшихся лишь в конкретных делах, пока не представляется возможным.

Поначалу заключенные Тайной канцелярии также содержались за свой счет — деньги на питание, одежду и другие нужды им передавали родственники, а в случае их отсутствия столичных колодников под караулом выводили скованными в город просить подаяния.

В Москве порядки были еще проще: в 1725 году солдатская жена Марья Рубцова, содержащая в Преображенском приказе «по денежному воровскому делу», ходила «в мире на связке для милостыни с колодницею ж, жонкою Афимьею Ивановою, а за ними был караульщик Никитина полку Козлова солдат Петр Зелейка». Дело простодушной женки Афимьи Несколко оттеняет грозные тексты петровских законов, которые были не в состоянии переломить устоявшийся патриархальный быт даже такого учреждения, как Преображенский приказ.

Две дамы-«колодницы» с охранником — почти что кавалером — под вечер гуляют по московским улицам заходят в гости, собирают подаяние натурой: "и будучи они на связке, зашли в Огородную слободу к свойственнице ее Марьиной, вдове Марфе Лаврентьевой, и выпив с ней по чарке вина, пошли в Казенную слободу для милостыни ж; и идучи она

жонка Афимья говорила солдату Зелейке, чтоб он пошел с ними к помянутой вдове Марфе для взятая мешечка, которой забыла с пирогами, и солдат де, тако ж и она, Марья, с тою Афимьею не пошли для того стало поздно; и Афимья де говорила ж, чтоб они за тем мешечком пошли, а буде не пойдут, и она де Афимья, скажет за собою слово и дело». Объявление страшной формулы выглядит здесь дамским капризом — как непринужденно объяснила сама солдатка, «оное де слово и дело хотела сказать с дерзости, а ее де величества государыни императрицы слова и дела за нею нет, и за жонкою Рубчихою, и за солдатом, и ни за кем не знает»¹⁷. Да и наказание за этот розыгрыш было по меркам XVIII века совсем нестрашное — всего лишь батоги.

В «регулярном» Петербурге жизнь подследственных была тяжелее. За весь 1718 год деньги на прокорм колодников Тайной канцелярии выдавались из казны лишь один раз — в октябре, по именному указу Петра I. Сумма выплат составляла от гроша до алтына в день, в зависимости от важности арестанта. Однако в процессе затянувшегося розыска о том или ином заключенном могли забыть; тогда в делах появлялись приписки: «умер с голоду»¹⁸. В 1722 году Петр I повелел выдавать неимущим заключенным по шесть денег (3 копейки, или алтын) в день, но через год счел такое содержание чрезмерным и сократил его до четырех денег¹⁹. Однако проверить, как доходили эти средства до самих колодников и сколько по пути оседало в карманах подьячих и караульных, не представляется возможным. На казенном корме можно было не дожидать до решения своего дела.

При Анне Иоанновне и в более поздние времена режим содержания в Петропавловской крепости стал несколько мягче — по крайней мере с голода как будто никто не умирал. Среди охранников попадались люди добрые, исполнявшие — правда, не всегда бескорыстно — просьбы заключенных. В 1734 году один солдатик даже отправился по поручению колодника-дворового к его барину, чтобы раздобыть

денег за такое неуставное «дерзновение» он был для примера наказан батогами при всех караульных.

Священники Петропавловского собора духовно окормляли, исповедовали и причащали узников; при необходимости приглашались попы из других городских Церквей- Больных осматривал немец-лекарь и прописывал лекарства, вроде «теплова лехкова пива с деревянным маслом». Заключенным разрешалось держать при себе ножи и вилки; им могли даже «бритца позволить» самостоятельно²⁰.

В нашем распоряжении нет подробного описания интерьеров тюремных казарм, «казенок» и «изб» в Петропавловской крепости; можно только утверждать, что в казармах с двумя и более палатами охрана находилась в центральной части, где был вход. Окна были закрыты решетками и деревянными щитами. Отапливались помещения печками, на них же готовили еду для арестантов.

В крепости было довольно много одиночных камер — летом 1737 года в них сидели 26 заключенных из 81; в шести палатах сидели по два арестанта, в одной — три человека, в пяти палатах — по четыре и в одной камере — пятеро. Семь человек содержались только в одной палате, а в казарме «от Старой аптеки» томились восемь колодников. В отличие о провинциальных острогов тюрьма не была переполнена, и руководство сыска стремилось по возможности изолировать подсудимых²¹.

Благодаря составленной в 1794 году «Описи покоям, состоящим под ведением господина коллежского советника и кавалера Александра Семеновича Макарова в Комисском казенном доме» мы можем отчасти представить себе условия пребывания в этой тюрьме заключенных и их охраны:

1) Со двора вход в нижние сенцы. Двери с палатенцем, где нутряной замок с ключом.

2) Взошедши на лестницу в правую сторону покой для нужного места, в коем одно большое окно с железной решеткой.

3) Налево вход в коридор. Двери с палатенцем с нутряным железным замком и с ключом. В дверях просвет с железной решеткой.

4) Во всем коридоре пять покоев, у каждого двери с палатенцем с внутренними железными замками и с ключами. В каждом изращатая печь со всеми принадлежностями, как-то печные и трубные дверцы, железные вьюшки с крышками чугунные; во всех окнах железные решетки и по две растворки с кольцами.

5) При выходе из коридора в солдатскую комнату дверь с палатенцем и внутренним железным замком и с ключом.

6) В солдатском покое одна русская печь с железной заслонкою и трубы, вьюшка и крышка чугунная. В окне железная решетка.

7) Из сего солдатского покоя еще два покоя, в коих одна пропускная изращатая печь с печными и трубными железными дверцами, вьюшки и крышка чугунные, двери створчатые, филенчатые с железными задвижками двери, у каждой двери по одному железному замку и с ключами; в четырех окнах фигурные железные решетки, у окончин железные задвижки и растворки с кольцами.

8) Из солдатской комнаты выход ко второй каменной лестнице, трое дверей — одни с палатенцем и с железным замком и с ключом, а двое — створчатые филенчатые с железными по обе стороны задвижками и с железными замками и с ключами.

9) В малых сенцах перед лестницею одно окно с железною решеткою.

10) Из оных сеней вход в небольшой покой, у коего дверь створчатая с железными задвижками и с крючками, с внутренним железным замком и с ключом; у двух окон железные решетки.

11) Подле оногo другой еще покой, в коем изращатая печь с железными и трубными дверцами. У трубы вьюшка и крышка чугунные. У двух окон железные фигурные решетки, у окончин крючки, двери в оном покое филенчатые створчатые с железными по обе стороны задвижками с внутренним железным замком и с ключом.

12) По всему коридору просветы с окончинами # с железными решетками.

13) Во всех вышеописанных покоях у окон зимние переплеты»²².

От екатерининских времен до нас дошли впечатления самих арестантов о месте их временного заточения. Мелкопоместный дворянин, подпоручик в отставке Григорий Винский, арестованный 12 октября 1779 по подозрению в «прикосновенности» к подложному получению из банка крупной денежной суммы, спустя много лет описал в мемуарах процедуру принятия очередного «клиента» в ведомство Тайной экспедиции: «Не успел я, так сказать, оглянуться, как услышал: "Ну, раздевайте!" С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и тащить с меня сюртук и камзол. Первая мысль: "Ахти, никак сечь хотят!" заморозила мне кровь; другие же, посадив меня на скамейку, разували; иные, вцепившись в волосы и начавши у косы разматывать ленту и тесемку, выдержавали шпильки из буколя и лавержета, заставили меня с жалостью подумать, что хотят мои прекрасные волосы обрезать. Но, слава Богу, все сие одним страхом кончилось. Я скоро увидел, что с сюртука, камзола, исподнего платья срезали только пуговицы, косу мою заплели в плетешок, деньги, вещи, какие при мне находились, верхнюю рубаху, шейный платок и завязку — все у меня отняли, камзол и сюртук на меня надели. И так без обуви и штанов повели меня в самую глубь каземата, где, отворивши маленькую дверь, сунули меня в нее, бросили ко мне шинель и обувь, потом дверь захлопнули и потом цепочку заложили <...>. Видя себя в совершенной темноте, я сделал шага два вперед, но лбом коснулся свода. Из осторожности простерши руки вправо, я ощупал прямую мокрую стену; поверотясь влево, наткнулся на мокрую скамью и, на ней севши, старался собрать распавшийся мой рассудок, дабы открыть, чем я заслужил такое неслыханно-жестокое заключение. Ум, что называется, заходил за разум, и я ничего другого не видал, кроме ужасной бездны зол, поглотившей меня живого.

Когда в палату вошел солдат со свечой, новый арестант увидел «всю гнусность и ужас этой темницы: в

мокром смрадном углу загорожен хлев досками на пространстве двух с половиной шагов, в которое добрый человек пожалел бы и свиней запирать».

Вероятно, дворяне петровских и аннинских времен были менее чувствительными если не к крутым поворотам судьбы, то хотя бы к бытовым лишениям — тогдашние рядовые, офицеры и канцеляристы несли тяжкую службу вдалеке от дома и не отличались хорошими манерами, тем более что и отпрыски лучших фамилий нисколько не гнушались арестами и караульной работой в крепости. Но представителю благородного сословия екатерининской эпохи, уже привыкшему к некоторому комфорту и вдохнувшему воздух свободы после манифеста о «вольности дворянской», подобное бесцеремонное обращение казалось «неслыханно жестоким»; еще большим унижением было лишение мундира и переодевание в арестантскую шубу, вычеркивавшее его из числа «порядочных людей». Потрясение от перехода из светского общества в темную и сырую камеру должно было сломить волю узника и морально подготовить его к даче правдивых показаний — так же как и зловещее молчание охраны, которой было запрещено говорить с заключенными. Всякое возмущение пресекалось: «Баять здесь не велят!» — с добавлением тюремного юмора: «Здесь келья — гроб, дверью хлоп» или «здесь Петра и Павла, надо говорить правду».

Первое впечатление от застенка было ошеломляющим. «В первые три дня моего заключения я никак не мог настроить свою голову ниже к малейшему порядочному суждению. Непрестанное воображение убийственного узилища, гробовая темнота и тишина, прерываемая иногда шептанием стражей, весьма похожих на ползание гадких насекомых, неизвестность течения времени, сердечная скорбь о милой, наверно страждущей супруге, лишение всего и без надежды когда-либо быть между своими, все сие, одно с другим непрестанно сталкиваясь и одно другое неизменно запутывая, производило в голове моей ужасную бурю, а в сердце мертвенное отчаяние», - описывал свое состояние Винский, кстати, к тому

уже знакомый со столичной долговой тюрьмой .

Однако постепенно узник приходил в себя и налаживал отношения с охраной. После трехдневной голодовки, когда он гордо отказывался от положенного в день пятака, организм взял свое, и молодой дворянин стал прислушиваться к увещаниям стражи, отвечавшей за его здоровье: «"Што, сударь, не покушаешь? Бог милостив, коли не виноват; а морить себя грех, тебя теперь пять алтын: вели, я сготовлю тебе кашицу знатную и калачик принесу. - Другой мой во рту все сухо. - Тотчас, батюшка, принесу чайку". За сим и скоро на самом деле принес он мне в горшочке сбитню и копеешную булку. Сие русское питьецо, освежив засохшие во мне соки, способствовало немало к успокоению моего духа, на другой день также по утру сбитень и булка, в полдень кашлица с говядиною, что продолжалось ежедневно во все время моего пребывания в сем казамате».

Через месяц арестант уже настолько освоился, что без смущения предстал перед следственной комиссией и выдержал нелегкий допрос. Явных или доказанных преступлений за ним не нашлось, и бинский был переведен в другую камеру - с окном, печью и некоторыми предметами мебели; из дома ему принесли одежду и стали выдавать на день 25 копеек (правда, из его собственных денег)" Скоро Винскому, обвинявшемуся в получении банковских ссуд с помощью подлога и обмана, и другим молодым дворянам, попавшим в крепость не по политическим, а по уголовным делам, разрешили жить вместе при ослабленном тюремном режиме: «Тотчас учредили компанию, старшиною поручика Пучкова. Через час явились у нас водка, вино и достаточный завтрак. Вытребовали фельдшеров, началось бритье». Затем заключенным были возвращены все отобранные при поступлении вещи, и они получили возможность свидания с друзьями и родственниками, которой пользовались до окончания следствия.

У «политических» узников порядки, конечно, были более строгие - но не у всех. Немецкий пастор

Христиан Теге, попавший в 1759 году под следствие по обвинению в шпионаже, оставил описание сухой и теплой камеры (похожей на ту, куда был переведен Винский после допроса): «Мой каземат был продолговатый. В передней поперечной стене его в углу была дверь, в той же стене, только с другого конца ее, было единственное окошко, около него у продольной стены стояла лавка, на ней положили для меня чистый тюфяк с двумя чистыми подушками, но без всякого одеяла, так что я должен был накрываться своей шубой. Далее была печь, топившаяся изнутри, в ней после варилось мое кушанье. У задней поперечной стены стояла лавка, на которой спали караулившие меня солдаты, а над дверью висело металлическое изображение Божией матери, перед которым солдаты совершали утренние и вечерние молитвы. Кроме этого, в каземате ничего не было: ни стола, ни стула и никаких принадлежностей для удобства жизни»²⁴.

Каждую камеру охраняли, как правило, три солдата, дежурившие круглосуточно по очереди. Малочисленный штат Тайной канцелярии был занят преимущественно бумажной работой — составлением и перепиской протоколов допросов и докладов. Доставкой подозреваемых и преступников занимались в основном местные военные и гражданские власти. Основную же работу по охране и конвоированию колодников в Петропавловской крепости выполняли офицеры и солдаты гвардейских полков — в первой половине XVIII века гвардия являлась не только элитной воинской частью, но и чрезвычайным рычагом управления, и кузницей кадров военной и гражданской администрации. Гвардейцев иногда использовали и для слежки за подозрительными людьми; правда, в этой роли они, даже переодетые в «мужицкое» платье, как правило, оказывались беспомощными. Так, придворный лекарь Арман Лесток в 1748 году сразу же обнаружил слежку и вместе со слугами захватил одного из неумелых «сыщиков».

Не всегда гвардейцы были исправными караульщиками. Запреты на разговоры с заключенными на-

рушались солдатами-стражниками во все времена. Если Винского тюрьма поначалу встретила неласково, то другой молодой дворянин, Александр Рибопьер, угодивший при Павле I в крепость за дуэль, вспоминал о своем пребывании там без особого страха. Граф Рибопьер был исключен со службы и потерял звание камергера; но «смотритель каземата» Павел Иглин и безымянный солдат из караула, участвовавшие в 1774 году в подавлении Пугачевского восстания вместе с его дедом А. И. Бибиковым, отнеслись к внуку сочувственно²⁵.

Шведский граф Гордт, служивший во время Семилетней войны прусским полковником, также остался доволен своей охраной: «Офицеры и стража привязались ко мне и почувствовали жалость к моей доле. В двух гренадерах я заметил особенно искреннее участие, они дали мне понять, что готовы на все, что только может облегчить мои страдания. Однажды вечером один из них сказал мне, что офицер ушел с дежурства и что если я хочу выйти прогуляться на воле, то увижу весь город иллюминированным — то был один из праздничных дней <...>. Я был в восторге <...>, и мы отправились вокруг крепости» (естественно, не снаружи, а изнутри). Графу удалось осмотреть в том числе и Петропавловский собор — караульный солдат запер его с провожатым и держал до тех пор, пока Гордт не раскошелился на золотой червонец; может, ради этой операции и была задумана неуставная «прогулка» узника.

Упомянутый выше пастор Теге писал, что его хорошие отношения с охраной определялись щедрыми пожалованиями на водку. По словам Теге, он настолько вошел в доверие к страже, что гвардейцы отдавали свои деньги ему на хранение. Любопытный пастор выучился у солдат русскому языку и беседовал с ними вопреки всяким запретам: «Добрые и услужливые, как вообще все русские, они старались развлечь меня разными рассказами. Так проходил не один бурный зимний вечер, и я жалел, что не мог записать некоторых в самом деле прекрасных рассказов, состоявших по большей части из русских сказок».

Эта почти рождественская история, сама похожа на сказку с хорошим концом (пастора, до того не имевшего прихода, в 1761 году выпустили без наказания и определили к месту), возможно, объясняется тем, что к иностранным подданным отношение было более либеральным. Теге получал в день по рублю так что мог не только ежедневно заказывать обед из четырех блюд, но и откладывать деньги; в его камере были стол со стульями и перина; он мог читать Библию, пользоваться личными вещами и получил позволение бриться. Таким же (по рублю в день) было содержание и у Гордта, жившего в каземате вместе с двумя лакеями и камердинером; у него горели не сальные, а восковые свечи. Обедал граф рябчиками и икрой, обзавелся целой библиотекой (сначала ему разрешили иметь религиозные, а затем и прочие книги) и даже переписывался с женой, хотя и не имел права назвать ей место своего пребывания. На допросы его почти не вызывали, и самым тяжелым испытанием для узника была «мертвящая скука», которой он противопоставил неизменно соблюдаемый распорядок дня: «День свой я распределил следующим образом: вставал в семь часов утра и до восьми завтракал, потом одевался, читал около часу; окончив чтение, я прогуливался по комнате в продолжение двух часов, то тревожимый грустными думами, то утешая себя приятными надеждами. В час пополудни солдат приносил мне обед. За столом я просиживал часа два и разделял свой обед со слугами, которые ели его в одном из углов моей комнаты, и с которыми я разговаривал, чтоб убить время; в три часа выпивал чашку кофею. С трех до пяти я опять прохаживался по комнате, как для развлечения, так и для поддержания здоровья. В пять возобновлял чтение, которое длилось до восьми часов. Очень легким ужином заканчивался мой день, а в десять я ложился спать»²⁶. От императрицы Елизаветы Гордт получил в подарок целый гардероб, включая зимний халат на меху, батистовые рубашки и шелковые чулки.

У пастора и графа не было возможности сравнивать различные апартаменты крепости, но во вто-

рой половине столетия они уже были четко разделены по категориям. В так называемом Комисском доме имелись два «номера» с перегородками, где стояли кровати с занавесью, зеркала, посуда «получше», включая серебряные ложки. Еще три «номера» были такими же, за исключением внутренних перегородок. В восьми камерах похуже были зеркало и «белье простое»; в семи «номерах» — только кровати и тюфяки без «столового белья»; в «казматах» из обстановки, согласно описи 1796 года, было «все простейшее»²⁷. В тюремных камерах Алексеевского рavelина на кроватях лежали «тюфяки с мочалом», подушки, «одеяла набойчатые»; стояли «столы простые», стул и «ношник жестяной»²⁸ — в камере постоянно должна была гореть сальная свеча.

С заключенными «подлого» звания особо не церемонились. Другое дело, что и российским «сидельцам» удавалось порой разжалобить охрану и даже использовать ее в своих целях, как купцу-авантюристу Ивану Зубареву, которому — если верить его показаниям — сам король Фридрих II поручил «скрасть Ивана Антоновича и отца его» и устроить бунт для возведения принца на престол.

В тюрьме Зубарев также не терял времени. Каптенармус Невского полка Дмитрий Алексеев был обвинен в том, что, «будучи он содержащегося в Тайной канцелярии колодника сибиряка купецкого человека Ивана Зубарева <...> на карауле, в противность данного ему от Тайной канцелярии приказа, допустил одного колодника до говорения им о себе слов <...> [и] по прозьбе того колодника принес он, Алексеев, к нему для написания оному колоднику к его высочеству (наследнику Петру Федоровичу. — *И. К. Е. Н.*) письма бумаги, чернильницу перо, позволил он тому колоднику написать оное его императорскому высочеству письмо». Товарищ Алексеева Иван Пронсков вручил это послание наследнику со словами: «Пожалуй, батюшка, милостивый государь, прими!» За такое попустительство солдат ожидали плети и соответствующие

обвинения канцелярии: «Арестантов слабо содержал и имел с ними, яко с неподозрительными людьми, обхождение»²⁹

Кроме караульных у заключенных имелось и другое малоприятное соседство — полчища насекомых. Конечно, в XVIII веке их было немало и на вполне комфортабельном постоялом дворе, и даже во дворце; но не все узники были настолько нечувствительны, что могли развлекаться «гонками» вшей или тараканов. Уже в 1828 году Главный штаб обратил внимание коменданта крепости на то, что «в некоторых казематах Санкт-Петербургской крепости находится множество мокриц, тараканов, прусаков и прочих насекомых, которые, кроме того, что внушают отвращение, могут вредить и здоровью содержащихся в оных», и призвал крепостное начальство принять меры «к очищению казематов от сих животных». Однако комендант генерал А. Я. Сукин явно считал опасность от «сих животных» штабными нежностями — отвечал, что лично он таковых не встречал и, по его сведениям, «во всех казематах, где арестанты содержатся, вышеозначенных насекомых не видно»; если они где-то и появлялись, то только «по причине сырости и чрезмерной теплоты» у нижних чинов, а потому их «истребление весьма затруднено»³⁰.

Кстати, «теплота» могла быть и в самом деле чрезмерной — Григорий Винский от жары сидел в своей камере в одной рубашке. Пребывание в таких условиях в сыром каземате отразилось на его здоровье плачевным образом: в первый же день, когда его вывели из темницы на допрос, он сразу за порогом упал без чувств.

Привезенные же в столицу подданные простого звания в обморок, скорее всего, не падали, хотя условия их заключения едва ли могли сравниться с описанными выше; но своих воспоминаний они не оставили. Однако рано или поздно все подследственные осваивались в заточении, откуда их неизбежно доставляли в «судейскую светлицу» на допрос.

Допросы подозреваемых, доносчиков и свидетелей

В петровское время допросы велись в Трубецком раскате крепости, где был устроен застенок для пыток и в комендантском доме, а позднее — в других принадлежавших Тайной канцелярии зданиях; но описаний этих помещений не сохранилось. Как уже не раз говорилось, штат Тайной канцелярии был невелик; поэтому для расследования особо важных дел о заговорах, в которых были замешаны видные сановники, и в аннинское, и в елизаветинское время создавались специальные комиссии, в состав которых включался глава Тайной канцелярии.

Так, Анна Иоанновна в 1734 году создала следственную комиссию по делу А. А. Черкасского, в 1736-м — по делу Д. М. Голицына, в 1738-м — по делу Долгоруковых, а в 1740-м - по делу кабинет-министра А. П. Волынского и его «конфидентов». В правление Анны Леопольдовны подобным же образом расследовались дела Э. И. Бирона и А. П. Бестужева-Рюмина, а при Елизавете Петровне — свергнутых вельмож прежнего царствования (А. И. Остермана, Б. Х. Миниха и Г. Левенвольде); затем Лопухиных, Лестока и того же Бестужева-Рюмина. Позднее подобные комиссии вели дело подпоручика В. Я. Мировича, пытавшегося в 1764 году освободить из Шлиссельбургской крепости императора Ивана Антоновича; следствие о Чумном бунте в Москве в 1771 году (комиссия во главе с Г. Г. Орловым); дело участников Крестьянской войны во главе с Емельяном Пугачевым (комиссии, подчиненные генералу П. С. Потемкину); следствия над А. Н. Радищевым, Н. И. Новиковым и вождем польских повстанцев Тадеушем Костюшко. В других случаях власть ограничивалась персональным прикомандированием к расследованию конкретной персоны — генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого (в регентство Бирона) или кого-либо из чинов поменьше, вроде гвардейского капитана.

В Тайной канцелярии или ее конторе всякое дело начиналось с «объявления» конкретным лицом ин-

формации или доношения какого-либо (чаще всего местного) учреждения о состоявшемся извете или аресте по «важному делу». Степень важности уже определяла сама канцелярия, нередко заключавшая что в указанном деле «никакой важности не признается». Но если таковая обнаруживалась, то присланные бумаги и колодники (обычно с доношением доставлялись и замешанные в дело лица) принимались, доношение и сопроводительные бумаги приобщались к делу, и начиналась процедура «розыска» доносчиков, обвиняемых и свидетелей.

Первые допросы, как правило, снимали опытные подьячие; но в *особо* важных случаях в «судейской светлице» присутствовали начальники сыскной службы. Первым в «ропросе» оказывался сам доносчик или объявитель «слова и дела». Он (затем и все привлеченные к процессу) давал присягу и «по заповеди святого Евангелия и под страхом смертной казни» клялся говорить только правду, а за ложные показания нести ответственность вплоть до смертной казни. Заявитель называл свое имя и фамилию, имя отца, социальное положение («из каких чинов»), возраст, место жительства, вероисповедание — всё это десятилетиями записывалось по стандартному образцу: «1722 года октября в... день, Ярославского уезда Городского стану крестьянин Семен Емельянов сын Кастерин распрашиван. А в распросе сказал: зовут де его Семеном, вотчины Семена Андреева сына Лодыгина Ярославского уезду, Яковлевской слободы крестьянской Емельянов сын Козмина сына Кастерина, и ныне живет в крестьянех; от рождения ему, Семену, пятьдесят лет и измлада прежде сего крестился он троеперстным сложением»³¹.

Далее расспрашиваемый излагал суть своего извета и, если умел, расписывался в протоколе допроса. Но это было лишь самое начало розыска, и не все изветчики оказывались к нему готовыми. Ведь их вместе с прочими заподозренными сажали в тюрьму; впрочем, иногда делались исключения — но по делам неважным или в случаях, когда у сыска не было оснований полагать, что доноситель скроется; упо-

мянутую в предыдущей главе «фулгерскую Жену» Матрену Григорьеву освободили «на росписку» (то есть на поруки) отставному солдату-преображенцу Федору Федорову.

Как уже говорилось, закон поощрял и защищал доносчика — до определенной степени. Чтобы выйти из дела не только целым и невредимым, но и получить «всемилоостивейшее награждение», он должен был непременно «довести» свой донос — доказать истинность обвинения; в противном случае он сам рисковал оказаться в положении преступника-лжедоносителя, которому, в свою очередь, грозила смертная казнь.

Изветчик доказывал обвинение с помощью фактов и свидетелей. Однако лишь незначительная часть подследственных, принадлежавшая к верхушке общества, могла располагать в качестве улики письмами, «прожектами» и прочими доступными для изъятия и приобщения к делу бумагами. Полученные при обыске документы, а также «репорты» проводивших его чиновников в канцелярии подшивались к делу в хронологическом порядке. Таким образом до нас хотя бы частично дошли частные бумаги героев следственных дел эпохи дворцовых переворотов — А. П. Волынского, П. И. Мусина-Пушкина, М. Г. Головкина, Э. И. Бирона.

Часть изъятых документов представляла собой подозрительные «тетрадки» с апокалиптическими и несомненно «развратными» толкованиями; в числе «вещественных доказательств» в делах сохранились конфискованные солдатские заговоры: «Укрепи, господи, на рати и на бою и на всяком месте от татар и от розных верных и неверных языков и от ратного всякого оружия <...>, а меня, раба своего Михаилу, сотвори яко же лева силою»³². Тоскливая жизнь с повседневной муштрой иногда доводила до страшного богохульства: рядовой Семен Попов, например, написал своей кровью «богоотступное письмо», где дьявола к себе призывал и богатства у него требовал <...>, чтоб чрез то богатство отбыть от военной службы». При делах о волшебстве в качестве изъя-

тых улик могли фигурировать и подозрительные «коренья».

Однако большая часть доносителей могла надеяться только на свою память и показания свидетелей: не дай бог было перепутать или исказить услышанное — любая неточность в передаче непристойных слов» или неверное указание места и обстоятельств, при которых они были сказаны, рассматривались не просто как ложный извет, а как преступные слова самого изветчика. Дополнения и уточнения их смысла («прибавочные слова») по ходу следствия запрещались — доносчик должен был сказанные ответчиком «хулительные речи» излагать «слово в слово», «не примешивая к тому от себя ничего», как требовал указ от 5 февраля 1733 года. Тут можно заметить, что иным изветчикам «примешать» кое-что очень хотелось, как автору одного из довольно редких в XVIII веке письменных доносов, сделанного по всей форме:

«Доносит государственной Вотчинной коллегии канторы регистратор Данила Федоров сын Воинов, а о чем мое доношение, тому следуют пункты.

Сего апреля 14 числа пополудни часу в 7-м был я, именованный, в квартире Медецынской канцелярии у щетчика Никифора Быкова. И в ту мою ж бытность случившейся у него, Быкова, отставной маэор Никифор Ефросимов говорил, что ваше императорское величество защитница вора, и никто о вашем величестве не молит Богу, как толко одне воры, и при том употреблял такую речь, что пруской король будет здесь, и он никогда побежден быть не может.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое доношение в канцелярию Тайных розыскных дел принять и о вышеписанном на ваше императорское величество хулении кем надлежит розыскать. А ежели помянутой хулник маэор Ефросимов станет чинить запирательство, то на избличение ево повелено б было взять бывших при том хозяина Быкова да Санкт-Петербургской губернской канцелярии камисара Ивана Савина.

Всемилоостивейшая государыня, прошу ваше императорское величество о сем моем доношении решение учинить.. Апреля ... дня 1760 году. К поданию надлежит в канцелярию Тайных розыскных дел. Доношение писал и руку приложил я, регистратор Данила Воинов».

Грамотный коллежский регистратор вроде бы все сделал правильно: в его доносе содержится точное изложение не подлежащих сомнению «хулений», указаны время, место их произнесения и очевидцы. Из доноса не видно, что между его автором и обвиненным существовали какие-либо личные обиды; просто мелкий чиновник уличил старого боевого офицера в преступном отсутствии патриотизма...

Дело об оскорблении величества и восхвалении — во время Семилетней войны — короля-«неприятеля» Фридриха II, которого Елизавета терпеть не могла, кажется, было ясным; но следователи Тайной канцелярии свое дело знали. Во-первых, автор не случайно не указал дату доноса — оказалось, что он промедлил сообщить о столь «вредительном» поступке на целый день, поскольку, по его словам, внезапно «сделался болен». Но именно тогда указанный им свидетель Иван Савин пришел к Воинову домой, чтобы напомнить ему о состоявшемся накануне разговоре. Выяснилось, что начал-то разговор сам Воинов, а при выходе из гостей поинтересовался у Савина, помнит ли он слова майора; таким образом он готовил почву для доноса. Так в ясном, казалось бы, деле стали проступать черты сговора, что не могло не насторожить следователей, по опыту знавших, что доносы часто делались из расчетов корыстных и к государственной безопасности отношения не имевших. К тому же оказалось, что Воинов почему-то «забыл» указать еще одного бывшего в том же доме свидетеля — на него сослался подозреваемый майор. И хозяин дома, и Савин подтвердить в точности «непристойные слова» не смогли: по их показаниям, разговор о «ворах» и прусском короле был, а оскорблений в адрес императрицы вроде бы не было.

Лучше всех держался сам ветеран Никифор Ефросимов (Афросимов), оказавшийся далеко не простаком. Он не прикрывался обычным «безмерным пьянством», хотя в устах 54-летнего драгуна эта отговорка выглядела бы куда как убедительно. Не запираясь старый солдат сразу стал рубить правду, при этом поиному расставив акценты: как же, говорили о снисхождении императрицы к подданным — «государы, ня ко всем милостива, а паче к ворам, и они де, воры за милостивую государыню Бога молят». И о войне беседовали — но именно о славных победах войск государыни; он же, Ефросимов, высказал искреннее опасение по поводу коварного Фридриха: бестия может внезапно вторгнуться в беззащитную Польшу, а там и до российских границ недалеко.

Кто точнее воспроизвел суть разговора, теперь установить не представляется возможным; но чиновники Тайной канцелярии признали более убедительными доводы старого офицера, а не молодой канцелярской крысы — посчитали, что именно лукавый канцелярист обратил майорское восхищение благодарностью верноподданных воров в неприличное указание на царицу — их покровительницу. Но все же застольный разговор на политические темы вышел за рамки приличия, и нужно было дать острастку всем его участникам. Дело было «оставлено» — Воинова не признали лжедоносчиком, а майора Ефросимова освободили с выговором: подобных бесед ему вести «весьма не надлежало», потому что «подал тем де Воинову к доносу на себя притчину» и попал в Тайную канцелярию. В общем, всем повезло.

Другие же доносчики за «прибавочные слова» или намеренное искажение сказанных речей бывали биты кнутом и отправлялись в ссылку, особенно если извечник в ходе следствия менял первоначальные показания или являлся человеком «подозрительным» уже побывавшим в застенке или осужденным преступником. Ответчики же, так и не «доведенные» доносчиком, но оговоренные в очень уж «важных словах», могли быть сосланы от греха подальше из столиц в дальние гарнизоны или в свои имения³⁴ -

После допроса извечника наступала очередь оговоренного. Ответчик также сообщал для протокола сведения о себе, а потом должен был дать объяснения по сути обвинения, о котором зачастую узнавал только на допросе; самого же доноса ему никогда не показывали.

В особо важных случаях «клиентов» Тайной канцелярии допрашивало ее руководство — лично Ушаков, Шувалов или Шешковский. Такими делами при Анне Иоанновне интересовались порой кабинет-министры, требовавшие преступника к себе. Дело обвиненной в волшебстве в отношении императрицы дочери генерала и сенатора князя Григория Юсупова Прасковьи сохранило — в передаче самой княжны — образец немецкого акцента в обращенной к ней речи самого Андрея Ивановича Остермана: «А сюда де ты призвана не на игранье, но о цем тебя спросили, о том ти ответствей»³⁵. Остерман присутствовал и при допросе князя С. Г. Долгорукова, что признал в 1742 году на следствии уже против него самого.

В подобных ситуациях допрос чинили по сделанным заранее «пунктам» (иногда они составлялись императрицей или генерал-прокурором). Так, свергнутому в ноябре 1740 года регенту Российской империи Эрнсту Иоганну Бирону было предъявлено 26 допросных «пунктов». Главное обвинение «бывшему герцогу» звучало достаточно риторически: «Почему власть у его императорского величества (младенца Ивана Антоновича. — *И. К. Е. Н.*) вами была отнята и вы сами себя обладателем России учинили?» На него же была возложена ответственность за болезнь Анны Иоанновны, которую он «побуждал и склонял к чрезвычайно великим, особливо оной каменной болезни весьма противным движениям, к верховой езде на манеже и другим выездам и трудным забавам».

Обвинители вспомнили, как Бирон «в самом присутствии ее величества не токмо на придворных, но и на других, и на самых тех, которые в знатнейших рангах здесь в государстве находятся, без всякого рассуждения о своем и об их состоянии крикивал и

так продерзостно бранивался, что все присутствующие с ужасом того усматривали». Правителю империи вменялось в вину, что он «никакого закона не имел и не содержал, ибо он никогда, а особливо и в воскресные дни, в церковь Божию не хаживал». Герцог был выставлен инициатором оскорбительных для чести императорского двора представлений когда «под образом шуток и балагурства такие мерзкие и Богу противные дела затеял <...> не токмо над бедными от рождения, или каким случаем дальнего ума и рассуждения лишенными, но и над другими людьми, между которыми и честной породы находились; о частых между оными заведенных до крови драках и о других оным учиненных мучительствах и бесстыдных мужеска и женска полу обнажениях и иных скаредных между ними его вымыслом произведенных пакостях уже и то чинить их заставляли и принуждал, что натуре противно и объявлять стыдно и непристойно».

Другой набор инкриминируемых Бирону преступлений был связан с императорской фамилией, которую регент позволял себе третировать «с великим сердцем, криком и злостью». Теперь ему припомнили, какие «уничтожительные и безответные его поступки были к императорской фамилии и особливо к ее высочеству, правительнице Анне, и к его высочеству герцогу Брауншвейг-Люнебургскому (родителям младенца-императора Ивана Антоновича. — *И. К. Е. Н.*), <...> и все с крайним сожалением и ужасом видеть и смотреть принуждены были». Бирона обвиняли в том, что он «безбожно старался разными непристойными клеветами и злоумышленными внушениями ее высочество как прежде, так я после совершения брака оной, у ее императорского величества в подозрение привести и милость и любовь от оной отвратить». Герцог должен был ответить на следствии, какими «бессовестными внушениям» он действовал на умиравшую Анну, «дабы оную ко вручению ему регентства склонить».

Расследование показало, что в последние годы царствования Анны Иоанновны Бирон стал позво-

ть себе откровенное хамство в отношении не только нижестоящих, но и особ «знатнейших рангов». Многолетнее пребывание на вершине власти постепенно убедило герцога в собственной исключительности — и он вышел за рамки четко им осознаваемых в начале карьеры правил поведения фаворита «службы ее величества». Обвинения же его в служебных злоупотреблениях выглядели, напротив, весьма неконкретно: «Во все государственные дела он вступал, и хотя прямое состояние оных ведать было и невозможно, однако ж часто и в самых важнейших делах без всякого, с которыми [людьми] надлежало, о том совету по своей воле и страстям отправлял, и какие от того в делах многие непорядки и государственным интересам предосуждения приключались, о том он сам довольно ведает и признать должен».

Едва ли не самым главным стало обвинение в допущении «приватизации» «торгов и заводов не токмо к явному казенному убытку, но и с превеликою обидою и разорением здешних российских подданных, которые, надеясь на опубликованные от его императорского величества, блаженнейшей памяти Петра Великого манифесты, многие тысячи собственного своего капитала в те заводы положили, его старательством чужим отданы». Правда, непонятно, кто и сколько успел вложить в те казенные предприятия, которые затем были отданы «чужим», и как много их было, ведь ни массовой раздачи заводов (за исключением приватизации саксонцем Шембергом предприятий, разрабатывавших месторождения горы Благодать), ни наплыва иностранных предпринимателей при Бироне не произошло. Похоже, организаторов следствия интересовали не предполагаемые убытки российской экономики, а конкретное благосостояние герцога. Здесь вопросы были точны и конкретны: «Что ему от ее величества прямо жаловано деньгами, алмазами и другими вещами? Что он сам взял казенного и от партикулярных, и в которое время? Что ему от других чужестранных государей подарено и пожаловано, и в которое время?»

Сколько денег и другого богатства и пожитков он вне государства отправил, куды и где ныне находится?»

Обвиняемый такого уровня писал ответы либо сидя перед следователями на допросе, либо в своей камере, для чего ему выдавали запрещенные обычным заключенным бумагу, перо и чернила. В менее важных «розысках» слова ответчика записывали канцеляристы. В протоколах допросов они располагали вопросы в левой части страницы, а ответы — справа напротив. Вначале составлялся черновой вариант который потом переписывался; на этом беловом экземпляре ответчик ставил свою подпись.

Отвечать на подобные приведенным выше риторические обвинения было всегда трудно, тем более что опальный вельможа хорошо знал: приговор предрешен. Исход же рядового дела в Тайной канцелярии был не таким однозначным. Трудно приходилось доносчику, если он слышал «непристойные слова» или узнавал нечто по «первым двум пунктам» без свидетелей и не смог представить доказательств, особенно когда ответчик «не винулся». В таких обстоятельствах очень многое зависело от опыта следователя и его умения разговорить и «расколоть» обвиняемого, для чего годились угрозы и шутки, использование растерянности подследственного и обещание милости.

Протоколы всей сложности этой игры не отражают, но мемуары могут помочь представить ощущения человека на допросе у «злого» следователя, к которому попал Григорий Винский. Сначала следователь сослался на монархиню, которая, «как мать, соболезнующая о своих детях, объявила свое соизволение, чтобы комиссия пеклась более всего возбудить в каждом преступнике раскаяние и заставь его учинить самопроизвольное, искреннее признание, обещая чистосердечно раскаивающемуся не только прощение, но и награждение». Но тут же он обещал «непокорным ее воле, за утаение малейшей вины, жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние»; затем добавил, что «все твои деяния, до малейших, комиссии известны».

После такого вступления «показался из другой горницы человек с белою бумагою и пером в руках, сел у конца стола, написал несколько строк, потом спрашивает меня: "Как зовут? Которой поп крестил?" и пр. Что касается до допроса, я <...> ответы мои располагал так, что и самых шалостей подверховно касался, не высказывая однако ничего явно. Багор (кличка следователя. — *И. К. Е. Н.*) иногда вмешивался в вопросы, стараясь меня спутать, как в вопросе: "За чем ты приехал в Петербург?"

— Потому, что по моей отставке я имею право жить, где захочу.

— Да чем ты живешь?

— Деньгами.

— Откуда ты их берешь?

— Получаю из дому.

— Чать по трактирам?

— Трактиры правительством позволены.

— Да там много делается непозволенного?

— За сим есть надзор.

— Да, надзор, знаем, брат, что полицейские с вами заодно.

— По крайней мере, я с ними никогда не бывал в деле".

Когда дошли до Банка, Багор снова вмешался: "Ну, а как же ты денежки-та получил?"

— Как обыкновенно получают.

— Нет, сколько ты дал Адамовичу, али его зятю?

— Ни копейки, ибо я не знаю и никогда не видал ни того, ни другого"».

Внезапно на твердо державшегося арестанта следователь «заревел страшным голосом: "Ах, ты лжешь, нарядный вор, и ты отпираешься, что не знаешь Адамовича, банкового судью, а из Банка деньги взял?"»³⁶. Не у всех хватало сил выдержать такой напор (а Винский, напомним, обвинялся даже не по политическим «пунктам») после ареста, путешествия в кандалах и пребывания в мрачных «казматах» в компании с пытаными или изможденными «розыском» людьми.

Для многих арест, заключение и допрос были первой в их жизни встречей с непонятной и — в от-

личие от знакомого местного начальника или помещика — чуждой простому обывателю государственной машиной. Потрясение могло вызвать путаницу на допросе. Перепуганный насмерть арестант-провинциал Григорий Скорой позднее объяснял сбивчивость своих показаний: «Сперва в допросе от него, отца своего, отперся и сказался не сыном ево подлинно для того, что в допросех нигде не бывал, а не для другова какова умыслу и покрывательства, также назвал онаго отца своего дьяконом, хотя выправится, а он де отец ево подлинно не дьякон и никогда никем посвящен не бывал». Обвиняемый не только оказывался в пугающей обстановке, но и вынужден был объясняться со следователем на чуждом ему канцелярском языке с его особыми терминами и категориями. Далеко не все могли дать ответ даже на простые вопросы — как мать «бесоодержимой» девочки: «Девки Ирины Ивановой мать ея калмыцкой породы Марина Артемьева при увещании сказала: родом де она женка Марина какой нации и колико ей числитца от рождения ныне лет, за древнею своею старостию и за оскудением ея ума сказать ничего не упомнит»³⁷.

Часто встречающееся в документах следствия понятие «увещание» подразумевало не только угрозы, но и уговоры подследственного, и попытки его переубедить и даже вступить с ним в дискуссию (особенно на следствии по делам раскольников). «Увещателями» выступали не только подьячие, но и священники — призывали подследственных «с прещением Страшного суда Божия немалою клятвою» говорить правду, не доводя дело до пытки невинных людей. Для верующего человека, знавшего за собой преступление, это становилось тяжким испытанием; но все же признаваться спешили не все.

Иногда ответчик «винился» сразу, если понимал, что действительно спьяну или в азарте ссоры сказал нечто «непристойное» и может быть уличен свидетелями. В этом случае он старался убедить следствие в том, что никакого «умысла» в его действиях не было, а совершены они были исключительно «с простоты»

обмолвки или с пьяных глаз, отчего он ничего не помнит — но и спорить с обвинением не станет, а просит его простить. В этом смысле характерно поведение попа Ивана Леонтьева, явившегося в 1759 году в караульную московского Данилова монастыря (в котором он сидел «под началом») и пославшего всех там находившихся: «Мать де вашу прогребу и с государынею». Свидетели указали, что Леонтьев пребывал в «небольшом пьянстве», сам же поп настаивал на пьянстве «безмерном», каковое должно было извинить его поведение. Но батюшку, уже до этого случая проштрафившегося, наказали по полной программе: кнутом, снятием сана и отправкой на Соловки³⁸.

Пресловутая «простота» в данном случае могла быть обычной маской обывателя. Но чиновники Тайной канцелярии в своих клиентах разбирались и умели отличить действительную мужицкую незатейливость от лукавства. Однако такой подследственный приносил меньше всего хлопот: после признания вины и подтверждения ее свидетелями (при их наличии) доносчика можно было отпустить, а дело закончить, определив виновному меру наказания.

Но иногда ответчик «запирался». Да и что было ему делать, если согласиться с доносом означало признаться в совершении государственного преступления? К тому же для подтверждения признания ответчика все равно пытали, хотя об этом он мог и не знать заранее. Поэтому он предпочитал ничего не признавать или утверждал, что говорил или делал не То и не так, как представил изветчик.

Все показания тщательно фиксировались. Если исходным моментом следственного дела служило «доношение» конкретного лица или учреждения, то основным его материалом становились «расспросные речи» — показания допрашиваемых, скреплявшиеся их подписями (если, конечно, они были грамотными). Расспросные речи XVIII века, по сравнению с подобными

документами предшествовавшего столетия, обычно более подробны.

Малейшие расхождения в показаниях немедленно вызвали новые допросы всех участников дела.

Далее уже от следователя зависело, чьи показания и поведение считать более заслуживающими доверия. Об этом трудно судить читающим следственные бумаги спустя два-три столетия; можно только констатировать, что во многих случаях чиновники Тайной канцелярии считали, что основания для обвинения были. Тогда записи допросов, по словам современного историка Е. В. Анисимова, «отличаются необыкновенной гладкостью и не содержат ничего, что противоречило бы замыслу следствия. Они никогда не фиксируют сколь-нибудь убедительных аргументов подследственных в их пользу, зато часто ограничиваются дежурной фразой отказа от признания вины: "Во всем том заперся"»³⁹.

Чем увереннее держался в этой ситуации ответчик, тем больше было у него шансов выйти сухим из воды. К примеру, Бирон, в начале заключения павший духом, скоро оправился — на поставленные вопросы отвечал уверенно и своей вины не признавал. «Бывший герцог» опровергал обвинения в преступно небрежном отношении к здоровью Анны Иоанновны — рассказывал, как ему приходилось отговаривать ее от верховой езды или «докучать, чтобы она клистир себе ставить допустила, к чему ее склонить едва было возможно».

Бирон на следствии не спорил по поводу допущавшихся им грубостей — просто заявил, что такого «не помнит»; но всё, что могло быть истолковано как оскорбление членов царствующего дома, он решительно отрицал: «Никаких его уничтожительных и безответных поступков к высочайшей императорской фамилии, а особливо к ее императорскому высочеству правительнице, государыне великой княгине всея России и к его высочеству герцогу брауншвейг-люнебургскому не бывало <...>, также и его высочества поступков при ее императорском величестве ни публично при чужестранных министрах, ниже приватно не хуливал <...>, ее высочеству в своих покоях именно сам представлял, что не соизволит ли ее высочество лучше сама в правительство вступить, или оное супругу своему его высочеству герцо-

брауншвейг-люнебургскому поручить; на что ее императорское высочество ответить изволила, что она, кроме здоровья его императорского величества ныне счастливо владеющего государя императора и общей в государстве тишины, ничего не желает <...>, когда его высочество к низложению тех чинов первое намерение восприял, и в то время он его всячески отговаривал, представляя, что те чины ему позволены <...>, угрозив высоким родителям его императорского величества как приватно, так и публично никаких от него не бывало».

Столь же упорно он объяснял следователям во главе с генералом Г. П. Чернышевым, что избрание в регенты состоялось усилиями советников Анны, а он лишь, в конце концов, дал свое согласие. Свергнутый временщик настаивал на том, что напрасно никого не арестовывал и «до казенного ни в чем не касался», рассказав об источниках своих доходов. В ответ на обвинение в «обидах» и «разорениях» он попросил представить обиженных его «несытством». Свои переговоры, а иногда и конфликты с иностранными послами Бирон уверенно объяснял заботой «о российской славе»⁴⁰.

Следователи жаловались, что своего подопечного в Шлиссельбурге «сколько возможно увещевали, однако ж он, Бирон, почти во всем, кроме того, что хотел с высоким вашего императорского величества родителем, его императорским высочеством, поединком развестись, запирался». Тогда арестанту объяснили, что его «бранные слова» в адрес Анны Леопольдовны и ее мужа «довольно засвидетельствованы», и потребовали от него «все то дело прямо объявить» — в противном случае его будут содержать «яко злодея». Будучи обвиненным в оскорблении величества, «он, Бирон, пришел в великое мненье и скоро потом неотступно со слезами просил, дабы высочайшею вашего императорского величества милостию обнадежен был, то он, опамятовався, чрез несколько дней чистую повинную принесет, не закрывая ничего, а при том и некоторые свои намерения, чем вашему величеству обстоятельно донесет

<...>, а ежели де что он и забудет, а после ему, Бирону припамятовано будет, и о том сущую правду покажет без утайки, и того б ради дать ему бумаги и чернил, то он ныне напишет к высоким вашего величества родителям повинную в генеральных терминах, а потом и о всех обстоятельствах».

Обнадеженный «высочайшим милосердием», Вирон 5 и 6 марта 1741 года подал новые собственноручные признания; однако никаких важных «обстоятельств», на которые надеялись следователи, они не содержали. Бирон согласился с тем, что «ближних их императорских высочеств служителей без доклада забрать велел», обещал призвать «голстинскаго принца», а дочь свою собирался выдать за принца дармштадтского или герцога саксен-мейнингенского. Он вспомнил, что называл Анну Леопольдовну «каприжесной и упрямой» и рассказывал о том, что она однажды, осердясь, бранила нерасторопного камергера Федора Апраксина «русским канальею». Наконец, арестант признал, что был недоволен, что принцесса «кушает одна с фрейлиною фон Менгденовою, а пристойнее б было с супругом своим, и она де фрейлина у ее императорского высочества в великой милости состоит».

Но в то же время свергнутый временщик снова категорически отказывался от главного обвинения — в стремлении любой ценой получить регентство: «Брату своему, ниже Бестужеву, челобитья и декларации готовить я не приказывал; ежели же он то учинил, то должно ему показать, кто его на то привел», — и настаивал, что никаких «дальних видов» не имел и собирался быть регентом только до тех пор, «пока со шведским королем в его курляндских претензиях разделяется».

Другие высокопоставленные сановники не были столь последовательны, как Бирон, в отрицании своей вины и обычно «ломались» на следствии, подобно А. П. Волынскому, валявшемуся в ногах у членов следственной комиссии. Но и он, признавшись во многих служебных проступках и взяточничестве, даже после двух пыток категорически отрицал намере-

ние произвести дворцовый переворот: «Умысла, чтоб себя государем сделать, я подлинно не имел». Однако в таких процессах роли были уже заранее распределены.

Не столь важные персоны иногда умело отстаивали свою невиновность. Взятый под арест в сентябре 1719 года «малый» Иван Бабушкин из Зарайска боролся упорно, хотя обвинение было на редкость тяжелым и подтверждалось уликами. За месяц до того в Астрахани подьячий Григорий Емельянов «приличился <...> в некоторых кражах и сыскан пьян, за что ему учинено наказанье, бить плетьюми, а под наказанием сказал, что он имеет важные царственные письма и есть за ним государево слово, и ведает умысл против здоровья его царского величества, и то письмо лежит у него в скрыне». Текста обнаруженного магического заговора было достаточно, чтобы возвести его автора на плаху: «Лежит дорога, через тое дорогу лежит колода; по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку да ушат воды, песком ружье заряжает, водою ружье заливает; как в ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел; а он бы, оберегатель мой, по всегда бодр был; а монарх наш, царь Петр, буди проклят, буди проклят, буди проклят». Емельянов в расспросе заявил, что, будучи родом из Зарайска, нашел письмо на огороде отца Ивана Бабушкина, когда шел к ним в дом; автором же его является сам Иван, поскольку «письмо руки его Ивановой он, Григорей, знал».

Восемнадцатилетний Иван сначала, увидев въезжавших на двор драгун, испугался и кинулся бежать; несколько дней прятался на «огородах», а потом осмелел и рискнул явиться в дом, где его и взяли. Попытка скрыться также говорила против него. Но в Преображенском приказе после предъявления уличавшего его письма грамотный юноша стал защищаться, объявив: «То письмо сверх 7 строк и в 8-й строке 3 слова такие были "а монарх наш" да в 9-й строке первое слово "буди проклят, буди прокля" и в 10 строке "буди прокля" всего его Ивановой руки; а в тех же 3-х строках в 8-й "царь Петр", да в 9-й и в 10-й

последние по два слова по тверду да по еру не его Ивановой руки, другой руки, приправлены они после его Иванова написания; а кто их вписал и приправил, того он, Иван, не знает». После его показаний, что «вышеписанное письмо опричь помянутых приправок писал он, Иван, своею рукою тому с год прошлого лета; а в которое число не упомнит, будучи в Зарайску в доме Строгановых, в котором отец его с ним, Иваном, живет в верхней светлице при зарайчанине Григорье Емельянове, прозвище Кочергин, с его ж Григорьевых слов», стало ясно, что сам доносчик просил Ивана записать якобы известный ему заговор «от ружья»: «Григорий велел ему взять бумаги с чернилами; и как он чернила да бумагу взял, и Григорий стал ему сказывать, а он, Иван, писать, и написал то вышеписанное письмо, которое ныне ему показано; только в том письме в то время вышеписанных слов в 8-й строке царя Петра было не написано, велел ему тот Григорий в том месте оставить порозжее место, и он по тому его велению то порозжее место оставил; в 9-й да в 10-й строках к концу велел написать "прокля", а твердо с ером дописывать ему в обеих строках не велел; а для чего он вышеписанное место оставить и в дву местах по тверду да по еру дописывать не велел, того он, Иван, не ведает; так же в том письме "монархом" кого он, Григорий, велел ему написать, он, Иван, не знал, да и Григорий о том ему не сказал же и не растолковал, и по се число о том, что зовется монарх, не знает».

Это «опознавань» показалось чиновникам приказа основательным. На очной ставке с доносчиком Иван свои показания подтвердил, а подьячий, напротив, заявил, что Иван его «клеплет напрасно», а письмо он действительно поднял на его огороде. Единогласия достигнуто не было — стороны остались при своих показаниях. Но после очной ставки караульный капитан Максим Мошков доложил, что Емельянов стал нервничать: «драл на себе волосы и являет себя, будто он во исступлении ума своего с притвором или сущою болезнью, познать мне невозможно, чтоб о том повелено было освидетельство-

вать". Врачебная экспертиза в лице «аптекарского "лекаря" Прокофия Серебрякова установила: «Ныне в нем, Григории, болезни никакие нет, и телом своим всем он здоров; а скорбь объявляет он в себе своим притвором».

На новой очной ставке «в застенке до пытки» коварный подьячий, испугавшись, признался в своем умысле «подставить» Бабушкина-сына: «А то де письмо ему Ивану Бабушкину он, Кочергин, писать велел по своему вымыслу для того: в прошлых годах отец его, Кочергина, зарайчанин посадский человек Емельян Кочергин у Иванова отца у Василья Бабушкина занимал денег 100 рублей в кабалу и те заемные его деньги ему Василью Бабушкину заплатил все сполна, и Василий Бабушкин отцу его заемной его кабалы не отдал, так же и отписи в приеме тех денег не дал же. И по тому его вышеписанному Ивана Бабушкина написанному письму он Григорий Кочергин впрод его Ивана Бабушкина и отца его Василья хотел устраивать, чтоб он, Василей Бабушкин, вышеписанную заемную кабалу на отца его Емельяна выдал; а как бы тое заемную кабалу выдал, и то его Иваново письмо хотел он отдать им, Бабушкиным <...>. А в первом де роспросе так же и с первой пытки он, Гришка, сказал, будто то вышепомянутое письмо его Иваново Бабушкина он, Гришка, поднял на огороде Василья Бабушкина и, познав в том письме его Иванову руку, хотел с тем письмом ехать в Санкт-Петербург и объявить его царскому величеству самому, а против Ивановых слов Бабушкина в том, что то письмо писано в доме Василья Бабушкина с его, Тришкиных, слов, а не на огороде поднято, заперся и совершенной правды о том по се число не сказал по вышеписанной злобе на Василья Бабушкина»⁴¹. Свое признание неудавшийся шантажист подтвердил на Дальнейших допросах — но уже, как полагалось, «с трех пыток и с огня»; после чего отправился в Сибирь битый кнутом и с вырванными ноздрями.

А дьячок Василий Козьмин из села Лобанова Коломенского уезда стоял насмерть и «свою руку» в подметном письме с обвинениями в адрес приказчи-

ка Александра Черкасова не признал — несмотря на то, что сослуживцы его почерк определили. Хорошо что дело оказалось «не большой важности» — всего-то об убийстве барским приказчиком трех мужиков но без всякой политики; упорного дьячка в 1760 году отпустили даже без наказания⁴².

Еще одной следственной процедурой был «повальный обыск» — массовый опрос соседей или сослуживцев подследственных с целью выяснения их личностей и установления фактов, которые могли бы помочь следствию. Отдельно содержались допрошенные и ожидавшие своей очереди. Иногда за несколько дней процедуре «повального обыска» подвергались десятки людей.

В июне 1721 года тульский воевода Иван Данилов распорядился: подьячего Павла Петрова за «противные слова и за другие многие его приказных дел неотправу, и за отбывательство от приказу <...> отвести в канцелярию под караул и велел посадить на цепь». В результате этих воспитательных мер подьячий объявил «слово и дело» — себе на беду, поскольку в ходе следствия в его бумагах были найдены пропавшие из канцелярии документы и «воровская еретическая записка»: «Как дорога ни дохнет, ни охнет, так бы предо мной, рабом Божиим имяреком, ни дохнул, ни охнул всяк человек». Эту «записку» он якобы взял из следственного дела колесованного казнокрада Мины Буслаева, которому она, очевидно, не помогла. В Преображенском приказе Петров признался, что заговорное письмо записал со слов другого подьячего, Андрея Михайлова, к которому воевода был «добр» — не иначе под воздействием этого заговора. Однако произнесение магической формулы вслух по дороге на службу самому Петрову удачи не принесло: воевода по-прежнему строго спрашивал с него — «за то неотправление приказных дел бил его, Павла, батоги перед канцеляриею». Разуверившись в силе заговора, подьячий стал искать более действенное средство снискать начальственную милость и купил у какого-то «мужичка» за гривну «коренья», которые стал носить на службу в кафтанном кармане; но

и они не помогли В Преображенском приказе к истории лодыря-подьячего отнеслись серьезно. Начались поиски знатоков волшебных «кореньев» для усиления «доброты» начальства. Они — отставной служка Борисоглебского монастыря Тимофей Мокруша и крестьянин Илья Афанасьев — были пытаны, и Мокруша во время следствия умер. Происхождение же «записки» установить не смогли. Присланный скованным к следствию Андрей Михайлов уверенно заявил, сославшись на своего духовника, что «еретичества и волшебства за ним нет»; коллега же Петров «клеплет напрасно». На очной ставке Павел Петров повторил: «Вышеписанные де слова, как сказал он, Павел, в роспросе, тот Андрей подлинно говорил и приворотные слова записывал он, Павел, с его Андреевых слов, как он ему сказал; и тем его, Андрея, не клеплет».

Михайлов с чистой совестью просил «сыскать о нем, Андрее, и о том Павле на Туле повальным обыском; а по сыску де кто какого состояния человек явится». Его оппонент с подобными предложениями не выступал: «В повальном обыске он, Павел, не шлется для того, что у того Андрея на Туле есть многие сродники и скажут по том Андрее неправду; а он, Павел, человек безродный; а отец его Павлов на кааторгу сослан ли, и за какую вину не знает, потому после отца своего остался он, Павел, только 3-х лет», — но от своих показаний не отказался и под пыткой. Тогда и был проведен «повальный обыск»: «в сыску 1 человек туленин градской священник, а того Михайлова отец духовный, по священству сказал: тот де Михайлов сын ему духовный и по исповеди его святых тайн сообщается, а в 720 году в июле болен был и исповедыван; а волшебства и еретичества и к тому иных причин за ним нет, и человек он Михайлов добрый. Туляне ж посадские люди по именам 68 человек по заповеди святого Евангелия и под страхом смерти сказали: Андрей де Михайлов человек добрый и воровства и еретичества и иных никаких причин за ним нет; а Павел Петров живет постоянно ль, еретичество за ним есть ли, не знают. Подьячие по

именам 12 человек сказали: Андрей Михайлов в 720 году в июне, в июле, в августе, и в сентябре болен лежал, и исповедыван, и в канцелярию не хаживал; а Павел Петров человек не постоянный, пьяница, и будучи для интересных дел в уезде, чинил уездным людям обиды, и за то наказан был по часту; он же, крадучи из канцелярии приказные дела, нашивал к себе в дом, которые в доме его и выняты». Видно, очень уж был Петров вздорным и нечистым на руку, если даже свой брат подьячий так его аттестовал.

Массовый опрос свидетелей решил дело в пользу Михайлова. Павлу Петрову с его предосудительным моральным обликом не помогли ни заговоры, ни собственная стойкость (он был «пытан трижды и огнем сжжен», но от обвинений не отказался); а образцового служащего и примерного христианина Михайлова даже не стали пытаться. «Обликованного» Петрова И. Ф. Ромодановский повелел было отправить в Надворный суд по делу о взятках, а затем вернуть по принадлежности и «бив кнутом нещадно, послать в Сибирь с женою и с детьми на вечное житье». От Сибири подьячего спасли не малоэффективные в «регулярном» государстве «коренья», а милостивый указ государя об амнистии по случаю Ништадтского мира. В 1723 году он был отпущен домой под подписку «ни с какими ворами не знаться и причинного к волшебству и ни к какому воровству не принимать». Он отбыл в Тулу с сопроводительным документом: «Дан сей пашпорт из Преображенского приказу Тульской провинциальной канцелярии подьячему Павлу Петрову для того: в прошлом 721 году июля в 15 день прислан он, Павел, в Преображенской приказ из Тульской провинции для того, будучи он в той канцелярии за караулом и за неисправление приказных дел, хотели посадить его на цепь, и он сказал за собою великое его императорского величества дело; и в Преображенском приказе о том деле следовано им, Павлом, розыском, и по следованию по его императорского величества указу из Преображенского приказу он, Павел, освобожден и отпущен на Тулу в дом его по-прежнему; и от Москвы до Тулы в городах и

на заставах о пропуске его, Павла, чинить по его императорского величества указу. Декабря 4 дня 723 году*⁴³ -

Следствие по «второму пункту», в соответствии с указом от 10 апреля 1730 года, могли вести местные «ласти. Но подавляющая часть политических преступлений состояла в «непристойных словах» в адрес императорского величества, то есть касалась «первого пункта». Однако везти подследственного в столицу было накладно, а часто и невозможно, ведь иногда это был путь длиною в тысячи верст — например, из Усть-Самарского ретраншемета — далекой крепости на южной границе. О доносе, поданном 26 августа 1739 года капралом расквартированного там Муромского полка Семеном Михеевым на подпрапорщика Киевского батальона Никанора Хворостинина в произнесении «непотребных слов», командир гарнизона майор гвардии Елизаров тут же доложил старшему по чину на линии — генерал-лейтенанту Н. Ю. Трубецкому, а тот отправил в Тайную канцелярию пакет с первым допросом извечника.

Капрала допрашивал его полковой командир Деметьев по принятому в «кригсрехте» (военном суде) образцу. Ему задавали стандартные вопросы: «Как тебя зовут и какого полка?», «Сколько тебе от роду лет; из каких чинов?», «В службе ее императорского величества с какого году, месяца и числа ты обретаешься?», «О верной ее императорскому величеству службе присягал ли ты?» — и обязательный для служивого: «Военный артикул и указы ее императорского величества ты знаешь ли?» Далее во исполнение указа 1730 года следовал вопрос: «Знаешь ли ты, в чем государственные дела, касающиеся к важности, и опубликованный указ, и в которых пунктах? И по оным пунктам, по которым знаешь Киевского батальона за подпрапорщиком Никифором Хворостининым?» Доносчик не смог объяснить, «по которому пункту» обвиняет, поскольку указа «не упомнит». Перед следователем стояла непростая задача: попытаться выяснить истинность доноса, ни в коем случае не затрагивая суть «непотребных слов». Для него

достаточным оказалось заверение Михеева, что она состоит «в злом умышлении на ее императорское величество» и он «подлинно об этом доказать может», тем более доносчик привел имена свидетелей подпрапорщика Матвея Кузнецова и капрала Василия Афанасьева и заверил своей подписью, что показал «сущую правду».

Тайная контора сочла инцидент достойным внимания и решила вызвать всех фигурантов в Москву, но это оказалось невозможным из-за свирепствовавшей на юге чумы и объявленного карантина. В этой ситуации Ушаков повелел Трубецкому расследовать дело на месте «весьма секретно». Но «паркетный» генерал-лейтенант выехать в ретраншемент не рискнул и возложил ответственность на гарнизонное начальство, приказав вести делопроизводство «своеручно». Не очень опытные в судебной казуистике офицеры долго и малоуспешно пытались выяснить обстоятельства, приведшие к доносу. Доносчик показал, что при обсуждении в казарме последних известий с фронта Русско-турецкой войны — о пленении 6 тысяч турок и 12 тысяч татар — грубый подпрапорщик не только не возрадовался, как полагалось преданному служаке и патриоту, но выразился «матерны» и заявил: «Оное шелмино счастье!» — в адрес самого главнокомандующего фельдмаршала Миниха. Хворостинин же утверждал, что всего лишь пожелал вслух: «То бы де и счастья, кали бы де государыне нашей дал Бог мир». Допрос свидетелей дела не прояснил: одни подтверждали слова доносчика, другие заявляли, что такого не слышали, а третьи показали, что подпрапорщик в сердцах заявил: «Так де их разгреб и с етим щастием!» — что относилось равно и к фельдмаршалу, и к самой императрице. В конце концов, следствие только *сумело* квалифицировать преступление не по первому, а по второму «пункту». Получил отставку полковник Дементьев, умер главный следователь Елизаров, а затем в апреле 1740 года и сам обвиняемый Хворостинин, так и не признавший свою вину.

Трубецкой, как видно, решивший спустить дело на тормозах, докладывал, что в нем «важности вели-

кой не уповаешь»; однако Тайная канцелярия полагала иначе — опять затребовала доносчика в Москву.

Конца у объемистого дела не сохранилось; однако, кажется, капрал Михеев оказался главным пострадавшим— больше года просидел в крепости под стражей, а в Москву (из-за эпидемии или по иной причине) так и не был отправлен⁴⁴.

Если подследственный не путался в показаниях, а ясно и аргументированно вину отрицал, то вся надежда доносчика была на свидетелей. Но еще Соборное уложение 1649 года требовало полного совпадения их показаний с текстом доноса; достичь такого унисона, без разночтения в деталях, было непросто даже в случае, если само обвинение они подтверждали. Правда, иногда свидетели — из-за боязни, что их сочтут недоносителями, то есть фактически соучастниками обвиняемого, — сами подталкивали доносчика к действию, как в случае с солдатом Седовым, выразившим желание «ушибить» Анну Иоанновну кирпичом за то, что предпочла одарить деньгами мужика, а не служивого.

Однако часто при допросе свидетели уклонялись от дачи показаний, ссылаясь на то, что в момент совершения преступного действия были пьяны или отлучились (на двор, в другую комнату, на крыльцо), разговаривали с кем-то или стояли далеко. Ведь если следствие выясняло, что свидетели преступления не Донесли о нем, они тут же могли превратиться в обвиняемых. Тогда им оставалось только оправдываться, что «не доносили долгое время <...> простотою»; Тайная канцелярия предписывала таковых для вразумления «бить плетью и освободить». В такой ситуации свидетель думал прежде всего о собственной судьбе, а не о подтверждении доноса; при этом мог ненароком «подставить» самого доносчика и облегчить судьбу его жертвы, особенно если донос был «притянут за уши». Под угрозой наказания за клятвопреступление такой свидетель иногда начинал давать показания «порознь» с назвавшим его доносчиком; в делах встречаются ссылки ответчика на представленных обвинителем свидетелей. Но быва-

ло и наоборот: обвиняемого уличали свидетели, на которых сам «из воли своей слался»⁴⁵.

Поскольку политический процесс не имел четкой правовой регламентации, то извetchиком и свидетелями имели право выступать колодники и «ведомые» преступники. Их доносы вполне могли быть вымыслены, «избывая смертные казни», и следователи должны были распознать возможный сговор.

В случае если обвиняемый твердо стоял на своем и вины не признавал, отказ даже одного из свидетелей подтвердить донос грозил развалом всего дела, ставя под сомнение истинность доноса. Здесь твердость требовалась уже от самого извetchика, поскольку его торопливые попытки уточнить свои показания — «переменные речи» — ставились ему в вину, вели к новым допросам с пристрастием и пытке.

«Поставить с очей на очи»

Прежде чем доноситель и обвиняемый знакомились с пыточной камерой, им предстояло выдержать очные ставки друг с другом и со свидетелями, на них первым надлежало уличать оппонентов, а вторым — устранять противоречия в показаниях сторон, как это предписывалось Соборным уложением: «А кто на кого начнет извещати государево великое дело или измену, а того, на кого он то дело извещает <...>, сыскати и поставить с ызвetchиком с очей на очи, и против извету про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко». На очной ставке доносчик мог «довести» извет, а ответчик — оправдаться или, по крайней мере, поставить донос под сомнение. Сторонам задавали одинаковые вопросы, на которые ответчик и извetchик должны были отвечать, стоя друг против друга перед следователями.

Двадцать первого февраля 1718 года на Генеральный двор в Преображенское под охраной была доставлена бывшая царица Евдокия Лопухина. Там ее ожидала очная ставка с пользовавшимся ее милостя-

ми майором Степаном Глебовым, на которой бывшая супруга Петра I вынуждена была сделать признанье, собственноручно написав: «Я с ним (Глебовым. — *И. К, Е. Н.*) блудно жила в то время, как он был у рекрутского набору, и в том я виновата. Писала своею рукою я, Елена (так ее звали после пострижения. — *И. К, Е. Н.*). Глебов еще до того признал свою вину: «Как был я в Суздале у набора салдатскага, тому лет с восемь или девять, в то время привел меня в келью к бывшей царице, старице Елене, духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней чрез одного духовника присылал я <...>. И сошелся с ней в любовь чрез старицу Каптелину и жил с ней блудно». Следователи намеревались представить Лопухину в качестве нарушительницы монашеских обетов, но от них требовали большего. По заданию царя они искали не любовную интригу, а связь Глебова и Евдокии с «партией» царевича, что показывают вопросы на очной ставке. Допросный лист с левой стороны содержит вопросные пункты, составленные при участии Петра I, а справа — ответы на них Степана Глебова, данные под пыткой⁴⁶:

Живучи с ней блудно, спрашивал ли ты ее, с какой причины она чернеческое платье скинула и для какова намерения, и кто ей в том советовал и обнадеживал ее и чем обнадеживал?

Запирается.

От нея к сыну и к иным и от сына к ней и от иных писем ты не приваживал или пересылал ли, и буде приваживал или пересылал, от кого и о каких случаях писанные, и в бытность твою в любви с нею присылались ли от кого какия письма, и ты их видел ли? А ведать тебе всякую тайну ея надлежит, для того, что жил с нею в крайней любви.

Запирается.

При отъезде царевичевом в побег, с бывшей царицею тыговаривали о том, от нея слышали, что она про побег сыновий ведает и от кого и через кого?

Запирается.

В письмах к тебе от бывшей царицы написано, чтоб «ты ея бедству помогал чрез кого ты знаешь»: бедство ее какое было и бедству ея каким случаем она тебе велела помогать и чрез кого?

Помогать ему велела чрез Аксицию Арсеньеву, о чем она ей говорила, а что, о том не ведает.

Азбуки цифирныя, которыя у тебя вынуты, с кем ты по ним списывался, и которыя у тебя письма цифирью, от кого и что в них писано?

По азбукам цифирным ни с кем письма писал и азбуку складывал он, а писано в них выписки из книг.

Письмо, которое у тебя вынято, к кому писано и для какой причины, и кто то письмо с тобою писать советовал?

Смотря письмо своей руки, сказал: писал о жене своей и из книг, а ни с кем не соглашался, а иные об отце, что брата оставил, и о сыне своем, а не к возмущению.

В данном случае, несмотря на убежденность следователей, что преступник «запирается», никаких следов политического заговора и поддержки планов царевича обнаружить не удалось, хотя к делу были привлечены и родственники Евдокии, и ростовский архиепископ Досифей. Правда, царице и ее поклоннику это не помогло: Глебов был казнен, а Евдокию Лопухину сослали в Ладожский Успенский монастырь, а затем — в Шлиссельбург.

А вот сестра Петра I, царевна Софья, в 1698 году держалась твердо. 27 сентября царь устроил ей очную ставку со стрельцом Артемием Михайловым, по---авшим, что имел письмо «с красной печатью» от царевны, которое он читал перед восставшими полками. С помощью этой грамоты предводители взбунтовали полки и двинулись к Москве — «царевну во управительство звать и бояр, иноземцев и солдат побить». В передаче письма стрельцу Ваське Туме призналась монастырская «баба» Анютка Никитина. Тем не менее Софья отвечала уверенно: «Такова де письма она, царевна, через нищую ему, Васке, не отдыхавала, и ево, Васку, и Артюшку не знает»⁴⁷. Уличить же ее было нечем: все названные лица являлись посредниками и с самой царевной не встречались; письмо же исчезло (его, по показаниям А. Маслова, он отдал своему родственнику, а тот после поражения восставших его утопил). Мог бы внести некоторую ясность стрелец Васька Тума — но его допросить было невозможно: в числе других «заводчиков» бунта он был казнен боярином Шеиным сразу же после разгрома восставших. В результате царевна на следствии не пострадала, хотя и вынуждена была постричься в Новодевичий монастырь. Но бунт дорого обошелся восставшим: после жестокого розыска были казнены более тысячи человек.

В «очном» состязании, при прочих равных шансах (свидетелей преступления не было или они «порознь сказали»), побеждал тот, кто упорно стоял на своем («утверждался на прежнем своем показании») или находил аргументы в свою пользу. Тут уже все зависело от характера: или доносчик «ломался» — тогда оговоренный им «очищался» от возведенного на него извета; или же ответчик после долгих «запирательств» признавал истинность обвинения.

В первом случае не помогала даже предварительная подготовка. Согласно «Пунктам в обличение Бирона, по которым следует очная ставка с Бестужевым», из протокола допроса Бирона брался отрывок из его показаний («бывший герцог Курляндский сказал, что он от их императорских высочеств никаких

своих дел и намерения не таил и другим таить не велел») и дополнялся отрывком из показаний А. П. Бестужева-Рюмина: «Бестужев показал, что ты регенства касающихся советах от их величеств таить ему заказывал и велел секретно держать, дабы их императорские высочества не ведали и чрез то в принятии тебе регенства препятствия не было».

Бестужев с подачи герцога получил пост кабинет-министра и являлся основным инициатором «прошения» о назначении Бирона регентом. Поэтому его показания должны были, по планам следователей, привести к разоблачению намерений герцога захватить власть. Однако уличения преступника во лжи не получилось — Бирон выдержал свидание с Бестужевым, а тот на очной ставке отказался от своих прежних показаний: «...признался и сказал, что ему он, бывший герцог, о том от их высочеств таить не заказывал и секретно содержать не велел, а прежде показал на него, избавляя от того дела себя и в том его императорскому величеству приносит свою вину». Вряд ли искушенный интриган и карьерист Алексей Петрович Бестужев настолько расчувствовался, что пожалел «бывшего герцога». Он отнюдь не был сентиментальным человеком; но, видимо, в этот момент, столкнувшись с полностью собой владевшим и убежденным в своей правоте Бироном, проиграл психологическое состязание — взял свои слова обратно, хотя мог бы их подтвердить. Возможно, он уже понял к тому времени, что новые правители добывать герцога не будут — следовательно, не было смысла его «топить», ведь никто не знал, когда и при каких обстоятельствах им пришлось бы еще встретиться. Сам Бирон позднее вспоминал об этой своей маленькой победе — покаянных словах Бестужева на очной ставке: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено, — ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога».

Бывшей придворной даме Екатерины I Яганне Петровой душевных и физических сил не хватило — даже до очной ставки дело не дошло. В 1735 году она

служила при маленьком дворе полуопальной Елизаветы, когда на нее поступил донос «вольной девки» Мете Вестенгардт. Поскольку дело касалось придворных особ, то допрос Мете велся в присутствии самого Ушакова. Она показала: «Тому назад два года и семь месяцев, перед праздником св. Андрея Первозванного за два дня, была в гостях у мадам Яганны Петровой, которая при доме государыни цесаревны Елизаветы Петровны, и в то время у Яганны была девица Лизабет, которая государыню цесаревну убирает, и она, Яганна, говорила девице Лизабет о ея императорском величестве, да про обер-камергера графа фон Бирона некоторые великие непристойные слова, и девица Лизабет говорила Яганне: "Пожалуй, для Бога, о том помолчи"». При этом доносчица заявила, что по-русски не умеет рассказать, какие именно слова говорила тогда Яганна.

Добрый Андрей Иванович настоятельно посоветовал барышне постараться воспроизвести, что говорила дама Яганна. Оказавшись в каземате под стражей, доносчица к вечеру русский язык вспомнила и вновь предстала перед Ушаковым: «Яганна Петрова говорила по-немецки слова такие: "первого де императора одна и есть дочь, да мало ей чем жить, а коли б государыня императрица изволила ей отдать которые император первый прибавил земли, то бы де довольно ей было чем жить". А после того Яганна говорила: "что обер-камергер очень не фамильный человек и жена де его еще просто не фамильная, а государыня де императрица хотела его курляндским герцогом сделать, и я де тому дивилась". И она де, Вестенгардт, на то сказала: "какой де князь Меншиков был фамильный человек, да Бог де сделал его великим человеком, а об обер-камергере и об жене его слышала она, Вестенгардт, что они оба фамильные и коли де Бог изволит им что дать, то де всем нам на свете надобно почитать и радоваться". Яганна на это отвечала ей: "что де за него ты стоишь?" И она, Вестенгардт, сказала: "дай де Бог, чтоб был он герцог курляндский и что он от Бога желает; ко мне де он в Москве показал великую милость, по поданному го-

сударыне императрице прошении о жалованье моем". А Яганна на это ей сказала: "а достала де ты жалованье?" И она, Вестенгардт, отвечала: "я могу верить что императрица может меня пожаловать!" Яганна говорила еще: "когда де он будет герцогом курляндским, то де жену свою отдаст в кляштор, а государыню де императрицу возьмет за себя". И она, Вестенгардт, сказала Яганне: "это неправда и не можно того сделать и не могу о том верить, что это у нас не манер". При всех этих словах была и слышала девица Лизабет, которая трижды говорила Яганне: "ради Христа, о том ты не говори, окны де низки, могут люди услышать". Еще припомнила, что Яганна говорила, будто ея императорское величество в Москве говорила, что не хочет фаворитов у себя держать, а она, Вестенгардт, отвечала: "всякий де цезарь и король фаворитов у себя держит"». Остается подивиться отличной памяти доносчицы, которая и спустя два года точно передала разговор придворной обслуги, обсуждавшей дворцовые секреты. Собеседниц не остановило даже опасение, что «окны низки»; желание перемыть косточки фавориту и его жене оказалось сильнее.

На следующий день Яганну и «девицу Лизабет» доставили в крепость. Обе отказались признать за собой вышеуказанные речи. По нормам сыска Мете Вестенгардт и Яганну Петрову можно было пытаться, но обе служили при дворе, и осторожный Ушаков доложил о деле императрице. Анна Иоанновна приказала: «Объявить Вестенгардт и Яганне, что они по государственным правам дошли до розыску; того ради чтоб не допуская себя до того, сказали сущую правду, а ежели и потом будут утверждаться каждая на своем показании, то привести их в застенок и расспросить об оном накрепко, и буде в застенке утвердятся на прежнем своем показании, то для увещания и изыскания правды допустить их веры пасторов, которые бы их, а также и девицу Лизабет увещевали накрепко, чтоб объявили истину, не скрывая ничего, только имянно о непристойных словах их пасторам не спрашивать и им, Вестенгардт и Яганне и Лизабете,

пасторам говорить не велеть, и что потом будет учинено, о том доложить ее величеству». Священники, однако, не понадобились. После объявления воли императрицы Мете «утвердилась» в своих показаниях, а отведенная в застенок Яганна стала сознаваться — сначала в том, что посчитала «спесивым» фельдмаршала Миниха, потом — что и вправду говорила о бедности цесаревны, а затем вспомнила и более криминальные свои слова: «Теперь де можно и обер-камергера сделать герцогом и может де он на императрице жениться». Но придворная дама утверждала, что не называла Бирона «нефамильным», а только говорила, что «обер-камергер бедный был дворянин, да и жена де его не из богатой фамилии была». Пожилая дама, не выдержав строгости заключения, признала свою вину, хотя и знала, что «девица Лизабет» при крамольном разговоре не присутствовала и подтвердить донос не могла.

Спустя неделю после начала следствия Ушаков уже доложил о его результате. Удачливой Мете императрица велела «за правый донос» дать «награждение двести рублей»; о Яганне позаботился сам Ушаков (все же придворная дама цесаревны), подав свое мнение: «Не благоугодно ли будет по милосердию вашего величества, вместо пытки и смертной казни учинить оной Яганне жестокое наказание кнутом и сослать в Сибирь в дальний монастырь и содержать ее в том монастыре неисходно и пищу давать против того монастыря монахинь»⁴⁸.

Процедура очной ставки использовалась следствием и в более поздние времена. Ее проведение описано в воспоминаниях декабристов, которые, надо признать, держались менее стойко, чем многие подследственные предыдущего столетия; должно быть, представителям просвещенного и благородного дворянства «дней Александровых» сложнее было «запираться» или лгать перед лицом столь же утонченных следователей из своего круга. Однако и среди них находились люди, сумевшие выдержать такой поединок и даже заставить обвинителя отказаться от своих показаний.

А. Е. Розен рассказал об очной ставке, устроенной полковнику Павлу Граббе с неизвестным «обличителем»: «При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего, или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели в другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: "Что вы теперь, полковник, на это скажете?" Граббе с негодованием ответил ему: "Ваше превосходительство, вы не имеете права так мне говорить: я под судом, но я не осужден, и вам повторяю, что я показал правду, и не переменю ни единого слова из моих показаний". Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке»⁴⁹. Из этого состязания член Союза благоденствия Граббе вышел непобежденным — и впоследствии стал боевым генералом и командующим войсками на Кавказе.

Проведение очных ставок затягивало расследование и не всегда помогало ответчику, поскольку ему предстояло доказывать свою невиновность даже в том случае, когда доносчик не сумел «довести» извет. Противоречия в показаниях обвиняемого приводили следователей к выводу, что он «явился» в «непристойных словах» или замешан в чем-то похуже. В делах, сочтенных «маловажными», канцелярское начальство могло, даже не применяя пытку, сразу признать ответчика виновным.

Если же в расследованиях, признанных важными, ответчик, к огорчению следователей, упорствовал, доносчик был не в состоянии «довести» свое обвинение, а свидетели отсутствовали, путались или отговаривались незнанием сути дела или «неслышанием», то оставалось последнее средство — пытка. К ней же вело и непризнание явной, доказанной согласованными показаниями свидетелей или другими улика-

ми вины; за такого «замерзелого» преступника следствие принималось всерьез. Обвиняемого, а частенько вслед за ним доносчика и свидетелей просили пожаловать в застенок.

«А с пытки говорил»

При Петре I допросы велись в Трубецком раскате, где было помещение для пыток⁵⁰; где пытали позднее, сказать трудно — возможно, в разных местах. «У пытки», но еще до ее начала, следовал последний допрос «с пристрастием»: «Февраля 26-го дня по вышеписанному Тайной канцелярии определению Санкт-Петербургской купецкой человек Петр Дорофеев (поступил из Синода 20 февраля 1733 года. — *И. К. Е. Н.*) ис подлинной правды привожен в застенок и спрашиван с пристрастием. И поставлен был в ремень, и платье <...> снято. И говорено было ему, чтоб <...> объявлял истинну, а ежели не объявит, то будет пытан»⁵¹. Многие подследственные давали признательные показания именно на этом этапе «розыска»; тех же, кто продолжал упорствовать, передавали в руки «запленных дел мастера».

Оставившие свои воспоминания о пребывании в России иностранцы XVI—XVII веков писали о разнообразных пыточных приемах: перебивании ребер раскаленными железными клещами, ломании пяток, вколачивании деревянных гвоздей под пятки, вырезании мяса из-под ногтей, прижигании причиненных кнутом ран раскаленным железом или растравлении их солью, выливании по капле холодной воды на обритуемую голову допрашиваемого; обвиняемого могли накормить соленой пищей и посадить в жарко натопленную баню, не давая воды.

Среди бумаг Тайной канцелярии сохранился «Обряд, како обвиненный пычется», составленный уже в 60-е годы XVIII века то ли в качестве исторической справки, то ли как пособие для сотрудников:

«Для пытки приличившихся в злодействах зделано особое место, называемое застенок, огорожен

полисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подьячей; и, в силу указа 1742-го году, велено записав пыточные речи, крепить судьям, не выходя из застенка.

В застенке ж для пытки зделана дыба, состоящая в трех столбах, ис которых два вкопаны в землю, а третей сверху, поперег. И когда назначено будет для пытки время, то кат или палач явиться должен в застенок с своими инструментами, а оные есть: хомут шерстяной, к которому пришита веревка долгая; кнутья, и ремень, которым пытанному ноги связывают.

По приходе судей в застенок и по разсуждении, в чем подлежащего к пытки спрашивать должно, приводитца тот, которого пытать надлежит, и от караульного отдаетца палачу; которой долгую веревку перекинет чрез поперечной в дыбе столб, и взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит, и положя их в хомут, чрез приставленных для того людей встягивается, дабы пытанной на земле не стоял; у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет показаным выше ремнем ноги, и привязывает к вделанному нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станет.

Естьли ж ис подлежащих к пытке такой случитца, которой изобличается во многом злодействе, а он запирается, и по делу обстоятельства доказывают его к подозрению, то для изыскания истины употребляются нарочно:

1-е тиски зделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большия два из рук, а внизу ножныя два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать.

2-е. Наложя на голову веревку и просунув кляп и вертят так, что оной изумленным бывает; потом простригают на голове волосы до тела, и на то место

льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит.

3-е. При пытке, во время таково ж заперательства, для изыскания истины пытанному, когда висит на дыбе, кладут между ног на ремень, которым они связаны! бревно и на оное палач становится за тем, чтоб виске потянуть ево, дабы более истязания чувствовал. Если же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того что и чрез то боли бывает больше.

Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи переменит, то еще трижды пытается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет, ибо сколько б раз пытан ни был, а есть ли в чем нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще три пытки вытерпеть; а потом и огонь таким образом: палач отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе ростянет и, зажегши веник, с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три или больше, смотря по обстоятельству пытанного»⁵².

Однако исследователи деятельности политического сыска (в том числе авторы этих строк) отмечают, что на основании рассмотренных ими дел говорить о применении всего арсенала пыточных средств не приходится, хотя закон 1715 года («Краткое изображение процессов или судебных тяжб») юридически не ограничивал способы пытки. Только в единичных случаях упоминается «вождение по спицам» — острым деревянным колышкам или стягивание головы допрашиваемого веревкой, закручиваемой с помощью палки-рычага: «мучали и клячем голову вертели»⁵³. Бывший придворный Василий Васильевич Головин спустя много лет записал в календаре, как его пытали в Москве в 1737 году на следствии по неизвестному нам делу: «Такого-то числа подчищали ногти у меня, бедного и грешного человека, которые были изуродованы. Благодарение Гос-

поду — ныне мы благоденствуем!» (возможно, подследственному «прочистили под ногтями» раскаленными иглами). Во всяком случае, пребывание в Тайной канцелярии так запомнилось Головину, что после освобождения 3 марта 1738 года он ежегодно в этот день заказывал молебен, а обращение к старосте и дворецкому начинал со слов: «Друзья мои, не пытаные и не мученные»⁵⁴.

Главным и, кажется, единственным повседневным пыточным инструментом оставалась дыба. Палач раздевал обвиняемого по пояс и укладывал животом на пол, проводя разогретыми в горячей воде руками по его спине. Если ранее человек подвергался телесным наказаниям, то на спине проступали следы ударов кнутом, плетью или палками. Это помогало следователям определить, имеют ли дело с новичком или ранее уже наказывавшимся рецидивистом. Сенатор Павел Степанович Рунич, присутствовавший в Симбирске на первом после пленения допросе Емельяна Пугачева, описал эту процедуру: «Генерал-майор Потемкин около двух часов слушал на все вопросы отрицательные его, Пугачева, ответы; но вдруг с грозным видом сказал ему: "Ты скажешь всю правду!" Постучал в колокольчик и по сему позыву вошедшему экзекутору приказал ввести в судейскую четырех моих гренадеров и с ними палача; тотчас приказал гренадерам раздеть Пугачева и растянуть его на полу и крепко держать за ноги и руки, а палачу начать дело,- который, помоча водой всю ладонь правой руки, протянул оною по голой спине Пугачева, на коей в ту минуту означились багровые по спине полосы. Палач, увидя оные, сказал: "А! Он уже бывал в наших руках!"»⁵⁵

После осмотра палач переходил к пытке — «подъему». Русская дыба, в отличие от горизонтальной западноевропейской, представляла собой вертикальную П-образную конструкцию. Руки пытаемого заводились назад и продевались в специальный шерстяной хомут, предохранявший кожу на запястьях от обдирания. Прикрепленную к хомуту веревку пропускали через поперечную перекладину, натягивали и

днимали человека за связанные за спиной руки, выворачивая плечевые суставы. Такая «виска» иногда усугублялась «стряской»: для увеличения нагрузки между связанными ногами подвешенного клали бревно, на которое мог встать палач или его помощник. Но возможно, что «стряской» могли называть также способ пытки на дыбе, когда подвешенного сначала поднимали вверх, а потом резко опускали вниз; при этом руки выскакивали из плечевых суставов (в словаре В. И. Даля отмечено: «Встарь стряхивали на пытке, привязывая за руки, выламывая руки и пр., что и называли стряскою»). Вывихнутые руки потом вправляли; однако даже при благоприятном исходе процедуры — отсутствии разрывов связок и внутреннего кровотечения — суставы болели еще очень долго, напоминая о пытке при малейшем движении.

Висевшему на дыбе подследственному зачитывали по «пунктам» вопросы и записывали его ответы: «и с тех распросов и с виски сказал». Если допрашиваемый продолжал упорствовать в неосознании, палач приступал к следующей стадии пыточной процедуры — битью кнутом, что обязательно отражалось в протоколе допроса: «Было ему 15 ударов». Наконец, пытаемого на дыбе могли «жечь огнем» — «заплечный мастер» проводил горящим веником по его избитой спине: «Было ему во оном розыску 60 ударов и после розыску зжен огнем, а с огня говорил».

Опытные следователи выбирали, кого именно из Участников дела надлежит пытать. «Когда судья в оном злодействе многих имеет пред собою преступников, которых жестоко допрашивать потребно, тогда надлежит ему оного, от которого он мнит скоряя уведать правду, прежде пытать. И буде от сего еще подлинно не уведает, то того, который в злодействе более всех подозрителен явился, прежде всех пытать. Буде же все преступники в равном явятся подозрении, и между оными отец с сыном или муж с женою найдется, тогда сына или жену наперед к пытке привезь»⁵⁶. Этот прием, когда на глазах особо упорного подследственного начинали пытать замешанных в

дело его друзей или родственников, был очень действенным.

Продолжительность «виски» и количество ударов определялись на месте с учетом телосложения, возраста и состояния здоровья подсудимого, согласно «Краткому изображению процессов или судебных тяжб»: «Надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть, и усмотря твердых безстыдных и худых людей, жесточае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди, легчее, и буде такой пытки доволно будет, то не надлежит судье его приводить к болшему истязанию». Обычно до начала порки человеку давали повисеть на дыбе до 15 минут, потом наносилось от 5 до 15 ударов кнутом, после чего допрос прерывался на одну-две недели, пока обвиняемый приходил в себя. Количество ударов могло быть сокращено «для того, что они (истязаемые. — *И. К, Е. Н.*) худы». Всего нескольких ударов хватало, чтобы заставить пожилого человека или женщину признаться в приписываемом им преступлении или подтвердить ранее данные ими показания. Другие подсудимые, особенно если их дело вызвало пристальный интерес государя, могли висеть час и больше, как упомянутый Егор Столетов.

Вслед за ответчиком на дыбу часто отправлялся не сумевший толком «довести» донос объявитель «слова и дела». Если оба хоть немного отклонились от прежних показаний, их начинали «перепытывать». Но бывало, что оба стояли на своем насмерть, выдержав по три пытки; тогда, если следователи полагали, что доносчик имел какую-либо «злобу» на обвиняемого, но и последний оказался по делу «весьма подозрителен», их наказывали вместе.

В петровское и послепетровское времена на пытке все были равны. Иногда высокопоставленным господам приходилось даже хуже, чем рядовым преступникам, — борьба за власть в «эпоху дворцовых переворотов» жалости к поверженным соперникам не знала.

Царевич Алексей за два дня до смерти был поднят на дыбу («дано 25 ударов») и вновь «спрашиван о всех его делах». Столько же получил в апреле 1727 го-

«на виске» зять Меншикова, первый российский генерал-полицеймейстер Антон Девиер, после чего назвал своих «сообщников»: генерал-майора Г. Г. Скорнякова-Писарева, молодого придворного И. А. Долгорукова, церемониймейстера Ф. Санти, генерала И. И. Бутурлина и члена Верховного тайного совета А. Толстого — всех, кто не одобрял задуманного доеншиковым брака императора Петра II с его дочерью. Только допрос престарелого Толстого, где он признал, что имел намерение короновать дочерей Екатерины I, проводили дома⁵⁷. Это дело могло навсегда закончить карьеру самого Ушакова — Девиер назвал его среди участников преступных разговоров; но привлеченный к делу генерал отделался временной ссылкой в армию.

В 1740 году в пыточном застенке оказался обер-егермейстер и кабинет-министр Анны Иоанновны Артемий Волынский. После сбрасывания с дыбы его руки оказались выбитыми из плечевых суставов. Получив 18 ударов кнутом, Волынский стал просить о прекращении пытки и начал каяться в «былых винах», хотя и не во всех. Его «конфидент» архитектор Петр Еропкин вначале «запирался», но после «встряски» и «виски» с 15 ударами кнута согласился дать показания на своего покровителя. Его рассказ о составлении генеалогического древа министра с указанием его родства с Рюриковичами послужил основанием для обвинения Волынского в намерении захватить трон.

25 ударов кнутом уже считались пыткой сильной; однако бывало, что «замерзельные» подследственные, не желавшие раскаиваться и признавать уже доказанные обстоятельства, в ходе одного допроса получали по 50 и даже 60 ударов, как случилось во время «стрелецкого розыска» 1699—1700 годов, проведенного с исключительной даже для своего времени жестокостью, в «Кратком изображении процессов или судебных тяжб» Петр I провозгласил, что от пыток освобождаются «шляхта, служители высоких чинов, старые седмидесять лет, недоросли и беременные жены», сразу же оговорившись, что «все сие никогда к

пытке подвержены не бывают, разве в государственных делах и в убийствах, однако ж с подлинными том доводами». При проведении «стрелецкого розыска» «брали из Девичья монастыря боярынь, и девок, и стариц в Преображенский, и в Преображенске они расспрашиваны, и по расспросам пытаны; и на виске Жукова дочь девка родила» (служанке царевны Марфы Анне Жуковой на двух пытках было дано 30 ударов). Неудивительно, что от такого «розыска» люди часто оговаривали себя, чтобы избежать продолжительной пытки. Однако известны случаи поразительной стойкости и выносливости подсудимых.

Упорно держался на пытке упоминавшийся нами донесший на своего барина дворовый человек полковника Давыдова Семен Жуков. После того как его хозяин от обвинения категорически «отперся», а свидетели из двора дружно показали, что их господин никаких «поносных слов» в адрес Миниха и Бирона не произносил, Жукову на первой «виске» дали 11 ударов и вновь провели очные ставки при свидетелях. Донесчик не изменил показаний и получил 15 ударов; на этот раз вместе с ним пытали двоих свидетелей, но они тоже не дрогнули. Состояние здоровья избитого Жукова настолько внушало опасения, что к нему был приглашен священник; но и на исповеди он заявил, что его донос «правый». После выздоровления его отправили на пытку в третий раз, но и после новых 15 ударов (в присутствии самого Ушакова) он остался при своих показаниях. И барин, и его зять, и свидетели-дворовые опровергали донос Жукова. Если бы хоть один из них испугался и поменял показания, дело могло обернуться для полковника плохо; в данной же ситуации его освободили без пытки. Упорный холоп был признан виновным и отправился в ссылку на сибирские заводы — но без наказания кнутом и «урезания» ноздрей. Возможно, этим послаблением он обязан своему предыдущему доносу 1738 года о похищении его барином стола, изразцов и других предметов обстановки из царского дворца «по коломенской дороге» (но материалов следствия по этому обвинению в деле нет).

Еще более стойким оказался рецидивист-разбойник Гаврила Никонов, промышлявший в составе шайки под Петербургом. Попавшись в 1737 году, он и его сообщники как особо опасные преступники были отправлены в Тайную канцелярию. Никонова опознали жертвы и назвали соучастники, но следователи оказались бессильны: Гаврила вытерпел шесть пыток — но ни дыба, ни кнут, ни «зжение огнем в присутствии майора гвардии Альбрехта и самого Ушакова не заставили его «виниться». Пытавшийся «разговорить» преступника на исповеди священник Михаил Лукин также потерпел неудачу, о чем по обязанности доложил⁵⁸. Лихой разбойник был приговорен к смерти, но даже будучи подвешенным за ребра на крюке, грозил следователям и умер нераскаявшимся грешником.

Молодая «девка»-воровка Прасковья Григорьева тоже не испугалась пытки. В 1704 году, взятая с личным — украденными у солдатских «женок» Федосьи Соколовой и Пелагеи Даниловой перстнями, серьгами, зеркальцем и кокошником, она тут же объявила «слово и дело», обвинив обворованных ею жертв в том, что они якобы говорили: «Живут де они, государыни царевны с певчими и родят робят». «Женю» тут же взяли к следствию; так как они, естественно, «запирались», им грозила пытка. Тогда Прасковья подслала к Федосье и Пелагее еще одну «колодницу» Арину с предложением пойти на мировую: пусть они не ищут на Прасковье «покраденного», а она «смотвит с них государево слово». На предостережение Арины, что за «переменные речи» ее будут пытать вновь, Прасковья ответила: «Бог поможет вытерпеть, а за кражу будет хуже», — видно, надеялась после неизбежной пытки отделаться поркой в качестве лжедоносчицы, а не отправиться в ссылку за воровство.

Но солдатики от сделки отказались и, в свою очередь, уговорили Арину подать донос на хитрую воровку⁵⁹.

Иные колодники, не отличавшиеся такой выносливостью, не доживали до конца следствия. Если арестант после пыток отходил в мир иной, то караульный сержант доносил, что такой-то поднадзорный

«в ночи умре без исповеди»; затем по распоряжению начальства «тело его зарыто в землю за Малой рекою Невою на Выборгской стороне»⁶⁰.

Высокопоставленные подследственные обычно «ломались» быстро. Одним из немногих упорных оказался Арман Лесток — не только с пытки ни в чем не признался, но еще и объявил голодовку. Жестокие порядки петровского и аннинского времен стали постепенно смягчаться к середине столетия. Вступившая на престол в ноябре 1741 года в результате очередного дворцового переворота императрица Елизавета Петровна, отправившая в ссылку семью императора Ивана Антоновича и его министров (последних после ареста «следовали», но не пытали), не могла не думать о своей репутации. Осуждение и шельмование членов свергнутого правительства сопровождалось раздачей милостей: была объявлена очередная амнистия (однако *без* снисхождения к осужденным «по первым двум пунктам»), «сложены» штрафы по 10 копеек с подушной подати на 1742 и 1743 годы и «казенные доимки» за 1719—1730 годы; ликвидирована и сама Доимочная комиссия⁶¹. Тайная канцелярия получила распоряжение: «наказаний не чинить» обвиняемым в оскорблении брауншвейгской фамилии, а также ложно объявившим «слово и дело» духовным лицам (коих надлежало передать в Синод). Судя по протоколам, сыскное ведомство замерло на несколько дней, прекратились допросы и пытки; но уже в декабре оно продолжило обычную работу в неизменном составе и с прежним жалованьем.

В 1742 году сенатским указом была отменена пытка малолетних. При обсуждении этого проекта высшие учреждения империи — Сенат и Синод — спорили, кого именно считать малолетним: духовные отцы полагали, что раз присягу подданные принимают с 12 лет, то и пытать их можно уже в этом возрасте. Сенаторы настояли, что малолетними «как мужеск, так и женск пол, надлежит считать от рождения до 17 лет»⁶². Установлено было также правило, что «судьи» должны подписывать «пыточные речи», не

выходя из застенка — во избежание их искажений от "лакомства» подъячих⁶³. Проект нового Судебного уложения 1742 года предусматривал также запрет на пытку рожениц и беременных женщин, стариков старше 70 лет, сумасшедших и служащих первых восьми чинов по Табели о рангах (восьмой чин, напомним, давал потомственное дворянство). Поскольку новый свод законов не был принят, де-юре эти нормы не вступили в действие; но де-факто во времена «доброй Елизаветы» применение пытки было не слишком частым. В 1751 году была отменена пытка в корчемных делах (о незаконной продаже водки), но для «корчемников» оставлен пристрастный допрос под батогами и «кошками». В следующем году пытку отменили в провинциях, присоединенных от Швеции по Ништадтскому и Абоскому договорам 1721 и 1743 годов. Когда в 1753 году производивший в Брянске следствие над беглыми крестьянами подполковник Лялин просил разрешения пытать или «пристращивать» батогами, поскольку виновные, зная, что по указу Сената «розыска» делать не велено, правды не говорили, то предписано было прислать на рассмотрение Сената экстракты о каждом, «ибо без того точного решения положить нельзя». В начале 1760-х годов в Сенате обсуждались различные предложения о введении ограничивавших пытку норм — в частности, о недопустимости ее использования, если в деле существовали бесспорные доказательства вины; об ограничении ее тяжести (не должна была превосходить положенного по суду наказания).

Указ Петра III о ликвидации Тайной канцелярии не отменял самого «розыска», как и пыток, призывая только допрашивать «таких доносителей, кои существо первых двух пунктов ведают, доносят о деле действительно до оных принадлежащем, и несмотря на вышеизображенные увещевания и данное время к размышлению, а не имеют однакож ни свидетелей, ни доказательств, сколько можно, без пытки». Это пожелание повторила Екатерина II в своем указе в октябре 1762 года⁶⁴. Спустя два месяца Сенат внял мо-

нашему милосердию. Приведа примеры усердия местных властей по делам сомнительным и просто мелочным (о крестьянине Андрее Козицыне, который «с распроса и с пыток показал на себя, что он лет с пятнадцать <...> учился чародейству и волшебству» и таким образом «портил» местных женок, или о «девке» Агриппине Мырзиной, известной «блудодейством» и пытанной из-за кражи 30 копеек), сенаторы указали провинциальным и воеводским канцеляриям «в пытках по делам поступать со всяким осмотрением, дабы невинные напрасно истязаны и напрасного кровопролития не было, под опасением тяжчайшего за то по указам штрафа».

Пятнадцатого января 1763 года, присутствуя в Сенате, императрица вновь обратилась к этой теме, повелев обращать преступников «к чистому признанию больше милосердием и увещанием, особенно же изысканием происшедших в разные времена околичностей, нежели строгостью и истязаниями, стараться как возможно при таких обстоятельствах уменьшить кровопролитие и пытать только тогда, когда все средства будут истощены; но и в этом случае в приписных городах пытку не производить, а отсылать преступников в губернские и провинциальные канцелярии, где поступать с крайней осторожностью, чтобы какибуль вместе с виновными и невинные не потерпели напрасного истязания». Для практического исполнения этого требования Екатерина рекомендовала «всех тех, которые по делам дойдут до пыток, не чиня им оных прежде, о показании истины увещевать ученым священникам. А как де ее императорскому величеству не безизвестно, что по иным городам таковых ученых священников и нет, то для онаго увещания сочинить особливую книжицу, с довольными доводами от Священного Писания», каковую члены Синода обещали составить⁶⁵.

Благопожелание императрицы было характерно для духа века Просвещения, как и признание ею отсутствия кадров просвещенных увещателей и дознавателей (да и «книжица» для них, кажется, так и не была написана). Однако Екатерина и окружавшие ее

государственные деятели нового поколения уже считали средневековые пытки пережитком прошлого и, во всяком случае, недопустимым применительно к осознавшему свои права благородному сословию средством. Указ от 10 февраля 1763 года признавал, что пытка не может быть верным способом изобличения подозреваемого, «особливо когда он не подлого состояния». В случае заперательства следствию предписывалось производить повальный обыск, и только выявленных им подозрительных лиц разрешалось пытать; на практике подобные следственные процедуры применялись прежде всего именно к поданным «подлого» звания.

В своем знаменитом Наказе для комиссии, разработавшей проект нового Уложения, подписанном 30 июля 1767 года, Екатерина II поставила под сомнение необходимость пытки. «Не нарушает ли справедливости, и приводит ли она к концу, намеряемому законами?» На свой вопрос императрица ответила вполне определенно, с использованием принципа презумпции невиновности: «Не должно мучить обвиняемого по той причине, что не надлежит невинного мучить, и что по законам тот не виновен, чье преступление не доказано».

Одиннадцатого ноября 1767 года по настоянию новгородского губернатора Сиверса Екатерина приказала разослать губернаторам тайную инструкцию, предписывавшую не производить пытку без доклада губернаторам, а им — основывать свои распоряжения на правилах десятой главы Наказа, где пытка определялась как «надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать незаконного, на силу и крепость свои уповающего». Сиверс, в чьем присутствии был подписан документ, на коленях принял его из рук императрицы; но некоторые сенаторы и придворные были против этого распоряжения, опасаясь увеличения числа преступлений. С ними были согласны многие провинциальные помещики: в своих наказах депутатам Уложенной комиссии они не допускали мысли об отмене Пытки — наоборот, указывая на возрастание числа

преступлений, просили расширить ее применение в делах об убийствах, разбоях, грабежах и поджогах не только в губернских, но и в прочих, в том числе мелких («приписных») городах.

Вышедший из-под пера императрицы «Антидот» — ответ на книгу аббата Шаппа «Путешествие в Сибирь», опубликованную в Париже в 1768 году представлял дело с политическим розыском в России таким образом, будто бы после ликвидации Тайной канцелярии не было органа, который бы ее заменил, а потому существовавшие в России до того порядки навсегда ушли в прошлое. Просвещенной европейской публике были адресованы слова: «Французский король и даже его министры сажают в Бастилию и там подвергают судилищу, на это устроенному, или суду какой-нибудь комиссии, кого им вздумается; у нас тайная канцелярия делала то же самое, но с 1762 года она уничтожена, а ваша Бастилия существует».

Императрица имела смелость заявлять, что в Тайной экспедиции при допросах телесные наказания не применялись. Так, в письме А. И. Бибикову 15 марта 1774 года в Казань по поводу действий секретной комиссии по делу Пугачевского восстания она писала: «Также при расспросах, какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секли ничем, а всякое дело начисто разобрано было; и всегда более выходило, нежели мы желали знать». Однако составленные ею законы такую возможность допускали — четвертый пункт указа от 15 мая 1767 года «Об ускорении решения дел о колодниках и о наблюдении законного порядка в сем производстве» гласил: «Пытки же производить, если со увещания не признаются и в самом нужном и необходимом случае и с такою предосторожностью, как предписанными именными е. и. в. высочайшими 1763-г. января 15 и февраля 10 чисел указами повелено».

Свидетельства современников, в том числе приведенные в этой книге, также подтверждают применение телесных наказаний в Тайной экспедиции; не

случайно Потемкин, встречаясь с Шешковским, спрашивал его, как тот «кнутобойничает». Так, по приказанию Екатерины 6 октября 1762 года был подогнут пытке — «для изыскания истины с пристрастием под батожем распрашиван» — Петр Хрущов, а потом Семен Гурьев; в данном случае речь шла не о пьяных мужиках, а о гвардейцах, пытавшихся «повторить» дворцовый переворот уже с целью устранения самой Екатерины II. В ряде процессов также имеются косвенные указания на применение пыток⁶⁶. Как правило, по конкретным делам следователи получали высочайшие директивы: использовать угрозу пытки для давления на подсудимых, не применяя ее.

Через несколько лет императрица официально признала, что пыточная практика в ее царствование все же имела место. Указ от 1 января 1782 года «О нечинении подсудимым при допросах телесных наказаний» констатировал, что по делам, производимым в Тайной экспедиции, открылось, что в некоторых губернских канцеляриях и подчиненных им учреждениях «для познания по показаниям преступивших о действиях их истины, распрашивали не только самых преступников, но и оговариваемых ими под плетью». Указ предписывал, чтобы «ни под каким видом при допросах никаких телесных истязаний никому делано не было, но в изыскании истины и облики поступано было, как в помянутом нашем указе (от 13 ноября 1767 года. — *И. К. Е. Я.*) сказано, по правилам X главы Комиссного наказа».

И все же времена менялись. При Екатерине II из штата сысского ведомства исчезла должность палача — теперь для наказания виновных его чиновники обращались к услугам «запечных мастеров» из других учреждений. Изменилась также манера обращения с подсудимыми — во всяком случае, с некоторыми их категориями. В этом смысле характерными представляются приключения лифляндского пастора Фридриха Зейдера, угодившего под следствие по обвинению в хранении запрещенных на территории империи заграничных книг.

Отконвоированного в Петербург Зейдера доставили весной 1800 года в дом генерал-прокурора, где размещалось одно из присутствий Тайной экспедиции. Но его допрос уже заметно отличался от описанной выше процедуры: «Макаров — человек весьма добрый и приветливый, с первого взгляда я почувствовал к нему большое доверие. Он сел возле меня и ласково сообщил причину моего ареста». При этом начальник Тайной экспедиции вел разговор на родном для пастора немецком языке, ободряя его: «Будьте совершенно спокойны насчет исхода этого дела <...>. Самое большое наказание <...> будет состоять в том, что книги эти будут у вас отобраны и их предадут огню». На прощание он еще раз обнадежил своего клиента, выказав ему — искренне? — сочувствие: «Не падайте духом и уповайте на Бога, который не оставляет правых своею помощью». Арестанту даже показалось, что при этих словах на глаза следователя навернулись слезы «и на кротких чертах его мужественного красивого лица отразилось горе». Такая манера обращения дала результат — Зейдер был убежден в самых лучших его намерениях. Макаров пообещал: «Я переведу вас на другую квартиру, где вам будет покойнее и удобнее», — и отправил доброго пастора в Петропавловскую крепость. Камера и впрямь оказалась «чистенькой и светлой», хотя с решетками на окнах и солдатом-охранником внутри; но следователь посоветовал узнику и в этом видеть положительную сторону: «Эти стены <...> не смогут ухудшить вашего положения, они дадут вам собраться с духом, чтобы с твердостью и терпением ожидать решения вашего дела». Зейдеру разрешили держать слугу и переписываться с женой. Тем неожиданнее для него оказался приговор: лишение сана, 20 ударов кнутом и ссылка в Нерчинск на каторжные работы⁶⁷. Но стараниями Макарова пастор был избавлен от страшной порки: по его указанию умелый палач устрашающе щелкал кнутом, не нанося серьезных увечий.

Отменили же пытки в России в царствование Александра I — в сентябре 1801 года именным указом. К этому государя побудил один случай из судеб-

практики «С крайним огорчением дошло до сведения моего, что по случаю частых пожаров в Казани взят был по подозрению в зажигательстве один тамошний гражданин под стражу, был допрошен и не признался, но пытками и мучениями исторгнуто у него признание и он предан суду». Сомнительные основания для вынесения обвинительного приговора стойкость подсудимого в отрицании своей вины вызвали сочувствие: «В середине казни (битья кнутом. — *И. К, Е. Н.*) и даже по совершении оной, тогда, как не имел уже он причин искать во лжи спасения, он призывал всенародно Бога в свидетели своей невиновности и в сем призывании умер». Это происшествие характеризовалось императором как «жестокость толико вопиющая, злоупотребление власти столь притеснительное и нарушение законов в предмете толико существенном и важном». В заключение провозглашалось: Правительствующий сенат «не оставит при сем случае сделать повсеместно по всей империи наипрожайшие подтверждения, чтоб нигде ни под каким видом ни в вышних, ни в нижних правительствах и судах никто не дерзал ни делать, ни допускать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания <...> и чтобы наконец самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной».

Четырнадцатого августа 1802 года по результатам сенаторской ревизии Калужской губернии Г. Р. Державиным Александр дал Сенату новый указ — обратить внимание всех губернаторов на возможные нарушения. В его десятом пункте от местных начальников требовалось: «Чтобы нигде никаких бесчеловечных истязаний и жестокостей не происходило. при расспросах же к усмотрению и открытию истины употреблялось бы более тщательности и расторопности по соображению обстоятельств, связи слов действий подозреваемых». 13 ноября 1804 года в новом именном указе Сенату на его 4-й департамент излагались обязанности по надзору за тем, «чтобы признание подсудимых было не вынужденное»⁶⁸.

Глава 6
Преступления и преступники

*Социальный портрет «клиента»
Тайной канцелярии*

Приведенные выше многочисленные примеры дел могут создать у читателей впечатление, что работа политического сыска в XVIII веке по пресловутым «первым двум пунктам» сводилась преимущественно к борьбе с «народной молвой» и всевозможными «непристойными словами», которые составляли подавляющую часть политических преступлений того времени¹. Если учесть при этом слабую организацию этого института на протяжении всего столетия, может возникнуть вопрос, не служило ли создание Тайной канцелярии и Тайной экспедиции лишь нагнетанию «государственного страха» на несознательных и склонных к «мятежесловик» подданных.

Безусловно, такую роль сыскная служба играла, хотя — судя по многочисленным и порой схожим словесным оскорблениям в адрес власть предержащих — не очень успешно. Но ее деятельность не исчерпывалась этой функцией. Тайный сыск в XVII* столетии выступал правительственным орудием борьбы с порожденными петровскими преобразованиями новыми вызовами, прежде всего — политической нестабильностью.

В жестко централизованной системе самодержавной монархии желание конкретного лица или груп-

пы повысить свой статус и благосостояние заставляло стремиться к вершине, где происходила раздача чинов, имений и прочих благ. Естественно, оказывать реальное влияние на власть могла только приближенная к трону группа знати. При отсутствии правовых традиций и легальных корпоративных форм донесения до престола своих чаяний «регуляторами» статуса при абсолютизме стали не учреждения и твердые правовые нормы, а «партии», придворные интриги и со временем гвардейские полки.

Как уже говорилось, петровская гвардия являлась не только элитной воинской частью, но и чрезвычайным рычагом управления. В первой половине столетия гвардия стала школой кадров военной и гражданской администрации: из ее рядов вышли 40 процентов сенаторов и пятая часть президентов и вице-президентов коллегий. Культивируемые Петром I силовые методы и приближение гвардейцев к «политике» не могли рано или поздно не породить их желания вмешаться в политическую борьбу, чтобы возвести на престол наиболее подходящую, с их точки зрения, фигуру.

Главные действующие лица «эпохи дворцовых переворотов» — А. Д. Меншиков, И. А. и В. В. Долгоруковы, Д. М. и М. М. Голицыны, Б. Х. Миних, позднее А. Г. и К. Г. Разумовские, П. И. и А. И. Шуваловы, братья Орловы и даже такие «штатские» деятели, как П. А. Толстой, Н. Ю. Трубецкой, Н. И. Панин, Я. П. Шаховской, — прошли эту школу: служили в гвардейских частях или командовали ими. Но за спинами гвардейских командиров стояли не менее честлюбивые, но менее удачливые подчиненные. В рядах гвардейцев встречались выходцы из древних аристократических фамилий; однако полковые списки 1724—1725 годов показывают, что большинство служивых были мелкими помещиками: так, в Семеновском полку 27 процентов дворян вообще не имели крепостных, а половина владела не более чем одним—пятью дворами².

Оборотной стороной выдвижения новых людей в армии, государственном аппарате, судах были хище-

ния, коррупция, превышение власти. Переход патримониальной монархии в бюрократическую империю вызвал разрыв с прежней традицией гражданской службы вследствие резкого разрастания бюрократии (только за 1720—1723 годы число приказных увеличилось более чем в два раза) и снижение уровня профессионализма чиновников при возрастании их appetitov³.

Наконец, обретенный при Петре I статус великой державы не мог не привлекать внимания правительств других стран к ситуации при петербургском дворе. Внешнеполитическая ориентация, в свою очередь, играла не последнюю роль в борьбе за власть в самой России: в первой половине XVIII века правящая верхушка не раз стояла перед дилеммой союза или с Австрией, или с Пруссией и Англией, или с Францией. В соответствии с различным пониманием интересов России возникали противоборствовавшие группировки вельмож и придворных. Столкновение мнений по вопросу о союзнических отношениях империи с европейскими державами вплеталось в перипетии соперничества у трона и являлось частью общей картины придворных интриг на протяжении всего столетия.

Петровская Тайная канцелярия за восемь лет своей работы рассмотрела всего 280 дел, как об этом сообщает экстракт, составленный в июне 1726 года накануне ее ликвидации⁴. Конечно, это только часть процессов по «первым двум пунктам» той поры; количество дел, «взятых в разработку» в Преображенском приказе, еще не подсчитано, но за 1715—1725 годы расследовалось (вместе с указанными выше 280) 992 дела.

Более известна статистика карательной практики аннинского царствования: за период с 1732 по 1740 год включительно в «имянных списках» Тайной канцелярии зафиксировано поступление 3 141 человек: в 1732 году в ведомство Ушакова попали 277 подсудимых, в 1733-м — 325, в 1734-м — 269, 1735-м - 343, в 1736-м - 335, в 1737-м - 580, 1738-м - 361, в 1739-м - 364 и в 1740 году - 287 че-

довек⁵. По другим подсчетам, за все царствование Анны Иоанновны к политическим делам оказались прикосновенными (в разном качестве) 10 512 человек, а в ссылку отправились 820 преступников⁶.

Цифры достаточно скромные, особенно по сравнению с карательным размахом Новейших времен. Мрачная «социальная репутация» правления Анны Иоанновны в немалой степени была вызвана не столько собственно масштабом репрессий, сколько тем, что под них попали представители благородного сословия. Из 128 важнейших судебных процессов ее царствования 126 были «дворянскими», почти треть приговоренных Тайной канцелярией принадлежала к «шляхетству», в том числе самому знатному⁷. Расправа с кланом Долгоруковых, дела смоленского губернатора А. А. Черкасского, князя Д. М. Голицына, А. П. Волынского и его «конфидентов» показали, что государыня не спускала даже малейших проявлений своеволия. Представители рядового «шляхетства» страдали за куда менее важные «вины»; списки осужденных свидетельствуют, что в оренбургские степи, в Сибирь, на Камчатку отправились «пошехонский дворянин» Василий Толоухин, отставные прапорщики Петр Епифанов и Степан Бочкарев, «недоросли» Иван Буровцев и Григорий Украинцев, драгун князь Сергей Ухтомский, отставной поручик Ларион Мозолевский, подпоручик Иван Новицкий, капитан Терентий Мазовский, воевода Петр Арбенов, коллежский советник Тимофей Тарбеев, майор Иван Бахметьев и многие другие российские дворяне⁸.

Изучение социального состава «клиентуры» Тайной канцелярии показало, что самыми частыми «гостями» застенка были военные. За девять лет (1732—1740) солдаты составили в среднем 26 процентов арестантов в год; если же учесть, что из 10,5 процента подследственных-дворян (в иные годы их количество доходило до 15 процентов) многие были офицерами, то армейцы составляли около трети всех попавших в Тайную канцелярию. Вряд ли служивые являлись наиболее криминальным элементом или были больше других российских подданных

склонны к политическому протесту — просто в казарменно-походных условиях было труднее скрыть «непристойные» толки и поступки, да и начальство в полку стояло куда ближе к «народу», чем в провинциальной глуши.

Представлявшие более 90 процентов населения страны крестьяне среди колодников составили всего 13,1 процента — немногим более, чем чиновники (9,9 процента) и работные (6,9 процента). Заводские люди, живя скученно в городах или фабричных поселках, становились более «азартными» и склонными к всевозможным «продерзостям», особенно после посещения кабака. А «крапивного семени» — подъячих — во всей аннинской России едва ли набиралось больше 6—7 тысяч человек; но, как и армейцы, они были на виду и под контролем, а потому и сами усердно доносили, и служили объектом чужих доносов.

Довольно большое количество — 6,1 процента «клиентов» тайного сыска — составляли колодники, пытавшиеся путем объявления «слова и дела» достучаться до властей, добиться истины, смягчить свое наказание или отомстить своим недоброжелателям. Все другие слои населения давали подследственных уже гораздо меньше: купцы — 2,8 процента, посадские — 4,5 процента, духовенство — 2,4 процента, что примерно соответствует тогдашнему удельному весу этих групп в социальной структуре российского общества. Остальные дела касались не установленных «прочих»: людей без рода и племени, городских «женок», бродяг, нищих, отставных солдат, беглых рекрутов, скитавшихся «меж двор» и кормившихся «черной работой»⁹.

После «бироновщины» и ареста самого герцога интенсивность работы Тайной канцелярии в «незаконное правление» императора Ивана Антоновича и его матери-регентши Анны Леопольдовны в 1740–1741 годах заметно снизилась, и по столице ходили слухи о предстоявшей ликвидации этого учреждения. Но при «доброй» императрице Елизавете Петровне количество расследуемых им дел не только не сократилось, а наоборот — возросло, особенно во второй половине царствования. Подсчет по ведомо-

стям, составленным при передаче в архив документов Тайной канцелярии, показывает, что при Анне Иоанновне в среднем за год рассматривалось 161 дело, а при Елизавете — 277¹⁰. Соответственно увеличилось и количество арестантов, но их точным статистическим подсчетом по елизаветинскому и екатеринскому царствованиям мы пока не располагаем.

Н. Я. Эйдельман подсчитал, что за 35 лет екатеринского правления — с 1762 по 1796 год — через орган политического сыска прошло 862 дела, в среднем по 25 в год. При Павле I же (считая с 1 января 1797 года) было открыто 721 дело, в среднем 180 в год — в семь раз больше, чем в предшествовавшее царствование. Кроме того, 44 процента обвиняемых в последние годы существования Тайной экспедиции были дворянами (при этом благородное сословие составляло 1 процент населения империи); примерно одинаково были представлены три группы (купеческо-мещанская, крестьянско-казацкая вместе с городскими низами, иностранцы), а духовенство и солдаты дали менее 9 процентов общей численности подсудимых.

Ниже мы рассмотрим наиболее характерные типы преступлений, нарушавших политическую стабильность в империи в XVIII столетии.

«Дворские бури»

Уже в 1725 году имели место случаи отказа от присяги императрице Екатерине I: «Не статочное дело женщине быть на царстве, она же иноземка». В плохо сохранившихся за этот период делах Тайной канцелярии попадаются сообщения о казни (довольно редко встречающемся в ее работе наказании) нескольких лиц: рассыльщика Федора Бородина, крестьянина Еремея Белокопытцева — за неизвестные, но «великие» преступления. Есть упоминания об уничтожении таких дел — к примеру, показаний казненного в 1726 году «калуженина» Алексея Анцифорова за «злые слова» в адрес Екатерины¹¹.

В мае 1725 года отправился в Соловки «карла» императрицы Яким Волков за «противные его слова против персоны ее императорского величества». Священник стоявшего в Петергофе Нарвского полка Иван Алексеев был арестован за отказ от присяги и заявление, что Синода «он не знает, а знает патриархов и своего архиерея»¹³. В мае 1725 года датский посол Вестфален сообщил о казни некоего полковника, также не признавшего новую императрицу. Зимой и весной 1726 года в столице горели дома обывателей и трижды — Адмиралтейство, где были уничтожены 30 новых галер и 30 тысяч пудов провианта для флота. Власти предполагали диверсию; но был пойман и казнен лишь несовершеннолетний Аристов, поджигавший дома соседей¹⁴.

В такой обстановке ликвидация петербургской Тайной канцелярии была мерой преждевременной и, скорее всего, обусловленной борьбой за власть внутри правившей «команды». Толстой явно проигрывал соперничество с Меншиковым, тем более что с подачи последнего было решено создать специальную охрану императрицы — кавалергардскую роту «из знатного шляхетства самых лучших людей из прапорщиков и из поручиков». В течение нескольких месяцев Военная коллегия подбирала кандидатов — не из гвардии, а из офицеров армейских полков. К началу 1727 года эта «гвардия в гвардии» насчитывала 56 человек во главе с капитан-лейтенантом — тем же Меншиковым¹⁵. Разгорались и другие конфликты. С Меншиковым поссорился генерал-прокурор Ягужинский.

В апреле разразился скандал, виновником которого явился вице-президент Синода, новгородский архиепископ Феодосии Яновский. «Духовные пастыри весьма порабощены», — считал он, отказавшись служить панихиду по императору. Остановленный 12 апреля 1725 года при въезде на мост близ дворца (спящая до полудня императрица запрещала пропускать грохочущие кареты) Феодосии заявил: «Я де сам лутче светлейшего князя», — и в гневе отправился к царице; когда его не пустили, «вельми досадное

изблевал слово, что он в дом ея величества никогда впредь не войдет, разве неволею привлечен будет»¹⁶. После неоднократного отказа архиепископа явиться К царскому столу терпение Екатерины лопнуло. Следствие во главе с П. А. Толстым быстро нашло обвинительный материал в виде «продерзливых слов» Феодосия и его заурядных хищений из сокровищниц новгородских монастырей. В итоге первое лицо в церковной иерархии было осуждено «за некоторый злой умысел на Российское государство» к вечному заточению в Николо-Корельском монастыре¹⁷. В чем этот умысел состоял, мы до сих пор не знаем. Особо строгие условия заточения (владыку заживо замуровали в камере и не допускали говорить с ним наедине даже священника) заставляют исследователей предполагать, что Феодосий знал какие-то очень опасные для властей секреты¹⁸. К тому же правительство было весьма озабочено заграничной реакцией на это событие и предписало послу в Гааге И. Г. Головкину объяснять арест архиепископа его «церковными преступлениями» и немедленно «опровергать и уничтожать» любые иные толкования в прессе¹⁹.

Незадолго до ареста владыка предсказывал дальнейшие «междоусобия». Он был не одинок в своих предположениях: весной 1725 года французский посол Кампредон отмечал, что никакого единства среди министров нет и все усилия направлены «к приобретению наибольшего влияния в ущерб друг другу»²⁰.

Так и случилось. К концу короткого царствования Екатерины I Меншиков задумал женить маленького Петра (сына царевича Алексея) на своей дочери Марии, в результате чего сам Александр Данилович смог породниться с династией и стать регентом при несовершеннолетнем государе. Но здесь он встретил сопротивление со стороны вчерашних соратников: своего зятя генерал-полицеймейстера А. М. Девиера, гвардейского генерала И. И. Бутурлина и бывшего Начальника Тайной канцелярии П. А. Толстого. В беседах в узком кругу противники князя высказывали пожелание, чтобы императрица «короновать изволила при себе цесаревну Елисавет Петровну или Ан-

ну Петровну, или обеих вместе». Самого же Петра Толстой хотел «за море послать погулять и для облегчения посмотреть другие государства, как и прочие европейские принцы посылаютца, чтоб между тем могли утвердитца здесь каранация их высочеств». Более решительный Девиер пытался даже повлиять на самого наследника и уговаривал мальчика: «поедем со мной в коляске, будет тебе лучше и воля»²¹

Существовали также группировки, так сказать второго ряда — например, «факция» вокруг княгини Аграфены Волконской, куда входили ее братья, молодые дипломаты Алексей и Михаил Бестужевы-Рюмины, «арап» Абрам Ганнибал, камергер Семен Маврин, кабинет-секретарь Иван Черкасов и член Военной коллегии Егор Пашков²², тоже мечтавшие войти в милость при юном императоре.

Но до настоящего заговора не дошло — главные участники не были связаны с гвардией, а в команде обер-полицеймейстера едва насчитывалась сотня солдат. Пока противники Меншикова обменивались «злыми умыслами», светлейший князь действовал. 10 апреля он переехал из своего дома в Зимний дворец, чтобы держать ситуацию под контролем, так как у Екатерины началась горячка — воспаление или, по позднему заключению врачей, «некое повреждение в лехком». 24 апреля Меншиков добился от царицы указа об аресте Девиера, осуществленном в тот же день, — утром генерал-полицеймейстер еще заседал в Сенате. 27 апреля была назначена следственная комиссия во главе с Г. И. Головкиным, куда вошли Д. М. Голицын, генералы И. И. Дмитриев-Мамонов, Г. Д. Юсупов и «креатуры» Меншикова — генерал-майор А. Я. Волков и обер-комендант столицы Ю. Фаминцын. Указы царицы следователи получали вместе с сопроводительными письмами Меншикова, требовавшими скорейшего допроса обвиняемых Петропавловской крепости²³.

Не прошедшие выучку в Тайной канцелярии вельможные следователи торопились: не были прояснены противоречия в показаниях арестованных Г. Г. Скорнякова-Писарева, И. А. Долгорукова, П. А. Толстого,

И. И. Бутурлина; не привлекались свидетели. 5 мая (в предпоследний день жизни Екатерины) Меншиков четыре раза посещал умиравшую и добился от нее именного указа: представить на следующее утро краткий доклад по делу, а остальное «за краткостью времени оставить»²⁴. Доклад и приговор были готовы лишь к вечеру 6 мая, в последние часы жизни императрицы. Меншиков успел-таки получить эти документы «за подписью собственной ее императорского величества руки»; хотя сомнительно, чтобы Екатерина могла за считанные часы до смерти читать документы следствия и утверждать завещание.

Однако дело было сделано — оппоненты князя устранены, а умиравшая императрица, как и ее великий супруг в 1725 году, изолирована от нежелательных влияний. Утром 7 мая Меншиков объявил о завещании Екатерины, и секретарь Верховного тайного совета В. Степанов огласил «тестament», согласно которому престол переходил к Петру II; но так как до совершеннолетия император «за юностью не имеет в правительство вступать», назначались официальные опекуны — дочери Екатерины I Анна и Елизавета Петровны, муж Анны Петровны герцог Голштинский и Верховный тайный совет, а первым среди формально равных его членов стал Меншиков. Но уже через четыре месяца фактический правитель государства и почти тесть императора сам оказался ссыльным, лишившимся всего имущества.

Жесткий режим «бионовщины» при Анне Иоанновне в этом смысле ничего не изменил — скорее, наоборот: плохая «социальная репутация» правления Анны в немалой степени обусловлена репрессиями именно против представителей господствующего сословия. Из 128 важнейших судебных процессов периода «бионовщины» 126 были «дворянскими», к «шляхетству» принадлежала почти треть осужденных Тайной канцелярией в это время²⁵. Анна хорошо помнила, что именно природные русские вельможи и дворяне пытались ограничить ее власть, но при этом не насаждала какие-то «немецкие», а скорее возрождала петровские порядки, где приоритет отдавался не

столько защите интересов «шляхетства», сколько государственным потребностям. Царствование Анны Иоанновны стало новым этапом в ужесточении контроля над духовенством в виде ограничений на пострижение в монашество, увеличения государственных повинностей и подготовки в 1740 году секуляризации церковных вотчин. «Шляхетству» было не легче: в 1734 году Анна повелела сыскать всех годных к службе дворян и определить их в армию, на флот и в артиллерию. Они стали ответственными плательщиками налогов и недоимок за своих крестьян; в неурожайные годы помещикам предписывалось снабжать крестьян семенами и не допускать их хождения «по миру». Наконец, реализация права на отставку после 25 лет службы по закону 1736 года была отложена до окончания турецкой войны.

Среди бумаг московского губернатора Б. Г. Юсупова мы обнаружили черновик записки, где автор выразил настроения «шляхетства» в конце царствования Анны: «Нихто в покое не живет и чрез жизнь страдания, утеснения, обиды претерпевают». Манифест о 25-летнем сроке службы не выполнялся — после полученной отставки «ныне, как и прежде, раненые, больные, пристарелые <...> рассмотрением Сената определяются к штатским делам». Вельможа был убежден: «Без отнятия покоя и без принуждения вечных служб с добрым порядком не токмо армия и штат наполнен быть может, но и внутреннее правление поправить не безнадежно», — ведь отставным «свой дом и деревни в неисчислимое богатство привести возможно»²⁶. Царедворцу повезло — этот документ не попал в ведомство Ушакова.

По нашим подсчетам, аннинское царствование оказалось самым беспокойным для правящей элиты; массовые замены должностных лиц имели место и в 1736-м, и особенно в 1740 году. За 10 лет состоялись 68 назначений на руководящие посты в центральном аппарате (в среднем 6,8 в год) и 62 назначения губернаторов (6,2 в год) — чаще, чем в любое иное правление в XVIII веке. При этом 29 процентов руководителей учреждений и 16 процентов губернато-

за эти десять лет были репрессированы или уволены и оказались «не у дел». Каждый четвертый из 179 членов «генералитета» (лиц I—IV классов по Табели о рангах) в 1730 году «выпал» из этого круга; почти половина (81 человек) побывала либо под судом, либо судьями над своими вчерашними коллегами; почти четверть (40 человек) знала, что такое конфискация имений, поскольку либо теряла их, либо Получала в награду в качестве «отписных» из казны²⁷.

Менее знатные дворяне были недовольны тяжелой службой, переложением на них ответственности за выплату податей их крепостными. Но дела Тайной канцелярии показывают, что все эти сугубо российские проблемы не связывались с «иноземным засильем» и не порождали «патриотического» протеста: из 646 «дворянских» дел только в восьми осуждение «немцев» явилось основанием для привлечения к ответственности²⁸. Нельзя сказать, что все подследственные дворяне или чиновники являлись политическими преступниками или страдальцами за убеждения. Да и дела о конфискации имущества в царствование Анны свидетельствуют, что имения и дворы отбирались не у «патриотов», а по тем же причинам, что и ранее, и впоследствии: за невыполнение подрядных обязательств по отношению к казне, долги по векселям, «похищение казны». Трудно считать жертвами «бироновщины», например, московского «канонира» Петра Семенова, продававшего «налево» гарнизонные пушки, или разбойничавшего на Муромской дороге помещика Ивана Чиркова²⁹.

Дело советника Монетной канцелярии Тимофея Тарбеева показывает, что чиновник явно не одобрял действий фаворита и сожалел, что «бестолковой Бирон отнял у государыни силу». Но его сослуживец Филипп Беликов еще больше терпеть не мог своего Российского начальника — графа Михаила Головкина, который «разорил нас, сабака, совсем»: отдавал противоречивые приказания, предпочитал прислушиваться к мнению тех, «кто больше плутает», и не оплачивал вовремя деньги; однако жаловаться на графа чиновник боялся — «задавят». На следствии

Беликов усердно «топил» и Тарбеева, и секретаря Монетной канцелярии Якова Алексева, не то чтобы осуждавшего, но удивившегося, обнаружив, что «государыня любит Бирона», и поделившегося своим открытием с сослуживцами. Казенные бумаги Тайной канцелярии дают нам редкую возможность увидеть эпизоды личной жизни императрицы глазами простодушного секретаря: «Государыня де изволила итти во дворе в церковь положила руку свою на плеча графа Бирона и изволила говорить тихо»; в дворцовом селе Хорошево летом 1731 года «таким же образом изволила с ним итить и изволила сказать такие слова: «Я твою палатку поставить велела»; и граф Бирон отвечивал таким словом: «Изрядно»³⁰.

Наибольший резонанс среди проявлений недовольства получило дело Артемия Волынского — последний большой политический процесс царствования Анны. Волынский в 1738 году был назначен кабинет-министром при поддержке Бирона. Он стремился стать главной фигурой среди советников императрицы, но, на свою беду, замечал «непорядки» и расстройство государственной машины. «Конфидентами» Волынского стали в основном «фамильные», но образованные люди: архитектор Петр Михайлович Еропкин, горный инженер Андрей Федорович Хрущов, морской инженер и ученый Федор Иванович Соймонов, президент Коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, секретарь императрицы Иван Эйхлер и секретарь Коллегии иностранных дел Жан де ла Суда. Компания собиралась по вечерам в доме Волынского на Мойке: ужинали, засиживаясь до полуночи; беседовали, согласно дошедшим до нас обрывочным сведениям, «о гражданстве», «о дружбе человеческой», о том, «надлежит ли иметь мужским персонам дружбу с дамскими» и «каким образом суд и милость государям иметь надобно».

Интеллектуальные разговоры подвигли министра на сочинение проекта, который он сам на следствие называл «Рассуждением о приключаящихся вредах особе государя и обще всему государству и отчего происходили и происходят». Отдельные части про-

екта обсуждались в его кружке и даже «публично читывались» в более широкой аудитории. Сам проект до нас не дошел. Волынский доделывал и «переправлял его до самого ареста, затем черновики сжег, а переписанную набело часть отдал А. И. Ушакову — Этот пакет сгинул в недрах Тайной канцелярии. Но обвинительного заключения и показаний самого Волынского можно составить представление о предполагавшихся преобразованиях.

Волынский предлагал:

расширить состав Сената и повысить его роль за счет перегруженного делами Кабинета; при этом упразднить пост генерал-прокурора, чтобы не чинить сенаторам «замещение»;

назначать на все должности, в том числе и канцелярские, только дворян, а на местах ввести несменяемых воевод;

для дворян ввести винную монополию, для горожан восстановить в городах магистраты, для духовенства устроить академии, куда тоже желательно привлекать дворян;

сократить армию до 60 полков с соответствующей экономией жалованья на 180 тысяч рублей; устроить военные поселения-«слободы» на границах;

сочинить «окладную книгу», сбалансировать доходы и расходы бюджета³¹.

Проект трудно назвать крамольным — скорее, наоборот, он находился на столбовом пути развития внутренней политики послепетровской монархии. Сократить армию безуспешно пытался еще Верховный тайный совет; при Анне предпринимались попытки «одворянить» государственный аппарат (устройство дворян-«кадет» при Сенате) и сбалансировать бюджет; позже, уже при Елизавете, была введена винная монополия и восстановлены магистраты.

План Волынского носил сугубо бюрократический характер; речь о выборном начале не заходила даже в тех случаях, когда предполагалось расширить права и привилегии «шляхетства». В этом смысле он находился в тех же рамках петровской системы, которые пытались несколько раздвинуть «шляхетство» в

1730 году. Но, похоже, аннинское десятилетие отучило даже просвещенных представителей кружка Волынского ставить подобные вопросы. На первый план выходил не способ преобразований, а фавор определенной «партии», интриги и заговоры. Дворецкий опального Василий Кубанец выдал не только его служебные преступления (министр был крупным взяточником), но и его «конфидентов», обвинив хозяина в намерении «сделать свою партию и всех к себе преклонить; для того ласкал офицеров гвардии и хвастался знатностью своей фамилии, а кто не склонится, тех де убивать можно». Еропкин и Соймонов на пытке подтвердили показание слуги о намерении Волынского произвести переворот; о таких планах министра ходили разговоры также в дипломатическом корпусе³². Но сам он, признавшись во многих служебных проступках и взяточничестве, даже после двух пыток категорически это отрицал: «Умысла, чтоб себя государем сделать, я подлинно не имел». Следствие так и не смогло ничего выяснить про заговор; не были обнаружены и связи Волынского с гвардией.

В результате Анна повелела «более розысков не производить», и в обвинительном «изображении о преступлении» ничего не говорилось о якобы готовившемся захвате власти. Императрица колебалась: Волынский, безусловно, заслужил опалу; но допустить на десятом, «триумфальном» году царствования позорную казнь толкового министра?! Бирон использовал всё свое влияние: «Либо я, либо он», — угрожая уехать в Курляндию. Наконец Анна Иоанновна уступила. 27 июня 1740 года на Сытном рынке столицы состоялась казнь Волынского, Еропкина и Хрущова и «урезание языка» графу Мусину-Пушкину. Соймонова, Суда и Эйхлера били кнутом и сослали в Сибирь на каторгу.

Некоторых подследственных ожидали жестокие пытки и казнь, как Алексея Жолобова или Егора Столетова, на свою беду в подробностях рассказывавшего, как сестра царицы, мекленбургская герцогиня Екатерина Иоанновна сожительствовала с его приятелем князем Михаилом Белосельским. Другим посчастливилось — коллежский советник Иван Аннен-

ков и ассессор Константин Скороходов были отправлены в ссылку «без наказания». Порой Анна умела быть великодушной. Жена сосланного ею Петра Бестужева-Рюмина не стеснялась в «непристойных словах к чести ее императорского величества», о чем донесли ее крестьяне. Но государыня вместо расследования повелела отписать мужу виновной, что отправляет ее к нему, «милосердя к ней, Авдотье», чтобы впредь не болтала³³. В 1735 году сын лифляндского мужика и племянник императрицы Екатерины I, уже безмерно обласканный судьбой кадет Мартин Скавронский, размечтался: «Нынешней де государыне, надеюсь, не долго жить, а после де ее как буду я императором, то де разошлю тогда по всем городам указы, чтоб всякого чина у людей освидетельствовать и переписать, сколько у кого денег». Царствовать с отъемом денег у населения беспутному кадету не пришлось, но он был везунчиком — после порки плетью и отсидки в тюрьме Тайной канцелярии вышел на свободу, а впоследствии дослужился до действительного тайного советника 1-го класса и обер-гофмейстера двора³⁴.

Наряду с искателями придворной фортуны в застенки попадали люди с более твердыми убеждениями: в 1734 году был казнен бывший капитан гвардии, полковник Ульян Шишкин, объявивший «по совести своей» на следствии, «что ныне императором Елисавет», а Анну Иоанновну «изобрали погреша в сем пред Богом». От своих слов бывший гвардеец не отказался, за что лишился головы³⁵.

Известные нам следственные дела не содержат сообщений о сколько-нибудь серьезных попытках захвата власти. Но все же многие подданные воспринимали режим «недостаточно законным»; точнее, сама ситуация насильственной смены монарха уже не казалась больше немыслимой. Даже беглый гусар из Новой Сербии (военных поселений южных славян на Украине) Федор Штырский в 1754 году мечтал: «А ныне де как весны дождуся, то учиню побег к крымскому хану и подниму татар и поляков на Новую Сербию и на всю ее императорского величества

державу, и приду на столицу и возьму всемилостивейшую государыню»³⁶.

В декабре 1731 года Анна восстановила петровский закон о престолонаследии: подданные вновь обязаны были присягать наследнику, «который от ее императорского величества назначен будет». Обе сестры императрицы умерли; зато оставались цесаревна Елизавета и внук Петра I в Голштинии. Они были указаны как следующие после Петра II наследники в завещании Екатерины I, и этот «виртуальный» документ (вроде бы существующий, но в то же время объявленный подложным) необходимо было лишить юридической силы. К концу царствования императрица решила проблему престолонаследия. У Анны не было детей, но она в 1739 году выдала свою племянницу — тоже Анну — замуж за принца Антона Ульриха, сына герцога Фердинанда Альбрехта II Брауншвейг-Бевернского. 12 августа 1740 года Анна Иоанновна восприняла от купели долгожданного наследника — своего внучатого племянника, будущего императора, а затем узника Ивана Антоновича.

Но к этому времени гвардия уже заявила о своем праве вмешиваться в политику — «непристойные слова» по «первым двум пунктам» перестали быть только словами. А Тайная канцелярия еще не имела надежных средств, помимо доносов, для предотвращения подобного вмешательства — в ее распоряжении не было ни профессиональных сыщиков, ни агентов-провокаторов, ни разветвленной сети информаторов. Правда, и настоящих заговоров (с организацией, конспирацией, политической программой) в первой половине XVIII века тоже не было; но тем сложнее оказалось выявить и пресечь спонтанные гвардейские выступления. Бравые офицеры и солдаты уже «созрели» для совершения переворота-

Гвардейские «тревоги»

Дела Тайной канцелярии свидетельствуют, что уже после первой схватки за власть в январе 1725 года в рядах гвардии — опоры режима — были недо-

вольные: железной руки Петра не стало, а награды достались явно не всем желающим.

Доносы сохранили жалобы гвардейцев: «Не х кому нам голову приклонить, а к ней, государыне, <..> господя де наши со словцами подойдут, и она их слушает, что ни молвят. Так уж де они, ростакые матери, сожмут у нас рты? Тьфу де, ростакая мать, служба наша не в службу! Как де вон, ростаким матерям, роздали деревни дворов по 30 и болше <...>, а нам что дала помянуть мужа? Не токмо что, и выеденова яйца не дала». Преображенский сержант Петр Курлянов сокрушался: «Императора нашего не стало, и все де, разбодена мать, во дворце стало худо»; а его однополчанин Петр Катаев сожалел, что смерть Петра «даровала многим живот», поскольку государь «желал всех их смерти»³⁷.

Однако в событиях 1725 и 1727 годов от имени гвардии действовали ее командиры — Ушаков, Бутурлин, Меншиков. В 1730 году высшие офицеры обоих полков участвовали в политических дискуссиях и подписывали проекты будущего государственного устройства. Но судьбу монархии тогда решили без них явившиеся во дворец с прошением о восстановлении «самодержавства» дворяне, в том числе гвардейские поручики и капитаны, радостно кричавшие: «Государыня, мы верные рабы вашего величества, верно служим вашим предшественникам и готовы пожертвовать жизнью на службе вашему величеству, но мы не потерпим ваших злодеев! Повелите, и мы сложим к вашим ногам их головы!» Рядовые же «политикой» не интересовались, а лишь исполняли приказы начальства.

Со временем гвардейцы усвоили опыт дворцовых "революций" и ощутили себя «делателями королей». как только грозная Анна Иоанновна умерла, оставив регентство при младенце-императоре Иване Антоновиче своему фавориту герцогу Бирону, недовольство в полках вырвалось наружу. Его выразил «старейший в Преображенском полку поручик Петр Ханыков, заявивший приятелю, сержанту Ивану Алфимову 20 октября 1740 года — через два дня после

присяги новому императору: «Что де мы зделали, что государева отца и мать оставили, они де, надеясь на нас плачютца, а отдали де все государство какому человеку регенту, что де он за человек?»³⁸ Он первым осознал, что его однополчане сами могут совершить переворот: «Учинили бы тревогу барабанным боем и гренадерскую б свою роту привел к тому, чтоб вся та рота пошла с ним, Ханыковым, а к тому б де пристали и другие салдаты, и мы б де регента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкова убрали».

Ханыков и его друзья сочувствовали брауншвейгскому семейству. Отставной капитан Петр Калачев думал иначе: «Пропала де наша Россия, чего ради государыня цесаревна российский престол не приняла». Капитан считал, что Елизавета есть «по линии» законная наследница, но при этом не отрицал и прав Анны Леопольдовны, которая могла вступить в правление после Елизаветы, «а при ее императорском высочестве быть и государю императору Иоанну Антоновичу»³⁹.

Петр Великий, наверное, перевернулся в гробу: спустя 15 лет после его смерти в созданной им «регулярной» империи уже не тайные советники и фельдмаршалы, а поручики и капитаны полагали, что от них зависит, кому «отдать государство», и размышляли, как «убрать» его первых лиц. Даже солдаты теперь выражали недовольство завещанием царицы.

Гвардия становилась опасной и непредсказуемой силой; но идея еще казалась слишком дерзкой, и Ханыков сетовал на сослуживцев: «Какие наши офицеры, все де трусы, ни один по настоящей форме не идет». Поэтому он обратился к унтерам: «В полку надежных офицеров нет, не с кем советовать о том; разве вы ундер афицеры об этом станете салдатом толковать». В успехе поручик был уверен: «Они меня любят, и офицеры б, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать».

Подобные мысли — «не прискорбно ли будет» регентство Бирона принцессе Анне Леопольдовне — приходили и другим офицерам. Капитаны Семенов-

кого полка Василий Чичерин и Никита Соковнин хотя и присягнули регенту, но «плакали о общей государственной печали». Не вполне трезвый Преображенский поручик Михаил Аргамаков тоже проследил: «До чего мы дожили и какая наша жизнь? Лутче бы сам заколол себя, что мы допускаем»⁴⁰. Но они пошли привычным путем — пытались искать покровительства у авторитетного и чиновного лидера. Отставной подполковник Любим Пустошкин и капитан Василий Аристов обращались к тайному советнику Михаилу Головкину и к главе Кабинета министров Алексею Черкасскому. Офицер-семеновец Иван Путятин и его друзья надеялись на своего подполковника — отца императора Антона Брауншвейг-Люнебургского, но принц не отважился на встречу с подчиненными. Другие сановники оказались еще трусливее: десятилетие «бионовщины» отшибло у вельмож всякое желание совершить лихое политическое действие. Головкин уклонился от опасного предприятия: «Что вы смыслите, то и делайте. Однако ж ты меня не видал, а я от тебя сего не слыхал; а я от всех дел отрешен и еду в чужие край». Черкасский же лично донес на своих посетителей.

При обилии подобных разговоров доносчик должен был найтись обязательно. Были арестованы поручики Преображенского полка Петр Ханыков и Михаил Аргамаков, сержант Иван Алфимов и другие офицеры и чиновники. Всего в следственном деле перечислено 26 фамилий, против некоторых сделаны пометки: «Пытан. Было 16 ударов». Знакомство с материалами допросов арестованных показывает, что национальность и нравственность Бирона мало интересовали гвардейцев. Офицеров и солдат возмущало прежде всего то, что «напрасно мимо государева отца и матери (таких же иноземцев. — *И. К, Е. Н.*) регенту государство отдали». Однако рядовые еще не решались на выступление — только бранили «нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего не зачинают, что если им, солдатам, зачать нельзя». (Поручик Ханыков чуть опередил время; очень скоро простые гвардейцы поняли, что и им «зачать можно».)

Следствие по делу арестованных офицеров не обнаружало настоящего заговора, и многие отделались сравнительно легко: одних (ротмистра А. Мурзина капитан-поручика А. Колударова) спустя несколько дней выпустили, других (адъютантов А. Вельяминова и И. Власьева) освободили с надлежащим «репримандом». Графа М. Г. Головкина, у которого гвардейцы искали поддержки, вообще избавили от допросов.

Среди недовольных регентством Бирона были сторонники цесаревны Елизаветы. Но поскольку сама она вела себя примерно, их дела также закончились относительно безобидно: капрала Хлопова сожалевшего, что дочь Петра Г от наследства «оставлена», отпустили без наказания, а отказавшегося присягать новой власти счетчика Максима Толстого сослали на службу в Оренбург, тогда как при Анне Иоанновне за подобное могли даже казнить. Не подтвердился донос Преображенского сержанта Барановского о якобы данном Елизаветой своим слугам указе «под смертною казнию, чтоб никто дому ее высочества всякого звания люди к состоявшимся первой и второй присягам не ходили», и посылке «в Цесарию» двух курьеров. Следствие выяснило, что такие слухи распространялись среди мелкой придворной челяди; в итоге розыска «важности не показалось, явились токмо непристойные враки»⁴².

Некоторые меры предосторожности Бирон все же принял. На следствии он признал, что интересовался «общественным мнением» и приказал кабинет-министру Бестужеву выяснить, «тихо ли в народе, и он сказывал, что все благополучно и тихо; да однажды приказывал о том проведать генерал-маеору Албрехту, токмо он мне никаких ведомостей не сообщал»-Регент «укрепил» Тайную канцелярию генерал-прокурором, и с 23 октября подпись Н. Ю. Трубецкого появлялась на ее документах. 26 октября указ за подписями членов Кабинета предписал московскому главнокомандующему С. А. Салтыкову «искусным образом осведомиться <...>, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (об указе о регентстве. — *И. К. Е. Н.*) говорят и

не приходят ли иногда от кого в том непристойные рассуждения и толкования»; виновных надлежало арестовывать «без малейшего разглашения»⁴³. Но всё оказалось напрасно.

Переворот в ночь с 7 на 8 ноября 1740 года произошел по привычной схеме: арестовывать Бирона повел преображенцев их подполковник и фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. Регентшей империи стала Анна Леопольдовна, которая постаралась отблагодарить своих защитников. Ханыков и другие арестованные именным указом были реабилитированы и прошли церемонию «возвращения чести»: 10 декабря 1740 года их в штатском платье вывели перед полками и трижды покрыли знаменем, после чего они облачились в новые мундиры, получили шпаги и заняли место в строю. Несколько дней спустя особый манифест объявил, что помянутые офицеры и чиновники «неповинно страдали и кровь свою проливали» и отныне любое «порицание» их чести карается штрафом в размере жалованья обидчика.

Регентша Анна Леопольдовна была доброй, «великой охотницей» до книг и «драматического стихотворства» и обладала нетипичной для дам того времени «благородной гордостью». Но 22-летняя принцесса не сумела всерьез заняться делами и не научилась искусству привлекать и направлять сподвижников. В такой ситуации обострилось соперничество в ее окружении (А. И. Остермана, принца Антона Брауншвейгского, М. Г. Головкина), результатом которого стало отсутствие четкой линии как во внутренней, так и во внешней политике. Наряду с боевыми офицерами чины и награды получали придворные фрейлины, кофешенки, лакеи да и просто по знакомству случайные люди; так был произведен в лейтенанты ничем не отличившийся на русской службе, но знаменитый своими приключениями барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен — бывший паж и корнет Кирасирского полка принца Антона. А наказаний избежали не только невинно оговоренные, но и скупщики краденого, и пойманные на взятках и подлогах адмиралтейские чиновники. Произ-

вольные повышения — через один и даже два ранга — нарушали сложившиеся традиции и обесценивали чинопроизводство; окружавшие Анну лица использовали массовые награждения для продвижения по службе «своих» людей. Едва ли добавило регентше популярности ее увлечение саксонским послом графом Линаром — слишком уж он напоминал свергнутого Бирона. Пока «наверху» ссорились и интриговали, в гвардейском «низу» копилась критическая масса для очередного переворота.

Книги приказов по полкам за 1741 год показывают, что дисциплина в «старой» гвардии была не на высоте. Солдаты являлись на службу «в немалой нечистоте», «безвестно отлучались» с караулов, играли в карты и устраивали дебоши в кабаках и «бляцких домах». Они «бесстрашно чинили обиды» обывателям, устраивали на улицах драки и пальбу, не гнушались кражами на городских рынках и даже у сослуживцев, многократно «впадали» во «французскую болезнь» (сифилис) и не желали от таковой «воздерживаться». Обычной «продерзостью» стало пьянство, так что приходилось издавать специальные приказы, «чтоб не было пьяных в строю». Гвардейцы образца 1741 года чувствовали себя во дворце и в столице хозяевами положения. Семеновский гренадер Иван Коркин был задержан на рынке с краденой посудой из дома «великого канцлера» А. М. Черкасского; Преображенский солдат Иван Дыгин нанес оскорбление камер-юнкеру правительницы и офицеру Конной гвардии Лилиенфельду. Разгулявшиеся семеновцы Петр и Степан Станищевы «порубили» на улице караульных, а заодно и вмешавшихся в драку прохожих. Преображенец Артемий Фадеев «в пребезмерном пьянстве» потащил на улицу столовое серебро и кастрюлю из царского дворца, а его сослуживец гренадер Гавриил Наумов вломился в дом французского посла, чтобы занять у иноземцев денег. Регулярное чтение солдатам Артикула воинского и обычные наказания в виде батогов не помогали, как и призывы к офицерам иметь «смотрение» за вверенными им подразделениями⁴⁴.

Укрепить дисциплину попытался генералиссимус, гвардейский подполковник принц Антон. С лета 1741 года в адрес гренадер и других солдат заметно увеличивается количество выговоров: солдаты делают приемы ружьем «не бодро», носят не положенные по форме шапки, «виски не потстрижены по препорции», «волосы не завязаны». Помимо дополнительных «экзерциций» у солдат было множество других поводов для недовольства: им не разрешалось топить печи «годными» бревнами и досками, у вернувшихся из похода в Финляндию отобрали казенные шубы; бдительный принц лично распорядился сломать поставленные гренадерами «рогожные нужники» в окрестностях казарм. Солдатам было запрещено обращаться с просьбами непосредственно к герцогу, через голову нижестоящих командиров; гвардейцам-именинникам — являться, по старой традиции, с калачами во дворец⁴⁵. Все эти строгости вместе с тяготами начавшейся войны со Швецией (запретом отпусков и командированием в августе сводного гвардейского отряда на фронт) явно не способствовали популярности брауншвейгского семейства. В Тайной канцелярии вновь стали рассматриваться дела о «непристойных словах» гвардейских солдат и прочих обывателей в адрес верховной власти.

Преображенский солдат Василий Бурый считал, что Елизавету несправедливо «отрешили от российского престола». Измайловец Андрей Псищев на упреки капрала заявил: «Тако ты черту присягал, а не государю!» Точно так же («чорту ты служишь») ответил и его сослуживец Леонтий Сокольников. Музыкант Павел Муромцов был уверен, что «генерал-фелтмаршал фон Миних и другие генералы, и генерал фелтцейхместер, да и третьей император дураки». «Гошпитальный надзиратель» Михаил Крюков выразился о власти предержавших не менее резко: «только они Россию-ту нашу ядят»⁴⁶.

При дворе же проблем как будто не замечали — один за другим следовали балы и празднества. Бессилие правительства летом—осенью 1741 года приве-

ло к падению престижа «брауншвейгского семейства» в глазах и «низов» (прежде всего гвардейских солдат), и «верхов» — высших чиновников и офицеров.⁴⁷ Неспособность регентши создать свою «команду» породила изоляцию правящей группы, что помогло занять престол дочери Петра Елизавете.

Тайная канцелярия проморгала новый переворот Анна Леопольдовна получала предупреждения из разных источников (от английского посла Финча русского посланника в Голландии А. Г. Головкина) но не придавала им значения. К тому же эти документу были посвящены интригам французского посла в Петербурге Шетарди и шведского правительства и их контактам с Елизаветой. Конечно, беседы полупальной цесаревны с дипломатами интересовали правительство, но реальной опасности не представляли. Материалы следствия по делу министров Анны Леопольдовны не содержат никаких указаний на то, что слежка за домом Елизаветы, продолжавшаяся до осени 1741 года, дала какие-то результаты. Их быть и не могло: в отличие от других дворцовых переворотов в 1741 году цесаревна не имела своей «партии» среди вельмож. Ее опорой стали несколько рядовых и унтер-офицеров Преображенского полка во главе с бывшим немецким купцом Грюнштейном, за которыми никто не следил, как и за личным врачом принцессы Арманом Лестоком. Именно они за несколько дней подговорили солдат; утром 24 ноября один из заговорщиков, Петр Сурин, попросту отправился во дворец и сообщил несшим охрану семеновцам: вечером придем брать власть, и «в сию ночь будет во дворец государыня цесаревна»⁴⁸. Опыта конспирации у гренадеров не было — дело решила быстрота. Пока двор Анны Леопольдовны веселился на последнем в это царствование балу, Елизавета вместе с камер-юнкером М. И. Воронцовым и Лестоком прибыла в казармы. «Знаете ли, ребята, кто я? И чья дочь? — обратилась к солдатам цесаревна и попросила у них помощи: — Моего живота ищут!» - после чего рота гвардейцев ворвалась во дворец, арестовала малютку-императора, его родителей и мини-

стров и возвела на престол дочь Петра I. Для большинства знати и иностранных послов переворот стал неожиданностью.

Правящая элита испытала шок, когда поняла, что реальной властью в столице империи стало гвардейское «солдатство». Не случайно сразу после переворота Сенат указал двинуть из Москвы в Петербург 46 рот «как возможно наискоряе» — то ли для противовеса недовольной переворотом части гвардии, то ли для охраны столицы от «спасителей отечества»⁴⁹. И в Петербурге, и в действующей армии гвардейцы устраивали форменные побоища и нападения на офицеров-иностранцев; только вызванные армейские части смогли навести порядок.

Хорошо еще, что простые подданные в петербургские «действия» особенно не вникали. В мае 1741 года крепостной Евтифей Тимофеев попал в розыск из подмосковной деревни по поводу высказанного мнения о политических новостях: «У нас слышно, что есть указы о том: герцога в ссылку сослали, а государя в стену заклали», — но при этом решительно не мог пояснить, о каком герцоге идет речь⁵⁰. Другое свидетельство о перевороте из народной среды относится к 1751 году: крестьяне подпоручика Алексея Жукова разговорились о брате своего хозяина поручике Семеновского полка Андрее Жукове: «Смел он очень; вот как де когда всемилостивейшая государыня ссаживала Антония, то де никто ево не смел взять; а как де всемилостивейшая государыня соизволила братца ево послать, то де он, пришед, взял ево, Антония, за волосы и ударил об пол»⁵¹. Поручик предстает в этой байке почти былинным героем, но собеседники вовсе не воспринимают его поступок как патристическую борьбу с «немцами». Скорее всего, перед нами крестьянское изложение «охотничьих рассказов» самого барина.

Правящие круги усвоили данный им урок: отныне даже самые острые противоречия в верхах больше никогда не разрешались путем обращения к «солдатству». Елизавета показала себя способной правительницей. Она могла быть жесткой, объективно оцени-

вала своих советников и умело лавировала среди соперничавших группировок. Начавшаяся Семилетняя война, болезнь и смерть императрицы нарушили равновесие между придворными «партиями».

Важнейшей причиной бесславного конца полугодового царствования Петра III стала хаотичная и импульсивная деятельность самого монарха, непродуманные назначения и решения (не имевшая механизма реализации секуляризация, вызвавший возражения указ о свободе торговли). Попытка возродить стиль руководства великого деда привела к внешнему копированию его образа жизни, ставшему жалкой пародией. В итоге многие поспешно принятые решения саботировались, о чем свидетельствует составленная при Екатерине II ведомость об исполненных и неисполненных указах предыдущего царствования. Император последовательно стремился к войне с Данией, несмотря на сопротивление высшей бюрократии и неготовность армии.

Политика Петра III и сам повседневный стиль его жизни вызывали отторжение у двора и гвардии, которую государь собирался «разбавить» ее солдатами из армейских частей и приступил к созданию десяти тысячного корпуса на смену «старым» полкам. Эти круги стали питательной средой заговора, детали которого нам до сих пор неизвестны. На начальном этапе в нем участвовала небольшая группа близких Екатерине людей (включая братьев Орловых и Никиту Панина), которая за три-четыре недели смогла развернуться в солидное предприятие. Другим условием успеха заговора стала децентрализация — наличие, по словам Екатерины, «четырех отдельных партий». Такой представляется структура заговора «по горизонтали»; «по вертикали» она включала в себя вельмож, часть из которых — например гетман и фельдмаршал Кирилл Разумовский — была давно связана с Екатериной.

Особенностью «революции» 1762 года стало соблюдение дистанции между офицерами и солдатами, с одной стороны, и «генералитетом» и офицерами — с другой. Такая тактика была оправдана, о чем

говорит эпизод с солдатом-преображенцем, приста-
----- к офицерам с вопросом: «Скоро ли свергнут
императора?» — в результате чего был арестован
один из заговорщиков, Пассек. О такой же солдат-
кой болтовне писал будущий поэт, а тогда гвардей-
ский солдат Г. Р. Державин: «Когда выйдет полк в Ям-
скую <...>, то мы спросим, куда и зачем нас ведут,
оставя нашу матушку-государыню, которой мы рады
служить». Попытки предупредить императора о воз-
мущении (например, со стороны подполковника
лейб-кирасирского полка Будберга или преображен-
-- И. А. Долгорукова) оказались тщетными не только
из-за беспечности Петра III, но и потому, что доноси-
тели не могли сказать ничего определенного ни о
руководителях заговора, ни о составе «партий». Ос-
новная масса «солдатства» в подготовке выступления
не участвовала, но была соответствующим образом
настроена. Для этого Екатерина и ее окружение раз-
вернули пропагандистскую кампанию по дискреди-
тации императора: по столице ходили слухи о «все-
народном объявлении веры Лютера», перемене всех
жен у министров и венчании Петра III с любовницей
Елизаветой Воронцовой при живой жене.

Необычной была и тактика переворота: его орга-
низаторы обеспечили присоединение к мятежу од-
ного за другим всех гвардейских полков, чем (в соче-
тании со слухом о смерти императора) парализовали
верных присяге офицеров. Благодаря четкой работе
Военной коллегии и усилиям дежурных генерал-адъ-
ютантов мятежники были в курсе расположения и
передвижения военных частей в окрестностях сто-
лицы и блокировали все распоряжения императора.

Успеху переворота способствовала также дезорга-
низация работы сыска — как раз в 1762 году Петр III
упразднил Тайную канцелярию и оставил не у дел ее
многолетнего начальника А. И. Шувалова. Однако
последствия переворота, как это было и в 1740-х го-
дах, продолжали беспокоить правящие круги импе-
рии еще несколько лет.

В ходе российских «дворских бурь» их участники
от споров о правах наследников и правомочности

«тестаментов» перешли к действиям, направленным против самих самодержцев, лишенных в ходе петровских преобразований сакрального образа «благочестивого государя царя». Опасная идея постепенно передвигалась с периферии общественной жизни в ее центр, а затем материализовалась на практике: в 1741 году солдаты впервые свергли с престола законного императора, в 1762-м заговорщики уже планировали и совершили цареубийство. Таким образом, перевороты в итоге ударили бумерангом по самой верховной власти.

Дела Тайной канцелярии времен Елизаветы показывают, что совершенный гренадерами-преображенцами переворот одобряли не все. «Честь себе заслужили тем, что пришед в ношное время во дворец и напали на сонных с ее императорским величеством», — осуждал их семеновец Алексей Павлов; его сослуживец Максим Судаков называл героев переворота «бунтовщиками и стрельцами»⁵². Поручик Копорского полка Яков Панцирев в «вольном доме» в Ораниенбауме плюнул на манифест о восшествии на престол императрицы и объявил ее сторонников изменниками⁵³.

Кроме того, события 1741 года открыли одну закономерность российского «переворотства»: легкость и безнаказанность захвата власти породили в гвардейско-придворной среде настроения «переиграть» ситуацию: «в случае» оказывались немногие, а обиженных при дележе наград и чинов всегда хватало.

Уже в январе 1742 года Финч отметил ропот в гвардии. Летом этого года Преображенский прапорщик Петр Квашнин, камер-лакей Александр Турчанинов и Измайловский сержант Иван Сновидов считали возможным собрать «партию человек в триста или и больше, и с тою бы партией идти во дворец и государыню императрицу свергнуть с престола, а принца Иоанна возвратить». На вопрос, что делать с императрицей, Турчанинов ответил: «Где он их увидит — заколет»⁵⁴. Известное «дело Лопухиных» выявило подобные настроения и в придворных кругах: подполковник Иван Лопухин летом 1743 года заяв-

лял о скорых «переменах» в правительстве и воцарении — опять же «принца Иоанна», при этом перечислял многих недовольных происшедшим переворотом офицеров⁵⁵.

Недовольство проявляли даже искренние сторонники бывшей опальной цесаревны. Сосланный при Бироне за выражение сочувствия к правам Елизаветы капитан Петр Калачов по возвращении из Сибири был пожалован в майоры и отставлен «с денежным награждением», однако таким обращением был не удовлетворен и затеял тяжбу о возвращении своих якобы незаконно отчужденных «деревень», в ходе которой четыре раза подавал «доклады» императрице.

Майор не только желал вернуть свои давно заложенные и не выкупленные в срок имения, но был искренне убежден, что Елизавета «возведена на российский престол через ево, Калачова, первого». Поэтому, считал он, его семье уместно быть «при дворе», а ему самому государыня могла бы «поручить в смотрение табашной и питейный сборы» по всей стране; В своем «бессовестном неудовольствии» верноподданный майор грозил императрице «бунтом», советовал ей отпустить свергнутого Ивана Антоновича с отцом за границу и сетовал, что ранее «такова в государстве разорения и неправосудия не бывало» из-за «воров» и «изменников», к числу которых относил весь Сенат вместе с генерал-прокурором, вице-канцлера М. И. Воронцова и многих других высших чиновников⁵⁶.

В 1749 году поручик Ширванского полка Иоасаф Батурин предложил великому князю Петру Федоровичу возвести его на престол: «Заарестуем весь дворец и Алексея Разумовского, а в ком не встретим себе единомышленника, того изрубим в мелкие части». Замысел офицера интересен тем, что захватить власть он намеревался с помощью московских фабричных рабочих, которых его сторонники уже начали «подговаривать»⁵⁷.

Приводить в чувство приходилось не только офицеров, но и солдат; списки осужденных в первые го-

ды правления Елизаветы включают многих унтер-офицеров и рядовых гвардии, отправленных за «непристойные слова» на Камчатку, в Оренбург и другие дальние гарнизоны⁵⁸.

Елизавета быстро уладила вопрос о наследнике престола — в 1742 году им стал ее племянник, голштинский принц Карл Петр Ульрих, в православии — «внук Петра Первого, благоверный государь великий князь Петр Федорович». Но все 20 лет ее царствования беспокойство по поводу узника экс-императора Ивана Антоновича не оставляло ее, а фигура принца оставалась «катализатором» переворотных надежд внутри страны и не вполне ясных планов зарубежных политиков.

Уже с 1742 года среди охранявших брауншвейгское семейство в Риге гвардейцев стали вестись разговоры о порядке наследия престола. В 1743 году за здоровье Анны Леопольдовны и ее сына поднял тост в сибирской глуши иноземец-портной «из Ангальтского княжества» Иван Зибек⁵⁹. В июне 1745 года императрица лично допрашивала дворянина А. Беклемишева, показавшего на своих знакомых, сожалеющих об участи свергнутой правительницы и ее сына и якобы мечтавших о «республике». Правда, из болтовни Беклемишева следовало, что офицеры братья Новиковы и капитан И. Зиновьев республиканские порядки понимали своеобразно: «Россию разделить в княжении в рознь и всякой да у них по княжению взять хотел», — и дело серьезным заговором не пахло. Однако следствие показало, что «в гвардии есть такие, что о принце сожалеют»⁶⁰.

Поручик Канцелярии от строений Евстафий Зиминский повинился в желании, «чтоб оному принцу быть на всероссийском престоле», для достижения коего не исключавший использования пушек для покушения на императрицу: «Зарядя их дробью, расстрелял ее на розно»⁶¹. Информация о самом принце в столице распространялась из первых рук — многие гвардейцы откомандировывались в караул к брауншвейгскому семейству и, подобно сержанту-пре-

ображенцу Ивану Назарьеву, не считали нужным скрывать, что принц «весьма умен»⁶².

Подобные разговоры порождали отклик — особенно у тех, кто считал себя обойденным. В 1748 году в Тайную канцелярию попал бывший адъютант Антона Ульриха Петр Грамотин: проведя несколько лет в ссылке, он был по-прежнему уверен, что «будет на царстве Иван Антонович вскорости». Еще через несколько лет следователям пришлось разбираться с полковником Иваном Ликеевичем, предлагавшим в своих докладах Елизавете и канцлеру Бестужеву скорее отпустить «принца Иоанна» за границу: от долгого заключения пленник «как зверь будет»; после смерти императрицы непременно произойдет выступление его сторонников и наследник Петр Федорович будет изгнан в Голштинию. Уличенный сутяга, дворовый человек прокурора Монетной канцелярии Илья Долбилов, ложно донес на своего брата, якобы доставившего вместе с греком-купцом из-за границы деньги заточенному «Антону Урлиху» и собиравшегося возвести на престол Ивана Антоновича⁶³.

Память о свержении младенца-императора пережила и переворот 1762 года. Первые годы на троне были для Екатерины II, пожалуй, более тревожными, чем для Елизаветы, — немецкая принцесса София Фредерика Августа не была дочерью Петра Великого, никаких прав на престол не имела, да и гибель мужа-императора легла пятном на ее репутацию.

Материалы Тайной экспедиции дают возможность представить общественную атмосферу после переворота. Уже в августе 1762 года отставной прапорщик Прохор Лазарев из Пскова заявлял, что «взбунтовался лейб-гвардии Преображенской и лейб-кирасирской полки и в подданстве быть не хотят», к тому же «бывшего правления принц Иоанн найден». Присланный в столицу по распоряжению Панина отставник божился, что всё это ему рассказывали конногвардейцы, действительно опасавшиеся нападения соперничавших полков⁶⁴.

Прусский и французский дипломаты уже в 1762 году отмечали существование оппозиции фавориту

императрицы Григорию Орлову и его братьям, против которых интриговали недавние друзья и сторонники. Так, в дни коронационных торжеств возникло дело поручиков Петра Хрущова и Семена Гурьева, намеревавшихся посадить на престол «Иванушку» Инициатива ограничилась «матерной бранью» в адрес императрицы и похвальбой в «велием пьянстве»; но власть отреагировала всерьез: виновные были «ошельмованы», лишены дворянства и отправлены на Камчатку.

Предполагаемый брак Екатерины и Григория Орлова спровоцировал другое гвардейское «дело» — камер-юнкера Федора Хитрово и его друзей, Измайловских офицеров братьев Рославлевых и Ласунского — главных героев событий 28 июня. «Орловы раздражали нас своей гордостью», — заявляли недовольные офицеры и выражали намерение убить выскочек, а Екатерину выдать замуж за одного из братьев заточенного Ивана Антоновича⁶⁵. Дело было решено тихо — виновные без суда отправлены в ссылку. Еще раньше в Казань был сослан Преображенский майор Василий Пассек, о поведении которого было приказано докладывать Панину⁶⁶. В деревни поехали «титularный юнкер» Воейков и поручик Петр Савельев, «разглашавшие» настолько «непристойные слова», что их не рискнули доверить даже протоколам следствия: дело было сожжено⁶⁷.

Гвардейцы не сомневались в гибели Петра III; его образ отныне «ушел в народ», где воскресал на протяжении екатерининского царствования неоднократно. Но в полках продолжалось брожение; имя, казалось, забытого узника Ивана Антоновича не сходило с языка. Пруссак Гольц и его французский и голландский коллеги подметили, что недовольные «чернь и солдаты» обращались к имени шлиссельбургского узника; о том же говорят и дела Тайной экспедиция.

В мае 1763 года преображенец Михаил Кругликов пожаловался друзьям из Конной гвардии в пьяной беседе: «Нас де 500 человек, другую ночь не спим для Урлиха», — высказав предположение после неожиданного вызова своих сослуживцев на дежурство с

боевыми патронами, «не будет ли еще какой экстры». Допросившие его Панин и Глебов доложили императрице, что даже обычное «безмерное пьянство» опасно, поскольку «малейшее движение может возбудить к большому калабротству». Екатерина в особой записке попросила следователей: «Однако при наказанье одного служивого прикажите, хотя Шишковскому, чтоб он еще у него спросил: где оные 500 человек собираются и видел ли он их или слышал ли он от кого?»⁶⁸ Забулдыга Кругликов отделался батогами.

Но уже летом гренадер Семеновского полка Степан Власов также во хмелю заявил, что он в компании с капитаном Петром Воейковым «намерены государыню живота лишить», и похвалялся, что за ними стоят большие «господа»⁶⁹. Другой семеновец, сержант Василий Дубровский, вместе с офицером-артиллеристом Василием Бороздиным и отставным капитаном Василием Быкиным обсуждали вопрос о «революции» более серьезно. Дубровский предлагал занять на переворот денег у шведского посла, усыпить гарнизон Шлиссельбурга, освободить Ивана Антоновича и увезти его «за границу к родне». Екатерине же и наследнику он намеревался «в кушанье дать» отраву — например растворенный в пиве опиум. Третий собеседник подошел к делу наиболее прагматично: бедный отставник рассчитывал выманить у шведского дипломата 50 тысяч рублей и с ними... отбыть в Париж. Но посланник помнил исторический урок и платить отказался, поскольку Елизавета по воцарении нисколько не помогла Швеции⁷⁰.

Тем же летом рядовой Казанского кирасирского полка Яков Белов всего-то хотел починить сапоги у знакомого мастера в Москве на Тверской улице, но наугощался до отчаяния: «Всю бы Россию на штыках поднял, да и отца б своего родного приколол! Матушка де государыня жалует одну гвардию, а нас забывает; другие де полки хотят уж отказатца»⁷¹. Старый Преображенский солдат Яков Голоушин жаловался: «Нас де армейские салдаты как сабаки сожрать хотят; не без штурмы де будет, вить де Иван Антонович жив». Но сам гвардеец и его сослуживцы сочувство-

вали узнику и даже сожалели о свергнутом Петре III : «Бывшей государь был милостив и многих из ссылки свободил, да и Иван де Антонович выпустил было на волю; да и нам при нем хорошо было»⁷².

Доносы и репрессии оказались не в состоянии пресечь «толки» в полках, на основании которых в 1760-х — начале 1770-х годов возникло не менее двадцати дел. Гвардейцы обсуждали возвышение Орловых, а вместе с ним и возможность нового переворота: «Не будет ли у нас штурмы на Петров день? Государыня идет за Орлова и отдает ему престол»⁷³. «Што его за великой барин? — возмущался в марте 1764 года семеновский солдат Василий Петелин. — Ему можно тотчас голову сломить! Мы сломили голову и императору; мы вольны, и государыня в наших руках. Ей де года не царствовать, и будет де у нас государем Иван Антонович». Гренадеры-измайловцы Михаил Коровин и его друзья категорически заявляли: Орлов «хочет быть принцем, а мы и прочие етова не хотим»⁷⁴.

Интересно, что в череде подобных дел 1763-1764 годов наблюдается уверенность в скором восшествии на престол заточенного государя. В 1763 году солдат Кирилл Соколов рассказывал, что Иоанн «живет в Москве в Немецкой слободе и к нему приклонились Преображенские». Весной—летом 1764 года преображенцы говорили о скорой присяге и даже о данном Иваном Антоновичем обещании увеличить солдатское жалованье до 30 рублей⁷⁵.

В апреле 1764 года гвардейцы обсуждали предстоявшее путешествие Екатерины II в Прибалтику. «Врят де быть походу; может де статья не хуже тово, что с третьим императором зделалось», — считали гренадеры-преображенцы; а измайловцы отпускали в адрес государыни «скоромные непристойные слова» и считали возможным ее свержение: «Все триотца да мниотца, конечно де будет такая ж как прежде тревога». Следователи В. И. Суворов и А. А. Вяземский убедились, что подобные разговоры были широко распространены, и даже просили у императрицы разрешения прекратить допросы, так как найти

«точного разсевателя» вредных толков было невозможно⁷⁶.

Уже накануне отъезда императрицы в Ревель, в июне 1764 года конногвардеец Анисим Якимов донес о «непристойных словах» преображенца Степана Андреева: «Как де государыня пойдет в поход, так де Иван Антонович примет престол»; на это якобы «уже две роты согласны, да согласиться надо нам всей гвардии». Обсуждали этот политический вопрос и солдаты Суздальского полка: «И когда де Преображенские и семеновские присягнут, то де и нам нечего делать». Начавшееся сразу же следствие выявило большое количество таких «согласных» — в списке оказалось около 100 человек⁷⁷.

Проходившие на протяжении 7—10 июня допросы установили наличие оригинального плана урегулирования династической проблемы: предполагалось, что Екатерина «примет принца и возьмет его в супружество». Автором этой идеи оказался капитан-поручик Преображенского полка Семен Хвостов; он начал уже с этой целью собирать солдат-преображенцев «в свою партию», якобы от имени Екатерины. Гвардейцы полагали, что сама императрица желает таким образом «разведать мысли салдацкие». Реальная Екатерина лично вмешалась в дело — ей не давали покоя «скрытные замыслы» Хвостова. В особой записке она предписала, допросив того по пунктам, выяснить, почему он говорил Орлову, что солдаты за него, а солдатам — о «принце»⁷⁸. За «необузданные свои мысли» Хвостов был сослан в имение (освобожден от ссылки только в 1798 году).

Вслед за Хвостовым под следствие угодили Преображенские прапорщик Иевлев и капитан-поручик Соловьев. Обсуждая борьбу придворных «партий», офицеры полагали, что одни хотят на престол Павла, а другие — Ивана, «только кто-то ково переможет?». При этом Иевлев уверял, что заточенному принцу уже якобы присягнул Суздальский полк, а господа в каретах «ездят к Ивану Антоновичу на поклон, которой живет в Шютельбурхе»⁷⁹.

За несколько дней до попытки освободить шлис - сельбургского узника поступил донос на Измайловского сержанта Василия Морозова. Тот вел подозрительные разговоры о какой-то «камисии» в полку, от которой «из наших офицеров один не постраждет ли!», и сожалел об обидах «птенца Ивана Антоновича», сведения о которых почерпнул из беседы с регистратором Шлиссельбургской крепости Лаврентием Петровым. Доклад о расследовании был подготовлен 2 июля 1764 года; его руководители Неплюев и Вяземский почему-то решили болтливого чиновника не трогать⁸⁰. Находившаяся в Риге Екатерина это решение одобрила, что выглядит странно, особенно в свете случившейся в ночь с 4 на 5 июля попытки переворота.

Неудавшееся предприятие Василия Мировича хорошо известно; но еще его современники подозревали, что за подпоручиком Смоленского полка стояли «большие» персоны. Разбиравший в 30-е годы XIX столетия секретные бумаги прошлых царствований министр внутренних дел Д. Н. Блудов также знал об этих предположениях — в докладе Николаю I он особо выделил существовавшее «нелепое заключение», что Мирович был «подосланный от правительства заговорщик»⁸¹. Подозрения эти сопровождают «дело Мировича» вплоть до нашего времени; однако приходится признать, что если такая провокация и имела место, то спрятана она была надежно — никаких доказательств до сих пор не обнаружено.

Попытка Мировича родилась в атмосфере ожидания переворота. Оказалось, что незнатный и никому не известный младший офицер без особых усилий смог увлечь за собой солдат из охраны важнейшей политической тюрьмы, готовых подняться на мятеж по артельному принципу: «Куда де все, то и он не отстанет»; колебавшихся убедили чтением самодельного манифеста⁸².

Впервые переворотная акция планировалась без участия гвардии. В остальном подпоручик собирался повторить действия самой Екатерины. С выкраденным из крепости Иваном Антоновичем он рассчитывал прибыть в распоряжение артиллерий-

ского корпуса, поскольку «во оных полках против прочих многолюднее и гораздо больше отваживее потому состоят, как из многих полков лучшие собраны".. Также как и 28 июня 1762 года, предводитель заговорщиков намерен бы прочитав заготовленный манифест и организовать присягу новому государю, послать офицеров с «пристойными командами» для захвата крепости и мостов, разослать в «нужные места» тексты манифеста и присяги и увлечь за собой остальные полки⁸³.

Шансы Миновича были ничтожно малы: у отчаянного подпоручика не было сообщников-офицеров; в полках, куда он намеревался привезти Ивана Антоновича, наверняка нашлись бы верные присяге и более авторитетные командиры. Но устроить смятение с пальбой и паникой было вполне возможно, ведь преувеличенные толки изображали реальное событие в виде случившейся в столице «реbellion» с избранием «нового наследника престола»⁸⁴. Да и сама императрица, как следует из ее записки Панину, опасалась волнений артиллеристов, поскольку «командир у них весьма не любим»⁸⁵. Усилий одного Миновича было явно недостаточно, а выросший в изоляции принц не годился на роль графа Монтекристо. Счастливую для Екатерины особенность «послепереворотной» ситуации отметил Гольц еще летом 1762 года: «Единственная вещь, которая благоприятствовала двору во время этих кризисных событий, это то, что недовольные, более многочисленные в действительности, чем все остальные, не имели никакого руководства». Законному претенденту сочувствовали рядовые и отдельные офицеры, но у устранившегося 20 лет назад «принца» не было своей «партии» при дворе и связанных с ней надежных исполнителей.

Смерть несчастного Ивана Антоновича в 1764 году разрядила обстановку. С 1765 года поток «гвардейских» дел на время иссяк. В качестве претендентов на престол теперь стали являться лишь сумасшедшие, вроде пытавшегося предложить Екатерине руку и сердце садовника Мартина Шницера⁸⁶.

Политическая трагедия переходит в бытовой жанр: дедиловский воевода Иев Леонтьев поколачивал свою супругу со словами: «Ты меня хочешь извести так же, как государыня Екатерина Алексеевна своего мужа, а нашего батюшку. Он было повел порядок обстоятельной, а ныне указы выдают все бестолковые, что не можно и разобрать»⁸⁷. Прапорщик 3-го гренадерского полка Алексей Фролов-Багреев в расстройстве объявил товарищам: «Заварил кашу такую которую если удастца съест, то я буду большой человек, а естели же не удастца, то и надо мной то же сделаетца, что над Мировичем». Друзья-картежники тут же донесли, и следствие возглавил сам Никита Иванович Панин. Но прапорщик объяснил, что мучился от «любвонной страсти», — презренный муж-подьячий запирает дома предмет его обожания. Срочно разысканная «женка» Анна Иванова подтвердила, что прапорщик замыслил всего лишь избить ее мужа и увезти ее. От греха подальше Фролова-Багреева перевели из столицы в Севскую дивизию⁸⁸.

Ослабление «переворотных» настроений было связано также с изменением состава самой гвардии. Уже с первого дня нового царствования в ее ряды стали зачисляться солдаты из полевых полков. Сказались и «высокоматерние щедроты» новой императрицы в виде раздачи денег и производства в чины. Только в одном Преображенском полку лишь за 1765 год новые чины получили 9 капитанов, 17 капитан-поручиков, 21 поручик, 21 прапорщики 23 сержанта.

Однако начиная с 1765 года дела Тайной экспедиции фиксируют — опять-таки в столично-гвардейской среде — упоминания в качестве претендента на престол великого князя Павла Петровича. Жена пре-ображенского капитана Петра Митусова узнала от кормилицы Павла, что Никиту Ивановича Панина «отрешают», и испугалась, «не зделают как с батюшкою» злодеи Орловы — ведь «Ивана Антоновича оне ж уходили»⁸⁹. В 1769 году отставной конногвардейский корнет Илья Батюшков и подпоручик Ипполит Опочинин мечтали: вот бы захватить карету императрицы на царскосельской дороге и постричь ее в

монастырь. Законным наследником друга считали Павла; впрочем, Опочинин не исключал, что... сам имеет право на престол : со слов его «мамки», он являлся сыном Елизаветы и английского короля, якобы приехавшего в Россию инкогнито⁹⁰.

В том же году к следствию были привлечены Преображенский капитан Николай Озеров и его друзья— бывший лейб-компанец Василий Панов, отставные офицеры Ипполит Степанов, Никита Жилин и Илья Афанасьев. Заговорщики не просто ругали императрицу и ее фаворита — критике подвергалась вся внутренняя и внешняя политика Екатерины. «Прямые сыны отечества» (так называли себя приятели) были возмущены тем, что не выполнены «при вступлении <...> разные в пользу отечества обещания, для которых и возведена на престол». О каких обещаниях в данном случае шла речь, не вполне понятно; но другие упреки были конкретизированы: «народ весь оскорблен», «государственная казна растащена» и делаются заграничные займы, «не рассматриваны» полезные предложения Сената, «дано статским жалованье бесполезно»; гвардия пребывает «в презрении», а Орловы за границу «пиревели через аднаво немца маора двацать миллионон»; в екатерининском «Наказе» «написана вольность крестьяном; это де дворяном тягостно, и буде разве уже придет самим пахать»; наконец, осуждался разрыв с Австрией, «с коею всегда было дружелюбие». Заговорщики планировали возвести на престол Павла, надеясь, что при нем земли дворянам раздадут «безденежно» и ликвидируют откупа, поскольку «винный промысел самый дворянский». Екатерину же намеревались заточить в монастырь; а если бы она пыталась вырваться оттуда, то «во избежание того дать выпить кубок, который она двоим поднесла». Озеров накануне ареста успел приготовить план Летнего дворца⁹¹. Но Степанов имел неосторожность проговориться вдове - полковнице Анне Постниковой, которая спешно донесла на приятеля.

Это едва ли не самое серьезное «дело» той поры интересно проявившимся в документах следствия

кругом представлений гвардейских офицеров нового поколения. Темы их разговоров уже не сводились только к чинам и «деревням» — они обсуждали и внешнюю политику, и реформу государственной службы, и состояние казны (заграничные займы). В то же время критика существовавшего порядка велась ими с точки зрения специфических военно-службных интересов: императрица недопустимо «заигрывала» с крестьянским вопросом, «статским» неведомо за что давали постоянное жалование, а купцы-откупщики теснили «самое дворянское» винокурение. «Сыны отечества» (более просвещенные, чем их собратья первой половины столетия) считали возможным предотвратить «падение» страны только с привлечением «больших людей <...>, которые издавна народ любят»: К. Г. Разумовского, Ф. М. Воейкова, А. И. Глебова, графов Паниных⁹². Из дела следует, что таких попыток у заговорщиков не было, как не было у них и опоры в солдатских рядах.

Но среди гвардейцев-солдат появлялись свои «зачинщики», не связанные с офицерами и вельможами. В 1771 году взволновались преображенцы — барабанщик Иван Шульгин, гренадеры Степан Петров и Федор Лыжин, писарь Иван Долматов, решив, что Орловы хотят «искоренить гвардию», замыслили «посадить на царство Павла Петровича», за что были отправлены на поселение в Оренбург⁹³. В июне 1772 года обнаружилось планы другой группы Преображенских солдат-дворян во главе с капралом Матвеем Оловянниковым. Гвардейцы не только обвиняли Орловых, якобы собиравшихся принять 10 тысяч армейских солдат «на наше место»; они хотели обратиться к Павлу с письмом (его Екатерина приказала разыскать) и предоставить ему престол. Но предвкушение удачи вскружило молодым солдатам головы: Оловянников считал возможным уничтожить наследника и обвинить в этом императрицу с целью оправдания ее убийства, а затем самому занять трон: «А что же хотя и меня!» Своих друзей — из них не все «умели грамоте» — капрал заранее производил в генерал-прокуроры и фельдмаршалы⁹⁴. Вопреки обыч-

ному правилу, подобные беседы, как выяснилось в ходе дознания, продолжались около года, и никто из привлеченных к следствию не донес.

Екатерина была весьма обеспокоена: в папке с приговорами Тайной экспедиции находится восемь ее записок к Вяземскому по этому делу. Помимо 22 основных участников были арестованы еще многие. Императрица стремилась любой ценой пресечь ходившие по столице слухи, приказав генерал-прокурору: «Александр Алексеевич, скажите Чичерину (генерал-полицеймейстер. — *И. К. Е. Н.*), что есть ли по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню, чтоб настоящую закрыть. Или же и то сказать можно, что заврались», — и в то же время отдавала указания приготовить для арестованных помещения «за рекой», если места в крепости не хватит⁹⁵. Оловяников был лишен дворянства; на плацу перед полком его выпороли кнутом, заклеили буквой «З» (злодей) и отправили в Нерчинск на каторгу; его сообщников сослали в сибирские гарнизоны. Екатерина, дама мужественная и отчасти циничная, не смогла сдержать удивления: «Я прочла все сии бумаги и удивляюсь, что такие молодья ребятки стали в такая беспутныя дела; Селехов старшей и таму 22 года»; — остальным же арестованным было по 17—18 лет. Едва ли самодержице приходило в голову, что дерзость 17-летних солдат была побочным результатом ее собственной инициативы по захвату власти. После этого дела она решила «гвардию колико возможно на сей раз вычистить и корень зла истребить»⁹⁶.

В значительной степени это Екатерине удалось. Когда в июле 1773 года был схвачен синодский копист Федор Дмитриев, заявивший преобращенцам, что «армейские солдаты все согласны, чтоб возвести на Престол его высочество», то оказалось, что заговор был выдуман тщеславной «канцелярской крысой», «чтоб показать себя о сем деле сведущим человеком»⁹⁷.

Помогло императрице и то, что гвардейские «замешательства» уже не находили прежнего отклика в

правлящей верхушке. Не стало больше полунезависимых советов, подобных «верховникам» 1726—1730 годов и кабинет-министрам 1731—1741 годов. Совет при высочайшем дворе Екатерины не обладал самостоятельностью своих предшественников: императрица с помощью генерал-прокурора решала массу дел помимо него — по докладам Сената, коллегий и других мест. Екатерина обновила в 1764 году состав Сената, заменила руководство половины коллегий ц губерний. В «связке» «императрица — Совет» при высочайшем дворе (или преобразованный и послушный, но сохранивший определенную компетенцию Сенат) выросла роль фаворитов, но их статус в новой системе был уже иным. «Случай» при Екатерине — это не право на произвол и исключительное влияние. Практичная императрица требовала от своих фаворитов соблюдения правил («будь верен, скром, привязан и благодарен до крайности») и считала необходимым приобщать их к государственным делам, — ее современники воспринимали фаворитов как особую «должность» в дворцовых покоях со своим кабинетом и кругом обязанностей по способностям каждого. Идеальной фигурой такого фаворита-сотрудника стал Г. А. Потемкин — военный министр и генерал-губернатор Новороссии.

Место «слова и дела» заняли более гибкие методы контроля над настроениями и намерениями элиты, хотя начальника Тайной экспедиции С. И. Шешковского императрица по-прежнему принимала во дворце. К концу царствования регулярным занятием Екатерины становится чтение перлюстрированной иностранной и внутренней почты, в том числе кор' респонденции наследника⁹⁸. В столицах появились профессиональные информаторы, следившие за подозрительными, с точки зрения властей, лицами. Их глаза и уши незримо присутствовали даже во дворце. Француз-волонтер на русской службе граф Рожер де Дама весной 1789 года в пустом зале Зимнего дворца наблюдая за маршем отправлявшихся на фронт гвардейских частей, произнес: «Если бы шведский король увидел это войско, он заключил бы мир».

Граф был удивлен, когда через два дня Екатерина напомнила ему эту фразу; он не подозревал, что императрица видела в нем шпиона и даже не желала поэтому определять молодого француза в гвардию".

Екатерина демонстрировала обществу новую "технику" ротации кадров, проигравших схватку за власть вельмож и вышедших из «случая» фаворитов первые стали убирать с почетом. Таким «отставникам» (Бестужеву, Воронцову) императрица не только выплачивала крупные суммы, но и покупала в казну их дома, чтобы помочь рассчитаться с долгами; с пенсией в 60 тысяч рублей и дворцом в Батурине был отставлен от гетманства К. Г. Разумовский. Даже опала теперь не означала безвозвратного крушения карьеры. К активной деятельности вернулись бывшие приближенные Петра III Д. В. Волков и А. П. Мельгунов и «проштрафившиеся» сподвижники Екатерины по 28 июня П. Б. Пассек и К. Г. Разумовский; устраненный из Сената генерал-прокурор А. И. Глебов стал генерал-губернатором Белоруссии, а отставной фаворит П. В. Завадовский — крупным чиновником. Перегруппировка в «верхах» теперь проходила более плавно, без резких потрясений и для самих участников, и для всего государственного механизма.

Как и ее предшественницы, императрица проверяла рапорты по полкам, следила за чинопроизводством и вникала в судебные дела гвардейцев; внимательно наблюдала за их настроениями: «Что говорят о произведениях и награждениях?» Но при ней прекратилось использование гвардейских солдат и офицеров в качестве чрезвычайных агентов правительства. Изменился также способ комплектования полков и корпуса телохранителей-кавалергардов: они пополнялись в основном за счет переводимых из армии отличившихся солдат и унтер-офицеров. Екатерина порой была недовольна «шалостями» выкочек («всякой сброд набирают, а раньше служили одни дворяне»), и все же новый порядок стал правилом для гвардии и в XVIII, и в XIX веках. Приток разночинцев неизбежно разрушал былую солидарность гвардейских рядов.

Изменилось не только гвардейское «солдатство Теперь «подполковничество» становилось почетным званием для генералитета (П. А. Румянцева, А. В. Суворова), не связанным с выполнением реальных командных функций.

Новое поколение гвардейских майоров составили преданные сторонники (А. Г. Орлов, А. И. Бибиков) или переведенные из армии и прошедшие «школу» Семилетней и Русско-турецкой войн служаки.

Иные из них пользовались доверием императрицы и со временем выходили из гвардии на административные посты, но никогда не играли самостоятельных ролей в политике.

Теперь «свобода мыслить» в понимании императрицы в целом совпадала с духовными запросами ее подданных; этим счастливым совпадением во многом объясняется политическая стабильность царствования. Хотя и тогда были недовольные, порой резко осуждавшие решения правительства, придворные раболепие и фаворитизм, но авторитет самодержавной власти в системе ценностей дворянской элиты той эпохи был еще незыблем. Умная императрица это понимала и на опасения фаворита Г. Г. Орлова, «не клонится ли сие к упадку империи <...>», отвечала, что из клеветы выпущенные телята скачут и прыгают, случатся и ногу сломят, но после перестанут, и таким образом все войдет в порядок». Что касается «страха от бояр» (в данном случае — сенаторов), то государыня была уверена: «У всех ножей притуплены концы и колоть не могут»¹⁰⁰. Свою роль здесь сыграли Тайная канцелярия с Тайной экспедицией — как-никак за 70 лет через них прошли почти три тысячи российских дворян¹⁰¹, лично познакомившихся с последствиями «непристойных» по отношению к монарху слов и поступков.

Роль «пряника» для не входившего в элиту дворянства и чиновничества в 60-е годы XVIII века сыграли новые условия гражданской службы. Вместе с новыми штатами и твердыми денежными окладами чиновники впервые получили в 1764 году определенные гарантии существования по окончании службы — законное право на «пенсион» по выслуге 35 лет. Упо-

рядочивались продвижение дворян по служебной лестнице и их преимущество при получении чина перед теми, кои не из дворян». Эти меры не только повысили эффективность работы государственного аппарата, но и усилили зависимость чиновников от центра, а не от протекции «патрона». Реформы 1760-х годов стали первым шагом на пути к достижению главной цели Екатерины — устойчивого «социального баланса», в рамках которого неограниченная власть монарха должна уравновешиваться не только привилегиями «главного члена» общества — дворянства, но и наличием граждан «третьего чина» с их прописанными законом правами.

Генеральное межевание, реформа местного управления 1775 года и Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 года удовлетворили одно из главных требований дворянства. Были созданы выборные дворянские должности и органы на местах (управлявшие уездом капитан-исправник и нижний земский суд, разбиравший дворянские тяжбы верхний земский суд, дворянская опека), дворянское самоуправление (уездные и губернские дворянские собрания), «включавшие» сословие в имперскую структуру власти; одновременно появились первые общесословные городские организации и законы об охране собственности, чести и достоинства горожан.

«Возвращение» дворянства в провинцию в свете ситуации, созданной манифестом о «вольности дворянства» 1762 года, привело к передаче полномочий центральных органов на места и, как следствие, ликвидации многих коллегий. Но в то же время дворянские сословные органы интегрировались в систему управления, что препятствовало попыткам создания оппозиции. Да и гвардия во второй половине XVIII века перестала исполнять функции своеобразного чрезвычайного органа управления и вернулась к своим «прямым» обязанностям элитной воинской части, хотя аж до 1869 года находилась в личном подчинении императора.

Изменилось и дворянское самосознание. Знать и гвардейское «шляхетство» 1720—1740-х годов в мас-

се своей не отличались серьезными политическим пристрастиями, но зато привыкли участвовать в борьбе за власть — придворные Екатерины II еще хорошо помнили «страх от бояр» во время Елизаветы Петровны. Политика Екатерины обеспечила новому поколению дворян широкое поле деятельности: в победоносных войнах, службе в новых учреждениях наконец, в развитии своих «дворянских гнезд»; при таких возможностях у них уже не возникали мысли о новых дворцовых «революциях».

В октябре 1777 года пожилой вельможа, бывшие фаворит императрицы Елизаветы Иван Иванович Шувалов, получил от явившегося к нему в дом бригадира Федора Аша письмо. Вскрыв его, он прочел признание отца неожиданного вестника, барона Фридриха Аша, из которого следовало, что он, Иван Шувалов, является не кем иным, как сыном Анны Иоанновны и Бирона, а потому имеет право претендовать на трон, и «потребно будет освободить дворец от обретающихся в нем императрицы и их высочеств». Можно было бы рассматривать такое объявление как сделанное в «исступлении ума»; но дело в том, что подполковник Фридрих Аш с 1712 по 1724 год действительно служил секретарем Анны Иоанновны, а затем был переведен в столицу на должность почт-директора; таким образом, курляндские дела были ему хорошо знакомы. Но к тому времени дворцовые перевороты уже вышли из моды; отставной вельможа немедленно доложил императрице о странном визитере, податель письма был объявлен сумасшедшим, упрятан за стены монастырской тюрьмы и провел в заключении почти всю оставшуюся жизнь, так и не признав законными государями ни Екатерину II, ни Павла I¹⁰².

Впрочем, затишье было обманчивым. Царствование Павла I было прервано очередным дворцовым переворотом, и вновь сыскное ведомство не смогло противостоять заговору. Созданное в начале XVIII века для борьбы с народными «толками», «непристойными словами» и придворными «партиями», к концу столетия оно оказалось неэффективным. По

иронии судьбы Павел сделал то, что не смогла довести до конца его мать, — утвердил в 1797 году закон о престолонаследии; но при этом он нарушил неписанный и куда более важный порядок — сложившийся в правление Екатерины социальный баланс. Это вызвало новую переворотную ситуацию, которая стоила императору жизни. Предшествовавший перевороту заговор представлял собой серьезное конспиративное предприятие с участием влиятельных лиц из придворного круга и высшего гвардейского офицерства. Рядовых офицеров-исполнителей подключили лишь накануне ночного «похода» на Михайловский замок, а солдат в дело вообще не посвящали.

Механизм российского «переворотства» не исчез до конца вместе с «эпохой дворцовых переворотов», а «перешел» в следующее столетие. Кроме того, существовавшая «наверху» на всем протяжении XVIII века правовая неразбериха способствовала появлению всё новых самозванцев.

Самозванные Петры и Павлы

Следствием усилий по сакрализации монарха стала дискредитация самой духовной власти, потерявшей даже относительную независимость. Социальный протест в сочетании с консервативной оппозицией новшествам порождал в народном сознании ожидание истинного, «праведного» государя. Последний же в народном представлении (как и в реальности) не получал престол извечным и строго определенным порядком, но занимал его по Божественному определению (на деле — путем дворцового переворота), для чего желательно было предъявить какие-либо доказательства — например «царские знаки» на теле¹⁰³.

Самозванных «Петров I» не появлялось — слишком многие знали государя в лицо и слишком необычным был этот царь, оставивший по себе в народе не лучшую память. Объявлявшиеся при нем самозванцы принимали имя «турского салтана» (Григорий Се-

мионов в 1709 году); царского «дяди», «брата» Алексея Михайловича (солдат Григорий Михайлов в 1706 году). Назвавшиеся-таки «Петрами Алексеевичами» начале царствования (соответственно в 1690 и 1697 годах) «зерщик и бражник и пропойца» из Рославля Терешка Чумаков и московский посадский Тимофей Кобылкин были людьми психически больными и на политическую роль не претендовали¹⁰⁴.

Однако уже в 1708 году вотчинный крестьянин тамбовского помещика Ерофеева Сергей Портной рассказывал, что царевич Алексей не признавал отца, ходил по Москве с донскими казаками и приказывал бросать в ров «бояр»¹⁰⁵. С 1715 года в России — еще при жизни царевича — стали появляться лже-Алексеи; первым из известных нам стал угличский рейтарский сын Андрей Крекшин, пьяница и игрок. Правда, «народным заступником» он не был и три года бродяжничал под высочайшим именем, чтобы мужики-селяне его поили и кормили. Затем это имя принял вологодский нищий А. Родионов. В 1724 году объявились сразу два претендента: «Алексеем» назвал себя солдат Александр Семиков в украинском городе Почепе и извозчик Евстифей Артемьев в Астрахани; последний даже сказал на исповеди, что скрывался «для того, что гонялся за ним Ментиков со шпагою»¹⁰⁶.

В 1725 году оба «царевича» были казнены, но «созревали» новые самозванцы. Мы уже упоминали об объявившемся в 1732 году лже-Алексее — Тимофее Труженике; в 1738 году еще один «царевич», Иван Миницкий, сумел привлечь на свою сторону солдат расквартированного под Киевом полка и объявил поход на Петербург.

Сподвижник Труженика, Ларион Стародубцев, от имени царевича Петра Петровича издал «манифест»: «Благословен еси Боже наш! Проявился Петр Петрович старого царя и не императорский, пошел свои законы искать отцовские и дедовские, и тако же отцовские и дедовские законы были; при законе их были стрельцы московские и рейторы, и копейщики», и потешные; и были любимые казаки, верные слуги

жалованные, и тако же цари государи наши покладались на них якобы на каменную стену. Тако и мы, Петр Петрович, покладаемся на казаков, дабы постоjali за старую веру и за чернь, ка[к] бывало при отце нашем и при деду нашем. И вы, голетвенные люди, бесприютные бурлаки, где наш глас не слышитя, идите со старого закону денно и ночно. Яко я, Петр Петрович, в новом законе не поступал, от императора в темнице за старую веру сидел два раза и о ево законе не пошел, понеже он поступал своими законами: много часовни поломал, церкви опоко свещал, камению веровать пригонял, красу с человека снимал, волею и неволею по своему закону на колена ставливал и платяя обрезывал. «Царевич» объявлял о своем желании «вступить на отцовское и дедовское пепелище» и призывал «чернь» «сему нашему ерлыку верить и поступать смело»¹⁰⁷. Для этого образца самозванной «пропаганды» характерно подчеркнутое противопоставление доброго старого царского начала плохому императорскому; призыв «искать отцовские законы» плохо согласовывался с осуждением этих самых порядков; но зато складывался образ царевича-мученика, пострадавшего за «старую веру» и традиционный уклад жизни, которому Петровские реформы нанесли страшный удар.

Затем стали появляться лже-Петры II: в глазах простых людей рано умерший мальчик-император навсегда остался «добрым царем». Начиная с 1732 года им назывались однодворец Петр Якличев, капрал Алексей Данилов и другие; кажется, последним из них был беглый солдат Иван Евдокимов, объявивший себя императором в 1765 году, сочинив захватывающую историю о своем «спасении»: якобы его некие «бояре» вывезли в Италию, где 24 года держали заключенным в «каменном столбе» в Неаполе¹⁰⁸, Впоследствии слухи о «живом» Петре II возникали периодически¹⁰⁹; объявились и его самозванные «дети»¹¹⁰.

Трагическая судьба заточенного в Шлиссельбурге в конце концов убитого Ивана Антоновича хорошо известна. Однако интересно, что свергнутый импе-

ратор вызывал сочувствие именно в гвардии и дворянском обществе, но в народе популярностью не пользовался. В массовом сознании «подлых» подданных он, по-видимому, не расценивался как «свой», в отличие от вышедших из народа лже-Алексеев, Петров II и Петров III, самозванных Иванов Антоновичей кажется, не было. Да и сохранившиеся народные «отзывы» о царе-младенце были достаточно резкими — например, купец Дмитрий Раков был убежден, что Ивану предстоит «быть на царстве» в качестве появившегося в России Антихриста¹¹¹. Только однажды, в 1788 году, к лифляндскому генерал-губернатору Ю. Ю. Броуну пришел самозванец, назвавший себя «Иваном Ульрихом», якобы отпущенным в 1762 году комендантом Шлиссельбурга. В Тайной экспедиции установили, что мнимый принц — скрывавшийся от долгов купец Тимофей Курдилов¹¹².

Зато с воцарением Елизаветы Петровны стали появляться самозванные «потомки» ее отца, которого при жизни считали и «неистовым царем», и «подменным шведом». Возможно, появление петровского «племени» объясняется не только настроениями социального протеста и эсхатологическими ожиданиями «избавителя», но и в какой-то степени преобразованием со временем в массовом сознании образа первого императора, теперь противопоставляемого той действительности, которая официально считалась восстановлением петровских традиций.

В 1726 году флотский лейтенант Иван Дириков получил в Кронштадте от двух знакомых офицеров уверения в том, что он — настоящий сын Петра I, который якобы, «будучи в Сенате подписал протокол, что по кончине его величества быть наследником ему, Ивану». Заявил он о своих правах в 1742 году в Тобольске при принесении присяги в соборе наследнику престола Петру Федоровичу.

Можно отметить, что и этот настоящий внук Петра Великого вызывал у будущих подданных противоречивые чувства. Иеродьякон Мартирий из Боровского Пафнутьева монастыря на него уповал: «Государь де великой князь Петр Федорович строг и

остер так как дедушка»¹¹³. Но в то же время многие дела Тайной канцелярии показывают, что популярностью голштинский принц не пользовался. Инок Толгского монастыря Савватий в 1745 году так высказался о нем и о его тетушке, стремившейся представить себя истинно православной государыней: "Баба де не как человек, мать ее прогребу (выговорил то слово прямо); да и приняла она неверных: вот де следник неверной, да и наследница такая ж <.. > не могла она (Елизавета. - *И. К. Е. Н.*) здесь в России людей выбрать». Наследника бранили «иноземцем» и даже «шутом»¹¹⁴.

Списки «клиентов» Тайной канцелярии свидетельствуют, что в 1747 году сыном Петра I назвался подпоручик гвардии Дмитрий Никитин, произведенный из сержантов в прапорщики в 1740 году «за взятие» Бирона. Едва ли между этими событиями есть прямая связь; однако участие в «большой политике» определенным образом влияло на психологию гвардейцев.

Вместе с Никитиным по ведомству А. И. Ушакова проходили другие «дети» императора, которые размещались «неисходно до смерти» по монастырям. Дириков угодил в заточение в Иверский монастырь, «Петры Петровичи» (одиндворец Аверьян Калдаев и канцелярист Михаил Васильев) содержались в Усольском Воскресенском и Серпуховском Высоцком монастырях; в Троицком Калязинском монастыре был заключен «царевич Александр Петрович» — канцелярист Василий Смагин¹¹⁵.

Расширение международных связей и признание Российской империи в качестве новой великой державы способствовали появлению заграничных самозванцев; правда, к таким казусам Тайная канцелярия отношения не имела — ими занималась Коллегия иностранных дел. В 1755 году в Варшаве объявился еще один «брат» императрицы Елизаветы, о котором секретарь российского посольства Ржичевский сообщил в Петербург со слов генерал-прокурора бернардинского ордена в Литве Казимира Качуковича, в молодости служившего... прапорщиком в Преобра-

женском полку. Теперь же почтенный монах извещил, что уже две недели содержит за свой счет «сына» Петра Великого и «крестника» французского короля Луи Петровича, якобы раньше жившего в России, но «ретиrowавшегося» за границу, опасаясь преследований со стороны Разумовских. Конечно, Ржичевскому из Петербурга ответили, что рассказ самозванца есть «презрительный вымысел», и даже сделали выговор — но одновременно стали думать, как «Пегровча» изловить. По законам Речи Посполитой арестовать человека, содержавшегося в «шляхетном доме» гетмана Браницкого, было невозможно; дипломаты тщетно пытались через посредников заманить бродягу на российскую территорию в Киев. В январе 1756 года «мнимый Петрович» скрылся, перед отъездом пообещав отцам-иезуитам поустить их в Россию немедленно по своем воцарении¹¹⁶.

В 1769 году на датском острове Борнгольм некий арестант (по датским сведениям, 29-летний бродяга-портной), называвший себя «Иоанном», рассказал, что на самом деле он является сыном российского императора Петра II, а его мать Анна была свергнута с престола Елизаветой в 1741 году; юного принца в двухмесячном возрасте отвезли в страшную Сибирь (самозванец полагал, что это такой город), где он встретил сосланного фельдмаршала Миниха и выучился у него немецкому языку. Якобы в 1764 году, когда новая императрица Екатерина II уехала в Ригу, некие «генералы» принца освободили и даже «просили» взойти на престол, но из-за совершенного на него при въезде в Петербург покушения он бежал в Москву, а потом за границу. Неизвестно, насколько датские власти поверили байке о связи скончавшегося в 1730 году 15-летнего Петра II с Анной Леопольдовной, но их «сына» посадили в заключение в крепость Фридрихсхавен.¹¹⁷

Механизм появления таких «претендентов» еще далеко не ясен: его трудно однозначно отнести как к «нижнему», народному, так и свойственному правящему слою «верхнему» самозванчеству (по терминологии Н. Я. Эйдельмана). Однако можно отметить

непостижимую легкость, с которой обычные служивые вдруг объявляли собеседникам о своем царском происхождении.

Некоторые казусы еще поддаются логическому объяснению, как история мушкетера Преображенского полка, отца открывателя «Слова о полку Игореве» Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина. Рано потерявший отца солдат оказался кормильцем семьи, показав себя человеком практическим: в 1733 году он выгодно женился на сестре семеновского солдата Наталье Приклонской с хорошим приданым в 2,5 тысячи рублей и приобрел дом в Москве, купил село Верхово в Ярославском уезде у родственника, графа П. И. Мусина-Пушкина и стал владельцем 306 душ в Ярославском и 57 душ в Угличском уездах. Обеспечивший семью гвардеец был о себе весьма высокого мнения, отчего в октябре 1737 года угодил в Тайную канцелярию по доносу канцеляриста Михаила Евсевьева, в гостях у которого Иван в подпитии заявлял: «Я де к царской семье принадлежу», да и «бабка цесаревне Елисавет Петровне была своя». Там он заявил Ушакову, что «непристойные слова» вырвались у него исключительно «с простоты» и «от пьянства пришло ему незнамо с чего в голову молвить». Раскаяние помогло; по меркам аннинского царствования солдат отделался легко — битьем батогами и отправкой обратно в полк¹¹⁸. Но представитель старого рода, конечно, не мог не знать семейной тайны о романтической связи царя Алексея Михайловича с Ириной Мусиной-Пушкиной, в результате которой на свет появился боярин и петровский сподвижник Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, самим царем Петром Алексеевичем называемый *bruder* (связь царя Алексея с Ириной Мусиной-Пушкиной была известна при дворе, и другой родственник Петра I, дипломат и мемуарист князь Б. И. Куракин, собирался написать о ней в своей неоконченной «Гистории»¹¹⁹). Возможно, хвастовство помешало дальнейшей карьере Ивана Яковлевича — в отставку он вышел всего лишь поручиком.

Десятки же других случаев рационально объяснить трудно. В июне 1740 года в заштатном Остро-

гожке, распивая гарнец пива, рядовой Глуховского слободского драгунского полка Иван Герасименко срезал капрала, гордившегося дворянским происхождением: «Ты де шляхтич, а я царевич»¹²⁰. В следующем году солдат Пензенского полка Иван Балашев так же в дружеской беседе удивил сослуживцев: «я де пьян, да царь»¹²¹. Через 20 лет такой же молодой солдат Псковского драгунского полка Сергей Бердников без всякой выпивки огорошил собеседника: «Знаешь ли де ты, что у меня матушка-та всемилостивая государыня?»¹²² Число подобных примеров легко можно увеличить, но трудно понять. Кроме пьяного куража (он и в XXI столетии мало отличается от похвалы в подпитии в XVIII веке) известную роль здесь играло желание самолюбивого простолюдина любой ценой показать себя не столь «подлым» — хотя в то время существовали более верные и менее опасные способы повышения своего социального статуса.

Можно сказать только, что в иных случаях (например, с Иваном Дириковым) следствие — при всей относительности «экспертизы» в Тайной канцелярии — приходило к выводу о вменяемости «претендентов». Характерно, что Ушаков в данной ситуации настаивал на проведении «указных розысков»; но сама Елизавета, опасаясь возможного обнаружения «грехов молодости» Петра I (Дириков утверждал, что государь познакомился в Белгороде с его матерью и, «взяв в удобное место, с нею пребыл»), отказалась от расследования, и самозванца было приказано считать «помешанным в уме».

Наконец, наиболее популярным оказалось имя Петра III, которое принимали уже десятки людей. В октябре 1763 года украинский сотник Федор Крыса в письме на имя генерал-прокурора Глебова сообщил, что, по его сведениям, государь не только жив, но якобы уже послал неверной супруге «подарок» — платок и табакерку¹²³. Так через год с небольшим после отречения и гибели император «воскрес» в народном сознании в качестве «доброего» царя, тайно ходившего и ездившего по стране «для разведыва-

нмя о народных обидах». Уже в 1764 году о нем как о живом стали говорить солдаты столичного гарнизона, а вслед за тем появились и первые из известных нам самозванных «Петров III» — украинец Николай Колченко и неудачливый армянский купец Антон Асланбеков¹²⁴. Вступил в силу механизм «нижнего» самозванства: образ безвинно изгнанного государя начал свое самостоятельное существование и доставил Екатерине II куда больше хлопот, чем его прототип.

В 1765 году в этом качестве объявились беглые солдаты из однодворцев Гаврила Кремнев и Петр Чернышев; первый возмущал народ в Воронежской губернии; второй — в слободе Купенке на территории Слободской Украины. Кремнев обеспечил себе идеологическую поддержку со стороны группы попов, признавших его царское достоинство, и выдвинул «программу»: объявить свободу винокурения, «сложить» подушную подать на 12 лет и впредь заменить ее натуральным сбором в два гарнца хлеба. Самозванец уже собирался «в Воронеже принимать корону», объявлял присягу, обещал жаловать своих приверженцев в чины и наделять их «людьми». Желющие нашлись — на следствии приговоры были вынесены 42 сподвижникам Кремнева, остальных пришлось наказывать выборочно — пороть каждого пятого.

После некоторого затишья (возможно, далеко не все имена «объявлявшихся» в это время самозванцев нам известны) на сцену выходят новые «Петры III». В 1772 году в Дубовке на Волге выдавал себя за императора солдат Федот Богомолов, имевший при себе такого же самозванного «государственного секретаря» — солдата Спиридона Долотина. При попытке возмутить казаков Богомолов был схвачен, но даже сидя в царицынской тюрьме, он настаивал на своем, указывал «знаки» на груди и вызвал неудавшуюся попытку мятежа. На суде самозванец показал, что Петром III «объявил о себе в пьянстве своем, без дальнего замысла», был наказан кнутом, «урезанием» ноздрей и по дороге на каторгу умер. Но уже в следу-

ющем году это же царское имя «всклепали» на себя беглый каторжный разбойник Рябов и капитан оренбургского гарнизона Николай Кретов; последний на роль народного вождя не претендовал, а пытался действовать в духе гоголевского Хлестакова с целью раздобыть у легковерных оренбуржцев и ссыльных денег и умер во время следствия. Самым знаменитым из нескольких десятков «императоров» стал донской казак Емельян Пугачев, сумевший почти на равных сражаться за власть с Екатериной II в 1773-1774 годах.

Тайная экспедиция, естественно, вела следствие по делу Пугачева и его сообщников; сам Шешковский в Москве несколько дней допрашивал самозванца. Но массовое движение показало не только слабость местных властей, но и неготовность тайного сыска к событиям такого масштаба. Небольшой аппарат не мог охватить всех случаев повстанческой агитации, и ими приходилось заниматься губернским и провинциальным канцеляриям.

Беглый матрос Федор Волков в июле 1774 года в Юрьевецкой воеводской канцелярии показывал, что из Алатыря был послан Пугачевым в числе 50 человек во главе с казацким есаулом до Москвы «для присмотра и разведывания по разным городам и селениям». Повстанческий «агитатор» Иван Пономарев дошел до Коломны, в конце июля 1774 года был схвачен, наказан батогами и сослан в Таганрог на каторгу. В конце июля повстанческие разведчики ходили по Москве и записывали, что говорят о Пугачеве. Им было дано задание выяснить, готовы ли москвичи к его встрече и будут ли «рады, если скоро придет сюда Петр Федорович». Одновременно с посланцами восставших в центральные уезды России проникали их указы и манифесты; в январе 1774 года такой «паквиль» был найден даже в Зимнем дворце. В Москве в октябре были задержаны беглые крестьяне отставного советника П. Татищева Василий Афанасьев и Андрей Иванов с копией повстанческого манифеста от 31 июля 1774 года. В таких случаях Тайная экспедиция ограничивалась извещением губернаторов и

Малороссийской коллегии «о посланных от <...> Пугачева с письмами людям».

Были созданы временные секретные Оренбургская и Казанская комиссии, в состав которых наряду с гвардейскими офицерами входили и чиновники Тайной экспедиции. Так, коллежский секретарь Александр Чередин и канцелярист Качубеев были присланы в Московскую контору Тайной экспедиции, а к Казанской секретной комиссии прикомандированы канцеляристы Тайной экспедиции Михаил Попов и Семен Балохонцев. В комиссиях составлялись экстракты следственных дел, по которым в Тайной экспедиции выносились решения после получения указаний от Екатерины II, принимавшей в розыске самое деятельное участие. Приговоры приводились в исполнение секретными комиссиями на месте.

Но были и казусы, которые рассматривались в самой Тайной экспедиции, — например, дело бывшего сержанта гвардии Петра Бабаева, публично «признавшего» в январе 1774 года Пугачева «точно за истинного Петра Третьего, о чем всюду и всем сказывал и уверял». Розыск по делу Федора Горянова — дворового человека отставного поручика Усова — показал, что и другие дворовые говорили между собой о Пугачеве, что он подлинно Петр III, у него много войска, что он скоро будет в Москве и «они все будут за него стоять, и если бы они отданы были в солдаты, то они бы все пошли к нему на службу». Повар Ремесленников добавлял, что Пугачев «в Москве белопузых (дворян. — *И. К, Е. Н.*) всех перерубит». Солдаты Нарвского полка Ларион Казаков и Никита Копнин в мае 1774 года были осуждены Тайной экспедицией к наказанию шпицрутенами «через полк шесть раз» за намерение бежать из полка «в шайку к Пугачеву» и подговор к тому других солдат. Преображенцы Ляхов, Мясников и Филиппов, пойманные уже в Новгородской губернии, в Тайной экспедиции сознались в намерении «итти на службу <...> к Пугачеву <...>, чая получить от него <...> награждение».

Всего Тайная экспедиция вынесла решения по 685 розыскам участников крестьянской войны, из

которых 177 были делами крестьян, 246 — казаков 22 — работных людей с уральских заводов, 55 - башкир, татар, чувашей. Кроме них были осуждены 13 солдат, 140 священников и 29 дворян, преимущественно офицеров. Крестьян после наказания кнутом или плетью отправляли обратно к помещикам или на каторгу в Таганрог и Рогервик, где их должны были «во всю жизнь содержать в оковах», или на поселение в Сибирь; так же наказывали работных людей. Священников обычно не подвергали телесным наказаниям, но «лиша священства, посылали в Нерчинск на каторжную работу вечно» или отправляли в солдаты; «а буде негодны, то положив в подушный оклад, причисляли во крестьянство». В феврале 1774 года за сдачу в плен и присягу самозванцу Тайная экспедиция осудила к лишению чинов и дворянского звания и отправке в солдаты поручика Илью Щипачева, прапорщика Ивана Черемисова, подпрапорщика Богдана Буткевича²⁵.

Одновременно с Пугачевым в 1774 году назвался Петром III тамбовский крестьянин Иов Мосягин, но совершить ничего достойного не успел, поскольку сразу был схвачен и умер после «эзекуции» кнутом. После разгрома восстания имя Петра III продолжало жить: в 1776 году в соответствии с «его» указом о «сыскивании дворян» громил помещичьи имения Воронежской губернии отряд однодворца Ивана Сергеева; в 1778 году солдат царицынского гарнизона Яков Дмитриев считал, что император с армией находится в крымских степях, «и мы де ево, как отца, ожидаем сюда в Царицын». Сами самозваные императоры появлялись также еще не раз. В 1776 году «Петром III» провозгласил себя почтальон из Нарвы Иван Андреев; в 1777-м — беглый солдат Иван Никифоров; в 1779-м — однодворец Герасим Савелов; в 1780 году — донской казак Максим Ханин.

Возможно, последними «Петрами Федоровичами» стали бывший пугачевский атаман Петр Хрипунов в 1786 году и сержант Василий Бунин в 1788 году.

Бунин, впрочем, был не самостоятельной фигурой а «выдвиженцем» (с не вполне понятными намере-

ниями) вдовы-полковницы Марии Тюменевой. По словам самозванца, Тюменева «вклепалась в него» и распространяла слухи о необычном происхождении отставного вояки; сам же он жил при барыне в свое удовольствие, «обращаясь в пьянстве»¹²⁶. В 1796 году появился уже «сын» неудачливого государя — беглый дворовый Ксенофонт Владимиров из-под Саратова.

Самозванных «Анн», «Елизавет» или «Екатерин» не было — за исключением случая с психически больной полковницей Корсаковой, о которой речь пойдет ниже. Патриархальные представления основной массы подданных не очень одобряли явления «баб» на царстве; представительницы прекрасного пола могли разве что пококотничать, как жена однодворца Евдокия Васильева, с чего-то решившая, что именно «с ее персоны печатают рублики»; неуместная шутка, как полагалось, закончилась следствием. Уже в 1815 году в Арзамасе объявился «лже-незаконный сын» Екатерины II (отставной солдат лейб-гренадерского полка Николай Степанов). Самозванец представлялся «барином», но едва успел начать свою деятельность в качестве «ревизора», призванного объявить крепостным крестьянам о переводе их в казенные, как был схвачен разгневанным помещиком, отдан под суд и отправлен на вечную каторгу¹²⁷.

Зато уже в 1780-е годы, когда шансы Павла на получение власти (легальным или «переворотным» путем) были утрачены, из придворных сфер на «улицу» стал перемещаться образ справедливого государя-наследника. Появляются первые дела Тайной экспедиции о самозванцах или о «посланцах» Павла. Правда, народных героев-заступников или лихих атаманов среди них уже нет — «лже-Павлы» были скорее неразборчивыми авантюристами. «Я не солдат, а Павел Петрович», — ошеломил в 1782 году 38-летний служивый Николай Шляпников свою любовницу-казачку, у которой стоял на квартире, используя это признание в качестве аргумента, чтобы уговорить ее бежать с ним на Волгу. Но на следствии

он признался, что имел менее поэтические намерения: «обобрать ее, оставить на степи, а самому, прощавшись по хуторам до выступления в назначенной поход, явитца на марше в полк». За это Шляпников отправился в Нерчинск, а обманутая казачка Ирина Трофимова умерла под стражей¹²⁸.

Восемнадцатилетний сын пономаря Григорий Зайцев в 1783 году сначала объявил себя посланцу Павла — разъезжал по украинским местечкам, рассказывая крестьянам, как он «с государем обедал» и был послан от него «проведывать о подушном окладе». Войдя в роль, он назвался уже «наследником государем Павлом Петровичем» и вел себя «по-императорски» лихо: «отставного вахмистра Игната Дукачева жену и других побил; караул и караульных разбил»; требовал — и получал — лошадей, подводы, квартиры и вина, полагая, что «народ легкомысленный и простой» ему поверит. Даже будучи заперт в «смирительный дом», Зайцев не уgomонился, став одним из самых беспокойных узников Тайной экспедиции под конец ее существования¹²⁹.

В 1756 году в Уфимской провинции беглый капитан Александр Иванов представлялся мужикам и местному начальству «Александром Петровичем Шуваловым» — капитаном Преображенского полка и «крестником» могущественного министра Петра Ивановича Шувалова. Самозванец, служивший прежде в одном из полков столичного гарнизона, хорошо знал, от чьего имени он действует. Лже-Шувалов обзавелся свитой из «солдата» и «денщика», разъезжал по Башкирии «для прииска под медные и железные заводы мест» и демонстрировал самодельную «привилегию о рудах» с «подписью» всесильного в те годы вельможи¹³⁰.

В авантюрном XVIII веке встречались и совсем уж фантастические превращения. Когда юный российский разночинец Иван Тревогин не смог больше издавать свой журнал «Парнасские ведомости» в Петербурге, то решился бежать за границу на голландское корабле. Он успел побывать матросом и студентом и произвел впечатление на российского посла в Пари-

же своей тягой к знаниям. Но неизбывная бедность заставила Ивана искать счастья, перевоплотившись в восточного принца. «Зделав себе платье и неизвестные знаки, каковы приличны знатым отличающимся людям, да под именем какого-нибудь князя или другого ехать куда-нибудь и принять службу», — объявлял он летом 1783 года свои намерения Шешковскому. Так в Париже появился 20-летний «Иоанн Первый, природный принц Голкондский, царь и самодержец Борнский», говоривший на никому не известном «голкондском» языке, для которого самозванец придумал свой алфавит. Последний титул означал, что изгнанный из Индии «принц» собирался покорить далекий остров Борнео и основать там просвещенную монархию. Но для начала предприятия не хватало средств, и Тревогин похитил несколько серебряных вещей из посольства; будучи схвачен, он угодил сначала в Бастилию, а потом и в Петропавловскую крепость. Вместо сказочного Борнео ему предстояло отправиться солдатом в Тобольский гарнизон. Там Тревогин вошел в доверие к наместнику Е. П. Кашкину и последовал за ним в Пермь, где служил школьным учителем и умер в 1790 году 29 лет отроду¹³¹.

«Самозванческая» реакция на потрясения российского трона пережила эпоху дворцовых переворотов и завершилась лишь в первой половине XIX века на имени последнего из нецарствовавших императоров — Константина. Затем самозванство «ожило» во времена новой российской смуты начала XX столетия. Царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года погибла в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге, но в годы Гражданской войны и после нее в разных концах страны появлялись лжедети Николая II — например, Алеша Пуцятю, проделавший путь от «царевича Алексея» при одном из генералов Колчака до члена РКП(б). Наиболее часто «воскресала» дочь Николая II Анастасия; самой известной претенденткой на это имя стала Анна Андерсон, прошедшая через многолетние судебные тяжбы с целью добиться признания её истинной Анастасией; последний суд за-

вершился в 1970 году, так и не приняв утвердительного решения «за недоказанностью».

Развал советской державы в числе прочих последствий вновь вызвал к жизни «претендентов» на не существующий с 1917 года престол. В 1995 году появился «император Сергей I» (Евгений Антоненко) выдававший себя за внука великого князя Дмитрия Павловича и праправнука Александра II; в 1996 году — «император Павел II» (Эдуард Шабадин), убежденный, что он является правнуком Павла I. В 2001 году скончался называвший себя сыном чудесно спасшегося цесаревича Алексея «Николай III», он же Николай Дальский, пятью годами ранее «венчанный на царство» в подмосковном Ногинске священниками непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Бывший товаровед, а затем лидер Монархической партии России Валерий Пантелеев объявил себя потомком Николая II от его связи с балериной Кшесинской, а бизнесмен Олег Филатов — еще одним сыном царевича Алексея¹³².

В 2002 году «Межрегиональный общественный благотворительный христианский фонд великой княжны Анастасии Николаевны Романовой» выступил в поддержку Натальи Филатовой-Билиходзе как «урожденной царевны Анастасии Николаевны Романовой» — тридцать первой по счету. Проживавшая в Грузии и недавно скончавшаяся «царевна» верила в принадлежность ей сейфов с царскими деньгами в западных банках. Директор Государственного архива Российской Федерации С. В. Мироненко рассказывал в одном из интервью, как во время работы правительственной комиссии *по* изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи, «имел счастье видеть нескольких представителей различного рода спасшихся чудесно Анастасий, Ольг, Алексеев и т. д.»¹³³.

Но этот интересный психологический феномен уже больше похож не на трагедию российского самозванства с массовыми народными ожиданиями истинного, доброго, «природного» государя и готов-

ностью пойти за ним, а на фарс с современным «пиаром». Так, некий Василий Середонин в Челябинске в 2005 году провозгласил себя 112-м «папой римским Петром II» и зарегистрировал в инспекции Федеральной налоговой службы так называемую «Единую христианскую церковь», объединяющую православных и католиков. Но даже когда нынешние самозванцы в духе времени претендуют на глобальный размах, они не угрожают существованию общественного порядка; поэтому, кстати, и не требуется вмешательство компетентных органов.

«Шпионские упражнения»

Серия европейских войн XVIII столетия вызвала необходимость создания крупных армий, а наряду с ними породила более-менее регулярно поставленную разведывательную деятельность. Конечно, шпионаж существовал всегда, но в более ранние века отечественной истории, как правило, не выходил за пределы приграничной полосы и находился в ведении русских, литовских или шведских пограничных властей. Ситуацию изменили войны Петра I и вторжение России в большую европейскую политику. Теперь планы петербургского двора и его военные возможности представляли большой интерес для иностранных дипломатов и их агентов; их российские коллеги занимались тем же в европейских столицах и Стамбуле.

В 1723 году началось дело монаха-капуцина Петра Хризологуса, который якобы по поручению австрийского двора «изыскивает идти для свидания с его высочеством» — будущим императором Петром II. Хризологус прибыл в Россию для служения «в католицкой кирке» и сразу же попал под наблюдение полиции. Монах, которому было приказано выехать за рубеж, пытался из Ревеля через камер-фрейлину Екарины Яганну добиться возвращения в Петербург, поскольку «римская императрица» «рекомендовала» ему маленького Петра. Угодивший в Тайную канце-

лярию монах на допросах стоял на своем: ему поручено было только молиться за «племянника» австрийского императора, а к нему самому он «идти не искал»¹³⁴.

Поначалу Тайная канцелярия к подобным акциям прямого отношения не имела и только выполняла соответствующие распоряжения. Так, в 1726 году был тайно заточен в Шлиссельбурге шведский шпион капитан Цейленбург с приказанием держать его в строжайшей изоляции; спустя 15 лет сыскное ведомство даже не смогло объяснить причин ареста узника¹³⁵.

Настоящих же российских агентов-предателей в ту пору найти было труднее. Большинство «изменных дел» были откровенными расправами с политическими противниками или касались вольных и невольных оскорблений величества, недоразумений с присягой и оскорбительных отзывов о государственной политике. Выявление реальных шпионов находилось в ведении дипломатической службы и полевого военного командования, которые, надо сказать, не всегда с этой задачей справлялись. В июне 1738 года русский посланник в Швеции М. П. Бестужев-Рюмин сообщил Остерману об успехе тамошних противников России — «военной» партии: особая секретная комиссия шведского риксдага приняла решение направить туркам в счет долгов Карла XII 72-пушечный линейный корабль и 30 тысяч мушкетов. Шведский агент майор Синклер выехал в Турцию с депешами к великому визирю, содержащими предложение о военном союзе. Бестужев, назвав Синклера «великим злодеем и поносителем всей российской нации», незатейливо предложил «его анлевировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой».

Главнокомандующий российской армией фельдмаршал Миних поручил капитану Кутлеру и полковнику Левицкому «перенять» Синклера на обратном пути из Турции. На территории Австрийской империи, в Силезии, в июне 1739 года офицеры убили Синклера и забрали все бумаги, но при этом так «на-

следили», что свалить гибель майора на разбойников не было никакой возможности. Смерть агента вызвала в Швеции взрыв негодования и стала одним из поводов для начала войны с Россией 1741 — 1743 годов.

Во время Русско-турецкой войны в октябре 1737 года в селе Архангельском, принадлежавшем воронежскому епископу, был пойман подозрительный человек, ни слова не понимавший по-русски. На допросе в Воронежской губернской канцелярии с помощью солдата Еремея Малякова, знавшего татарский язык, иноземец показал, что его направила в Россию турецкая разведка «для присмотру городовых крепостей и для загогов городов, сел и деревень»; вместе с ним было заслано 11 человек, которые разошлись по разным пограничным местам. Срочно был отправлен запрос в Военную коллегия, определившую: «В Воронежской и Белгородской губерниях и во всех донских казачьих городках оных шпионов где как возможно накрепко сыскивая ловить и злые их намерения пресекать, и во всем крепкую осторожность иметь». Но на допросе у фельдмаршала Миниха выяснилось, что арестованный — молдаванин («волоской нации») крестьянин Тимофей Сергеев, взятый турками на работы в Очаковскую крепость и отпущенный после ее захвата русскими войсками, шпионом не был, а весь его рассказ был выдуман солдатом-«толмачом», ни по-молдавски, ни по-татарски не говорившим. Теперь уже в шпионаже стали подозревать «переводчика», который выдумал историю про свое пленение татарами и подвел под пытки бродягу-волоха; однако доказать связь Малякова с турками не удалось¹⁵⁶.

Военные власти расследовали в 1741 году деятельность ревельского купца Иоганна Витте, связанного со Стокгольмом. В 1743 году велось следствие над шведскими дезертирами Ю. А. Ф. Гавони и И. Коконте, обвинявшимися в шпионаже. Шведский посол в России Нолькен и его французский коллега маркиз Шетарди пытались подвигнуть принцессу Елизавету Петровну на захват власти одновременно с началом шведского вторжения в Россию, чтобы бу-

душая императрица в благодарность уступила завоеванную ее отцом Прибалтику.

Елизавета после воцарения в 1741 году дистанцировалась от такой «поддержки»; но Шетарди и прусский посол Мардефельд не жалели сил и средств, чтобы знать, что «в сердце царицыном делается», и свалить своего противника — канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Для этой цели предназначались «пенсии» придворным дамам, врачу Елизаветы А. Лестоку и камергеру М. И. Воронцову, «проходившим» по донесениям дипломатов как «смелой приятель» и «важной приятель»; к этой группировке примыкали генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой и генерал А. И. Румянцев. Король Пруссии выделил Воронцову «подарок» в 50 тысяч рублей, ежегодный «пенсион» и даже лично инструктировал российского вице-канцлера в Берлине осенью 1745 года. Прусский посол в Петербурге докладывал, что Лесток «настолько ревностный слуга вашего величества, будто он находится на вашей службе»¹³⁷.

Канцлер Бестужев, спонсируемый дипломатами противоположной стороны — Австрии и Англии, уже в начале 1742 года организовал систематическую перлюстрацию почты аккредитованных в Петербурге дипломатов, создав для этого целый штат, включавший резчика печатей, копиистов, переводчика. Главным специалистом «черного кабинета» стал академик-математик Христиан Гольдбах: его усилиями через год были дешифрованы депеши Шетарди, и миссия маркиза завершилась полным провалом — в 1744 году он был выслан из России¹³⁸.

Усиление угрозы шпионажа побудило Елизавету Петровну издать указ от 11 июня 1742 года об организации в России контрразведывательной службы — опять-таки под эгидой Секретной экспедиции Сената и Коллегии иностранных дел: учреждались должности тайных агентов, обязанных вести проверку паспортов, досмотр судов и карет, наблюдать за приезжими иностранцами¹³⁹. Однако с этого времени дела шпионаже уже передавались Тайной канцелярии, тем более что власти подозревали некоторых иностран-

цев в намерении освободить свергнутого Ивана Антоновича. Многие из сторонников шлиссельбургского узника, независимо друг от друга, рассчитывали на помощь из-за границы. О поддержке принца Пруссии и Австрией говорил Иван Лопухин, «магазинвахтер» И. Седерстрем верил в участие в его судьбе прусского и английского королей, на поддержку Фридриха II и Франции полагался П. Грамотин¹⁴⁰.

Возможно, все эти разговоры явились отражением реального возрастания при Елизавете вмешательства иностранной дипломатии во внутренние дела страны. В поле зрения Тайной канцелярии систематически попадали люди, чьи связи вызывали серьезные подозрения.

В 1744 году был арестован лифляндский барон Отто Штакельберг, на которого поступил «сигнал» из Кенигсберга: там в «вольном доме» бывший офицер шведской службы заявил, что русская государыня «никогда на престоле спокойна не будет», и намекал на свои шведские связи и планы войны с Россией. Едва барона отправили в Сибирь, как на него поступил новый донос: ссыльный подполковник Даниил Опочинин сообщил, что Штакельберг хорошо осведомлен и о месте заточения семейства Антона Ульриха, и о смерти его жены Анны Леопольдовны, а в Кенигсберге в 1743 году встречался с брауншвейгским дипломатом Кейзерлингом и собирался с помощью прусского короля освободить пленников или хотя бы наладить связь с ними. Из дела следует, что Штакельберг был знаком с другим сторонником принца — бывшим семеновцем Иваном Путятиным, замечанным в дело Лопухиных. На сибирских просторах им довелось в дружеской беседе обсудить, как сделать, чтобы «государыне не быть», а фельдмаршала Миниха по подложному указу освободить из ссылки. на допросах барон категорически «заперся», и беспокойного лифляндца на всякий случай отправили за полярный круг — в Мангазею, где держали в «железах» до 1763 года¹⁴¹.

Новое предостережение поступило в 1745 году из Англии — тамошний посол И. А. Щербатов со ссыл-

кой на прибывшего из Петербурга итальянца-учителя Л. Фоссати и его соотечественника Пискаторе докладывал, что некий итальянский кондитер Джузеппе Алипранди, состоявший в 1742 году в году в голштинской свите наследника Петра Федоровича, уполномочен брауншвейгским двором «привести на престол Иоанна» и даже обещал «ядом окормить императрицу всероссийскую». Через два года прибывший в Россию «конфектурщик» с семейством был препровожден прямо в Петропавловскую крепость и подвергнут строжайшим допросам вместе с женой содержимое его багажа попало на криминалистическую экспертизу к лейб-медикам Бургаве и Кондони. Кондитер отрицал все обвинения, заявив, что заезжал в Брауншвейг исключительно с целью заработка. В привезенных им лекарствах и «лакомствах» ничего вредного не обнаружилось; но все же семейство «Жузепа Алипрандия» сослало в Казань, где оно провело 15 лет под охраной, несмотря на ходатайство посла об освобождении подданного австрийской короны¹⁴².

В обоих случаях Тайной канцелярии не удалось отыскать иностранный (брауншвейгский или прусский) след; однако категорически его исключать нельзя, тем более что иностранные посланники в России были неплохо осведомлены о положении заключенных и их перемещениях¹⁴³. Фридриха II явно интересовала фигура заточенного принца: в начале 1740-х годов он давал Елизавете советы, как охранять престол от брауншвейгской династии. Позднее — если верить показаниям тобольского купца-авантюриста Ивана Зубарева — король лично поручил ему пробраться к свергнутому императору и помочь посланному на корабле прусскому отряду «скрасть Ивана Антоновича и отца его», а также устроить бунт старообрядцев в приграничных областях для возведения принца на престол. Зубареву выдали в качестве опознавательных знаков две золотые медали с портретом брата Антона Ульриха, присвоили чин прусского полковника, снабдили тысячей червонцев на дорогу и подкуп и познакомили с капитаном ко-

рабля, который должен был прибыть в Архангельск, однако, по признанию авантюриста, ему не везло с момента перехода русско-польской границы: грабители отобрали деньги, раскольники не поверили ему и не захотели ввязываться в сомнительное мероприятие, затем он был схвачен властями и препровожден в Киев, а потом в Петербург. Там он провел два года в Тайной канцелярии, и 22 ноября 1757 года был составлен акт о его смерти. Но известная исследовательница, профессор М. М. Громыко, обнаружила несколько документов с упоминанием поручика Ивана Васильевича Зубарева, жившего в начале 1760-х годов в Ялutorовске и завалившего официальные инстанции жалобами на различные злоупотребления, творившиеся в Тобольской губернии. Если это был «воскресший» купец-авантюрист, то, возможно, он являлся «двойным агентом», а его проникновение в Пруссию было операцией российской «внешней разведки»¹⁴⁴.

В 1744 году был пойман шведский шпион Александр Луетин, в 1749-м — схвачен солдатами Астраханского пехотного полка обходивший караулы уроженец Финляндии Томас Гранрот. В 1752 году расследовалось дело купца Якова Гарднера и слуг подполковника Ингерманландского полка барона Лейтрома, подозревавшихся в шпионской деятельности.

Вскрытие идущих за рубеж писем вывело Тайную канцелярию в 1744 году на придворного служителя («тафельдекорского помощника») Алексея Шишкарева, часто писавшего брату Прокофию, «студенту, обретающемуся при его превосходительстве тайном советнике и чрезвычайном посланнике господине Ланчинском» в Вене. Следователей заинтересовали загадочные слова в одном из писем: «...компания скоро разоритца». Однако допросы, имевшие целью уяснить, какую именно «компанию» при дворе имел в виду сочинитель, и приложенные письма не оставили сомнений, что Шишкарев никакими сектами не владел и даже не был допущен в «особливые ее величества покои», а с братом делился исклю-

чительно мелочными сплетнями о придворной жизни: как бранятся и даже дерутся из-за остатков еды с царского стола лакеи, о чем говорят и на что жалуются. Сам же Алексей больше всего интересовался модными новинками и одолевал брата просьбами выслать ему то «полотна преизрядного» (оно за границей «гораздо дешево»), то чулки, то каких-то «картичек <...> преизрядных, вырезанных на парага-мине». Однако грамотного и щеголеватого лакея сослали от греха подальше — капралом в гарнизон Архангельска.¹⁴⁵

Под обвинение в измене подводились и участники придворной борьбы. Так, в 1748 году в связях с прусским королем Фридрихом II и подготовке переворота с целью передачи престола великому князю Петру Федоровичу и его супруге Екатерине был уличен лейб-медик императрицы, действительный тайный советник граф Арман Лесток — его пытали и приговорили к смертной казни.

Накануне Семилетней войны (1756—1763) русские офицеры «инкогнито» инспектировали прусские пограничные области, а в Россию устремились прусские и французские шпионы. Волею судеб Франция выступала в этой войне союзницей России — но при этом французская дипломатия стремилась противостоять российской политике по всему периметру европейских границ империи — в Швеции, Курляндии, Польше и Турции. Французское правительство относилось к этим странам («восточный барьер») к своей сфере влияния, на которую покушалась деспотическая северная держава. «Нациям, придерживающимся здравой политики, не подобает безмятежно взирать на то, как Россия, едва сбросив свои прежние варварские одежды, стремительно пользуется новым своим положением, чтобы расширить свои границы и приблизиться к нам», — наставлял подчиненных первый министр и министр иностранных дел Франции герцог Этьен Франсуа де Шуазель.

В 1756 году началась эпопея шевалье Мейсонье де Валькруассана, посланного в Россию «в качестве

француза,, недовольного своим отечеством» с целью устроиться на службу... у английского посла при российском дворе Уильямса. Из этой, надо сказать, примитивной операции ничего не вышло (англичанин был предупрежден о французском агенте); но само----- француз объявился в Риге, где следил за военными приготовлениями России в Лифляндии, за что был арестован и посажен в Шлиссельбургскую крепость. На допросе он уверял, что ему поручили выведать, кто из русских вельмож испытывает склонность к Франции. По итогам следствия М. Л. Воронцов и П. И. Шувалов доложили императрице, что «сей француз прямой и небезопасный шпион, потому что он самую подозрительную корреспонденцию под подложными именами производил и в главных приморских городах приискивал себе корреспондентов».

Самоуверенный Валькруассан разболтал о своих шпионских планах («...поступить на службу, хотя в армии никогда не был, что рассчитывает начать солдатом, продолжить сержантом, а потом поручиком, что в течение трех лет жалованья ему не надобно, что он без него обойдется <...> ибо те, кто его послал, дали ему на расходы») соотечественнику барону Теодору де Чуди, а тот донес о них своему покровителю И. И. Шувалову: «Он принялся рассуждать о политических хитросплетениях, в которые я входить не стал, но которые доказывают, что он свое дело знает. Наконец, в заключение он попросил меня взять два его письма, одно — адресованное купцу в Кенигсберг, а второе — в Варшаву, просив отправить второе по почте из Пруссии; я обещал, но едва отъехав десять миль от Риги, распечатал письмо в Варшаву и увидел, что оно шифрованное, что утвердило меня в моих мыслях. Важное оно или нет, значения не имеет, ибо любое шифрованное письмо подозрительно, и я исполняю мой долг и служу государству, отправляя его вашему превосходительству, который велит

его расшифровать и поступит с ним так, как сочтет нужным». За разоблачение французского шпиона Чуди попал в Бастилию, но история закончилась для

ее участников счастливо: Россия стала союзницей Франции в Семилетней войне, и оба в 1757 году были ли выпущены на свободу.

Однако через 15 лет, в 1770 году, Валькрусан уже в качестве драгунского полковника был направлен французским правительством в лагерь сражавшихся против России польских конфедератов. Лихой военный «инструктор» предлагал туркам сформировать корпус из поляков, молдаван, валахов, венгров и трансильванцев, чтобы вести боевые действия против России, отвоевать у русской армии Валахию, а сам был не прочь стать ее господарем: «Если бы решились его низложить и поставить меня на его место, я бы обязался к будущему маю месяцу выставить против неприятеля 6 000 солдат, которые ровно ничего не стоили бы Порте на протяжении всей войны и оказали бы ей важнейшие услуги, если не будут требовать налогов все указанное время»¹⁴⁶. К счастью для турок, французский посол в Константинополе авантюриста не поддержал.

В 1757 году были задержаны прусские шпионы барон Ремер и слуги принца Антона Ульриха Ламберт и Эрик Стампель. Полковник Нарвского гарнизона Сванге-Блюм и нарвский комендант барон фон Штейн попались на передаче секретных сведений прусским властям в письмах, адресованных в гарнизон польского города Данцига. Блюм сразу же во всем сознался, был посажен в Шлиссельбургскую крепость, где умер в феврале 1759 года. В 1758 году за аналогичные преступления были осуждены капитан Альбрехт Ключевский и драгун Абрам Дейхман. За добывание секретной информации для пруссаков попали под следствие в том же году прапорщик Павел Калугерович, в 1759-м — инженер-поручик Фридрих Теш и вахмистр Мартин Келлер, в 1761 году - Даниил Фишер.

Однако заслуги самой Тайной канцелярии по части контрразведки были не так уж значительны. Подчиненные А. И. Шувалова получали агентов, уже выявленных «на фронте», в том числе при помощи самих немцев¹⁴⁷. Бдительный армейский подпору-

чик Тизенгаузен в феврале 1761 года опознал в торговце из польского Торуня Фишере прусского «аудитора» по имени Лоэ. Арестованный военными властями коммивояжер вначале категорически отрицал обвинение, но против российских батоков не устоял и признался, что был завербован прусским фельдфебелем, в «мужицком платье» действовавшим в тылу русских войск. Этот резидент Янцын поручил Фишеру и другому агенту Ягану Петерсену разведать расположение русских войск в районе Гданьска; они собирали информацию по трактирам и передавали ее работодателю, рассчитывавшемуся полновесными червонцами. По заданию фельдфебеля Фишер отвозил донесения в прусский Штеттин к принцу Бевернскому. Командование тут же разослало по воинским частям сделанное Фишером словесное описание внешности действовавших в русском тылу прусских разведчиков. Самого же Фишера из «секретной канцелярии» при главнокомандующем отправили в Тайную канцелярию; но в Петербурге он, как видно из второго заведенного там и неоконченного дела, ничего существенного к данным ранее показаниям добавить не смог. Судьба неудачливого агента неизвестна; можно лишь предполагать, что он был отпущен после заключения Петром III мира с Пруссией¹⁴⁸.

«Шпионы» той поры квалификацией не отличались и настоящими «рыцарями плаща и кинжала» не являлись. 65-летний прусский инженер-поручик Теш, служивший в силезском Бреславле «при военном камерном правлении», во время войны перешел на службу к польскому магнату князю Сулковскому, а после его пленения стал проситься обратно, но был арестован за переписку с неприятелем — своим бывшим начальником Шлаберндорфом. Собственно, шпионом Теш никогда не был; но Тайную канцелярию заинтересовала сочиненная им «пиеса», где почтенный чиновник упоминал, что был очевидцем того, как в его родной Бреславль в 1744 году был доставлен под охраной неизвестный мальчик, про которого караульные говорили, что он есть не кто иной, как «объявленный в Петербурге царь», «тайно

увезенный» из России, а «другой на его место подложен». Но ничего более конкретного следователи от него не добились, и Теш до конца войны «проживал» в Петропавловской крепости без особого надзора — летом даже двери в казарме были открыты из-за жары. В один из таких знойных дней августа 1761 года честный немец, увидевший, как по двору «ходил прусской шпион инженер-капитан Пиза и осматривал в крепости строение», счел нужным об этом доложить тюремному начальству. Другой «шпион», вахмистр Келлер, оказался российским дезертиром, явившимся из немецкого плена прямо к генерал-квартирмейстеру русской армии Штофелю за паспортом в Кенигсберг. На допросе этот бродяга «венгерской нации» показал, что служил сначала в австрийском, затем в русском войске, откуда бежал, испугавшись «штрафа» батогами, и поступил в полк прусских «желтых гусар», но не прижившись и там, решил вернуться. Перебежчиков Сенат приговорил к ссылке: Теша — прапорщиком в Сибирь, Келлера — на нерчинскую каторгу; но оба были помилованы и отправлены в свое «отечество»¹⁴⁹.

Летом 1774 года был выслан из России полковник русской службы Франсуа Анжели — после самовольной поездки в Вену, а затем в Париж, где его принял министр иностранных дел герцог д'Эгйон. Судя по всему, ничего вредительского он сделать не успел; но французский посланник в Петербурге Дюран де Дистрофф утверждал, что Анжели «мечтал возвыситься способами необыкновенными, а потому замыслил взбунтовать русские полки в Ливонии, захватить Ригу, а затем Петербург, вовлекая в восстание крестьян, и провозгласить великого князя Павла императором».

При дворе Екатерины II создать пропрусскую или профранцузскую «партию» было уже невозможно — твердый внутри- и внешнеполитический курс и реальная мощь державы не давали для этого оснований. Поэтому выбор платных агентов или источников информации у французских дипломатов был невелик — им оставалось довольствоваться при-

дворными щеголями вроде графа Дмитрия Михайловича Матюшкина. «Ваше превосходительство! Господин Матюшкин, о котором я имел честь писать вам еще при жизни Петра III, поскольку он был мне весьма полезен, чтобы узнать некоторые подробности придворной жизни и иметь доступ к царице, которой он всецело предан, предполагает направиться из Вены в Париж и просит меня рекомендовать вам его как человека, преисполненного усердием и почтением к королю. Человек он очень ограниченный и поведения скверного, но я должен отдать ему справедливость — он всячески расположен к Франции. Его жена — статс-дама императрицы, ее записная фаворитка и наперсница в наслаждениях, и было бы весьма полезно благосклонно отнестись к этому русскому, который возбуждает в ней (императрице. — *И. К. Е. Н.*) добрые чувства по отношению к нам» — так аттестовал «агента» посол в Петербурге своему министру в Париже. Однако такие персонажи могли передавать только придворные сплетни, но к серьезным делам не допускались.

Не слишком важными сведениями обладали и другие российские «пособники». Блюм на следствии показал, что пересылал неприятелю «рописи», выкупленные им у сержанта Белозерского полка Михаила Будущева и писаря Новгородского пехотного полка солдата Осипа Ерыгина, получивших за услуги всего 16 копеек. Пленные «прусаки», сидевшие неизвестно за что в Московской конторе Тайной канцелярии, в 1760 году доложили понимавшему по-немецки прапорщику охраны: заключенный драгун Федот Псарев заявил им, что «из отечества своего побежит к прусаку и отечество свое продаст за семь червонцев», причем был при этом разговор трезв. С помощью переводчика-врача немцев допросили, после чего взяли за Псарева. Он запереться не стал — признал, что уже бежал в 1748 году из полка в «Цесарию» и в рядах австрийской армии воевал с Фридрихом II, был взят в 1758 году в плен, о котором у него остались наилучшие впечатления: «Довольствован был как денгами, так и правянтном, а как он из поло-

ну вышел и явился собою (сбежал из крепости Шпандау в русскую армию. — *И. К. Е. Н*), то де ему здесь ни провианту ни денег ничего не производят". Обидевшись на такое обращение русских начальников, Псарев высказал немцам-сокамерникам свое желание продать отечество; следователей же уверял что говорил «с простоты своей и в шутках». Но в Тайной конторе шутку не оценили; беглому драгуну пришлось бы плохо, если бы не вошедший в обычай бюрократический порядок и столь же обычная канцелярская безалаберность: по закону Псарев подлежал за побег военному суду, но в полку беглым официально не числился. После долгих проволочек Тайная канцелярия распорядилась отправить дезертира в оренбургскую ссылку даже без вразумления кнутом или шпицрутенами¹⁵⁰.

Пожалуй, самым знаменитым шпионом стал генерал-майор русской армии граф Готлиб Курт Генрих Тотлебен. Уроженец Саксонии был принят на русскую службу в царствование Елизаветы Петровны, участвовал в Семилетней войне, пока не был в июне 1761 года арестован за переписку с неприятелем через некоего «жидка», у которого были найдены донесения генерала-изменника и копии «секретных ордеров» русского командования. На следствии Тотлебен оправдывался: он всего лишь желал от местных властей исправной поставки провианта и фуража, а переписку с Фридрихом II поддерживал для того, чтобы при удобном случае «уговорить короля к свиданию или разведать, когда и где он будет на рекогносцировке с малым числом людей», чтобы захватить его в плен. Генерала отправили в Петербург; следствие затянулось, и только в царствование Екатерины II он был предан суду приговорен к лишению чинов и сослан. Однако через несколько лет, в 1769 году Тотлебен был вновь вызван в действующую армию и получил прощение за победы, одержанные на Кавказе. Как оказалось, он участвовал еще в одной шпионской истории — помог французскому консулу Россиньолю найти осведомителя, некоего Штрубера из Коллегии иностранных дел. Правда, агент запросил

слишком большие деньги за не слишком важные материалы, и французы от его услуг отказались.

Среди успешно действовавших французских разведчиков можно назвать будущего деятеля Французской революции и создателя революционного календаря Жильбера Ромма и врача Никола Габриеля Клерка. Ромм, прибывший в Россию в 1779 году в качестве воспитателя графа Павла Строганова, объехал многие губернии в качестве ученого-натуралиста — и в итоге передал во французский МИД подробное описание состояния русской армии. Клерк сначала стал личным врачом гетмана Украины, графа и фельдмаршала К. Г. Разумовского, а затем лечил великого князя Павла и служил профессором Кадетского корпуса. По возвращении во Францию он представил правительству «семь табелей, показывающих состав регулярных и иррегулярных войск Российской империи», «Генеральный трактат о российской торговле», «Точный состав морского флота», «Состав сухопутных войск», «Секретные карты», а также документ под названием «Характер, нравы, страсти, политика, интриги, продажность министров и вельмож, политические анекдоты и всё, что касается Министерства иностранных дел». За услуги агент получил должность от военного министерства, орден Святого Михаила и пенсия в 6 тысяч ливров; в 1778 году он был произведен в дворянство — стал Леклерком, автором сочинения «Древняя и новая история России», вызвавшего неудовольствие Екатерины II и резкую критику со стороны русских историков¹⁵¹.

Наиболее опасным французским агентом можно считать члена российской Коллегии иностранных дел, надворного советника Ивана Вальца. Он с 1787 года сообщал в Париж сведения о внешней политике Екатерины II. Только в 1791 году российские дипломаты через своих французских информаторов узнали о том, что в Петербурге есть «подкупленный человек», а затем — что под именем «Скрибс > скрывался именно Вальц, получивший за труды от французов 18 тысяч ливров.

Двадцать второго июля 1791 года Екатерина поручила Шешковскому и статс-секретарю Храповицкому, арестовав шпиона, узнать, «что точно сообщал и открывал» из вверенных ему дел. Несколько дней спустя арестованный на даче под Стрельной Вальц на допросе доказывал с «ужасными клятвами», что присяге не изменял — напротив, отверг попытку секретаря австрийского посольства Рата его подкупить «пенсией» в 4 тысячи рублей в год, правда, тут же признал, что кое-какие деньги от Рата брал — но в «подарок», а не за измену. Предъявленный же ему документ французского МИДа с его именем, «псевдонимом» и указанием «гонорара» Вальц назвал «сущей неправдой». Далее ситуация не совсем понятна: в деле Тайной экспедиции больше никаких протоколов допросов не имеется, зато есть распоряжение императрицы о ссылке Вальца (без суда и даже без лишения чина) в Пензу под надзор местных властей; затем он был переведен в Саратов, оттуда в 1797 году по указу Павла I вызван в Петербург и... снова отправлен на жительство в Пензу, где получал 800 рублей казенной пенсии и воспитывал своих восьмерых детей¹⁵², но в том же году скончался.

После революции 1789 года Франция вновь стала главным противником России — Екатерина II явилась вдохновительницей антифранцузских коалиций европейских монархий. С началом революционных войн французское правительство и его дипломаты в России вплоть до разрыва отношений в 1793 году настойчиво пытались не только получать информацию о военных приготовлениях, но и искать квалифицированных агентов среди офицеров.

Французскому поверенному в делах Женэ удалось завербовать двух офицеров русского флота — ирландца Люкса и француза Шатенефа. Последний, как секретарь и адъютант руководителя Адмиралтейств-коллегии, был хорошо осведомлен о положении дел в военно-морском флоте России. Весной 1792 года агенты в составе экипажей русских кораблей направились в Копенгаген. Люкс должен был следить за действиями русской эскадры, а Шатенеф под пред-

логом отъезда на курорт с французским паспортом, выданным Женэ, перейдя французскую границу, доложил министру иностранных дел и представителям французских вооруженных сил о состоянии и планах русского флота.

Шпионские же «упражнения» их коллеги, капитан-лейтенанта Монтегю, были пресечены в самом начале — он был арестован в июне 1794 года, даже не приступив к исполнению своей миссии на Черноморском флоте. На допросе Монтегю признался, что был завербован в Вене аббатом Сабатье де Кабром. По утвержденному императрицей приговору Сената он был «публично ошельмован» и отправлен на каторгу. После его ссылки в Сибирь русский посол в Венеции Мордвинов получил от одного из французских эмигрантов д'Антрега сообщение, что Монтегю имел задание совместно с другими французскими агентами при помощи новых химических средств сжечь весь российский Черноморский флот. В 1802 году неудачливого диверсанта избавили от каторжных работ, но так и оставили на жительство в Сибири¹⁵³.

Наряду с немногочисленными настоящими шпионами в Тайную экспедицию попадало много других иностранцев — люди с уголовными наклонностями или простые вербовщики наемников, как пруссак Готфрид Брунет, оказавшийся там в 1798 году.

Правда, после разрыва дипломатических и торговых отношений с Францией агентурная работа в России стала крайне затруднена. Приезжие чужеземцы сразу же попадали под подозрение и задерживались, как, например, схваченный в 1794 году на петербургской дороге под Выборгом француз Ламадон, который называл себя графом, но признался, что был агентом якобинского Конвента и должен был распространять революционные идеи. На каждого француза в России власти смотрели как на якобинца; и неосторожность в разговорах или поведении могла закончиться для них ссылкой или, по крайней мере, арестом, тем более что некоторые французы-эмигранты писали доносы на соотечественников, сводя личные счеты.

В 1795 году в Москве по доносу немца-учителя были доставлены в полицию несколько французов только за то, что, сидя в трактире, составили из своих шляп пирамиду, напоминавшую, по мнению доносчика, «французское дерево свободы». Делом арестованных занимались главнокомандующий Москвы, Тайная экспедиция, генерал-прокурор и, наконец, сама Екатерина II. Но оказалось, что веселые французы никаких пирамид не строили, а просто сложили шляпы одна на другую — за что в итоге получили выговор, «дабы они впредь более благопристойно соблюдали порядок».

В 1798 году в Тайную экспедицию поступил донос из Митава на прибывшую в Петербург в придворный театр чету актеров Шевалье. Балетмейстер Пьер Шевалье обвинялся в том, что во Франции указывал властям роялистов для расстрела, а его жена в Лионе «публично играла ролю богини разума». Однако к тому времени уже состоялся дебют мадам Шевалье на петербургской сцене, принесший ей не только успех у публики, но и положение любовницы обер-штальмейстера графа Кутайсова, а затем самого императора Павла I. Поэтому донос последствий не имел; мадам Шевалье (возможно, действительно шпионка, служившая первому консулу Наполеону Бонапарту) блистала на петербургской сцене до конца павловского царствования и только после переворота 1801 года получила предписание немедленно покинуть Россию.

Под подозрением оказалась даже французская католическая церковь в Москве. Московский губернатор Лопухин в 1793 году писал главнокомандующему Москвы Прозоровскому, что эта церковь не внушает ему никакого доверия, так как «ходят в оную весьма мало, и то, по-видимому, не для мольбы, а для разговоров».

Однако и в конце столетия Тайная экспедиция хотя и вела дела попавшихся шпионов, но сама по-прежнему не обладала ни опытом, ни кадрами для их выявления: как правило, они были уличены бдительными подчиненными (как Тотлебен), выданы знако-

мыми (как Монтегю, показания на которого дал «господин Жерар», состоявший при А. А. Безбородко) либо информация о них была получена по дипломатическим каналам или благодаря вскрытию переписки. В России за письма отвечал почт-директор, еженедельно представлявший императрице отчет с наиболее интересными выдержками из перлюстрированной корреспонденции. Однако наступившая эпоха революционных войн и потрясений показала, что прежние методы тайного сыска уже устарели, и настоящую контрразведывательную службу необходимо было создавать заново.

У истоков отечественной цензуры

Век Просвещения с его политическими и культурными новациями (в том числе появлением периодики и массового книгопечатания) породил целый ряд проблем, которые власть будет решать на протяжении последующих трехсот лет.

В 1731 году жена подполковника Авдотья Вишневская заехала в гости к полковнице Веревкиной в местечко на Полтавщине. Среди прочих новостей сплетницы обсудили и невесть как оказавшийся у Веревкиной перевод с некоего печатного «листа» или изданной на территории Речи Посполитой «газеть», в которой два чудесно явившихся «мужа» предсказали будущие потрясения: в 1733 году Константинополь ждало разорение; в 1736-м должна была «погибнуть Африка», а в 1737 году — «антихрист имеет притти на землю» с последующим в 1739 году Страшным судом.

Предсказание передавалось из рук в руки до тех пор, пока не стало известно генерал-губернатору, доложившему о нем самому Ушакову. В ходе следствия были выявлены по цепочке все распространители злополучного «листа». Крайним оказался монах Троцкого Густынского монастыря, сумевший скрыться, после чего следствие в 1734 году было прекращено, а арестованные читатели отпущены¹⁵⁴.

В начале очередной войны с Турцией в 1736 году возникло дело о «султанском письме»: пойманный на краже подьячий Петр Максимов заявил «слово и дело» на схватившего его постоянного солдата, указав, что у того есть письмо, «писанное от салтана турецкого». Найденный текст содержал угрозы «разорить» христиан, а их священников «псам на съедение отдать». Тайная контора немедленно начала выискивать источник распространения пасквиля. Под стражу были взяты девять человек, но и в этом случае следствие уперлось в тупик: ямщик Иван Красносельцев получил письмо от «неведомого человека». Впрочем, злодейского умысла здесь не оказалось: письмо (действительное или литературный вымысел) адресовалось султаном Махмедом австрийскому «Леопанде цесарю» — императору Священной Римской империи Леопольду I (1658—1705), много воевавшему с турками... на полвека раньше. Посему все задержанные были отпущены с вразумлением батогом за неподходящее чтение¹⁵⁵.

После дворцового переворота 1741 года правительство Елизаветы решило «вычеркнуть» из истории всю информацию о ее венценосном предшественнике. Изымались из обращения монеты с изображением Ивана Антоновича, публично сжигались печатные листы с присягой ему; с 1743 года началось систематическое изъятие прочих официальных документов с упоминанием свергнутого императора и правительницы Анны Леопольдовны — манифестов, указов, церковных книг, паспортов, жалованных грамот¹⁵⁶. Поскольку уничтожить годовую документацию всех государственных учреждений не представлялось возможным, то целые комплексы дел передавались на особое хранение в Сенат и Тайную канцелярию; ссылки на них давались без упоминания имен, а при необходимости обходились термином: «известная особа». Наследник Елизаветы Петр III после вступления на престол повелел после снятия необходимых копий уничтожить все дела «с известным титулом», но очередной переворот не позволил выполнить это распоряжение.

Только при Екатерине II Иван Антонович стал официально упоминаться, но не в качестве императора, а как «принц Иоанн».

С 1742 года держать у себя документы, монеты и другие артефакты с титулом и изображением Ивана Антоновича стало опасным — теперь это считалось преступлением, называемым в документах сыска «хранение на дому запрещенных указов, манифестов и прочего тому подобного». За него в 1755 году отставной ассессор Михаил Семенов был сослан «в его деревни до кончины живота его никуда неисходно». В 1747 году пытали в застенке и сослали в Оренбург на вечное житье пуговичного подмастерья Каспера Шраде, в чьем бауле при таможенном досмотре в Нарве нашли пять монет с профилем Ивана Антоновича. В следующем году целовальник Недопекин поплатился за невнимательность — был взят в Тайную канцелярию за то, что при пересчете доставленных им из Пскова для сдачи в Соляное комиссарство двух бочек денег среди 3 899 рублевиков был обнаружен один с изображением Ивана Антоновича¹⁵⁷.

С появлением прессы высочайший контроль прежде всего был направлен на публичные извещения о событиях при дворе. Академия наук в 1742 году получила выговор за сообщение в «Санкт-Петербургских ведомостях» о приеме во дворце «грузинских принцесс». В 1751 году сама Елизавета возмутилась публикацией о том, что она весь день «изволила забавляться псовой охотой»¹⁵⁸. Даже стремление к историческим знаниям могло быть истолковано в качестве угрозы государственной безопасности. Так, в 1760 году дворовый человек Степан Титов донес, что к его господину являлись сенатские канцеляристы Из комиссии «о разборе императорских указов», продававшие ему тексты указов и письма Анны Иоанновны, Петра I, царевича Алексея, фельдмаршалов А. Д. Меншикова и Б. П. Шереметева, а также различные «трактаты», «шифры», «походные журналы».

Покупателем документов являлся Петр Никифорович Крекшин (1684—1763) — один из первых русских исследователей генеалогии. При Петре I он служил

смотрителем работ на строительстве Кронштадта, был обвинен в растрате казенных денег, разжалован, но затем оправдан и назначен на должность комиссара для принятия казенных вещей по подрядам. В 1726 году Крекшин вышел в отставку и занялся изучением русской истории, для чего стал собирать все доступные ему материалы о петровском царствовании. В 1742 году он представил Елизавете Петровне первый том «Краткого описания блаженных дел великого государя-императора Петра Великого, самодержца Всероссийского» и получил разрешение пользоваться документами Кабинета Петра I и другими документами архивов. Историю деятельности Петра I исследователь освещал в «Журналах великославных дел великого государя-императора Петра Великого», которых, по его задумке, должно было выйти 45 томов — по числу лет царствования Петра I - с подробным, день за днем, изложением событий. Неугомонный Крекшин спорил с Г. Ф. Миллером и М. В. Ломоносовым (в 1750 году) по поводу происхождения Руси, составил «Родословную книгу разных фамилий российских дворян». Комиссар собрал немалое количество актов, в том числе рассредоточенных по разным местам бумаг Меншикова; но при этом он не стеснялся вставлять в свои сочинения вымышленные сведения. Он привлек внимание Тайной канцелярии — доноситель указал, что его хозяин приобрел у нелюбопытных, но корыстных чиновников столько документов, что набралось 30 переплетенных «книг». Но, кажется, следствие так и не началось: в мае 1760 года престарелый Крекшин был «взят» в Сенат и более по Тайной канцелярии не числился¹⁵⁹.

К тому времени стали ощутимы другие последствия Петровских реформ — за сравнительно спокойные 1740—1750-е годы выросло поколение более просвещенных и независимых дворян, чем их отцы во времена «бироновщины». Исчез «рабский страх перед двором», подданные «отваживались публично и без всякого опасения говорить и судить, и рядить все дела и поступки государевы»¹⁶⁰, что отмечали многие современники — армейский офицер Андрей

Болотов, пастор Бюшинг, аристократка Екатерина Дашкова и иностранные дипломаты. Современные исследования позволяют говорить даже об особом «культурно-психологическом типе» елизаветинской эпохи. Историки российского Просвещения констатируют своеобразный «книжный бум» на рубеже 50—60-х годов XVIII столетия, когда подросли новые дворяне-читатели, получившие уже иное образование¹⁶¹. Но эта ситуация рано или поздно должна была породить опасные — по крайней мере нежелательные для власти — мысли и возможности их публичного выражения.

Формально вплоть до конца столетия иной цензуры, кроме духовной, проверявшей выходящие издания на предмет соответствия православному канону, в России не было. Однако на практике имели место случаи запрета публикации некоторых произведений и даже уничтожения уже отпечатанных тиражей. При отсутствии официальной государственной цензуры запрет мог быть наложен по инициативе какого-либо ведомства, должностного лица или самого цензора. Показательна в этом отношении судьба историка-академика Миллера. В 1748 году цензурная правка откровенно идеологического характера была внесена в его «Историю Сибири», в 1749-м после публичного осуждения сожгли тираж его сочинения о происхождении русского народа, в 1757-м в редактировавшемся Миллером журнале «Ежемесячные сочинения» было запрещено печатать статью по истории школьного образования в России, а в 1761 году в том же журнале власти прервали публикацию сочинения о Смутном времени¹⁶².

Нарождавшееся гражданское общество (пока еще охватывавшее лишь часть благородного сословия, где на каждого мыслящего «сына Отечества» приходились свои Митрофанушки и Скалозубы) неизбежно вступало в противоречие с пониманием гражданских прав и свобод Екатериной II: «Вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть». Набирал силу процесс диверсификации, «цветущей сложности»

культуры и ее эмансипации от государства, тем более что в то время в России появились частные типографии и первые объединения творческих людей.

Одним из самых известных «клиентов» Тайной экспедиции стал Александр Николаевич Радищев Произведенный в 1790 году в коллежские советники и назначенный на видный пост управляющего Петербургской таможней, известный литератор и преуспевающий чиновник в июне того же года выпустил в свет «Путешествие из Петербурга в Москву» Тираж в 650 экземпляров был отпечатан в собственной типографии автора, из него разошлось не более ста книг. В этом сочинении Екатерина усмотрела призыв к бунту крестьян и оскорбление величества. 30 июня автор был доставлен в Петропавловскую крепость. Запрещалось пускать к Радищеву посетителей и передавать ему деньги. Следствие велось под руководством Шешковского, который не применил к Радищеву обычных пыток только потому, что был подкуплен свояченицей арестанта Елизаветой Васильевной Рубановской.

Восьмого, 9 и 10 июля 1790 года Радищев дал письменные показания по двадцати девяти вопросам пунктам, в которых раскаялся в написании «Путешествия», но не отказался от высказанных в книге взглядов на крепостное право. Следователь же желал знать, почему сочинитель «опорочивал» всё благородное сословие, и требовал указания конкретных «злодеев». Радищев отвечал, что «доказать не может, а писал по умствованию своему с слышанных им иногда в народной молве якобы производивших по разным делам злоупотреблениях». Приводим отрывок из вопросов пунктов и его ответов.

«11. На стр. 124 вы старались доказать недостойное произведение в чины, то какую причину на сие имели? И на кого вы целили именно?

На 11. На сие отвечал: я виноват, потому что не могу судить, кто бы по недостойности был произведен в чины ибо сие до меня и не принадлежало, а писал так дерзко, могу истинную сказать, по

сумасшествию на то время и сумасбродству своему и хотя тем показать свою смелость.

12.. Начиная от стр.130-й по 139-ю какая нужда была «водить вам произшествие в рассуждении учиненного господскими детьми над их девкою насилия, зная, что один пример на всех относиться не может?

13. Какого вы наместника разумели, котораго описывали и делали ему разныя укоризны на стр. 140, 141 и 142?

14. Почему он охудал состояние помещицких крестьян, зная, что лучшей судьбы у российских крестьян у хорошева помещика нигде нет?

На 12. На сие ответствен: описывая сей дурной поступок, думал я, что он может воздержатъ иногда такого человека, которой бы захотел поступать так дурно; однако ж кто б это делал, того он доказать не может, а писал сие по сродной человеку слабости, чая от таких дурных поступков воздержатъ.

На 13- Никакого я наместника лично в виду не имел, а писал в общем смысле, если бы случилось где быть такому, которой бы наблюдал высочайших повелений. А между тем слышалась в народной молве, будто б господа наместники употребляют данную им от ея императорскаго величества власть иногда по своим прихотям, не держась высочайших ея величества учреждений.

На 14. Охудение мое было только на одно описанное тут происшествие; впрочем я и сам уверен, что у хорошева помещика крестьяне благоденствуют больше, нежели где либо. А писал сие из своей головы, чая, что между помещиков есть такие можно сказать уроды, которые, отступая от правил честности и благонравия, делают иногда такія предосудительныя дея-

15. В чем вы опорочиваете вступленные дворян в службу?

16. На 157 и 158 страницах изображено ваше огорчение неудовольствие на вельмож, какое вы противу их имеете?

ния, и сим своим писанием думал дурного сорта людей от таких гнусных поступков отвратить.

На 15. Намерение мое клонилось не к опорочению службы, а только думал, что лучше начинать службу в совершенном возрасте. Впрочем признаюсь, что выражения мои на сих страницах были неумеренны и не к стати.

На 16. Во всю мою жизнь иначе сказать не могу, как что был многими из них благоприятствован и благодетельствован и начальниками моими свидетельствуюсь, что я к ним всегда имел должное почтение».

Защищаясь, Радищев признал необходимость цензуры, поскольку «подлинно она спасет многих, подобных мне, заблужденно мыслящих от таковой погибели, в которую я себя ввергнул истинно от слабого своего разсудка», и пытался доказать, что высказанная им критика в адрес «царей» не имеет отношения к «самодержице, которая удивляет свет ея премудрым и человеколюбивым правлением»¹⁶³.

В самые тяжелые дни царствования (на юге шла тяжелая Русско-турецкая война; под Петербургом русский флот потерпел поражение от шведского, в Европе складывалась коалиция против России во главе с Англией и Пруссией) Екатерина II нашла время лично проштудировать «Путешествие» и поняла, что книга содержала более опасную крамолу, чем личные выпады. Статс-секретарь императрицы Александр Храповицкий отметил в дневнике мнение императрицы: «7 июля. Примечания на книгу Радищев посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в кон-

це хвалит Франклина, как начинщика (американской революции. — *И. К. Е. Н.*) и себя таким же представляет.

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое столетие», — восклицал Радищев. По свидетельству Храповицкого, Екатерину поразила его риторика: «Говорено с жаром о чувствительности (автора. — *И. К. Е. Н.*)». Императрице, стремившейся создать сплоченное и устремленное к благу страны дворянство и просвещенное «третье сословие», объединить их в рамках «законной монархии» с непросвещенным и требовавшим руководства крестьянством, читать такие строки в конце долгого и славного царствования было тяжело. Сочинитель предсказывал надвигающуюся катастрофу и новый мужицкий бунт. Екатерина недоумевала: «Желчь нетерпения разлилась повсюду на все установленное и произвела особое умствование, взятое, однако, из разных полу-мудрецов сего века... Не сделана ли мною ему какая обида?»

Преступление, с ее точки зрения, было очевидно, и дело Радищева рассматривалось не в Тайной экспедиции, а в Палате уголовного суда. Однако когда автора доставляли туда из крепости, из помещения удаляли канцелярских служителей, а допросы и чтение книги производились заседателями при закрытых дверях. Палата потребовала от него ответа на пять вопросов (какая у него была цель, есть ли сообщники, раскаивается ли он, сколько отпечатано экземпляров и сведения о его прежней службе) и 24 июля вынесла смертный приговор на основании тех же статей «Воинского устава» и «Морского регла-

мента», которые использовались в практике политического сыска. Императрица заменила Радищеву смертную казнь ссылкой на 10 лет в Илимский острог Иркутской губернии.

Г. А. Потемкин предупреждал царственную подругу, что не следует уделять досадной книге и ее автору излишнего внимания: «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводил какой-то поклеп. Верно и вы не понегодуете..

Ваши деяния — ваш щит". Но Екатерина, до того не сталкивавшаяся со столь крамольными сочинениями, была очень рассержена.

Правда, за 65 лет до Радищева в Петропавловской крепости уже содержался до смерти предприниматель и экономист-самоучка Иван Посошков, автор «Книги о скудости и богатстве». Но он как раз видел в государстве главного организатора и инициатора «совершенствования общества»: призывал «страхованием» заставлять учиться детей, шире вводить фискальную службу, принуждать работать нищих и «тюремных сидельцев», вычислил сумму предполагаемого дохода в 200 тысяч рублей от труда заключенных и даже считал возможным царским указом утвердить курс рубля: «А наш великий император сам собою владеет и в своем государстве еще и копейку повелит за гривну иметь, то так и может правиться»¹⁶⁴.

Конечно, некоторый опыт «профилактической работы» с распространителями «слухов и толков» из дворянского сословия у Тайной экспедиции имелся: «Ежели что открывалось важное, то докладывали императрице, и уже от нее зависело решение; но ежели только были дерзкие речи, наглые поступки, то тогда он (Шешковский. — *И. К. Е. Н.*) таковых секал розгами и брал подписки, чтоб никому о том не объявлять, да и кто скажет, понеся такое оскорбительное наказание. Иногда императрица узнавала вредные речи против правительства, в избежание судебного порядка, чрез которое могли бы пострадать многие, посылала его произвести подобное тайное взыскание,

равно и за шалости, развращающие нравственность, уву-то : в Москве был "Евин клуб", составленный из знатных дам, как сказывали, что в оном происходило неслыханное похабство. Зато как скоро Шишков тот же Шешковский. — *И. К, Е. Н.*) приезживал в Москву, то знали, что приезд его недаром, и так его боялись, что к кому в дом приезжал, хотя по личному знакомству или по родству, дамы падали в обморок. Конечно, скажут, что это было варварство, но если тайным малым телесным наказанием заменяет по законам лишение чинов и дворянства и ссылки, то, конечно, извинительно такого рода самовластие; тем более что во время Екатерины понапрасну никто не пострадал и довольно свободно судили о дворе и о ней; кто за оную черту переходил, то, вспомня о Шишкове, останавливался»¹⁶⁵.

Но в данной ситуации подобные воспитательные меры не годились. Книга Радищева была намного серьезнее, чем даже самые злобные «суждения о дворе»; она стала первой и оттого неожиданной попыткой революционной пропаганды в России и оставалась запрещенной до 1867 года. Зароненное ею семя дало всходы: в декабре 1796 года не просвещенный столичный чиновник, а отставной прапорщик из поповичей Иван Рожнов осмелился заявить, «что государи все тираны, злодеи и мучители, и что ни один совершенно добродетельный человек не согласится быть государем; что был на вахт-параде, смотрел на то, как на кукольную комедию; что люди по природе все равны и не имеют права наказывать других за проступки, коим сами подвержены <...>, что иконы суть идолы и что поклоняющиеся оным с отменным усердием все бесчестные люди, по его замечанию». За столь радикальное вольномыслие Рожнов был приговорен Петербургской уголовной палатой и Сенатом к лишению чинов и ссылке в Сибирь «в тяжкую работу»¹⁶⁶.

Не менее знаковой, чем дело Радищева, стала совсем бессудная расправа с одним из самых благородных людей той поры — Николаем Ивановичем Новиковым и его «Типографической компанией».

Новиков с друзьями-масонами ставили своей целью духовно-нравственное исправление личности на стезях христианского вероучения. Они реализовали масштабный просветительно-филантропический проект: за десять лет (1779—1789) аренды университетской типографии было издано около 900 книг - примерно четверть всей книжной продукции того времени, в том числе первые в России женские, детские, философские, агрономические журналы, учебники, словари. Ими были открыты при Московском университете педагогическая семинария для подготовки преподавателей гимназий и пансионов, первое студенческое общество («Собрание университетских питомцев»), больница и аптека с бесплатной раздачей лекарств бедным. Студенты организованной ими переводческой семинарии обучались на средства, собранные масонами. Позднее Пушкин писал: «Новиков был первый, кто сеял лучи просвещения в нашем отечестве». Размах независимой от властей общественной деятельности, настороживший Екатерину, в итоге не только привел к разгрому новиковского кружка и заключению самого просветителя в Шлиссельбург, но и подтолкнул правительство в 1786 году к осуществлению — с целью перехватить инициативу у общества — долго откладывавшейся школьной реформы.

Издания Новикова еще за несколько лет до его ареста вызывали опасения в Петербурге, «не скрывается ли в них умствований, не сходных с простыми и чистыми правилами веры нашей православной и гражданской должности»; от московских светских и духовных властей требовалось, чтобы «всякое суеверие, развращение и соблазн терпимы не были, чтоб для учения присвоены были книги, в других училищах употребляемые, преимущественно же изданные и впредь издаваемые от комиссии об установлении народных училищ».

Попытки установить контакт с наследником Павлом переполнили чашу терпения императрицы. В 1792 году она повелела начать расследование по делу просветителя. «Князь Александр Александров-

вич! Реляции ваши мая от 5 и 6 чисел мы получили; что вы Новикова по повелению нашему не отдали под суд, весьма апробуем, видя из ваших реляций, что Новиков человек коварный и хитро старается скрыть порочные свои деяния, а сим самым наводит вам затруднения, отлучая вас от других порученных от нас вам дел, и сего ради повелеваем Новикова отослать в Слесельбургскую крепость», — писала она 10 мая московскому главнокомандующему Прозоровскому, приказав внимательно следить за арестантом — «остерегаться, чтоб он себя не повредил».

Вопросы, заданные Новикову на следствии, несли отпечаток представлений императрицы о масонстве (как он обогащался за счет обмана рядовых членов масонских лож; сколько золота было получено с помощью философского камня; насколько отступил он от православия; почему установил изменнические связи с Пруссией) и отражали ее глубокое убеждение в опасности масонской «секты» для общества: «Ведаю, что всякое заведение новой секты или раскола и проповедания оного есть вреден государству и запрещен правительством, то вы и должны открыть теперь, какой имели повод в побуждение посвятить пагубному себя упражнению и когда ты к тому приступил, при каких обстоятельствах также и кто вас в сию секту загнал?»

Новиков безуспешно уверял следователей: «Ежели бы я ведал, или хотя бы подозревал, в масонстве быть секте или какому-нибудь расколу, противному государственным узаконениям или клонящимся хотя малейше к возмущению и бунту, какого бы то ни было, противу священной особы императорской, или к нарушению народного спокойствия, или даже к каким-нибудь коварствам и обманам, то никогда бы я не вступил в оное, во-первых, по искреннему и сердечному моему благоговению к священной особе императорской, вкорененному в меня из детства от покойного родителя моего и которое до днесь пребывает в моем сердце и сделалось моею натурою <...> по тихости и чувствительности моего Нравственного характера из детства, что все знаю-

щие меня могут засвидетельствовать, что я в жизни моей ни с кем и никогда ни малейшей не имел ссоры, даже со служителями моими поступал так, что самом гневе никак не мог решиться наказывать». Он не признал себя виновным в том, «чтобы против правительства какое злое имел намерение». Обвинения же, как видно из вопросов, большей частью носили риторический характер. Поэтому Екатерина II, не передавая дело Новикова в Сенат, сама сочла его виновным по шести пунктам обвинения. Ее собственноручным указом от 1 августа 1792 года просветитель был приговорен к 15-летнему заключению в Шлиссельбургской крепости.

Как только молодой священник и преподаватель Тобольской семинарии Петр Словцов в 1793 году заявил в проповеди по случаю бракосочетания великого князя Александра Павловича (будущего Александра I), что «тишина народная есть иногда молчание принужденное <...>, если в руках одной части захвачены имущества, отличия и удовольствия, тогда как прочим оставлены труды, тяжесть законов или одни несчастья», так сразу был арестован и отправлен на следствие в Санкт-Петербург. Начальник Тайной экспедиции Шешковский пытался узнать: «...для чего он известную проповедь, которая правилам не только богословия, но и философии, противна, говорить в церкви осмелился, ибо она наполнена совершенно возмущением народа против правительства». Словцову были поставлены в вину также найденные во время обыска в его бумагах резкие слова об... Александре Македонском. Словцов защищался умело, и следствию не удалось найти достаточного состава преступления для рассмотрения его дела гражданским судом. Но и оставить безнаказанной дерзость молодого священника было нельзя; решили, что «сие произошло от слабости его смысла, однако ж не из злого намерения», после чего отправили его «на смирение» в Валаамский монастырь на Ладожском озере. Судьба Словцова сложилась удачнее, чем у Новикова. В 1795 году он был освобожден по ходатайству тобольского епископа Варлаама и при покровитель'

стве митрополита Санкт-Петербургского Гавриила. В дальнейшем он преподавал в Александро-Невской семинарии, где тогда работал учителем философии его старый друг М. М. Сперанский; затем стал чиновником по ведомству народного просвещения, создавал школы в Сибири и Поволжье, дослужился до генеральского чина и написал «Историческое обозрение Сибири», первый том которого вышел в свет в 1838 году.

Екатерина, как и Петр I, стремилась «совместить» европейское просвещение и цивилизацию с отечественным самодержавием и крепостным правом. Вводя в стране систему школьного образования, она следила за преподаванием такого идеологически важного предмета, как история. Поэтому иногда авторы учебников сразу стремились добиться высочайшего одобрения и простосердечно хвастались в предисловии, что удостоились его «с пожалованием <...> не малые цены золотой с брильянтами табакерки, полученной мной с достодолжным благоговением».

Не столь догадливых авторов поправляли иным путем. В 1779 году цензурной правке подвергся переводной учебник Г. Ахенваля, а в 1796 году Тайная экспедиция разбиралась с компиляцией М. Антоновского «Новейшее повествовательное описание всех четырех частей света» (СПб., 1795), содержавшей упоминания о придворной борьбе после смерти Петра I в 1725 году: «Большая часть народа желала иметь наследником Петра II, но сильнейшая сторона употребила к возведению на престол Екатерины, супруги Петра I»¹⁶⁷. Из этих книг были вычеркнуты все нежелательные сведения о дворцовых переворотах XVIII века.

Таким образом, «век золотой» для интеллигенции закончился уходом наиболее деятельной ее части в оппозицию правительству. Императрица, кстати, в «Наказе» осудила преследования за убеждения. Как писал из Сибири изгнанник уже следующего столетия, декабрист Михаил Лунин, «от людей отделаться можно, от их идей нельзя». Поэтому в XIX столетии

государство стало создавать самостоятельную и всеохватывающую систему цензурного надзора, которая только намечалась в Тайной канцелярии и экспедиции.

Престиж монархии

Начиная с XVII века политический сыск был призван охранять не только жизнь государя, но и его «имидж», подвергавшийся сомнению в различного рода «непристойных словах» и неуместных рассуждениях о государственных делах. В этой деликатной сфере петровские преобразования также стали определенным рубежом. Конечно, и в ту эпоху венценосец в глазах большинства подданных оставался носителем высшей справедливости, благоверным и «мягкосердечным» царем, единственной управой на всевозможных «сильных людей». И все же петровская «революция» невольно внесла в этот благостный облик определенные изменения. Место далекого и почти сказочного «государя царя» оказалось занято живым человеком — энергичным, безудержным, грозным, чье поведение весьма отличалось от традиционного представления о «царских делах».

Едва ли массу «подлых» подданных сильно волновало появление Сената, коллегий, мануфактур — всего того, что обычно характеризует петровское царствование на страницах учебников истории. Но нашим современникам трудно представить себе потрясение традиционно воспитанного человека, который, оказавшись в невском «парадизе», видел, как полупьяный благочестивый государь Петр Алексеевич в «песьем облике» (бритый), в немецком кафтане, с трубкой в зубах изъяснялся на жаргоне голландского портового кабака со столь же непотребно выглядевшими гостями в Летнем саду среди мраморных «голых девок» и соблазнительно одетых живых прелестниц.

Однако и после Петра ситуация принципиально не изменилась. На старинном троне московских ца-

рей стали появляться «дамские персоны», к тому же сомнительного происхождения и вероисповедания, что становилось предметом обсуждения «улицы». Власть пыталась усостить подданных обычными методами. При Екатерине I Верховный тайный совет грозил смертной казнью за «непристойные и противные разговоры против императорского величества»; четыре десятилетия спустя, в 1763 году, Екатерина II издала особый манифест, убеждавший народ «прилежать своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений» — столь же безуспешно, поскольку сам этот документ признавал: всегда найдутся «зловредные истолкователи», которые норовят рассуждать о делах, «совсем до них не принадлежащих»¹⁶⁸.

Выше уже говорилось о не очень уважительном отношении подданных к Екатерине I. Вторая жена Петра Великого начала восхождение на трон из крестьянской избы. Сохранилось восемь версий ее происхождения; по наиболее вероятной она являлась лифляндской уроженкой литовского происхождения Мартой Скавронской. Польский язык был родным для ее семьи, которую по указанию Петра разыскали, но держали далеко от двора во избежание огласки незавидного родства: брат царицы Фридрих был ямщиком, а сестра Христина с мужем — крепостными.

Коронация Екатерины в 1724 году стала воплощением нового принципа служения «регулярному» государству, согласно которому путь к чинам и почестям открывался не происхождением, а заслугами и «годностью». Вместе с лифляндской пленницей на историческую арену выходило целое поколение выдвиженцев. Реформы привели к стремительной европеизации этого слоя и «прививке» ему новых представлений, но порождали при этом «непристойные» рассуждения.

В 1752 году под караул в «комиссии в Калининском доме», куда помещали за преступления против нравственности, попал подлекарь-немец Яган Гинц (из-за жены Алены, не отличавшейся высокими моральными устоями, сбежавшей и от мужа, и от гроз-

ной комиссии). Тамошнему начальству он доложил что его сосед, шведский купец Иоганн Гофман, читал книгу о шведском короле Карле XII, в которой имелись «многие предосудные речи», в том числе утверждения, что жена Петра I и российская императрица Екатерина Алексеевна была ранее женой шведского драбанта, потом попала в плен к русским, а царь Пётр «изволил взять ее к себе и потом с нею изволил совокупитца законным браком». Полковник Иван Михельсон (отец будущего победителя Пугачева) в 1756 году имел неосторожность обратить внимание на нецарское происхождение императрицы Екатерины I — не со зла, а вычитав в «немецкой книге». Появление подобной информации тоже было результатом Петровских реформ, поэтому обоих немцев отпустили без наказания и даже без выговора¹⁶⁹.

Рассуждали о высочайших особах не только степенные немцы — те же темы заинтересовали в 1736 году недорослей из кронштадтской гарнизонной школы. Им как-то довелось увидеть в церкви племянницу императрицы Анны Иоанновны, юную принцессу Анну Леопольдовну, которая произвела на них впечатление, показала «хороша и налепа». Но 14-летний Филя Бобошин разъяснил товарищам, что этот лакомый кусочек не про них: «Есть во дворце из бояр лутче ее, и могут де на нее позаритца. Где ей, девице, утерпеть?»¹⁷⁰ Гренадер-семеновец Иван Мещеринов в 1744 году критически оценил достоинства невесты наследника престола Екатерины Алексеевны со своей солдатской точки зрения: «В нынешнее де время ее императорское высочество изволит жаловать денежным награждением придворных, тако ж и солдат многих», а как выйдет замуж — «то де ненадежно, чтоб своею милостью ково изволила жаловать»¹⁷¹. В менее изысканном обществе мужиков и мещан образ «земного бога» порой — особенно с досады, в тяжелую минуту — и подавно представал в самом обыкновенном варианте: государыня так же, как и вес, «серет» и «мочитца».

Некоторые подданные искренне стремились защитить высочайший образ от поношений. В 1729 году

секретарь Тобольской губернской канцелярии Козьма Баженов обиделся на местного дворянина, фискала и по совместительству иконописца Федора Буткеева за то, что тот явился в присутствие с «персо- --- Петра II, «написанной в дураческом платье». Политического преступления власти в деле не усмотрели, но за «неисправное мастерство» виновного все-таки выпороли¹⁷².

С другой стороны, новый — так сказать, «человеческий» — облик властителей в массовом сознании фольклоризировался, домысливался, «раскрашивался» в понятные «простоцам» цвета и приобретал черты, порой вовсе не «поносительные», но никак не совпадавшие с официальным образом. Так, Петр I спустя много лет после смерти представал уже не «антихристом», каковым воспринимался некоторыми подданными при жизни, а как сам он желал, простым и доступным государем, тянувшим нелегкую службу и понимавшим солдат. В 1743 году прапорщик Елецкого полка Илья Ахлестов был разжалован на полгода в солдаты: обидевшись, когда его назвали «солдатским сыном», он с гордостью указал: «государь де был салдат, и отец де мой был салдат же», и оба служили честно¹⁷⁵. Колодник Рязанской провинциальной канцелярии Калина Рыбкин в 1743 году рассказывал о бравом солдате, отказавшемся назвать пароль самой жене Петра I, царице Екатерине Алексеевне, и на ее вопрос «дипломатично» ответившем: «Ныне де лозон "Тур (выговорил то слово прямо) да манда"». Якобы царь за соблюдение устава служивого похвалил и «соизволил тому салдату сказать: "Испалать тебе салдат"»; а вот рассказчику Рыбкину за этот анекдот урезали язык и после порки кнутом отправили на сибирские заводы¹⁷⁴.

В 1744 году был бит кнутом «с вырезанием ноздрей» и сослан в Сибирь на вечное житье сержант Михаил Первов за сказку о совместных похождениях царя Петра и вора, который категорически отказался грабить царское добро да еще и разоблачил заговорщика - боярина, намеревавшегося царя отравить. в делах Тайной канцелярии зафиксированы еще не-

сколько вариантов этой сказки, которая, однако, была признана явно подрывной: «В Москве был вор Барма, и наш император, нарядясь в мужицкое платье, и ночью из дворца ходил того Барму искать. И как де он, государь, того Барму нашел, то де тогда спросил того Барму, что де он за человек, и тот Барма государю сказал, что он вор Барма; и государь стал того Барму звать красть из государевых палат денежную казну, и тот де Барма государя ударил в рожу и сказал скверно: "Для чего ты государеву казну подымаешь красть, лучше де пойдём боярина покрадем". И государь де с тем Бармою ходил, и боярина покрали, и государь покраденные пожитки все отдал Барме, и дал тому Барме с себя колпак, и велел ему на другой день с тем колпаком прийти в собор, и как де на другой день тот Барма в собор пришел, то де государь его Барму узнал и стал его Барму за то, что он не захотел государевой казны воровать, при себе держать в милости»¹⁷⁵.

Образ царя-плотника настолько запал в душу подьяческой жене, «чухонке» из Петербурга Дарье Михайловой, что она рассказывала квартирным постояльцам: «Такой видела я сон, <...> кабы де я с первым императором гребусь». Бабенка не скрывала незабываемых ощущений от виртуального контакта — скорее, наоборот; но от серьезного наказания ее спасла настоящая беременность — явно не от императора, поскольку дело «следовалось» в 1733 году. Ушаков принял решение, дабы «не учинилось имеющемуся во утробе ее младенцу повреждения», выпороть впечатлительную даму плетьюми позже, для чего с ее мужа была взята расписка с обязательством представить супругу в Тайную канцелярию после рождения ребенка¹⁷⁶.

Даже байка о намного более древних временах — эпохе Ивана Грозного — вызвала расследование. В 1747 году присланный в Московскую тайную контору из Казанской губернской канцелярии колодник Осип Галактионов сообщил, что другой сиделец, Григорий Семенов, в присутствии караульного солдата и еще двух арестантов поведал «сказку»: «Якобы

в старину вятчане трое человек ходили к царю Иоанну Васильевичу на поклон, и у одного де человека разулась нога, а другие де двое человек наступили на обору и запнулись, и будто бы при том по простоте своей вятчане избрали его государя царя Иоанна Васильевича и с царицею». Допрошенный Семенов чистосердечно признался в том, что «с простоты, без всякого умыслу» рассказал сокамерникам сказку. Тайная контора посчитала ее неприличной и приговорила Семенова к наказанию плетьюми¹⁷⁷.

Эпоха дворцовых переворотов рождала свои придворные «страшилки». Одну из них преобразователь Семен Сьянов поведал в 1747 году другому солдату, заглянув к нему «для сторгования человека»: «Есть во дворце страшилище: ходит человек в белом платье, которой ростом в полчетверта аршина, и ежели кто его увидит, то де тот человек тотчас умрет», — и добавил, что оттого якобы уже погибли семь офицеров и трое солдат¹⁷⁸. Приятель не понял дворцового юмора, и пришлось рассказчику оправдываться в Тайной канцелярии обычным «безмерным пьянством».

Еще одним видом «народной публицистики», проходившим по ведомству Тайной канцелярии, становились песни — своеобразное проявление массовых настроений. В 1752 году, в относительно «доброе» елизаветинское время, старый петровский солдат, а ныне пристав Казанской духовной консистории Трофим Спиридонов (сидевший под арестом в собственной конторе по делу о «блудодеянии» с новокрещенкой) должен был объяснять, зачем он пел про покойную императрицу Екатерину I: «Зверочик мой зверочик, полуночной мой зверочик, / Повадился зверочик во садочик к Катюше ходить». В свое оправдание он сказал: «Когда она еще в девицах имела, для того де ту песню и сложили»¹⁷⁹. В массовом сознании Екатерина, видимо, воспринималась как добрая хозяйка и жена, но не прирожденная царица. Старика простили — но только потому, что свидетель-пономарь прикинулся глухим, а доноситель-дьячок исполнил свой гражданский долг «непристойно» — не

сразу, как услышал фривольные куплеты про родительницу императрицы Елизаветы, а во время порки
В 1739 году жительница Шлиссельбурга Авдотья Львова угодила на дыбу за исполнение жалостливой песни о печальной молодости государыни Анны Иоанновны, по приказу Петра I выданной замуж курляндского герцога («не из злобы ли какой» пела?):

Не давай меня, дядюшка,
Царь государь Петр Алексеевич,
В чужую землю нехристианскую, бусурманскую.
Выдай меня, царь государь,
За своего генерала, князя, боярина.

Донес на певицу ее жилец — разбитной копиист Алексей Колотошин, ранее судимый за «плутовство и грабительство», но служивший в местной полиции. Тщетно бедная мещанка уверяла, что пела «с самой простоты», как во времена ее молодости «певали об оной малые ребята». От имени той самой Анны ее ожидало «нешадное» наказание кнутом с последующим вразумлением о пользе молчания¹⁸⁰. А солдат Ингерманландского полка Савва Пospelов пострадал за память о вокале самой Елизаветы Петровны: в 1741 году цесаревна, выйдя на крыльцо, пела: «Ох житье мое, житье бедное»; это воспоминание спустя два года было сочтено неуместным и оскорбительным для царствующей особы¹⁸¹.

Еще один анекдот из недр Тайной канцелярии демонстрирует, каковы были представления о власти и движущей силе истории у тех самых гвардейцев, которые совершали дворцовые перевороты. Рождественской ночью 1742 года капитан-поручик Преображенского полка Григорий Тимирязев, возвращавшийся по Петербургскому тракту из отпуска с молодым солдатом Иваном Насоновым, после ужина расчувствовался насчет судеб дворянства в новое царствование: «Жалуют де тех, которые не токмо во оной чин годились, но прежде бы де ко мне в холопы не годились. Возьми де это одно — Разумовской де был сукин сын, шкаляр местечка Казельца, ныне де какой великой человек. А все де это ни што иное делает, кроме того, как одна любовь». Бывалый гварде-

еще рассказал обо всех сердечных увлечениях «нынешней государыни» Елизаветы Петровны, начиная с "Аврамка арапа <...>, которого де крестил государь император Петр Великой. Другова, Онтон Мануиловича Девиера, третьяго де ездова, (а имени, отчества и прозвища ево не сказал); четвертова де Алексея Яковлевича Шубина; пятова де ныне любит Алексея Григорьевича Разумовского. Да эта де не довольно; я де знаю, что несколько и детей она родила, некоторых де и я знаю, который и поныне где обретаются» — Затем новобранцу была раскрыта вся новейшая история России с ее интимной стороны: «Да что де это, у нее и батюшка та был! Как де он еще не был женат на императрице Екатерине Алексеевне, то де был превеликой блудник, а когда де женился, то де, хотя к тому з женами блуд и не дерзал, однако ж де садомскому блуду был повинен <...>. Да и императрица де Екатерина Алексеевна — я де все знаю — вить де и она, правда де, хотя и любила своего супруга, однако ж де и друга любила, камергера Монса, которому де за оное при тех случаях и голова отсечена, а ея де за это государь очень бил. Да и императрица де Анна Иоанновна любила Бирона и за то его регентом устроила. Смотри де, что монархи делают, как де простому народу не делать чего, (а чего имянно, не выговорил). А когда де заарестовали принцессу с ея фамилиею, меня де в ту пору определили к ней для охранения. Обещали де мне неведомо што; в туже де пору ко мне приезжали Шуваловы и сулили де мне очень много, ан де вот и поныне ничево нет, да и впредь не будет — какой де кураж служить? Боже мой, ежели ж де принцесса с своим сыном по прежнему будет, то де, конечно, я бы был кавалер святого Андрея или, по крайней мере, святого Александра»¹⁸².

Карьера Тимирязева, начавшего службу рядовым с 1723 года, явно не задалась — за 20 лет он стал только капитан-поручиком; но можно было попытаться ее «устроить» — чем он хуже Бирона или Разумовского? Службу в охране свергнутой правительницы Анны Леопольдовны начальство не оценило, как обещало; но знакомство с «принцессой» могло при-

годиться: если помочь ей вернуть трон, светили и награды, и «кавалерия»... Донос не очень смутил капитана — он был уверен, что все гвардейские офицеры «могут об оном то же сказать, понеже они, обер-офицеры, завсегда бывают во дворце и о том обо всем сами известны». Молодому гвардейцу он рассказал не всё; от ревливой жены Тимирязева следствие узнало что подкараульная принцесса «к любви и воли его очень была склонна». Но не судьба была капитан-поручику сделать карьеру. Пока он вел «непристойные речи» об альковной истории российской монархии шустрый солдат уже сообразил, как поймать удачу, и донес. А к Тимирязеву фортуна опять повернулась спиной — ему выпали кнут и заточение в Верхнеколымском зимовье.

Теперь даже далекие от дворца люди с поразительным знанием дела могли обсуждать личную жизнь своей государыни. При Анне Иоанновне болтали про ее связь с Бироном; но ни этот немец, ни какой-либо другой любимец, кажется, не вызывали такой лютой ненависти, как пробившийся «из грязи в князи» славянин Алексей Разумовский — бывший певчий, добродушный сибарит и далеко не худший исполнитель роли фаворита при Елизавете Петровне. Чего только ему не приписывали — даже использование волшебства его матерью-казачкой: «Ведьма кривая, обворожила всемилостивейшую государыню» (по пьяному обвинению поручика Николая Крюковского). Арестант Муромской воеводской канцелярии Федор Бобков был уверен, что фаворит у самой благодетельницы велел «подпилить столбы» в спальне, чтобы ее «задавить»; «колодница» Аксинья Исаева «с сущей простоты» полагала, что Разумовский хотел «утратить» наследника престола¹⁸³.

В доносе 1747 года на капитан-поручика Василия Маркевича солдат Моисей Березинский описал, как господин офицер, валяясь на кровати и «зажмурив глаза», представлял, как «будем всех Разумовских бить», а он сам будет пороть кнутом «графа молодого Кирила Григорьевича <...> за его излишнюю спесь и гордость». Елизавета лично рассматривала такие до

носы, касавшиеся ее «милого друга». Офицер «запираться» не стал, признавшись, что всё так и было, «по-неже редко случалось, чтоб когда он был трезв»; для окончательного отрезвления от опасных мыслей он был пострижен в монахи на Соловках¹⁸⁴. Но и степенный подпрапорщик Преображенского полка Иван Полозов в 1755 году был отправлен в Серпуховской Владычный монастырь за высказанное недовольство, что «отставлен девкою, и оной бы девке не надлежало владеть армиею»¹⁸⁵.

Похоже, к середине века в столично-военной среде исчезает разница в положении «земного бога» и «рабов» — императрица в глазах солдат и городской черни становится едва ли не «своей в доску». Рядовой лейб-компанец Игнатий Меренков мог по-дружески позавидовать приятелю, гренадеру Петру Лахову. тот «с ея императорским величеством живет блудно» — он чем хуже?¹⁸⁶ «Каких де от милостивой государыни, нашей сестры бляди, милостных указов ждать?» — рассуждала женка Арина Леонтьева с подругами не слишком строгих нравов в сибирском Кузнецке¹⁸⁷. Про Елизавету Петровну «с самой сущей простоты» была сложена развеселая песня: «Государыню холоп / Подымя ногу гребет», — которую исполнял в тюрьме при Сибирской губернской канцелярии, «сидя на нарах», 16-летний молодец Ваня Носков, взятый по подходящему делу о «растлении» крестьянской девицы Степаниды Русановой¹⁸⁸.

В пограничном сибирском Селенгинске солдат Вася Бодуруев в декабре 1760 года посетовал сослуживцам, что безуспешно пытался развлечься: «Он, Бодуруев, ходил севодни за блядней, да не удалось». Приятели утешали служивого: еще не всё потеряно, и «из богатых домов делают блуд, да еще де тебя награждают». Присутствовавший при этом крестьянин Лука Острецов уверял: «Не только де то делают в богатых домах, но и великая государыня без того не живет», — все эти «разговоры непотребные» происходили среди бела дня в купеческой лавке¹⁸⁹.

Подпоручик И. Сечихин был сослан в новгородский Иверский монастырь за публичное — на папер-

ти кремлевского Благовещенского собора — осуждение личной жизни Елизаветы: «Какая она государыня — она курва, блятка, с Разумовским живет». А в питерской богадельне актуальную тему (как живет государыня с Разумовским) обсуждала одна из самых пожилых «клиенток» Тайной канцелярии — 102-летняя Марина Федорова. Даже на границе «польские мужики» Мартын Заборовский с товарищами могли себе позволить пожелать: «Кабы де ваша государыня была здесь, так бы де мы готовы с нею спать», — за что получили от российских служивых «в рожу»¹⁹⁰.

Но судьба, с точки зрения Тимирязева и других неудачников, почему-то всегда улыбалась недостойным. Мнение значительной части дворянского общества выразил в подпитии «унтер-экипажмейстер» Александр Ляпунов: «Всемиловейшая де государыня живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским; она де блядь и российской престол приняла и клялася пред Богом, чтоб ей поступать в правде. А ныне де возлюбила дьячков и жаловала де их в лейб-компанию в порутчики и в капитаны, а нас де дворян не возлюбила и с нами де совету не предложила. И Алексея де Григорьевича надлежит повесить, а государыню в ссылку сослать»¹⁹¹. Схваченному болтуну не помогли попытки оправдаться «беспамятством», «пьянством» и «ипохондрией». Правда, Елизавета не послушала Шувалова, предлагавшего для виновного кнут с рваньем ноздрей и Сибирь, а отправила заблудшего в дальний монастырь — сначала в Успенский Трифонов в Вятке, а затем в Кирилло-Белозерский, где он скончался в 1760 году. По иронии судьбы оставшаяся в имении жена придворного моралиста родила в 1754 году дочку в «блудном грехе» с дворовым человеком Алексеем Кузнецовым, о чем также было доложено в Тайную канцелярию.

Порой в глазах друзей и соседей людьми посвященными хотели предстать даже те, кто не имел никакого отношения к придворным тайнам и интригам. Уж очень, видимо, простому солдату Невского полка Лаврентию Зайцеву хотелось похвастаться: «Я де был в гвардии и стаивал в государеве дворце и

знаю все тайности»; — но попав в 1740 году в Тайную канцелярию, он признался, что в гвардии никогда не служил и тайн никаких не ведаёт, а с чего он бахвался «того де и сам он, Лаврентей, не знает»¹⁹².

Болтовня про интимную жизнь «всемиловитвейшей государыни» могла быть не такой уж безобидной. Уже упомянутый иеродьякон Мартирий (который одобрял наследника Петра Федоровича) рассуждал: «у милостивой государыни Елисавет Петровны есть трое детей, которые де живут в Царском селе. Вот де как кому пострадать за Христа, так де тут государыню-та в этом и обличат, и будет де тот мученик»; — то есть предприимчивый и, по мнению Тайной канцелярии, «злом наполненный» монах рассматривал несомненное, с его точки зрения, наличие незаконных детей императрицы в качестве удобного повода для ее всенародного «обличения» с последующей казнью нового мученика.

Но преступлением могло быть сочтено даже вольное употребление монаршего имени в ситуации, где оно призвано было охранять закон. В апреле 1759 года тамбовский посадский и служащий у заводчика Якова Гарденина Никита Самгин потребовал от хозяина, чтобы тот поступал с ним «как государственные права повелевают». Хозяин, придерживавшийся иного мнения, приказал Самгина раздеть и хорошенько высечь. Выпоротый приказчик укорил его: «Ты всемиловитвой государыне не товарищ», — и был привлечен к ответственности, надо полагать, за сравнение государыни с мужиком-заводчиком¹⁹³.

В 1737 году петербургский воевода Федосей Мануков имел неосторожность, не приняв очередного сутяжного челобитья отставного поручика Николая Дябринского, бросить бумагу на пол — и тут же был обвинен просителем в неуважении к «высокому ее императорского величества титулу». Воеводе пришлось долго доказывать, что злополучную бумагу он всего лишь «тихо подвинул», а она сама упала¹⁹⁴.

Перечислять подобные смешные и горькие казусы можно до бесконечности; их было так много в документах Тайной канцелярии, что даже ее чиновни-

ки стали отдельно группировать дела «о лицах, сужденных за бранные выражения против титула», за оскорбления указов, учреждений, монет — вплоть до обвинений в «непитии здоровья» высочайшего имени. Состоят эти дела из типовых ситуаций, когда в раздражении — а бывало, и с радости — неприличное слово срывалось с уст очередного неудачника в неподходящий момент, соседствуя с упоминанием», царствующей особы. «Мать де вашу прогребу и с государынею!» — ругнулся киевский «моляр» Захарий Самойлов, когда вдребезги пьяный гарнизонный солдат Лукьян Горбачев ввалился к нему в сарай и стал крушить имущество, а на попытки утихомирить отвечал, что он есть слуга государыни.

Дела заводились по поводу «непристойного» (в понимании доносчика) упоминания императорского портрета, указа, «артикула», присяги, паспорта, «зеркала» на судейском столе (рамки для законов, определявших деятельность данного учреждения), самих судей (и любых чиновников), военного начальства, своего полка или роты, рекрутского набора, опостылевшей военной службы и невкусных казенных сухарей. 14-летний пьяненький дворовый Санька Семенов оказался под следствием за то, что неуместно пошутил: «Государыня де дура, для чего де баб в солдаты не берет?»

Некоторым персонажам можно даже посочувствовать — например, кабацкому целовальнику Ивану Казенных из затерянного якутского зимовья. Коротким сибирским летом 1755 года на берегу полноводной реки готовился к отправке на Большую землю государев пушной ясак. Вероятно, не вполне трезвый целовальник, расчувствовавшись, вышел на пристань и с воплем: «Я де от такой радости, что де отправляется ее императорского величества ясашная казна, стану стрелять!» — начал салютовать из ружья. Солдат Енисейского полка Вяткин попросил Ивана пальнуть еще раз «для здоровья ее императорского величества» целовальник, обнаружив, что зарядов не осталось, досады брякнул: «Тур де (выговорил то слово скверно) ей в горло; я де весь порох растрелил!» Чтобы замять дело, Иван и в ноги кланялся задиристому Вят-

кину, и 6 рублей предлагал, но служивый донес. Однако справедливость восторжествовала: свидетели (все между прочим, ссыльнокаторжные) «говорили розно», а солдат и сам оказался хорош — был уличен в продаже соседям-китайцам двух пудов казенной муки за что его стали «гонять спицрутен»¹⁹⁵. В отношении же целовальника было решено «то дело по первому пункту уничтожить». Должно быть, еще не раз помянул Иван Казенных милостивую государыню, подбирая нематерные выражения...

На Илью-пророка в 1740 году к мужику Федору Уткину из деревни Гаевой Исетской провинции в деревенском кабаке подсел поп Дмитрий Барановский. Затем празднование продолжалось в доме Уткина, после чего гость сочинил письменный — как полагаются, по пунктам — донос на хозяина: «Был разговор о кабаках и о питьях, и говорил оной Уткин, кто де их учредил, и поносил ее императорское величество непристойными словами и бранил матерно». На следствии же выяснилось, что сам поп-бражник спровоцировал подгулявшего мужика, на резонный вопрос: «Зачем ты, поп, в кабак ходишь?» — дав ответ: «Зачем мне в кабак не ходить, понеже оной — дом ее императорского величества и твоего дому лутче!» Обидевшийся Уткин послал невежливого гостя: «Мать де твою и з домом ее величества!» Мужик, конечно, провинился, но и батюшка-доносчик согрешил: посещал места, для духовной особы непристойные, да еще и уподобил «дом ее величества» кабаку. Разгульного попа выпороли кнутом и отправили в монастырь «под смирение», а его оппонент даже полагавшихся ему плетей не отведаль, поскольку попал под амнистию по случаю кончины императрицы¹⁹⁶.

Можно посочувствовать жене уржумского воеводы

Настасье Воиновой: то ли петровские преобразования породили у ее супруга своеобразное вольнодумство, то ли без связи с ними случились у него проблемы с головой, но только стал он в 1756 году обучать своих детей грамоте уж совсем «вольтерьянским» образом — писать «матерщину по первому пункту», то есть в адрес самой всемилостивейшей го-

сударыни, о чем его «половина» донесла. Кто был прав, власти выяснить не успели — оба супруга скончались под следствием¹⁹⁷.

После прихода к власти Екатерины II отношение к свергнутому Петру III постепенно менялось. Первоначальные отзывы о нем были неблагоприятны[^], крестьянка Меланья Арефьева считала его «некрешеным»; московский дьячок Александр Петров — нарушившим «закон»¹⁹⁸. Сторожа собора Василия Блаженного Кузьма и Иван Васильевы верили, что Екатерина «извела» своего мужа, но находили для нее оправдания: «Ибо де был он веры формазонской, и по той де формазонской вере написан был патрет ево, которой всемилостивейшая государыня приказала прострелить, отчего он и скончался»¹⁹⁹. В следующем году Преображенский солдат Роман Бажулин раздобыл в Пскове и распространял по Москве стихотворную «пиесу» от лица Петра Федоровича:

Испортили во мне плуты Петрову кровь,
А девка бабья разжгла во мне крайнюю любовь.
Вы буте прокляты отныне во веки фармазоны,
Супругу я отверг невинну, непорочну, а жил с побочною.

Далее персонаж каялся в том, что «обидел духовных персон», «сребро и золото увести домой старался», принял «мартынов закон» и «шатался» с любовницей, желавшей умертвить наследника; в заключение же просил его простить и «даровать живот»²⁰⁰.

Это сочинение перекликалось с другой ходившей «между простым народом в употреблении» в 1764 году песней, где уже Екатерина горько жаловалась на «мужа законнова»:

Что гуляет мой сердечной друг
Со любимой своей фрейлиной,
С Лизаветою Воронцовою <...>.
Что хотят они меня срубить, сгубить²⁰¹.

Но уже на похоронах императора секретарь французского посольства Беранже отметил «грустное выражение на лицах» и предположил: «Ненависть нации к Петру III, кажется, сменяется жалостью». Следственные дела Тайной экспедиции как

будто подтверждают изменение общественного мнения, перенесение на свергнутого императора образа доброго царя. В оценках же его супруги можно наблюдать традиционное отношение к императрице-женщине: сомнительных достоинств «баба» ничем «народ не обрадовала», служивых не жалует, «а как на что другое — у нее больше денег идет»; наконец апогеем прозвучало мнение крестьянина Дениса Семенова: «Как наша государыня села на царство, так и погоды не стало»²⁰².

Массовыми были всевозможные искажения и «прописки» в официальных бумагах, собранные в несколько томов дел «о сужденных в Тайной канцелярии за описки в высочайшем титуле». Речь шла даже не о полном титуле (с указанием всех подвластных территорий), а о стандартных сокращенных формулах, которые непременно употреблялись практически во всех казенных бумагах; но и здесь малограмотные чиновники и обыватели ухитрялись делать ошибки, приводившие их в застенки. Например, мастер «у чистки боровицких и ладожских порогов» Семен Сорока в марте 1731 года в доношении Сенату вместо «благородная и вечно достойная памяти Петр Первый» написавший «Перт Первый», потом долго оправдывался, что сделал ошибку «простотой и недосмотрением, а ни с какого умысла». В аннинские времена за такие вещи наказывали строго — «в страх другим» выпороли Сороку плетьюми²⁰³. В дальнейшем нравы смягчились — в 1742 году указ Елизаветы Петровны повелел виновных в неумышленных описках «впредь более не следовать и в Тайную канцелярию не отсылать», а сами ошибки сразу же «переправливать» и внимательно смотреть, чтобы «в титулах ее императорского величества отнюдь описки не было»²⁰⁴.

Прожектеры и правдолюбцы

В Тайную канцелярию попадали различные предложения и проекты по части внутренней политики; их авторы полагали, что охрана государственной

безопасности включает в себя более широкие задачи — или надеялись, что таким путем их предложения скорее дойдут до адресата и будут эффективнее воплощены в жизнь.

Восемнадцатого июля 1733 года явившийся в «летний дом» Анны Иоанновны в Петергофе сенатский секретарь Григорий Баскаков потребовал вручить бу маги ее величеству. Чиновника задержали и даже сочли «в уме повредившимся» — тем более, по отзывам сослуживцев, он «весьма пил». В адресованном императрице сочинении автор сокрушался об «умножении различных противных Богу вер» и для их искоренения призывал «идти с войною в Царьград». Но далее речь шла уже о конкретных непорядках: «несходстве» финансовых документов, «неправом вершении дел» и «страждущей юстиции». Секретарь предлагал приучать молодых дворян к «доброму подьяческому труду», для чего следовало завести при коллегиях 60 человек «юнкоров» под началом опытного приказного, который учил бы шляхтичей канцелярским премудростям на разборе конкретных дел²⁰⁵. После рассмотрения дела в Кабинете секретарь был освобожден без наказания — планы воевать «Царьград» и самим министрам были не чужды.

В 1751 году остепенившийся архивариус Мануфактур-коллегии Андрей Лякин (тот самый, который когда-то за пьянство на рабочем месте попал к Ушакову) осмелился подать в Тайную канцелярию свой проект «О избавлении российского народа от мучения и разорения в питейном сборе». Опытный чиновник с 40-летним стажем сожалел, что нельзя «во все пьянственное питье яко государственной вред искоренить», так как народ к нему «заобыклый» и «по воздуху природный и склонный». Однако он полагал, что корчемство и злоупотребления откупщиков можно пресечь отказом от привилегий и переходов к свободному винокурению с уплатой полагающихся налогов по примеру Украины, ибо «где запрещение — там больше преступления». Правда, автор здраво оценивал свои возможности, а также реакцию «многовотчинных господ» на перспективу огра-

ничения их доходов и в случае высочайшего неудовольствия был готов постричься в монахи²⁰⁶. Следы этого проекта теряются в Сенате, куда дело было переслано из Тайной канцелярии.

Во все времена не переводились на Руси правдолюбцы.

Рассказ о приключениях, проектах и смерти неистового «распопы» Саввы Дугина ждет читателя в следующей главе нашего повествования. Спустя три десятка лет, в марте 1761 года, купец из Нежина Михаил Пясковский, бросив дела, отправился в столицу и явился прямо в Тайную канцелярию, где объявил, что не может молчать — «Бог положил ему в сердце» лично посоветовать императрице, чтобы она «изволила смотреть за судьями и судами, что де ныне судьи суды производят неправедно»²⁰⁷. Неизвестно, насколько от этого призыва улучшилось качество российского правосудия, но к самому автору оно оказалось милостивым: Пясковского не только «свободили», но даже не выпороли.

Другой представитель торгового сословия — устюжский купец Степан Бабкин — оказался не столь удачлив: в 1763—1767 годах он безуспешно пытался попасть на аудиенцию к Екатерине II, подал несколько многословных сочинений, в коих подробнейшим образом рассказывал о тонкостях таможенного дела и призывал прислушаться к его советам на предмет организации работы таможен, чеканки медной монеты и др. Однако императрица и ее советники не нашли в поданных проектах никакой «важности», за исключением желания их автора возглавить Кяхтинскую таможню на границе с Китаем. Раздосадованная Екатерина назвала Бабкина «вралем и дерзким человеком» и повелела ему жить в родном Устюге без выезда. Даже когда в 1772 году прожектер взмолился о выдаче ему паспорта для поездок по торговым делам, «кроме резиденции», Екатерина ему отказала; тогда упорный купец стал посылать свои проекты наследнику Павлу Петровичу, обещая в случае их реализации добавочный казенный доход в 10 миллионов рублей. Это очень раздосадовало государыню и она приказала известить «вралю», что в

случае повторения подобных попыток его ждет сибирская каторга²⁰⁸.

В случае же отставного чиновника Гаврилы Попова власти не обошлись одними угрозами. 73-летний ветеран приказной службы в 1792 году осмелился подать в Сенат, Синод и лично высшим сановникам империи, включая канцлера А. А. Безбородко, дерзкие письма, в которых призывал освободить российских «землепашцев» от крепостного права, не то они (что крайне нежелательно) под влиянием французской «заразы» могут добыть свободу сами. Степень воздействия французских революционеров на российских крестьян чиновник явно преувеличивал, но за неуместные размышления был отправлен в Спасо-Евфимиев Суздальский монастырь и только в 1797 году выдан на поруки родственникам²⁰⁹.

Дела духовные

В первые десятилетия существования Тайной канцелярии ее частыми «клиентами» были старообрядцы, не желавшие принять петровские новшества, - иногда их присылали целыми партиями из Кабинета или от московских властей, обнаруживших очередное нелегальное «богомолье». Ушаков был вынужден, помимо руководства расследованием их «непристойных слов» и прочих «противностей», заботиться еще об идейном «перевоспитании» непокорных и докладывал по инстанции, сколько из них «обратились» к истинной вере, а кто продолжал упорствовать²¹⁰. В дальнейшем острота противостояния «раскольщиков» и государства несколько ослабла. Но по-прежнему самые непримиримые сторонники «старой веры» отправлялись на исправление в Соловки, Александро-Невскую лавру и другие предназначенные для этого обители.

Однако иногда трудно провести грань между обычными староверами и теми «клиентами» Тайной канцелярии, которые сочетали приверженность старине с публичными действиями и экзальтацией

не самого благочестивого толка. «6-го в забвение пришел; в сей день чудо велико было, никого ко мне из людей не пропустили; 7-го в забвение пришел в полдень. 13-го меланхолия. 18-го из полка. В лице переменялся и разулся в понедельник в доме. Октябрь. 1-го числа. Покров. Зело наказан падучей болезнью <...>, большой палец стал складывать с указательным и средним <...>. 15 октября явление было на небеси зело дивно и несказанно, намерение было мясо есть» — это выдержки из дневника капитана петровской армии Василия Левина. Тяжкая служба, «падучая болезнь», явления «чудес» в острастку за отказ от постной диеты и крещение тремя перстами — всё это привело боевого офицера в монастырь.

Но регламентированная монашеская жизнь пришла к иноку Варлааму не по нраву; во время припадков он кричал: «Ныне последнее время... пойду на муку и замучусь». 19 марта 1722 года на базаре в Пензе он выступил с проповедью: «Послушайте, христиане, послушайте! Много лет я служил в армии у генерал-майора Гаврилы Семеновича Кропотова в команде... Меня зовут Левин... Жил я в Петербурге, там монахи и всякие люди в посты едят мясо и меня есть заставляли. А в Москву приехал царь Петр Алексеевич... Он не царь Петр Алексеевич, а антихрист... антихрист... а в Москве все мясо есть будут в сырную неделю и в великий пост, и весь народ мужеска и женска пола будет он печатать, а у помещиков всякой хлеб описывать, и помещикам будут давать хлеба самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые будут запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут... Бойтесь этих печатей, православные!» Народ в страхе разбежался с базарной площади; нашелся только один доноситель Федор Каменщик, за исполнение гражданского долга отмеченный «премией» самим Петром I.

Схваченный Левин на допросах оговорил еще полтора десятка людей, якобы согласных с его убеждениями, в том числе и местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, что объяснялось

его желанием увеличить количество пострадавших за веру: «Чает он, что и архиерей рязанский будет наш, станет де одесную Бога, авось де Бог положит в сердце его желание, если похочет он пострадать. <...> На брата своего и на родственников показал для того, что они, может быть, пожелают с ним мучиться, ц I они де будут с ним в царстве небесном». После недолгого раскаяния монах вновь стал витийствовать; «...ныне де он его императорское величество злыми словами порицает по-прежнему и новую веру оуждает». Он сам отрезал себе путь к прощению, заявив, что, будучи отпущен в монастырь, он стал бы «во всех градах и на путях кричать и порицать его императорское величество злыми словами и новую христианскую веру оуждать, дабы народ ужасался»²¹¹. В июле 1722 года Левин был казнен в Москве, его тело сожжено, а голова в банке со спиртом отправлена для публичного выставления в Пензу, где казнили четырех его единомышленников. Синод даже предложил «опустошить всеконечно» монастырь, в котором «гнезвился» преступник, но от этой чрезвычайной меры отказалась уже Тайная канцелярия.

Для крутого петровского царствования с его «культурной революцией» такая ожесточенность противостояния была, пожалуй, типичной. Постепенно она смягчалась, и среди подследственных появились иные фигуры. 22 мая 1752 года солдат Белгородского гарнизонного полка Иван Аникиев, находясь в команде «у сыску воров и разбойников» в Рязани, исповедался священнику Благовещенской церкви Дмитрию Остафьеву, после чего батюшка, по «силе» синодских указов, сразу бросился доносить. Солдат был озабочен тем, что «много в России расколу умножилось от латинщиков и от иноземцов, которое вмешали святое Писание в еретическое», завели на Руси новые календари, праздники, шахматы, «арефметику» и даже — прости Господи — заморских «обезьян». Традиционалист Аникиев считал, «что то весьма Богу противно, что де в божественном Писании календарей и арефметиков не упоминаетца, а от всемилостивейшей государыни о том ника-

кова запрещения нет». Казалось, объявился еще один борец за истину. Но попа испугал даже не упрек в адрес императрицы, а признание солдата на исповеди «что ему в мысль приходило, чтоб над Богородицею учинить грехопадение» (хорошо еще, что такое желание сам Аникиев «поставил в немалой себе грех»). На следствии солдат не «запирался» и страдать за веру не желал — потому и наказан был умеренно: поркой плетью «нешадно» и отправкой в Синодальную контору для исправления²¹².

В екатерининское время даже новообращенные раскольники антигосударственным буйством не отличались, стремясь действовать убеждением, в том числе и по отношению к верховной власти. 19 сентября 1788 года 26-летний столичный купец Григорий Васильев направился прямо во дворец, заявив пытавшимся задержать его часовым: «Покайтесь и веруйте по старым книгам и примите старую веру, а не то погибнете». После ареста он оказался сначала в полиции, где служители благочиния пытались воздействовать на него своими методами — «насильно сыпали ему в рот табак». Полицейское приобщение к благам цивилизации и увещевания митрополита Гавриила результата не принесли; тогда за купца-раскольника взялись в Тайной экспедиции. Васильев показал, что, будучи грамотным, пристрастился к духовной литературе, и от чтения книг и размышлений о спасении души «начала болеть у него голова и ходил он как шальной», и однажды «как будто зачел его кто толкать» отправиться во дворец просвещать императрицу. Приказчики единодушно подтвердили, что их хозяин — человек «доброй, но дерется без всякой причины», по ночам действительно читал книги и «читая ж, иногда дирал на себе волосы».

Сам Степан Иванович Шешковский наставлял раскольника на путь истинный «словами Священного Писания»; в течение трех дней объяснял, «сколь он дурно делает, что не хочет ходить в церковь». Одумавшийся было подследственный вдруг заявил, что желает «остаться» в старой вере. Уговоры пришлось чередовать с угрозами: Степан Иванович кротко про-

должал душеспасительные беседы (попутно, правда, пытаясь выяснить, кто купца «подучал»), а генерал-прокурор Вяземский объяснил упрямцу, как его «приударят в палки» в солдатах. Такой комбинированный метод воздействия принес результат: Васильев раскаялся и обещал регулярно посещать церковь. Императрица утвердила милостивый приговор: «от приключившейся ему от лишнего чтения книг задумчивости» отправить молодого человека на родину (он был крепостным одной из вотчин графа В. Г. Орлова) заниматься «хлебопашеством», а в дальнейшем ему из села никуда не отлучаться²¹³. Тайная экспедиция, в отличие от Тайной канцелярии, прекращала преследование, если раскольники после «увещевания» вновь «обращались к церкви», и освобождала их из-под стражи.

Наряду со старообрядцами службу политического сыска интересовали и «верные чада» церкви — если имели неосторожность писать или произносить нечто, выпадающее под известные «первые два пункта». Так, важным преступником был признан ростовский митрополит Арсений Мацеевич, осмелившийся протестовать против задуманной Екатериной II секуляризации церковных и монастырских земель. 9 февраля 1763 года, совершая с собором ростовского духовенства праздничное богослужение с анафематствованием еретиков и врагов церкви, он сделал дополнения в утвержденный текст: «Все насильствующие и обидящие святые Божий церкви и монастыри, отнимающие у них данная тем <...> имения <...> яко крайние врази Божий да будут прокляты». Кроме того, он отправил в Синод два послания, где указывал, что до Петра III все князья и цари признавали за церковь право собственности на вотчины, а реформа приведет к оскудению храмов и истреблению благочестия «не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних, благочестивыми и сынами церкви нарицающихся». Лично императрицу Арсений не задевал — напоминал только, что в свое время она в манифестах осуждала подобный замысел Петра III. Однако он был осужден и сослан, а позднее проходил по ведомству

Тайной экспедиции как важный политический преступник.

Наряду с архиереем под следствие могли угодить безвестные прихожане, осмелившиеся усомниться в правоте синодского указа 1722 года, «чтоб о святой неделе прихоцкому их попу ходить по крестьянским дворам с одним крестом, а с образами не ходить», противоречившего обычаю. В селе Салково приходской священник Иван «на той святой неделе в понедельник после обедни и молебного пения, собрався со крестьяны, взяв из церкви крест, пришел на монастырский двор и пел молебен, а при том были и они крестьяне, и, отпев молебен, пошли к тому попу в дом, и у него обедали, и пили вино, и напились пьяни, пошли з двора». Напиваться указ не возбранял; но когда процессия проходила мимо сына старосты Ильи Кирилова, тот, сидя «на улице на бревнах пьян, говорил: "Государь де помутил, не велел ходить с образами по дворам", и бранил ево государя матерны не однажды». В Преображенском приказе на допросе «с трех пыток» Кирилов повинился и попросил снисхождения, поскольку говорил те слова «спьяна и с сердца». Последовал обычный приговор — бить кнутом, вырезать ноздри и сослать на вечную каторгу²¹⁴.

Впрочем, к ответственности могли быть привлечены также представители других конфессий. В 1785 году симбирский и уфимский наместник генерал-лейтенант И. А. Игельстром доложил в Тайную экспедицию о двух татарских муллах, Джага-Фере и Абдрахиме, которые «возбуждали фанатизм в магометанах против русских»: один «сворачивал» правоверных «от настоящего магометанского закона», другой «внушал отвращение к российской нации и войску» и заставлял своих учеников стрелять из лука изображения российских солдат. За разжигание, говоря современным языком, межнациональной розни их повелено было судить на месте²¹⁵.

Собственно же дела церковные сыскное ведомство не интересовали. Даже когда прапорщик Василий Иванов (выезжий персидский «поручик», крестившийся на русской службе) в 1744 году прямо перед

образами заявил: «Тфу мне етот Бог» — и назвал христианскую веру «проклятой», его дело просто передли из Тайной канцелярии «следовать в духовной команде»²¹⁶. Однако в 1734 году ученый вологодский епископ Афанасий Кондоиди должен был оправдываться именно перед Тайной канцелярией, до которой дошло, что владыка разрешил обвенчать двух дворовых людей в Великий пост. Афанасий почти-тельно объяснил: в архиерейском доме он обнаружил двух «умиравших голодом» колодников, дворовых Степана Васильева и Авдотью Петрову, и спешно их повенчал, чтобы «не померли без совершенного покаяния, ибо они несколько времени между собою жили блудно и прижили младенца мужеска полу»²¹⁷.

Из доклада епископа, между прочим, следовало, что духовное ведомство по части содержания заключенных мало чем уступало светским «казаматам». Рядовое духовенство видело в службе Ушакова управу на грозных владык: обидевшийся на своего начальника за несправедливый, по его мнению, перевод в другой храм, дьякон Савва Никитин в 1744 году не только бранил епископа «по матерны», но и кричал, что «архиерея надобно взять в Тайную канцелярию»²¹⁸.

Служба политического сыска интересовалась также колдовством и прочими связями с потусторонними силами — опять-таки постольку, поскольку это касалось государственной безопасности, в первую очередь здоровья монарха и его семейства.

В 1719 году беглый рекрут Леон Федоров донес на курского помещика Антона Мозалевского, который «ворожит, шепчет и бобами разводит, угадывает верст за тысячею и болши, что делаетца, и знает про государя, когда будет или не будет удача на боях против неприятеля». Предсказателя не нашли, а потому доставили в Преображенский приказ всех курских Мозалевских, но так ничего и не обнаружили. В 1721 году подьячий Яхонтов и рассыльщик Ларионов обвинили дьяка Василия Васильева в том, что он знает заговоры, «как царя сделать смирным, как малого ребенка»; следствие установило, что дьяк лишь гадал

какова будет реакция царя на «ведомости о переписке крестьян», и интересовался излечением «от порчи» своей жены. Доносчиков отправили на каторгу, а дьяк был освобожден.

Подобные дела показывают, что в начале XVIII века и беспокойные подданные, и власти не подвергали еще сомнению возможность «заколдовать» царя, причем эта вера была свойственна не только «подлым» людям, но и более просвещенным верхам общества. В 1730 году дочь гвардейского майора, противника «верховников» Григория Юсупова Прасковья попала в Тайную канцелярию, а оттуда в ссылку по доносу родного брата Бориса за то, что собиралась «склонить к себе на милость через волшебство» новую императрицу Анну Иоанновну.

В 1756 году в галерее Зимнего дворца перед приходом императрицы Елизаветы Петровны рассыпал «волшебные порошки» сын генерал-фельдмаршала и статс-дамы, камергер Петр Васильевич Салтыков, желавший снискать расположение государыни, получить деньги на оплату его карточных долгов и разрешение отбыть в отпуск. При Елизавете, которая, по замечанию Екатерины II, «верила в чары и колдовство», к магическим заговорам относились серьезно. Несмотря на заслуги родителей виновного, его «колдовство» было признано тяжким государственным преступлением, и он был отправлен в ссылку в Соловецкий монастырь «до кончины живота». С восшествием на престол Петра III Салтыкова освободили — разрешили проживать в своем имении «под крепким караулом».

Однако новый переворот вновь заставил бывшего камергера обратиться к колдовству; вероятно, иных способов войти в милость к новой государыне Петр Васильевич себе не представлял даже после пребывания на Соловках. На этот раз на него донес приказчик Петр Черторыльский: «Салтыков чрез крепостную свою жонку Аграфену Варфоломееву еретичеством делает такой способ, чтоб он принят был в милость ее императорского величества». В то время, когда просвещенная императрица задумыва-

ла свои реформы, в селе Вязовом «762 году октября в первых числах <...> вышеписанная жонка Аграфена стояла на дворе вся нога, распустя волосы, а при ней лежали незнамо какия травы, а против ея на земле стояла в горшке вода, и стоя смотрела она на звезды и в воду и шептала <...>. А как де в том же октябре *месяце* оной жонки муж от Салтыкова послан был в Москву <...>, то спустя недели з две та ево жена, идучи помещичьим двором, на спрос ево, Черторылсково скоро ль муж ее из Москвы будет, сказала, что де он скоро будет из Москвы с указом о свободе помещика их ис-под караула, и она о том знает по своему волшебству, чрез которое де Салтыков принят будет в милость ее императорского величества, с коим де волшебством и муж ее в Москву от Салтыкова послан». Как видно, в данном случае представитель европеизированной элиты действовал с упорством закоснелого в суеверии простолюдина.

Будучи поклонницей идей просветителей, Екатерина повелела колдунью наказать — но исключительно «дабы она впредь несбыточным обманством простых людей не соблажняяла и нелепыми баснями в ужас не приводила». Неисправимому Салтыкову государыня приказала объявить, «чтоб он, чувствуя в преступлениях своих угрызения в совести, жил тихо и спокойно, прося Бога о прощении грехов своих, а не прибегал бы снову к таковым богопротивным и недействительным способам, каково безпутное той бабы волшебство; естли ж впредь какой и в чем-нибудь откроется на него донос, то, подвергнувшись он вновь нашему гневу, будет, конечно, отослан в монастырь в самый дальнейший край нашей империи». Тем не менее приговор, составленный в «духе Просвещения», не прекратил преследований за колдовство: бабе за «несбыточное обманство» все равно полагались кнут и ссылка, а барину — усиление охраны с «воинской командой». Но больше всех, надо полагать, был расстроен доносчик, тщившийся получить свободу и награду: императрица признала донос «праведным», однако решила приказчика «написать в салдаты, а буде негоден в салдаты, то со всею его

семьею и скарбом перевезть в Оренбург на поселение, снабдив на дорогу и на завод деньгами»²¹⁹.

Упрямый камергер был неодинок в приверженности к «волшебству» среди знати: при Елизавете в том же обвинялись князь Федор Горчаков, полковник Иван Бешенцев, жена действительного статского советника Прасковья Ергольская. При Екатерине II подобные дела в Тайной экспедиции уже не встречаются зато появляется больше лиц, произносивших «дерзкие и богохульные слова» и поносивших «матерно» веру, иконы, а заодно и монархию²²⁰.

Иные дела, начавшись, как колдовские, могли превратиться в политические. К примеру, майор Афанасий Протасьев, колотивший супругу Анисью за измену, обнаружил у нее заговорные «коренья» и соль, «чтобы муж любил и не бил». Однако начавшееся в 1737 году разбирательство было передано в Тайную канцелярию — майорша вспомнила, как ее муж критически отзывался о государственных способностях Анны Иоанновны («ее ли дело войну начинать») и результатах ее руководства страной («государство наше безглавое»), за что он и был казнен²²¹. За использование различных заговоров «следовались» в Тайной канцелярии лекарский ученик Иван Молодавкин, гвардейский солдат Петр Шестаков, армейский сержант Иван Рыкунов, дворовый Евдоким Калмыков, купец Аверкий Иванов, представители духовного звания — дьякон Федор Андреев, священники Маркар Иванов и Иван Осипов.

В декабре 1758 года солдат Кронштадтского гарнизона Семен Попов попал в Тайную экспедицию потому, что заявил на себя «слово и дело» и в качестве доказательства предъявил «богоотметное письмо»: "Аз, раб Божий, отрицаюся Бога сотворшаго и вся рукою ево создавшаго, испровергаю и предаюся тебе, моему владыце дьяволу, не токмо телом, но и з душею моею. Егда будет пришествие Христово, то имяноватися созданием ево не должен. Во уверение отверженной от христианства Симеон рукою моею подписался». Как пояснил сам солдат, цель у него была вполне прагматичная: «получить себе чрез дьявола

богатство и чрез богатство отбыть от военной службы». Автор этого образца риторического стиля оказался человеком образованным: семь лет учился в Нижегородской семинарии, потом штудировал богословие в Новоспасском монастыре, постригся в Троице-Сергиевой лавре и даже стал архимандритом Николаевского Стародубского монастыря. Но духовная карьера оказалась Попову не по нраву — за «невоздержное житие» он был расстрижен и передан в Военную коллегию. Неудовлетворенное честолюбие толкнуло 39-летнего солдата на сделку с дьяволом. Однако вторая сторона контракта его условий не выполнила — «дьявол к нему не прихаживал»; тогда Попов решил договор разорвать и «принести Господу Богу покаяние», передав «письмо» по начальству. За неправильное понимание «слова и дела» Попова выпороли плетью, — однако «перевоспитанием» заблудшего должно было заниматься духовное ведомство в лице протопопа собора Андрея Первозванного Алексея Васильева²²².

От дел духовных было не так далеко до скорбей человеческих, о *чем* говорит сборник документов Тайной канцелярии под названием «О лицах, сужденных за поступки и слова, которые делались и произносились в умопомешательстве». Сказывались же эти «непристойные» слова в адрес верховной власти. Дьякон из подмосковной Рузы Исая Кузьмин сильно перепугал родственников, провозгласив публично в мае 1753 года: «Елисавет, гребена мать!» По доносу брата он попал под следствие, а затем в заточение «под крепкий караул» в Иосифо-Волоколамском монастыре. Первая полковая дама — жена полковника фан Гевина, почтенная Марфа Ивановна, объявила всем офицерам: «Каналия де российская монархиня и много де она пред Богом погрешила <...>, и душа ее окаянная будет во аде». 50-летний крестьянин Иван Домогаров в 1757 году сумел вручить свою челобитную лично императрице, после чего побывал «в зимнем доме» ее величества, хотя и под караулом. Мужик обвинил коллежского асессора Ивана Манкеева в том, что он не только построил в городе Данкове

псарню на месте церкви, но и лично связал государя Петра II, посадил его на корабль и пустил плавать по Каспийскому морю²²³. Неуместное проявление "сумасбродства" приводило обычно к монастырскому заточению. Однако тех, кто объявлял за собой «слово и дело» «в горячке и повреждении ума», но без непристойных выражений, как прапорщик Петр Годунов (в 1755 году) или сержант гвардии Александр Полубояров (в 1756 году), могли отправить обратно к месту службы даже без «штрафа».

Порой российское «умопомешательство» носило отчетливо политический характер. Майор Сергей Владыкин в 1733 году написал императрице послание, в котором называл ее «теткой», а себя «Божией милостью Петром Третьим»; просил определить его майором гвардии и дать «полную мочь кому голову отсечь». Капрал Демид Семенов был менее требователен — отправил императрице Елизавете трогательное письмо: «Пожалуй, матушка моя, пришли ко мне денег 150 рублей с посланником моим. И тако обретаюсь сын твой Кронштатского гварнизонного полку 1 роты капрал Демит Семенов, земно кланяюсь. Генваря 28 1757 года. Или прикажи сама себе допустить», — немного было нужно «царевичу» для счастья! Более честолюбивый магазин-вахтер Адмиралтейства князь Дмитрий Мещерский поведал, что офицеры уговаривали его поближе познакомиться с принцессой Елизаветой: «Она таких хватов любит — так будешь Гришка Рострига». Отставной профос Дмитрий Попрыгаев в 1736 году в письме члену Верховного тайного совета князю Д. М. Голицыну обещал: «Великим монархом будеши!»²²⁴

Вдова флотского капитана 1-го ранга Ивана Корсакова в марте 1779 года лично явилась во дворец за Помощью, объявив остолбеневшему генерал-адъютанту я. А. Брюсу, что она — дочь императрицы Елизаветы. На допросе у генерал-прокурора дама показала, что якобы у своего отца, капитана Василия Рогозинского, лишь воспитывалась, будучи отдана ему камергером Петром Борисовичем Шереметевым; «настоящая же ее мать покойная государыня им-

ператрица Елисавет Петровна, а отец ее граф Алексей Григорьевич Разумовской». Покойная императрица будто бы в 1754 году «изволила объявить, что она подлинно ее дочь и графа Разумовского», о чем хорошо знает нынешняя государыня, при этом «объявлении» присутствовавшая. На престол 39-летняя вдова не претендовала, но слезно жаловалась на родственников, которые с недавнего времени начали ее преследовать, обокрали и даже похитили двух ее дочерей. Спешно проведенное расследование показало, что после внезапной смерти мужа в 1770 году «полковница» впала в «несносную печаль», ее поведение становилось всё более странным — она раздавала собственные вещи, а дочерей хотела зарезать, отчего их пришлось у матери забрать. В былые времена не миновать бы несчастной вечного заточения в монастыре «под крепким караулом»; но теперь бедную женщину высочайше велено было считать «поврежденной в уме»; состоявший при Тайной экспедиции поручик Яков Веденяпин отвез ее в Тверскую губернию под надзор родственников²²⁵.

Прочие чрезвычайные дела

Наконец, в ведение Тайной канцелярии и Тайной экспедиции поступали некоторые уголовные дела, напрямую не связанные с «первыми двумя пунктами». Внимание высшей власти начали привлекать случаи крестьянского неповиновения господам. Одним из первых прецедентов стало в 1729 году дело крепостных вотчины братьев Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных в Конобеевской волости Шацкого уезда. Мужики помнили, что сорока годами ранее их передали из дворцового ведомства дяде Петра I, боярину Льву Кирилловичу Нарышкину; теперь его дети приказали собирать с них столовые запасы и оброчные деньги «со излишеством <...> нагло и разорительно». Крестьяне всем миром просили Петра II их волость «описать от <...> господ Нарышкиных на свое императорское величество». Дело

рассмотрел Верховный тайный совет и повелел подателей челобитной «в Шацку бить кнутом без пощады». дело о наказании перешло в архив Тайной канцелярии".²²⁶

Впоследствии подобные дела также встречались в практике работы сыскного ведомства. Появились дерзкие подстрекатели крестьянских возмущений, одним из которых в 1785 году был на Харьковщине отставной «городовой секретарь» Влас Басевский. Мелкий украинский шляхтич стал квалифицированным «консультантом» для недовольных крестьян сел Злодеевка и Отроед: учил их составлять и подавать челобитные на своих помещиков. Попав под следствие сначала в уездный суд, а затем в Харьковскую уголовную палату, Басевский смело отстаивал свои права и однажды, недовольный тюремными харчами, заявил страже: «Все вы анафемы и ваша императрица анафема». Подобная дерзость вызвала длительную переписку с Петербургом; местные судьи просили для наглого секретаря наказания по полной программе — кнута, рваньи ноздрей, Сибири, но в столице почему-то медлили с крайними мерами (исход дела по найденным документам неясен)²²⁷.

Тайная экспедиция проводила следствие не только над пугачевцами, но и по делу о масштабных крестьянских волнениях в 12 губерниях в 1796—1797 годах, вызванных слухами об освобождении от крепостного права (крепостные впервые стали присягать новому императору Павлу, который к тому же вновь разрешил подавать жалобы на дворян). Крестьяне жаловались государю на «недопущение» их к присяге, «крайние обиды» от помещиков и требовали перевода в казенное ведомство. Однако здесь роль Политического сыска была пассивной — в Тайную Экспедицию от генерал-прокурора поступали лишь донесения местных властей и сами крестьянские прошения; никакими собственными силами для выявления «зачинщиков» и «усмирения» бунтовщиков пока не располагала. Крестьянские выступления подавлялись с помощью армейских частей. Чаще всего мужики сами «винулись», в иных других случаях де-

ло доходило до ружейной и пушечной стрельбы: на Орловщине полк под командой губернатора «превращал в пепел» мужицкие хаты, а в селе Брасове над могилой 34 убитых картечью крестьян была поставлена надпись: «Тут лежат преступники против Бога государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом, по закону Божию и государеву»²²⁸.

Двадцать девятого января 1797 года император издал указ, предписывавший всем помещичьим крестьянам «спокойно пребывать в своем звании и быть послушными помещикам своим в оброке и работах». Указ, со ссылкой на божественный закон, который «поучает повиноваться властям, из коих нет ни одной, которая бы не от Бога поставлена была», грозил непокорным строгим наказанием и должен был рассеять слухи о готовящемся освобождении крепостных.

Однако Тайная экспедиция, информированная о настроениях в народе и поведении своих «клиентов», в подобных ситуациях не всегда занимала однозначно карательную позицию. В 1790 году крестьяне горных заводов Урала обратились к императрице Екатерине II с просьбой не допустить, чтобы владельцы предприятий считали их своими крепостными. Дело в том, что на заводах, помимо приписных (государственных) и собственно «вотчинных» (крепостных) крестьян, работало значительное число людей с нечетко определенным статусом. Рабочих, купленных когда-то к «фабрикам», не разрешалось переводить на пашню, отдавать в рекруты вместо крепостных; они могли подавать челобитные в Берг- и Мануфактур-коллегии, которым были подсудны. Кроме того, имелись еще «вечноотданные по указам и численные равно с крепостными», прикрепленные указами к частным горным заводам казенные мастеровые, пришедшие издалека вольнонаемными посадские, беглые дворцовые, государственные, монастырские и помещичьи крестьяне. Их-то заводчики и хотели сделать «вотчинными». Крестьяне же молили «всемиловитейшую государыню» о справедливом суде и объясняли, что в их закрепощении «усмотрится понаровка правительств, упущение ва-

шего высочайшего интереса, незаконное и нас называние крепостными, а потом откроется и жадность заводчиков". Заводчане критиковали сенатский указ 1755 года, приравнявший «вечноотданных» к крепостным, за то, что Сенат «отступил от всей справедливости и иманных высочайших указов, не уважая ни интересов государственных в рассуждении податей (крепостные крестьяне, в отличие от казенных, не платили казне четырехгривенный оклад. — *И. К. Е. Н.*), ни правоты бессильных и без того уже изнуренных людей».

Екатерина обратилась за консультацией к Шешковскому, и тот в докладе фактически поддержал заводских мужиков, приводя аргумент, что крепостными «только могут назваться, на которых есть купчие или б было наследственное имение; оные ж крестьяне, хотя к заводам приписаны и <..> велено быть при заводах неотъемлемыми, однако ж сие не составляет того, чтоб они крепостными именовались». Он предлагал потребовать от владельцев документальные обоснования закрепощения каждого крестьянина. Старый «кнутобоец» настаивал на соблюдении права, тем более что хорошо знал, какое упорство проявляют в подобных конфликтах отчаянные и сплоченные «фабричные». Но Екатерина его либерализма не одобрила, повелев оставить жалобу без последствий — тоже по праву: челобитная не была подписана, а закон запрещал рассмотрение анонимок²²?

В екатерининские времена у непослушных крестьян впервые появились защитники из числа офицеров и чиновников, подобные капитану Углицкого полка Федору Богданову, обещавшему в 1777 году недовольным господскими «отягощениями» латышским землепашцам помощь в доставке жалобщиков и их прошений в Петербург и даже поддержку своих «приятелей» в судебном разбирательстве в Сенате. Лифляндские мужики уже имели печальный опыт такого рассмотрения в местном «гофгерихте, закончившегося заключением зачинщиков в рижской крепости и поркой остальных «у церков-

ного столба двадцатью парами прутьев». Теперь же крестьяне подготовились основательно и, помимо нескольких прошений, вручили Богданову специальную «песню» про милостивую императрицу «чтоб она пред вашими ушами и дражайшим лицом и пред престолом вашим возпета была». В «служебном» переводе Тайной экспедиции с немецкого она начиналась так:

Приближаясь к нашей державнейшей императрице,
Нашей всемилостивейшей матери отечества,
Упадаем мы к ея стопам.
Да сияет твоя корона, яко солнце,
А ненавистники твои, яко раздробленное древо,
Да повергнутся к твоим ногам.
Приидите — трепещите — и падите,
Целуя ноги пресветлейшей матери.

«Высоким слогом» была составлена «Песня заключенного крестьянина, сочиненная в утеснении, в страхе и в великой горести в 1777 году» от лица содержавшихся в рижской цитадели «бунтовщиков», которые красочно описывали собственные мучения и страдания близких — «женщины с малыми детьми плачут все и блеют по-овечьи».

Все эти бумаги Богданов собрал, но вывезти их и избранных крестьянами депутатов в Петербург не смог, поскольку на почтовой станции их арестовали. На следствии у генерал-губернатора Ю. Ю. Бруна капитан вначале пытался оправдаться тем, что имел с «бунтовщиками» дело только для того, «чтоб узнать их мысли», и сам же их «открыл» властям. Позже он признался, что принимал крестьян у себя на квартире, сожалел о их «злой судьбине», всячески «обнадеживал» и даже передавал заключенным бумагу для сочинения прошений, а также взял от мужиков 50 рублей на расходы в столице. 39-летний капитан из «вольных дворовых людей» сначала попал под военный суд, постановивший лишить его чинов и отправить в дальний гарнизон; затем он был доставлен из Риги в Петропавловскую крепость. Следователи Тайной экспедиции сумели выяснить то, что Богданов скрыл на суде: дворовым он был не

вольным, а крепостным, и за побеги от господ не раз бит плетью; во время военной службы был разжалован из сержантов в солдаты, а за ложный донос ранее уже был приговорен в Тайной экспедиции к тысяче «спицрутен». В итоге крестьянский «правозащитник» за совершенные преступления и «дурной и развращенный нрав» отправился на каторгу в Таганрогский острог²³⁰.

Во второй половине XVIII века появились более знакомые нашим современникам преступления. Головной болью правительства стала подделка первых бумажных денег в России — ассигнаций. Бумага, на которой их выпускали, не очень отличалась от обычной, печать была некачественной, а защита — примитивной; поэтому, как только выпуск ассигнаций стал массовым, в изобилии появились фальшивки. Одни были довольно примитивными — умельцы «исправляли» на подлинной купюре обозначенный номинал в 25 рублей на 75; канцелярист Николаев и сержант Шулепин в 1771 году переделали таким образом 90 ассигнаций, что заставило правительство с 1772 года прекратить выпуск 75-рублевых купюр. Порой фальшивки делались сметливыми мужичками, что называется, «на коленке» и быстро выявлялись — достаточно было сравнить их с «образцовыми». Другие мастера «чесноковым соком наводили прозрачность слов, обыкновенно долженствующих быть по краям ассигнаций», пропись по краям делали прозрачной «посредством сала» или «намазывали сливочным, семенным или деревянным маслом». Поскольку изображение водяного знака образуется в результате меньшей толщины бумаги при ее отливе, злоумышленники пытались «соскабливать слова и литеры кругом ассигнации и гербов по углам».

Другие банкноты изготавливались в массовом количестве на специальном оборудовании так, что отличить их от подлинных на базаре и «в торгу» было невозможно. В феврале 1772 года был арестован капитан Сергей Пушкин, ездивший за границу «для лечения»; в его багаже обнаружили литеры, «нумерья», «стемпель». Подельниками предприимчивого

капитана были его старший брат Михаил — советник Мануфактур-коллегии и Федор Сукин — ее вице-президент. С 1780 года ввоз и вывоз ассигнаций за границу был запрещен, поскольку оттуда поступало большое количество подделок разных номиналов. Француз Шпаниоле выписал из Голландии инструменты и штемпеля и организовал в Любеке «фабрику», печатавшую 25-рублевые российские ассигнации до ареста ее хозяина в 1776 году²³¹. Их выпуск был налажен и в России: в 1782 году такая типография действовала в Шкловском имении отставного фаворита Екатерины II графа Семена Зорича, ее руководители — авантюристы-далматинцы братья Аннибал и Марко Зановичи — были схвачены вместе с фальшивыми купюрами на 80 тысяч рублей²³². В 1778 году лакей князя Степана Барятинского утверждал, что фальшивые деньги делает и «в народ пускает» сам Г. А. Потемкин²³³.

Наряду с возглавлявшим крестьянское восстание Пугачевым в канцелярский застенок попали вожди национальных движений на окраинах империи. При Елизавете это был предводитель башкирского восстания 1755 года Батырша, а при Екатерине II — шейх Мансур, стоявший во главе одного из наиболее значительных антирусских выступлений на Северном Кавказе в последней четверти XVIII века. Молодой проповедник сумел — правда, на короткое время — объединить чеченские общины на основе законов шариата. «Из давнего времени народ наш и я сам следовали дурному обычаю убивать без всякого сожаления наших ближних и друг друга из нас самих, и вообще ничего иного не делать, кроме зла. Но вдруг осветился я размышлением о вреде жизни, мною провозжаемой, и я усмотрел, что оный совсем противен нашему святому закону. Я покался о грехах своих, умолял о том других, и ближайшие мои соседи повиновались моим советам. Сие приобрело мне название шейха; и с того времени почитали меня человеком чрезвычайным, который мог, отрешась от всех бытовых приманок, как то воровства и грабежа, единых добродетелей наших народов, которых я убеж-

дал их оставить и иметь в презрение таковое ремесло - объяснял сам Мансур (его настоящее имя — Ушурма) на допросе в Тайной экспедиции причины своей популярности (неизвестно, правда, являлся ли высокий стиль изложения достижением самого шейха — он по-русски не говорил, и для допроса пришлось отыскать в Иностранной коллегии переводчика). Действия русских войск против новоявленного пророка вызвали возмущение горцев, и летом 1785 года восстание охватило несколько чеченских «обществ». Повстанцы разгромили русский отряд, но походы на Кизляр были неудачными; провалились и попытки перенести борьбу на территорию Кабарды — на стороне русских выступили отряды осетин, ингушей, кабардинцев. Сам Мансур ушел за Кубань и искал покровительства у турок, владевших причерноморскими крепостями. Под его влиянием закубанские адыги в 1786 году напали на укрепления Моздокской линии, а затем — на реках Кубань и Ея. Осенью 1787 года отряды шейха были вновь разбиты, а сам он нашел убежище в турецкой крепости Анапе, при взятии которой в 1791 году был взят в плен.

На следствии Ушурма-Мансур пытался преуменьшить свою роль вождя восставших, заявляя, что до 1787 года никаких действий против русских не предпринимал, «всеми силами противился» планам совершить нападение на Кизляр, не привел вспомогательного войска из горских народов в помощь анапским пашам; главным же его желанием был хадж в Мекку. Шешковского содержание учения Мансура не интересовало — его больше волновали контакты шейха с турецким командованием и крымскими татарами. Клятвам на Коране ни Шешковский, ни императрица не поверили, тем более что Молодой чеченец покорностью не отличался и в крепости ударил ножом караульного солдата. После этого инцидента он был скованным переведен в Шлиссельбург, чьим узником оставался до смерти 15 апреля 1794 года²³⁴.

Наконец, в Тайной канцелярии рассматривались уголовные дела, которые почему-либо особенно

привлекли внимание монарха: в 1737 году это были расследования причин пожаров в Петербурге и действий банды разбойника Гаврилы Никонова в окрестностях столицы. Предметом разбирательства стал один из первых известных нам случаев рэкета: неграмотный, но деловой крестьянин Горицкого монастыря Иван Федоров подучил Преображенского солдата-отпускника Кузьму Моложенинова написать к матушке-игуменье Фекле несколько «угрозных писем» с целью «выманить у нее себе пропитание»²³⁵. При императрице Елизавете там рассматривалось дело о краже придворного столового серебра, а при Екатерине II — об увозе в 1776 году графом и генерал-майором Петром Апраксиным дочери бывшего гетмана Украины и генерал-фельдмаршала Кирилла Разумовского. За брак без согласия родителей жены лихой генерал был сперва заключен в крепость, а затем выслан в Казань.

Отставной губернский секретарь из семинаристов Иван Приморский, проживая в столице «несколько лет праздно, обращался в едином непрерывном пьянстве и развратах», пока в 1792 году не угодил в полицейскую часть. Выйдя из-под ареста через трое суток, Приморский отметил свое освобождение и перед гостиним двором «в пьяном образе сделал разные наглости», оскорбив при этом офицера полиции. Дебошира сослали на житье в городок Красный Холм Тверской губернии, но он и там не угомонился, укорив «хульными словами священнейшую монаршую особу». На этот раз дело дошло до Тайной экспедиции, и упомянутая «особа» распорядилась отправить буйного отставника для исправления в Спасо-Евфимиев монастырь — кажется, не напрасно. Выпущенный оттуда в 1797 году Приморский устроился на службу смотрителем в Санкт-Петербургскую больницу и радовал начальство «добрым поведением, благонравием и тихостью»²³⁶.

В Тайную экспедицию попал один из первых российских эмигрантов — дворовый князей Голицыных Николай Смирнов. Сын управителя княжес-

ких вотчин получил образование в Московском университете, владел французским и итальянским языками, обучался живописи и архитектуре. Открывшиеся юноше горизонты изящных искусств внушили ему «омерзение к рабству», а нежелание господ дать вольную толкнуло в 1785 году на побег с похищением 3 500 рублей из отцовской кассы и подделкой подорожной на имя итальянского купца. Однако по неопытности свободолюбец подчистую проигрался в карты в псковском трактире, после чего пребывал в «распутствах» в Петербурге, где его в конце концов схватили. Уголовная палата уже было приговорила «изменника» к смерти, но его спас князь Вяземский — не от сочувствия, а потому, что «в замешательстве» на допросе Смирнов показал, что после побега «бывал неоднократно во дворце ее императорского величества». Эти показания, будучи переданными императрице, вызвали ее интерес. Хотя признание и оказалось ложным, беглеца вместе с эшафота отправили в Tobольск солдатом²³⁷.

Впрочем, иногда, наоборот, дело, начинавшееся как политическое, оборачивалось незамысловатой уголовщиной. В апреле 1796 года обвиненный в краже отставной подпоручик Денис Жидовинов отказался беседовать с чинами московской полиции, но заявил лично обер-полицеймейстеру Козлову, что «бежать намерен был секретным образом во Францию, где, подговоря французов, со оными войти паки в Россию <...> и отечеству измену учинить и бунт». Во времена революционных войн и первых успехов молодого Наполеона Бонапарта такое признание звучало куда как серьезно. Преступника немедленно доставили на Лубянку в Тайную контору. Но Алексей Михайлович Чередин быстро выяснил, что молодой «якобинец» — на деле заурядный бездельник, мот и игрок. Мелкопоместный дворянин в армии служить не захотел или не смог; выйдя в отставку, стал приживалой у родственников, потихоньку крадя у них и у квартирных хозяев деньги. Назначенный по протекции квартальным поручиком в Вологде, он женился на «подлой девке», кото-

рая «впала в распутство», ушел в запой, влез в неплатные долги, окончившиеся судом и заключением в «рабочем доме». Оттуда Жидовинов сбежал и снова взялся за старое: явившись в Москву к родственнице-генеральше, украл у нее золотые часы, вырученные от их продажи деньги проиграл и с горя напился. В таком виде он был изловлен полицией и «от помраченного ума, зараженного пьянством», сочинил историю о бегстве²³⁸.

Глава 7
Будни Тайной розыскных дел канцелярии:
1732 год

Дела служебные

Выше мы говорили об истории создания тайного сыска, его аппарате и методах деятельности. Пришла пора познакомиться — насколько позволяют документы почти трехвековой давности — с рутинной работой сысского ведомства.

Мы выбрали для этого 1732 год. Именно тогда воскресшая по решению Анны Иоанновны Тайная канцелярия вновь перебралась в Петербург, где с тех пор размещалась до своего окончательного упразднения в 1801 году. Кроме того, к 1732 году был разгромлен ненавистный Анне клан Долгоруковых; завершился процесс кадровой перетряски после бурных событий января—февраля 1730 года — двух государственных переворотов, первый из которых сделал империю ограниченной монархией, второй восстановил «самодержавство». Новая императрица и ее советники перетасовали колоду «генералитета», многие члены которого поддержали проекты создания новых, выборных учреждений. Смена кадров прошла и на уровне высшей провинциальной администрации — губернаторов и вице-губернаторов. Последним всплеском опал начала 1730-х годов стало дело смоленского губернатора А. А. Черкасского, обвинявшегося в том, что якобы посылал письма в Голштинию внуку Петра, считая его законным наследником. Как

выяснилось впоследствии, навет был ложным; но перепуганный Черкасский под пыткой признал свою вину и был сослан на берег Охотского моря.

В это же время одержал победу в борьбе за власть новый фаворит — Эрнст Иоганн Бирон. Ему удалось удалить генерал-прокурора П. И. Ягужинского (отправлен послом в Берлин) и нейтрализовать притязания фельдмаршала Б. Х. Миниха (в 1733 году послан из столицы в армию). К этому времени фаворит перевез ко двору своих детей и определил главную цель — стать герцогом Курляндии. В 1732 году Бирон впервые проявил инициативу во внешней политике — начал встречаться с иностранными послами. Возникли новые придворные «обычаи» — например официальное празднование именин и дня рождения фаворита и его жены. Новое царствование после нескольких лет потрясений пребывало в состоянии стабильности — это была известная по всем учебникам пресловутая «бироновщина». Тем более интересно посмотреть, как она отразилась на деятельности Тайной канцелярии и какой вклад сама Тайная канцелярия внесла в создание зловещего имиджа этого времени.

В нашем распоряжении есть не только протоколы и указы, но и именные списки заключенных. Первая роспись как раз появилась в 1732 году, когда завершилось организационное оформление восстановленного органа политического сыска.

Во главе учреждения при Анне стоял его новый — точнее, старый — начальник Андрей Иванович Ушаков. Вчерашний опальный гвардеец, подписывавший ограничительные проекты в феврале 1730 года, стал необходимым и верным слугой. Власть, как и при Петре Великом, использовала массовое доноительство в качестве инструмента «обратной связи» с подданными. Указ от 10 апреля 1730 года, предписывавший доносить на ближнего «без всякого опасения и боязни того ж дни», провозглашал: «Лучше донесеньем ошибиться, нежели молчанием».

Однако воссозданная Тайная канцелярия так и не обрела в Москве постоянного места. Случалось (на-

пример, во время следствия над фельдмаршалом В. В. Долгоруковым в декабре 1731 года), что допросы производились «в прежней оружейной палате да на конюшенном дворе, где был застенок»¹. По старинке к Ушакову отправляли людей, заявивших «слово и дело» по исключенному из компетенции его ведомства «третьему пункту»; таких Тайная канцелярия передавала для следствия в соответствующие ведомства.

Вскоре императрица приняла решение о переезде в новую столицу — заброшенный было в царствование Петра II (1727—1730) Петербург. С собой Анна забрала Ушакова и часть его людей, которые временно стали именоваться «походной канцелярией розыскных дел». Работа не прерывалась: первый протокол был составлен 13 января 1732 года прямо в пути — «в присутствии в Новгороде». В Москве же остался секретарь Василий Казаринов с протоколистом, канцеляристом, двумя подканцеляристами, четырьмя копиистами, двумя сторожами и двумя «заплечными мастерами» — Максимом Окуневым и Матвеем Шелковниковым; туда же «на укрепление» оставшихся кадров был отправлен секретарь Сената Степан Патокин. По инерции Тайная канцелярия еще несколько месяцев именовалась в документах «походной», но с сентября 1732 года это определение больше не употреблялось.

По прибытии в Петербург Ушаков потребовал, «чтобы для правления в походной Тайной канцелярии секретных дел для содержания колодников в петербургской Петропавловской крепости отвести прежние покои, где имелась наперед Тайная канцелярия». Эти помещения оказались к тому времени уже занятыми... церковью; комендант крепости предоставил Ушакову другие «особливые покои, где имелась оптека», а «для содержания де колодников имеютца во оной крепости казармы». Отдельно в двух казармах у Кронверкских ворот хранился запечатанный архив прежней Тайной канцелярии 1718—1726 годов. В 1731 году Андрей Иванович приказал его вскрыть, и оказалось, что дела «явились в воде»;

пришлось двум гарнизонным офицерам переносить их в другое помещение, «пересушить при себе секретно» и вновь «запечатать»².

Судя по всему, вершители многих человеческих судеб были людьми богобоязненными — помещения канцелярии украшали иконами: в сенях хозяев и «клиентов» встречал лик святого Василия Великого в «секретарской» висел «образ распятия Господня», в «подъяческой светлице» — икона «пресвятой Богородицы». На стене главной, «судейская светлицы» в три окна рядом с иконой Богородицы находилось зеркало; из предметов обстановки в документах называются большая «ценинная» (изразцовая) печь и столы «дубовый» и «каменный». В других помещениях располагались «конторки», «чюлан» и теплый «нужник»³.

В этой обстановке трудился немногочисленный штат Тайной канцелярии. Никаких трудовых или дисциплинарных конфликтов в 1732 году не происходило. Судя по всему, Андрей Иванович был доволен своими подчиненными. Жалованье за последнюю «сентябрьскую» треть года отличившимся было выдано «с прибавкою» — копиисту Ивану Набокову к его окладу в 40 рублей добавили 15 рублей, а его коллеге Ивану Андрееву — 20 рублей к 30-рублевому окладу. Ведь подьячие сыскной службы, в отличие от чиновников других ведомств, «кормиться от дел» и челобитчиков не могли, поскольку в их конторе, «кроме секретных, других дел не имеетца».

За год их усилиями были завершены более сотни дел и оформлены 262 протокола — примерно по 22 в месяц; беловые экземпляры каждого документа на следующий после составления день подписывались самим Ушаковым и аккуратно переплетались в особую книгу по третям года; в таком виде они, к радости историков, отлично сохранились. В этих документах подводились итоги следствия по конкретным делам, фиксировались полученные указания и определялись дальнейшие направления «розыска». По делам проходили — в качестве доносчиков, подозреваемых или свидетелей — от трех-четырех до нескольких десятков человек.

В 1732 году в некоторых случаях при слушании дел и составлении протоколов вместе с Ушаковым присутствовали кабинет-министры — Гавриил Иванович Головкин, Андрей Иванович Остерман и князь Алексей Михайлович Черкасский. В журнале самого Кабинета эти заседания отмечались одной-двумя фразами, а подробно фиксировались в протоколах Тайной канцелярии. Так, в сентябре 1732 года министры втроем слушали доклад по делу «ростриги Осипа», а 14 декабря вновь вернулись к нему, читали «тетради» преступника и слушали экстракты о проходивших по данному «розыску» Степане Колобове — вагенмейстере двора царской сестры, герцогини Екатерины Иоанновны, дворовом человеке бывшего кабинет-секретаря Алексея Макарова Федоре Денисове, московских посадских Алексее Кузнецове и Иване Лонцове (последних приговорили выпороть плетью). Господа министры, лично ознакомившись с бумагами, изъятыми у привлеченного по делу юного ученика Спасского училища Миши Красильникова, усмотрели, что в них «нет важности», и постановили оставить их владельца без наказания⁴. 17 октября кабинет-министры с Ушаковым разбирали дело о «пашквильных письмах» «омелницкого жителя» Кондратия Телиленского, подавшего донос на самого гетмана Украины Даниила Апостола, и в тот же день рассматривали вопрос о побегах украинских крестьян в Запорожье и самовольном посещении Сечи казацкими атаманами Григорием Великово и Дмитрием Шарпенко. (После перехода запорожцев на сторону Мазепы Сечь была разорена, а беглые казаки нашли пристанище в турецких владениях. До получения ими в 1734 году от императрицы позволения вернуться общение с изгнанниками могло расцениваться как государственное преступление.) Следом шел вопрос о миргородском казаке Семене Тимофееве, «вымыслившем» ложный донос на писаря Игната Канеевского, и о братьях Мировичах (о них пойдет речь ниже). 26 октября Черкасский, Остерман и Ушаков вынесли решение по делу Телиленского: доносчик был признан злостным «пашквилантом» и заслу-

жил кнут, рваные ноздри и ссылку в Сибирь⁵. По окончании слушаний их участники оставляли на протоколах свои подписи.

Перечисленные в бумагах лица в период следствия находились под надзором киевского генерал-губернатора генерал-аншефа И. фон Вейсбаха. Однако Украина в то время еще воспринималась отчасти как заграница, потому подобного рода «политические» дела рассматривались с участием высших должностных лиц империи.

Доставленные же в Петербург арестанты и их охрана размещались в различных «казаматах» и «казармах» Петропавловской крепости. Книга колодников дает представление о невольных «гостях» сыскального ведомства. В 1732 году в распоряжение Тайной канцелярии поступили 277 человек (колодники Московской конторы Тайной канцелярии учитывались отдельно) — это наименьшее количество заключенных за время существования политического сыска в аннинское царствование (но нужно учесть при этом переезд учреждения). Однако их число по годам разнилось незначительно, а среднегодовые показатели за девять лет (с 1732 по 1740 год включительно) составили 349 человек. По иронии судьбы в XVIII веке так же, как потом в XX столетии, пик активности пришелся на 37-й год — тогда в Тайную канцелярию попали 580 человек⁶.

Заключенных регистрировали ежемесячно: в книге отмечались дата прибытия и место, откуда был прислан подсудимый; указывались его социальное положение, профессия и ведомственная принадлежность; заносились записи о приговорах и отсылке из Тайной канцелярии.

В 1732 году туда по собственной инициативе пришли «ходоки» Тимофей Стоиков и Иван Иевлев; оба надолго не задержались — были «свобождены без наказания». Так же «явились собой» честные доносители — солдаты Ладожского полка Ефрем Башмаков, Степан Зуев и Авдей Нехаев⁷ (это случалось редко — обычно служивые докладывали о преступлениях непосредственному начальству).

Таких заявителей было немного. Большую часть "клиентов» поставляли Адмиралтейство, Канцелярия от строений, Главная дворцовая канцелярия, Придворная контора, Ямская контора, Канцелярия главной артиллерии и фортификации, Сибирский приказ, только что созданный Сухопутный шляхетский кадетский корпус» Кабинет министров и столичные власти — полицейская и гарнизонная канцелярии и петербургская ратуша. Других присылали командиры непосредственно из армии и ближайšie к столице местные власти — провинциальные канцелярии Петербургской, Архангельской и Новгородской губерний.

Крестьяне, составлявшие подавляющую часть населения страны, были в Тайной канцелярии относительно редкими гостями, попадавшими туда чаще всего вследствие доноса тех своих соседей, кто имел возможность и желание доехать для доклада до канцелярии провинциального воеводы. Согласно «Книге о поступивших колодниках» 1732 года, среди подследственных и свидетелей большую часть составляли военные — в основном унтер-офицеры и солдаты (71 человек — 25,6 процента); затем мелкие чиновники — канцеляристы, копиисты, подьячие, писари, стряпчие (43 человека — 15,5 процента), далее духовенство, преимущественно низшее: священники, дьяконы и монахи (28 человек — 10,1 процента); крестьян же всего 12 человек (4,3 процента) — даже меньше, чем дворян (16 человек — 5,7 процента)⁸. Среди пестрой прочей публики явно преобладают Жители городов — «купецкие и торговые люди», различные «служители», приказчики, мастеровые.

Эти сделанные нами подсчеты в основном соответствуют выводам современных исследователей о социальном составе подследственных на протяжении царствования Анны Иоанновны⁹. Однако вряд ли преобладание среди колодников военных объясняется тем, что «наиболее серьезную опасность в плане политической стабильности для правящей верхушки представляли нижние армейские чины», и власть опасалась «политического брожения в полках, расквартированных в Петербурге и прилегаю-

щих к нему губерниях»¹⁰. Едва ли можно считать солдат и унтер-офицеров в XVIII столетии потенциальными революционерами или хотя бы недовольными политическими порядками в стране. Скорее, наоборот: армия и государственная служба давали представителям «подлых» сословий шанс выйти в люди. Новобранцу внушали, что теперь «он уже не крестьянин, а солдат, который именем и чином своим от всех его прежних званий преимуществен, отличается от них неоспоримо честью и славою».

В армии вчерашний мужик юридически и фактически переходил в иное сословие: исключался из подушной подати и переставал быть крепостным. Табель о рангах Петра I открывала ему дорогу к получению дворянского звания; таким образом «вышла в люди» примерно четверть пехотных офицеров петровской армии. «Верные и истинные слуги отечества» награждались чинами, переводились из армии в гвардию, получали за сражения медали; за отличия по службе солдат жаловали «по рублю» с чаркой вина. Лихой и расторопный служивый навсегда порывал с прежней жизнью; полки, состоявшие из бывших крестьян, без особых колебаний подавляли народные волнения и в XVIII, и в XIX веках. Но именно они — наряду с чиновниками, приходскими священниками или иноками — были, с одной стороны, наиболее подконтрольными, с другой — наиболее подготовленными (принимали присягу) для подачи доносов, прежде всего на свою «братию». В городской среде быстрее распространялись всевозможные «толки и слухи»; к тому же военным и горожанам было проще явиться в сыскные органы с «доношением» на сослуживцев и соседей, чем сельским жителям.

С духовенством дело обстоит иначе. Многие представители этого круга в самом деле неодобрительно относились к Петровским реформам, ставившим церковь под контроль государства и превращавшим духовных лиц в его агентов. Однако среди них мы не встретим в 1730-е годы ни упорных и яростных «протестантов», ни организаторов восстаний или

массовых беспорядков. Другое дело, что царствование Анны стало новым этапом в ужесточении контроля над духовенством. Дела о неслужении молебнов и поминовений возникали в массовом порядке; виновных ждали не только плети и ссылка, но в нередких случаях и лишение сана. Многие батюшки и вправду вели себя не лучшим образом, как поп из далекой деревеньки Каргопольского уезда, явившийся крещенским утром 1732 года в поварню, где крестьяне варили пиво, и до того наугощавшийся, что не смог самостоятельно облачиться на службу — своего духовного пастыря обряжали крестьяне. Несмотря на поддержку прихожан, «от многого питья заболел он, поп, сердцем» и не смог закончить литургии — ни освятить воду, ни произнести ектению с именем и титулами императрицы¹¹.

Позднее — с началом войны с Турцией — начались «разборы» церковнослужителей и их родственников: Синоду было указано «архиерейских дворян и монастырских слуг и детей боярских и их детей, также протопопских, поповских, диаконских и прочего церковного причта детей и церковников, не положенных в подушный оклад, есть число не малое; того ради взять в службу годных 7 000 человек, а сколько оных ныне где на лицо есть, переписать вновь, и за тем взятием, что где остается годных в службу ж и где им всем впредь быть, о том определение учинить, дабы они с прочими в поборах были на ряду. Вышеописанных же чинов некоторых губерний у присяги не было более 5 000 человек, из которых взять в службу годных всех, сколько по разбору явится». Затем последовало распоряжение выявлять незаконно постригшихся: «Прилежно везде испытать, кроме тех чинов людей, каковых указами блаженныя памяти их императорских величеств велено, не постригали ли где в монахи и в монахини без указа». До того государыня, «кроме вдовых священников и диаконов и отавных солдат, которых указами постригать в монашество повелено, в мужеских в монахи, а в девичьих в монахини, отнюдь никого ни из каких чинов людей постригать не повелела». В итоге некоторые храмы и

монастыри остались без богослужения; даже безропотные губернские власти доносили, что если взять действительных дьячков и пономарей, то «в службе церковной учинится остановка»¹².

Такие гонения на духовенство вполне могли расцениваться как происки враждебных православию «немцев». Однако здесь больше всего старались сами православные, по «злобе» или из усердия доносившие на не присягнувших по разным причинам попов. Особенно отличился новгородский архиепископ Феофан Прокопович, систематически отсылавший в Тайную канцелярию проштрафившихся духовных — только в 1733 году их явилось больше 100 человек. Но в 1732 году его «карательная» деятельность только начиналась — Прокопович прислал всего лишь четверых подозреваемых, трое из которых были греками и показались ему «подозрительными к шпионству».

Доставляли подследственных либо местные власти за свой счет, либо специально откомандированные с этой целью армейские солдаты или гвардейцы, которые иногда на месте сами начинали следствие. Так, отличившийся в день восстановления «самодержавства» Анны Иоанновны (25 февраля 1730 года) капитан-поручик Преображенского полка Алексей Замыцкий был командирован в 1731 году в Полтаву, откуда весной следующего года докладывал, что по доносу некоего Кондрата Телилевского арестовал уже 41 человека. Не успел офицер вернуться с Украины, как в августе 1732 года был вновь отправлен в командировку¹³. Другие посылались только за колодниками, которых начальство Тайной канцелярии желало «следовать» в Петербурге; для их доставки Преображенский капрал Иван Чемесов и его семеновский коллега Семен Шишкин совершили вояж в Москву с восемью солдатами на пяти подводах.

Их товарищи попеременно несли службу и в самой Тайной канцелярии: стояли на часах в крепости, охраняли заключенных, водили их на допросы и «экзекуции»; составляли рапорты о происшествиях (или о их отсутствии) за время своего дежурства;

при смене караула сдавали подопечных «в добром здравии» или — что нередко случалось — в «болезни» от перенесенных пыток или истощении от голода.

Преображенцы, семеновцы и измайловцы, в том числе представители лучших дворянских фамилий, держали узников «в крепком смотре»: следили, «дабы испражнялись в ушаты»; допускали на свидания родственников (с тем, чтобы жены «более двух часов не были, а говорить вслух»). В их обязанности входило выдавать узникам «молитвенные книжки» и надзирать, «чтоб не выдрали белого листа и чего не написали». Они же раздавали подследственным «кормовые деньги» или наблюдали за «допущением к колоднику пищи» (если тот мог заплатить за еду не из тюремного рациона).

Командовал ими все тот же начальник Тайной канцелярии Ушаков — только уже в ипостаси подполковника гвардии или армейского генерал-аншефа, официально числившийся на военной службе в Петербурге «при здешней команде». При этом гвардейцы в штате Тайной канцелярии не состояли и жалованье получали из отпущенных на полки сумм. Однако за их командировки и содержание заключенных платила уже сама канцелярия. Эти траты на «корм», «прогоны» и канцелярские нужды в 1732 году составили 1 050 рублей 26 копеек — при общей сумме бюджета в 3 360 рублей¹⁴. Остальные средства Тайной канцелярии шли на жалованье ее служащим, выплачиваемое, как уже говорилось, по третям года, но, в отличие от петровского царствования, своевременно. Эти деньги обеспечивали их трудовые усилия на ниве расследования политических преступлений, среди которых в 1732 году были дела серьезные и малозначительные.

Преступления «важные»...

В комплексе документов Тайной канцелярии за 1732 год сохранились не только следственные дела, но и протоколы — записи решений, принятых ее ру-

ководством в процессе расследования, по итогам конкретного дела или в связи с обращением Московской конторы либо другого учреждения. Ныне эти беловые экземпляры протоколов, представляющие собой три небольших переплетенных в кожу тома (соответственно по январской, майской и сентябрьской «третьям» года), позволяют нам проследить работу сыскной службы день за днем¹⁵. Отдельный том составляют вынесенные императрицей после заслушивания докладов Ушакова высочайшие указы, легшие в основу распоряжений по Тайной канцелярии¹⁶.

Среди массы рутинных дел Тайной канцелярии 1732 года, рассматривавших ложные объявления «слова и дела» либо сказанные в запальчивости или в пьяном виде слова, задевавшие честь монарха, находим казусы, привлекавшие повышенное внимание чиновников и даже самой государыни.

Два государственных переворота 1730 года не наши прямых отражений в народных «толках и слухах» — они были, согласно известной формуле, «страшно далеки от народа». Однако уже первое начавшееся в интересующем нас году дело (то, что «случилось» в процессе переезда канцелярии 13 января в Новгороде) привлекло внимание самого Ушакова. Воевода Псковской провинции Плещеев сообщил о доносе Бориса Торицына, служившего управителем вотчины самого генерал-прокурора П. И. Ягужинского: мол, дьякон Воздвиженской церкви из городка Велье Осип Феофилачев, ссылаясь на развозившего указы о новой присяге «мужика», объявлял, «будто выбирают де нового государя».

Такая присяга Анне Иоанновне действительно имела место в декабре 1731 года, в результате чего возникло, среди прочих, «дело» генерал-фельдмаршала Василия Владимировича Долгорукова. После смерти М. М. Голицына в сентябре 1730 года он, несмотря на опалу своего клана, возглавил Военную коллегия. Но по случаю пресловутой присяги фельдмаршал, по словам высочайшего указа, «дерзнул не токмо наши государству полезные учрежде-

ния непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять». За неназванные «жестокосударственные преступления» князь был приговорен к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбургской крепости, а затем в Ивангороде, и вышел из заточения только после смерти Анны Иоанновны. Опала фельдмаршала повлекла за собой ссылку его брата М. В. Долгорукова, незадолго до того назначенного губернатором Казани, и стала звеном в цепи репрессий, как будто утихших после разгрома семейства Долгоруковых, а теперь возобновившихся. Вместе с фельдмаршалом пострадали гвардейские офицеры: капитан Ю. Долгоруков, адъютант Н. Чемодуров и генерал-аудитор-лейтенант Эмме; в Сибирь отправился полковник Нарвского полка Ф. Вейдинг¹⁷. В следующем году командиры Ингерманландского полка полковник Мартин Пейч и майор Каркетель были обвинены в финансовых злоупотреблениях, а капитаны Ламздорф, Дрентельн и другие офицеры приговорены к шестикратному прогону через строй солдат и ссылке в Сибирь за то, что называли русских людей «подложными слугами»¹⁸. Возможно, это дело было связано с оценкой виновными событий 1730 года; так или иначе, очевидно, что новая власть не жаловала любую оппозицию, в том числе и со стороны «немцев».

Неудивительно поэтому, что в поле зрения Тайной канцелярии попадали любые инциденты, связанные с присягой; Ушаков приказал брать всех, «по одному делу приличных». Дьякон Феофилачев был немедленно арестован; нетрудно было найти и развозившего указы мужика Ивана Евлампиева, который сразу угодил на пытку (26 ударов в присутствии самого Ушакова) и с испугу стал все валить на какого-то попа.

За всеми «приличными» по столь важному делу были посланы солдаты-семеновцы, которым было приказано доставить их почему-то в Москву. Инструкция капралу Федору Дувязову требовала везти их "с великим бережением, дабы оные колодники в пу-

ти утечки себе не учинили; так же и ножа б и прочего, чем себя может умертвить, отнюдь бы при них не было» (случалось, что арестанты пытались свести счеты с жизнью до прибытия в ведомство Ушакова), Следствие выяснило, что и дьякон, и мужик, да и сам доносчик ни о какой оппозиции не помышляли, однако в разговорах о присяге со многими людьми допускали от собеседников непозволительные толкования — вместо того чтобы «одерживать» их или «донести о том, где по указам надлежит». В итоге пострадали все фигуранты: Торицын был сослан в Сибирь «в тамошнее купечество», остальных болтунов ждали порка кнутом и ссылка в Охотск.

«Погорел» по этому делу сам псковский воевода Плещеев. Он лично к предосудительным толкам отношения не имел, но и опасности для государства в них не узрел. Будучи, видимо, недоволен, что в его провинции обнаружались преступники и возникло политическое «дело», воевода необдуманно заявил псковскому архиерею (о чем тот немедленно донес Феофану Прокоповичу, а последний — лично доложил Ушакову): «Что де сие дело какое важное? Мог бы де смирить и приказать тех людей сам». Плещеев, вероятно, так и не понял, каким образом его отзыв стал известен императрице, повелевшей — с подачи бдительного Ушакова — воеводу сменить; его счастье, что Анна Иоанновна не указала и его «следовать»¹⁹.

Другой народный отклик на большую политику обнаружился в деле посадского человека московской Басманной слободы Ивана Маслова. В 1732 году, сидя по какой-то провинности под следствием в Камер-коллегии, он вдруг заявил, что в конце прошлого года другой колодник, «артиллерской столяр» Герасим Федоров рассуждал о придворных событиях: «Ныне публикация о бывшем фелтмаршале князь Василие Долгоруком и других. А государыня императрица соизволила наследником быть графу Левольде (имелся в виду, очевидно, один из братьев Левенвольде — обер-шталмейстер Карл или обер-гофмаршал

Рейнгольд. — *И. К. Е. Н.*), да она же де, государыня, и на сносах, и ныне де междоусобной брани

быть»- На следствии Федоров показал, что такой анализ внутривластной ситуации стал ему известен со слов Никиты Артемьева — дворового человека капитана Алексея Воейкова. Артемьев объяснил вину вину фельдмаршала: Долгорукого сослали в ссылку «за то, что государыня брюхата, а прижила де с иноземцем з графом Леволдою, и что де Леволда и наследником учинила, и князь Долгорукой в том ей, государыне императрице, оспорил»²⁰. Конечно, после такого признания за Федорова взялись всерьез. Он повел себя неуверенно: сначала заявил, что оклеветал Артемьева и всё сказанное выдумал «с пьянства», потом вернулся к прежним показаниям — и поменял их еще раз. Следствие затянулось, и в 1738 году все фигуранты по делу всё еще сидели «под караулом».

Опальное семейство князей Долгоруковых и в 1732 году, и позднее постоянно находилось под пристальным наблюдением; вся информация о нем неизменно докладывалась «наверх». Не успел сосланный по делу фельдмаршала бывший гвардейский капитан Юрий Долгоруков доехать до места ссылки, как в Тайной канцелярии уже возникло дело по доносу школяра Матвея Поповского на подьячего Кузнецкой воеводской канцелярии Ивана Семионова, имевшего с доставленным ссылкой продолжительную беседу. Но канцелярист оказался тертым калачом — Доказал, что разговаривал со своим родственником, служившим в охране Долгорукова; доносчик же сам беседовал с преступником. В итоге получилась «боевая ничья»: истца и ответчика одинаково вразумили плетью за излишнее любопытство²¹. Тогда же Анна Иоанновна повелела Ушакову перевести княжну Александру Долгорукову (сестру несостоявшейся «государыни-невесты» Петра II Екатерины) из Нижегородского Васильевского монастыря в Троицкий Белмошский в Сибири, так как на прежнем месте непокорная девушка жила «в роскошах» и свободно связывалась с родственниками²².

Но главные беды семейства Долгоруковых были еще впереди, а у бывшего кабинет-секретаря Алексея

Васильевича Макарова они уже начались. Сначала его собственный «человек» Федор Денисов сочинил и подкинул в московский дворец Анненгоф подметное письмо с обвинением хозяина в похищении конфискованных в 1727 году «пожитков» графа П. А. Толстого. Следствие установило и автора, и переписчика — Измайловского солдата Филимона Автухова; тот оказался личностью подозрительной — среди его вещей при обыске были найдены бумаги содержавшие «отрицание от Бога, и от отца, и от матери, и от роду, и от племени»²³.

Затем дальний родственник Макарова подьячий Василий Калинин, споривший с ним о наследстве своего дяди, в августе 1732 года явился к руководителю Московской конторы Тайной канцелярии графу Семену Андреевичу Салтыкову с доношением, содержащим целую обойму обвинений против бывшего всесильного министра, и беспокоился за свою безопасность: «Также прошу придать мне для охранения лейб-гвардии солдат двух или трех человек для того, Алексей Макаров и Петр Стечкин (племянник Макарова. — *И. К., Е. Н.*) завсегда всезлые и вымышленно коварные свои происки имеют всякое мне избиительство учинить, что я — человек беспомощной, от чего я опасаюсь от них за вышешоказанные их, Макарова и Стечкина, противные дела и смертного убийства». По доносу Калинина была создана особая следственная комиссия из гвардейских офицеров. Подьячий утверждал, что Макаров под чужим именем поставлял вино из своих вотчин в казенные кабаки в Костроме, утаил при сдаче дел приходно-расходные книги Кабинета со следами своего казнокрадства, а также письма самого Петра I, царевича Алексея и Меншикова. Пожилой кабинет-секретарь вынужден был давать следствию оправдания по делам 20-летней давности, объясняя, почему оставил те или иные бумаги не в кабинетском, а в личном архиве. Признав наличие у него писем высочайших особ, Макаров указал, что все они носили личный характер и не имели отношения к делам Кабинета; хранившиеся же у него тетради были черновиками и с

них «как приход, так и расход внесен в настоящие расходные книги»; черновыми оказались также журнальные записки с правкой, сделанной рукой царя. Костромские бурмистры показали, что они никаких писем от Макарова не получали и вина из его вотчин никогда не принимали. В итоге обвинения были признаны несостоятельными, доносчик превратился в обвиняемого и провел в тюрьме пять лет. Правда, Макарову это не помогло: через год он вновь попал в разработку.²⁴

Инициатором расследования — пожалуй, самого масштабного в 1731 — 1732 годах — стал влиятельный новгородский архиепископ Феофан Прокопович, стремившийся связать Макарова с другим делом — бывшего архимандрита Маркелла Родышевского, выставив кабинет-секретаря его покровителем. Эта история началась еще в 1726 году, когда Феофан сдал в Преображенский приказ Маркелла, до того времени находившегося в его окружении, по делу о расхищении казны Псково-Печерского монастыря, заодно обвинив его в «притворении некоторых мятежных повестей для смущения народа и для опечаления ее императорского величества».

Маркелл ответил доносом из 47 пунктов, обвинив новгородского архиерея в «неправославии»: якобы Феофан не признает творений святых отцов, не почитает икон («образы святых называл идолами»), порочит богослужебные книги, держит у себя в доме непозволительную для духовной особы музыку, «монашество и черниц желает искоренить» и «говорит, что учения де никакого доброго в церкви святой нет, а в лютеранской де церкви все учение изрядное».

После доклада Тайной канцелярии императрица Екатерина I приказала получить у Феофана объяснения, одновременно выпустив из-под ареста Родышевского. В 1728 году Маркелла перевели в Москву. Проживая в Симоновом монастыре, он написал ядовитый памфлет на своего гонителя — «Житие новгородского архиепископа еретика Феофана Прокоповича".. Распространением его сочинения занимался иеродьякон Иона, который и сам добавил немало

в текст этих «тетрадей», где Родышевский критиковал петровские указы о монашестве, полагая, что их истинным автором был Прокопович. Тут уже в приверженности к протестантству обвинялся не только «западник» Феофан, но и сам Петр I: «Насадил лютеранство, законную свою царицу убрал, а в тое место поставил другую от исповедания лютеранского, патриарху в России быть не велел, сына своего убил до смерти». Родышевский в новое царствование осмелел настолько, что доношение на Феофана подал самой императрице Анне, критиковал «Духовный регламент» и другие данные Петром Великим законы.

Почувствовавший опасность Прокопович перешел в наступление. По его настоянию оба фигуранта были в 1731 году арестованы; Иона «извержен» из сана и далее проходил в деле как «рострига Осип». Феофан подозревал, что за этими людьми стояли его давние недоброжелатели в самом Синоде — коломенский митрополит Игнатий Смола, ростовский архиепископ Георгий Дашков (оба сосланы в 1730 году) и тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский.

Лопатинский в эти годы подготовил к печати сочинение своего учителя Стефана Яворского «Камень веры», запрещенное при Петре I из-за своей антипротестантской направленности; опубликованная в 1728 году книга вызвала бурную полемику в России и Европе. Протестантский богослов Иоганн Франц Буддей напечатал опровержение, восхваляя Феофана и порицая Лопатинского. В защиту книги выступил сотрудник испанского посольства в Москве доминиканец Рибейра; его изданное в 1730 году сочинение с укором в адрес Прокоповича за пристрастие к протестантству было переведено на русский язык членами Синода архимандритами Евфимием Колетти и Платоном Малиновским. Феофилакт Лопатинский считал, что настоящим автором опровержения Буддея являлся сам Феофан, и просил у министров Кабинета разрешения написать на него возражение.

В мае 1732 года появилось новое «подметное письмо» с обвинениями в адрес не только Феофана,

но и венценосных особ: Петру I ставились в вину народные «тягости» и увлечение «немцами», а Анне Иоанновне — продолжение его политики, в том числе разрешение браков православных с иноземцами и возвышение «господ немец», которые «всем государством завладели». Неизвестный автор сожалел: российская церковь утесняется еретиками, отложены посты и введен табак, архиереи в гонении, народ разоряется непосильными сборами; всё это, по его мнению, приведет к тому, что гнев Божий обрушится на государыню, а страну ожидают «глад» и «недород». Феофан же выставлялся «сущим римлянином», верным последователем папы, дававшего «наимилшому сыну нашему» указания, как еще больше ослабить православие и церковь в России и хвалившего Петра I за то, что царь «преклонен в немецкий закон»²⁵.

Феофан не поленился тщательно исследовать текст «пасквиля» и на основании некоторых выражений заподозрил, что его написал иеромонах Иосиф Решиллов из доверенных людей архиепископа Феофилакта. Он призвал к ответу переводчиков книги Рибейры и составил записку, в которой старался показать, что его противники выступают против праведно служащих России «немцев»: «Всех сплошь протестантов, из которых многое число честные особы и при дворе, и в воинском, и в гражданском чинах рангами высокими почтены служат, неправдою и неверностью помарал, из чего великопочтенным особам не малое учинил огорчение».

Новгородский архиерей показал себя мастером политической интриги — он стремился доказать, что его недоброжелатели выступают не против него лично, а против самой Российской империи, заодно с ее внешними противниками; ученый грек Евфимий Колетти был им обличен как «и внутренней факции член, и внешней». В сочинении Рибейры он усмотрел прежде всего «нарекание на Россию в том самом, в чем нарекает и подметная нынешняя тетрадка а от того видеть мощно, что внешняя неких иностранных факция с внутреннею злодеев наших компанию имеет согласие». Поэтому он старался

связать данное следствие с делом «шпиона» — греческого монаха Серафима. Под политические «пункты» Феофан подводил и своего оппонента Родышевского: «Но чего я без ужаса видеть не мог, наполнено оно письмишко нестерпимых ругательств и лаев, на царствовавших в России блаженные и вечно достойные памяти вашего величества предков. Славные и благотворные их, государей, некие указы, уставы узаконения явственны порочит и, яко богопротивные, отмечает». Для придания большего веса своим обвинениям Прокопович пугал мнительную императрицу возможностью новых заговоров: «Письмо сие не ино что есть, только готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта».

Тайная канцелярия не могла не вмешаться в богословскую дискуссию с подобным политическим подтекстом, тем более что к тому времени следователи выяснили, что с «тетрадей» Осипа были переписаны десятки копий нищими из московской богадельни. Затихшее было следствие возобновилось, вызвав волну арестов; у схваченных допытывались, «не для возмущения ль какого» они «раздавали» тетради.

Сосланного к тому времени в Кирилло-Белозерский монастырь Родышевского в декабре 1732 года вернули по высочайшему повелению для нового дознания. В мае был арестован директор Московской синодальной типографии Алексей Кириллович Барсов, обвиненный в том, что читал принадлежавшие «ростриге Осипу» две рукописные тетради «о поношении» Феофана Прокоповича, поддерживал связи с Маркеллом Родышевским и давал своим ученикам «сомнительные сочинения»: «Повесть о юноше, называемом Премудром, а в нем жил бес», «Повесть о спасительной иконе, бывшей у царя Мануила», «Тетратку о деянии, бывшем в Константинополи от четырех патриархов, о поставлении Московского патриарха, которое показывает, что бутго бы в Москве бысть без патриарха».

В застенки попали придворные служители, монахи Троице-Сергиева монастыря и лишённые места в Синоде архимандриты Евфимий и Платон. Во время

их содержания в крепости «кабинетные министры и генерал Ушаков приказали: содержащегося в Тайной канцелярии бывшего Чудова монастыря архимандрита Евфимия Колетти по касающемуся до него в Тайной канцелярии некоему важному делу священства и монашества лишить, и Тайная канцелярия просила прислать для этого духовную персону». Евфимий даже был доставлен в «кабинетские покои», где министры вместе с Ушаковым допрашивали его, с кем из иностранцев он знался через испанского посла де Лириа.

«Рострига Осип» выдал многих читателей своих тетрадей и умер в тюрьме в 1734 году. Множество людей находились под следствием по делу об этих «подметных письмах» до самой кончины Феофана Прокоповича 8 сентября 1736 года. Сам ученый архиерей выступал главным вдохновителем следствия и даже инструктировал чинов Тайной канцелярии: «Пришед, тотчас не медля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать на глаза и на все лице его: не явится ли на нем какво изменение; и для того поставить его лицом к окошкам. Не допускать говорить ему лишнего и к вопросам не надлежащего, но говорил бы то, о чем его спрашивают. Сказать ему, что все станет говорить "не упомяну", то сказуемое непамятство причтется ему в знание. Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать»²⁶. Наставления по «розыску» оказались не лишними — не все сотрудники прониклись важностью расследования. За освобождение нескольких арестованных по этому делу пострадал даже начальник Московской конторы Тайной канцелярии Казаринов — ему пришлось до 1735 года сидеть под караулом²⁷.

Среди арестованных, обвиненных в хранении и распространении пасквиля на Феофана, оказался один из лучших художников России Иван Никитин вместе с братьями — живописцем Романом и протопопом Архангельского собора Кремля Родионом. Они не только читали «тетради» Осипа, но и являлись его двоюродными братьями. Кроме того, обучавшийся в Италии Иван Никитин вполне мог рас-

смастываться в качестве католического «агента». Из Москвы братьев отправили в Петербург и поместили в канцелярскую тюрьму в Петропавловской крепости. Следствие длилось более пяти лет (считается, что в это время Иван Никитин написал портрет самого Андрея Ивановича Ушакова, хранящийся ныне в Третьяковской галерее). За «неуместное» чтение Никитиных приговорили к битью плетью и отправке «в Сибирь на житье вечное за караулом». Тобольская ссылка закончилась только после прихода к власти Елизаветы Петровны, в январе 1742 года; но из Сибири художник так и не вернулся — умер по дороге.

Прокопович был убежден, что у Родышевского, «по природе своей зело трусливого» и «скудного в рассуждении», явно «были некие прилежные наустители, которые плутца сего к тому привели, отворяя ему страх показанием новой некоей имеющей быть перемены, нового в государстве состояния, и обнадеевая дурака великим высококого чина за таковой его труд награждением». В качестве такого злобного подстрекателя он и выставял Алексея Макарова, с которым не ладил еще в бытность того всемогущим кабинет-секретарем; к тому же апологет самодержавия знал, что Алексей Васильевич, как и многие представители «генералитета», подписывал в феврале 1730 года ограничительные проекты. В результате этой интриги Макаров с семейством в 1734 году был посажен под домашний арест, и новое следствие длилось до его смерти в 1740 году.

Повод к нему дал явившийся в декабре 1733 года в Московскую синодальную контору монах Саровской пустыни Георгий Зворыкин. В доношении он объявил себя богоотступником и показал, что после общения с нечистым духом, воплотившимся в немца Вейца и его двух слуг-бесов, отрекся от веры и перестал посещать церковь. Бесы не оставили грешника даже после его пострижения в Саровской пустыни; пришлось ему переселиться в Берлюковскую пустынь, известную суровостью монашеской жизни. Перепуганный таким прибавлением в своей братии настоятель пустыни Иосия Самгин также подал донос о

безбожии и чародействе Зворыкина. В процессе следствия, начавшегося после передачи Синодальной канцелярией доноса в Тайную канцелярию, обнаружилось, что у настоятеля Иосии имелись «тетради» с рассуждениями о монашестве и сочинение родышевского, а сам он, являясь духовником Макарова, вел с ним беседы на политические темы. Теперь следователи стали искать в его показаниях доказательства неуважительного отношения собеседников к «большим при дворце иноземцам» и самой императрице, задавая вопросы: «Тогда, как оные Макаров и жена ево о вышеобъявленном говорили, какую в них злобу и свирепость по лицу ты их присмотрел и с великого ль сердца о вышеозначенном Макаров и жена ево говорили?» Феофан Прокопович, вновь выступивший в роли эксперта при Тайной канцелярии, лично разбирал показания Макарова: «По моему мнению, неправо, и не по совести, и не так, как делалось, он, Алексей, отвечивал». Прокопович убеждал следователей в существовании заговора, возглавляемого Макаровым, и требовал ответов на новую серию вопросов: «Что с Иосиею говорили (или с другим кем) о воинстве российском, якобы уже слабом, и в какой силе? Что о скудости народа в недороде хлебном? Что о смерти и погребении государя Петра Первого? Что о титуле императорском? Что о возке по Волге корабельных материалов?»²⁸

Архиерей продолжал бдительно следить и за другими своими врагами. Когда в 1731 году в Свяжский монастырь прибыл лишенный архиерейского сана Игнатий Смола, глава казанской епархии митрополит Сильвестр по возможности облегчил условия его ссылки, за что сам был предан суду и в 1732 году отправлен в псковский Крыпецкий монастырь под строгий арест; Игнатия же покорный Синод перевел под надзор в Корельский монастырь. В октябре 1732 года Кабинет министров постановил лишить Сильвестра сана и заключить в Выборгский замок. Новое следствие с привлечением казанского духовенства, инкриминировавшее Сильвестру приказание по епархии не поминать при богослужении Синод, на-

чалось в том же 1732 году и велось так сурово, что один из подследственных, архимандрит Ивановского монастыря Иоаким, не выдержав допросов, повесился. Несчастный Сильвестр умер в Выборге через несколько лет.

В апреле 1732 года настал черед рязанского епископа Лаврентия Горки. Его подчиненный «подьяк» Антон Куприн подал в Тайную канцелярию донос на иерарха, который якобы в бытность епископом в Устюге «расхищал» ризницу, не совершал службы в дни тезоименитства царицыных сестер Екатерины и Прасковьи и «многолетие певчим петь не велел»²⁹. В следующем году Лаврентий высочайшим повелением «за некие продерзости» был переведен епископом в Вятку, где провел последние годы жизни. Умудренный горьким опытом архиерей теперь уже сам прислал в Синод донос на архимандрита Аарона, по его словам, не посещавшего богослужений в табельные и викториальные дни. Лаврентий просил о синодальном рассмотрении дела, но получил из Синода рекомендацию отослать копию дела в Тайную канцелярию и предупреждение: «Впредь его преосвященству доношения в Святейший Правительствующий Синод без подписания мнения своего не присылать и тем <...> Синоду напрасно утрудения не чинить»³⁰.

Императрица Анна потребовала получить от Феофилакты Лопатинского письменное обязательство прекратить полемику под страхом жестокого наказания. «Не в меру ученого» архиепископа вызвали в Синод; он был так напуган аудиенцией, что писал, что «спать не может, и во сне пугается, и всегда наяву боится». Его опасения были не напрасны. В 1732 году после допроса — временно — отпустили. По показаниям Решилова к розыску в Тайной канцелярий привлекли сначала калязинского архимандрита Иосифа Маевского, потом других духовных лиц епархии, а следом — тверского архиерея. В апреле 1735 года Феофилакты вызвали вторично, заточили в Петропавловскую крепость, подвергли допросам и пыткам и признали виновным в «важных винах». Его враг Феофан своего триумфа не дождался — умер

прежде окончания следствия; но Феофилакт в 1738 году был лишен сана и посажен в Выборгский замок, откуда вышел только в декабре 1740 года, был прощен, восстановлен в сане и скончался в Петербурге, разбитый параличом.

Отзвуком борьбы за власть после воцарения Анны Иоанновны стал донос приказчика китайского каравана Ивана Суханова (в марте 1732 года) на самого генерал-прокурора Ягужинского, к тому времени уже потерпевшего поражение в придворных интригах и отправленного послом в Берлин. Документы не сохранили сути обвинения, но делом занимался лично Ушаков. Очевидно, оно могло стать громким; однако свидетели не подтвердили донос, а Суханов с двух пыток сознался, что оговорил вельможу ложно, и отправился на «серебряные заводы» в Сибирь³¹.

Императрицу всерьез беспокоили возможные заграничные происки. В марте 1732 года в Тайной канцелярии стали «следовать» украинцев Петра и Якова Мировичей, сыновей одного из сподвижников Мазепы. Переяславский полковник Федор Мирович вместе с гетманом перешел в 1708 году на сторону шведского короля Карла XII, избежал плена после Полтавской битвы и с тех пор находился за границей; его дети были отправлены в Петербург на учебу при Академии наук. В 1727 году старший, Петр, поступил секретарем на придворную службу к цесаревне Елизавете; благоволившая к молодому человеку принцесса отпустила его посетить родные края. Во время этого путешествия секретарь начал переписку с отцом-эмигрантом. В 1732 году, решив, что настал подходящий момент, чтобы выхлопотать отцу прошение, он подал в Кабинет просьбу разрешить старому Мировичу вернуться, объясняя, что отец давно об этом мечтал, но «некакой страх» его удерживал. Одновременно он показал майору гвардии и знатному придворному Семену Григорьевичу Нарышкину записанное тремя годами ранее письмо к родителю с уговорами «страх и опасение от себя отложивше», надеяться на милость российского правительства, а заодно посетовал на «мужичью вольность» и обиды,

чинимые его родственникам со стороны других представителей украинской старшины (те не желали отдавать «нашей схованки» — упрятанного от конфискации имущества).

Это письмо и стало предметом разбирательства в Тайной канцелярии. Власти усомнились в вляльности ти молодого Мировича, который не только вел переписку с отцом-изменником, но и ездил на родину, хотя отлучаться из столицы ему не было официально разрешено; к тому же в его бумагах были найдены универсалы самого Мазепы. Преступных намерений в действиях Петра Мировича обнаружить следователям не удалось, его не пытали. 17 октября 1732 года кабинетские министры решили судьбу братьев Мировичей: сочтя, что их «внутри государства держать опасно», отправили Петра и Якова Мировичей на службу в Сибирь для зачисления в местные «дети боярские». Освобождены из ссылки они были только в начале царствования Елизаветы Петровны³².

Представитель этого семейства — внук изменника и племянник ссыльного Петра, подпоручик Смоленского пехотного полка — еще доставил хлопот другому поколению следователей. Бедный и честолюбивый офицер Василий Яковлевич Мирович, не сумевший сделать карьеру и вернуть фамильные имения, предпринял дерзкую попытку освободить из Шлиссельбургской крепости императора Ивана Антоновича. Как известно, замысел не удался: узник, согласно инструкции, был убит офицерами охраны, а Мировича по приговору Сената казнили 15 сентября 1764 года.

Одним из иностранных «клиентов» Тайной канцелярии стал иеромонах Серафим — выходец из знатного греческого рода Погонатов с острова Митилена. В 1695—1696 годах он впервые побывал в Москве с посольством константинопольского патриарха Досифея; затем переводил Новый Завет на современный греческий язык. Путешествуя в 1703—1706 годах по европейским странам — Англии, Голландии, Дании, Пруссии, Польше с целью «призвать европейских государей ко освобождению от турков Греции»,

в 1704 году он вторично оказался в России, где встречался с Петром I. Но у российского государя были в то время более важные дела; он выразил готовность присоединиться к делу в случае, если так поступят европейские монархи. В конце 1731 года Серафим вновь прибыл в Москву, но показался принявшему его Феофану Прокоповичу «подозрительным ко шпионству». После этой беседы Серафим в мае 1732 года попал в Тайную канцелярию с сопроводительным письмом новгородского архиепископа.

Ушаков сразу же заинтересовался его пребыванием в соседних и не очень дружественных державах — Швеции и Польше (ученый грек одно время даже был переводчиком при дворе польского короля). Тут и выяснилось, что во время пребывания шведского короля Карла XII в Турции после поражения под Полтавой Серафим состоял у него на службе и вместе со шведским посланником действовал против России; в Швецию он ездил как раз накануне визита в Россию в 1731 году. К тому же его полномочия патриаршего «экзарха Спорадов и Циклеров» оказались сомнительными. Опрос находившихся на русской службе греков показал, что Серафим являлся обычным международным авантюристом невысокого пошиба, имевшим в разных странах неприятности с полицией.

Как и в случае с Мировичами, реальных враждебных действий или умыслов со стороны подследственного обнаружить не удалось; но Ушаков согласился с мнением Феофана. 7 июля 1732 года после визита главы Тайной канцелярии к Анне Иоанновне подозрительному иностранцу был вынесен приговор, странствия беспокойного путешественника окончились на берегу Охотского моря³³.

Интерес самой императрицы вызвало дело отважного прожектера из породы вечных правдолюбцев, бывшего священника Саввы Дугина. Еще в 1728 году он «сигнализировал» властям о злоупотреблениях управляющего Липецким заводом; затем посылал свои трактаты в Синод, где их признали «враками». Но даже угодив на каторгу, «распопа» не угомонил-

ся — продолжал писать, страстно желая, чтобы государыня прочла его «тетрати». В своих сочинениях написанных в том же, что и шляхетские проекты 1730 году, он обличал обычные для того времени церковные не порядки — невежество и пьянство священников и «сребролюбие» епископов, предлагал «отставлять» попов от приходов и повсеместно «запретить, чтоб российский народ имел воскресный день в твердости, тако же и господские праздники читали». Возможно, за сию маниловщину Дугину не пришлось бы платить жизнью, если бы он не «дерзнул донести, в какой бедности, гонении, и непостоянстве, и во гресех, и в небрежении указов и повелений находитца Россия» от лихоимства больших и малых властей, неблагочестия, воровства и чрезмерно тяжелых наказаний за «малые вины». Для борьбы с этим злом он предлагал, чтобы «едва бы не во всяком граде был свой епископ» для просвещения духовенства и паствы. По его мнению, прокуроров следовало «отставить» по причине их бесполезности; воевод же не надлежало оставлять в должности более двух-трех лет, а администрация при них должна быть выборная: «по 10 человек для розсылок и наряду по неделе по очереди». Дугин требовал введения принципа неприкосновенности личности: «без вины под караул не брать», а наблюдать за охраной прав граждан должен местный протопоп. «Распопа» предлагал отменить телесные наказания: «батожьем бить отнюдь воспретить во всей империи». Он высказал свое мнение также по поводу налоговой политики: «быть полутче и народу полезнее», если подушная подать будет сокращена до 50 копеек с души, а с безземельных дворовых, стариков после 60 лет и детей до семи лет ее не следовало бы брать вовсе. Однако выступавший за личную неприкосновенность и другие права человека расстриженный и сеченый каторжник считал крепостное право естественным явлением. Так же, как и министры Анны Иоанновны, он был озабочен массовым бегством крестьян, для борьбы с которым предлагал сочетание экономических и «наглядных» мер — к примеру, за выдачу и при-

вод беглых предлагал учредить пятирублевую премию, а самим беглым в качестве наказания отсекал большой палец на ноге и «провертеть» ухо; пойманным же во второй раз рубить ноги, «а руками будет на помещика работать свободно». В застенке Дугин держался на редкость мужественно: ни в чем не винулся — напротив, собирался продолжить работу над трактатом: объяснить императрице, «каким образом в рекруты брать и как в чины жаловать, и каких лет в службе быть». Но сделать это прожектер не успел — 4 апреля 1732 года он был казнен на Сытном рынке столицы³⁴. Изложенные в этом проекте идеи касались тех проблем, которые волновали шляхетское общество в 1730 году. Но новая власть не была намерена поощрять подобную инициативу ни сверху, ни снизу.

Еще большее беспокойство доставляли Тайной канцелярии самозванцы. Их появление было связано с обнародованием в декабре 1731 года манифеста «Об учинении присяги верности наследнику всероссийского престола, который от ее императорского величества назначен будет». Этот документ, устранявший от наследования престола дочь Петра I Елизавету, требовал присягать некоему неизвестному «наследнику», что вызывало в народе множество слухов и толкований.

В 1732 году 18-летний «гуляющий человек» из-под Арзамаса Андрей Холщевников, проживавший в Нижнем Новгороде у раскольницы Марьи Григорьевой, назвал себя царевичем Алексеем Петровичем. Доставленный в Тайную канцелярию самозванец не упорствовал в отстаивании своего царского достоинства, признавшись, что он не раз слышал, что «лицем похож» на покойного царевича; а взять царское имя уговаривали его местные крестьяне и сама квартирная хозяйка. Но стойкости в застенке молодому человеку не хватило — он стал менять показания: заявил, что никаких «крестьян» не знает, виновата во всем Марья, а он называл себя только «Петром Алексеевичем Копейкиным», да и то исключительно «спроста». Кажется, это и вправду были юношеская

бравата и глупость; во всяком случае, никаких действий на предмет обретения всероссийского престола Холщевников не предпринимал. Но для Тайной канцелярии это были не шутки — 13 мая 1732 года вышел императорский указ: вольного или невольного самозванца надлежало «казнить и тело сжечь», а на месте преступления — в Арзамасе — выставить на колу его голову и прибить на столбе «публичной лист» с оглашением его вины³⁵.

Но уже 25 декабря 1732 года в Москву был доставлен еще один «царевич Алексей Петрович», о ходе следствия над которым Анна Иоанновна требовала регулярно сообщать ей. Самозванцем оказался беглый крестьянин московского Новодевичьего монастыря Тимофей Труженик. Человек экзальтированный, он сначала призывал крестьян идти с ним в мифический «Открывонь-город»; потом объявил, что манифест о присяге издан для него, так как он и есть чудом спасшийся царевич Алексей Петрович. По донским казачьим станицам он рассылал воззвания: «Благословен еси Боже наш! Мы, царевич Алексей Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за чернь, как было при отцах и дедах наших. И вы, голытьба, бурлаки, босяки бесприютные, где нашего гласа не слышите, идите до нас денно и ночью!» Должно быть, мужикам заманчивыми казались его обещания уничтожить бедность на земле, одарить их «золотом и серебром и золотыми каретами. И хлеба де столько не будет, сколько золота и серебра». Но попытка поднять народ Труженику не удалась, он сам заявил на себя «слово и дело» и был арестован в Тамбовской губернии³⁶. На следствии арестант поначалу требовал отвезти его во дворец к «сестре» Анне Иоанновне, однако под пытками стал давать показания, назвав восемь человек в Тамбовском уезде, помогавших ему агитировать. От них следователи узнали, что у самозванца был «брат», «царевич Петр Петрович», который оказался беглым драгуном, подавшимся в казаки станицы Яменской Ларионом

Стародубцевым. Труженик убедил Стародубцева назваться царевичем, а тот сумел собрать в самарских степях несколько десятков бурлаков, беглых крестьян и казаков. Они тщетно пытались выручить арестованного Тимофея, а затем решили продолжить его дело и готовить поход на Москву, но были схвачены во время насильственной вербовки «подданных». Больше ничего в Тайной канцелярии не узнали, однако следствие тянулось до осени 1733 года. Стародубцеву и Труженику отрубили головы и насадили на железный кол, а тела сожгли; их товарищи также лишились голов; крестьяне, контактировавшие с Тружеником и Стародубцевым, были нещадно биты кнутом и после «урезания» языков сосланы на вечные работы в Сибирь.

Судя по тому, что на следствии присутствовал Ушаков, а его материалами интересовались кабинет-министры и сама Анна Иоанновна, вышеперечисленные преступления считались весьма серьезными. В январе Кабинет затребовал к себе документы о Маркелле Родышевском; в августе Тайная канцелярия получила высочайшее повеление провести обыск в келье ссыльного в Кирилло-Белозерском монастыре, а затем — доставить Родышевского в столицу для нового дознания³⁷. В сентябре Анна лично читала дело «ростриги Осипа»; она поручила Ушакову выяснить, в каких именно «роскошах» обреталась в нижегородском монастыре княжна Александра Долгорукова и кто навещал ее в ссылке³⁸. 14 марта Анна Иоанновна «пред собой» допрашивала Афанасия Татищева — свидетеля по делу приказчика Ивана Суханова, обвинявшего «в важном деле» генерал-прокурора Ягужинского³⁹. Императрица иногда самостоятельно принимала решение о наказании — кого отправить в Охотск или «на галеры». Из ее Кабинета поступило указание «следовать» дело придворных живописцев Никитиных и их старшего брата, протопопа Архангельского собора⁴⁰.

Иногда Анна Иоанновна поручала Ушакову расследовать не только политические, но и откровенно уголовные дела, имевшие, как теперь принято гово-

ритель, общественный резонанс в среде придворной знати. Так, в марте 1732 года у только что назначенного майором первого гвардейского Преображенского полка князя Никиты Юрьевича Трубецкого (будущего генерал-прокурора) пропали «алмазные вещи» (запонка, кольцо и, как можно понять, отдельные неоправленные «камни»). Императрица приняла эту историю близко к сердцу и повелела Андрею Ивановичу разыскать пропажу. Ушаков быстро установил, что поручик Бутырского полка Карташов проиграл какие-то драгоценности в карты лекарю цесаревны Елизаветы Арману Лестоку. Поручик был немедленно арестован и сразу же сознался в краже; Ушаков лично отправился к Лестоку и изъял у него четыре «камня» и «перстень золотой с бриллиантом». На раскрытие преступления ему понадобились две недели⁴¹.

..И не «весьма важные»

Однако дела о кражах при дворе либо по обвинениям в шпионаже или заговоре были редкостью, даже несмотря на старания доносителей.

Капрал Измайловского полка Дмитрий Секерин, конвоировавший очередную партию арестантов Тайной канцелярии, усмотрел «бунт» в действиях ямщиков Тосненского яма во главе с их старостой Гаврилой Кондюриным, якобы швырнувшим казенную подорожную в грязь. Обращение к новгородским властям результата не дало, поскольку строптивых ямщиков взяла под защиту Ямская канцелярия — виновные в непочтительном отношении к государственным бумагам даже не были арестованы, а «жили на свободе». Однако на следствии быстро выяснилось, что на станции просто не оказалось затребуемых капралом лошадей для перевозки колодников. Разбушевавшийся Секерин «Костюрина бил палкою в беспамятстве», ямщики «с дубьем» заступились за своего старосту, и в потасовке кто-то обронил подорожную. В общем, виновных не нашлось; но

Ушаков не упустил случая внушить уважение к своему учреждению — объявил выговор секретарю Ямской конторы Семену Черкасову за попустительство подведомственным ямщикам.

Надо сказать, что вольные ямщики чиновничеством не отличались и могли послать подальше не только гвардейского сержанта, но и иностранного дипломата — например австрийского гоф-камер-советника фон Гартунга. «Немец» тоже требовал лошадей и грозил пожаловаться государыне, на что грубый ямщик Борис Панкратов ему ответил: «Сколько тебя, столько государыни боюся». Гартунг, на беду ямщика, знал русский язык, и тому на допросе не удалось отговориться: дескать, глупый иноземец человеческим языком не владеет, а потому «и слышать де от него оных слов невозможно»⁴².

В 1732 году так же, как в иные времена, органы политического сыска не испытывали недостатка в доносчиках. Пожалуй, одним из самых неприятных представителей этого типа личности оказался дворянин Новгородского архиерейского дома Иван Рябинин. Он и сам не ладил с законом, поскольку был уличен в махинациях с «рекрутскими деньгами», попался на провозе трех ведер «корчемного» вина и угодил под стражу за совершенное его крепостными убийство в драке его двоюродного брата. Находясь в заключении в Новолодожской воеводской канцелярии, Рябинин выдал серию из 16 доносов. Новолодожского «таможенного ларечного» Василия Назанцева он обличил в краже казны; канцеляриста Фотия Крылова — в оскорблении почтенного учреждения. «Я де хочу воеводскую канцелярию блудно делать!» — якобы кричал подгулявший приказный. Новгородских дворян братьев Ушаковых, Нееловых, Луку Сназина и Андрея Тяполкина, жившего с ним в одной усадьбе, Рябинин обвинил в неявке на смотр и учинении «всяких непотребств», о которых собирался поведать отдельно. Помещице Агафье Ушаковой он припомнил ее дерзкую фразу: «Я де сама государыня, и никого де я не опасна». Не забыл он и про крестьян Тимофея Рябинина и Гаврилу Клементьева, будто бы

распространявших при нем подрывные рассуждения о престолонаследии: «Ныне де проявился новый царь а государыне императрице де на царстве не быть». доносы вызвали затянувшийся розыск, в результате которого «важности к следствию Тайной канцелярии не явилось», а сам доносчик угодил под кнут⁴³.

Остальные же доносители такими склочными характерами не обладали, да и настоящих «бунтов» в 1732 году не наблюдалось. Пожалуй, только крестьяне одного из «погостов», принадлежавших цесаревне Елизавете, отказались исполнить распоряжение ее вотчинной канцелярии — заплатить оброчные деньги «за прошлые годы». Смутьяны во главе со старостой Яковом Яковлевым сначала «выслали» из села подьячего с указом, а потом выгнали явившихся сержанта и трех солдат — куда тем было тягаться с 300 рассерженными мужиками. Крестьяне «учинили бунт» да еще похвалялись, что «не покорятся и полку». Преступление было налицо; но тут сказала слабая сторона организации сыска — Тайная канцелярия для усмирения бунтовщиков сил не имела и могла только требовать от Новгородской губернской канцелярии арестовать старосту и других «заводчиков». Схваченные же случайно три мужика вели *себя* в традициях крестьянских «бунтов»: отговаривались тем, что ничего не знали, во время событий были «в отлучке» и никаких «противных слов не говаривали».

Обычными поводами для доносов стали «небытие» у проходившей в декабре 1731 года новой присяги людей «разных чинов» и предосудительное поведение забывавших о своих обязанностях святых отцов. К примеру, отставной поручик Федосей Кутузов усмотрел, что соседский дворянский сын Иван Матюшкин не исполнил гражданского долга — и 17-летний недоросль был тут же призван к ответу. На допросе он повинился, оправдываясь «несознанием своим» по причине «меленколичной болезни»⁴⁴. Кажется, ему поверили — так же, как исполненному ведомственной гордости прапорщику инженерного корпуса Владимиру фон Тирену. Обвиненный воеводой Колы в нежелании присягать прапорщик заявил,

что лишь не признал над собой власти какого-то «штатского» воеводы, и требовал прислать текст при----- «по команде», то есть из Канцелярии главной артиллерии и фортификации⁴⁵.

Пожилому «царедворцу» Василию Мельгунову так легко отделаться не удалось, хотя он представил целый набор оправданий отсутствия на присяге: сначала он был злодейски избит (вместе с «неведомыми воровскими людьми») солдатами местного батальона, затем ему досталось от рукоприкладства полковника Федора Норова; потом он должен был скрываться в доме сестры на Белоозере от угрозы «смертного убивства» со стороны своего дворового Федора Иванова. Однако у Ушакова работали люди опытные, и обилие смягчающих обстоятельств, видимо, вызвало у них подозрения. Выяснилось, что полковник действительно Мельгунова побил, но на Белоозере тот не ездил и солдатами поколочен не был. За вранье «царедворец» отведал плетей, после чего был приведен к присяге.

Не поверил Ушаков и отставному прапорщику лейб-регимента Аверкию Козловскому, чистосердечно признавшемуся в «небытии у присяги» по болезни. Андрей Иванович приказал «взять» ослушника к розыску, и опять интуиция его не подвела: выяснилось, что «тяжелобольной» Козловский, будучи не в силах явиться для принятия присяги и посетить «свою» Белозерскую воеводскую канцелярию, отправился за 400 верст в Галицкий уезд да еще и объявил о своем проступке «спустя многое время». За это он получил заслуженные батоги, после чего был приведен к присяге⁴⁶.

Ушаков не спускал и обычной российской расхлябанности в столь важных делах. Солдат Новгородского гарнизона Сергей Бурлов собирался подать донос на неприсяжную компанию — новгородского дворянина Фомы Бундова с сыном Трофимом и племянником Иваном Ближенковым; но по дороге доносчик так расслабился, что спяна донос «раздрал», а потом заехал в дом... обвиняемого им Бундова, чтобы там бумагу поправить и «припечатать»! Как ни

уверял солдатик, что подследственные ни о чем не догадались (скорее всего, по причине неграмотности и всё того же пьянства), ему пришлось первому отведать плетей⁴⁷.

Отцы духовные и подавно не являли пастве образцы христианских добродетелей; благонамеренные обыватели подавали доношения на попов, не совершавших вовремя молебнов и не поминавших имени императрицы. Батюшки оправдывались «сущей простотой», извинительным «беспамятным» пьянством и неизвинительным участием в сельских работах. Тюменского протопопа Дмитрия Васильева за то, что забыл — в трезвом виде! — совершить молебен в день коронации императрицы, лишили сана, высекли кнутом и отправили навечно в монастырь⁴⁸.

Помимо «присяжных» дел в Тайную канцелярию попадали доношения по самым разным случаям и из разных слоев общества. Так, почти одновременно поступил донос на генерала Василия Вяземского, отказавшегося выпить за здоровье герцогини Екатерины Иоанновны (дело «не следовалось», не будучи признано важным, да и сестру свою Анна не очень жаловала), и на нищих Федоровской богадельни от их собрата, донельзя оскорбленного произнесенными в перебранке по его адресу словами «чернокнижник» и «еретик». Тихвинский посадский Мартемьян Калашников отчего-то обозвал соседа «царственным вором и хищником»; на следствии же не мог объяснить причину и только повторял, что оговорился — хотел сказать «хищником интереса и вором»⁴⁹.

Отличиться в государственном рдении спешили и молодые, и старые. Почтенный коллежский асессор Коммерц-коллегии Игнатий Рудаковский не поленился обвинить в оскорблении величества простого адмиралтейского столяра, заявившего, что будет жаловаться на обиды самой «Анне Ивановне», не указав надлежащего титула. 13-летний ученик Академии наук Савка Никитин донес на караульного солдата, укравшего стаканы из адмиралтейского «гофшпиталья», — какое-никакое, а все же государственное имущество⁵⁰.

Беспечный матрос Парфен Фролов на исповеди у ропа «морского полкового двора» Ивана Иванова по--ялся в неприличном «греховном помысле» об... императрице Анне Иоанновне. Батюшка немедленно донес куда следует, и морячок получил плетей и три года каторги за то, что «мыслил непристойно»⁵¹.

Канцеляристы «Низового корпуса» Алексей Попов и Андрей Пырьев, несшие тяготы службы в новозавоеванных персидских провинциях на гиблом южном берегу Каспийского моря, не придумали лучшего, чем сострять донос на жену «студента» Алексея Протасова (вероятно, их коллеги, более удачливого по службе), обвинив ее в оскорблении «превысокой чести ее императорского величества». По словам доносителей, Вера Протасова якобы заявила: «У нас во дворце то как сама, так и все бляди». Однако поставленной цели — «отбыть из Гиляни» — доносчики не добились. Следствие сразу выяснило, что сами они — «люди подозрительные»: служат плохо, «пьют безобразно», а посланного на переговоры П. П. Шафирова «бранили всякими ругательными словами». После проведенных на месте «трех застенков» Пырьев сознался в оговоре. Тем не менее их информация была получена Ушаковым и Анной Иоанновной, и обоих доносителей в апреле 1732 года приказано было пытаться вновь. Оба показали, что их «побуждал и наставлял» к доносу подполковник Лев Брюхов. Вытребованный в Петербург офицер по дороге умер в Баку, а неудачливые канцеляристы по решению военного суда были казнены на площади иранского города Решта⁵².

Порой жажда мести или славы заставляла доносчиков совершать даже дурно пахнувшие, в буквальном смысле, поступки. Октябрьским утром 1732 года на дворе Максаковского Преображенского монастыря объявился торжествующий иеродьякон Самуил Ломиковский. «Вышед из нужника», ученый монах держал в руках две «картки, помаранные гноем человеческим, на которых написано было рукою его, Ломиковского, сугубая эктения, по которой воспоминается титул ее императорского величества и ее

величества фамилии, а признает он, Ломиковский что теми картками в нужнике подтирался помянутой иеромонах Лаврентий» — старинный «злейший друг» иеродьякона Лаврентий Петров. В допросе перед духовными властями доноситель подробно рассказал об устройстве монастырских отхожих мест и описал, «как он, Ломиковской, был в нужнике, в которой де ходят из дву келей одними сенми: из одной он, Ломиковской, со иеродиаконем Иоасафом; из другой означенный иеромонах Лаврентий, духовник Варфоломей да иеромонах Феодосии». Найдя те самые «картки», он сразу догадался, чьих рук (и иных частей тела) было дело, так как видел, как именно Лаврентий указанное отхожее место посещал, «а те картки были свежепомараннные». Надо было очень постараться, чтобы узреть злополучные «картки» в выгребной яме и вытащить их оттуда. Торжествующий иеродьякон продемонстрировал инокам-соседям ароматные доказательства преступления.

О ссоре с Петровым сам Ломиковский рассказал вполне простодушно: «То де поссорятся они и прощаются, и в пьянстве де он, Лаврентий, досадит ему, Ломиковскому, каким укорительным словом, то де и подерутца». В этой драме иеродьякон решил, наконец, поставить точку — сжить врага со света любой ценой. «Я де знаю, как донесу; то де мне кнут, а тебе голова долой!» — кричал он. Но его угрозы не сбылись — Петров наглухо «заперся» в совершении преступления, а доказать именно его вину в осквернении выисканных в клозете «карток» Ломиковский не смог, ибо его оппонент не был уличен непосредственно в процессе их преступного употребления. Для доносчика вендетта закончилась печально — он был лишен сана, выпорот кнутом и сослан «в Сибирь на серебряные заводы в работу вечно». Свидетельством непримиримой вражды осталось дело «о подтирке зада указом с титулом ее императорского величества»⁵³.

Неудача постигла самого Феофана Прокоповича, выступившего не только доносителем, но и своего рода добровольным помощником Тайной канцеля-

рии, используя для этого свои полномочия новгородского архиепископа. 15 октября он обратился с личным письмом к «превосходительнейшему господину генералу» и «милостивому благодетелю» Ушакову о передаче в ведение последнего очередного арестанта, указав причину задержания: «В недавних числах усмотрел я некоего человека, еще не старого, который разные церкви обходя, лице на себе являл якобы шпиневатое, а мне остро в очи приглядывался; а с платья весьма худого и необычного казался, что если он не церковный причетник, то никакова иного чина. Был же на нем и вид якобы некоего, или прямого, или притворного юродства, что из шатких его движений виделось. Пришло мне на мысль, не служитель ли он известного мятежесловия, и по силе синодального о таковых по церквам являемых шатунах определения приказал я взять его в синодальную канцелярию и допросить: кто, откуда и зачем и о прочих обстоятельствах, ис которых мощно бы мне рассудить, приличен ли он или ни к известному воровству. И из допросных его речей не показалось известно, что он таков, однако же и не без подозрения. Но понеже он в ответах заговорил некие речи, к Тайной канцелярии прислушающие, а наедине с одним приказным произнесл нечто и зело чудное, хотя, по моему мнению, ложное, того ради больше не допрашивать, но к превосходительству вашему его и его речи отправить надлежало, что при сем и исполняю»⁵⁴.

Ох и умен был «доброжелательный богомолец», прослывший одним из самых просвещенных людей той эпохи. В коротеньком письме он сумел и подчеркнуть свои особые отношения с сыском, и продемонстрировать готовность лично выявлять по столичным храмам подозрительно одетых и «остро глядящих» людей, и тут же попытался притянуть схваченного бродягу к «известному мятежесловию» (описанному выше делу своего врага Маркелла Родышевского и «подметных» памфлетов). Правда, вторгаясь в полномочия Ушакова, Феофан вовремя остановился, догадливо признавшись: не хватает

ему, архиепископу, умения «расколоть» арестанта (который, правда, ничего предосудительного не совершил, но был «не без подозрения»), а потому он почтительно передает его в умелые руки чинов Тайной канцелярии.

Только людям Ушакова тоже ничего обнаружить не удалось, хотя уже на следующий день арестованный был допрошен лично их начальником. Задержанный Феофаном сын типографского работника из Москвы Иван Крылов и вправду был подданным «нерегулярным»: отцовской профессии не выучился (хотя был грамотным и сам подписывал допросные речи), жил «в услужении» у разных людей то в Москве, то в Петербурге и даже был в 1731 году бит кнутом за «дерзновенную» подачу челобитной самой императрице по уголовному делу некоего курского купца. В изъятых бумагах ничего «к важности не было» — разве что свидетельства, что беспутный ярыжка хотел выглядеть более респектабельно, а потому в разговорах хвастался, что оказал важные услуги отечеству, и «дело Долгоруких от него ж, Крылова, началось», и в Тайной канцелярии «по доношению ево, Крылова, якобы трое казнены», что было обычным враньем. Для порядка бродягу в присутствии Андрея Ивановича вздернули на дыбу, но и после 16 ударов ничего нового он не сказал. 4 ноября был готов приговор: болтуна выпороть кнутом и отправить в Охотск. Не отпускать же на свободу человека — хотя и невиновного, но присланного самим «превосходительства вашего слугой, смиренным Феофаном».

В 1732 году представителей «шляхетства», привлекавшихся к следствию по политическим делам, было пока немного — 5,7 процента от общего количества подследственных (при Петре I — 5,5 процента). Тогда в Тайную канцелярию попали тут же освобожденный секретарь Канцелярии главной артиллерии и фортификации Яков Леванидов, комиссар Придворной конторы Федор Левашов («свобожден без наказания») и ее же секретарь Александр Яковлев, наказанный плетью и сосланный в Охотск, секретарь

ямской конторы Семен Черкасов, отпущенный с выговором в тот же день. Из военных оказались под следствием генерал Василий Вяземский, умерший по дороге подполковник Астрабадского полка Лев Брюсов и поручик гвардейского Измайловского полка Николай Лопухин (за пьянство и неизвестное нам «непотребство»); более крупных персон и представителей придворной знати среди клиентов Тайной канцелярии мы не встретили.

Зато в сыскные органы добровольно являлись возвышенно настроенные «клиенты». 1 мая 1732 года в петровских традициях (прямо у дворцового караула) объявил «слово и дело» отставной рейтар Василий Несмеянов. В расспросе он заявил о представшем перед ним наяву «старе муже в образе Николая Чудотворца», который наказал Несмеянову основать в Петербурге монастырь с церковью Николая «чюдотворца глухорецкого». Любопытно, что после такого внушения рейтар двинулся не к столичному архиерею или в Синод, а предпочел «сдаться» Тайной канцелярии — видимо, считал ее более богоугодным и эффективным учреждением, чем официальные церковные органы. Однако профессионалы сыска мистики не одобряли и в отношении подобных визионеров были настроены скептически, тем более что сразу (по следам побоев?) усмотрели: объявитель чуда «по виду знатно был розыскиван». После нового «крепкого розыска» Несмеянов 13 мая показал, что святой Николай явился ему не в реальности, а «в сновидении», и допускал причиной загадочного явления наличие не божественной, а «какой неприязной силы». Потом он и вовсе признался, что «чудо» выдумал — и не совсем бескорыстно: хотел, «чтоб ево постригли в монахи». 25 июня был оглашен приговор: кнут, рваньё ноздрей и ссылка «в работу вечно» в Рогервик. Что же касается истинных чудес, то подготовленный в Тайной канцелярии указ авторитетно определил: им с подобными подозрительными субъектами «статца никак невозможно»⁵⁵.

Порой приходилось разбираться не только с грешными людьми, но и с самой нечистой силой.

В марте 1732 года в Тайную канцелярию с жалобой на запойного мужа обратилась супруга каменщика Канцелярии от строений Ивана Лябзина. Тот стал оправдываться — поневоле запьешь, когда являются к тебе целых «тридцать демонов» и говорят: «Ты Лябзин наш, за тебя на рынке у нас был бой». Для спасения от не поделивших душу каменщика чертей его надолго посадили «под караул», после чего прописали «лечение» кнутом и трудотерапию по месту основной работы⁵⁶ — «демоны» не должны были мешать строительству новой столицы.

Однако подобные посетители в Тайной канцелярии были редкостью. Обычной же головной болью ее служащих являлись бесконечные ложные доносы — как правило, бесхитростные и однообразные. В этом смысле наиболее часто отличались нещадно муштруемые и наказываемые солдаты и моряки.

Матрос Емельян Фролов донес на боцмана Варфоломея (должно быть, строгого иноземца), якобы укравшего какую-то «кожу», а оказавшись «под кошками», объявил, что мичман Иван Шокуров произнес некие слова «к поношению чести ее императорского величества». Наказанный за кражу солдат Яков Филимонов, «не стерпя побой», крикнул «государево слово» на капитана Ивана Сурмина; так же при аналогичных обстоятельствах поступил служивый Ямбургского полка Яков Ипатов, обвинивший в «непристойных словах» капитана Клеопина. Еще один солдат, Павел Григорьев, доложил — опять-таки ложно, — что его сослуживец Степан Индюков «разломал кровлю» в квартире солдата Зубова «для кражи платья». А рядовой из Кронштадта Андрей Сапожников и без порки пожелал подвести под политическое обвинение своего капрала Евдокима Ушакова; на следствии он оправдывался всегдашним пьянством⁵⁷. Это лишь несколько имен из длинного ряда заявителей. Привести их все нет возможности; они попадали в Тайную канцелярию едва ли не каждую неделю, да и «дела» их похожи: наказание (или угроза наказания) за конкретный служебный проступок — объявление «ее императорского величества

слова и дела» — признание извета ложным на допросе или на пытке. Сложнее понять, что, помимо страха или боли, двигало этими людьми. К сожалению, следователи, как правило, не стремились подробно выяснить мотивы их поступков (поскольку сами «объявления» быстро признавались ложными) и удовлетворялись стандартными формулировками: «с сущей простоты», «не стерпя побой» и, понятное дело, от российского «безмерного пьянства».

Конечно, обычный деревенский житель мог и не ведать о порядке допроса и методах выявления «истины». Но российские служивые принимали присягу и должны были знать Артикул воинский; наконец, в каждом полку наверняка ходили рассказы о наказаниях за подобные поступки. А они были суровыми — например, Емельян Фролов получил тысячу «спирцутен», другим доставалось и того хуже — кнут, «урезание» ноздрей и ссылка в Сибирь или Рогервик на каторжные работы⁵⁸.

Порой даже «истинный» доноситель мог пострадать на всю оставшуюся жизнь. В октябре 1732 года бобыль Иверского монастыря Мирон Петров обвинил дворцового крестьянина Афанасия Федорова. Доставленный для следствия мужик вину не признавал, а после двух пыток «под караулом умре». В такой ситуации доноситель, заявивший, что знает и «доказать может слово и дело», и имевший основания рассчитывать на награду, был признан... виновным и отправлен в Охотск⁵⁹.

Если лжедоносчики действительно хотели «подвести под кнут» злого командира или сослуживца, они должны были быть готовыми терпеть «розыск» и пытку. Но большинство «объявителей» признавались в ложном доносе сразу же, не дожидаясь пытки, или с первой «виски». Упорствовали лишь немногие — например, полковой писарь Иван Немиров, заявивший «слово и дело» на капитана Семена Жукова; в тяжелой ситуации оговоренного офицера выручили свидетели, и до применения к нему пытки следствие не дошло⁶⁰.

денщику же адмирала Гордона Ивану Крутынину пришлось испытать тогдашние методы выявления

истины. В сентябре 1732 года он донес на монастырского крестьянина Никиту Наседкина «в говорении непристойных слов на один» — якобы тот кричал, что фельдмаршал «фон Минихен государыней гнушается». Но обвиненный крестьянин ни в чем не признался. После допроса и очной ставки начальник Тайной канцелярии постановил: «Естли оной Наседкин в тех словах не повинится, то оного Крутынина подняв на дыбу, расспросить с пристрастием, и ежели оной Крутынин с подъяму в том своем показании утвердится, то и означенного крестьянина Никиту Наседкина по тому ж, подняв на дыбу, расспросить с пристрастием». Оба фигуранта выдержали по три «виски», после чего Ушаков вынес решение: «В споре между Насеткиным и Крутыниным более не розыскивать, понеже, как Крутынин с подъяму и с трех розысков, так и Насеткин с подъяму и с трех розысков всякой утверждается на своем показании и правды, кто из них виновен, не сыскано; только, что Насеткин со вторичного и третьего розысков показал, что разве де он, Насеткин, Крутынину говорил такие слова, что жалуются на фон Миниха солдаты, что их жалованье задерживает, почему видно, что Насеткин означенное затевает, не хотя против показания Крутынина объявить истины, и за то послать его, Насеткина, в Сибирь на серебряные заводы в работу, также и Крутынину свободы учинить не надлежит, понеже в споре с Насеткиным был розыскиван». Таким образом, оба были признаны виноватыми, и 2 сентября 1732 года не «доведший» донос Крутынин отправился в Охотский острог, а Наседкин — на кацоргу. По закону его надлежало бы считать «очистившимся»; но он допустил «переменные речи» и таким образом признал, что в разговоре о фельдмаршале участвовал⁶¹.

Можно предположить, что многие кричали «слово и дело» в отчаянной ситуации — по принципу «хуже не будет». Например, буйный вояка, отставной капрал Иван Мякишев, убивший бывшего игумена Елизарова монастыря Симеона, под следствием заявил «слово и дело» и на самого покойного, и на тог-

дашнего игумена Виссариона⁶². Виновный в самовольной «отлучке» солдат Астраханского полка Иван Малышев при последовавшем «гоняний спицрутен» выхватил нож и сначала нанес себе рану в «брюхо», а когда оружие отняли — крикнул «слово и дело»⁶³. А «человек» князя Василия Мещерского Григорий Ветошкин во время «держания его под караулом» за разорение деревень хозяина подал донос на солдата Сугучева, якобы что-то знавшего про «похищение казенного интереса».

Некоторых приводила в застенки неуместная похвальба. В октябре был взят под арест работавший на лесозаготовках для флота бывший крестьянин Федор Ошурков — он в пьяной драке заявил, что ничего не боится, поскольку в Преображенском приказе «розыскиван шесть раз да дважды зжен огнем и потом с того приказу ушел». Мужик и вправду оказался крепким орешком — ему еще в 1727 году проиграл противостояние на следствии матерый доносчик Григорий Левшутин. Будучи схвачен с «воровскими полушками» и обвинен в том, что угваривал Левшутину не креститься троеперстно, Ошурков ни в чем не признался и выдержал положенные три пытки. Вслед за ним доносчик претерпел эту привычную для него процедуру, подтвердив на ней донос; но на сей раз здоровье не выдержало. Однако и на предсмертной исповеди Левшутин в своих показаниях «утвердился». Следователи вновь взяли за Ошуркова — он был пытан еще трижды, после чего по закону стал «очистившимся» от обвинения и был «свобожден с роспискою». Но в 1732 году Ошурков был признан виновным и отправлен на каторгу⁶⁴.

Другие ударялись в доносительство и вовсе без повода — от безысходности несения тяжкого солдатского или крестьянского ярма, с исконной отечественной надеждой на «авось». «Сила» неправильно втолкованных казенных указов добавляла им сознание собственной значимости, когда — на миг и дорогой ценой — человек с самого общественного «низа» мог почувствовать себя важной фигурой, как

загулявший «в отлучке» солдат Савелий Денежка объявивший «слово и дело» прямо на Невском проспекте, не имея ни на кого зла⁶⁵. Кое-кому действительно так удавалось изменить судьбу не в худшую сторону. Назначенный к порке Мартын Ларионов — крепостной галицкой вотчины лейтенанта флота Тимофея Щербатова — избивать себя «не дался» и крикнул на господ «слово и дело». Доказать вину барина Мартын не смог, но нервы хозяину потрепал изрядно, пока не сознался, что сделал извет «в пьянстве». В итоге лейтенант заявил, что строптивый мужик ему «не надобен», и тот был сдан в солдаты⁶⁵. Солдатская служба в XVIII столетии — совсем не сахар; но крепостной мужик из российской глубинки благодаря своему «непокорству» стал «государевым слугой», а российская армия, возможно, обрела бравого вояку из числа тех, кто ни Бога, ни черта не боится.

Правда, служивых часто ожидала та же беда — как уже говорилось, в армии угодить под донос было легче. И в 1732-м, и во все последующие годы офицеры, унтера и солдаты регулярно «стучали» на однополчан. Поручик флота Алексей Арбузов на обеде у белозерского воеводы 28 октября 1732 года громогласно обвинил прапорщика Василия Уварова в нежелании выпить водки за здоровье императрицы, «как российское обыкновение всегда у верных рабов имеетца», — прапорщик посмел отпить только половину рюмки, заявив, что у него «от хлебного вина болезнь». Морской волк Арбузов на следствии пытался изобличить его — сам видел, как Уваров «в других компаниях как вино, так и пиво пил и пьян напивался». Быть бы прапорщику осужденным, но, по счастью, другие гости подтвердили, что он уже выщедил полный стакан пива, когда Арбузов потребовал пить водку⁶⁷.

Доносы солдат на офицеров еще можно объяснить протестом против жестокой муштры и дисциплины, но служивые столь же исправно доносили и на своего брата рядового. Можно полагать, что армейское доносительство было вызвано не только верно-

стью присяге и знанием законов, но и честолюбием — ведь именно в армии вчерашний мужик мог реально стать если не «их благородием» обер-офицером, то хотя бы «господином подпрапорщиком», донос в определенной мере подрывал полковое братство, но давал возможность командирам знать настроения в полку и не допускать круговой поруки нижних чинов.

Летним вечером 1732 года один из служивых Новгородского полка в кронштадтской казарме пересказал забавную байку, услышанную от солдат соседнего Ладожского полка. Те, находясь на работах в Петергофе, стали свидетелями того, как однажды сама императрица, стоя у раскрытого окна, подозвала проходившего мимо мужика: «Чего де для у тебя шляпа худа, а кафтан хорошей?» — после чего «ее императорское величество пожаловала тому мужику на шляпу денег два рубли». Рассказчик умилялся, до чего государыня «до народу всякого звания милостива»; но не все слушатели с ним согласились. Солдат Иван Седов даже обиделся и в сердцах брякнул: «Кирпичем бы ее сверху ушиб, лутче де те денги салдатом пожаловала!»⁶⁸ Потом сослуживцы Седова Тимофей Иванов, Иван Мологлазов и Иван Шаров стали просить капрала Якова Пасынкова донести, и вся компания отправилась к начальству. «Доказательная база» была налицо; Седов не стал «запираться» — только утверждал, что говорил «простотою» и в обиде: «Изволит ее величество, кроме салдат, жаловать денгами мужиков». Едва ли сослуживцы Седова были убеждены в том, что жаловать надо не служивых, находившихся в Петергофе на тяжелых работах, а шлявшихся без дела «штатских» мужиков, но всё же пошли с доносом — и не только из страха быть обвиненными в недонесении. Бедняга Седов был приговорен к казни, замененной вечной ссылкой в Охотск, а доносители получили награду: троим солдатам — по 5 рублей, а Пасынкову — целых 10. Капрал вошел во вкус и в том же году донес еще на одного своего подчиненного, Кирилла Семенова; но на этот раз в Тайной канцелярии признали, что сказанные солдатом сло-

ва «к важности не касаются», и в поощрении доносчику отказали⁶⁹.

Вероятность попасть под донос была велика и для тех, кто не только действовать, но и «мыслить непристойно» себе не позволял. Солдат Новгородского полка Иван Морозов, купив «четвертку» вина на пятак, отправился в гости к служивому соседнего Владимирского полка Осипу Быкову; подошли и другие гости, и вряд ли выпивка ограничилась одной емкостью. В ходе непринужденной беседы солдат Иван Шубин помянул зачем-то «полковника» Преображенского полка; на что Морозов возразил, что говорить о начальнике не к месту, «мать его боди». Армейские гвардейцев не любили, и такой поворот разговора опасности вроде бы не представлял; да только полковником всех гвардейских полков являлась государыня императрица. Появившийся внезапно повод к доносу был немедленно реализован. Хорошо еще, что Морозов сумел убедить своей «простотой» служащих Тайной канцелярии — те поверили, что он просто не знал, кто на самом деле возглавлял первый гвардейский полк, потому и наказан был не строго — всего лишь батогами⁷⁰.

Но цена «непристойных слов» могла быть непомерно высокой. В ноябре 1732 года на карауле в Кронштадте солдат Владимирского полка Макар Погуляев поделился с приятелем Василием Воронковым сообщением, что императрица Анна Иоанновна скорее всего «живет з генералом фелтмаршалом графом фон Минихиным» и оттого «оной фон Миних во всем волю взял» — заставляет солдат работать на строительстве Петергофа. Пьяненький Воронков где-то эти слова повторил, за что был взят — а ведь едва ли его сослуживцы сильно сочувствовали Миниху или одобряли использование армии на тяжелых строительных работах. Воронков, сославшись при допросе на приятеля, сильно рисковал — донос мог быть признан ложным: разговор происходил наедине, свидетелей не было, оговоренный поначалу «заперся». Правда, в процессе следствия Погуляев признал, что произносил неприлич-

ные «слова», но «перевел стрелки» на другого солдата, Илья Вершинина, а тот категорически всё отрицал, под самый Новый год дело было раскрыто, и 30 декабря в соответствующей книге Тайной канцелярии появился последний протокол. «Слушано: о присланных из Кронштадта солдате Макаре Погуляеве Владимирского пехотного полка и гренадере Илье Вершинине». В нем значилось, что Погуляев «с одного подъема и с розыску винился и сказал, означенных непристойных слов от помянутого Вершинина и от других ни от кого он, Погуляев, никогда не слышал, а затеял де о том вымысля собою простотою своею, отбывая за вину свою наказанья <.. > в мысль де его, Погуляева пришло, чтоб показать о вышепоказанных словах на означенного Вершинина, понеже думал он, Погуляев, от простоты своей, что оному ево показанию поверят».

Макар Погуляев ранее уже уличался в краже. Бдительный Ушаков решил «розыск» продолжить — дознаться: «Так ли подлинно вымыслил собою?» Может, подследственный «сговаривает, сожалея того Вершинина»? Это решение зафиксировал подписанный им 31 декабря 1732 года протокол, которым был закончен трудовой год Тайной канцелярии⁷¹.

Как встретили Новый год Ушаков и его сотрудники, мы не знаем — известно только, что еще 27 декабря он поручил подканцеляристу Михаилу Кононову составить приходно-расходную книгу и подвести годовой баланс. 5 декабря в канцелярию пришла весть об именном указе императрицы Сенату «определить» канцеляриста Николая Хрущова в секретари — Андрей Иванович подавал Анне Иоанновне доношение о достойном служащем, «которой имеет труд прилежной и к правлению оных дел изобыкновенен, и при оных важных делах обретается многие годы беспорочно». С жалованья новоутвержденного полагалось произвести вычет «на лазарет», а его самого привести к присяге⁷². Так что наверняка удачно начавший карьеру в Петербурге Хрущов под новый, 1733 год принимал поздравления сослуживцев и отмечал повышение.

В истории Тайной канцелярии 1732 год ничем из ряда вон выходящим не отмечен. Для «сидельцев» он окончился по-разному. Одни из них были рады, что вышли из крепости целыми и невредимыми: «свобождены без наказания» были архимандрит Заиконоспасского монастыря Софроний, комиссар Придворной конторы Федор Левашов, «торговый человек» Иван Гутман, подьячие Иван Михайлов и Николай Васильев, дьячок Софрон Филиппов, «иеродьяк» Иосиф Скрипицын, слуги чинов Сухопутного шляхетского кадетского корпуса Калина Прокофьев и Андрей Никифоров, «дома ее императорского величества крестовый поп» Матвей Андреев и новгородский батюшка Яков Малафеев, солдаты Ладожского полка Ефрем Башмаков, Степан Зуев и Авдей Нехаев. Все они отправились по домам или на службу с «пашпортом», дав расписку о неразглашении услышанного и испытанного в застенке, чтобы «нигде ни с кем разговоров не имел» под страхом жестокой казни.

Канцелярист Главной дворцовой канцелярии Дмитрий Денисов и не присягнувшие вовремя дворяне Аверкий Козловский и Фома Бундов получили батоги — по современным меркам, что-то вроде строгого выговора. Под плети легли капралы Илья Козляков и Василий Беляев, каменщик Федор Щап, матрос Дмитрий Иконников, иеромонах Исая, московский канцелярист Яков Чонкин. Солдат Кексгольмского полка Авдей Икрянинов и писарь Мирон Зашихин были отправлены в ведение Военной коллегии — к себе в полк для «гоняния спицрутен», а архимандрит Андроникова монастыря Клеоник — в ссылку в «дальний монастырь». Кнут достался колоднику Ивану Носову, певчому Троицкого собора из Пскова Никите Иванову, бродяге с неуместно «острым» взором Ивану Крылову — потом их ждали далекие Охотск и Камчатка.

Иные так и не дождались своего приговора. Умер «под караулом» в самом начале нового года комиссар Федор Назимов; скончались забранные по «делу» Феофана Прокоповича «рострига Осип» и писатель

Алексей Барсов. Проходившим по тому же делу Зятям-художникам Никитиным и архимандриту Платону Малиновскому предстояло еще несколько лет провести в заключении под следствием.

Разошлись пути солдат, проходивших по последнему в 1732 году делу. Василию Воронкову повезло — за повторение «непристойных слов» он был всего лишь выпорот батогами и отправлен в полк продолжать службу. А для их автора Макара Погуляева новый год оказался последним. Вторая пытка (23 удара кнутом) в присутствии Ушакова новых показаний не принесла, и солдату был вынесен смертный приговор — 13 февраля 1733 года он сложил голову на плахе⁷³. Но в основном приговоры Тайной канцелярии особой жестокостью не отличались: в 1732 году были казнены два человека — бывший чудовский архимандрит Евфимий и «каторжной невольник распоп» Савва Дугин.

«Громкие» судебные процессы царствования Анны Иоанновны (над Д. М. Голицыным, Долгоруковыми, А. П. Волынским) были еще впереди. Именно они и определили плохую «социальную репутацию» Тайной канцелярии и всей эпохи «бионовщины» прежде всего в глазах российского дворянства.

Глава 8
«Учинить означенное наказание»

Судейское «собрание»

На предыдущей главе можно было бы завершить наше повествование о работе органов политического сыска. Но чтобы картина была полной, проследим окончание того пути, который начинался с доноса и проходил через процедуру следствия с допросами и пытками.

Рано или поздно «следование» заканчивалось, и наступало время выносить приговор. Собственно, суда как особой юридической процедуры с участием профессиональных судей и состязанием сторон в практике политического сыска не было. Чиновники Тайной канцелярии сами вели «розыск» и по его результатам готовили экстракт дела с изложением его содержания, перечнем подходящих к случаю законов и на их основе предлагали «определение»-приговор, который для массы обычных дел фактически утверждался ее начальником. Другие же проекты решений поступали на утверждение государя или, по его указанию, в Сенат для рассмотрения.

Если речь шла о громких политических делах, затрагивавших представителей высшей знати и бюрократии, император повелевал создать особое присутствие из высокопоставленных персон для формального суда. Так поступил Петр I, учредивший суд над царевичем Алексеем: наследника судили 128 че-

ловек, начиная от генерал-фельдмаршала Меншикова и заканчивая гвардейским прапорщиком Дорофеем Ивашкиным. Аналогичные комиссии были созданы для рассмотрения дел П. А. Толстого и д. М. Девиера, Д. М. Голицына, Долгоруковых, А. П. Волынского, А. И. Остермана, Б. Х. Миниха и М. Г. Головкина, В. Я. Мировича.

«Генеральное собрание» по делу князя Д. М. Голицына состояло из 20 человек, в число которых вошли кабинет-министры и сенаторы. Долгоруковых судили два кабинет-министра (в том числе Волынский), три архиерея из числа членов Синода, все сенаторы, генерал-фельдмаршал И. Ю. Трубецкой, адмирал Н. Ф. Головин, генерал-аншеф Г. П. Чернышев, два генерал-майора и четыре майора гвардии; высшие придворные чины (обер-шталмейстер А. Б. Куракин и гофмаршал Д. А. Шепелев), генерал-кригскомиссар Ф. И. Соймонов, президент Ревизион-коллегии А. И. Панин и ряд менее крупных чиновников — вице-президент Коммерц-коллегии Иван Аленин, советник Адмиралтейства Захар Мишуков, советник Петр Квашнин-Самарин¹. Судьбу Остермана и Миниха определяли сенаторы и еще 22 сановника.

Однако состав самого судебного собрания не был предусмотрен никакими законами. Поэтому канцлера А. П. Бестужева-Рюмина судил Сенат, Бирона — следственная комиссия из шести генералов и двух тайных советников, а лейб-медика Елизаветы Петровны А. Лестока и издателя Н. И. Новикова — сами государыни. Но даже если подобное «Генеральное собрание» и созывалось, то оно, по сути, никаким судом не являлось, а лишь утверждало обвинительное заключение следствия. Но и оно порой не имело значения. В 1736 году, утверждая приговор кабинет-министров по делу Егора Столетова и его друзей (а речь там, напомним, среди прочего зашла о сожительстве поручика князя Белосельского с сестрой императрицы, мекленбургской герцогиней Екатериной), Анна Иоанновна признала, что Столетов «явных улик и никаких достоверных доказательств и свидетельства не представляет», да и сам является «человеком подо-

зрительным и шельмованным»; однако, поскольку им «показаны <...> слова важные», то предполагаемого любовника надлежит сослать — и не в деревни, как предлагали министры, а «на вечное житье» в Оренбург. В 1748 году Елизавета Петровна «высокоматерно» заменила лейб-медику Лестоку определенную Тайной канцелярией смертную казнь на порку кнутом и ссылку на житье в Охотск, но затем передумала; бывшего доверенного врача императрицы по ее повелению держали в крепости еще несколько лет, после чего отправили в достаточно комфортабельную, по российским понятиям, ссылку в Великий Устюг.

При этом сами «судьи», принадлежавшие к тому же кругу, что и подсудимые, как правило, хорошо их знали, поэтому могли быть обвиненными в содействии или сочувствии им. Так, просвещенные собеседники Волынского сенатор В. Я. Новосильцев и генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой сначала тоже угодили под следствие и должны были доказывать, что никакого участия в его проектах не принимали. Зато Новосильцев сразу покаялся в других преступлениях: «Будучи де при делах в Сенате и в других местах, взятки он, Новосильцев, брал сахар, кофе, рыбу, виноградное вино, а на сколько всего по цене им прибрано было, того ныне сметить ему не можно. А деньгами де и вещми ни за что во взятки и в подарок он, Новосильцев, ни с кого не бирывал» — и далее перечислил «анкерок» вина, две лошади, «зеленого сукна 4 аршина», серебряные позументы, которые «взятком» считать, с точки зрения сенатора, не стоило². Анна все же поверила в невинность обоих. Новосильцеву объявили выговор — но не за взятки, а за то, что ознакомившись с проектом Волынского, вовремя не донес; а Трубецкого тут же назначили судьей своего недавнего собеседника.

По части рассмотрения важнейших политических дел ситуация и позднее не изменилась. Когда в марте 1763 года ростовский митрополит Арсений Мацеевич посмел подать в Синод письменные возражения на инструкцию о новой системе управления церковными вотчинами, сами архиереи усмотрели в

них оскорбление ее императорского величества и в качестве судей постановили: строптивца «архиерейства и клобука лишить, и послать в отдаленный монастырь на крепкое смотрение, и бумаги и чернил ему не давать». Кроме того, члены Синода, решив отдать Арсения под уголовный суд, намеренно подыграли светской власти, чтобы она могла проявить милосердие. Резолюция Екатерины II от 14 апреля гласила: «По сентенции сей сан митрополита и священства снять, а если правила святые и другие церковные узаконения дозволяют, то для удобнейшего покаяния преступнику, по старости его лет, монашества только чин оставить; от гражданского же суда и истязания мы, по человеколюбию, его освобождаем, повелевая нашему Синоду послать его в отдаленный монастырь под смотрение разумного начальника с таким определением, чтобы там невозможно было ему развращать ни письменно, ни словесно слабых и простых людей».

Кстати, милость императрицы не помешала через четыре года начать новое следствие над Арсением по доносу одного из монахов. Но теперь членов Синода для разбирательства уже не приглашали, и сама государыня с Вяземским составили обвинение: «Оный же Арсений, имея на сердце собственное и ненасытимое от монастырских имений обогащение, а не терпя о том никакого благоустройства о взятии оных в смотрение Коллегией экономии, рассеивал, что якобы церковь разграбили, выговаривая при том, что де и у турок духовному чину лучше, нежели в России, почитая то сделанное о церковных имениях полезное, как для церкви, так и для великого числа [народа], учреждение ограблением <...>, каковые рассеивания открывают злостное его намерение, чтоб внушить в народе, якобы церкви гонение происходит от верховной власти, и там против оной поколебать во всеподданнической верности и усердии». К этим словам Екатерина приписала: «Сие доказываете тем, что Арсений осмелился в Николаевской пустыни читать молитвы о гонении на церковь для того, что не монахи управляют деревнями монас-

тырскими, но Коллегия суммы отпускает на их обиход, смешивая он, Арсений, таким образом, святую веру с монаху непристойною корыстью, советывал из злобы читать молитвы о гонении церкви».

В присланном в Архангелогородскую губернскую канцелярию указе был сформулирован приговор: «Лишить его, Арсения, монашеского чина, и для снятия с него камилавки и всего монашеского одеяния призвать в Архангелогородскую губернскую канцелярию духовную персону и велеть его расстричь и одеть в мужичье платье, по расстрижении же переименовать его Андреем Вралем и послать к вечному и неисходному содержанию в Ревель, где и велеть его, Вралья, содержать в тамошней крепости в одном каземате, под крепким караулом, не допуская к нему ни под каким видом, не только для разговоров, но ниже для просмотра, никого, и, одним словом, так его содержать, чтоб и караульные не только о состоянии его, но ниже и о сем его гнусном имени не знали. Для содержания же его в караул определить тамошнего гарнизона из состоящих иноземцев».

Обычная же практика сыска выработала определенную форму приговора. Начинался он ссылкой на высочайшее повеление; далее указывалась вина осужденного, обычно в общих словах и без описания его конкретных действий или приведения «непристойных слов, о коих ее императорскому величеству известно», но зато со ссылкой на «развращенность» нрава преступника или его «непробудное пьянство». После чего обычно делался вывод, что такой-то, имярек, вполне заслужил смертную казнь или «жестокое истязание», но ради «матерного милосердия» от такого наказания освобождается и присуждается к менее жестокой каре. Приговор утверждался императрицей традиционной формулой: «Быть по сему»³.

В смутное павловское царствование привычный порядок решения дел был нарушен из-за частых смен генерал-прокуроров. Рассмотрение затягивалось, что приводило узников в отчаяние. «Подходя ко мне, спрашивал г-на Макарова, кто я таков, и услыв, что я ротмистр Флячко-Карпинский, столь звер-

ски на меня посмотрел, что едва удержался я на ногах; но кое-как ободрившись, доложил ему: "Без сомнения, кругом уже я вашему превосходительству обнесен и ничем удобнее оправдать себя не могу как всеми моими бумагами, находящимися в Правительствующем Сенате, которые, ежели удостоите вашим рассмотрением, то верно со всею любовью вашею к истине преклониться соизволите на правую мою сторону и меня избавите из сей плачевной юдоли, а поносителей моих оставите с презрением". Что же я несчастный от него услышал? "Да, брат, твои бумаги давно уже читаны и рассмотрены. Ты не умел там жить, хотел показать себя выскочкою, всем вскружил головы, а теперь скучаешь напрасно; здесь место злачно, место покойно, квартира казенная, услуга казенная; ешь только, пей и веселись. Ты нарочно здесь посажен, чтоб успокоился, а из-за тебя уже чтоб все остались спокойными"» — такую шутку услышал от только что назначенного генерал-прокурора А. А. Беклешова ротмистр Николай Флячко-Карпинский, находившийся к тому времени под стражей уже два года. Неудивительно, что узник после этого потерял всякую надежду на освобождение и «погрузился в такую отчаянность, что ежели бы религия, а паче милость Божия не поддержала меня, несколько крат я покушался разбежаться и удариться об угол печи»⁴.

Дело Радищева дошло до палаты уголовного суда Петербургской губернии. Формально Тайная экспедиция на суде не была представлена, но судьям доставили для прочтения книгу подсудимого и его же письменное раскаяние. Судьи не вызывали свидетелей, а разбирательство свелось к ответам подсудимого на несколько вопросов. Палата сочла, что показания Радищева опровергаются его книгой, и приговорила его к лишению чинов и дворянства, отобранию ордена и смертной казни. Но по закону дворянин не мог быть казнен без утверждения приговора Сенатом и санкции императрицы, и дело перешло в Сенат. Утвердив приговор уголовного суда, сенаторы постановили: «Лишить его чинов, дворянского достоинства, исключить из кавалеров ордена

святого Владимира и казнить смертью, а именно: по силе военного устава 20-го артикула отсечь голову». При этом специально разъяснялось, что писатель заслужил еще и кнут; однако, согласно «Жалованной грамоте дворянству», телесное наказание не может коснуться благородного, а потому его надлежит «до вышеупомянутого о смертной казни указа, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу <...> в Нерчинск для того, дабы таковым его удалением отъять у него способа к подобным сему предприятиям». По существу, это была отмена приговора палаты. Екатерина выслушала доклад Сената «с приметною чувствительностью» и... приказала пересмотреть дело в Совете при высочайшем дворе. 19 августа на его заседании граф А. А. Безбородко изложил мнение императрицы, что в докладе Сената «выписаны все законы, кроме присяги, противу коей подсудимый преступником явился; причем объявил, что ее величество презирает все, что в зловредной его, Радищева, книге оскорбительного особе ее императорского величества сказано»⁵. После такого напоминания Сенат приговорил Радищева к четвертованию. Екатерина заставила преступника еще две недели ждать смерти. Только 4 сентября 1790 года именной указ императрицы возгласил о милости: по случаю заключения мира со Швецией казнь была заменена Радищеву десятилетней ссылкой в Илимский острог с лишением чинов, ордена и дворянского достоинства.

Николай Иванович Новиков был заточен в Шлиссельбургскую крепость уже без всякого суда. Императрица сначала планировала его «предать законному суждению», но не рискнула играть в судебный процесс: на следствии всплыл вопрос о связях русских «вольных каменщиков» с зарубежными собратьями и их попытках поставить во главе российского масонства наследника Павла Петровича. Новиков под давлением вещественных доказательств признался и в переписке с «иностранным принцем» (Карлом Гессен-Кассельским), и в попытках архитектора Баженова войти в контакт с наследником, чтобы поставить его во главе ордена розенкрейцеров. Выносить

столь щекотливые обстоятельства на публичное рассмотрение государыня не могла.

В итоге указ от 1 августа 1792 года объявил издателя государственным преступником и шарлатаном, наживавшимся за счет обмана доверчивых людей: «Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однакож, и в сем случае следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость». Других же представителей масонства из числа московской знати Екатерина повелела отправить «в отдаленные от столиц деревни их и там иметь пребывание, не выезжая отнюдь из губерний, где те деревни состоят, и не возвращаясь к прежнему противозаконному поведению, под опасением, в противном случае, употребления над ними всей законной строгости».

«Кажден будет жестокою смертию»

В делах и приговорах Тайной канцелярии и Тайной экспедиции угрозы «жестокой казни» встречаются часто. Петровский военно-процессуальный кодекс «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» гласил: «Наказания смертные чинятца застрелением, мечем, виселицею, колесом, четвертованием и огнем». Военно-уголовное законодательство точнее и конкретнее, чем Соборное уложение, определяло вид смертной казни. Артикул воинский устанавливал четвертование за злоумышление против царя и переписку с неприятелем. Повешение полагалось за бунт, возмущение или упрямство, за организацию незаконных сходбищ и собраний воинских людей, за шпионство и подачу неприятелю «изменных знаков», за призывы к сдаче крепости. Обезглав-

ливание предусматривалось за «хулительные слова» о царе, порицание его действий и намерений.

Насколько часто они применялись? Традиционно наиболее «жестокими» временами в XVIII столетии считают петровское царствование и правление Анны Иоанновны.

Отсчет жертв можно начать с поразившей не только иностранцев, но и вроде бы привычных москвичей массовой казни восставших в 1698 году стрельцов. Предоставим слово очевидцу — секретарю австрийского посольства Иоганну Корбу:

На «первую казнь» 10 октября царь пригласил, как в театр, иностранных послов и лично комментировал им содержание приговора. «Преступники сами всходили по лестницам к перекладине, крестились на все четыре стороны и (по обычаю страны) опускали на глаза и на лицо саван. По большей части осужденные сами надевали себе петлю на шею и бросались с подмостков: в числе тех, которые искупили свое преступление смертью на виселицах, насчитали 230 человек, самих ускоривших свой конец». В заключение «представления» «благороднейшая десница Москвы отрубила топором пять мятежных голов» — Петр не мог оставаться безучастным зрителем. 21 и 23 октября стрельцов там же порядком вешали на городских стенах. Во время шестой казни, 27 октября, «все бояре, сенаторы царства, думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела; из всех бояр, крайне неловких палачей, один боярин отличился особенно неудачным ударом: не попав по шее осужденного, боярин ударил его по спине; стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, претерпел бы невыносимые муки, если бы Алексашка (Меншиков. — *И.К. Е. Н.*), ловко действуя топором, не поспешил отрубить несчастному голову».

Двадцать восьмого октября казнили примкнувших к бунту священников, а «так как попы не могут быть преданы в руки палачей, то придворный шут в одежде попа исполнял дело палача, причем одному из сих несчастных накинул на шею веревку. Другому попу какой-то думный отрубил голову топором и труп взволоч на позорное колесо». Само же колесование приберегли на последний день, 31 октября: «Около Кремля вновь втащили двух живых человек на колеса, изломав им предварительно руки и ноги; несчастные весь вечер и всю ночь изнемогали в невыносимых терзаниях под бременем бедственной жизни и от ужасной боли издавали жалостнейшие вопли. Один из сих, младший годами, вынес продолжительнейшие муки, полусутками пережил своего товарища. Между тем царь, роскошно обедая у боярина Льва Кирилловича Нарышкина, в кругу всех представителей иностранных держав и своих министров, долго отказывал им удовлетворить их убедительнейшим просьбам о пощаде несчастного от дальнейших мучений. Наконец, утомленный настойчивостью просителей, царь приказал всем известному Гавриле прекратить мучения живого еще преступника, застрелив его из ружья»⁶.

Пожалуй, даже во времена Ивана Грозного столица не видела подобных кровавых представлений. Впоследствии столь массовых расправ уже не было; и в Москве, и в Петербурге казни происходили регулярно, но уже в индивидуальном порядке. Наказывали большей частью обычных «воров», но рядом с ними упоминались и «политические» преступники. Уголовная хроника Москвы летом 1699 года была такова:

«А боярина князь Михаила Григорьевича Ромодановского взяли из деревни в Семеновское для розыску и очных ставок с достальными стрельцами, и очные ставки у него с ними были. Да в Преображенском доводили люди Якова Федорова сына Полтева На него в словах, что он, Яков, говорил слова про великого государя о кораблях. И по тому извету взят он был, Яков, в Преображенской, и даваны были ему с

людьми очные ставки, и он, Яков, пытан. И после пытки за те слова клан на плаху, и снем с плахи бит кнутом, и заорлен (заклеймен каленым железом. — *И. К, Е. Н*), и велено ево сослать на каторгу на Таганрог <...>.

Июня в 28 день в Преображенском Богдану Михайлову сыну Тевешову учинено наказание: бит кнутом за то, что отбивался от пехотного строю, а добился было к межевому делу, и заорлен <...>.

Июля в 1 день из Стрелецкаго приказа казнен на Болоте за разбой и за смертное убийство князь Иван княж Борисов сын Шейдяков»⁷.

Смертный приговор преступникам звучал буднично. Один из приговоров 1727 года был сугубо лаконичен: «Крестьянина Карпова, вырезав язык, в городе казнить смертью, отсечь голову». «Сего 1730 году августа 21 -го дня в Брянске на площади вкопана была в землю крестьянская жонка Ефросинья за убийство до смерти мужа ее. И сего сентября 22-го дня она жонка, вкопанная в землю, умре» — это доношение караульного капрала Игнатия Колосьева в Брянскую воеводскую канцелярию, подписанное по неграмотности служивого «по его прошению» подъячим Степаном Лаврентьевым. Обычной была и реакция воеводы: «Отдать к повытью и сообщить к делу, а показанную умершую жонку, выняв из окопу, похоронить, и в колодничьем списке под именем ея отметить, и в Севск в провинциальную канцелярию о том репортовать. Подполковник Василий Камышин. Приписал Андрей Богданов. Подано сентября 22 дня 1730 году, записав в реестр»⁸.

Но некоторых ждала более торжественная процедура. Сочинителя «фальшивого указа» от имени императора Петра II, «поповича Степана», Верховный тайный совет 12 мая 1729 года постановил «казнить с публикацией» — печатным оповещением населения о предстоящей экзекуции и вине преступника⁹. Сами же казни проводились в разных местах новой столицы: на Санкт-Петербургском острове на лобном месте «у каменного столба», за кронверком, на Выборгской стороне, на площади «против гостиного

двора»- При экзекуции присутствовали чиновники Тайной канцелярии — для зачтения приговора и наблюдения за его исполнением, а также вызванные через Синод священники — для последнего напутствия осужденного.

Умерщвление важнейших «воров» превращалось в важную церемонию. О казни Е. И. Пугачева 10 января 1775 года на Болотной площади Москвы население было оповещено полицеймейстером. На оцепленном войсками месте казни был сооружен помост, посредине которого установлен столб с положенным на него колесом с острой металлической спицей. С трех сторон эшафота были устроены виселицы, под ними стояли приговоренные к повешению и палачи. Пугачева и его соратника Перфильева привезли на особых санях с высоким помостом, в которых напротив осужденных сидели священник с крестом и чиновник Тайной экспедиции. Пугачев, державший в руках по толстой свече, кланялся во все стороны народу.

Подробное описание казни привел А. С. Пушкин со слов очевидца — министра И. И. Дмитриева: «Пугачев и любимец его Перфильев, в препровождении духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: на караул; и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило. При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: "Ты ли донской казак Емелька Пугачев?" Он столь же громко отвечивал: "Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев". Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился. Между тем, как сподвижник его Перфильев, немалою роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста, духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обратясь к

соборам; потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: "Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою-прости, народ православный!" При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтаныя. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же».

Разрубленные на части тела обоих казненных оставались выставленными на колесах в четырех районах города двое суток, а 12 января была совершена публичная «кремация» этих частей вместе с колесами, эшафотом и санями, на которых осужденных привезли к месту казни.

В галантном XVIII веке казни были захватывающим зрелищем; учтивый кавалер мог занять для своей дамы удобное место на балконе, давая ей пояснения по ходу процедуры — какие части тела и в каком порядке будут рубить у преступника, а после завершения экзекуции предложить романтическую вечернюю поездку для осмотра выставленных на колесе тел или отрубленных голов, развешенных в «удобных местах» для обозрения публики.

Особо провинившихся «воров» ждала самая мучительная, «квалифицированная» процедура казни. В 1724 году она выпала денежному мастеру Алешке Кошке — за фальшивомонетничество его приговорили к «профессиональной» казни: «залить горло» расплавленным свинцом. Но «на площади у казни» Кошка с отчаяния заорал «слово и дело». В Преображенском приказе он рассказал, что десятью годами ранее он уже был взят в Приказ Большой казны по оговору в выделке «воровских денег», откуда, не признав вины, вместе с показавшим на него колодником Фадеевым попал в Преображенский приказ, «и в розыску в том он винулся, и после того он, Алексей и Фадеев из Преображенского приказу отосланы в

приказ Большая казны, и в Приказе Большая казны ему, Алексею, за дело воровских денег учинено наказанье, бит кнутом и освобожден был с роспискою». в следующий раз мастеровой вновь угодил под следствие в Приказ Большой казны по доносу родного племянника, был жестоко бит «палкой» подьячим Иваном Максимовым и, не вытерпев побоев, «винился напрасно». Тогда он сумел сбежать, но после четырехлетнего житья в бегах неосторожно вернулся в Москву и был тут же схвачен. На новом следствии умудренный опытом Кошка выдержал три пытки, «зжен огнем», но «ни в чем не винился», однако был приговорен к жестокой казни и должен «безвинно» идти на смерть, ибо за одно преступление вышел дважды виновным, поскольку подьячие приказа подняли его прежнее дело, а в нем «того наказанья и свободы не подписано».

Раз «слова и дела» не было, то колодник должен был вернуться из Преображенского приказа в «свое» ведомство; но можно было подержать его у себя: навести справки, поднять документы. Руководитель приказа князь Иван Ромодановский не поверил мастеру, явно нечистому перед законом; сначала приказал бить кнутом нещадно, а затем отослал «к учинению указа по-прежнему» — на казнь¹⁰.

Страшной была смерть бывшего баловня судьбы — фаворита Петра II, обер-камергера и майора гвардии Ивана Алексеевича Долгорукова. Во время болезни императора в январе 1730 года именно он подделал царскую подпись на составленном отцом и дядьями подложном завещании государя. С воцарением Анны Иоанновны Иван был сослан в сибирский Березов. Тобольский подьячий Осип Тишин донес (и получил в награду 600 рублей!) о «непорядочных» поступках Долгоруковых: якобы несдержанный на язык Иван и другие сосланные члены его семьи «говорили важные злодейственные непристойные слова» об императрице Анне Иоанновне и Бироне. На следствии под пытками Иван поведал о роли своих родственников в составлении подложного завещания. Казнь последовала 8 ноября 1739 года

под Новгородом. Иван Долгоруков был колесован. Процедура колесования предусматривала раздробление костей рук и ног смертника путем переезда тяжелым колесом или разбивания дубиной, после чего у преступника отрубали голову или укладывали еще живого на колесо, которое поднималось на врытый на месте казни столб. Иван, по семейному преданию, на этот раз проявил самообладание и читал молитву, не позволив себе даже крика; хотя, возможно, его стоическое поведение приукрасили потомки рода Долгоруковых¹¹. Мучения на колесе истекавших кровью людей иногда растягивались на сутки и более, но младший Долгоруков страдал недолго — ему отрубили голову. Следом за ним были обезглавлены его дядья Сергей и Иван Григорьевичи и бывший член Верховного тайного совета Василий Лукич Долгоруков.

Сожжением на костре 15 июля 1738 года завершились жизни отставного капитан-поручика морского флота Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Бороха Лейбова за «совращение его». Офицерская жена подала на супруга донос в Московскую канцелярию Синода: «Оставя святую православную веру, имеет веру жидовскую и субботаствует, и никаких праздников не почитает <...>, молитву имеет по жидовскому закону, оборотясь к стене <...>, а дружбу он имел с жидом Ворох Лейбовым». По решению императрицы дело рассматривалось не в Синоде, а в Тайной канцелярии; купца-откупщика Лейбова допрашивали без пыток, а Возницына подвергли истязаниям. Сенат вынес решение о казни, и Анна Иоанновна его утвердила: «Понеже оные, Возницын в принятии жидовской веры, а жид Борух Лейбов в превращении его через приметные свои увещания в жидовство сами повинились; и для того больше ими не разыскивать ни в чем, дабы далее сие богопротивное дело не продолжалось и такие богохульник Возницын и превратитель в жидовство жид Борух других прельщать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины <...> обоих казнить смертию, сжечь».

Начиная с петровских времен, пойманных разбойников, виновных в убийствах и пытках жертв, вешали за ребро: заостренный медный крюк вбивался деревянным молотком под ребра живому человеку. Смерть растягивалась на несколько часов и наступала не от повреждения тканей, а от медленного удушья: напряжение мышц груди приводило к постепенной остановке дыхания. Так окончил свою жизнь бесстрашный «питерский» бандит Гаврила Никонов, из которого умельцы Тайной канцелярии не смогли выбить признание даже после шести пыток.

Утром 27 июня 1740 года, в годовщину полтавской победы, состоялась казнь обер-егермейстера и кабинет-министра Артемия Волынского. Ему заранее в тюрьме Петропавловской крепости вырезали язык и с завязанным ртом привезли на Сытный рынок. На эшафоте «в присутствии генерал-майора А. И. Ушакова и тайного советника И. И. Неплюева, при обыкновенной публике» секретарь Тайной канцелярии Хрущов прочел приговор: посадение на кол государыня милостиво заменила отсечением головы. По прочтении высочайшего указа бывшему министру отрубили правую руку и голову, а его товарищам (архитектору Петру Еропкину и советнику адмиралтейской конторы Андрею Хрущову) — только головы. Труп казненного бывшего кабинет-министра в течение часа оставался на эшафоте «для зрелища всему народу»; затем «его мертвое тело отвезли на Выборгскую сторону и по отправлении над оным надлежащего священнослужения погребли при церкви преподобного Сампсона Странноприимца».

Самозванец Иван Миницкий и его сподвижники высочайшей милости не дождались — именной указ от 11 сентября 1738 года гласил: Миницкого и «роспопу Гаврила посадить живых на колья, солдата Стрелкова и наказного сотника Полозка четвертовать, у Павла Малмеги сперва отсечь ногу, а потом голову; и те головы, руки и ноги взоткнуть на колья, а тела их положить на колеса».

Подобные показательные жестокости составили недобрую славу царствования Анны Иоанновны, об

ужасах которого спустя полвека в просвещенном дворянском обществе ходили легенды. Одну из них в 1787 году услышал от петербургских знакомых заезжий латиноамериканец, испанский «государственный преступник» Франсиско де Миранда: «Ужинали с господином Бецким, и он, помимо прочего, рассказал, что в крепости, находившейся прямо перед нами, во времена императрицы Анны по приказу Бирона казнили более 30 тысяч человек, что подтвердил мне и граф Миних, человек разумный и наблюдательный»¹².

Но такие наказания не использовались в Тайной канцелярии повседневно. Например, в 1732 году к казни были приговорены только трое ее «клиентов». Однако случались и более «урожайные» времена. Летом 1737 года в Петербурге страшный пожар обратил в пепелище более тысячи домов, погибло несколько сотен человек; позднее в том же году горели дома Адмиралтейского острова с другой стороны от Невского проспекта до Крюкова канала. Пожары возникли в результате поджога — в одном из домов на чердаке был найден горшок с зажигательной смесью. В результате прочесывания всего города войсками удалось обнаружить пришлых людей, которые на допросах сознались в поджогах. Последовал указ императрицы о «немедленном наихудшем наказании» виновных: 8 августа 1737 года крестьянин Владимир Перфильев был «кажнен смертью, сожжен»; солдатская жена Степанида Козмина «кажнена смертью, отсечена голова»; гулящий человек Петр Петров «кажнен смертью, сожжен». Спустя несколько дней огородник Антип Афонасьев «кажнен смертью, повешен за шею»; бурлаки Егор Герасимов, Федор Гусев повешены за ребра; Александр Козмин, колодник Иван Арбацкой колесованы и обезглавлены; Андрей Парыгин «повешен за шею», Карп Наумов колесован и обезглавлен. В ноябре Дмитрий Михайлов и Арина Никитина «кажнены смертью, залиты горла оловом», а Егору Климову отрубили голову¹³.

При Елизавете и Екатерине II публичные жестокие экзекуции — особенно по отношению к благо

родному сословию — становились явлением исключительным и не сопровождались варварскими истязаниями. Попытавшемуся освободить Ивана Антоновича поручику Миновичу просто отрубили голову, даже к приговоренному к четвертованию казаку Пугачеву Екатерина II, как известно, проявила милосердие — голову ему отсекли не в конце, а в начале казни.

Во многих случаях виновного избавляли от казни при «конфирмации» приговора монархом. Но царская милость не освобождала его от суровых телесных наказаний.

Членовредительские наказания

Экзекуции совершались, как правило, на рыночной площади: при отсутствии средств массовой информации позор преступников и возмездие должны были быть публичными для вящего вразумления подданных. Они часто сопровождались «урезанием» языка за «непристойные» слова по отношению к государю или «за противность и ругательство церкви».

Так, в 1743 году пострадала блестящая придворная дама Наталья Лопухина. Наказали ее, конечно, за «злодейский умысел против ее величества». На самом деле никакого заговора не было. Сын Лопухиной Иван, подвыпив в кабаке с приятелями, всего лишь пожаловался на «выключение» его из камерюнкеров, размечтался о возвращении к власти с помощью Австрии свергнутой правительницы Анны Леопольдовны и похвастался, что матушка его встречалась с австрийским посланником графом де Ботта. Далее всё происходило обычным порядком: донос, арест всех причастных к разговорам, пытки, признания в антигосударственных намерениях. Правда, известно, что императрица Елизавета терпеть не могла придворную красавицу Лопухину — 40-летняя мать шестерых детей ухитрялась затмевать на балах саму императрицу, и ее величество однажды собственноручно испортила «строптивце» бальное платье...

Двадцать девятого августа 1743 года на улицах столицы под барабан объявили о готовящейся казни. 1 сентября народ заполнил площадь у здания Двенадцати коллегий, разместился на крышах, заборах и галереях гостиного двора. После оглашения приговора первой на эшафот взшла Лопухина. Один палач сорвал с плеч платье, обнажив ее по пояс, схватил за руки и бросил себе на спину, а другой начал истязание кнутом. Сдавлив преступнице горло, чтобы открылся рот, палач вырвал клещами язык и по традиции потряс в воздухе окровавленным куском мяса: «Кому язык? Дешево продам!» — после чего Лопухиной сделали перевязку и усадили в телегу. Ее подруге, жене обер-гофмаршала Михаила Бестужева Анне было назначено то же наказание; но она успела снять с себя и отдать палачу драгоценный крест, поэтому ее били не так сильно и вырвали только маленький кусочек языка, так что она не потеряла способность говорить.

«Краткое изображение процессов или судебных тяжб» устанавливало: «Обыкновенные телесные наказания суть то, егда кто ношением оружия, сиречь мушкетов, седел, тамож заключением, скованием рук и ног в железа и питания хлебом и воды точию или на деревянных лошадях, и по деревянным кольям ходить, или битьем батогов. Жестокие телесные наказания в наших пунктах разумеваютца, егда кто тяжелым заключением наказан, или сквозь шпицрутен и лозы бегати принужден; таков же, егда от палача (кнутом) бит и запятнан железом или обрезанием ушей, отсечением руки или палцов казнен будет, то ж ссыланием на каторгу вечно или на несколько лет».

Истязание кнутом было довольно частым в практике Тайной канцелярии. Реальную же тяжесть этого наказания оценить трудно — слишком многое здесь зависело от умения палача и полученных им инструкций. «Нещадное» битье (таким считалось наказание более чем 50 ударами) могло завершиться смертью. Но умелому мастеру не составляло большого труда забить человека насмерть всего несколькими ударами, а в «галантном веке» порка часто назначалась без сче-

та и количество ударов могло дойти до 300 и более. Только при императоре Александре I указом от 18 января 1802 года судам было запрещено употреблять в приговоре слова «нещадно» и «жестоко», а в 1812 году предписано назначать точное число ударов.

Кнут состоял из полуметровой рукояти и плетеного кожаного ремня-стержня длиной до 2,5 метра, оканчивавшегося кольцом или кожаной петлей, к которой крепился «язык» — полоса твердой дубленой свиной кожи, которой под прессом придавали V-образную форму. Амплитуда движения трехметрового орудия истязания была огромной, еще увеличиваясь длиной руки палача, а сила удара могла быть чудовищной. В зависимости от того, направлял палач «язык» плашмя или острием, на месте удара либо оставался кровоподтек, либо отсекалась кожа. Процедура была продолжительной — преступники получали примерно 20 ударов в час. После каждого удара «язык» требовалось вытереть от крови, чтобы он, намокнув, не потерял жесткости, а через каждые 12—15 ударов его сменяли на новый. Взрослый здоровый мужчина мог вынести до двух тысяч палочных ударов по спине, но 200 ударов кнутом в XIX веке считались смертельным наказанием.

Старые мастера «заплечных дел» обычно долго готовили учеников. Такие подмастерья раздевали и держали жертв, привыкали к виду крови и крикам истязаемых; затем им начинали доверять порку плетью, но до кнута допускали не сразу. Ежедневные упражнения во владении страшным инструментом производились на тряпичных чучелах, набитых соломой или конским волосом: палачи показывали, как следует наносить сильные и слабые удары, «класть» их в несколько рядов или в одно и то же место; как наказывать за мелкие преступления, как вызвать немедленную смерть и как сечь, чтобы преступник умер на второй или третий день после экзекуции; как следует подводить кнут вокруг тела преступника, нанося повреждения грудной клетке или внутренним органам. Тайная канцелярия в этом отношении была исключением — в ее стенах не го-

товили новые кадры, сюда на работу отбирались опытные мастера из других ведомств.

Получив указание от начальства (или ценный подарок от жертвы или ее родственников), палач мог наносить страшные с виду, но безопасные удары, а то и вовсе выпороть так, чтобы человек вообще не почувствовал «эзекуции». Лифляндскому пастору Зейдеру в 1800 году присудили 20 ударов, отчего он пришел в ужас — но удивительным образом остался невредим: «Меня подвели к позорному столбу, к которому привязали за руки и за ноги; я перенес это довольно хладнокровно; когда же палач набросил мне ремень на шею, чтобы привязать голову и выгнуть спину, то он затянул его так крепко, что я вскрикнул от боли. Окончив все приготовления и обнажив мою спину для получения смертельных ударов, палач приблизился ко мне. Я ожидал смерти с первым ударом; мне казалось, что душа моя покидает брентную оболочку. Еще раз я вспомнил о своей жене и дитяте; влажный туман подернул мои глаза. "Я умираю невинным! Боже! В твои руки предаю дух!" — воскликнул я и лишился сознания. Вдруг в воздухе что-то просвистело; то был звук кнута, страшнейшего из всех бичей. Не касаясь моего тела, удары слегка задевали только пояс моих брюк. <...> Приговор был исполнен; меня отвязали, я оделся сам и почувствовал, что существую еще среди людей»⁴. Зейдера порол известный петербургский палач Никита Хлебосолов, кладя удары так, что страшный «язык» кнута бил не по телу осужденного, а по «кобыле» — столбу, к которому он был привязан.

Свидетелем исполнения наказания стал знаменитый английский общественный деятель Джон Говард — бывший шериф, не понаслышке знакомый с английскими исправительными учреждениями и прибывший в Россию в 1781 году для изучения тюремной практики: «10 августа 1781 года я видел, как наказывали кнутом двух преступников, мужчину и женщину. Они были приведены из тюрьмы примерно 15 гусарами и 10 солдатами. Когда они прибыли на место наказания, гусары образовали кольцо во-

круг места бичевания, в течение минуты или двух раздавался барабанный бой, затем были прочтены некоторые молитвы, и население сняло шапки. Женщина была взята первой. Ее грубо обнажили по пояс, привязали веревками ее руки и ноги к столбу, специально сделанному для этой цели; у столба стоял человек, держа веревки натянутыми. Палачу помогал слуха — и оба они были дюжими молодцами. Слуга сначала наметил свое место и ударил женщину пять раз по спине. Каждый удар, казалось, проникал глубоко в тело. Но его хозяин, считая удар слишком мягким, оттолкнул слугу в сторону и стал наносить остальные удары сам, причем эти удары были, очевидно, более сильными. Женщина получила 25 ударов, а мужчина 60. Я протеснился через гусаров и считал числа, по мере того как они отмечались мелом на доске. Оба были едва живы, в особенности мужчина, у которого, впрочем, хватило сил принять небольшое даяние с некоторыми знаками благодарности. Затем они были увезены обратно в тюрьму в небольшой телеге. Несколько дней спустя я застал эту женщину в очень слабом состоянии, мужчину же я больше не мог найти»¹⁵.

В таком представлении, как на современном телевизионном «шоу», находилось место для «участников из зала». Верзила-палач мог выхватить кого-то из толпы зевак и превратить его в помощника, заставляя держать на своей спине за руки приговоренного к наказанию; такая «подставка» при порке носила название «живого козла». Только в 1788 году было запрещено пользоваться при экзекуции помощью посторонних лиц.

В 1827 году побывавший в России сын наполеоновского маршала Даву за 500 рублей купил в Петербурге два кнута и вывез их во Францию, где они вызвали интерес парижской публики. (Какое время — такие нравы: в 1956 году актер Жерар Филип устроил в Париже выставку купленного в Москве женского нижнего белья с начесом.) Николай I потребовал строгости в режиме хранения и использовании экзекуционных инструментов; после прихода в негод-

ность они подлежали утилизации. Вероятно, поэтому в наших музеях нет настоящих палаческих кнутов и очень мало штемпелей для клеймения.

При том же императоре в 1829 году было секретно постановлено, чтобы число ударов кнута не превышало 50, а при издании Свода законов Российской империи кнут в отношении значительного числа преступлений был заменен плетью; затем во время работы над Уголовным уложением 1845 года был поднят вопрос о полной его отмене. Инициаторы ссылались на то, что наказание кнутом зависит от произвола палача — может быть смертельным или, наоборот, слишком слабым; при наказании же плетью сила ударов заменяется их количеством, не представляя возможности для произвола. После споров между комиссией Государственного совета и министром юстиции император распорядился, наконец, заменить кнут увеличенным числом ударов плетью, что было зафиксировано законодательно.

Еще с начала XVII века плеть применялась вместо кнута во всех случаях, когда его использование считалось нецелесообразным. К рукоятке плети крепился «хвост» — цельный или разделенный на несколько меньших. Как правило, для телесных наказаний использовались двуххвостые и треххвостые плети. На конце хвоста могли завязывать узел либо нанизывать крупную дробину. Но даже в этом случае плеть причиняла менее опасные повреждения, чем кнут, поэтому считалась более гуманным орудием. В армии, кроме обычных плетей, пользовались «кошками» и «линьками» — морскими веревками с узлами.

Наиболее распространенным наказанием для военных стали шпицрутены (от немецкого *Spiessrute* — прут, хлыст) — длинные тонкие палки или прутья, вымачивавшиеся в соленой воде. Появились они в России в царствование Петра I и были узаконены Артикулом воинским 1715 года. Образцовые шпицрутены в 1831 году имели около вершка (4,5 сантиметра) в диаметре и около сажени (примерно 2 метра) в длину. Виновного наказывал не палач, а выстроены в два ряда его товарищи-солдаты, в руке у каждо-

го был прут. По этой «улице» под барабанный бой в первой половине XIX столетия осужденного проводили назначенное в приговоре количество раз. В XVIII же веке приговоры Тайной канцелярии большей частью просто предписывали «гонять спицрутен»; конкретное количество «прогонов», очевидно, определял командир полка, в чье распоряжение виновный поступал из застенка. Если преступник идти уже не мог, его клали на дровни и возили по «улице» до окончания наказания или наступления смерти. В XIX веке три тысячи шпицрутен считали равными смертной казни. Но после шпицрутен человек (в отличие от побывавшего «в катских руках» при порке кнутом или плетью) не считался обесчещенным и мог продолжать службу. Обычно так наказывали солдат, но иногда под шпицрутен попадали и офицеры. В феврале 1774 года Тайная экспедиция осудила к лишению всех чинов и дворянского звания, записанию в солдаты и наказанию шпицрутенами поручика Илью Щипачева, прапорщика Ивана Черемисова, подпрапорщика Богдана Буткевича: первого — за то, что без сопротивления сдал Самарскую крепость пугачевцам, второго — за сдачу повстанцам отряда пленных польских конфедератов, третьего — за присягу Пугачеву¹⁶.

Более легким было наказание батогами — толстыми (с мизинец) прутьями с обрезанными концами. На уложенного на землю лицом вниз преступника садились два человека — один на голову, второй на ноги, и каждый бил двумя прутьями до тех пор, пока начальник не прекращал порку или не ломался один из прутьев. Розга (такая же свежесрезанная ветка, но более тонкая) считалась совсем уж несерьезным инструментом, и в XVIII веке ее использовали преимущественно в процессе воспитания детей; но в следующем столетии после ограничения, а потом и отмены наказания кнутом розги стали назначаться не только нерадивым ученикам, но и взрослым преступникам.

Даже пребывание «женских персон» на троне не избавило представительниц прекрасного пола от

позорных наказаний. В 1772 году среди арестованных по делу самозванца Богомолова в Царицыне оказалась солдатская жена Авдотья Васильева. Сплетница всего лишь «непристойные плодила разговоры» о самозванце. Вместо положенного по приговору суда кнута «по матернему ко всем милосердию» государыни Екатерины II было повелено «учинить ей публичное, с барабанным боем, жестокое плетью наказание и сверх того, подрезав платье, яко нетерпимую в обществе, через профосов выгнать за город метлами»¹⁷.

Священнослужителей, как правило, не подвергали телесным наказаниям¹⁸, но в большинстве случаев «лиша священства, посылали в Нерчинск на каторжную работу вечно». Иногда священников после лишения сана отправляли в солдаты; «а буде негодны, то положив в подушный оклад, причисляли во крестьянство».

Жалованная грамота дворянству 1785 года постановляла: «Телесное наказание да не коснется благородного»; в том же году изъятие было распространено на купцов первых двух гильдий и именитых граждан, а в 1796 году — на священнослужителей. Синод просил императора Павла освободить духовных лиц от телесных наказаний, в качестве аргумента указывая, что «чинимое им наказание в виду тех самых прихожан, кои получали от них спасительные тайны, располагает народные массы к презрению священного сана».

Однако в делах политических и по отношению к «подлым» преступникам наказания применялись с размахом: с 1 августа по 16 декабря 1774 года по повелению командующего карательными войсками генерала П. И. Панина были казнены 324 пугачевца, биты кнутом с урезанием ушей 399 человек, наказаны плетью, розгами, шпицрутенами, батогами 1 205 человек. Из шести тысяч повстанцев, взятых в плен в последнем сражении под Черным Яром, Панин освободил от наказания только 300 человек. По свидетельству современника, «города, селения и дороги в Поволжье и Оренбургской губернии были ус-

тавлены по приказу Панина виселицами с трупами повешенных повстанцев, которых запрещалось снимать и хоронить месяцами». По Волге плыли плоты с трупами повешенных.

Со второй половины XVIII века наиболее страшные членовредительские наказания (отсечение руки, носа, вырезание языка) постепенно исчезают из практики российского правосудия. При Елизавете Петровне в 1757 году Сенат повелел у женщин «ноздрей не вынимать и знаков не ставить» — но не из гуманности, а скорее из прагматических соображений: обезображенные мужики часто из Сибири сбегали и принимались за старое — и по рваным ноздрям могли быть опознаны; женщины же, по мнению сенаторов, бежать и снова «чинить воровство» были неспособны, поэтому на них процедуру клеймения можно было не распространять¹⁹. Только в 1817 году вырывание ноздрей было отменено для всех преступников.

Кроме порки и «урезания» языка по отношению к преступникам практиковалось отсечение пальцев, рук и ушей. Впрочем, последнее с начала XVIII века было заменено вырезанием ноздрей с помощью особых щипцов, похожих на кусачки. Отсутствие ушей можно было замаскировать длинными и нечесаными волосами, скрыть же изуродованный нос было невозможно. Указом Петра I от 15 января 1724 года предписано было у осужденных на вечную каторгу «вынимать ноздри до кости», причем указ имел обратную силу — его действие распространялось и на уже наказанных колодников, у которых «ноздри выняты малознатно».

Калечившие человека наказания имели целью не только покарать преступника, но и сделать возможным опознание «ведомого вора». Для этого же применялось и клеймение. Указы 1704 и 1705 годов устанавливали вырезание ноздрей для более опасных преступников, а для менее важных — клеймение лба буквой «В» («вор»)²⁰. С 1746 года клеймили словом «ВОРЪ», ставя «во лбу «ВО», на правой щеке «Р», а на левой «Ъ»; с 1754-го — накладывали на лоб букву «В»,

а по щекам — «О» и «Р»²¹. Использовалась технология холодного клеймения: металлический штампель не нагревали, а после наложения на лоб ударяли по нему деревянным молотком либо кулаком; при этом оставались глубокие ранки от игл. Они натирались черным порохом, частицы которого не растворялись кровью; впоследствии стали использовать сухую смесь чернил с тушью или охрой. Такие татуировки бурого цвета на всю жизнь оставались на коже осужденного. Единообразные штампеля для клеймения стали изготавливаться Юстиц-коллегией, рассылавшей их по тюрьмам. Из тех времен до нас дошел вполне правдоподобный анекдот: на вопрос, что делать, если человека несправедливо осудили и заклеямили, а потом открылась его невиновность, генерал-полицеймейстер Алексей Татищев будто бы ответил — раз уж заклеямили, то остается только добавить на том же лбу слово «не», чтобы получилось «не вор».

При Екатерине II клеймение стало особым для каждого преступника; в это время оно начало рассматриваться как самостоятельное наказание. За одни и те же преступления могли заклеить по-разному; так, в 1762 году фальшивомонетчик Сергей Пушкин получил на лоб литеру «В», а в 1794 году майор Фейнберг и барон Гумпрехт за аналогичное преступление — сложную аббревиатуру: «В С Ф А» («вор и сочинитель фальшивых ассигнаций»). В 1766 году самозванца Кремнева клеймили литерами «Б» и «С» — «беглец» и «самозванец». Проходивший с ним по делу священник Евдокимов был заклеен буквами «Л» и «С», что означало «ложный свидетель». Убийцы стали получать на правую руку литеру «У», а в 1782 году регистратор Шацкий за должностной подлог получил на правую руку литеру «Л» («лжец»). Особые штампеля были использованы для клеймения пугачевцев: «З» — «злодей», «И» — «изменник», «Б» — «бунтовщик»²².

С 1846 года клеймили уже только приговоренных к каторге — штампелями, состоявшими из литер «К», «А» и «Т», — и всех беглецов из мест отбывания наказания, пока законом от 17 апреля 1863 года клеймение не было отменено.

«Пасквилы публично сжечь»

Нередко меры «строжайшего розыска» авторов «подметных писем» успеха не приносили, и тогда вместо наказания преступников на людных площадях проходили церемонии публичного сожжения «пасквилей». Их уничтожение производилось «перед собранием народа»: после прочтения указа об истреблении оскорбительных бумаг раздавался барабанный бой, обычно предшествовавший наказанию преступников, «палаческою рукою» они предавались огню, после чего Сенат особым указом публиковал для всеобщего сведения известие о совершении сожжения. Так, 19 января 1765 года на Красной площади были спалены собранные экземпляры ходивших по Москве неких «ругательных каталогов» на французском и русском языках, «в которых многих фамилий обоего пола персоны обижены». Авторы и распространителей обнаружить не удалось, и сенаторам пришлось довольствоваться объявлением: «Если впредь еще найдутся такие вредные обществу пасквилянты, оные будут непременно изысканы и без всякого помилования ея императорского величества законам преданы будут».

Другой «пасквиль», «яко наполненный вредными выражениями» в адрес дворян-судей, был публично сожжен в 1794 году на площади Тихвина «перед лицом собрания всех тамошних жителей». Прибывший для исполнения процедуры чиновник информировал начальство о поведении толпы: «Одна часть оно-го (народа. — *И. К, Е. Н.*), быв свидетельницею столь поразительного зрелища и считая себе то за несчастье, не могла воздержать себя от слез; другая, негодуя на сочинителя того пасквиля, готова была не только сама всячески его изыскивать, но в ту же минуту наказать своими руками, если б то было ей позволено».²³ Неизвестно, по какому поводу возмущалась и печалилась публика; ведь содержание документа, обвинявшего судей во взяточничестве и требовавшего уничтожения дворянского суда, естественно, не оглашалось.

Зрелище публичного сожжения «пасквиля» в Ярославле, последовавшего по высочайшему повелению от 1 мая 1767 года, разнообразилось участием осужденного — грамотного дворового человека местного помещика, не являвшегося автором крамольного документа, но сделавшего с него копию. Так как он не ознакомил с содержанием бумаги никого из знакомых и даже переписывал ее в одиночестве, то был приговорен лишь к публичной порке плетьюми и доставлен на место наказания вместе с приговоренным к ликвидации «пасквилом». При наличии единственного палача оба действия нельзя было провести одновременно; вероятно, уничтожение предосудительной бумаги предшествовало наказанию ее переписчика — по крайней мере, такова последовательность изложения приговора; да и для публики более редкая процедура сожжения документа была занимательнее, нежели привычное зрелище телесного наказания. После истязания незадачливый грамотей был отправлен, по желанию помещика, на поселение в Нерчинск.

Помимо подметных писем на площадях горели признанные «вредными» книги. В 1790 году от сожжения уцелели лишь 26 книг радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» из тиража в 650 экземпляров.

К расследованию дела издателя Н. И. Новикова был привлечен священник Иоанн Иоаннов, который занимался просматриванием литературы из книжных лавок просветителя. Отобранные им издания были сожжены в три приема с ноября по июнь 1794 года; всего были преданы огню 18 656 экземпляров книг, изданных Новиковым. Сами книгопродавцы были прощены в честь рождения великого князя Николая Павловича.

В 1793 году горели экземпляры пьесы драматурга Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», в которой императрица усмотрела проявление свободомыслия и нападки на монархическую власть. «Театр есть школа народная, — подчеркивала Екатерина II, — она должна быть непременно под моим надзором, я ста-

рый учитель этой школы и за нравственность народа мой ответ Богу».

После начала Великой французской революции в России опасались любых проявлений «французской заразы», которую теперь усматривали не только в криминальных изображениях («естампе смерти короля французского»), но и в трудах дотоле почитавшихся авторов — в Москве и Петербурге из книжных лавок изымалось «Полное собрание Волтеровых сочинений». При этом у неопытных в новом деле цензоров-полицейских возникали естественные трудности. «Обер-полицмейстер ни одного иностранного языка не знает, полицмейстер, хотя и знает французский язык, но никогда на чтение книг себя не употреблял», — жаловался генерал-прокурору Самойлову московский главнокомандующий Прозоровский в декабре 1793 года. Возможно, по этой причине полиция перестраховывалась — запрещала всё, казавшееся подозрительным — например, игральные карты с «новыми фигурами»: шекспировскими героями Гамлетом, Полонием, Офелией, Фальстафом, Макбетом²⁴. В 1793—1794 годах в Москве на кострах уже горели «непозволенные, развращенные и противные закону православному книги».

Екатерининский указ от 16 сентября 1796 года гласил: «В прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признали мы за нужное следующие распоряжения:

1. В обоих престольных городах наших, Санкт-Петербурге и Москве, под ведением Сената, в губернском же и приморском городе Риге и наместничестве Вознесенского в приморском городе Одессе и Подольского при таможене Радзивиловской, к которым единственно привоз иностранных книг по изданному вновь тарифу дозволен, под наблюдением губернских начальств учредить цензуру, из одной духовной и двух светских особ составляемую. <...>

3. Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы, в какой бы то ни было типографии без осмотра от одной

из цензур, учреждаемых в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего Закону Божию, правилам государственным и благонравию противного не находится».

Таким образом была официально введена цензура. Впрочем, никто не запрещал криминально-авантюрные сочинения, вроде переводной «Повести о знаменитом французском людоеде Людовике Мандрене» и отечественного «Обстоятельного и верного описания жизни славного мошенника и вора Ваньки-Каина». Свободно ходили также сомнительные в смысле нравственности любовные романы с неестественными героями: «Разговор сей мало помалу оживлялся и, наконец, дошел до установленной горячности: место, ночь, уединение и случай — все заставляло принца получить прощение, а Зобеиду все доводило ему попустить его купить. После того долго прохаживаясь, Зобеида, уставши, села на дерн, а принц расположился подле ее. Он вздыхал, она колебалась; он целовал у ней руки, она то сносила. Он гораздо далее произвел свое предприятие: уста Зобеидины, грудь ее совсем открытая и врученная его восторгам вдруг покрыты стали его поцелуями. Рука его искала новых прелестей. Зобеида довольно противилась для умножения, а не для помешательства его удовольствий. Наконец, она ему оставила свои обожаемые прелести; он насытился роскошью, и Зобеида не была к ним нечувствительна»²⁵. Не случайно иные родители стремились оградить своих дочерей от подобных «инструкций» светского поведения. Но на устои монархии эти сочинения не покушались, а потому не преследовались.

«Чести нарушение» и конфискация «пожитков»

К благородным преступникам применялось показательное «шельмование» — лишение чина и чести. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 года предусматривало различие в тяжести нарушения чести.

«Легкое чести нарушимья наказания суть, егда которой начальной человек чину извержен или без за-служеного жалованья и без пасу (или отпускного писма) от полку отослан, или из государства нашего выгнан будет». Как правило, эта форма наказания не применялась в делах тайного сыска. Ему подвергались священники, уличенные в нечестных поступках или совершавшие службы в пьяном виде, а также офицеры, избивавшие своих солдат (параграф 33 Артикула воинского разрешал это делать только по «важным и пристойным причинам», касающимся «службы его величества»). Офицеры, согласно параграфу 28 Артикула, могли лишаться чести временно — путем разжалования в рядовые на определенный срок. Среди ущемлявших офицерскую честь мер предусматривалось ношение тяжелого огнестрельного или холодного оружия.

«Тяжелое чести нарушение» относилось к дворянам. Оно предусматривало прибавление таблички с именем преступника к виселице, преломление палачом над его головой шпаги и объявление «вором» и «шельмой». «Краткое изображение процессов» предписывало, «как с тем поступать, кто чести лишен, шелмован (то есть из числа добрых людей и верных извергнут):

1. Ни в какое дело ниже свидетельство не принимать.

2. Кто такого ограбит, побьет или ранит, или у него отымет, у одного челобитья не принимать и суда ему не давать, разве до смерти кто его убьет, то яко убийца судится будет.

3. В кампании не допускать, и единым словом — таковой весьма лишен общества добрых людей, а кто сие преступит, сам может наказан быть»²⁶.

«Духовный регламент» сравнивал ошельмованных с «убиенными», так как эта процедура означала лишение всех гражданских прав, сословных привилегий, собственности. Они отлучались от церкви — не могли исповедоваться, причащаться, вступать в брак и даже входить в храм, а также не допускались к торговым делам. «Генеральный регламент» 1720 года

запрещал принимать шельмованных на государственную службу. Как правило, шельмование предшествовало смертной казни и конфискации имущества.

Параллельно с шельмованием существовал традиционный российский обряд, когда приговоренный к смерти клал голову на плаху и получал прощение — впрочем, с кнутом и ссылкой. При Елизавете Петровне, смертной казни не одобрявшей, эта процедура стала ее удобной заменой. Именной указ от 25 мая 1753 года определил ее как «политическую смерть» для тех, «ежели кто положен будет на плаху или введен на виселицу, а потом наказан кнутом с вырезанием ноздрей, или хотя и без всякого наказания токмо вечной ссылкой»²⁷. Законом 1766 года «политическая смерть» была заменена «лишением всех прав состояния».

Эту процедуру испытала на себе по приговору сенатской комиссии Дарья Николаевна Салтыкова — знаменитая Салтычиха, замучившая насмерть не менее 138 крепостных. С 11 до 12 часов утра 17 октября 1768 года она в окружении солдат с обнаженными шпагами стояла с непокрытой головой у позорного столба рядом с Лобным местом; на груди у нее висела дощечка с надписью «мучительница и душегубица». После этого лишенную всех прав бывшую дворянку отправили на вечное заточение в Ивановский монастырь.

Чем более крупной была фигура преступника, тем больше лиц из его окружения — от родственников и приятелей-«конфидентов» до крепостной прислуги — было охвачено следствием. По делу Долгоруковых проходило более 50 человек; большинство из них подверглись пыткам и лишились имущества, в том числе и молодые князья-офицеры, непричастные ни к делам Верховного тайного совета, ни к попытке ограничения самодержавия в 1730 году, ни к придворным интригам. Жены обвиняемых отправлялись в монастыри или дальние деревни, дворянка шла на каторгу или в солдаты, дети теряли придворные звания, должности по службе или место в гвардии. Наконец, преступники и их родня могли ли-

шиться имущества — конфискации были обычной практикой в первой половине XVIII века. В «эпоху дворцовых переворотов» после каждой удачной «революции» или «падения» очередного временщика за «деревнями» опальных выстраивалась очередь претендентов с возраставшими аппетитами.

В 1730 году у опальных Долгоруковых были конфискованы вотчины, дома, загородные дворы и, как сообщал указ от имени Анны Иоанновны, «многий наш скарб, состоящий в драгих вещах на несколько сот тысяч рублей». В итоге в ведомство Дворцовой канцелярии перешло почти 25 тысяч крепостных душ «бывших князей»²⁸. Их владения попали в руки новых хозяев — Нарышкиных, А. И. Шаховского, А. Б. Куракина, генерала Урбановича, С. А. Салтыкова; даже знаменитому шуту Анны, отставному прапорщику Ивану Балакиреву, достался дом в Касимове²⁹. Челобитчики (Г. П. Чернышев, А. И. Шаховской и др.) просили об «отписных» имениях Долгоруковых и Меншикова; некоторые, как В. Н. Татищев, даже точно указывали желаемое количество «душ» в конкретных уездах. У ссыльных членов фамилии было отнято практически всё сколько-нибудь ценное имущество, оставлены разве что обручальные кольца и нательные кресты.

То же случалось и с прочим скарбом осужденных. Порой монарх лично распоряжался ценностями недавнего вельможи. Екатерина I пожаловала П. А. Толстому «шубу соболью пластинчатую» из вещей сосланного вице-президента Синода Феодосия Яновского, которую тот, в свою очередь, прибрал к рукам из патриаршей казны. Прочие «пожитки» опального пошли на продажу, часть вырученных средств направлялась на прокормление, а потом и «на погребение мертвого тела» узника³⁰. Но в мае 1727 года пришел черед самого Толстого — бывший начальник Тайной канцелярии потерял не только шубу, но и все имущество и имения, в которых насчитывалось 10 687 душ.

Примером подобного наказания может служить описание конфискации и последующего «распределения» движимой и недвижимой собственности од-

ного из друзей казненного Артемия Волынского — тайного советника, президента Коммерц-коллегии графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина.

Старавшиеся отличиться судьи приговорили к четвертованию всех членов кружка Волынского, хотя даже они признали, что Мусин-Пушкин в этой «партии» не состоял. 23 июня 1740 года императрица утвердила приговор; для Мусина-Пушкина смертная казнь была отменена: «урезав языка, послать его в Соловецкой монастырь и содержать в наикрепчайшей тамо тюрьме под крепким караулом, никуда не выпуская». По меркам политических процессов аннинского царствования граф Платон был наказан легче всех — даже не бит кнутом; обязательная конфискация имущества не распространялась на родовые владения.

Причин такого смягчения приговора мы не знаем; возможно, для Анны было ясно, что на месте Мусина-Пушкина могли оказаться многие представители знати, выражавшие недовольство правительственными решениями или фавором. Но граф не проявил сообразительности для своевременного раскаяния и даже осмелился заявить, что не желал быть доносчиком. К тому же он был слишком богат, знатен и чужд искательности: у нас нет сведений о посылке им писем Бирону, подобно представителям «генералитета» С. А. Салтыкову, А. И. Ушакову,

В. Н. Татищеву и др. Потому его наказание должно было послужить показательным примером с символическим «урезанием языка» — основного орудия преступления.

После приговора последовала уже отработанная процедура конфискации и перераспределения имущества. Генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой первым подал слезную челобитную, в которой просил «для его недостатков и самой крайней нужды» дворец графа Платона на Мойке. Трубецкой знал, о чем просить: как и полагалось настоящему вельможе, граф Платон Иванович жил «пышно», обустроивал дом, находясь в зените своей карьеры³¹. В городской усадьбе размещались конюшня, каретный двор, реч-

ной флот из двух шхерботов, оранжерея с вишневыми и «помаранцевыми» деревьями, кустами «розанов» и «розмаринов». Просторные комнаты украшали шпалеры и картины (портреты государей и менее официальные «Птицы и древа», «Птицы петухи», «5 картин разных животных») вместе с 23 иконами и окованным серебром Евангелием; зеркала в золоченых рамах; стенные, настольные и напольные часы. В торжественных случаях на стол выставлялись дорогие серебряные и фарфоровые сервизы. Должно быть, в качестве надежного вклада семейство держало дома почти восемь пудов серебра.

Второй каменный дом Платона Ивановича на Набережной линии Васильевского острова отошел в казну для размещения дворцовых «служителей». Приморскую дачу «близ Петергофа» императрица пожаловала фельдмаршалу Миниху; копорскую «мызу» — брату фаворита и командиру Измайловского полка Густаву Бирону³². Но большинство «отписных» земель и душ осталось в дворцовом ведомстве (через несколько месяцев закончилось царствование Анны, и новая комиссия занималась конфискацией имущества уже самого Бирона, а спустя год — и его «победителей» Миниха, Головкина, Остермана). Барон Менгден получил двор Волынского на Мойке, а камергер Василий Стрешнев — богатый дом казенного министра со всей обстановкой, но без обслуги, поскольку было решено отправить «всех имеющихся в доме Артемия Волынского девок в дом генерала, гвардии подполковника и генерал-адъютанта фон Бирона».

С Мусиным-Пушкиным и здесь обошлись относительно милостиво: в казну поступило «только» 8 207 душ и 21 036 четвертей земли, а также пять дворов в Москве и четыре в Петербурге да еще приморская «дача». Жене графа оставили родовые владения мужа и каменный дом в Москве на Арбате, «а сверх того детям ево обоих жен обще недвижимое имение их прадеда, а ево деда, что за ним, Платоном, того деда ево недвижимого имения по дачам сыщетца»³³. Но зато подчистую отобрали гардероб; бедная Марфа Пет-

ровна безуспешно пыталась отстоять свои платья, «белье и прочие уборы женские». На волю были отпущены восемь «девок» и две вдовы; двух или трех оставили жене и дочерям опального в услужение. Из 29 женатых «служителей» 16 отправили в армию, восемь — на придворную службу; в солдаты сдали и большую часть (29 из 41) холостых дворовых.

Наличные «пожитки» в ту пору нестеснительно выгребались из домов арестованных и свозились прямо в Зимний дворец. Золотые монеты (638 рублей) и слитки — по собственному распоряжению графа — отправили в Монетную контору; туда же поступили золото и серебро из «алмазных вещей» (оцененных в 19 300 рублей) на сумму 5 294 рубля 97 копеек. Остальные драгоценности остались в Канцелярии конфискации, и последующая судьба их неизвестна. После воцарения Елизаветы наследники — племянники графа Платона — претендовали на их часть, но от братьев потребовали письменных доказательств принадлежности требуемых вещей их матери. Правда, при Елизавете наследникам отдали 7 пудов и 12 фунтов графского серебра, хранившегося, по-видимому, в слитках.

К дележу в первую очередь допускались избранные. К себе в «комнату» императрица Анна Иоанновна взяла четырех графских попугаев, в Кабинет были переданы два ордена Александра Невского; в Конюшенную контору переехали «карета голландская», «берлин ревельской», «полуберлины» и коляски. Породистые «ревельские коровы» удостоились чести попасть на императорский «скотский двор», а дворцовая кухня получила целую барку с обитавшими на ней 216 живыми стерлядями. Герцог Бирон, известный знаток лошадей, не удержался от личного осмотра конюшни Мусина-Пушкина, однако не обнаружил ничего для себя интересного и распорядился передать 13 лошадей графа в Конную гвардию³⁴. Цесаревна Елизавета отобрала себе «винные» и «помаранцевые» деревья, кусты «розанов» и «розмаринов» для украшения зимнего сада. Позднее она, уже в качестве императрицы, лично распорядилась драго-

ценностями своего арестованного лейб-медика Лестока, от щедрот поделившись ими со следователями и судьями по этому делу.

Кроме того, на деньги опальных вельмож претендовали их кредиторы; при отсутствии свободной наличности они получали удовлетворение своих претензий из средств, вырученных от продажи конфискованного имущества. Даже Коммерц-коллегия поддержала жалобу петербургских купцов на ее прежнего начальника, что «по злобе бывшего Платона Мусина-Пушкина» были отобраны и проданы их товары³⁵.

Иностранные и допетровские отечественные монеты императрица распорядилась отдать — почему-то вместе с дешевыми медными табакерками — в Академию наук, где нумизматическая коллекция графа помогла разработать научную классификацию древних русских монет. А вот библиотека Мусина-Пушкина в эпоху, когда чтение считалось подозрительным занятием, осталась не востребовавшей и в 1742 году по-прежнему хранилась в Канцелярии конфискации.

Остальная гора вещей (по оценке, на 14 539 рублей 74 1/4 копейки) была пущена на публичные торги, в результате которых казна до нового переворота успела выручить 6 552 рубля да еще получила 1 061 рубль 24 копейки «наддачи». Такие «распродажи» привлекали столичную публику: знатные и «подлые» обыватели демократично торговались за право владения имуществом опальных. Его приобретение имело коммерческий смысл: те же импортные товары в обычной продаже стоили дороже.

На аукционе расходилась по рукам обстановка богатого барского дома³⁶. Гвардейский сержант Алексей Трусов приобрел за 95 рублей «часы золотые с репетицией», семеновский солдат князь Петр Щербатов основательно потратился на золотую «готовальню» (335 рублей при стартовой цене в 200 рублей). Капитан князь Алексей Волконский заинтересовался комплектом из двенадцати стульев с «плетеными подушками» (12 рублей 70 копеек), а статский советник

Федор Сухово-Кобылин купил другой комплект — подешевле, но в придачу с креслом.

Тайный советник, инженер и историк Василий Никитич Татищев пополнил свой винный погреб 370 бутылками «секта» (по 30 копеек за бутылку), а гвардии прапорщик Петр Воейков лихо скупил 370 бутылок красного вина (всего на 81 рубль 40 копеек), 73 бутылки шампанского (по рублю за бутылку), 71 бутылку венгерского (по 50 копеек), а заодно уж и 105 бутылок английского пива (по 15 копеек). Кабинет-министр Алексей Петрович Бестужев-Рюмин продемонстрировал более высокие запросы: он купил четыре больших зеркала в позолоченных рамах (за 122 рубля) и еще два зеркала «средних» (30 рублей). По иронии судьбы те же «зеркала стенные большие золоченые с коронами в рамах четыре» будут фигурировать спустя несколько месяцев в «описи пожитков» самого опального министра — после «падения» Бирона он угодил было под арест, но правительница Анна Леопольдовна распорядилась вернуть имущество жене и детям Бестужева⁵⁷.

Менее утонченная публика разбирала предметы повседневного обихода и припасы Мусина-Пушкина, вплоть до заплесневелых соленых огурцов и рыжиков из кладовых — чего же добру пропадать. Никого не заинтересовали картины («женщина старобразная», «птицы петухи», «персона короля шведского» и прочие по 3 рубля за штуку). Не раскупленным остался зеленый и черный чай в «склянках», еще не ставший популярным напитком у россиян. Соль, свечи, платки, салфетки, перчатки, одеяла, барская (фарфоровая и серебряная) и «людская» (деревянная) посуда, котлы, сковородки, стаканы, кофейники, ножи расходились лучше. Нашли новых владельцев «немецкие луженые» перегонные кубы, «медная посуда английской работы» (ее купил бывший подчиненный графа советник Иван Сукин), «меха, чем огонь раздувать», «четверо желез ножных и два стула с чепьми» (актуальная вещь для наказания дворовых) и даже господские «унитаз» — «судно дубовое, оклеено орехом с двумя ящичками» и ночной горшок-«уринник с ложкой и крышкой».

На той же «распродаже» можно было приодеться — гардероб Мусиных-Пушкиных расходился быстрее обстановки. Василий Татищев купил себе суконный «коришневой» подбитый гродетуром кафтан с камзолом из золотой парчи «с шелковыми травами по пунцовой земле» (50 рублей), а другой уступил майору гвардии Никите Соковнину. Купцы покупали костюмы попрacticalнее и попроще — за 10—15 рублей. Но всех превзошел лекарь Елизаветы, будущий герой дворцового переворота 1741 года и лейб-медик Арман Лесток: он скупал подряд дорогие парчовые кафтаны по 80 рублей, «серебряные» штаны, поношенные беличьи меха, галуны, бумажные чулки, полотняные рубахи (60 штук за 60 рублей). Судя по мелькавшим в деле фамилиям, представители столичного бомонда вполне могли встречаться в бывших графских палатах экипированными в одежду с его плеча. Капитаны и поручики гвардии приобретали платья, юбки, шлафроки, кофты, фижмы, «шалки» и белье — надо полагать, чтобы порадовать своих дам; капрал-гвардеец Тютчев сторговал даже «ношенные» и «ветхие женские рубахи».

«Дело» герцога Бирона, скоро последовавшего за графом в крепость и ссылку, включает огромный список конфискованного имущества, привести который даже вкратце нет возможности. Из его палат вывозилась многочисленная мебель — столы, кресла, зеркала и огромная французская дубовая кровать герцога. Из горы посуды выделялись отдельно хранившийся золотой сервиз и несколько серебряных, одним из которых семейство опального фаворита продолжало пользоваться в Шлиссельбурге. Герцог был явно равнодушен к фарфору и другим китайским редкостям — среди них имелись «53 штуки медных больших и малых китайских фигур». Его покои украшала живопись, которую в ту пору еще не научились ценить: «присяжные ценовщики объявили, что оной цены показать не могут для того, что такими вещами не торгуют и художества живописного не знают».

В баулы, чемоданы и сундуки укладывали гардероб, в том числе ценнейшие меха горностая и соболя

(«пупчатые» и «из шеек собольих»); парадные, обычные и маскарадные костюмы; камзолы, шляпы, перчатки. Будучи законодателем мод, герцог хранил запас разнообразных дорогих тканей («штуки» камки бархата, штофа, атласа, тафты), лент и десятки аршин драгоценного позумента. Фаворит тщательно заботился о своей внешности — среди его вещей почетное место занимали изысканные туалетные столики, наборы ножниц, щеточек, гребенок, зеркал; герцогские зубочистки были из чистого золота.

Сразу же после ареста Бирона строительство его дворцов в Курляндии было прекращено, рабочих и мастеровых отозвали в Петербург. Туда же прибывали барки с добром из герцогских владений: вывозилась обстановка недостроенных дворцов в Митаве и Рундале — мебель, паркетные полы, посуда, запасы рейнских, португальских и венгерских вин. Из имений герцога доставляли голландских коров и более двух сотен лошадей с Вирцавского и других заводов. Вместе с художественными ценностями привезли прибывшего по приглашению Бирона венецианского художника «грека Николая Папафила»³⁸.

По сравнению с имуществом герцога конфискованный скарб его братьев кажется весьма скромным — он представлял собой типичный набор вещей холостяков-военных: винный погреб с бутылками венгерского и бургундского, разнообразное огнестрельное и холодное оружие, седла и прочая конская упряжь, мундиры, курительные трубки, походные принадлежности. Густав тянулся за братом-фаворитом — в его гардеробе было много дорогой одежды, а на конюшне стояли 44 лошади и верблюды. Бравый гвардеец хранил православные иконы в память об умершей любимой жене, а у грубого вояки Карла среди амуниции имелось «кольцо золотое с волосами» — надо полагать, свидетельство юношеского романтического увлечения.

«Бироновские пожитки» прибывали в Петербург из его имений и дворцов вплоть до 1762 года. Императрица Елизавета, к примеру, отобрала из них для себя и своих придворных несколько сундуков с наи-

более красивыми вещами — всего на 7 598 рублей; в ее покои перекочевали два комода, две дюжины стульев, два стола. В свои московские дворцы она отравила 48 зеркал, семь комодов, люстры, подсвечники-бра и прочую мебель. Бывшие вещи Бирона (шелковые обои, часы и фарфор) украсили Коллегию иностранных дел и посольские резиденции. Восточные ткани и собольи меха были преподнесены в качестве подарка невесте наследника престола — будущей Екатерине II. Но даже спустя 20 лет конфискованное добро еще имелось в столь значительном количестве, что им интересовались придворные, а самому вернувшемуся из ссылки хозяину было что возвращать.

Сразу же объявились просители «разных чинов» с имущественными претензиями к вчерашнему всеильному временщику. Избитый Волынским поэт Василий Третьяковский жаловался на невыдачу ему при герцоге возмещения за публичные оскорбления со стороны казенного министра. «Изнурившемуся на лечение» придворному сочинителю пожаловали за побои 720 рублей — сумму, вдвое превосходившую его годовое жалованье. Иск к Бирону предъявили Академия наук за взятые им бесплатно книги (на 89 рублей) и отдельно профессор Крафт, который «поданным своим доношением представлял, что он трех бывшего герцога Курляндского детей несколько лет математике учил, и за сей труд свой от бывшего герцога на всякой год по сту рублей получал, а за прошлый 1740 год ничего ему не выдано».

Курляндец, как и полагалось настоящему вельможе, расплачиваться не спешил: сохранились списки его долгов мяснику, свечнику, башмачнику, парикмахеру, портному, часовщику, столярам, придворному гайдуку, какому-то «турке» Исмаилу Исакову — всего на 13 289 рублей, включая 1 099 рублей долга собственному камердинеру Фабиану и 13 рублей 19 копеек — крестьянину Агафону Добрынину за петрушку и лук. На широкую ногу жил и брат фаворита Густав — только «по крепостям и векселям» за ним числилось 7 588 рублей долга, да еще пяти кредиторам

он был должен 8 644 рубля, не считая тех претензий на которые «явного свидетельства никакого не имеетца». В то же время герцог располагал наличностью почти в 100 тысяч червонных, которые теперь были отправлены в Монетную канцелярию³⁹.

Анна Леопольдовна заинтересовалась только драгоценностями семьи Бирона. По свидетельству придворного ювелира, она срочно заказала их переделку. Любимой подруге Юлиане Менгден новая правительница пожаловала четыре кафтана Бирона да три кафтана его сына Петра, из позументов которых бережливая фрейлина «выжигала» серебро.

Муж регентши, герцог Антон Брауншвейгский, был скромнее — или не так любил лошадей, как Бирон: он отказался от его конюшни, переданной по этой причине для продажи всем желающим. «По именному его императорского величества указу определено бывшего герцога Курляндского и Густава Бирона остающихся за разбором излишних и к заводам годных лошадей велено с публичного торгу продать, а продажа оным начнется сего декабря с 29 числа, и в субботу с десятого пополудни до второго часа пополудни; и ежели кто из оных лошадей купить себе пожелает, те бы по означенным дням и в объявленные часы являлись на конюшенном его императорского величества дворе», — оповещало газетное объявление. Внесенные в конфискационную опись звучные имена герцогских кобылиц — Нерона, Нептуна, Лилия, Эперна, Сперанция, Аморета — кажется, являются подтверждением расхожего мнения, что к лошадям Бирон был более расположен, чем к людям.

Свергнувший герцога фельдмаршал Миних застенчивостью не отличался: за «отечеству ревностные и знатные службы» он получил 100 тысяч рублей, дом арестованного зятя Бирона генерала Бисмарка (дом Густава Бирона был отдан Миниху-сыну) и серебряный сервиз герцога весом 36 килограммов.

Платону Мусину-Пушкину одному из первых разрешили возвратиться из соловецкой ссылки в имения жены; следом за ним были освобождены сын и

дочь А. П. Волынского, Ф. И. Соймонов и другие, менее знатные участники «дела». Правительница Анна Леопольдовна повелела вернуть конфискованное имущество графа его наследникам — племянникам Аполлосу и Алексею Мусиным-Пушкиным и князю Александру Голицыну (сыну сестры Елизаветы Ивановны), что в короткое царствование Ивана Антоновича так и не было выполнено.

Окончательная реабилитация затянулась до следующей смены власти; 25 июля 1742 года последовал указ: «Платону Мусину-Пушкину по известному об нем делу вину отпустить и, одобря ево, прикрыв знаменем, шпагу ему отдать и быть в отставке, а к делам ево ни х каким не определять»⁴⁰. В сентябре ритуал был произведен «при роте Кабардинского полка и при собравшемся народе». На этом известия о судьбе реабилитированного вельможи обрываются. По-видимому, граф Платон Иванович скончался в том же 1742 году — в деле о возвращении имущества он больше не фигурирует. Его вдове и наследникам, как и другим недавним государственным преступникам, предстояла долгая тяжба за возвращение перешедших в чужие руки имений и частью проданной, частью разбросанной по подвалам казенных учреждений обстановки.

Царская милость не означала гарантии возвращения имущества. Перестановки «наверху» вызвали новые проблемы: вернувшиеся из отдаленных мест опальные (Лопухины, В. В. Долгоруков) добивались «реституции» имений, розданных другим лицам; те, в свою очередь, подавали прошения о компенсации утраченного. Желających добровольно расстаться с «деревнями» и прочим пожалованным или по дешевке приобретенным имуществом не было — не возвращать же императрице «приватизированную» графскую оранжерею. Поэтому только в 1748 году, наконец, последовал указ о выдаче наследникам графа Платона оставшихся «пожитков», многие из которых уже стали «тленными». Вернуть же имения опальной семье долгое время не удавалось. Новое царствование вознесло к вершине власти новые фа-

мии, и судьба семейства умершего графа никого не интересовала. Из восьми с лишним тысяч конфискованных душ 4 854 оказались розданными приближенным Елизаветы: гардеробмейстеру В. Шкурину, шталмейстеру П. М. Голицыну. Новый канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, когда-то уже прибравший к рукам зеркала из дома Мусина-Пушкина, теперь добился пожалования себе нескольких подмосковных сел графа (Образцово, Горетово, Новорожествено и других с 3 141 крестьянской душой), несмотря на все предыдущие указы⁴¹. Только в 1757 году Елизавета запретила раздавать еще оставшиеся в дворцовом ведомстве земли Мусиных-Пушкиных.

Бирон же провел в ссылке — сначала в сибирском Березове, а потом в Ярославле — 20 лет. Часто опальные и ссыльные навсегда вычеркивались из жизни — теряли не только положение, но и всё имущество, а порой даже собственное имя, как случилось с фаворитом Елизаветы Алексеем Шубиным или (на короткое время) с Бироном, которого было велено именовать «Бирингом»; появились официальные формулы, вроде «бывший дом бывшего Бирона». Иные арестанты десятилетиями жили в заточении, и даже начальник тюрьмы не знал о них ничего — к примеру, об оставшемся безвестным заключенном Кексгольмской крепости, освобожденном Александром I и назвавшемся только ему⁴².

Тюрьма и сума

Но до реабилитации — если она вообще происходила — надо было дожить. В зависимости от характера дела или степени вины осужденный Тайной канцелярией становился «секретным» или обычным арестантом или ссыльным. Для последних тоже существовали разные режимы: одни отправлялись в болотистые места Западной Сибири или на дикий берег Охотского моря, другие имели возможность проживать в своих имениях с подпиской о неразглашении дела и без права выезда в столичные города.

Самый жесткий порядок заключения был для «секретных» узников. Секретность начиналась с момента попадания человека в Тайную канцелярию или экспедицию; такие арестанты содержались, как правило, отдельно от прочих преступников. Для «бдения к упреждению и самому недопущению покушения на побег или собственное погубление жизнью» в камеру к арестанту помещался один, два или даже три часовых, сменявшихся в течение суток для непрерывного наблюдения за узником; начальник караула должен был не менее трех раз в день посещать казематы. Конвойным солдатам под страхом смертной казни запрещалось не только рассказывать о речах арестантов, но и слушать их. Если конвоируемые все же начинали говорить «непристойные речи», то солдаты должны были затыкать им рты «кляпьями», вынимая их только на время еды. Перевозились секретные арестанты, как правило, ночью, а помещались обычно в крепостях — Санкт-Петербургской (Петропавловской), Шлиссельбургской, Рижской, Нарвской, а также в наиболее пригодных для строгого содержания монастырях — Соловецком, Спасо-Евфимиевом, Кирилло-Белозерском.

В Петропавловской крепости для заключения секретных узников использовали камеры внутри стен и бастионов — сырые и темные казематы. Кроме того, имелись деревянная (до 1797 года) тюрьма в Алексеевском рavelине и еще два строения — «комисский дом» (комиссии проекта нового Уложения) и «смирительный дом».

По какому принципу распределялись между ними заключенные, понять из известных нам документов трудно. Можно только сказать, что в 1796 году в «смирительном доме» сидели сошедший с ума Александр Невзоров (он бился головой о стену и кричал «диким голосом и без смысла») и обвиненный в «шпионстве» француз Ламанон; в «комисском доме» находились не только «клиенты» Тайной экспедиции, но и уголовники: проходивший «по банковскому делу» кассирский помощник Кельберг; привлеченные по делу какой-то «персидской комиссии» надворный совет-

ник Скиличный, капитан Калмыков и актуариус Матвеев, а также купец Клушенцов, обвиненный в вывозе за границу российской монеты⁴³.

Как уже говорилось, режим содержания (качество помещения, обстановка, деньги на питание) определялся не только тяжестью преступления, но и социальным положением арестанта. Заключение дворяне получали средств на содержание не только больше, чем простолюдины, но и больше, чем караулившие их солдаты. Таким арестантам разрешалось на собственные деньги покупать необходимые продукты и вещи.

В тюрьме Алексеевского рavelина были и вполне комфортабельные помещения. Составленная в 1794 году поручиком Павлом Иглиным опись говорит о наличии комнат с креслами, кроватями с перинами, комодами, ломберными столиками, столами, покрытыми скатертями, серебряными столовыми приборами, использовавшимися, очевидно, для трапезы, состоявшей из блюд, готовившихся на особой «офицерской кухне». К сожалению, автор описи не указал, предназначались ли эти апартаменты для самих сотрудников Тайной экспедиции или для особо важных заключенных. Но явно для арестантов предназначались прочие «нумера», разбитые в описи на четыре категории: от «многокомнатных» помещений с перегородками, зеркалами, посудой, кроватью с «занавескою» и «столовым бельем» до камер с «обстановкой», состоявшей только из кровати с тюфяком, и «казаматов», где из удобств имелось «все простейшее»⁴⁴.

В каком именно месте крепости — в Алексеевском или, возможно, Иоанновском рavelине — был заточен в 1790 году А. Н. Радищев, пока не установлено. Ордер петербургского генерал-губернатора Я. А. Брюса обер-коменданту крепости А. Г. Чернышеву предписывает только содержать нового арестанта под стражей «в обыкновенном месте» и под контролем «господина действительного статского советника Шешковского».

«Население» камер и «казаматов» то прибывало, то убывало; к 1801 году здесь оставались только 19 че-

ловек не самых важных преступников. Помимо знаменитого прорицателя монаха Авеля в крепости находились растратчик генерал-провиантмейстер-лейтенант Росляков, уже упомянутый нами Александр Рибопьер (за дуэль), гусарский ротмистр Маслов («за подговор жены титулярного советника Василья Иванова»), надворный советник Арбузов (за «подачу прошения на вахтпараде») и купец Филипп Косцов (за «отступление от церкви»). Как и прежде, имелись узники («епископ католицкий» Одинец, капитан Преображенского полка Казаринов 1-й), о причинах заключения которых тюремщики не ведали, а потому и докладывали кратко: «Хованский, тайный советник, неизвестно за что»⁴⁵.

О положении заключенных в главной тюремной крепости страны речь уже шла при описании следственной процедуры. Поэтому теперь мы обратимся к тюремным порядкам других мест заключения. Пожалуй, самым строгим из них была Шлиссельбургская крепость.

Взятый у шведов в ожесточенном бою в 1702 году замок у входа в Ладожское озеро Нотебург Петр I переименовал в Шлиссельбург — «ключ-город», но с тех пор крепость больше не играла военной роли, а стала тюрьмой для особо опасных государственных преступников. Расположение на уединенном острове посреди широкой реки с быстрым течением и высокие крепостные стены со сторожевыми башнями делали эту тюрьму особо надежной — за всю историю ее существования отсюда не было побегов. Здесь томились члены царской семьи — сначала царевна Мария Алексеевна, затем первая супруга Петра I Евдокия Федоровна Лопухина. При Анне Иоанновне в крепость был посажен и умер в ней князь Д. М. Голицын, выступавший за ограничение прав императрицы в 1730 году; его сменил другой член Верховного тайного совета — опальный фельдмаршал В. В. Долгоруков. Во время следствия здесь сидел регент Российской империи герцог Бирон; наконец, самым знаменитым заключенным стал свергнутый с престола Елизаветой в 1741 году император Иван

Антонович. В Шлиссельбурге он провел последние восемь лет своей жизни.

Внутри крепостной стены находились две тюрьмы — «Нумерная казарма» на 14 камер и построенный в 1762 году «Секретный дом» на 24 каземата. Одиночные камеры представляли собой помещения размером 8х2 метра с большими зарешеченными окнами, деревянным полом и серыми каменными стенами; в каждой стояли кровать, стул и стол у окна. Кормили здесь плохо, и Н. И. Новиков вынужден был просить об увеличении денежного содержания, ведь на полагавшийся ему рубль в день жили трое — сам заключенный, добровольно разделивший с ним заочение доктор и крепостной слуга. Полная изоляция, сырость и холод угнетали узников, пожалуй, даже больше, чем в Петропавловской крепости. Рапорт одного из побывавших с проверкой в 1796 году чиновников рисует грустную картину: пятерых арестантов ревизор застал на молитве перед образами; у одного из них, Гаврилы Зайцева, на лбу была шишка «в меру куриного яйца» от частых земных поклонов. Один из заключенных был занят чтением церковных книг, а прочие сидели на своих местах без всякого дела⁴⁶.

Одних такая жизнь быстро сводила в могилу, у других вызывала расстройство рассудка. Выросший в изоляции Иван Антонович, по донесению начальника караула в 1759 году, был физически «здоров, и хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептаньем, дутьем, пусканием изо рта огня и дыма; кто в постели лежа повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает шепчут и тем его портят; приходил раз к подпоручику, чтоб его бить, и мне говорил, чтоб его унять и ежели не уйму, то он станет бить; когда я стану разговаривать (разубеждать), то и меня таким же еретиком называет».

Караулившие высочайшего узника капитаны Власьев и Чекин также показывали: он был здоров и силен, но в то же время говорил, что «тело его, принца Иоанна, назначенного пред сим императо-

ром российским, который уже издавна от мира отошел, а самым делом он есть небесный дух, а именно св. Григорий; который на себя принял образ и тело Иоанна, почему презирая нас и всех им видимых человек самозлейшими тварями почитал; сказывал, что он часто в небе бывает, что произносимые нами слова и изнутри исходящий дух нечистый и огненный состоят, называл еретиками и опорочивал нас в том, что как мы друг пред другом, так и пред образами святыми поклоняемся, сим мерзость и непотребство наше оказывается, а небесные де духи, из числа коих и он, никому поклоняться не могут».

«Принц», вероятно, закончил бы жизнь душевнобольным. Но при попытке его освободить в ночь с 4 на 5 июля 1764 года Иван Антонович был заколот капитанами охраны. Его тело было предано земле в крепости, «без огласки», а впоследствии будто бы отвезено в Тихвинский Богородицкий монастырь, где погребено в паперти Успенского собора.

Томившийся пять лет в одиночной камере руководитель башкирского восстания 1755 года Батырша был доведен условиями заточения до отчаяния и решился на побег. Согласно докладу коменданта, 24 июля 1762 года скованный по рукам и ногам узник дождался, когда один часовой заснул, «взял принесенный солдатом Хомутовым топор, поодиночке у капрала Никитина тем топором голову разрубил надвое; у солдата Хомутова головы левую сторону разрубил и правый висок проломил; у Лазарева в двух местах брюхо пропорото; у Епифанова, который был на часах, в двух местах голову разрубил же»; после устроенной резни «онный же колодник и сам умер без всяких язв и побой», что вызывает большие сомнения⁴⁷.

В крепость попал известный нам чиновник Мошетной канцелярии Филипп Беликов, обвинявший коллег в непристойных словах в адрес государыни, но сам уличенный в их употреблении. Будучи сослан в Сибирь, он в 1745 году объявил, что желает написать две книги — «Натуральную экономию» и «Алхи-

мическую». Относительно первого исследования он пояснил, что оно принесет «некоторую всероссийскую пользу», а о второй задумке сообщил в Сенат, что она может дать тысяч десять рублей дохода. Сенаторы «по довольному рассуждению» определили: позволить Беликову писать, но взять с него подписку, чтоб «ничего противу Богу и ее императорского величества высочайшей персоны и высочайшей же ее величества фамилии и Российской империи отнюдь не писать, и о том, что будет писать, никому не объявлять». Автору была обещана «высочайшая милость» и награда, если его труды окажутся полезными государству; местом для научной работы избрали Шлиссельбург. Так бывший чиновник стал предшественником будущих научно-исследовательских «шарашек» Новейшего времени. На содержание Беликова с семьей было определено по 25 копеек в день; ему было разрешено ходить в церковь и навещать живущих в крепости, но передвигаться под конвоем. Жена и дети могли свободно посещать его и выходить за стены крепости. Но написанная в 1747 году «Натуральная экономия» не принесла Беликову ни свободы, ни награды; вторую же книгу, на которую власти особенно рассчитывали, он писал 18 лет, но так и не закончил до 1764 года, когда Екатерина II распорядилась освободить его⁴⁸.

В конце столетия здесь находилась пестрая компания из 49 заключенных: 22 военных в чинах от подпоручика до генерал-майора, пять гражданских чиновников, один купец, два ксендза, два поляка, несколько крестьян, подделыватели ассигнаций и паспортов, карточные игроки, еретики-скопцы. Одни из них попали за «дело», как участники польского восстания 1794 года, фальшивомонетчики Савва Сирский и бывший унтер-офицер Кузнецов, московский купец Евсеев (за подачу письма от имени... Петра III), поручик Карнович («за продажу чужих людей, за сочинение печатей и паспортов и дерзкое разглашение»), некто Протопопов («за отвращение от веры и неповиновение церкви») и известный нам лжепосланник наследника Павла Григорий Зайцев. Своим

«буйственным поведением» этот арестант доставил тюремщикам немало хлопот. Посаженный за самозванство в «работный дом», он написал письмо к настоящему Павлу от имени его невинно арестованного флигель-адъютанта Василия Жураховского. В Шлиссельбурге он, в отличие от большинства арестантов, не только молился; комендант полковник Колюбакин докладывал в 1791 году генерал-прокурору, что заключенный «никакого раскаяния не имеет». Переведенный в Соловки, Зайцев оттуда сбежал, но решил добровольно прекратить свои похождения — лично явился к бывшему начальнику бывшей Тайной экспедиции сенатору Макарову и просил содействия ему в пострижении в одном из монастырей на Украине, которое и было оказано⁴⁹.

Отставной поручик Федор Кречетов содержался в Шлиссельбурге «за развратные сочинения». Дослужившийся до офицерского звания разночинец работал библиотекарем и домашним учителем, «крайнюю нужду имел в пропитании», но мечтал о большом общественном поприще: подал проекты заведения коммерческих и юридических школ и народных училищ «для скорейшего российской грамоте читать и писать научения»; начал издавать журнал «Открытие нового издания, души и сердца пользующего. О всех, и за вся, и о всем ко всем, или Российский патриот и патриотизм» без разрешения цензуры.

Взятый в Тайную экспедицию по доносу, Кречетов признал главные пункты обвинения — произнесение «непристойных и укорительных слов» в адрес императрицы, церкви, Сената; на следствии фигурировала его записка о возможности свержения монарха, если тот «не будет исполнять по установленным обществом законам». Как доложили Екатерине II, «из всех его мыслей и произносимых им слов видно, что он не хочет, чтобы были монархи, и заботится больше о равенстве и вольнице для всех вообще, ибо, Между прочим, сказал, что раз дворянам сделали вольность, то для чего же не распространить оную для крестьян, ведь и они такие же человеки». В 1794 году Кречетов был отправлен в крепость с приказом стра-

же следить, «чтоб он никаких разговоров и сообщения ни с кем не имел и содержан был накрепчайше». Вольнодумец был выпущен из Шлиссельбурга только в 1801 году, отправлен в ссылку в Пермь, где и умер.

В крепости находились арестанты, присланные без указания их вины «при повелении за подписанием его императорского величества», и те, кто явно не являлись политическими преступниками: майор Чирков сидел «за дурное поведение», майор Кардовский — «за грубость начальству», Преображенский поручик Сокорев 2-й — «за картежную игру», гусарский корнет Шлиттер — за долги⁵⁰. Амнистия 1801 года ненадолго освободила камеры Шлиссельбурга от политических заключенных; но скоро началось возрождение этой тюрьмы, остававшейся одним из самых надежных мест заключения до начала XX века.

Помимо Шлиссельбурга Тайная канцелярия и экспедиция отправляли своих «клиентов» в Динамюндскую, Кексгольмскую и Ревельскую крепости. С Динамюнде (нынешний Даугавпилс) начинало свое многолетнее заключение всё «брауншвейгское семейство»; потом пути его членов разошлись — свергнутый император Иван Антонович угодил в Шлиссельбург, а его мать-регентша и отец-генералиссимус остались в ссылке в Холмогорах.

К концу XVIII столетия Динамюндская крепость была самой многолюдной — здесь содержались 250 узников, 188 из которых являлись сектантами-духоборами. Государственных же преступников было всего трое. Один был беглый дворовый Ксенофонт Владимиров, выдававший себя за сына голландского короля и за Петра III. Другой, майор Василий Пассек, осужденный за «дерзновенные сочинения», оставил нам описание своего места заключения: «Я прислан был в Динамюнд под присмотр впредь до повеления, а меня с самого первого дня стеснили до того, что три года и до самой отставки коменданта Шилинга не позволялось мне выходить из сего погреба. Здоровье мое день ото дня повреждалось более, а к вящему разрушению оно инженерный полковник Смолья-

нинов по жестокости своей не взирал на мои представления, приказал обрыть жилище мое рвом. Со всей почти крепости стекала в оный дождевая вода и подходила под пол сей комнаты; из сухой и летом она сделалась необычайно сырой, более нежели на аршин плесень покрыла стены внутри, а зимой лед и снег и чад от того были почти непрестанно. Через полтора года потом сей ров зарыли, но сырость мне осталась уделом. Сердце мое обливается кровью при воспоминании ужасных картин сих»⁵¹. Третьим политическим заключенным Динамюнде был отставной полковник Александр Михайлович Каховский, член так называемого «смоленского заговора» — существовавшего в 1797—1798 годах кружка из офицеров расквартированных в губернии полков, чиновников местной администрации, гражданских лиц и отставных военных. Следствие установило, что члены кружка имели «план к перемене правления». Каховский был лишен чинов, дворянства и посажен в крепость «за вольные суждения и критику о службе, одежде, налогах и о прочем, клонящемся к развращению нравов, и читал французскую трагедию Вольтера о смерти кесаря и, переведя по-русски, сказал: "есть ли бы это нашему"». По этому же делу попал в Тайную экспедицию и его брат, подполковник Алексей Ермолов.

В Кексгольме в 1801 году оставались 10 заключенных. Самыми известными среди них были члены семьи Пугачева. В докладе А. С. Макарова об условиях их содержания говорилось: «Женки бывшего самозванца Емельяна Пугачева (Софья и Устинья. — *И. К. Е. Н.*), две дочери девки Аграфена и Христина от первой и сын Трофим с 1775 года содержатся в замке в особливом покое, а парень на гауптвахте в особливой комнате. Содержание имеют от казны по 15 копеек в день. Живут порядочно. Имеют свободу ходить по крепости, но из оной не выпускаются. Читать и писать не умеют». Императорским указом им предписывалось «сказываться только именами и отчествами», не упоминая фамилии самозванца. В заточении они находились всю жизнь; Николай I в январе

1834 года известил Пушкина, что дочь Пугачева (царь ошибочно назвал ее сестрой) «тому три недели умерла в крепости». Обе жены Пугачева скончались до 1811 года, судьба же сына до сих пор неясна⁵². В крепости содержались пастор Роман Бурмейстер и крестьянин Пантелеймон Никифоров, оставшиеся под стражей и в 1801 году: «Хотя <...> и было с прочими государю императору докладывано, но ничего не последовало. А содержатся в Кексгольмской крепости: 1) за подачу в Кантору опекунства иностранных бумаг с нелепыми выражениями, виденными якобы во сне на день коронавания покойной государыни императрицы, по засвидетельствованию доктора оказался совершенно помешанным в уме, что даже бросался на караульных; 2) за двукратное делание фальшивых ассигнаций наказан кнутом». В Пороховом погребе крепости с 1785 года содержался секретный узник (возможно, он и был упомянутым безымянным заключенным) — переводчик Коллегии иностранных дел Иван Пакарин, называвший себя сыном Екатерины II и графа Никиты Ивановича Панина⁵³.

Самыми знаменитыми арестантами Ревельской крепости стали бывший ростовский митрополит Арсений Мацеевич и полковник князь Дмитрий Константинович Кантемир, называвший себя господарем Молдавии и Валахии, за что провел 17 лет в темнице.

Не легче, чем в крепостях, было отбывать наказание в монастырских тюрьмах, имевших такие же казематы в стенах, а кроме них — подвалы. Самым тяжелым было заточение в «земляной тюрьме», или «погребе»; в Соловках это была яма двухметровой глубины с краями, обложенными кирпичом, и крышей из досок, засыпанных землей. В крыше имелось отверстие, закрывавшееся дверью, запиравшейся на замок; через него опускали и поднимали узника и передавали ему пищу.

Настоятель монастыря являлся одновременно «командиром» воинской охраны заключенных, а в случае ее отсутствия эту роль играли монахи. Кон-

тингент узников все же большей частью состоял не из «клиентов» политического сыска, а из проштрафившегося духовенства и светских лиц, сосланных за подведомственные церковному суду преступления — ереси, раскол, богохульство, «развратное поведение». Одни преступники присылались туда «под начал», то есть на определенный срок на монастырские работы для исправления от «буйства» или умеренного пьянства и после его отбытия могли выйти на свободу и даже вернуться к прежней деятельности. Другие попадали «под караул» — более суровый режим: заключенный помещался под стражей в келье-камере. В лучшем случае ему разрешался выход в церковь, в худшем — ждала полная изоляция. Такая судьба постигла вице-президента Синода, новгородского архиепископа Феодосия Яновского — в 1725 году смертная казнь ему была заменена другим наказанием: «...урезав языка, послать его в Соловецкой монастырь и содержать в наикрепчайшей тамо тюрьме под крепким караулом, никуда не выпуская». Но в итоге бывшего владыку отправили не в Соловецкий, а в Николо-Корельский монастырь, и скоро его участь еще ухудшилась: с него сняли сан и приказали «сыскать каменную келью наподобие тюрьмы с малым окошком, а людей близко той кельи не было бы, пищу определить ему хлеб да вода». В соответствии с этим указом Феодосий был замурован в подземной келье под церковью, где во тьме, холоде, грязи, собственных нечистотах он прожил несколько месяцев. С наступлением зимы замерзавшего узника нужно было перевести в отапливаемую камеру. Во время перенесения в новое узилище он сказал стоявшему рядом вице-губернатору Измайлову: «Ни я чернец, ни я мертвец, где суд и милость?» Камеру вновь заложили камнями. Скоро караульный офицер оповестил Измайлова, что уже несколько дней арестант «по многому клику для подания пищи ответу не дает и пищи не принимает»; 5 февраля 1726 года «чернец Федос» скончался.

Заключенных не баловали разносолами — в основном кормили «только хлебом слезным» и водой.

Такой паек, например, был назначен в 1735 году раскольнику Яковлеву, доставленному на Соловки после нещадного битья кнутом, с вырезанными ноздрями; но даже на таком скудном рационе он, закованный в ручные и ножные кандалы, прожил в одиночке семь лет. Пытавшимся бежать и пойманным преступникам снижали хлебную выдачу, чтобы они не могли сушить сухари для очередного «сбега». Питание вначале было за счет монастыря и милостыни богомольцев, но со второй половины XVIII века заключенным стали назначать продовольственный паек «против одного монаха» (иноческий оклад тогда составлял 9 рублей в год). «Секретные арестанты» получали кормовые деньги на руки, а продовольствие им покупали караульные солдаты.

Тайны монастырских темниц уже давно привлекали внимание историков, благо хорошо сохранившиеся архивы дают представление о судьбах узников обитателей⁵⁴. Классическая монастырская тюрьма с XVI века располагалась в Соловецком монастыре, куда нередко присылали наиболее важных арестантов: здесь скончался в 1729 году сам начальник Тайной канцелярии Петр Толстой, с 1730 по 1738 год в заточении находился дипломат, член Верховного тайного совета Василий Лукич Долгоруков — их содержали в «Антоновской тюрьме» под братскими кельями южнее Святых ворот. Сосланного по делу Волынского в 1740 году президента Коммерц-коллегии Платона Мусина-Пушкина замуровали в каменный мешок Головленковой башни, где он просидел до смерти Анны Иоанновны.

«Подбивавшегося» к принцессе Елизавете магазейн-вахтера Адмиралтейства князя Дмитрия Мещерского поместили в 1739 году в самую страшную земляную тюрьму «до смерти под караул». В 1742 земляные «погреба» были «закладены» и кандидат в «гришки-расстриги» помещен в обычную келью-камеру под караулом, где в 1758 году его обнаружил инспектировавший монастырскую тюрьму по заданию Тайной канцелярии и Синода поручик лейб-гвардии Конного полка Александр Голицын. Всего в его реес-

тре значилось 20 заключенных, большей частью духовных лиц — «расколыщиков», расстриженных попов и дьяконов. В числе богохульников содержался «из жидов восприявший христову веру» Афанасий Килкин, обвинявшийся в «поругании святого креста» и произнесении «непристойных слов»⁵⁵.

Сидевший с 1766 года за убийство матери и сестры бывший дворянин поручик Алексей Жуков, не выдержав условий заключения, решил умереть от руки палача. В 1775 году во время провозглашения многолетия Екатерине II в монастырской церкви он крикнул: «Какая она императрица, она татарка!» — был тут же схвачен, закован в кандалы и отправлен в Архангельск. Убийца надеялся, что за такое «блевание» он будет казнен; но императрица повелела вернуть его в монастырь и держать в отдельной келье под охраной, «ибо уже такового утопшего в злодеяниях человека никакое, кажется, физическое наказание к желаемому раскаянию привести не может»⁵⁶.

Спустя 30 лет, в 1786 году, «Ведомость о содержащихся в Соловецком монастыре колодниках» насчитывала 15 человек. Среди них были безумные (дворовый Сергей Трифонов, «малороссиянец» Антон Любимский и дворянин Михаил Ратицов); бывший архимандрит Григорий Спичинский, «во многих клеветах и неосновательных доносах и ложных разглашениях известный»; лишенный дворянства и чинов «по высочайшему указу за неумышленное смертное отца своего убийство» Петр Шелешов; отставной подпоручик Александр Теплицкий, сосланный «за развращенную жизнь». Среди заключенных находились и подделыватель банкнот «бывший Пушкин», и кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнишевский, присланный «по докладу» Потемкина, только что принятого в запорожские казаки и повелевшего навсегда разорить гнездо казацкой «вольности». Атаман, заточенный «для содержания безвыпускно из монастыря и удаления не токмо от переписок, но и от всякого с посторонними людьми обращения за неослабным караулом», был освобожден лишь в 1801 году, но не пожелал уйти из монастыря и скон-

чался там спустя два года в возрасте 112 лет. О вине некоторых узников ничего не сообщалось. Например, неизвестно, за что бывшего полкового лекаря Алексея Лебедева надлежало держать «под крепкою стражею особо от прочих колодников и кроме церкви его никуда не выпускать, приняв при этом всенастрожайшие предосторожности, дабы он ни себе, ни другим вреда по безумию причинить не мог; <...> предписано не допускать его общения с другими ни на словах, ни на письме, а потому не давать ему письменных принадлежностей», при этом о его жизни было приказано «сообщать ежегодно князю Вяземскому»⁵⁷.

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале с 1767 года принимал в свои стены душевнобольных колодников, находившихся под надзором воинской караульной команды из шести рядовых под начальством унтер-офицера. Инструкция, данная генерал-прокурором князем А. А. Вяземским архимандриту, предписывала: «Содержать оных безумных в отведенных от архимандрита порожних двух или трех покоях, однако не скованных, и иметь за ними присмотр такой, чтобы они себе и другим по безумию своему не могли учинить какого вреда, чего ради такого орудия, чем можно вред учинить, отнюдь бы при них не было, так и писать им не давать. Бude ж бы который из них стал сумасбродить, то в таком случае посадить такого одного в покой, не давая ему несколько времени пищи; а как усмирится, то тогда можно свести его по-прежнему с другими. Кoi же смиренны и сумасбродства не делают, таких пускать для слушания божественного пения в церковь, однако под присмотром же караульных; причем смотреть за ними, чтобы с посторонними не вступали в непристойные разговоры, также бы не ушли с монастыря. Караульным с ними, сколько возможно, вступать без употребления строгости, а поелику они люди в уме поврежденные, то с ними обращаться с возможной по человечеству умеренностью. Бude ж бы который из них стал произносить что важное, но как сие происходить будет от безумного, то онаго не слушать и в

донос о том не вступать, а только что произнесено будет, рапортовать воеводе». Вскоре после поступления умалишенных в монастырь там было устроено особое арестантское отделение, отгороженное от остальной территории монастыря каменной стеной. Согласно документам монастырского архива, с 1766 по 1800 год там побывали 62 узника. Как и в Соловки, Тайная экспедиция отправляла в монастырь ревизоров: с этой миссией в 1777 году там побывал ее секретарь Сергей Федоров, а в 1796—1797 годах — коллежский советник А. С. Макаров. Среди «сидельцев» обитатели были драгун Н. Рагозин, посаженный в 1759 году за «безумство», отставной канцелярист Головин — за переход в магометанство. Раскольник-драгун И. Скворцов оказался в монастыре за сочинение письма, в котором «почитал себя пророком Илиек», осуждение церковных обрядов и именование императора Петра I антихристом. Монах Палладий попал в обитель «для смирения» за доносы «с дерзкими выражениями». «За дерзновенную присылку бумаг в безумстве на высочайшее имя с разными доносами» здесь находился солдат Илья Буханов. Купец М. Щелкановцев угодил в монастырь «за разглашение злодея Пугачева и за раскол». «Совершенно повредившийся в уме» игумен Амвросий в 1782 году выдавал себя за сына императрицы Елизаветы и эрцгерцога Фридриха Прусского, а отставной бригадир Федор Аш, как уже говорилось, просил принять престол И. И. Шувалова в качестве якобы сына Анны Иоанновны⁵⁸.

Состав заключенных в тюрьме Кирилло-Белозерского монастыря принципиально не отличался от контингента узников монастырских тюрем в Суздале и на Соловках: сюда также присылались еретики, безумные, лица «распутного поведения» и государственные преступники. Для их содержания использовались камеры в пряслах крепостных стен.

Женщин заточали в московские Ивановский, Новодевичий и Вознесенский монастыри. В первом из них сидела знаменитая Салтычиха в особой «покаянной» камере не выше трех аршин (2,1 метра), полно-

стью находившейся ниже поверхности земли. Узнице, содержащейся в полной темноте, лишь на время еды передавался свечной огарок; ей не позволялись прогулки, запрещалось получать письма. По крупным церковным праздникам бывшую помещицу отводили к небольшому окошку в стене храма, через которое она могла прослушать литургию, а для духовного окормления к ней допускалась настоятельница монастыря. В 1779 году ее перевели в каменную пристройку к храму, имевшую зарешеченное окошко, в которое было дозволено заглядывать посетителям монастыря и даже разговаривать с узницей; там она содержалась до самой своей смерти 27 ноября 1801 года. В Вознесенском монастыре была заточена за истязания крепостных другая помещица-изуверка, Лопухина. В 1797 году следствие выявило «невыносимые мучения» 16 крепостных: порку плетью, битье поленом, запираение зимой в холодном чулане. Лопухину приговорили к пожизненному заключению в монастыре, но уже через три года она была отдана под присмотр родных⁵⁹.

В Новодевичий монастырь Екатерина II распорядилась в 1775 году поместить на «неисходное здесь пребывание» дочь графа Кирилла Разумовского Елизавету — за побег и венчание с генералом графом Апраксиным. Ее супруг был отправлен в сибирский Успенский Долматов монастырь под жесточайший надзор: «Содержать под строжайшим караулом, никуда не только из того монастыря неисходно, но и к нему никого не допускать и содержать его в особой келье, не выпуская из оной кроме церкви Божией на славословие, да и то за караулом, никуда. Писем писать отнюдь ни к кому и для того пера, чернил, бумаги и чем только можно писать никак ему не давать. Для караула послать четырех человек [солдат]. Без именного указа никого к нему не допускать. Однако ж озлобления и неучтивости кроме своей должности отнюдь оному Апраксину не чинить. На питание отпускать ему в сутки 50 копеек, унтер-офицеру 6 копеек и солдатам по 4 копейки. На отопление

особо 100 рублей». Впрочем, наказание было недол-

гим — императрица смилостивилась: Разумовская была освобождена в том же году, а Апраксин через два года; но чета оставалась в ссылке в своих имениях и окончательное прощение получила лишь в 1796 году.

Но столичные обитатели показались бы роскошными апартаментами тем, кому выпало, как сестрам Екатерине, Елене и Анне Алексеевнам Долгоруковым, заточение в дальних и бедных монастырях. В 1739 году ссыльные мужчины из их рода отправились на казнь, а едва не ставшая царицей, а ныне «разрушенная невеста блаженные и вечно достойные памяти императора Петра II девка Катерина» была помещена в Томский Рождественский монастырь «под накрепчайшим караулом»⁶⁰. Там жили всего семь монахинь (одна из них слепая), от дряхлости уже не выходящих из келий; ухаживали за ними «четыре неимущих вдовы». Как писал томский архимандрит в своем докладе сибирскому митрополиту Антонию, «с 1736 по 1740 год дачи им денежного и хлебного жалования не было и ныне нет; а пропитываются монахини милостынею».

Упразднение Тайной экспедиции в 1801 году мало что изменило в порядках монастырских тюрем — они также исправно функционировали на протяжении всего XIX века.

*«Содержать в остроге под крепким караулом
неисходно»*

По Соборному уложению 1649 года после отбытия тюремного заключения отправлялись в ссылку все «тати» (воры), мошенники и разбойники; туда отправлялись «корчемники» и «табашники»: первые — после битья кнутом, вторые — с урезанными носами и рваными ноздрями; а также подьячие, склонные к тому, «чтобы пошлинами покорыствоваться», и посадские тяглые люди, если «учнут за кого закладываться и называться чьими крестьяны и людьми», чтобы не платить налогов.

После Уложения появились указы, по которым ссылка назначалась уже как самостоятельное наказание. Ей подлежали убийцы «пьяным делом в драке, а не умышлением»; «кто у себя медные деньги держать учнет»; укрыватели краденого; уличенные в краже «с пожара». Ссылкой наказывали за насильственное освобождение «оговорных людей» и своеобразный способ повреждения нравственности: если кто «с пьянства наскочит на лошади на чью жену и лошадью ее стопчет и повалит и тем обесчестит». Указы 1679 и 1680 годов повелевали не увечить воров, ранее приговаривавшихся к отсечению рук, ног или двух пальцев, а ссылать в Сибирь. В 1681 году ссылка была назначена торговым людям, использовавшим «воровские не прямые весы». В числе других наказаний ссылка полагалась раскольникам и всем, кто «меж Христианы непристойными своими словами чинят соблазн и мятеж»; лжекалекам — за прошение милостыни «притворным лукавством», земским старостам и целовальникам — за злоупотребления по сбору денег.

Петр I ввел в России каторгу, традиционно подразумевавшую отдачу в гребцы на галеры, но на практике имевшую более широкое применение в виде тяжелых принудительных работ на горных заводах, строительстве портов и крепостей. Одним из мест применения каторжного труда стал Рогервик (с 1783 по 1917 год — Балтийский Порт; ныне эстонский город Палдиски). В 1715 году Петр I решил основать здесь военный порт и крепость, сооружение которых продолжалось несколько десятков лет, но так и осталось незавершенным.

Вечная каторга назначалась вместо смертной казни и сопровождалась битьем кнутом и клеймением. К каторжным работам и ссылке приговаривались преступники за один или два разбоя, «если смертоубийства не учинили», за продажу «нездорового какого харча и мертвечины»; в эпоху петровских бытовых преобразований туда можно было угодить даже за торговлю русской обувью с дегтем, несанкционированное ношение русского платья и бороды. Применялись также вечная ссылка, ссылка на поселение,

на житье (последняя мера относилась к привилегированным лицам). Первыми местами ссылки в России были Архангельск, Устюг, Пустозерск, Симбирск, Уфа, Западная Сибирь. Позднее стали ссылать в Азов и Таганрог. Потом стали ссылать на побережье Охотского моря, в Оренбург и Нерчинские заводы.

В первой половине XVIII века в числе ссыльных часто оказывались не только выходцы из простонародья, но и представители элиты. «Эпоха дворцовых переворотов» периодически приводила к власти новые придворные группировки; победители делили «деревни», дворцы и кафтаны прежних министров и фаворитов, а побежденные — попадали в ведение Тайной канцелярии и отправлялись в Сибирь или иные отдаленные уголки империи.

Этим путем прошли вице-канцлер Петр Шафиров, обер-прокурор Сената генерал-майор Григорий Скорняков-Писарев (один из судей петровской Тайной канцелярии), обер-церемониймейстер двора граф де Санти, зять Меншикова петербургский генерал-полцимейстер граф Антон Девиер — за ним вскоре последовал сам «полудержавный властелин». Воцарение Анны Иоанновны обернулось ссылкой для клана князей Долгоруковых и вице-президента Коммерц-коллегии Генриха Фика; со смертью императрицы произошло «падение» регента Бирона. Приход к власти Елизаветы означал ссылку для окружения правительницы Анны Леопольдовны — графа М. Г. Головкина, вице-канцлера, кабинет-министра и генерал-адмирала А. И. Остермана, обер-гофмаршала Р. Левенвольде, фельдмаршала Б. Х. Миниха; придворные бури вырвали из рядов победителей лейб-медика А. Лестока и канцлера А. П. Бестужева-Рюмина.

Низвергнутый вельможа поначалу мог отправиться в ссылку в роскошной карете с целым караваном имущества и прислуги, как было позволено в сентябре 1727 года Меншикову. В дальнейшем подобные «падения» проходили уже по иному сценарию: с немедленным арестом, следствием, предрешенным приговором и автоматической конфискацией движимого и недвижимого имущества.

Такой ссыльный под охраной гвардейского караула доставлялся к местным властям, которым даже не сообщали о его преступлении. «Понеже обер-церемониймейстер граф Санти явился в тайном деле весьма подозрителен, того ради его императорское величество указал отправить его из Москвы в Тобольск, а из Тобольска в дальнюю сибирскую крепость под крепким караулом и содержать там под крепким же караулом, дабы не ушел» — с таким предписанием была доставлен в Тобольск автор многих русских городских гербов.

Офицеры-гвардейцы, которым предстояло доставить еще недавно всесильного, а теперь «бывшего Бирона» в сибирскую ссылку, летом 1741 года получили из Кабинета инструкцию: «Приняв тех арестантов, вести их, не заезжая в Москву, прямо до Казани, начав тракт свой от Шлютельбурха на Ладогу водою, от Ладоги до Устюжны Железопольской сухим путем, от Устюжны водяным путем до Казани и оттуда далее Камою рекою <...>, а вам, капитану поручику Викентьеву и поручику Дурново, ехать с теми арестантами сибирской губернии к городу Пельму. И будучи в дороге, никого ко оным арестантам ни под каким видом не допускать, бумаги и чернил им не давать, и по прибытии в тот город ввестъ их в построенные там для их нарочно покои, которые огорожены острогом, и содержать их под крепким и осторожным караулом неисходно».

Бирон на себе испытал правила обращения с государственными преступниками. Его серебряный сервиз заменили на оловянный, а также отобрали прочие драгоценные вещи: портрет Анны Иоанновны в серебряной оправе, двое золотых часов (счет времени — не самое необходимое занятие для сосланного навечно) и золотую табакерку, оставив 173 рубля наличных денег. 14 июня арестанты под конвоем 84 гвардейцев отправились в путь. С семейством Бирона ехала большая обслуга: служитель Александр Кубанец, турчанка Катерина и «арапка» Софья (все — «люторского закона»; видимо, герцог строго следил за нравственностью прислуги), пастор

Иоганн Герман Фриц, два повара — Афанасий Палкин и Прохор Красоткин, «хлебник» Иван Федоров, еще один слуга Илья Степанов и лекарь Вихлер. Пастор и придворные повара считались командированными с сохранением своих «окладов»; лекаря же было приказано «содержать под крепким караулом при оном Бироне и какой он и для чего туда послан, о том Бирону и его фамилии, как вам (конвоирам. — *И. К. Е. Н.*), так и ему, лекарю, самому не объявлять»; в месте ссылки Вихлера также надлежало держать под стражей, «понеже он за тяжкую свою вину посылается туда вместо смертной казни». Бирону, его жене и детям было определено ежедневное содержание в 15 рублей; на всех остальных полагалось еще 50 рублей. В итоге получалась внушительная сумма — 5 985 рублей в год, не считая жалованья конвоиров и расходов на проезд; «бывший герцог» и после своего «падения» обходился российской казне недешево⁶¹.

Третьего июля арестанты прибыли в Устюжну, откуда их повезли на специально заготовленных барках. Из Казани барки отбыли 10 августа; далее капитан-поручику Викентьеву и его подопечным предстояло плыть вверх по Каме до Соликамска, откуда начинался санный путь за Уральские горы. Путешествие завершилось только в ноябре, когда «поезд» со ссылными прибыл в затерянный в тайге городишко Пелым, и в наши дни остающийся местом поселения для отбывших свои сроки заключенных. Там их уже ожидала только что отстроенная (по проекту «злейшего друга» Бирона, фельдмаршала Миниха) тюрьма.

Бирон оказался в 700 километрах от Тобольска в затерянном в тайге поселке с полуразвалившейся крепостью и четырьмя десятками домов обывателей. Семейство поместили в «остроге высоком с крепкими палисадами» вместе с не отличавшейся воспитанностью и едва ли довольной «командировкой» охраной, которой приходилось терпеть нужду и тяготы вместе с поднадзорными. Жизнь ссылных сопровождали лязг оружия, топот и разговоры солдат, сырость, дым из плохо сложенных печей, теснота (дом-крепость был обнесен тыном так, что между

внешней изгородью и стеной оставалась всего сажень). Слабым утешением служило то, что Бирон был не первым, отбывавшим здесь ссылку — за 140 лет до того в этом месте томились сосланные по приказу Бориса Годунова братья Иван и Василий Романовы, чей племянник Михаил Федорович в 1613 году взошел на российский престол.

По воспоминаниям стариков, записанным декабристом А. Ф. Бриггеном, герцог ездил на охоту («за пристойным честным присмотром») на собственных лошадях; по улицам ходил «в бархатном зеленом полукафтаны, подбитом и опушенном соболями», и «держался весьма гордо, так что местный воевода, встречаясь с ним на улице, разговаривал, сняв шапку, а в доме его не решался сесть без приглашения». Но архитектурных дарований Миниха Бирон не оценил и, как рассказывали пелымские старожилы в 30-е годы XIX века, дважды пытался от огорчения поджечь свою тюрьму⁶².

Но на счастье герцога и его семейства, пелымская ссылка оказалась кратковременной — по распоряжению взошедшей на престол Елизаветы их перевели в «европейский» Ярославль. 27 февраля 1742 года те же гвардейцы снова повезли Бирона с семьей обратно. В Казани произошла неожиданная встреча: возвращавшийся из-за Урала Бирон увидел Миниха — фельдмаршала конвоировали в тот самый Пелым, который не так давно он избрал местом ссылки для герцога. Вельможи узнали друг друга, молча раскланялись и разъехались — им было суждено вновь увидеться через 20 лет в Петербурге при дворе Петра III.

Условия содержания других ссыльных были намного более суровыми. Графа Санти в Усть-Виллойске стерегли восемь солдат, которые по условиям существования мало отличались от ссыльных. «А живем мы, он, Сантий, я и караульные солдаты, в самом пустынном крае, а жилья и строения никакого там нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним, Сантием, во бесконечной нужде, печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы; от жестокого холода хлебов негде печь, а

без печеного хлеба, претерпеваем великий голод, и кормим мы Сантия и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул нечем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может», — докладывал начальник караула якутскому воеводе.

Бывший кабинет-министр Михаил Головкин проводил год за годом в Колымском остроге, «выходя из дома не иначе как в сопровождении двух конвойных с ружьями, споря с местными казаками за рыболовные межи в Колыме и ежевоскресно являясь в приходскую церковь, где раз в год он был обязан, выпрямив и скрестив руки, выслушивать какую-то бумагу, а за ней увещание священника». Он продержался на Колыме 14 лет во многом благодаря заботам жены Екатерины Ивановны, в девичестве Ромодановской — дочери последнего начальника Преображенского приказа.

Даже в относительно приличных условиях ссылки выдерживали не все — годы и лишения свели в могилу неумеренного Александра Даниловича Меншикова. Его дом через несколько лет стал тюрьмой для семейства Долгоруковых; караул охранял не только крыльцо, но и весь периметр ограды, за которую заключенным было запрещено выходить. Коменданту строго указывалось соблюдать условия содержания и не допускать поблажек: рацион питания не должен был выходить за пределы рубля на человека в день (это ограничение постоянно нарушалось — очевидно, благодаря взяткам). Единственной привилегией знатных заключенных оставалось право принимать гостей.

Вслед за ними сидельцем Березовского острога стал Андрей Иванович Остерман. Бывший вице-канцлер и генерал-адмирал прибыл в сопровождении жены, трех лакеев, повара и двух горничных; позднее к этому «штату» добавился еще пастор с жалованьем в 150 рублей для духовного наставления опальных. Земные же их потребности были ограничены: Остерману и его жене полагалось по рублю в

день, разрешалось выходить только в церковь; инструкция поручику Дорофею Космачеву требовала содержать ссыльных «под крепким и осторожным караулом», не давать бумаги и чернил и «не позволять им ни с кем видеться». Дворне выдавали по 10 копеек, но с правом выходить раз в день для закупок. Острожный досуг прежде вечно занятого министра состоял в чтении Библии и редких писем от детей, оставленных на службе, хотя и переведенных из гвардии в армейские полки. Несколько лет в столицу отправлялись ежемесячные доношения охраны о состоянии подопечных, пока поручик Космачев не дожил: «Сего мая 5 дня состоящий у меня под караулом бывший граф Андрей Остерман заболел грудью и голову обносит обморок, а сего ж мая 22 дня 1747 года пополудни в четвертом часу волею Божиею умре»⁶³. «Душа» Кабинета министров Остерман, как и многие другие жертвы «дворских бурь», скончался в ссылке, несмотря на заботы последовавшей за ним жены Марфы Ивановны — представительницы боярского рода Стрешневых.

Кстати, путешествие жен за ссыльными мужьями в Сибирь в те времена не воспринималось как подвиг — во-первых, потому, что при Петре I или Анне Иоанновне их, не спрашивая согласия, просто отправляли вместе с мужьями, а во-вторых, в тогдашнем, еще во многом традиционном обществе разделение участи супруга воспринималось как норма. Тем более никто не спрашивал мнения крепостных, отсылаемых на край света вместе с господами. Проблемы здесь возникали у иноземцев. Так, у сосланного зятя Бирона, генерала Бисмарка, вышел конфликт с его вольнонаемными немецкими служителями: в отличие от русских крепостных, они ехать далее Москвы «не похотели». Брат фаворита, гвардии подполковник Густав Бирон, ошеломленный переворотом, навсегда оторвавшим его от полковых «экзерциций», получил еще один удар от своей только что обрученной невесты: помолвка была расторгнута, так как фрейлина Якобина Менгден не пожелала покидать двор ради опального суженого.

Последним узником Березова стал прусский шпион Гонтковский, а в начале XIX века тамошняя тюрьма и вовсе сгорела.

Благодаря поступавшим в Тайную канцелярию рапортам охраны мы можем судить о жизни ссыльных — но только именитых «бывших» министров, графов, князей, генералов. Судьбой менее важных преступников и лиц «подлого звания» сыскное ведомство не интересовалось; в их делах нет никаких сведений о сибирских скитаниях, а мемуары подобная публика в XVIII столетии не писала. Редкие свидетельства подобного рода относятся уже к концу столетия и оставлены людьми просвещенными — к примеру, уже упомянутым немецким писателем и драматургом Августом Коцебу. Оказавшись за Уралом, сочинитель обнаружил, что и в страшной Сибири можно жить с относительным комфортом. Он сумел приискать приличную квартиру и подивился дешевизне продуктов: в Кургане фунт хлеба стоил полкопейки, курица — полторы, а пара рябчиков — 3 копейки; правда, привозные товары были дороги: фунт сахара обходился уже в рубль, кофе — в полтора рубля, а стопа писчей бумаги — в целых 7 рублей. Сочинитель нашел себе европейского (хотя и вороватого) слугу-итальянца и проводил время в чтении, охоте, карточной игре и изучении русского языка — и притом был приятно удивлен наличием «общественного сострадания» к ссыльным⁶⁴. Правда, известный литератор не числился опасным преступником (был сослан только «под надзор»), находился под покровительством самого губернатора да и пробыл в Сибири всего несколько месяцев, имея возможность пользоваться собственными средствами.

Другие же проводили в ссылке долгие годы, и иногда даже конвоиры не знали, за какие преступления сосланы их подопечные; свидетельствами их пребывания оставались только безликие указы. При Анне Иоанновне было неизвестно за что сослан повар Екатерины I: «Отправлен отсюда из Санкт-Петербурга в Архангелогородскую губернию под караулом повар Холябна с женою и детьми, которых по привозе к го-

роду, приняв вам для содержания, под караулом послать в Кольский острог; в бытность его там давать на пропитание кормовых денег всем по тридцать копеек на день. Анна». Через девять лет другая императрица, вспомнив о царском кашеваре, распорядилась: «Всемиловитейше указали мы бывшего при дворе матери нашей блаженные и вечно достойные памяти ее императорского величества государыни Екатерины Алексеевны кухенмейстер Холябна, который обретается в Кольском остроге, из ссылки освободить и, дав ему подводы и прогонные деньги, отпустить в Санкт-Петербург. Елисавет».

Иных засылали так, что долго не могли отыскать после объявленной амнистии. Одни ссыльные навсегда уходили в безвестность, другие получали шанс реабилитироваться — назначались на ответственные должности, хотя и за тысячи верст от столицы. Так, Скорняков-Писарев, став командиром Охотского порта, перенес в сибирскую глушь нравы петровских ассамблей. «Всегда имеет у себя трапезу славную и во всем иждивении всякое доволство, утучняя плоть свою. Снабдевает и кормит имеющихся при себе блядей, баб да девок, и служащих своих дворовых людей и непрестанно упрощаетца в богопротивных и беззаконных делах: приготова трапезу, вина и пива, созвав команды своей множество баб, сочиняет у себя в доме многократно бабьи игрища, скачки и пляски, и пение всяких песней. И разъезжая на конях з блядьми своими по другим, подобным себе, бабьим игрищам, возя с собою вино и пиво, и всегда обхождение имеет и препровождает дни своя в беззаконных гулбищах з бабами», — описал времяпрепровождение своего начальника служилый человек охотского гарнизона Алексей Грачев. Когда веселый и нечистый на руку командир окончательно проштрафился, его сменил в этой должности такой же ссыльный — бывший петербургский генерал-полицеймейстер Антон Девиер, битый кнутом и лишенный чинов и деревень.

Бывшим подследственным, отправленным в ссылку по эту сторону Уральских гор, жилось легче, как со-

сланному в Великий Устюг Лестоку или переведенному в Ярославль Бирону. Еще больше везло дворянам, отправленным на жительство в собственные деревни. В первой половине столетия такая ссылка могла расцениваться как милость; при Екатерине II она уже стала обычной практикой: к 1801 году под таким надзором находилось несколько сотен человек

Но ссылка оставалась ссылкой, даже если была достаточно комфортабельной. Императрица Елизавета, памятуя о благожелательном отношении к ней Бирона во времена его фавора, оказала ему «материальную помощь» в размере 5 тысяч рублей; на его содержание было приказано выдавать те же 15 рублей в день; ярославский воевода получил инструкции ссыльных «довольствоваться без оскудения, против того, как они прежде довольствованы были, из тамошних доходов». Из Петербурга прибыли принадлежавшие Бирону библиотека, мебель, посуда, охотничьи собаки, ружья и несколько лошадей; императрица даже отправила в Ярославль два сундука с нарядами герцога. Осталось в силе разрешение отъезжать от города на 20 верст для прогулок и охоты. Кроме того, Бирону позволили вести переписку и заказывать вещи, которые нельзя было купить в Ярославле — например ткани, нитки и моднейшие образцы рукоделия для герцогини. Бирон даже имел право принимать гостей.

Однако подкараульное житье — не сахар. Служивые часто были навеселе и от скуки приходили «в худое состояние». Бирон имел право свободно передвигаться по городу и его окрестностям, но и за воротами дома-тюрьмы его мало что радовало. Взору бывшего регента империи представляли полуразрушенные деревянные стены и башни, покосившиеся деревянные дома, кучи помоев с «безмерным смрадом». По улицам просили милостыню заключенные в цепях и «чинила продерзости» скотина, отлично себя чувствовавшая «во рвах и грязях», становившихся порой непроходимыми. Достопримечательностью города являлась огромная лужа — «Фроловское болото» перед одноименным мостом, — в которой даже

тонули загулявшие обыватели. Тяжелый, властный и вспыльчивый характер Бирона постоянно приводил к конфликтам с людьми, от которых его семья зависела. Испытание властью навсегда лишило его бывшего обаяния и способности находить общий язык с людьми иного круга. Хотя герцог жил в таких условиях, о которых большинство знатных ссыльных могли только мечтать, он искренне горевал: «Чем нынешняя моя жизнь лучше самой смерти?» — и всё более срывал свое недовольство на окружающих.

Его товарищи по несчастью, как правило, вели себя иначе. Лесток в Устюге жил бедно, но весело: подружился со своей охраной, которая сама водила к узнику гостей; компания играла в карты, и выигрыши Лестока шли ему на жизнь. Ссыльный Миних прожил в заброшенном Пелыме 20 лет, но не унывал. Он много читал и писал, подавал императрице и ее окружению свои послания и проекты; работал в маленьком саду, где высадил деревья, травы и цветы. Фельдмаршал даже завел коров, а на сенокос устраивал «помочи»: приглашал несколько десятков мужиков и баб и щедро за работу угощал. Он обучал местных ребятшек грамоте, а его жена помогала женщинам и давала крестьянским девушкам приданое из своих средств. В 1762 году пелымцы со слезами проводили его в Петербург, как «отца родного», а Миних на радостях раздал всё имущество местным крестьянам.

Бывший вице-президент Коммерц-коллегии Генрих Фик был сослан «по делу о призвании на престол курляндской герцогини Анны Иоанновны» за чтение сослуживцам знаменитых «кондиций» и неуместную радость по поводу того, что «не будут иметь впредь фаворитов таких, как Меншиков и Долгорукой». Спешно проведенное следствие сочло доказанным, что хотя Фик и не сочинял ничего сам, но «ко уничтожению самодержавства российского был склонен», за что был лишен всех чинов и имения и отправлен на десять лет в Сибирь. В его следственном деле хранятся непереуведенный дневник этого памятного путешествия 1732 года и «реабилитационные» документы следующего царствования: в 1743

году Сенат посчитал, что дело Фика началось «по тайным проискам» и заключалось лишь в его «пустом болтании»⁶⁵. Но Фик и в ссылке не унывал — он приспособился к торговле: завел знакомства среди инородцев и посылал в Якутск меха и оленьи шкуры. После освобождения ученый немец написал «Всепоподданнейшее предложение и известие, касающееся до якутов, тунгусов и других в Северной Сибири ясашных народов и особливо о великих отягощениях» с изложением злоупотреблений администрации в отношении аборигенов.

Знакомясь с перечнем знатных ссыльных, не стоит забывать, что почти за каждым «падением» кого-то из сильных мира сего следовали опалы, увольнения со службы и весьма похожие на ссылки назначения в провинцию их ближних и дальних родственников, друзей и «клиентов», в отличие от вельмож, не имевших ни связей при дворе, ни средств, ни влиятельных ходатаев. «Надобно всем моим друзьям стараться, чтобы меня отсюда освободить. Я сопьюся, что уже отчасти и есть», — умолял о возвращении из ссылки камергер Семен Маврин. О том же напрасно писал с китайской границы знаменитый «арап» Абрам Ганнибал, преподававший Петру II математические науки и отправленный Меншиковым строить крепость в далеком Селенгинске на самой границе с Китаем.

Кто-то ссылался в дальние края буквально ни за что. Григорий Чечигин при возвращении в 1728 году из ссылки в столицу царицы Евдокии, первой жены Петра Великого, всего лишь сказал: в Москву едет царица, «которую Глебов блудил». Действительно, за блудное сожительство на протяжении двух лет с постриженной в монахини Евдокией был казнен майор Степан Глебов, о чем 5 марта 1718 года Петр I опубликовал манифест. На пытке Чечигин раскрыл источник информации для своих «поносных речей» — печатный царский указ, но был наказан кнутом и сослан на вечное житье в Сибирь.

Сколько таких было? Во всяком случае, свидетельства о десятках тысяч ссыльных только в царствование Анны Иоанновны не соответствуют действи-

тельности. Всего при ней через Тайную канцелярию прошли 10 512 узников, а в сибирскую ссылку отправились 820 человек⁶⁶; правда, надо учитывать, что отправляли не только в Сибирь, поэтому другие исследователи дают иное число ссыльных⁶⁷. Периоды высочайшей «строгости» сменялись «оттепелями». После свержения регента Бирона 9 декабря 1740 года новая правительница Анна Леопольдовна потребовала к себе дело Волынского, а 29 декабря Тайной канцелярии было предписано подать экстракты обо всех ссыльных в годы царствования Анны Иоанновны. В январе 1741 года туда же поступило разъяснение, что дела «по первым двум пунктам» подлежали пересмотру, а осужденные — снисхождению⁶⁸.

В следующие месяцы Тайная канцелярия подавала требуемые экстракты, а с мест приходили запрошенные сведения, согласно которым в Оренбурге находились 108 ссыльных, в Архангельске — 29, на заводах — 49 и в Иркутске — 331⁶⁹ (итоговый реестр был подан в Кабинет 2 ноября 1741 года — как раз накануне нового дворцового переворота). Высочайшие резолюции нередко отменяли или существенно смягчали наказание. Одними из первых освобожденных ссыльных стали сын и дочь казненного Волынского, возвратился из Сибири Генрих Фик, вернулись уцелевшие после репрессий Голицыны и Долгоруковы; всего же были освобождены 69 человек, проходивших по процессам 1730-х годов⁷⁰. Это не значит, что в это время Тайная канцелярия работала только «на выпуск», — там шли следствия по свежим делам; однако всего за год было сослано только 40 человек «подлого звания»⁷¹.

Новая волна амнистии началась с восшествием на престол Елизаветы Петровны. Она стремилась облегчить участь старых слуг своего отца и даже «вернуть» их в историю — так, сосланный еще в 1727 году Антон Девиер не только получил обратно графский титул, но и был восстановлен в должности петербургского генерал-полицеймейстера.

Другие сумели в Сибири сделать карьеру. «Конфидент» Волынского генерал-кригскомиссар Федор

Соймонов был пытан, бит кнутом и сослан в Охотск; после прощения и «прикрытия знаменем» он остался там жить, вновь поступив на службу во флот. С 1753 года он руководил Нерчинской экспедицией «для описи Шилки и Амура», а в 1757 году был назначен сибирским губернатором. За шесть лет Соймонов открыл морскую школу; при нем было заложено несколько новых судов на озере Байкал, строились маяк и гавань. Бывший каторжник посвятил Сибири несколько ученых публикаций в журнале «Ежемесячные сочинения». В 1763 году он состоял членом Московской сенатской конторы и, наконец, в 1766 году ушел в отставку в чине действительного тайного советника и с пенсией.

Кое-кто из опальных вынес из ссылки не только жизненный опыт, но и представление о равенстве людей. В 1744 году Елизавета вернула из ссылки бывшего советника Петра I Генриха Фика; ему возвратили имение и наградили чином действительного статского советника. Доживая свой век в поместье, Фик сохранил нечасто встречавшуюся тогда способность воспринимать крепостных как равных. Последние его письма кабинет-секретарю императрицы Черкасову содержат трогательную просьбу вернуть отданного ему на время плотника, так как «жена ево молодая, которая доньне плачет, мужем своем апять видеть и обрадовать может».

Тайная канцелярия и при милостивой Елизавете работала бесперебойно; но, по подсчетам сотрудников канцелярии, за все 20-летнее правление были сосланы 36 «чиновных людей» и 729 «подлых»; еще 54 человека отправлены в монастыри⁷².

Общее количество сосланных при Екатерине II пока не подсчитано, но несомненно, что за ее долгое царствование оно было значительным. Так, например, в делах Тайной экспедиции списки поляков — «зачинщиков» и участников восстания 1794 года, сосланных в Сибирь и в различные города Европейской России, — насчитывают более двух тысяч человек⁷³. На местах не всегда отделяли сосланных именно по политическим делам: «Генеральная та-

бель» 1767 года по Оренбургской губернии насчитывает 1 194 ссыльных (380 — на казенные работы и 814 — на поселение) «из разных судебных мест»⁷⁴. Но все же наказания были мягче, чем в былые времена: в реестре приговоров и именных указов за 1775 год можно, например, встретить распоряжения *об* «избавлении» от наказания за «говорение дерзких слов», за что прежде полагались кнут и Сибирь. Других за подобные выражения отлучали от лицецерения императрицы — гвардии поручику Еропкину было передано, чтоб «он во всю жизнь во дворце являться не дерзал». Третьих просто увольняли со службы, как прапорщика алатырского гарнизона Елизара Суляшева, встречавшего Пугачева и принявшего от «изверга» чин полковника (тем самым, кстати, избавившего от издевательств и смерти несколько местных дворянских семейств). Иных даже совсем прощали, как «бывших в злодейской толпе попов Кирилова и Игнатьева и дьячков Игнатьева ж, Васильева и Разпахина», возвращая «в прежние должности»⁷⁵.

С амнистии начал свое короткое царствование и Павел I. Сразу по восшествии на престол он приказал освободить из тюрем и ссылки 87 человек. Вечером 5 декабря — дня, когда в Петропавловский собор были внесены тела Петра III и Екатерины II, — император призвал к себе И. В. Лопухина и приказал ему объявить в Сенате «волю его об освобождении всех без изъятия заключенных по Тайной экспедиции, кроме повредившихся в уме». «Я обнимал, — вспоминал Лопухин, — колени государя, давшего сие повеление точно, кажется, по одному чувствованию любви к человечеству». Однако скоро количество арестантов Тайной экспедиции начало быстро расти. Беспорядочные репрессии императора заняли не последнее место среди факторов, стимулировавших организацию заговора против него. Среди преступлений ведущим стало оскорбление величества, а реакция властей — весьма суровой: в начале 1801 года Павел приказал унтер-офицера Мишкова, подозреваемого в авторстве злой карикатуры на него, «не производя над ним никакого следствия, наказав кнутом и вы-

рвав ноздри, сослать в Нерчинск на каторгу». Хорошо еще, что экзекуция была, по-видимому, умышленно затянута, и Александр I велел дело «оставить без исполнения».

Вспыльчивый император Павел, бывало, раскаивался в скоропалительном решении и приказывал виновного (или невинного) освободить, как это произошло со знакомым нам Августом Коцебу. Из далекого Кургана немецкий писатель был немедленно истребован в столицу, где провел бессонную ночь в постели с клопами в доме генерал-прокурора. Но зато наутро он был принят Павлом и обласкан им — получил имение с 400 душами в Лифляндии и предложение занять место директора труппы немецких актеров, от которого предусмотрительно отказался.

Более прозаично выглядело освобождение провинциального городничего Флячко-Карпинского: «10-го, в десятом часу вечера, чрез некоего коллежского асессора объявлена была нам обоим свобода. Обрили бороду, из Тайной экспедиции перевезли нас в Тайную канцелярию. 11-го, поутру, г-н Макаров приказал мне подать письменную сказку (под № 30), где жить желаю с тем, что она имеет быть представлена его величеству. 12-го, поутру из канцелярии перевели нас в верх по лестнице в пустой огромный зал, где мы одни заперты и г-ном Макаровым нарочно спрятаны пробыли до 14 марта же, когда нас отправили в губернии: майора Оленина в Симбирскую, а меня в Тамбовскую»⁷⁶. В качестве компенсации за долгое сидение в крепости по ложному обвинению освобожденный получил лишь 100 рублей на прогоны к месту службы.

Успех заговора и убийство законного государя сделали необходимым публичное проявление милости к подданным и уничтожение самого имени Тайной экспедиции. На четвертый день после гибели отца новый император Александр I дал указ Сенату «О прощении людей, содержащихся по делам, производившимся в Тайной экспедиции», в котором говорилось: «Обращая бдительное внимание на все состояние врученного нам от Бога народа и желая наипаче облегчить

тягостный жребий людей, содержащихся по делам, в Тайной экспедиции производившимся, препровожаем при сем 4 списка: 1) о заключенных в крепостях и в разные места сосланных без отнятия чинов и дворянского достоинства; 2) о таковых же заключенных и сосланных без отнятия чинов и дворянства; 3) о содержащихся в крепостях и сосланных в разные места на поселение и работу людям, не имеющих чинов; 4) разосланных по городам и в деревни под наблюдение и присмотр земских начальств; всемилостивейше прощая всех поименованных в тех списках без изъятия, возводя лишенных чинов и дворянства в первобытное их достоинство и повелевая Сенату нашему освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания и дозволить возвратиться кто куда желает, уничтожа над последними и порученный присмотр. Впрочем, мы в полном надеянии пребываем, что воспользовавшиеся сею нашей милостью потщатся поведением своим сделаться оной достойными». В приложенных списках фигурировало 156 фамилий.

Дело о «всемилоостивейшем освобождении содержащихся в разных по ведомству тайной полиции местах при вступлении государя императора Александра Павловича на престол» содержит списки арестантов и сведения о «по деревням и городам живущих под присмотром людей». К 12 марта 1801 года по делам Тайной экспедиции находились в тюрьмах и в ссылке, а также под наблюдением около 700 человек. Из них к 21 марта были «прощены» и освобождены 482 человека, собирались справки о 54 лицах и неосвобожденными оставались еще 164 человека. По этим спискам происходил отбор освобождаемых, судя по тому, что на них есть карандашные пометы: «освоб.», «справит.» (то есть «освобожден», «справиться») и т. п. Вскоре была создана «Комиссия для пересмотра прежних уголовных дел», представившая свои заключения на высочайшее утверждение⁷⁷. 15 мая 1802 года Александр I подписал «Реестр тем людям, коих комиссия полагает оставить в настоящем их положении». Непомилованными остались 115 человек из семисот.

Послесловие

Императорский манифест от 2 апреля 1801 года провозгласил: «Как с одной стороны, впоследствии времени открылось, что личные правила, по самому своему существу перемене подлежащие, не могли положить надежного оплота злоупотреблению, и потребна была сила закона, чтобы присвоить положениям сим надлежащую непоколебимость, а с другой, — рассуждая, что в благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общею силою закона, мы признали за благо не только название, но и само действие Тайной экспедиции навсегда упразднить и уничтожить, повелевая все дела, в оной бывшие, отдать в Государственный архив к вечному забвению: на будущее же время ведать их в 1-м и 5-м департаментах Сената и во всех присутственных местах, где ведаются дела уголовные».

Так рожденное Петровскими реформами учреждение было уничтожено. В отличие от Петра III и Екатерины II, ограничившихся лишь сменой вывески, их внук действительно ликвидировал в тот момент карательное ведомство как централизованную структуру. Кажется, молодой государь и его советники искренне полагали, что существование Тайной экспедиции объяснялось «нравами века и особенными обстоятельствами времен протекших», а в «благоустроенной» стране надобность в ней отпала.

На этом мы завершаем рассказ о Тайной канцелярии. В свете последовавших перипетий отечественной истории она представляется не столь страшным ведомством, как казалась современникам: несколько сотен казненных и несколько тысяч сосланных — не так много для бурного, богатого на смены царствований столетия. Да и само учреждение было всего лишь скромной конторой с небольшим бюджетом, не имевшей местных «органов» и использовавшей примитивные методы работы.

Впрочем, потомкам легко оценивать прошедшее. Цифры казненных или сосланных можно при наличии соответствующих документов подсчитать; гораздо труднее представить человеческие трагедии, к которым приводили контакты «маленьких людей» империи с системой ее политического сыска даже по пустяковым делам. В 1758 году с ней познакомился юный кадет Шляхетского корпуса Александр Земцов, получивший от капитана Мелиссино объявление о «штрафе розгами за леность в классе» и крикнувший от страха «слово и дело». В Тайной канцелярии, куда он был препровожден, быстро выяснилось, что никакого «дела» за ним нет. В елизаветинские времена таких крикунов уже не наказывали строго, в данном случае следователи сочли возможным отправить Земцова обратно в учебное заведение под расписку для «учинения надлежащего решения» в виде порки. Но в корпусе возвращения «политического преступника» никто не ждал. Начальствующий полковник Ляпунов сразу же распорядился отобрать у арестованного казенные вещи и отправил рапорт директору корпуса Б. Г. Юсупову: «Онный Земцов поведения посредственного и от роду ему ныне 14 лет, в науках знание имеет худое <...> не повелено ли будет, не ожидая присылки оногo из Тайной розыскных дел канцелярии, отослать его для определения в гарнизонную школу», — на что получил одобрение¹. Так начальство корпуса, не зная реальной вины 14-летнего мальчишки и не дожидаясь решения сысканого ведомства, избавилось от подозрительного кадета. Для него это был конец надеждам на учебу, получе-

ние звания и офицерскую карьеру; а ведь по ведомостям Тайной канцелярии он даже не числился наказанным, как и те крестьяне, посадские люди, солдаты, попы и причетники, «бабы» и «девки», которых неведомо за что по градам и весям империи хватали, подвергали допросу, угрозам и порке — и благополучно «свобождали» с надлежащим внушением о неразглашении сведений.

Однако похороны Тайной экспедиции оказались преждевременными. В «благоустроенном государстве» политический сыск оказался не только востребованным, но и неизбежным явлением. Крушение «старого режима» во Франции и других странах, следовавшие за ним войны и перекройка карты Европы показали, что надежды на мирный прогресс человечества были несбыточными. Противостояние с Наполеоном и французской разведкой — в то время одной из лучших в мире — подтолкнули Александра I и его окружение к пониманию того, что обычная полиция не может обеспечивать защиту государственной безопасности.

В 1805 году в качестве межведомственного совещания министров военного, внутренних дел и юстиции в период отсутствия императора в столице появился секретный Комитет для совещания по делам, относящимся к высшей полиции. Через два года его сменил Комитет охранения общественной безопасности, опять-таки нацеленный на борьбу против французских происков и тайных обществ — «иллюминатов» и «мартинистов»; в число его членов вошел и бывший начальник Тайной экспедиции А. С. Макаров. Большею частью на его рассмотрение поступали дела об «оскорблении величества» — традиция сыска XVIII столетия оказалась устойчивой. В 1811 году вместе с комитетом действовало уже целое Министерство полиции, к ведению которого относились «все учреждения, к охранению внутренней безопасности относящиеся»; в Особенной канцелярии министра концентрировались все дела, связанные с иностранцами, цензурой и «дела особенные <...>, кои министр полиции сочтет нужным предоставить собственному его сведению и разрешению».

Хотя комитет 1807 года являлся центральным органом политического сыска в стране, тем не менее параллельно с ним в Петербурге (при генерал-губернаторе) и Москве (при обер-полицмейстере) существовала особая секретная полиция, подчинявшаяся одновременно и Министерству внутренних дел, куда после упразднения Министерства полиции в 1819 году была передана его Особенная канцелярия. Начальство требовало от полицейских «допустить к сему делу людей разного состояния и различных наций, но сколько возможно благонадежнейших, обязывая их при вступлении в должность строжайшими, значимость гражданской и духовной присяги имеющими реверсами о беспристрастном донесении самой истины и охранения в высочайшей степени тайны. <...> Они должны будут, одеваясь по приличию и надобностям, находиться во всех стечениях народных между крестьян и господских слуг; в питейных и кофейных домах, трактирах, клубах, на рынках, на горах, на гуляньях, на карточных играх, где и сами играть могут, также между читающими газеты — словом, везде, где примечания делать, поступки видеть, слушать, выведывать и в образ мыслей проникать возможно».

В 1812 году к полицейским учреждениям империи была добавлена Высшая воинская полиция — контрразведка для сбора информации, противодействия французскому шпионажу, контроля за местными чиновниками и обнаружения должностных преступлений интендантов и поставщиков товаров для армии. После окончания Наполеоновских войн в 1815 году на базе упраздненной Высшей военной полиции 1-й Западной армии было создано отделение Высшей военно-секретной полиции с центром в Варшаве, в чьи обязанности входили ведение разведки и контрразведки в Австрии и Пруссии, сбор военной и политической информации об этих странах, «содержание агентов во многих городах за границей и в Королевстве Польском» и борьба с контрабандистами, фальшивомонетчиками и религиозными сектами.

Конкурирующие друг с другом структуры ухитрились, однако, проморгать формирование революционных тайных обществ — империя получила небывалого прежде «врага внутреннего». Декабрист Г. С. Батеньков не без основания иронизировал над профессиональными качествами полицейских агентов: «Разнородные полиции были крайне деятельны, но агенты их вовсе не понимали, что надо разуместь под словами карбонарии и либералы, и не могли понимать разговора людей образованных. Они занимались преимущественно только сплетнями, собирали и тащили всякую дрянь, разорванные и замаранные бумажки, их доносы обрабатывали, как приходило в голову». Но и сами заговорщики стремились освоить уже имевшийся опыт по охране будущего нового порядка.

В своей «Русской правде» (инструкции «Временному верховному правлению» с диктаторскими полномочиями) руководитель Южного общества П. И. Пестель не только провозглашал установление республики, равенство перед законом и уничтожение сословий, но и требовал подавлять недовольство «с беспощадной строгостью». Для охраны нового общественного порядка предлагалось запретить частные школы и общества, создать органы государственной безопасности с агентурой («тайными вестниками» с «великим жалованием»), «Приказ благочиния» (цензуру), 50-тысячный корпус жандармов «внутренней стражи» и три дивизии «опричников» в качестве особой гвардии. Выдвигая идеи революционной диктатуры, частичного передела собственности, ломки старого государственного аппарата, декабристы в своих представлениях об общественном устройстве сочетали буржуазно-демократические лозунги с элементами уравнительности и всеохватным государственным контролем.

Децентрализованная структура службы государственной безопасности при Александре I себя не оправдала. Поэтому в 1826 году подавивший восстание декабристов Николай I учредил Третье отделение собственной Его Императорского Величества канце-

лярии, ставшее структурой политического розыска и контроля — первой в России «спецслужбой» современного типа. Она была направлена на борьбу не с крамольными словами, а с реальными преступлениями против государства — революционными тайными обществами, шпионажем, коррупцией, должностными злоупотреблениями. Запрещение законом пытки потребовало совершенствования ведения допросов, оперативно-разыскной деятельности, сбора объективных доказательств и информации о состоянии умов общества; для этого пришлось создать местный аппарат в виде жандармских округов и секретную агентуру².

Дальнейшая судьба органов политического сыска находится вне нашего поля зрения и компетенции. Однако история имеет особенность: накопленный в свое время опыт — порой не самого приятного свойства — может вновь оказаться востребованным на новом этапе развития. Дело не только в том, что преступления, составлявшие суть работы политического сыска в XVIII столетии, сохранялись в XIX веке и перешли в век XX. После окончания кратковременного периода свобод 1917 года произошло установление групповой, а потом и личной диктатуры большевиков с воссозданием системы политического сыска, поразительно напоминавшей петровские и более поздние времена. Разумеется, сталинский режим не идентичен петровской монархии, являясь порождением XX столетия с его опытом государственного регулирования экономики, развитием массовых политических движений и немыслимой в прошлом системы идеологической обработки и контроля через новые общественные структуры и средства массовой информации. Советская модель сложилась уже на базе отрицания капитализма с его пороками и достижениями — рыночным регулированием, институтами гражданского общества, политической демократией — и явила собой полное слияние властных структур и ведущих политических сил, при котором в одних руках была сосредоточена экономическая, политико-административная и идеологическая власть³.

Переворот в наиболее консервативной бытовой сфере с полной «отменой» традиционных ценностей не мог не вызвать в обществе не только отнюдь не выдуманный революционный энтузиазм, но и потрясение казавшихся незыблемыми моральных устоев. Социокультурный переворот в стране с сильными патриархальными традициями, несомненно, повлиял на складывание глубоко архаичной знаковой системы и языка сталинского культа, который означал устранение самой христианской ценностной структуры в пользу безжалостной борьбы за власть и возрождения языческих норм.

Смерть Сталина, как и кончина Петра I, до сих пор дает основания для фантастических версий о заговоре и перевороте «в стиле» XVIII столетия. Их созданию активно помогали сами действующие лица, едва ли, правда, сознававшие, что своими высказываниями и поведением они воспроизводят манеры двухвековой давности. Вот, например, как «естественный и законный кандидат» на место Сталина (именно так назвал его на июльском пленуме ЦК КПСС 1953 года Ворошилов) Маленков рассказывал сыну о последних минутах жизни вождя: «Он был парализован, не говорил, мог двигать только кистью одной руки. Слабые зовущие движения кисти руки. К Сталину подходит Молотов. Сталин делает знак — "отойди". Подходит Берия. Опять знак — "отойди". Подходит Микоян — "отойди". Потом подхожу я. Сталин удерживает мою руку, не отпуская. Через несколько минут он умирает, не сказав ни слова, только беззвучно шевеля губами». Ну чем не хрестоматийно известный — и столь же апокрифический — рассказ о предсмертных попытках утратившего речь Петра I написать имя наследника: «Отдайте всё...»

На вершине власти того же героя подстерегают зловещие покушения: «Жили мы в Воронцовском дворце... Над входом в столовую висела огромная, в тяжелом багете, картина. И однажды, когда отец входил в столовую, она грохнулась перед ним метрах в полутора. Случайное происшествие, как мы тогда подумали, или...» Вопреки всему, «преемник» «излучал

бодрость и энергию», но враги «начинают готовить свой заговор» — и он отправляется в ссылку (где «потянулись к отцу люди») и терпит несправедливое наказание — по официальной версии, «за поиск дешевой популярности и ответственность за наводнение». Наконец, выясняется, что герой — «просвещенный автократ» и обладает «мировоззрением верующего вольнодумца», но многие годы должен был скрывать «яркие стороны своей разносторонней натуры», чтобы избежать зависти владыки, а в семье превратил «в инстинкт обычай не вести никаких разговоров на политические темы, не называть никаких имен»⁴. Если убрать из текста приметы XX столетия, то перед нами — живо изложенные мемуары сына опального вельможи, кого-нибудь из кабинет-министров эпохи Анны Иоанновны, с тем же «духом времени», оборотами речи и очевидным преклонением перед царедворцем былых времен.

Герои той эпохи даже мыслили категориями иного времени: составляли «свиту» или «двор», трепетали при появлении «хозяина», пребывали «в опале», на партийных съездах требовали от оппонентов отказа не от действий, а от убеждений; считали возможным начать «дело» за то, что некто осмелился... во сне бежать с вождем стометровку⁵.

Внимательный к политической конъюнктуре А. И. Микоян в 1937 году провозгласил: «Каждый трудящийся — наркомвнуделец» — также как за 200 лет до него императрица Анна Иоанновна потребовала от подданных доносить «без всякого опасения и боязни того же дни». При этом традиция доношения столь же успешно, как и прежде, выступала в качестве эффективной связи власти и народа: при неповоротливой и непробиваемой бюрократической системе донос мог устранить неуютное лицо от кормила власти, быстро исправить допущенные ошибки, а его податель — повысить свой социальный статус⁶. К этому можно только добавить, что донос мог служить вполне «демократическим» средством участия масс в политике только при такой «демократии», когда все слои общества — от князя-министра до рабо-

чего-холопа — были бесправны перед лицом верховной власти. Добровольное доносительство дополнялось созданной уже к середине 1920-х годов сетью секретных агентов.

Что же касается официально-правовой сферы, то уже в 1923 году была внесена поправка в Уголовный кодекс РСФСР, разрешившая считать контрреволюционным выступлением не только акцию, направленную на «свержение» режима, но и всё, что ведет к «подрыву и ослаблению» советской власти. Такое расширительное толкование политического преступления было закреплено в Уголовном кодексе 1926 года и вместе с системой внесудебной расправы сделало советскую юридическую практику весьма похожей на описанную нами в этой книге.

В этот ряд можно поставить и официально разрешенные в 1937 году пытки «врагов народа», и распространение наказаний на членов семей «изменников Родины», и возобновление каторжных работ, и конфискацию имущества осужденных, которое сразу же поступало через спецторг НКВД в раздачу верным слугам. Читая опись имущества арестованного министра госбезопасности В. С. Абакумова (1 200 метров ткани, 100 пар обуви и т. д.) или показания о дележе вещей репрессированных бывшими соратниками и их женами, «которые даже дрались из-за них между собой»⁷, трудно отрешиться от мысли, что в XVIII веке те же процедуры с поверженными в придворной грызне противниками проходили более прилично — кое-что иногда и детям доставалось...

Несомненно, эти исторические параллели представляют собой очень увлекательный сюжет; но, как сказал в свое время великий русский историк Василий Осипович Ключевский, «в нашем настоящем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории».

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

¹ См.: *Севастьянов Ф. Л.* От тайного сыска к политическому розыску: вопрос об организации спецслужб в России в первой четверти XIX в. // Исторические чтения на Лубянке. 2003 г.: Власть и органы государственной безопасности. М., 2004. С. 27.

² История России с начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. А. Н. Сахарова. М., 1996. С. 121.

³ См.: *Есипов Г. В.* Люди старого века. Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии. СПб., 1880; *Он же.* Тяжелая память прошлого: Рассказы из дел Тайной канцелярии и других архивов. СПб., 1885; *Семевский М. К.* Слово и дело государево. СПб., 1884; *Барсуков А. П.* Рассказы из русской истории XVIII в. по архивным документам. СПб., 1885; *Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910; *Он же.* Из истории Тайной канцелярии. 1731—1762 гг. Очерки. Харьков, 1911; *Новомбергский Н. Я.* Слово и дело государевы. М., 2004. Тр. 1—2 (переиздание работы 1909—1911 гг.).

⁴ См.: *Сивков К. В.* Тайная экспедиция, ее деятельность и документы // Ученые записки (далее — УЗ) МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1946. Т. 35. Вып. 2. С. 96—100; *Джинчарадзе В. З.* Из истории Тайной экспедиции при Сенате (1762—1801) // УЗ Новгородского государственного педагогического института. Новгород, 1956. Т. 2. Вып. 2. С. 83—117; *Голикова Н. Б.* Политические процессы при Петре I. По материалам Преображенского приказа. М., 1957; *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII в. М., 1999; *Он же.* Политический розыск и тайная полиция в XVIII в. // Жандармы России. СПб., 2002. С. 89-200; *Ефимов С. В.* Тайная канцелярия в Санкт-Петербурге при Петре I (размещение, внутренняя организация, финансирование) // Петербургские чтения. 1995. Материалы научной конференции. СПб., 1995; *Переладов К. Г.* Законодательство и практика борьбы с анонимными и ложными доносами после смерти Петра I (1725-1730) // Ораниенбургские чтения. СПб., 2001. Вып. 1. С. 142—149; *Он же.* Законодательные акты в сфере политического сыска (1730—1762) // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 84—93; *Буркин В. В.* Андрей Иванович Ушаков: личность и государственная деятельность: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Воронеж, 2005.

⁵ См.: Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 7. Оп. 1—2. Дела важнейших политических процессов (А. М. Девиера и П. А. Толстого, А. П. Волынского, князей Долгоруковых, Э. И. Бирона, Б. Х. Миниха, М. Г. Головкина и А. И. Остермана, А. П. Бестужева-Рюмина, гвардейских солдат и офицеров 1730—1770-х гг.) и дела о самозванцах хранятся отдельно (РГАДА. Ф. 6. Оп. 1).

Глава 1
Рождение политического сыска в России

- ¹ Цит. по: *Кран М. М.* Защита Яганова, или «тот ли добр, который что слышав, да не скажет» // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. М., 2003. Вып. 5. С 94.
- ² См.: *Успенский Б. А.* Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 53—128.
- ³ Цит. по: *Новамбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 1. С. 560.
- ⁴ Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗРИ). Т. 3. № 2390.
- ⁵ См.: *Новамбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 151—164; *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 197.
- ⁶ Цит. по: *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18 т. М., 1993. Кн. VIII. С. 71.
- ⁷ См.: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 20.
- ⁸ *Воскресенский Н. А.* Законодательные акты Петра I. М.—Л., 1945. Т. 1. С. 380—381.
- ⁹ См.: ПСЗРИ. Т. 4. № 1918.
- ¹⁰ Цит. по: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 31—32.
- ¹¹ См.: Там же. С. 32, 48.
- ¹² См.: Там же. С. 93, 218—219; *Лебедев В. И.* Астраханское восстание 1705-1706 гг. // УЗ МГПИ. М., 1941. Т. 2. Вып. 1. С. 9.
- ¹³ См.: *Богословский М. М.* Заговор Цыклера // Сб. ст. по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 335, 337; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. VII. М., 1991. С. 527—528.
- ¹⁴ Восстание московских стрельцов. 1698 г.: Материалы следственного дела. М., 1980. С. 103, 149.
- ¹⁵ См.: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 105.
- ¹⁶ См.: Там же. С. 49, 133.
- ¹⁷ ПСЗРИ. Т. 4. № 1951.
- ¹⁸ Цит. по: *Неистовый реформатор / Иоганн Фоккеродт.* Фридрих Берхгольц. М., 2000. С. 500.
- ¹⁹ Цит. по: *Покровский Н. Н.* Российская власть и общество XVII—XVIII вв. Новосибирск, 2005. С. 418.
- ²⁰ ПСЗРИ. Т. 5. № 2756; *Покровский Н. Н.* Указ. соч. С. 419—420.
- ²¹ См.: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 23.
- ²² См.: *Серов Д. О.* Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996. С. 14.
- ²³ Цит. по: *Сафронов Ф. Г.* Ссылка в Восточной Сибири в первой половине XVIII в. // Ссылка и каторга в Сибири. Новосибирск, 1975. С. 28—29.
- ²⁴ ПСЗРИ. Т. 5. № 2877.
- ²⁵ См.: Законодательство Петра I. М., 1997. С. 755—756, 777.
- ²⁶ См.: *Линсцер Г.* Петр Великий и Алексей Петрович (эпизод русской истории в освещении западноевропейской литературы) // Петр Великий. СПб., 1903. С. 267—268; *Рябинин Д. Д.* Кронпринцесса Шарлотта, супруга царевича Алексея Петровича (французская легенда) // Русская старина (далее — РС). 1874. № 10. С. 360—370.
- ²⁷ См.: *Ефимов С. В.* Петровская Россия в докладе австрийского дипломата // Петр Великий и его время: Материалы Всеросс. науч. конф., посвящ. 290-летию Полтавской победы. 8—11 июля 1999 г. СПб., 1999. С. 116; *Abgestatteter Bericht an romisch-kaiserlichen Hof von der russischen Kaiserin Katharina der Ersten Herkunft und Gelangung zum Thron.* Halle, 1777. S. 486.

- ²⁸ См.: *Бушковиц 77*. Историк и власть: дело царевича Алексея (1716—1718) и Н. Г. Устрялов (1845—1859) // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С. 93—94.
- ²⁹ См.: *Ефимов С. В.* Политический процесс по делу царевича Алексея: Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб., 1997. С. 11.
- ³⁰ См.: *Бушковиц 77*. Указ. соч. С. 87; *Ефимов С. В.* Политический процесс по делу царевича Алексея. С. 10, 15.
- ³¹ См.: *Гордин Я. А.* Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 г. СПб., 1994. С. 62-75. Ср.: *Устрялов Н. Г.* История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6. С. 454, 476, 497, 529.
- ³² См.: *Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия: Секретная политическая история XVIII—XIX вв. и вольная печать. М., 1984. С. 64-67.
- ³³ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1380. Л. 3 об.
- ³⁴ Цит. по: *Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. С. 109—110.
- ³⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 162. Л. 1 - 4.
- ³⁶ Цит. по: *Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. С. 115—116.
- ³⁷ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 4. Л. 18 об.
- ³⁸ Там же. № 57. Л. 7.
- ³⁹ Там же. № 188. Л. 5 об. - 7.
- ⁴⁰ Там же. № 6. Ч. 4. Л. 14, 19, 35 об., 63 об.
- ⁴¹ ПСЗРИ. Т. 6. № 3984.
- ⁴² См.: Там же. Т. 7. № 4494; *Анисимов Е. В.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. С. 148.
- ⁴³ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 4952.
- ⁴⁴ См.: *Вяземский Б. Л.* Верховный тайный совет. СПб., 1909. С. 356—359; Сборник имп. Русского исторического общества (далее - Сб. РИО). Т. 94. С. 448-449.
- ⁴⁵ См.: Сб. РИО. Т. 69. С. 43, 108, 237.
- ⁴⁶ См.: Там же. Т. 94. С. 619, 676, 677.
- ⁴⁷ ПСЗРИ. Т. 8. № 5528.
- ⁴⁸ Там же. № 5727.
- ⁴⁹ Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 4.
- ⁵⁰ См.: Там же. С. 18.
- ⁵¹ См.: Там же. С. 18-19.
- ⁵² Цит. по: Там же. С. 20.
- ⁵³ См.: Там же. С. 21.
- ⁵⁴ См.: Там же.
- ⁵⁵ Цит. по: Там же. С. 26—27.
- ⁵⁶ См.: ПСЗРИ. Т. 15. № 11445.
- ⁵⁷ См.: *Самойлов В.* Возникновение Тайной экспедиции при Сенате // Вопросы истории (далее — ВИ). 1948. № 6. С. 80—81; РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. № 1730. Л. 31 об.
- ⁵⁸ См.: ПСЗРИ. Т. 26. № 19847.
- ⁵⁹ *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как фактор русской культуры // УЗ Тартуского университета. 1975. Вып. 358. С. 170.
- ⁶⁰ См.: РГАДА-Ф-248. Оп. 106. № 916. Л. 3-13, 21-22.

Глава 2
Радетели сыского дела: начальники и слуги
Тайной канцелярии

- ¹ См.: *Лаврова А. С.* Колдовство и религия в России 1700—1740 гг. М., 2000. С. 408.
- ² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 4. Л. 18 об.
- ³ См.: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 14-16, 22.
- ⁴ См.: Там же. С. 21, 26-27.
- ⁵ Цит. по: *Фурсенко В.* Дело о Лестоке 1748 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1912. № 4. С. 233—234.
- ⁶ Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 24.
- ⁷ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 823. Л. 23-30.
- ⁸ См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 529.
- ⁹ См.: *Корсаков А. Н.* Степан Иванович Шешковский (1727—1794): Биографический очерк // Исторический вестник (далее ИВ). 1885. № 12. С. 671-672.
- ¹⁰ См.: *Джеджиула К. Е.* Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. Киев, 1972. С. 212.
- ¹¹ Цит. по: Неистовый реформатор. С. 165.
- ¹² Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 120-121.
- ¹³ Цит. по: *Воскресенский Н. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 140; ПСЗРИ. Т. 7. № 4418.
- ¹⁴ См.: *Переладов К. Г.* Реформа органов политического сыска 1724 г. // Петр Великий и его время: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 290-летию Полтавской победы. С. 102—106.
- ¹⁵ См.: *Серов Д. О.* Высшие администраторы под судом Петра I // Известия Уральского университета. 2005. № 39 (Гуманитарные науки. Вып. 10). С. 56.
- ¹⁶ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 4494.
- ¹⁷ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 5. Л. 18. При этом «граф Петр Талстой оригинал (указа. — *И. К. Е. Ш* к себе взял».
- ¹⁸ См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 159. Ч. 1. Л. 16, 22; Ч. 5. Л. 30, 51.
- ¹⁹ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 5084.
- ²⁰ См.: *Смирнов Ю. Н.* Русская гвардия в XVIII в. Куйбышев, 1989. С. 45.
- ²¹ См.: *Бурукин В. В.* Специальные поручения А. И. Ушакова в 1710—1712 гг. // История дореволюционной России: мысль, события, люди. Рязань, 2003. С. 137-143.
- ²² См.: *Бабич М. В.* Государственные учреждения XVIII в.: Комиссии петровского времени. М., 2003. С. 211—213.
- ²³ Цит. по: *Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. С. 137, 139—140, 147.
- ²⁴ См.: *Брикнер А. Г.* Императрица Екатерина. 1725—1727 // Вестник Европы. 1894. № 1. С. 124.
- ²⁵ *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. М., 1956. Т. 17. С. 402.
- ²⁶ См.: *Платонов С. Ф.* Книга расходная петербургского комиссарства соляного правления 1725 г. // Летопись занятий Археологической комиссии. Л., 1927. Вып. 34. С. 281; РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Ч. 2. № 73. Л. 857, 878-878 об.
- ²⁷ См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 2/24. Л. 4 об., 18; № 18. Л. 42.

- ²⁸ Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 359- Л. 1.
- ²⁹ Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 449. Ч. 1. Л. 1 об., 12 об.
- ³⁰ См.: Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 360. Л. 4-14.
- ³¹ См.: Там же. № 361. Л. 1-8.
- ³² Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 269- Ч. 9. Л. 91. См. также: *Брикнер* Л. Г. Указ. соч. 1896. № 6. С. 27.
- ³³ См.: РГАДА- Ф. 11. Оп. 1. № 362. Л. 1-4.
- ³⁴ Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 90.
- ³⁵ См.: *Ягигитенан Ф. Д.* Система русского двора и ее преобразование в 1740—1750 гг. // www.dvaveka.pp.ru/index.htmP/Nomer5/iescht.htm.
- ³⁶ См.: Похороны графа Андрея Ивановича Ушакова // ИВ. 1882. № 5. С. 473.
- ³⁷ Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 98.
- ³⁸ РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 3Ю. Л. 3, 8, 9 и далее.
- ³⁹ См.: Две заметки Екатерины II // Русский архив (далее — РА). 1863. С. 383—384; *Шумигорский Е. С.* Императрица Екатерина II в начале царствования Петра III // РС. 1899. № 4. С. 30.
- ⁴⁰ См.: *Чечулин Н. Д.* Екатерина II в борьбе за престол. Л., 1924. С. 101-103.
- ⁴¹ См.: Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Ч. Г. Уильямса 1756 и 1757 гг. // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских (далее — ЧОИДР). 1909. Кн. 2. Отд. 1. С. 111, 248, 269.
- ⁴² См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 90. Л. 203-204.
- ⁴³ Цит. по: *Веретенников В. К.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 118.
- ⁴⁴ См.: *Сивков К. В.* Указ. соч. С. 98—99.
- ⁴⁵ См.: *Коваленко Т. А.* Менталитет русского дворянства в контексте культуры середины XVIII в.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1999. С. 21.
- ⁴⁶ См.: *Корсаков А. Н.* Указ. соч. С. 665—668.
- ⁴⁷ См.: Там же. С. 671 -672.
- ⁴⁸ См.: Емельян Пугачев на следствии: Сб. документов и материалов. М., 1997. С. 127-215.
- ⁴⁹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2654. Л. 18.
- ⁵⁰ См.: Степан Иванович Шешковский // РС. 1870. Т. 2. С. 637—639; Исторические рассказы и анекдоты // Там же. 1874. № 8. С. 781-785.
- ⁵¹ См.: Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей П. Ф. Карабанным // Там же. 1872. № 1. С. 137—138; Исторические рассказы и анекдоты // Там же. 1874. № 8. С. 784-785.
- ⁵² См.: *Храповицкий Л. В.* Памятные записки. М., 1990. С. 50, 53, 246, 267, 272, 274.
- ⁵³ Заметки А. П. Ермолова о его молодости // РА. 1867. С. 367—376.
- ⁵⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 3640. Л. 13.
- ⁵⁵ См.: Русский биографический словарь. М., 1997 (дополнительный том «Тобизен — Тургенев»). С. 144.
- ⁵⁶ См.: Сенатский архив. СПб., 1908. Т. 12. С. 40; *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731—1762 гг. С. 106; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 275. Ч. 1. Л. 64-64 об., 189; *Хрущов Ю. К.* Родословное древо рода Хрущовых. М., 2000. Т. 3. С. 29.

- ⁵⁷ См.: Хрущов Ю. К. Указ. соч. С. 35.
- ⁵⁸ Цит. по: Писаренко К. А. Сказки елизаветинской России // российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 2007. Вып. 15. С. 147-148.
- ⁵⁹ РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 1897. Л. 1-2.
- ⁶⁰ Веретенников В. И. Из истории Тайной канцелярии. 1731 — 1762 гг. С. 107; РГАДА- Ф. 248. Оп. 79. № 6436. Л. 124-126; Ф. 7. Оп. 1. № 275. Ч. 1. Л. 22; Ф. 7. Оп. 2. № 2049. Л. 19.
- ⁶¹ См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 2. № 2049. Л. 15, 162.
- ⁶² Тургенев А. М. Записки Александра Михайловича Тургенева. 1772-1863 // РС 1885. № 12. С. 476-479.
- ⁶³ См.: Иванов О. А. Тайны старой Москвы. М., 1997. С. 10—11; РГАДА- Ф. 7. Оп. 2. № 2049. Л. 162-165.
- ⁶⁴ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 275. Ч. 1. Л. 27, 66-66 об., 99, 129.
- ⁶⁵ См.: Там же. Л. 189-195.
- ⁶⁶ Там же. Оп. 1. № 275. Ч. 1. Л. 170; Оп. 2. № 2049. Л. 28.
- ⁶⁷ Там же. Оп. 1. № 275. Ч. 3. Л. 14, 66-66 об.
- ⁶⁸ Там же. Ф. 248. Оп. 102. № 8122. Ч. 1. Л. 137-138; Ф. 7. Оп. 1. № 275. 4. 3. Л. 86-87.
- ⁶⁹ Там же. Ф. 286. Оп. 1. № 203. Л. 546-546 об.; Сб. РИО. Т. 130. С. 535.
- ⁷⁰ РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 275. Ч. 3. Л. 107.
- ⁷¹ См.: Там же. Ч. 2. Л. 10-11.
- ⁷² См.: Там же. Ф. 350. Оп. 2. № 26. Л. 521 (за ссылку на источник благодарим В. Д. Кочеткова).
- ⁷³ Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 1665. Л. 1-4.
- ⁷⁴ Там же. № 275. Ч. 1. Л. 20 об., 25 об.; № 1061. Л. 27 об. - 56 (чем закончилось следствие по обвинению чиновников Тайной канцелярии, неясно — у дела отсутствует конец).
- ⁷⁵ См.: Там же. № 275. Ч. 2. Л. 104-105.
- ⁷⁶ См.: Корсаков А. Я. Указ. соч. С. 672.
- ⁷⁷ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 3640. Л. 14-14 об., 21.
- ⁷⁸ Коцебу А. Достопамятный год моей жизни: Воспоминания. М., 2001. С. 31.
- ⁷⁹ См.: Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождения Христова 1795. СПб., 1795. С. 20.
- ⁸⁰ Джинчарадзе В. З. Указ. соч. С. 116.
- ⁸¹ Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1884. Т. 3 (приводится по: <http://history.scps.ru/suvorov/pt37>).
- ⁸² Фукс Е. Б. Анекдоты князя Итальянского, графа Суворова-Рымниковского. СПб., 1827. Ч. I. С. 312.
- ⁸³ См.: Иванов О. А. Указ. соч. С. 11-12.
- ⁸⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2051. Л. 89.
- ⁸⁵ См.: Джинчарадзе В. З. Указ. соч. С. 116—117.

Глава 3 Хозяйство тайного сыска

- ¹ См.: Веретенников В. И. Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 7; РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 4. Л. 10-13.
- ² Цит. по: Веретенников В. И. Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 4-5.
- ³ См.: Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. СПб., 2003. Т. 1 (Осьмнадцатое столетие). С. 132—133.

- 4 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2290. Л. 23.
- 5 См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 282.
- 6 См.: *Сытин П. В.* Из истории московских улиц. М., 1958. С. 255.
- 7 Цит. по: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 118.
- 8 Документированную историю строительства новых зданий Московской конторы Тайной канцелярии см.: *Иванов О. А.* Указ. соч. С. 56-62.
- 9 *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 362.
- 10 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1984. Л. 2-12; № 2559. Л. 8, 10-11 об.
- 11 См.: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 310.
- 12 См.: *Семенова Л. Н.* Рабочие Петербурга в первой половине XVIII в. Л., 1974. С. 134-135, 143.
- *з РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 10. Л. 248, 253-253 об.
- 14 См.: Там же. № 275. Ч. 3. Л. 6-7.
- 15 См.: Там же. № 266. Ч. 89. Л. 245-245 об.
- 16 Там же. № 324. Л. 1-18.
- 17 Ушаков, правда, запрашивал на расходы ту же сумму (3 360 рублей), что отпускала на Преображенский приказ, но, очевидно, она была несколько сокращена (РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. № 742. Л. 125-126).
- 18 См.: *Гернет М. Н.* История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1. С. 91.
- 19 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 4. Л. 63.
- 20 См.: Там же. № 6. Ч. 1. Л. 147-148; Ч. 5. Л. 16; Ч. 7. Л. 31.
- 21 Там же. № 6. Ч. 1. Л. 54, 77.
- 22 Там же. № 276. Ч. 6. Л. 5 об. - 8 об., 26.
- 23 См.: Там же. № 275. Ч. 3. Л. 146-150, 151-151 об., 154.
- 24 См.: Там же. Оп. 2. № 2045. Ч. 2. Л. 4-6 об., 10-13 об.
- 25 См.: Там же. № 3640. Л. 21, 25.
- 26 См.: Там же. № 2045. Ч. 3. Л. 266.
- 27 См.: *Williams A.* The Police of Paris. 1718-1789. Baton-Ruge, 1979. P. 230.
- 28 См.: *Клочков М. В.* О тайном архиве при Сенате // Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913. С. 189.

Глава 4 «Доносит имярек на имярека»

- 1 См.: *Клименко А. С.* «Слово и дело государево» // Наше отечество: Страницы истории. М., 2002. Вып. 1. С. 24.
- 2 См.: *Варьяш О. И.* Донос и его социальная роль: Возможность? Необходимость? Неизбежность? // Культура: соблазны понимания: Материалы научно-теоретического семинара 24—27 марта 1999 г. Петрозаводск, 1999. Ч. 2. С. 40-45.
- 3 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1819. Т. II. № 141. С. 299-300.
- 4 Цит. по: *Московская деловая и бытовая письменность XVII в.* М., 1968. С. 233.
- 5 Цит. по: *Анисимов Е. В.* По ту сторону Иоанновского моста, или Страхи доносчика // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. Вып. 5. С. 111.
- 6 *Желябужский И. А.* Дневные записки // Рождение империи / И. Корб, И. Желябужский, А. М. Матвеев, 1997. С. 269-270.

- ⁷ См.: *Покровский Н. Н.* Сибирские материалы XVII—XVIII вв. по «слову и делу государеву» как источник по истории общественного сознания // *Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма.* Новосибирск, 1988. С. 25-26.
- ⁸ *Булгаков М. Б.* Состав документации Ростовской приказной избы первой половины 60-х годов XVII в. // <http://www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2001/bulgakov01.html>.
- ⁹ См.: *Покровский Н. Н.* Сибирские материалы XVII—XVIII вв. по «слову и делу государеву» как источник по истории общественного сознания. С. 35—45.
- ¹⁰ См.: *Воскресенский Н. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 361—362.
- ¹¹ ПСЗРИ. Т. 4. №2414.
- ¹² Там же. Т. 7. №4344.
- ¹³ См.: *Лаврова С.* Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682—1689 гг. М., 1999. С. 159; *Лонгинов А. В.* Обзор записок графа Матвеева и вновь открытых вариантов их о стрелцком полковнике Сухареве // РС. 1918. № 3—6. С. 18—19; Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872. Т. 1. С. 90, 95, 102.
- ¹⁴ Подобную точку зрения, высказанную в свое время М. П. Погодиным и Е. А. Беловым, поддерживают и некоторые современные исследователи (см.: *Погодин М. П.* 17 первых лет в жизни императора Петра Великого. М., 1875. С. 216; *Белов Е. А.* Московские смуты в конце XVII в. // Журнал Министерства народного просвещения. 1897. № 2. С. Богданов А. П. Сильвестр Медведев // ВИ. 1988. № 2. С. 97; *Буганов В. И.* Петр Великий и его время. М., 1989. С. 19).
- ¹⁵ См.: *Богословский М. М.* Указ. соч. С. 335, 337; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. VII. С. 527-528.
- ¹⁶ Цит. по: *Воскресенский Н. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 362—363.
- ¹⁷ См.: Там же. С. 366-367.
- ¹⁸ См.; *Покровский Н. Н.* Российская власть и общество XVII—XVIII вв. С. 423.
- ¹⁹ ПСЗРИ. Т. 4. № 2045, 2074, 2189, 2337, 2430; Т. 5. № 3445; Т. 7. № 4533.
- ²⁰ См.: Там же. Т. 4. № 2327; Т. 5. № 2845, 2925.
- ²¹ См.: Там же. Т. 5. № 3287.
- ²² См.: *Анисимов Е. В.* Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1719-1728 гг. Л., 1982. С. 74; ПСЗРИ. Т. 6. № 3743.
- ²³ ПСЗРИ. Т. 7. № 4963.
- ²⁴ См.: Там же. Т. 6. № 4012, 4022.
- ²⁵ См.: Там же. Т. 7. № 4169-
- ²⁶ Там же. Т. 6. № 3984.
- ²⁷ Там же. Т. 7. № 4785.
- ²⁸ Там же. Т. 9. № 5528.
- ²⁹ Там же. № 5535.
- ³⁰ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1499- Л. 3 об.
- ³¹ См.: ПСЗРИ. Т. 10. № 7390; Т. 11. № 8184.
- ³² Там же. Т. 13. № 9697, 9912, 9920, 10010, 10072, 10078, 10110; Т. 14. № 10298.
- ³³ См.: Там же. Т. 13. № 9717; Т. 15. № 11021, 11275.
- ³⁴ См.: Там же. Т. 12. № 9229; Т. 18. № 12865.
- ³⁵ См.: Там же. Т. 22. № 16479.

- 36 См.: Там же. Т. 10. № 7725.
37 См.: Там же. Т. 12. № 9229.
38 См.: Там же. Т. 16. № 11687.
39 Там же. Т. 18. № 12941.
40 ПСЗРИ. Т. 18. № 12966.
41 См.: Там же. № 12865.
42 См.: Там же. Т. 38. № 28920.
43 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 656. Л. 17.
44 ПСЗРИ. Т. 9. № 6506.
45 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 501. Л. 2 об.
46 См.: *Семевский М. И.* Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. Слово и дело. 1700-1725. М., 1991. С. 11, 68; *Орлова Г. А.* Русский донос: историческая поэтика политической коммуникации // Проблемы междисциплинарных исследований в гуманитарных науках. Томск, 2004. С. 408—436.
47 См.: ПСЗРИ. Т. 11. № 8475; Т. 15. № 11392; Т. 16. № 11590; Т. 24. № 17635.
48 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 272. Ч. 2. Л. 405 об.
49 Цит. по: *Каратыгин П.* Язык мой — враг мой // ИВ. 1897. № 10. С. 201.
50 См.: ПСЗРИ. Т. 26. № 19847.
51 Оснадацатый век. М., 1869. Кн. 4. С. 92-93.
52 См.: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 27—28.
53 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 736. Л. 2-8.
54 См.: *Клименко А. С.* Указ. соч. С. 26—27.
55 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 388. Л. 3 об.-8б.
56 Там же. № 234. Л. 2-2 об.
57 См.: *Вирыякина И. В.* Преступления военных Поморья в первой четверти XVIII в. // Защитники Отечества: Материалы II и III общественно-научных чтений по военно-исторической тематике. Архангельск, 1998. С. 74.
58 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 137. Л. 1.
59 Там же. Оп. 2. № 2277. Л. 2-3 об.
60 См.: Там же. Оп. 1. № 408. Л. 9.
61 См.: Там же. Оп. 2. № 2046. Ч. 1. Л. 6 об.-7, 8 об., 27 об.
62 Там же. № 2166. Л. 1-2 об.
63 См.: Там же. № 2156. Л. 1-5 об.
64 Там же. Оп. 1. № 444. Л. 21, 23-24, 101 об.-102, 305 об.
65 См.: Там же. № 394. Л. 3 об., 18 об.
66 См.: Там же. Оп. 2. № 2092. Л. 1-5.
67 Там же. Оп. 1. № 1408. Ч. 1. Л. 49-54.
68 См.: Там же. № 421. Л. 3.
69 См.: *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России 1700—1740 гг. С. 354—555 *Анисимов Е. В.* Изменения в социальной структуре русского общества в конце XVII — начале XVIII в. Последняя страница истории холопства в России // История СССР. 1979- № 5. С. 35-52.
70 Цит. по: *Востоков А.* Явочное челобитье холопа на барина 1709 г. // РС. 1892. № 7. С. 47-48.
71 Цит. по: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 191.
72 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 169- Л. 3, 12, 104.
73 См.: *Семевский М. И.* Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. С. 48-51.
74 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 126. Л. 14-15, 58.

- ⁷⁵ Там же. Оп. 2. № 2051. Л. 69—70 об.
- ⁷⁶ См.: *Семевский М. И.* Царица Катерина Алексеевна, Анна и Вилим Монс. 1692—1724. СПб., 1884. С. 161—203.
- ⁷⁷ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2126. Л. 7 об. и далее.
- ⁷⁸ См.: Сенатский архив. СПб., 1890. Т. 8. С. 43—48.
- ⁷⁹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1408. Ч. 2. Л. 24, 25 об., 27-27 об.
- ⁸⁰ Цит. по: *Голоикова Н. Б.* Указ. соч. С. 23.
- ⁸¹ См.: Там же. С. 179.
- ⁸² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 183-Л. 5-29 об.
- ⁸³ Там же. № 269-Ч. 9. Л. 154-155.
- ⁸⁴ Там же. № 797. Л. 3 об.
- ⁸⁵ См.: Там же. Оп. 2. № 2061. Л. 3-5.
- ⁸⁶ См.: *Семевский М. И.* Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. С. 30-32.
- ⁸⁷ См.: *Новомбергский К Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 229—231.
- ⁸⁸ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1064. Л. 1-31.
- ⁸⁹ См.: *Арсеньев А. В.* Старинные дела об оскорблении величества // ИВ. 1881. № 4. С. 833.
- ⁹⁰ См.: *Семевский М. И.* Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. С. 55-65.
- ⁹¹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 128. Л. 1 об.
- ⁹² Там же. № 1000. Л. 5 об.
- ⁹³ Там же. № 449. Ч. 1. Л. 612 об.
- ⁹⁴ См.: *Левина Ю. И.* «Прадед мой Пушкин» (Из автобиографических записок) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 259-260.
- ⁹⁵ Цит. по: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 175.
- ⁹⁶ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1768. Л. 3 об., 4, 8 об.
- ⁹⁷ Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым // Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1872. Т. 9. С. 117-132.
- ⁹⁸ См.: *Барсов Н. И.* Историческая справка о личности убийцы царевича Димитрия // РС. 1883. № 8. С. 430.
- ⁹⁹ РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 200. Л. 11 об.-12.
- ¹⁰⁰ Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 583. Ч. 1. Л. 257 об.
- ¹⁰¹ См.: Сенатский архив. СПб., 1901. Т. 9. С. 414.
- ¹⁰² РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 246. Л. 1 об.
- ¹⁰³ Цит. по: *Хмыров М. Д.* Челобитная о награждении за арест в Тайной канцелярии // РС. 1880. № 9. С. 172-173.
- ¹⁰⁴ См.: *Ефимов С. В.* Тайная канцелярия в Санкт-Петербурге при Петре I. С. 57; *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 104-105.
- ¹⁰⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 8. Л. 35 об.
- ¹⁰⁶ См.: *Шубинский С. Н.* Княгиня А. П. Волконская и ее друзья // ИВ. 1904. № 12. С. 944-955; РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 162. Л. 6, 9 об.—10 об., 24 об., 25 об., 34 об.
- ¹⁰⁷ См.: Сб. РИО. Т. 79. С. 497.
- ¹⁰⁸ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 326.
- ¹⁰⁹ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 379-Л. 7-7 об., 53, 88.
- ¹¹⁰ Там же. № 6. Ч. 1. Л. 111.
- ¹¹¹ См.: Сб. РИО. Т. 84. С. 657.
- ¹¹² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 163. Л. 1-5.
- ¹¹³ См.: *Арсеньев А. В.* Непристойные речи (из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии XVIII в.) // ИВ. 1897. № 8. С. 377-388; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 28. Л. 79.

- ¹¹⁴ См.: *Светлов Л. А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII в. // Из истории русской философии XVIII—XIX вв. М., 1952. С. 61.*
- ¹¹⁵ См.: РГАДА Ф. 7. Оп. 2. № 2131. Л. 31.
- ¹¹⁶ См.: Доношение дьячка Василия Федорова на отставного капрала и волоколамского помещика Василия Кобылина в брани царского величества государя Петра I // ЧОИДР. 1860. Кн. 2. Смес. С. 21-25.
- ¹¹⁷ *Воскресенский Я. Л.* Указ. соч. Т. 1. С. 404—405; ПСЗРИ. Т. 7. № 4308, 4435.
- ¹¹⁸ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 4435.
- ¹¹⁹ Там же. № 4952; РГАДА. Ф. 248. Оп. 31. № 1965. Л. 86 об.
- ¹²⁰ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 117. Л. 1-2, 20-24, 70-71, 120 об.
- ¹²¹ См.: *Рычаловский Е. Е.* Дело драгуна Полибина и феномен ложного извета в Петровскую эпоху // *Петр Великий — реформатор России. М., 2001. С. 63-66.*
- ¹²² Там же. С. 66-67.
- ¹²³ См.: РГАДА-Ф. 7. Оп. 1. № 184. Л. 1-15.
- ¹²⁴ Цит. *Есипов Г. В.* Раскольничьи дела XVIII столетия. СПб., 1861. Т. 1. С. 569, 609.
- ¹²⁵ См.: *Рычаловский Е. Е.* Указ. соч. С. 68.
- ¹²⁶ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 860. Л. 2-165 об.; № 1069. Л. 3-11; *Арсеньев А. В.* «Непристойные речи» // ИВ. 1897. № 7. С. 71—80.
- ¹²⁷ См.: РГАДА Ф. 7. Оп. 1. № 1680. Л. 1-17.
- ¹²⁸ См.: *Каратыгин И.* Указ. соч. // ИВ. 1897. № 9. С. 789-777.
- ¹²⁹ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2298. Л. 3 и далее.
- ¹³⁰ См.: Там же. № 2027. Л. 2 об. - 5 об.
- ¹³¹ См.: Сб. РИО. Т. 94. С. 677.
- ¹³² См.: *Золотое Е.* Секретные дела. «Слово и дело» в 1746—1747 гг. в пределах Пермской губернии // Труды Пермской ученой архивной комиссии. Пермь, 1915. Т. 12. С. 241—245.
- ¹³³ См.: Злоключения причетника // Известия Калужской ученой архивной комиссии. Калуга, 1914. Вып. 22. С. 15—20.
- ¹³⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 718. Л. 1-27.
- ¹³⁵ ПСЗРИ. Т. 6. № 3971.
- ¹³⁶ Там же. Т. 9. № 6325.
- ¹³⁷ См.: Там же. Т. 11. № 8572; *Переладов К. Г.* Законодательные акты в сфере политического сыска (1730—1762). С. 91.
- ¹³⁸ См.: *Переладов К. Г.* Законодательные акты в сфере политического сыска (1730-1762). С. 92-93.
- ¹³⁷ См.: *Клименко А. С.* Указ. соч. С. 25—26.
- ¹⁴⁰ См.: РГАДА-Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 27. Л. 25.
- ¹⁴¹ Там же. № 878. Л. 1.
- ¹⁴² Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 3И. Л. 3.
- ¹⁴³ См.: Там же. Ф. 22. Оп. 1. № 39. Л. 1-3 об., 17, 20, 26-28, 45-46.
- ¹⁴⁴ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 605. Л. 4-5, 53, 77-78, 214-217, 222.
- ¹⁴⁵ См.: Там же. № 1726. Л. 9—10 об., 24—92. Текст доноса опубликован (Архив кн. Воронцова. М., 1871. Кн. 3. С. 308—319); о братьях Каржавиных см. также: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 408-424.
- ¹⁴⁶ См.: *Вагин С.* Пример злоупотребления «словом и делом» // Известия Калужской ученой архивной комиссии. Калуга, 1910. Вып. 20. С. 16-18.
- ¹⁴⁷ См.: *Покровский Н. Н.* Российская власть и общество XVII—XVIII вв. С. 427-428.

- ¹⁴⁸ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 744. Л. 1 — 10.
- ¹⁴⁷ См.: Там же. № 950. Л. 3 об.
- ¹⁵⁰ Подметное письмо государю императору Петру Первому // ЧОИДР. 1860. Кн. 2. Смес. С. 27-30. Подлинник см.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 199. Л. 11-12.
- ¹⁵¹ Цит. по: *Есинов Г. В.* Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. 1. С. 159, 183-184.
- ¹⁵² См.: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг. С. 165; РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 117. Л. 1-2, 20, 59, 71-71 об., 123.
- ¹⁵³ Цит. по: *Серов Д. О.* Строители империи. С. 151, 155.
- ¹⁵⁴ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 4870; РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 199. Л. 5 об., 8.
- ¹⁵⁵ ПСЗРИ. Т. 7. № 4838.
- ¹⁵⁶ См.: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи (далее - ПСПРВПИ). СПб., 1887. Т. 5. С. 379-383.
- ¹⁵⁷ Цит. по: *Переладов К. Г.* Законодательство и практика борьбы с анонимными и ложными доносами после смерти Петра I (1725-1730). С. 143-146; Сб. РИО. Т. 79. С. 408.
- ¹⁵⁸ См.: РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 372. Л. 2-7.
- ¹⁵⁹ Донос на откупщиков и компанейщиков, расхищающих казну и спаивающих народ, императрице Анне Иоанновне // ЧОИДР. 1866. Кн. 1. Смес. С. 7-13; подлинник см.: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. № 183.
- ¹⁶⁰ См.: *Комиссаренко А. И.* Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. (очерки истории секуляризационной реформы 1764 г.). М., 1990. С. 93; Сб. РИО. Т. 94. С. 228-229.
- ¹⁶¹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1988. Л. 18-20.
- ¹⁶² См.: Там же. № 479. Л. 1 и далее.
- ¹⁶³ Там же. № 491. Л. 3.
- ¹⁶⁴ См.: Там же. Оп. 2. № 2133, 2416; *Прохоров М. Ф.* Отголоски восстания Е. И. Пугачева в Москве // Русский город. М., 1976. Вып. 1. С. 137-138.

Глава 5

«Что по следствию явится, доложить»

- ¹ См.: *Ефимов С. В.* Московская трагедия // www.ecc.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/1997/efimov_01_97.htm.
- ² См.: *Ван Конинсбрюгге Х.* От плохого к худшему: ухудшение нидерландско-русских отношений в 1711 — 1718 гг. // Голландцы и бельгийцы в России. XVII-XVIII в. СПб., 2004. С. 33, 35-36.
- ³ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1723. Л. 1-25.
- ⁴ См.: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 244-246.
- ⁵ ПСЗРИ. Т. 10. № 7366.
- ⁶ См.: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 224—226.
- ⁷ См.: Там же. С. 250-251.
- ⁸ См.: Там же. С. 246-250.
- ⁹ См.: ПСЗРИ. Т. 7. № 4952.
- ¹⁰ См.: *Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. С. 162—163.
- ¹¹ См.: *Каменский А. Б.* Повседневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII в. М., 2006. С. 130-132.

- ¹² Цит. по: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 260—261.
и РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2722. Л. 1-9.
- ¹⁴ См.: Там же. № 2723. Л. 1-12.
- ¹⁵ См.: *Каменский А. Б.* Указ. соч. С. 246—249.
- ¹⁶ См.: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия // Исторические источники и литературные памятники XVI—XX вв.: развитие традиции. Новосибирск, 2004. С. 109-111.
- ¹⁷ Цит. по: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 223.
- ¹⁸ См.: *Ефимов С. В.* Тайная канцелярия в С.-Петербурге при Петре I. С. 56-57.
- ¹⁹ См.: РГАДА-Ф. 7. Оп. 1. № 83. Л. 70-71.
- ²⁰ См.: Там же. № 345. Л. 2, 12, 25.
- ²¹ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 280—283.
- ²² РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2825. Л. 19- См. также: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 177-178.
- ²³ Записки Винского // РА. 1877. Т. 2. С. 151-154.
- ²⁴ Цит. по: К истории Семилетней войны. Записки пастора Тере // РА. 1864. С. 316.
- ²⁵ См.: Записки графа Александра Ивановича Рибопьера // РА. 1877. Т. 1. С. 494-495.
- ²⁶ Цит. по: Плен графа Гордта в России // РА. 1877. Т. 2. С. 309.
- ²⁷ РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2290. Л. 91.
- ²⁸ Там же. Л. 10—14.
- ²⁹ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 304—306.
- ³⁰ Цит. по: Насекомые в Петропавловской крепости // РС. 1902. № 2. С. 407-409.
- ³¹ Цит. по: *Анисимов Е.* Я Дыба и кнут. С. 318.
- ³² РГАДА-Ф. 7. Оп. 1. № 686,444.
- ³³ Там же. № 1408. Ч. 10. Л. 218.
- ³⁴ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 321.
- ³⁵ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 449. Ч. 1. Л. 196.
- ³⁶ Записки Винского. С. 152-153.
- ³⁷ Цит. по: *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России 1700—1740 гг. С. 29.
- ³⁸ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1408. Ч. 10. Л. 13-20.
- ³⁹ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 332—333.
- ⁴⁰ См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне // ЧОИДР. 1862. Кн. 1. Смес. С. 31—32; Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 162—177.
- ⁴¹ См.: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 102—112.
- ⁴² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1940. Л. 1-6 об.
- ⁴³ Там же. С. 125-148.
- ⁴⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 646. Л. 3-14, 44-45, 49.
- ⁴⁵ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 355—356.
- ⁴⁶ Цит. по: *Ефимов С. В.* Московская трагедия.
- ⁴⁷ *См.-Хьюз Л.* Царевна Софья. 1657-1704. СПб., 2001. С. 313-315; Восстание московских стрельцов. С. 128.
- ⁴⁸ Цит. по: *Есипов Г.* Яганна Петрова, камер-медхен Екатерины I-й // ИВ. 1880. № 3. С. 547-556.
- ⁴⁹ Цит. по: *Севастьянов Ф.* «Привестъ в полную известность»: Пытки, доносы и допросы в XVIII—XIX вв. // Родина. 2003. № 3- С. 62.
- ⁵⁰ См.: *Ефимов С. В.* Тайная канцелярия в Санкт-Петербурге при Петре I. С. 56.
- ⁵¹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 277. Ч. 2. Л. 426.

- ⁵² Обряд како обвиненный пытается // РС. 1873. № 7. С. 58—59. См. также: *Веретенников В. И.* Из истории Тайной канцелярии 1731-1762 гг. С. 104.
- ⁵³ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 415—416.
- ⁵⁴ Цит. по: *Казанский П.* Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847. С. 58.
- ⁵⁵ Записки сенатора П. С. Рунича о пугачевском бунте // РС 1870. № 10. С. 351-352.
- ⁵⁶ ПСЗРИ. Т. 5. № 3006.
- ⁵⁷ См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 159. Ч. 1. Л. 16, 22; Ч. 5. Л. 30, 51.
- ⁵⁸ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 542. Л. 16, 23, 26, 39, 65.
- ⁵⁹ См.: *Есипов Г. В.* Государево дело // Древняя и новая Россия (далее - ДиНР). 1880. № 4. С. 780-781.
- ⁶⁰ Цит. по: *Ефимов С. В.* Тайная канцелярия в Санкт-Петербурге при Петре I. С. 57.
- ⁶¹ См.: ПСЗРИ. Т. 11. № 8480, 8481, 8492.
- ⁶² См.: Там же. № 8601. Закон был подтвержден (см.: Там же. Т. 12. № 8996).
- ⁶³ См.: Там же. Т. 11. № 8611.
- ⁶⁴ См.: Там же. Т. 15. № 11445; Т. 16. № 11687.
- ⁶⁵ См.: Там же. Т. 16. № 11734.
- ⁶⁶ См.: *Сивков К. В.* Тайная экспедиция, ее деятельность и документы. С. 106-107.
- ⁶⁷ См.: Страдания пастора Зейдера // РС. 1878. № 5. С. 125—133.
- ⁶⁸ См.: *Севастьянов Ф.* «Привесть в полную известность». С. 60—61.

Глава 6

Преступления и преступники

- ¹ См.: *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 686.
- ² См.: *Смирнов Ю. Н.* Указ. соч. С. 26; *Он же.* Особенности социального состава и комплектования русской гвардии в первой половине XVIII в. // Классы и сословия России в период абсолютизма. Куйбышев, 1989. С. 89.
- ³ См.: *Серов Д. О.* Строители империи. С. 14.
- ⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 5. Л. 19 об.
- ⁵ См.: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII. С. 109.
- ⁶ См.: *Черникова Т. В.* «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны // История СССР. 1989. № 5. С. 158.
- ⁷ См.: Там же. С. 157.
- ⁸ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 1. Л. 288-291 об.
- ⁹ Подсчитано нами по данным, приведенным в: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия. С. 112-113.
- ¹⁰ Подсчитано по данным, приведенным в: *Клочков М. В.* Указ. соч. С. 187-193.
- ¹¹ См.: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. № 30. Л. 61, 67; Ф. 14. Оп. 1. № 47. Ч. 1. Л. 6 об. О деле Анцифорова см.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 219. Л. 1.
- ¹² ПСПРВПИ. Т. 5. С. 77.
- ¹³ Там же. С. 13.
- ¹⁴ См.: *Брикнер А. Г.* Россия и Дания при императрице Екатерине I // Русская мысль. 1895. № 2. С. 59; *Некрасов Г. А.* Роль России в европейской международной политике 1725—1739 гг. М., 1976.

С. 49; Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII в. СПб., 1875. Т. 1. С. 24.

¹⁵ О комплектовании роты и списки кавалергардов см.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. № 240. Л. 1—24; Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 33. Оп. 1. № 538. Л. 2—21.

¹⁶ Цит. по: Новые материалы для истории царствования Екатерины I // РА. 1864. М., 1866. С. 161-163, 182, 205.

¹⁷ См.: Описание документов и дел, хранящихся в архиве св. правительствующего Синода. СПб., 1897. Т. 5. С. XI—587; ПСПРВВИ. Т. 5. С. 80-81; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. IX. М., 1993. С. 583.

¹⁸ *Смл. Молева Н.* Архивное дело №... М., 1980. С. 103-119.

¹⁹ См.: Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 13. Оп. 13/1. 1725. № 1. Л. 2.

²⁰ Сб. РИО. Т. 58. С. 53.

²¹ Цит. по: *Павленко Н. И.* Птенцы гнезда Петрова. М., 1988. С. 216, 223-224.

²² Судьба этой группировки прослежена в биографии А. П. Ганнибала (*Леуц Г.* Абрам Петрович Ганнибал: биографическое исследование. Таллин, 1984. С. 55—65).

²³ См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 159. Ч. 5. Л. 6.

²⁴ См.: Там же. Л. 80; Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. 1716—1720, 1726—1727 гг. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. М., 2000. Вып. X. С. 546.

²⁵ См.: *Черникова Т. В.* Указ. соч. С. 157.

²⁶ РГАДА. Ф. 1290. Оп. 2. № 32. Л. 1-2 об.

²⁷ См.: *Meehan-Waters B.* Autocracy and Aristocracy: The Russian Service Elite of 1730. New-Brunswick, 1982. P. 148, 158, 242.

²⁸ См.: *Черникова Т. В.* Политические процессы 30-х гг. XVIII в. в России: Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1989. С. 11—12.

²⁹ См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 35293. Л. 7 об.; № 51926. Л. 8. Списки конфискованных имений с указанием причин см.: Там же. Ф. 248. Оп. 5. № 234. Л. 599-604, 896-913.

³⁰ Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 583. Ч. 1. Л. 259.

³¹ См.: *Готье Ю. В.* Проект о поправлении государственных дел А. П. Волынского // Дела и дни. 1922. № 3. С. 23-27; РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 200. Л. 10; № 201. Л. 7 об., 15; № 203. Л. 3 об., 13 об. - 14 об.; № 221. Л. 17, 19.

³² См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 199. Л. 67 об.; *Корсаков Д. А.* А. П. Волынский и его «конфиденты» // РС. 1885. № 10. С. 43, 50—51; *Есинов Г. В.* Дешети прусского посланника при русском дворе Акселя фон Мардефельда 1740 г. // ДиНР. 1876. № 2. С. 103-104.

³³ См.: РГАДА. Ф. 349. Оп. 3. № 7568. Л. 23-23 об.

³⁴ См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 109-113.

³⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 395. Л. 88 об., 97-97 об.

³⁶ Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 348.

³⁷ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 1. Л. 310 об. - 311, 317, 320 об.

³⁸ Дело Ханыкова, Пустошкина и других офицеров см.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 282. Л. 5.

³⁹ См.: Там же. № 286. Л. 6, 23 об.

⁴⁰ Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 282. Л. 1-113.

⁴¹ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 98, 100.

- 42 Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 285. Л. 7 об., 26—26 об.
- 43 См.: Памятники новой русской истории. СПб., 1872. Т. 2. С. 3 И-3 12.
- 44 См.: *Курукин И. В.* Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725-1762 гг. Рязань, 2003-с. 330 - 331
- 45 см. РГВИА. Ф. 393. Оп. 12. № 63- Ч. 2. Л. 181 об., 182 об., 208, 144; Ф. 2584. Оп. 1. № 257. Л. 27, 62 об.
- 46 см. РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269- Ч. 10. Л. 659, 664, 667-667 об.; № 781. Л. 3 об.; № 785. Л. 3 об. -4 об.; № 803. Л. 5 об.; № 823. Л. 3 об.; № 807. Л. 6 об.
- 47 См.: *Курукин И. В.* Анна Леопольдовна // ВИ. 1997. № 6; *Онже.* Принцесса с «благородной гордостью» // Знание - сила. 2002. № 9. С. 94-101.
- 48 РГВИА. Ф. 32. Оп. 1. № 32. Л. 184.
- 49 См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 101. № 8055. Л. 420, 426. Приказ был отменен 17 декабря 1741 года.
- 50 См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 10. Л. 665.
- 51 Там же. № 1574. Л. 5 об.
- 52 См. РГВИА. Ф. 2584. Оп. 1. № 38. Л. 262 об., 323 об.
- 53 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 776. Л. 48-48 об.
- 54 См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 333-335; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. XI. М., 1993. С. 158.
- 55 См.: *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. XI. С. 224-229-
- 56 Дело цит. по: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1060. Ч. 2. Л. 37, 150 об., 158—159, 170—170 об. В 1741 году майор безуспешно пытался вернуть свои деревни (см.: Сенатский архив. СПб., 1891. Т. 4.
- 57 См.: *Барсуков А. П.* Указ. соч. С. 14-15; *Соловьев С. М.* Указ. СОЧ. КН. ХІІ., 1993. С. 162-163.
- 58 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 2. Л. 54 об., 76, 170, 172, 173-173 об., 174 об., 175, 194 об., 195-196, 197 об., 214.
- 59 См.: Там же. № 924. Л. 5 об.
- 60 Там же. № 1029. Л. 7-8, 22, 27 об., 53.
- 61 Там же. № 1028. Л. 3 об.—4 об.
- 62 Там же. № 1029. Л. 152.
- 63 См.: Там же. № 1208. Л. 4, 246; № 1638. Л. 146, 150; № 1507. Л. 15-15 об.
- 64 См.: Там же. Оп. 2. № 2068. Л. 3, 7, 13 об.
- 65 См.: *Бильбасов В. А.* История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. 2. С. 282, 287.
- 66 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2080. Л. 4, 17.
- 67 См.: Там же. № 2131. Л. 31.
- 68 Там же. № 2097. Л. 3, 5 об., 8. См. также: *Джинчарадзе В. З.* Указ. соч. Т. 1. Вып. 1. С. 96.
- 69 См.: *Каратыгин Я.* Указ. соч. // ИВ. 1897. № 9- С. 786.
- 70 См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 351. Л. 39-41.
- 71 Там же. Ф. 7. Оп. 2. № 2098. Л. 1.
- 72 Там же. № 2103. Л. 2, 5
- 73 Цит. по: Голомбиевский А. А. Князь Г. Г. Орлов // РА. 1904. № 7. С. 385 - 386.
- 74 См. РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2047. Ч. 1. Л. 169-169 об, № 2168.
- 75 См. Там же № 2047. Ч. 1. Л. 167 об., 170; № 2168. Л. 1.
- 76 см. РГАДА. Ф. 7 ОП. 2. № 2043. Ч. 3. Л. 27, 39-39 об. О ходив-

- ших по столице слухах насчет грядущих беспорядков писал также английский посол Бэкингем (см.: *Соколов А. Б.* Английский дипломат о политике и дворе Екатерины II // *ВИ.* 1999. № 4—5. С. 127).
- ⁷⁷ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2152. Л. 2; № 2156. Л. 1.
- ⁷⁸ См.: Там же. № 2152. Л. 4, 8—8 об., 23, 28—29. Подлинник записки Екатерины II см.: Там же. № 2043. Ч. 3. Л. 49—49 об.
- ⁷⁹ Там же. № 2169. Л. 1 - 1 об.
- ⁸⁰ См.: Там же. № 2166. Л. 1-2 об.; 12-12 об.
- ⁸¹ Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 407. Л. 25 об.; № 569. Л. 47.
- ⁸² См.: *Дворцовые перевороты в России 1725—1825.* Ростов н/Д., 1998. 0 440, 444.
- « См.: Там же. С. 422-423.
- ⁸⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2153. Л. 4. № 2043. Ч. 3. Л. 66.
- ⁸⁵ См.: Сб. РИО. Т. 7. С. 366.
- ⁸⁶ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2047. Ч. 1. Л. 217 об.
- ⁸⁷ Там же. Л. 174 об.
- ⁸⁸ См.: Там же. № 2188. Л. 1 - 7.
- ⁸⁹ См.: Там же. № 2174. Л. 3.
- ⁹⁰ См.: *Барсуков А. П.* Указ. соч. С. 198-199, 211, 218-220.
- ⁹¹ См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 407. Л. 4-5, 6 об., 25 об., 159 об.
- ⁹² Там же. Л. 5 об.—6.
- ⁹³ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 2. № 2323. Л. 5-5 об.
- ⁹⁴ См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 411. Л. 7, 22, 124, 126, 220-221.
- ⁹⁵ Там же. Ф. 7. Оп. 2. № 2043. Ч. 11. Л. 40-41.
- ⁹⁶ Там же. Л. 39, 44.
- ⁹⁷ См.: Там же. № 2366. Л. 2 об.
- ⁹⁸ О регулярных докладах о перлюстрации см.: *Храповицкий А. В.* Указ. соч. С. 24, 28, 48, 53, 61, 64, 78, 81, 83, 85, 92, 97, 100, 102, 107-108 и далее.
- ⁹⁹ См.: *Записки графа Рожера де Дама* // *Старина и новизна.* СПб., 1914. Кн. 18. С. 80—81; *Храповицкий А. В.* Указ. соч. С. 185.
- ¹⁰⁰ Цит. по: *Храповицкий А. В.* Указ. соч. С. 12, 135.
- ¹⁰¹ См.: *Черникова Т. В.* «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны. С. 157.
- ¹⁰² См.: *Барсуков А. П.* Указ. соч. С. 48—50; Происхождение И. И. Шувалова действительно имеет неясности в отношении его родителей и степени их родства с не менее известными П. И. и А. И. Шуваловыми (см.: *Огурцов В.* Случай с бароном Ашем // *Родина.* 1999. № 4. С. 50-53).
- ¹⁰³ См.: *Живов В. М., Успенский Б. А.* Царь и бог: семиотические аспекты сакрализации монарха в России // *Успенский Б. А.* Избранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 219; *Успенский Б. А.* *Historia sub specie semioticae* // *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. 1. С. 73.
- ¹⁰⁴ См.: *Усенко О.* Царь Петр — пропойца из Рославля // *Родина.* 2006. № 12. С. 68—71; *Он же.* Повесть о капитане Кобылкине // Там же. 2007. № 1. С. 34—38; *Он же.* Царский братец из Лефортова полка // Там же. № 3. С. 52—55; *Он же.* Как стать султаном и царем одновременно // Там же. № 5. С. 53—54.
- ¹⁰⁵ См.: *Голикова Н. Б.* Указ. соч. С. 175—177.
- ¹⁰⁶ См.: Там же. С. 177—179; *Прокопович М. Н.* О извозчике I гренадерского батальона Е. Артемьеве, назвавшемся царевичем Алексеем Петровичем // *ЧОИДР.* 1897. Кн. 1. Смес. С. 9—10; *Троицкий С. М.* Самозванцы в России XVII-XVIII вв. // *ВИ.* 1969. № 3. С. 140.

- 107 Цит. по: *Есипов Г. В.* Люди старого века. С. 439.
- ¹⁰⁸ См.: *Троцкий С. М.* Указ. соч. С. 142; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1405; Ф. 248. Оп. 13. № 689. Л. 189.
- ¹⁰⁹ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 1405. Л. 3; № 1423. Л. 2; Ф. 7. Он. 1. № 5. 4. 2. Л. 54 об.
- ¹¹⁰ См.: Там же. Ф. 149. Оп. 1. № 79. Л. 24.
- ¹¹¹ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 1561. Л. 6 об.
- ¹¹² См.: *Лурье С. С.* Из истории дворцовых заговоров в России XVIII в. // ВИ. 1965. № 7. С. 217-218.
- ¹¹³ РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 1668. Л. 3 об.
- ¹¹⁴ См.: *Арсеньев А. В.* Непристойные речи // ИВ. 1897. № 7. С. 69; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 992. Л. 3 об.; № 1150, 1325, 1344, 1464, 1542, 1564, 1595, 1606, 1644, 1733.
- ¹¹⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 5. Л. 309 об.—310, 321 об., 342, 347 об.
- ¹¹⁶ См.: Там же. Ф. 149. Оп. 1. № 77. Л. 1-11 об.
- ¹¹⁷ См.: Там же. № 79. Л. 22-25 об.
- ¹¹⁸ *Арсеньев А. В.* Непристойные речи // ИВ. 1897. № 8. С. 376.
- 119 См.: Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1. С. 80,96.
- ¹²⁰ РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 731. Л. 4 об.
- ¹²¹ Там же. № 786. Л. 4 об.
- ¹²² Там же. № 1408. Ч. 11. Л. 177.
- ¹²³ См.: Там же. № 2065. Л. 48-48 об.
- ¹²⁴ См.: Там же. № 2047. Ч. 1. Л. 167 об. О первом и последующих самозванцах см.: *Сивков К. В.* Самозванцы в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1950. Т. 31. С. 97 и далее.
- ¹²⁵ См.: *Джинчарадзе В. З.* Указ. соч. Т. 2. Вып. 2. С. 86-92.
- ¹²⁶ См.: Отголоски пугачевского бунта // РС. 1905. № 6. С. 662—670; Еще тень Пугачева // РА. 1871. № 12. С. 2055-2065.
- ¹²⁷ См.: *Сивков К. В.* Самозванцы в России в последней трети XVIII в. С. 113; *Юдин П.* Самозванец XIX столетия // РА. 1898. № 4. С. 615-620.
- ¹²⁸ См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 541. Л. 3 об.-9.
- ¹²⁹ См.: Там же. № 542. Л. 72-72 а.
- ¹³⁰ См.: Сенатский архив. Т. 9. С. 567-568.
- ¹³¹ См.: *Курмачева М. Д.* Крепостная интеллигенция России (вторая половина XVIII - начало XIX в.). М., 1983. С. 224-226.
- ¹³² <http://www.anticompromat.ru/monarhisty/samozvl.html>.
- ¹³³ <http://www.echo.msk.ru/programs/netak/19075/index.html>.
- ¹³⁴ См.: АВПРИ. Ф. 15. Оп. 15/3. № 149. Л. 1; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 204. Л. 25 об.; *Есипов Г. В.* Люди старого века. С. 227; Описание документов и дел, хранящихся в архиве св. правительствующего Синода. Т. 5. С. 219-220.
- ¹³⁵ См.: Сб. РИО. Т. 69. С. 339, 528-529.
- ¹³⁶ См.: *Филюшкина А. И.* Войны Российской империи и борьба с государственной изменой и иностранным шпионажем в первой половине XVIII в. // Кровь. Порох. Лавры: Войны России эпохи барокко (1700-1762). СПб., 2002. Вып. 2. С. 71-72.
- ¹³⁷ Цит. по: *Фурсенко Я.* Указ. соч. С. 192—216. Отзыв Мардефельда см.: РГАДА. Ф. 1292. Оп. 1. № 95. Л. 551 об. О подкупах придворных и министров Елизаветы см.: *Лиштенан Ф. Д.* Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство. 1740-1750. М., 2000. С. 75, 142, 144.

- ¹³⁸ См.: *Соболева Т. А.* Тайнопись в истории России (история криптографической службы России XVIII — начала XIX в.). М., 1994. С. 99-107.
- ¹³⁹ См.: *Фетюшкина И.* Указ. соч. С. 72.
- ¹⁴⁰ См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 1029. Л. 102-102 об.; № 1208. Л. 117.
- ¹⁴¹ См.: Там же. № 944. Л. 96, 99 об., 144 об., 189-189 об., 243 об. ~ 246 об.
- ¹⁴² См.: Там же. № 1127. Л. 7 об., 28 об. - 29 об., 87-88, 124.
- ¹⁴³ См.: *Корф М. А.* Брауншвейгское семейство. М., 1993. С. 104, 188.
- ¹⁴⁴ См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 375—408; *Громыко М. М.* Тобольский купец Иван Зубарев // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Свердловск, 1975. С. 65—66; *Софронов В.* «Сослать в Тобольск!» // Родина. 2005. № 6. С. 83.
- ¹⁴⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1122. Л. 3-17 об.
- ¹⁴⁶ См.: *Строев А.* Война перьев: Французские шпионы в России во второй половине XVIII в. // Логос. 2000. № 3 (http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_3/02.htm).
- ¹⁴⁷ См., например, доношения 1758 года на немецком языке в адрес главнокомандующего о действиях прусских шпионов — «жидах» Марке Шловере и Барухе и поляках Блакенбурге, Зеленецком и Рестеле (РГВИА. Ф. 39. Оп. 1. № 56. Л. 1—5).
- ¹⁴⁸ См.: Там же. Оп. 1/79- № 352. Л. 1-12; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1991. Л. 5-Ю об.
- ¹⁴⁹ См.: РГАДА- Ф- 7. Оп. 1. № 1968. Л. 3-36 об.
- ¹⁵⁰ См.: Там же. № 1941. Л. 2 об. - 11 об.
- ¹⁵¹ См.: *Чудинов А. В.* Жильбер Ромм о русской армии XVIII в. // Россия и Франция XVIII—XX вв. М., 2000. Вып. 3. С. 88—115; *Строев А.* Указ. соч.
- ¹⁵² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2769. Л. 1-81.
- ¹⁵³ См.: Там же. № 2817. Л. 1—60; *Джеджула К. Е.* Указ. соч. С. 381.
- ¹⁵⁴ См.: *Луцицкий И. В.* Секретное дело об одной газетной авиации // ИВ. 1889. № 9. С. 577-587.
- ¹⁵⁵ См.: *Есипов Г. В.* Султанское письмо // ИВ. 1881. № 1. С. 164—167.
- ¹⁵⁶ См.: ПСЗРИ. Т. 11. № 8494, 8641, 8690, 8712, 8822; Т. 12. № 9133, 9192, 9197, 9213.
- ¹⁵⁷ *Анисимов Е. В.* Дыба и кнут. С. 59.
- 158 РГАДА. Ф- 248. Оп. 14. № 798. Л. 386-386 об.; ПСЗРИ. Т. 13- № 9903.
- ¹⁵⁹ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1957. Л. 1-9.
- ¹⁶⁰ Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737—1796: В 2 т. Тула, 1988. Т. 1. С. 361.
- ¹⁶¹ См.: *Коваленко Т. А.* Указ. соч. С. 21; *Севастьянов А. Н.* Рост образования аудитории как фактора развития книжного и журнального дела в России (1762—1800). М., 1983. С. 3-4, 18, 20; *Тюлицев Д. В.* Книгоиздательская деятельность Петербургской Академии наук и М. В. Ломоносов. Л., 1988. С. 172.
- ¹⁶² См.: *Каменский А. Б.* Под рукой самодержца: Идея Государства в России эпохи Средневековья и раннего Нового времени // История. Ежедневная газета для учителей истории и обществоведения. 2004. № 41.

- ¹⁶³ Цит. по: *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. М.-Л., 1952. С. 176-177, 181.
- ¹⁶⁴ *Посошков И. Г.* Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951. С. 24, 98, 107, 123, 128, 162, 171, 180-181.
- ¹⁶⁵ *Энгельгардт Л. Н.* Записки. М., 1997. С. 167.
- ¹⁶⁶ См.: *Светлов Л.* Указ. соч. С. 66—67.
- ¹⁶⁷ См.: Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 1105. № 40. Л. 194; РГАДА-ф. 7. Оп. 2. № 2889. Л. 13, 19, 27.
- ¹⁶⁸ ПСЗРИ. Т. 7. № 5004; Т. 16. № 11843.
- ¹⁶⁹ См.: РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 1500, 1713.
- ¹⁷⁰ Там же. № 521. Л. 2-11 об.
- ¹⁷¹ Там же. № 937. Л. 4-4 об.
- ¹⁷² См.: Там же. № 242. Л. 1-7.
- ¹⁷³ Там же. № 870. Л. 4 об., 7.
- ¹⁷⁴ См.: Там же. № 894. Л. 4-4 об.
- ¹⁷⁵ См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 335-336; *Симони П. К.* Сказки о Петре Великом в записях 1745-1754 гг. // *Живая старина.* 1903. № 1-2. С. 226-227.
- ¹⁷⁶ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 350. Л. 2 об.
- ¹⁷⁷ См.: Там же. № 1101. Л. 1—6; *Побережников И.* Непристойные речи про царей-государей // *Родина.* 2006. № 3. С. 26.
- ¹⁷⁸ РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 1192. Л. 9 об.
- ¹⁷⁹ Там же. № 1534. Л. 4 об.
- ¹⁸⁰ Там же. № 670. Л. 5 об.-9-
- ¹⁸¹ См.: *Есипов Г. Я.* Государево дело. С. 792.
- ¹⁸² РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 998. Л. 12-13.
- ¹⁸³ См.: Там же. № 1350. Л. 4; № 1349. Л. 4 об.-5, 11 об.
- ¹⁸⁴ См.: Там же. № 1203. Л. 5-6, 88.
- ¹⁸⁵ Там же. № 367. Ч. 13. Л. 60 об.
- ¹⁸⁶ Там же. № 1179. Л. 5 об.
- ¹⁸⁷ Там же. № 1408. Ч. 11. Л. 52.
- ¹⁸⁸ Там же. № 1650. Л. 4.
- ¹⁸⁹ Там же. № 1408. Ч. 10. Л. 313-334.
- ¹⁹⁰ См.: Там же. Ч. 11. Л. 8, 141 об.
- ¹⁹¹ Там же. № 1401. Л. 1. Об отношении к фавору Разумовского см.: *Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999-С. 195-197.
- ¹⁹² РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 711. Л. 3 об.-20.
- ¹⁹³ Там же. № 1408. Ч. 10. Л. 52 об.
- ¹⁹⁴ См.: Там же. № 549-Л. 1-Ю об.
- ¹⁹⁵ Там же. № 1682. Л. 3-3 об.
- ¹⁹⁶ См.: Там же. № 708. Л. 5 об.-10.
- ¹⁹⁷ Там же. № 367. Ч. 13. Л. 100.
- ¹⁹⁸ Там же. Оп. 2. № 2075. Л. 2 об.
- ¹⁹⁹ Там же. № 2070. Л. 3.
- ²⁰⁰ Там же. № 2128. Л. 3-4.
- ²⁰¹ Там же. № 2164. Л. 2.
- ²⁰² Там же. № 2061. Л. 3; № 2092. Л. 4 об.-5; № 2047. Ч. 1. Л. 168 об.
- ²⁰³ См.: Описка в имени императора Петра Великого // *РС.* 1897. № 5. С. 380.
- ²⁰⁴ ПСЗРИ. Т. 11. № 8544.
- ²⁰⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 639-Л. 1-42.
- ²⁰⁶ См.: Там же. № 1477. Л. 2-17.

- ²⁰⁷ РГАДА-Ф. 7. Оп. 1. № 2013. Л. 4.
- ²⁰⁸ См.: Там же. Оп. 2. № 2352. Л. 1-50.
- ²⁰⁹ См.: *Светлов Л.* Указ. соч. С. 45—47.
- ²¹⁰ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 111. Л. 3 об., 21, 29 об.
- ²¹¹ См.: *Есипов Г. Я* Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. 1. С. 3-57.
- ²¹² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1509. Л. 3 об.—5 об.
- ²¹³ См.: *Быченкова И. Д.* Как ярославец императрицу Екатерину в старую веру обратить хотел // *Ярославская старина*. 2000. Вып. 5. С. 39-48.
- ²¹⁴ См.: *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России 1700—1740 гг. С. 420-421.
- ²¹⁵ РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2677. Л. 1-2.
- ²¹⁶ См.: Там же. Оп. 1. № 951. Л. 7, 23-
- ²¹⁷ Объяснение вологодского епископа Афанасия Кондоиди // *Труды Рязанской ученой архивной комиссии*. Рязань, 1891. Т. 5. № 5. С. 80.
- ²¹⁸ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 949. Л. 1-4.
- ²¹⁹ *Смилянская Е. Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики: Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003. С. 48—64; *Она же.* Колдовство утрона: Слово и дело о волшебных чарах на волю государеву // *Родина*. 2001. № 6. С. 46-48.
- ²²⁰ См.: *Смилянская Е. Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики. С. 334—339-
- ²²¹ См.: Там же. С. 184-185.
- ²²² См.: РГАДА. Ф- 7. Оп. 1. № 1917. Л. 1-13.
- ²²³ См.: Там же. № 367. 4. 13. Л. 42 об., 236 об.-237 об., 255-256.
- ²²⁴ Там же. № 367. 4. 1. Л. 114 об.-115, 120, 329, 476; Ч. 13. Л. 162.
- ²²⁵ См.: Там же. Оп. 2. № 2537. Л. 1-32.
- ²²⁶ См.: Там же. Оп. 1. № 260. Л. 5-9.
- ²²⁷ См.: Там же. Оп. 2. № 2688. Л. 3 об.—4 и далее.
- ²²⁸ См.: *Крестьянское движение в России в 1796—1825 гг.*: Сб. документов. М., 1961. С. 33-37, 54-56, 134-137.
- ²²⁹ См.: *Покровский Н. Я.* Жалоба уральских заводских крестьян 1790 г. // *Сибирская археология и источниковедение*. Новосибирск, 1979. С. 155-162.
- ²³⁰ См.: РГАДА-Ф. 7. Оп. 2. № 2493. Л. 63 об.-71, 72-73 об., 87, 92, 179-225, 246.
- ²³¹ См.: *Алехов А В.* Бумажные деньги в России: экономика и история // <http://www.bonistikaweb.ru/alehov.htm>. В фонде Тайной экспедиции имеется множество дел о выявлении фальшивок, но в большинстве случаев найти виновных было невозможно (см.: РГАДА-Ф- 7. Оп. 2. № 2431, 2518, 2603, 2622, 2638, 2648, 2667, 2690, 2733-2734, 2743, 2762, 2768, 2823, 2828, 2830, 2836, 2848, 2864, 2880, 2887).
- ²³² См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2636.
- ²³³ См.: ИВ. 1881. № 4. С. 830-831.
- ²³⁴ РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2777. Л. 9-42.
- ²³⁵ Там же. Оп. 1. № 476. Л. 56.
- ²³⁶ См.: Там же. Оп. 2. № 2816. Л. 1-28, 35.
- ²³⁷ См.: *Сивков К. В.* Автобиография крепостного интеллигента конца XVIII в. // *Исторический архив*. М., 1950. Вып. 5. С. 288—299-
- ²³⁸ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2888. Л. 1-1 об.

Глава 7

Будни Тайной розыскных дел канцелярии: 1732 год

- ¹ Сб. РИО. Т. 104. С. 89.
- ² См.: РГАДА. Ф. ²48. Оп. 13. № 742. Л. 360-361.
- ³ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 273. Л. 5 об.-9-
- ⁴ См.: Там же. № 266. Ч. 3. Л. 49, 121-126 об.; Сб. РИО. Т. 104. С. 363-365, 372-376, 443-444, 451-452.
- ⁵ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 1. Л. 52-53; № 266. Ч. 3. Л. 52-58 об.
- ⁶ См.: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия. С. 109.
- ⁷ См.: РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 272. Ч. 1. Л. 2, 5.
- ⁸ Подсчитано нами по: Там же. Л. 1—39-
- ⁹ См.: *Курукин И-В.* Поэзия и проза Тайной канцелярии // ВИ. 2001. № 2. С. 123-"-133. Ср.: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия. С. 112. Отличия состоят в том, что некоторые лица, указанные данным автором как «крестьяне», фактически являлись горожанами. Точно же определить положение людей многих «городских» профессий, в том числе «служителей», затруднительно — они могли быть вольными или крепостными, посадскими или крестьянами.
- ¹⁰ *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия. С. 111.
- ¹¹ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 1. Л. 46-48.
- ¹² См.: *Титлинов Б. В.* Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношении к делам православной церкви. Вильно, 1905. С. 56, 64—65, 188, 209, 231; *Мальшев М. Ю.* Сословная политика правительства Анны Иоанновны (дворянство, крестьянство, духовенство): Автореф. дисс. канд. ист. наук. Ижевск, 1997. С. 21.
- ¹³ См.: РГАДА-Ф-7. Оп. 1. № 266. Ч. 1. Л. 34-35; № 269. Ч. 1. Л. 38.
- ¹⁴ См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 53 об.
- ¹⁵ См.: Там же-Ч. 1. Л. 1-133; 4. 2. Л. 1-201; Ч. 3. Л. 1-152.
- ¹⁶ См.: Там же. № 269. Ч. 1. Л. 1-63.
- ¹⁷ См.: *Российский М. А.* Очерк истории 3 пехотного Нарвского генерал-фельдмаршала М. М. Голицына полка. М., 1904. С. 110; Сб. РИО. Т. 104. С. 96.
- ¹⁸ РГВИА. Ф. 8. Оп. 1/89. № 489. Л. 1-10.
- ¹⁹ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 308. Л. 2-110; Сб. РИО. Т. 104. С. 158.
- ²⁰ РГАДА. Ф. 7- Оп. 1. № 292. Л. 3 об.
- ²¹ См.: Там же. № 269. Ч. 1. Л. 62.
- ²² См.: Там же. № 266. Ч. 2. Л. 93.
- ²³ Там же. № 294. Л. 3 об., 9.
- ²⁴ См.: *Павленко Н. И.* Указ. соч. С. 308—314.
- ²⁵ Цит. по: *Андросов С. О.* Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. С. 123.
- ²⁶ См.: *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 284 и далее.
- ²⁷ См. *Андросов С. О.* Указ. соч. С. 119.
- ²⁸ Цит. по: *Павленко Н. И.* Указ. соч. С. 315—322.
- ²⁹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 1. Л. 89.
- ³⁰ См.: *Закржевский А. Г.* Святейший Синод и русские архиереи в первые десятилетия существования «церковного правительства» в России // *Нестор.* 2000. № 1. С. 268-269-

- 31 См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 1. Л. 67, 100; № 269. Ч. 1. Л. 14-14 об.
- 32 См.: Там же. № 293. Л. 2-15, 103, 199.
- 33 Там же. № 266. Ч. 2. Л. 12 об.; № 269. Ч. 1. Л. 25-26; № 288. Л. 1—126. О Серафиме см.: *Чистович И. А* Указ. соч. С. 417—424; *Есипов Г. В.* Люди старого века. С. 377—415.
- 34 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 309. Л. 4 об., 8, 15, 101 — 111, 126, 167, 185.
- 35 См.: Там же. № 269. Ч. 1. Л. 12-13.
- 36 См.: *Есипов Г. В.* Люди старого века. С. 416—444.
- 37 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 1. Л. 1, 31.
- 38 См.: Там же. Л. 19, 43.
- 39 См.: Там же. Л. 5—5 об.
- 40 См.: Там же. Л. 44.
- 41 См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 122-128 об.
- 42 Там же. № 269. Ч. 1. Л. 58-59.
- 43 Там же. № 311. Л. 26-29; № 266. Ч. 2. Л. 42.
- 44 Там же. № 266. Ч. 2. Л. 81-82.
- 45 См.: Там же. 4. 1. Л. 87.
- 46 См.: Там же. Ч. 3. Л. 139 об.
- 47 См.: Там же. Л. 131.
- 48 См.: Там же. Ч. 3. Л. 36.
- 49 Там же. Ч. 1. Л. 36, 69-69 об., 79.
- 50 Там же. № 269. Ч. 1. Л. 53; № 266. Ч. 1. Л. 18.
- 51 См.: Там же. № 269. Ч. 1. Л. 53. К сожалению, само дело (Там же. № 316 а) к настоящему времени утрачено, и подробностей мы не знаем.
- 52 См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 25-28; № 263. Л. 4-5 об., 8-8 об., 10 об., 143-146 об.
- 53 См.: *Анисимов Е. В.* Россия без Петра: 1725-1740. СПб., 1994. С. 329; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 338. Л. 19-22 об.
- 54 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 300. Л. 1-1 об.
- 55 См.: Там же. № 266. Ч. 2. Л. 52; № 269. Ч. 1. Л. 11, 15-15 об., 22.
- 56 См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 97.
- 57 См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 3-4, 89; Ч. 3. Л. 1, 145.
- 58 Примеры наказаний за ложное «слово и дело» см.: Там же. № 269. 4. 1. Л. 39, 47, 61.
- 59 См.: Там же. № 266. Ч. 3. Л. 14-14 об.
- 60 См.: Там же. Л. 5—5 об.
- 61 См.: Там же. Л. 25—25 об.; *Есипов Г. В.* Тяжелая память прошлого. С. 263-279.
- 62 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 1. Л. 7.
- 63 См.: Там же. Ч. 3. Л. 64-66.
- 64 См.: Там же. № 297. Л. 2-11; № 266. Ч. 3-Л. 119.
- 65 См.: Там же. № 266. Ч. 1. Л. 37 об.
- 66 См.: Там же. Ч. 2. Л. 101-110.
- 67 См.: *Арсеньев А В.* Старинные дела об оскорблении величества // ИВ. 1881. № 3. С. 590-593.
- 68 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 281. Л. 6 об.
- 69 См.: Там же. № 266. Ч. 2. Л. 75-77; № 269. Ч. 1. Л. 16.
- 70 См.: Там же. № 291. Л. 1-4 об.
- 71 См.: Там же. № 266. Ч. 3. Л. 150-150 об.
- 72 Сб. РИО. Т. 104. С. 508; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 3. Л. 18, 106.
- 73 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 299. Л. 3-23; № 272. Ч. 1. Л. 23 об.

Глава 8
«Учинить означенное наказание»

- ¹ См.: *Корсаков Д. А.* Суд над князем Д. М. Голицыным // ДиНР. 1879. № 10. С. 40; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 8. Л. 44—44 об.
- ² См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 206. Л. 2-14.
- ³ *Сивков К. В.* Тайная экспедиция, ее деятельность и документы. С. 108-109.
- ⁴ *Флячко-Карпинский Н.* Автобиографическое всеподданнейшее прошение ротмистра Николая Флячко-Карпинского // РА. 1878. Кн. 1. № 1. С. 96.
- ⁵ Архив Государственного совета. СПб., 1869. Т. 1. Ч. 2. С. 737.
- ⁶ *Корб И. Г.* Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. С. 182—185.
- ⁷ Цит. по: Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990. С. 274—275.
- ⁸ *Скиндер А. И.* Живая женщина, врытая в землю // РС. 1879-№ 6. С. 398.
- ⁹ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 83. Л. 49, 218; Сб. РИО. Т. 69. С. 775; Т. 94. С. 523.
- ¹⁰ См.: *Новомбергский Н. Я.* Указ. соч. Т. 2. С. 221—222.
- ¹¹ См.: Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 430.
- ¹² *Миранда Франсиско де.* Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 266.
- ¹³ См.: *Переладов К. Г.* Секретные политические узники в имперской России XVIII столетия. С. 121.
- ¹⁴ Цит. по: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 93.
- ¹⁵ Там же. С. 86.
- ¹⁶ См.: *Джинчарадзе В. З.* Указ. соч. Т. 2. Вып. 2. С. 92—93.
- ¹⁷ Цит. по: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 86.
- ¹⁸ Указ Синода от 20 мая 1771 года запретил применять к священникам телесные наказания и устраивать им пристрастные допросы, хотя только в «духовных командах» (ПСЗРИ. Т. 19. № 13609).
- ¹⁹ См.: ПСЗРИ. Т. 14. № 10686.
- ²⁰ См.: Там же. Т. 4. № 1957, 2026.
- ²¹ ПСЗРИ. Т. 14. № 110306.
- ²² См.: <http://www.murders.ru/kleymenie.html>.
- ²³ *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 93-94.
- ²⁴ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2797. Л. 4, 37, 40-41.
- ²⁵ *Ла Морьер.* Ангола, индейская повесть. М., 1785. С. 129—130.
- ²⁶ Законодательство Петра I. С. 841.
- ²⁷ ПСЗРИ. Т. 13. № 10101.
- ²⁸ См.: Высочайшие повеления по придворному ведомству (1701—1740). СПб., 1888. С. 99; Опись высочайшим указам и повелениям... Т. 2. С. 224, 232; РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 86. № 41985. Л. 37 об.; *Индова Е. И.* Дворцовое хозяйство в России (первая половина XVIII в.). М., 1964. С. 59.
- ²⁹ О раздачах вотчин, домов и дворов Долгоруковых см.: Сб. РИО. Т. 106. С. 364, 367, 446, 530; РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 35237. Л. 4-8.
- ³⁰ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 6. Ч. 5. Л. 11-13.
- ³¹ См.: *Курукин И. В.* Немилость властелина: необыкновенная судьба обыкновенного вельможи в эпоху «биرونщины» // Родина. 2004. № 9. С. 66-71.
- ³² См.: Сб. РИО. Т. 146. С. 321-322, 417.

- ³³ РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 8 (дело «об описном недвижимом и движимом имении Платона Мусина-Пушкина» 1742 года). Л. 4, 25.
- ³⁴ См.: Там же. Л. 6 об.
- ³⁵ Сенатский архив. СПб., 1889. Т. 2. С. 534.
- ³⁶ Приведенные примеры взяты из «Щетной выписки отписным Платона Мусина-Пушкина пожиткам, которые вступили в оценку» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 110. № 237. Л. 1-143).
- ³⁷ Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 288. Л. 148.
- ³⁸ Описи имущества Бирона см.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 290. Ч. 1—4.
- ³⁹ См.: Материалы для истории императорской Академии наук. СПб., 1887. Т. 4. С. 610-611; РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 287. Ч. 1. Л. 241-241 об.; Ф. 9- Оп. 5. № 33. Ч. 1. Л. 144 об.-145; Ф. 177. Оп. 2. № 288. Л. 1—4; Сенатский архив. Т. 4. С. 268.
- ⁴⁰ РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 208. Л. 7.
- ⁴¹ См.: Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 8. Л. 20.
- ⁴² См.: К. 3. Рассказ о безымянном // РС. 1904. № 4. С. 193-209.
- ⁴³ См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2290. Л. 19-20.
- ⁴⁴ Там же. Л. 10—14, 91.
- ⁴⁵ Там же. № 3640. Л. 102-105.
- ⁴⁶ См.: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 243.
- ⁴⁷ Там же. С. 228.
- ⁴⁸ См.: Там же. С. 233.
- ⁴⁹ См.: РГАДА- Ф. 6. Оп. 1. № 542. Л. 110-123.
- ⁵⁰ См.: Там же. Ф. 7. Оп. 2. № 3640. Л. 106-111.
- ⁵¹ Отрывок из жизни Василия Пассека, им самим сочиненный в С.-Петербургской градской тюрьме в 1803 г. // РА. 1863. С. 675—676.
- ⁵² В газете «Известия» 5 апреля 1985 года появилась заметка о том, что «до недавнего времени в Целиноградской области жил родной внук Пугачева Филипп Пугачев. Он родился, когда его отцу Трофиму перевалило за 90 (умер же он якобы в возрасте 126 лет). Сам Филипп тоже прожил более 100 лет». Проблема в том, что совхозное начальство называло скончавшегося в 1964 году ветерана труда «внуком Е. И. Пугачева Филиппом Трофимовичем Пугачевым», однако внучка Филиппа заявляла: «О своей родословной я ничего не знаю, ибо с бабушкой мы на эту тему никогда не говорили. Моего дедушку звали Филипп Михайлович, и он действительно умер в 1964 году в з/с им. Каз ЦИКа». Так что вопрос, был ли Филипп Пугачев внуком или иным потомком народного императора и каким образом Трофим Пугачев вышел на свободу, остался открытым (см.: *Папкина Л.* Семья Е. И. Пугачева в Кексгольме // Наука и жизнь. 1992. № 2. С. 86-91).
- ⁵³ См.: *Дмитриев А.* Старый Арсенал и Пороховой погреб // priozersk.ru/1/text/0050.shtml.
- ⁵⁴ См.: *Пругавин А. С.* Монастырские тюрьмы М., 1905; *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1; *Фруменков Г. Г.* Узники Соловецкого монастыря. Архангельск, 1979; *Иванов О. А.* Указ. соч.; *Шалыпин С. О.* Монастырская ссылка в России в XVI—XVIII вв.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Архангельск, 1998.
- ⁵⁵ РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 1846. Л. 17-20.
- ⁵⁶ Цит. по: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 273.
- ⁵⁷ Цит. по: Там же. С. 269—270.
- ⁵⁸ См.: *Иванов О. А.* Указ. соч. С. 25-29; РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 3640. Л. 121-123 об.
- ⁵⁹ См.: *Гернет М. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 290.

⁶⁰ См.: *Михневич В. О.* Две невесты Петра II // ИВ. 1898. № 2. С. 597.

⁶¹ См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 212-219.

⁶² См.: *Зуев А. С. Миненко Н. А.* Секретные узники сибирских острогов (Очерки истории политической ссылки в Сибири второй четверти XVIII в.). Новосибирск, 1992. С. 107—108.

⁶³ Цит. по: *Елфимов В. К. А. И.* Остерман в Березове: жизнь после смерти // Петровское время в лицах. 2003- СПб., 2003. С. 44—45.

⁶⁴ См.: *Коцебу А.* Указ. соч. С. 149—150.

⁶⁵ Дело Фика см.: РГАДА- Ф. 6. Оп. 1. № 171. Ч. 1—2.

⁶⁶ См.: *Черникова Т. В.* «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны. С. 158.

⁶⁷ По подсчетам К. Г. Переладова, только при Анне Иоанновне были сосланы 977 человек (см.: *Переладов К. Г.* Система политического сыска и политические узники в России (1725—1762): Автореф. дисс. канд. ист. наук. Новосибирск, 1998. С. 21).

⁶⁸ См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 113, 121; Ч. 10. Л. 6.

⁶⁹ См.: Там же. Ф. 248. Оп. 12. № 672. Л. 95-184.

⁷⁰ Подсчитано нами по: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 2. Л. 24 а—26 об.

⁷¹ См.: Там же. Л. 29-34.

⁷² См.: Там же. Л. 162-255.

⁷³ См. «Список полякам, содержащимся здесь и разосланным по городам разных губерний в 1794 и 1795 годах с показанием их вин» (Там же. Оп. 2. № 2047. Л. 112-117), а также списки участников восстания 1794 года, сосланных в Сибирь (Там же. № 2047. Ч. 1—14) и в города Европейской России (Там же. № 2869. Ч. 1—5).

⁷⁴ История Оренбуржья. Оренбург, 1996. С. 80.

⁷⁵ См.: РГАДА- Ф. 7. Оп. 2. № 2043. Ч. 15. Л. 3, 5 об., 6 об., 8, 10 об.

⁷⁶ *Флячко-Карпинский Н.* Указ. соч. С. 98.

⁷⁷ *Иванов О. А.* Указ. соч. С. 22—23.

Послесловие

¹ См.: *Мустафин В.* Государево «слово и дело» и кадет Немцов // РС 1893. № 12. С. 645-646.

² См.: *Севастьянов Ф. Л.* От тайного сыска к политическому розыску: вопрос об организации спецслужб в России в первой четверти XIX в. С. 27.

³ См.: *Фурсов А. И.* Российское государство XVIII в. и «административная система» сталинизма: исторические связи и аналогии // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII вв. М., 1990. Ч. 2. С. 282, 284.

⁴ *Маленков А. Г.* О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992. С. 57, 58, 59, 60, 66, 75, 83, 84, 103-104.

⁵ См.: *Аллилуева С. И.* 20 писем к другу. М., 1991. С. 102; *Чуев Ф.* 140 бесед с Молотовым. М., 1991. С. 327; *Волобуев О. В., Кулешов С. В.* Очищение: история и перестройка. М., 1989. С. 115.

⁶ См.: *Попова С. М.* Система доноительства в 30-е гг. // Клио. 1991. № 1. С. 71.

⁷ См. *Попов Б. С. Оттоков Б. Г.* Бериевщина // Военно-исторический журнал. 1990. № 1. С. 68; Неделя. 1990. № 44.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
<i>Глава 1. РОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА В РОССИИ</i>	10
Царственного дела искатели	10
Ведомство князя-кесаря	15
«Слово государево» и «дело государево»	27
Дело царевича Алексея и основание Тайной канцеля- рии	34
Этапы большого пути тайного сыска	44
Зачем была нужна Тайная канцелярия?	56
<i>Глава 2. РАДЕТЕЛИ СЫСКНОГО ДЕЛА: НАЧАЛЬНИКИ И СЛУГИ ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ</i>	60
Венценосные дознаватели	60
«Великая служба» графа Петра Толстого	68
«Генерал и кавалер» Ушаков	76
Придворный-следователь Александр Шувалов	88
Императорский «кнутобоец» Степан Шешковский	94
«Прилежные труженики» — рядовые сыска	103
<i>Глава 3. ХОЗЯЙСТВО ТАЙНОГО СЫСКА</i>	131
Крепость и подворье	131
Доходы и расходы	139
<i>Глава 4. «ДОНОСИТ ИМЯРЕК НА ИМЯРЕКА»</i>	150
Донос в России — больше, чем донос	150
«Доносить того ж дни»	158
Формула доноса	170
«Есть за ним государево слово»: доносы и доносители	175
«По ево доносу явилась истина» (трудное счастье донос- чика)	203
Образцы «памятозлобствия» или «бездельные доноше- ния»	212
Глас безмолвствующих	239
<i>Глава 5. «ЧТО ПО СЛЕДСТВИЮ ЯВИТСЯ, ДОЛОЖИТЬ»</i>	251
«Поличное выняти»	251
«Прислать за крепким караулом наспех»	253
Жизнь колодника: «келья — гроб, дверью хлоп»	270
Допросы подозреваемых, доносчиков и свидетелей	285
«Поставить с очей на очи»	310
«А с пытки говорил»	319
<i>Глава 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПНИКИ</i>	336
Социальный портрет «клиента» Тайной канцелярии	336
«Дворские бури»	341
Гвардейские «тревоги»	352
Самозванные Петры и Павлы	383
«Шпионские упражнения»	399
У истоков отечественной цензуры	417
Престиж монархии	432

Прожектеры и правдолюбцы	447
Дела духовные	450
Прочие чрезвычайные дела	462
<i>Глава 7. БУДНИ ТАЙНОЙ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИИ:</i>	
1732 ГОД	473
Дела служебные	473
Преступления «важные»	483
...И не «весьма важные»	504
<i>Глава 8. «УЧИНИТЬ ОЗНАЧЕННОЕ НАКАЗАНИЕ».</i>	524
Судейское «собрание»	524
«Кажнен будет жестокою смертию»	531
Членовредительские наказания	541
«Пасквили публично сжечь»	551
«Чести нарушение» и конфискация «пожитков»	554
Тюрьма и сума	568
«Содержать в остроге под крепким караулом неисходно»	585
Послесловие	603
Примечания	612

Курукин И. В., Никулина Е. А.
К 93 Повседневная жизнь Тайной канцелярии / Игорь Курукин, Елена Никулина. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 639[1] с: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03140-1

В XVIII веке в России впервые появилась специализированная служба безопасности или политическая полиция: Преображенский приказ и Тайная канцелярия Петра I, Тайная розыскных дел канцелярия времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, Тайная экспедиция Сената при Екатерине II и Павле I. Все они расследовали преступления государственные, а потому подчинялись непосредственно монарху и действовали в обстановке секретности. Однако борьба с государственной изменой, самозванцами и шпионами была только частью их работы — главной их заботой были оскорбления личности государя и всевозможные «непристойные слова» в адрес властей. Герои этой книги — служаки и подследственные, свидетели и палачи, благонамеренные изветчики и убежденные кляузники. Основываясь на многочисленных документах, авторы описали весь путь их «хождения по мукам» — от анонимного доноса или «сказывания государева слова и дела» до следствия, сибирской ссылки или плахи.

УДК 94(470+571)"17"
ББК 63.3(2)51

Курукин Игорь Владимирович, Никулина Елена Анатольевна
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **И. И. Никифорова**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **В. В. Пидкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Лицензия № ЛР 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 12.03.2008. Подписано в печать 10.07.2008. Формат 84х108/32. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Гарнитура «Гармон». Усл. печ. л. 33,6+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 83525.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. F-mail-rke1(S>gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03140-1